Йоахим Радкау

ЭПОХА НЕРВОЗНОСТИ

Германия от Бисмарка до Гитлера

СЕРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

С Е Р И Я

И С С Л Е Д О В А Н И Я

К У Л Ь Т У Р Ы

DAS ZEITALTER DER NERVOSITÄT

Deutschland zwischen Bismarck und Hitler

JOACHIM RADKAU

ЭПОХА НЕРВОЗНОСТИ

Германия от Бисмарка до Гитлера

ЙОАХИМ РАДКАУ

Перевод с немецкого
НАТАЛИИ ШТИЛЬМАРК

Издательский дом
Высшей школы экономики
МОСКВА, 2017

УДК 930.85
ББК 63.3-7
Р15

Составитель серии
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ
Научный редактор
СЕРГЕЙ ТАШКЕНОВ
Дизайн серии
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Радкау, Й.

Р15 Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера / пер. с нем. Н. Штильмарк; под науч. ред. С. Ташкенова; вступ. слово С. Ташкенова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. — 552 с. — (Исследования культуры). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-1321-7 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-1662-1 (e-book).

Технический прогресс и сексуальная эмансипация модерна, опережавшие психические возможности человека XIX века, запустили в культуре «нервные» механизмы, которые выражали обостренное ощущение нового мира и требовали новых методов преодоления, оказавшихся в итоге столь разнообразными и во многом фатальными. В этом ключе именитый немецкий историк Йоахим Радкау предлагает вниманию читателей уникальную культурную историю нервов в Германии. Фундаментальное исследование раскрывает панораму грандиозной эпохи, в которой нервы определяли как молодой тогда раздел медицинской науки, так и повседневность человека. Опираясь на богатый архивный материал, Радкау детально прописывает и анамнез, и эпикриз последних 150 лет «нервного дискурса» и задается вопросом, что же есть эта пресловутая «болезнь нервов» — обусловленный переломными вехами истории культурный конструкт или истинный опыт страдания, преходящая мода или константа, индивидуальный или коллективный феномен? В поиске ответов книга предлагает увлекательную модель интерпретации политической, культурной и личностной истории.

Книга адресована широкому кругу читателей — историкам, культурологам, политологам, социальным психологам.

УДК 930.85
ББК 63.3-7

На обложке — фотография Берлина конца XIX — начала XX века
<https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Berlin_Neue_Wache_um_1900.jpg>

Перевод книги: *Joachim Radkau.* Das Zeitalter der Nervosität. Deutschland zwischen Bismarck und Hitler

Опубликовано Издательским домом Высшей школы экономики <http://id.hse.ru>

doi:10.17323/978-5-7598-1321-7

ISBN 978-5-7598-1321-7 (рус.: в пер.)
ISBN 978-5-7598-1662-1 (рус.: e-book)
ISBN 3-446-19310-3 (нем.)

© 1998 Carl Hanser Verlag, München
© Перевод на рус. яз. Издательский дом Высшей школы экономики, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО (*Сергей Ташкенов*) 8

ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ ГНЕТА СТРАДАНИЙ, ПОИСКА СМЫСЛА И ВОЙНЫ 16

I. МАГИСТРАЛИ И ПЕРЕКРЕСТКИ В ИСТОРИИ НЕРВОВ

ПО СЛЕДАМ ВЫСОКИХ ТЕОРИЙ — О НЕРВОЗНОСТИ МОДЕРНА 22

КАРЬЕРА «НЕРВОВ» КАК ПОНЯТИЯ 32

ТОЛСТОКОЖИЕ ЛЮДИ И СТЕКЛЯННАЯ ГАРМОНИКА: НЕРВНАЯ СЛАБОСТЬ В ЭПОХУ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РОМАНТИЗМА 39

КТО ПЕРВЫЙ: БИРД ИЛИ БИСМАРК? НЕВРАСТЕНИЯ КАК АМЕРИКАНСКАЯ ИЛИ НЕМЕЦКАЯ БОЛЕЗНЬ 57

ОТ СЛАБОСТИ К ВОЗБУДИМОСТИ: МЕТАМОРФОЗЫ И КОНСТАНТЫ НЕВРАСТЕНИИ 71

II. ВЗГЛЯД ВРАЧА И ОПЫТ ПАЦИЕНТА

ГЛАЗАМИ ДОКТОРА: НЕСЧЕТНОЕ БОГАТСТВО ИСТОРИЙ ПАЦИЕНТОВ 83

ТЕОРИЯ НЕВРАСТЕНИИ И МЕДИЦИНСКИЕ СТРАТЕГИИ: МЕЖДУ НЕВРОЛОГИЕЙ, ПСИХИАТРИЕЙ И НАТУРОПАТИЕЙ 90

«Я» КАК ОСИНОВЫЙ ЛИСТ: ТРЕВОГИ НЕРВНОГО САМОПОЗНАНИЯ И УПРЯМСТВО ПАЦИЕНТОВ 104

ЛЕЧЕНИЕ НЕРВОВ КАК УТОПИЯ И КАК ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕТЬ: НЕРВОЗНОСТЬ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ 114

НЕВРАСТЕНИЯ И ПОЛ 128

«ПОСТЕЛЬ — ПОДЛИННОЕ ПОЛЕ БОЯ НЕВРАСТЕНИКА»: НЕВРАСТЕНИЯ И МУЖСКИЕ СТРАХИ — ВЕНЕРА, БАХУС И МАЛЬТУС 150

III. НЕВРАСТЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН МОДЕРНА

«МОДЕРНАЯ» ТЕОРИЯ НЕВРАСТЕНИИ И ЕЕ КРИТИКА: МОДЕРНОСТЬ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ; СПЕЦИФИКА ГЕРМАНИИ 176

ТЕХНИКА И ТЕМП, СДЕЛЬЩИНА И ШУМ: «МОДЕРНАЯ» ТЕОРИЯ В ПОИСКАХ ОПОРЫ 192

«НАСКВОЗЬ НЕРВОЗНА, СОБСТВЕННО, ТОЛЬКО БУРЖУАЗИЯ»:
НЕРВОЗНОСТЬ И КЛАССОВОЕ ОБЩЕСТВО ... 217

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ» И «ГИПНОТИЗМ СИЛЫ»:
ОПЫТ САМОПОЗНАНИЯ В ЭПОХУ СИЛЬНЫХ ТОКОВ ... 234

«НЕРВНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ БУЭНОС-АЙРЕСА»:
МАНИЯ И ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ КАК СПУТНИЦЫ НЕРВОЗНОСТИ ... 248

IV. НЕРВОЗНОСТЬ: ОТ БОЛЕЗНИ К СОСТОЯНИЮ КУЛЬТУРЫ

НЕРВОЗНОСТЬ КАК ЭПИДЕМИЯ И КАК ОДАРЕННОСТЬ ... 261

ОТ ЛЕЧЕБНИЦ К ПРИДВОРНОМУ ОБЩЕСТВУ:
НЕРВОЗНОСТЬ И КРИЗИСНОЕ СОЗНАНИЕ ЭПОХИ ВИЛЬГЕЛЬМА II ... 270

КИНЕТИКА КАЙЗЕРА И СТРУКТУРНАЯ НЕРВОЗНОСТЬ
МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ ВИЛЬГЕЛЬМА II ... 273

«МЯГКАЯ» СТОРОНА ВИЛЬГЕЛЬМИНИЗМА И ЕГО ПОЗОР,
ИЛИ ЗАКОЛДОВАННЫЙ И РАСКОЛДОВАННЫЙ МИР ... 294

ГОРОДСКАЯ ГИГИЕНА, ШКОЛЬНАЯ НАГРУЗКА, РЕФОРМА ЖИЗНИ:
РЕФОРМАТОРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАБОТЫ О НЕРВАХ ... 308

НАЦИОНАЛИЗМ И НЕРВОЗНОСТЬ: НЕРВНОЕ СОСЕДСТВО
НЕМЦЕВ И ЕВРЕЕВ ... 323

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И НЕВРАСТЕНИЯ:
БАТАЛИИ ВОКРУГ «РЕНТНОГО НЕВРОЗА» ... 338

V. ПОВОРОТ К ВОЛЕ И НАЧАЛО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕРВОЗНОСТИ

ПОКОЙ — ГИПНОЗ — «КУЛЬТУРА ВОЛИ» ... 353

«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» И «БУДУЩЕЕ НА ВОДЕ»: УЧЕНИЕ
О НЕРВАХ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА; «НЕРВОЗНОСТЬ»
КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ БУМЕРАНГ ... 371

ОЖЕСТОЧЕНИЕ МУЖСКОГО ИДЕАЛА И ПОЗОР «ШЛЮПИКОВ»:
КРАХ НЕРВНОГО СМЫСЛОПРОИЗВОДСТВА ... 384

ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ ИЛИ ПОТЕРЯТЬ: МЫСЛИ О ВОЙНЕ В МИРНЫЕ
ГОДЫ И СБИТОЕ С ТОЛКУ ВРЕМЯ ... 403

УЖАС И ОБАЯНИЕ ГОЛОВЫ ГОРГОНЫ: НЕРВОЗНОСТЬ И ВОЙНА ... 412

РАСКОЛ НЕМЕЦКОГО ОБЩЕСТВА И ЗАКАТ УЧЕНИЯ
О НЕВРАСТЕНИИ; ОТ НЕВРАСТЕНИИ К СТРЕССУ ... 423

БОРЬБА И СМЕХ: ИЛЛЮЗИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ
НАД НЕРВОЗНОСТЬЮ ... 441

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 450

СОКРАЩЕНИЯ 453

ПРИМЕЧАНИЯ 454

ЛИТЕРАТУРА 512

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Нервная культура на свидании с прошлым и настоящим:
Спираль истории и культура нервов.

«[...] тут все нервные болезни назначили друг другу свидание...»[1] — писал Фридрих Ницше в конце 1880-х годов о молодом народном христианстве, но блестящая формула ставит подпись под целой немецкой эпохой — от Бисмарка до Гитлера.

Конечно, культурная история нервов, которую пишет Йоахим Радкау, не ограничивается названными рамками и тем более не заканчивается — это диктует само понятие Истории, процессуальной и нескончаемой, по крайней мере до тех пор пока нервы не исчезнут из науки, из языка, из человека. Пока не исчезнут — вместе с самим человеком. И все же временные рамки очерчены удивительно четко: культурная история нервов начинается именно там, где тянущаяся из античности тень Меланхолии сменилась болезненным демоном нервности и растворилась (но не закончилась) там, где великое потрясение заставило говорить о другом. Если сегодня новая мода на «высокочувствительность» и «нервозность» — всего лишь реабилитация прежней моды, только в новых условиях и декорациях[2], то в эпоху раннего модерна дань «нервной» моде являлась реакцией на абсолютное новшество — невиданное, неслыханное и крайне удобное. Сложно представить, чтобы без двух столетий напряженного осмысления этого открытия — что «я есть нервы», — после паузы великого потрясения была возможна данная книга, равно как и многие другие в западной культуре. Почему?

Ответ кроется в исследовательском материале, к которому обратился Радкау, — в отдельных историях болезней ушедшей эпохи, и более того — в истории этих историй, которая незаметно, подспудно, но совершила переворот в картине мира человека и его повседневности — отдельные, частные, маленькие жизни оказались сильнее науки. Поэтому главный предмет, и метод, и цель труда Радкау — История.

Сегодня, говоря о «нервах», автоматически выстраиваешь логико-семантическую цепочку: «Проблемы с нервами? — Иди к невропатологу!»

[1] *Ницше Ф.* Воля к власти / пер. с нем. Е. Герцык и др. М., 2005. С. 123.

[2] Ср. на современном американском материале: *Стоссел С.* Век тревожности. Страхи, надежды, неврозы и поиски душевного покоя. М., 2016.

И точно так же, когда говоришь о психике: «Проблемы с психикой? — Тебе к психиатру!» Конечно, так называемые психические расстройства и расстройства нервные следует разделять. И все же в культуре Германии и Австрии они традиционно (во многом благодаря грамматико-синтаксической специфике немецкого языка) идут рука об руку: как *Nerven- und Geisteskrankheiten*. Изначально, до становления соответствующих научных дисциплин, такого деления не было, а «нервно- и душевнобольные» долгое время шли рука об руку, да и сегодня они тоже несут один общий ярлык не-нормы. И, как наглядно показывает исследование Радкау, именно в пространстве культуры нельзя очень четко разводить психиатрию и, скажем, невропатологию. Поэтому история нервозности должна начинаться с истории сумасшествия.

История эта в Новое время была стремительной. Красивая традиция сложилась так, что ключевой момент в зарождении научного и культурного дискурса психиатрии и «грамотного», «дифференцированного» отношения к безумным принято легко и приятно сводить к элегантному жесту французского психиатра Филиппа Пинеля в знаменитых больницах Бисетр и Сальпетриер — жесту, увековеченному на замечательном полотне Тони Робер-Флери: «Филипп Пинель снимает цепи с больных» (1795). Да, это был действительно большой акт гуманности, заложивший основы психиатрии, — с безумных сняли кандалы, они получили новые условия существования. Как известно (спасибо Фуко), период 1650–1800 годов был эпохой административного ограничения сумасшедших: нерасчлененную массу «неразумных» интернируют, изолируют, запирают: «Исчезнет лепра, фигура прокаженного изгладится или почти изгладится из памяти людей — однако все эти структуры останутся неизменными»[3]. Лишь со сменой культурной парадигмы в конце XVIII века в сторону формирующейся концепции индивидуальности и сочувствия (Лессинг) безумец перестает восприниматься как «неразумное» животное — безумец попадает в поле зрения сочувствующего интереса Просвещения, безумец не виноват, безумие может настигнуть каждого. И когда категория «неизлечимых» распадется на категории «подлежащих призрению» и «потенциально излечимых», тогда и зародится психиатрия и Пинель снимет с больных оковы.

Однако, пишет Фуко, мало что изменилось: безумцев заперли в новых формах репрессии — психиатрических классификациях, на которых врач будет возводить свой особняк власти, ибо «[в]ластные отношения составляли априори психиатрической практики» и «основной предпо-

[3] *Фуко М.* История безумия в классическую эпоху. М., 2010. С. 15.

сылкой этих властных связей было абсолютное правовое преимущество не-безумия над безумием. Преимущество, которое выражалось в терминах знания, действующего на незнание, [...] нормальности, воцаряющейся над расстройством и отклонением»[4]. Такая оптика присуща всей истории психиатрии или же невропатологии. Два совершенно разных и случайных примера из Германии и Франции наглядно демонстрируют эту позицию — как предысторию того «нервного» дискурса, «археологией» которого занялся Радкау.

Первый пример: знаменитая книга немецкого писателя Христиана Генриха Шписа «Биографии безумцев» (1796), за основу которой он взял реальные жизненные истории, разбавив их вымыслом. Изображение сумасшедших целиком заглушается аукториальной манерой рассказчика (иного не допускала и сама поэтика его эпохи), который смотрит на сумасшедших (а они и были-то всего лишь, как сказали бы потом, продуктом своих страстей и нервов) и их истории с позиции сочувствующего «разума» наблюдателя: «Безумие ужасно, но еще ужаснее то, что так легко самому пасть его жертвой. [...] Повествуя Вам о биографиях этих несчастных, я не только хочу пробудить в Вас сочувствие, но и наглядно доказать, что всякий — сам хозяин своего несчастья, а значит, в нашей власти — подобного несчастия избежать»[5].

И второй пример: знаменитый французский психиатр Жан-Мартен Шарко, учитель Фрейда, основатель одного из учений о неврастении, любитель гипноза и создатель «душа Шарко». На своих лекциях по вторникам и пятницам Шарко в буквальном смысле демонстрировал истерию, принципиально исходя из изображаемости симптомов: «Я дам Вам прочувствовать эту боль, я дам Вам увидеть ее свойства. Как? Тем, что я покажу Вам пятерых больных»[6]. Далее начиналась *игра*: появлялась девушка, искусственным образом воспроизводила симптомы истерии под комментарии и объяснения дирижирующего всем действом врача. Истерия получала драматичную театральность, *показывая себя*, ситуация в целом превращалась в перформативный акт, увековеченный на полотне Андре Брюйе (1887).

Что объединяет оба примера? Конечно: аукториальность, позиция власти и решающее слово дирижера. Будь то герои книги Шписа, или фиктивные пациентки Шарко, их проблема, равно как и проблема всех

[4] *Фуко М.* Психиатрическая власть. СПб., 2007. С. 408-409.

[5] *Spieß C.H.* Biographien der Wahnsinnigen. Berlin, 1966. S. 7.

[6] Цит. по: *Ralser M.* Das Subjekt der Normalität. Das Wissensarchiv der Psychiatrie: Kulturen der Krankheit um 1900. München, 2010. S. 40.

больных в классической медицине, одна — будь то серьезное психическое расстройство или легкая нервная дилемма — их *не слышно*. Сумасшедшие, нервные, все выступают «*немыми* носителями знаков»[7]. Рассказчик, врач, все отнимают у героя его слово, голос, лишают его «дееспособности», права говорить и рассказывать свое страдание самому — так, что в итоге психиатрия оказывается «монологом разума над безумием»[8], а «вся действительность [пациента] сконцентрирована во внешней воле — во всемогущей воле врача»[9].

Поворот от такого семиотического обращения с больными к нарративным техникам коммуникации открывает в этой истории совершенно иные стороны. И собственно здесь рождается сама возможность исследования Радкау — жанр истории болезни.

Великая заслуга здесь вовсе не за психиатрией, а за писателем Карлом-Филипом Морицем, который еще до того, как родилась психиатрия, в 1783 году основал журнал экспериментальной психологии «Gnothi sauton!» («Познай себя!») и собирал для него истории, трогательные и прежде всего необычные, истории отклонений и необычных явлений душевной жизни человека. Свои частные истории ему присылали живые люди — таким образом, впервые больной или мучимый своим состоянием субъект обрел возможность говорить и рассказывать свою историю от своего же лица. К этому и призывал Мориц: «Пусть же заговорят безумные, пусть каждый в этом состоянии беспорядка заговорит лишь тем языком, который он выучил, — каждый выскребет обратно на свет мысли, которые он когда-то подумал, пусть даже и лишь однажды, но сразу отбросил их от себя»[10]. Посредством истории больной возвращал себе дееспособность. Неспроста в немецком языке в корне этого слова (*mündig*) лежит «рот» — *Mund*. Ему больше не требуется «опекун», чтобы рассказать его историю, он становится «*речес*пособным» — *sprachmündig*[11]. Больной получает возможность быть услышанным. И его слышит широкая публика.

Сам жанр клинической истории оказался в силу своей схожести с жанром новеллы необычайно популярным — как в медицине, так и среди

[7] *Ralser M.* Das Subjekt der Normalität. Das Wissensarchiv der Psychiatrie: Kulturen der Krankheit um 1900. München, 2010. S. 25.

[8] *Foucault M.* Wahnsinn und Gesellschaft. Frankfurt am Main, 2015. S. 8.

[9] *Фуко М.* Психиатрическая власть. СПб., 2007. С. 174.

[10] *Moritz C.-P.* Gnothi sauton oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. Bd. 3. Berlin, 1785. S. 118.

[11] См.: *Ralser M.* Op. cit. S. 18, 25.

читающих масс, чей интерес подогревался и пикантностью, ужасностью, удивительностью, содержащейся во всякой истории. Это объясняет и феноменальную популярность главного сборника таких историй — «Половой психопатии» Рихарда фон Крафт-Эбинга, своеобразной «Тысячи и одной ночи» сексуальной патологии, даром он пытался скрыть волнующие подробности за латинскими терминами. А истории, описанные Фрейдом, которые он и сам открыто сравнивал с новеллами, были сконструированы уже настолько искусно, что читались как детективы. Так все эти голоса и частные жизни проникли в общественность и культуру, так складывался тот самый повсеместный нервный дискурс, о котором идет речь, и он отделялся от дискурса безумия, не менее мощного, хоть и более быстротечного. Но это уже другая история.

Разделила их в существенной мере сама наука в процессе собственной дифференциации и определения себя и своего предмета. Разделила терминологией. Отправной точкой в истории называния болезненных состояний, при которых не страдала человеческая «материя», могла стать, конечно, только душа — *Seele*, — отсюда возникли и недуги, и болезни, и мир, которые по сути были психическими, но назывались «душевными»: *Seelenleben, Seelenleiden, Seelenkrankheit*; и, соответственно, одним из первых имен самой психиатрии было *Seelenheilkunde* — буквально «умение исцелять душу». А раз появляется понятие болезни, то в игру вынуждена вступить медицина, уже обладающая статусом научного мероприятия, для которого душа семантически перегружена, размыта и, говоря откровенно, сентиментальна. Тогда обратились к понятию *Geist* — дух, так как это уже категория, прижившаяся в философии, пусть статус ее как науки сомнителен, но она выстраивает явления объективного и субъективного мира в систему и пытается их трактовать. Так страдание души в процессе самоутверждения психиатрии как науки перешло в болезнь духа — *Geisteskrankheit*, хотя суть осталась прежней. Но и *Geist* — слишком абстрактно, ибо философично, поэтому лучше психика — *Psyche* — да, тоже абстрактно, но уже конкретнее, так как заимствовано из языка академических кругов. Наконец, болезнь стала психической: *psychische Krankheit*. Почему же лучше всего прижились именно «нервы»? Вероятно, не только потому, что нервные расстройства в обществе превосходят психические количественно. Как кажется, нервы давали больше ощущения некой материальности, нервы были ближе к телу человека, которое он ощущает постоянно, за нервы легче зацепиться, чем за непонятную ученую психику, абстрактный дух, не говоря уже о совершенно эфемерной душе. Нервы оказались ближе к повседневности.

Более того, «нервы» стали стремительно (как и слово «быстро», *schnell*) проникать в ткань языка, поселяться в его плоти. Сам немецкий язык стал приучать своих носителей к нервам как к чему-то повседневному. Так, нервная система называлась *Nervenkostüm* — «нервный костюм», а собственное раздражение стало очень удобно лаконично выражать с помощью нервов: сказать, что кто-то «пилит мне нервы» (*Nervensäge*), или пожаловаться, что у тебя «украли последний нерв» (*den letzten Nerv rauben*). «Нервы» в языке даже победили безумие: так, «Я сойду с ума!» не имеет в виду безумие в клиническом смысле, но подразумевает именно нервную перегрузку — «не выдержат нервы».

Стремление психиатрических наук к власти и расширению сфер своего влияния сказывалось на культуре и положительно. Не только в том плане, что психиатры стали проецировать свои методы и знания на объяснение культуры в широком смысле слова (иногда заходя и слишком далеко, яркий тому пример — евгеника и ее последствия для немецкой истории), но и в том, что она питала культуру художественную, а художники, осмысляя новые, научные концепции человека, не только оформляли культурно-социальные тенденции собственными средствами, но и задавали им впоследствии направление и тон.

Ведь сложно себе представить «нервный» дискурс без яркого периода высокого модерна — открытие внутреннего мира, теперь вдруг объяснимого новыми средствами и словами, обращение «вовнутрь», «вчувствование» готовили золотой рубеж веков, взбудораженный предчувствием будущего, к тому, чтобы это будущее увидеть в нервах. Так, Герман Бар (пожалуй, самый влиятельный теоретик искусства модерна) на рубеже веков абсолютно в духе времени провозгласил, что новая литература повернется к «новой психологии», а новый идеализм — к новому содержанию: «Новый идеализм выражает новых людей. И они — нервы; все остальное успело отмереть, пожухнуть и зачахнуть. Они могут переживать одними лишь нервами, реагировать — из одних лишь нервов. Все происходит на их нервах, и все, чего они добиваются, исходит от нервов. [...] Содержание нового идеализма составляют нервы, нервы, нервы»[12]. По Бару, нервы станут единственно возможным способом выражения нового человека, а «нервозная романтика» и «мистика нервов» вытеснят натурализм. Важно здесь не то, насколько оправдались чаяния Бара в отношении искусства (а некоторые из них оправдались) и сколько сторонников или противников он нашел, но важно, что это — один из

[12] *Bahr H.* Die Überwindung des Naturalismus // Ders. Die Überwindung des Naturalismus. Weimar, 2004. S. 132.

ключевых текстов эпохи, а значит — часть его дискурса, который он во многом и генерирует.

Пример из другой области подтверждает, как слаженно работают дискурсивные механизмы: «Воспоминания нервнобольного» (1900–1902) Даниэля Пауля Шребера — опыт самоанализа, где даже нервное расстройство раскрывается пациентом через понятия нервов. Шребер пишет, что ему удалось перевести свое душевное состояние на «язык нервов», «который здоровый человек, как правило, не осознает. [...] Использование этого языка нервов при нормальных обстоятельствах зависит, конечно, [...] от воли того человека, о нервах которого идет речь. Ни один человек не может заставить другого пользоваться этим языком нервов. Но в моей ситуации, с момента [...] критического поворота моей нервной болезни, настал тот случай, что нервы мои извне и беспрестанно без малейшего повода приходят в движение»[13]. Как и с Германом Баром, здесь важна не реализация идеи в практической жизни, но тот факт, что подобный текст — во всех смыслах слова продукт культуры, и вместе с тем сам — ее созидающий механизм. Как иначе объяснить, что непревзойденнейшим архитектурным шедевром Отто Вагнера была построенная в первое десятилетие XX века в Вене церковь Св. Леопольда для душевнобольных при крупнейшей австрийской клинике для нервно- и душевнобольных Ам Штайнхов? И что в психиатрических клиниках были не только знатные пациенты, но и знатные «гости»?

Психиатрические науки получали особый фидбэк от высокой культуры. Через основанный в рамках науки жанр патографии (клинической биографии выдающейся личности) они осваивали пространство культуры на свой лад — культура неврологического прочтения нервной культуры. Главным проектом этих претензий был знаменитый труд «Гениальность, безумие и слава» психиатра Вильгельма Ланге-Эйхбаума, охватывающий 11 томов патографий практически всех ключевых фигур культурной истории. Проект написания такой «клинической истории культуры» и утверждения психиатрии как ведущей науки не состоялся или не завершился. Однако, как видно, написать культурную историю нервов — достойный проект, который Йоахим Радкау виртуозно воплощает в жизнь на страницах этой книги.

Исходя из частных, отдельных историй пациентов и их болезней, Радкау пишет не просто историю концепции «нервов». История «нервного» дискурса как история говорения о нервах оборачивается историей целой культуры и историей отдельной страны. Психическое, особенно в

[13] *Schreber D.P.* Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Berlin, 2003. S. 34.

своем патологическом, диковинном разрезе, становится основой толкования культуры — как национальной (в плане «особого пути» Германии и ее самосознания), так и художественной (в плане различных модусов рефлексии), и личностной. В колоссальной работе Йоахима Радкау отчетливо просматривается удивительная и редкая жемчужина: История как метод.

Сергей Ташкенов

ВВЕДЕНИЕ

> До сих пор все, что придавало красочность бытию, не имеет еще истории: разве существует история любви, алчности, зависти, совести, благочестия, жестокости?
>
> *Фридрих Ницше, «Веселая наука»*[1]

> Под известной историей Европы течет история подспудная. Она суть не что иное, как судьба вытесненных и обезображенных цивилизацией человеческих инстинктов и страстей.
>
> *Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно, «Диалектика Просвещения»*[2] (см. примеч. 1)

ИСТОРИЯ ГНЕТА СТРАДАНИЙ, ПОИСКА СМЫСЛА И ВОЙНЫ

Имеет ли нервозность историю? Может ли вообще существовать подобная история? Если речь идет о термине и дискурсе, то начало такой истории датируется на удивление точно и даже просматриваются национальные пути ее развития. Около 1880 года сначала в США, а вскоре и в Германии жалобы на нервозность, нервную слабость, «неврастению» становятся знамением времени. Почти мгновенно возникает обширный поток специальной литературы, ослабевающий лишь к 1914 году. Вместе с ним растет подозрение, что эти труды и сами по себе играют немалую роль в распространении нервозности. В 1909 году берлинский врач Отто Штульц предостерегает, что первой заповедью любого невротика должен быть запрет на чтение медицинской литературы. Дискурс нервов стал подпитываться подводным течением самокритики, но и эти тексты повествуют о «нашей нервозной эпохе».

Обаяние нервов вышло далеко за пределы медицины. «Я? Я неврастеник. Это моя профессия и моя судьба», — представляется пациент Зэгемюллер в повести Генриха Манна «Искушение доктора Бибера» (1898). Неврастения — это новое понятие было введено нью-йоркским неврологом Джорджем М. Бирдом и после 1880 года с удивительной скоро-

[1] Цит. по: *Ницше Ф.* Веселая наука / пер. с нем. К. Свасьяна // Ницше Ф. Полн. собр. соч.: в 13 т. Т. 3. М., 2014. С. 249. — *Здесь и далее примеч. науч. ред.*

[2] Цит. по: *Хоркхаймер М., Адорно Т.* Диалектика Просвещения. Философские фрагменты / пер. с нем. М. Кузнецова. М.; СПб., 1997. С. 282.

стью распространилось и в Германской империи. Пример Зэгемюллера показывает, что на рубеже веков неврастения для иных людей становилась полноценным содержанием жизни. История нервозности — это история не только страдания, но и сострадания. Генрих Манн, конечно, иронизирует над своим героем. Но вызывала ли у него веселость сама тема? В 1915 году его друг и врач диагностировал у него «тяжелую неврастению». И для него, и для его брата, Томаса Манна, нервы были более серьезной темой, чем это может показаться современному читателю. В 1910 году поэт Георг Тракль говорил об «общей нервозности столетия» небрежным уничижительным тоном. При этом он сам был «клубком нервов» и очень страдал от своего века, который в другом тексте называл «безбожным и проклятым» (см. примеч. 2). Ирония не всегда правдива, и насмешки над модной тогда темой нервов помогали забыть о собственном недуге.

Первый импульс к написанию этой книги дала биография Дизеля, написанная его сыном Ойгеном. Нежный сын изображает своего отца как вечно спешащего «человека под высоким давлением», который предъявлял к себе те же требования, что и к своему мотору: за счет повышения давления достичь максимального коэффициента полезного действия. Таким образом он стал прототипом своей нервозной эпохи. Его страдания от постоянных перегрузок, сверхтребований, «отчаянных метаний» между различными амбициями были, несомненно, подлинны — судя по всему, изобретатель покончил с собой. Если современных историков медицины смущает размытость концепта неврастении, то история экономики и техники ясно показывает, что жалобы современников на мучительные «суету и гонку», сколь бы стереотипны они ни были, имеют под собой вполне реальную основу. И в то же время судьба Дизеля указывает на то, что проблемы с нервами возникали не только за счет внешнего давления технического прогресса, но и изнутри, за счет переноса на самого себя технических идеалов эпохи.

Разразившаяся в 1880-е годы эпидемия нервозности — очевидное начало современного опыта стресса: именно тогда стресс впервые становится историческим событием. Но было ли происходившее тогда аналогично современному стрессу? Без надежной проверки нельзя проводить параллели между днем сегодняшним и тем, что понималось под нервозностью 100 лет назад. Нужна работа археолога. К примеру, угроза инфаркта тогда не была типична для неврастеника. Неврастения считалась «возбудимой слабостью», причем элемент слабости поначалу доминировал и заставлял потенциальных пациентов направляться на курс лечения. Лишь со временем усилился элемент суеты, рассеянной и судо-

рожной сверхактивности. Вопрос не только в том, какое именно явление считалось тогда нервозностью, но и в том, когда это понятие стало размываться. И еще интереснее, как культура пришла к тому, чтобы представить подобное пограничное состояние в качестве характерного расстройства.

Как тревожная нервная панорама эпохи воплотилась в конкретном понятии и стала доступна для осмысления и обсуждения, мне удалось проследить в дневниках своего деда. Любопытство проснулось, когда я обнаружил, что дневники существуют в двух версиях — оригинальной, написанной в отмеченный день, и второй, более поздней, переписанной для детей и озаглавленной *Memorabilia*. Этот мой дед, жизнь которого отмечена датами 1868–1932-й, со своей военной выправкой, сверкающим взором и лихо закрученными кверху усами, на фотографиях кажется олицетворением образованной буржуазии кайзеровской Германии. Это был воспитанник военного корпуса, мечтавший стать офицером и восхищавшийся не только историком Генрихом фон Трейчке, но и локомотивами. Впоследствии, став лютеранским священником, он воплотил в себе союз трона и алтаря. На фотографиях видно, как после падения кайзеровской Германии он за короткий срок чисто физически одряхлел и состарился, хотя ему было на тот момент всего около 50. В *Memorabilia* за февраль 1901 года он с горьким сожалением вспоминал о «великой перемене», которая произошла с ним тогда и одарила его «бедой», «клином вошедшей во всю его жизнь»: «У меня появились — нервы». Этот первый внезапный всплеск нервозности он пережил утром 28 января 1901 года в небольшом соборном кабачке в Брауншвейге, который всегда был таким «патриархально-уютным». В оригинальной версии дневника он в тот день волшебного слова «нервы» еще не нашел, и там было записано, что у него «внезапно так заколотилось сердце, [что он] просто не мог больше ждать [...] и в волнении без конца бродил по городу несмотря на сильный снегопад». Его спонтанной реакцией был не курс терапевтического лечения, а движение — чтобы вытеснить неприятное ощущение. Поначалу для этого тревожного волнения у него не нашлось нужного слова, и лишь месяц спустя он впервые использует «нервы». Как будто нервы сами по себе были нарушителем спокойствия. В написанных позже *Memorabilia* нервы обретают собственное бытие, как вторгшийся из внешнего мира чужак: «Да, это был фатальный гость, которого я завлек в свой привычный дом, и совсем ужасно было то, что он там расположился и уже никогда не покинул».

Что же случилось до того? В 1899 году, в один год с кайзером Вильгельмом II, дед мой совершил путешествие в Палестину. На то была особая

причина — он мечтал стать пастором в немецкой диаспоре на Святой Земле. Однако его *Memorabilia* на удивление мало говорят об этой поездке, меньше чем о велосипедной поездке из Брауншвейга в Хильдесхайм. Дело в том, что поездка к Святой Земле обернулась для него чрезвычайно странным и непонятным опытом, после чего его романтические планы о пасторстве в Земле обетованной развеялись как дым. В оригинальном дневнике записи про Святые места куда подробнее: «Плач прокаженных просто чудовищен, его невозможно себе представить». «Религиозное чувство не получает никакой подпитки». Уже предыдущая вылазка в Александрию, тогдашний греховный Вавилон, «несколько подпортила» его настроение и пробудила тревожные плотские потребности. До этого он «со всей серьезностью намеревался не жениться», чтобы подать своей пастве пример аскезы. Теперь его душевному покою пришел конец. В 1901 году на меловых скалах Рюгена ему припомнился вид с горы Кармель, и воспоминания ожили вновь. «Кучера на обратном пути посадили с собой на козлы двух девушек! [...] Я занервничал!» И в последующие дни все время одно и то же: нервы! Ему удалось попасть на прием к знаменитому Швенингеру, бывшему лейб-врачу Бисмарка. Тот укрепил его в намерении жениться, поскольку в этом случае «все пройдет само собой». Пациент отметил этот совет двумя восклицательными знаками и женился. Этому терапевтическому приему я обязан своим появлением на свет. Однако от своей нервозности дед так и не избавился. Ключевое слово «нервы» вошло в его лексикон раз и навсегда. Все началось с кризиса смыслов и — одновременно — возбуждения чувственности и уже никогда не успокоилось. Что-то подобное произошло и со всей Германской империей. Неврастения наделила смыслом целый пучок жалоб. Однако и этот смысл не помог обрести покой.

Об истоках Первой мировой войны написаны целые библиотеки. И тем не менее остается психологической загадкой, почему немецкие правящие слои ввязались в мировую войну, больше того — спровоцировали ее и отчасти действительно к ней стремились. Ведь время до 1914 года, по крайней мере для людей состоятельных и благополучных, было прекрасным, настоящей *Belle Époque*. Откуда эта неспособность наслаждаться мирным счастьем, удержать его? Поначалу кажется, что история нервов, которая раскрывает «мягкие», далеко не милитаристские стороны довоенного общества, только усугубляет эту загадку. Однако поиски смыслов и нервных сил содержат и ключ к решению. В итоге тема нервозности натягивается огромным козырьком над всем пространством культуры — от медицины до политики, от неврологических клиник до придворного сообщества. Нервозность как болезнь и

как состояние культуры, как индивидуальный опыт и как состояние нации: вследствие исторических процессов все эти многочисленные нервозности со временем образуют общую нервозность эпохи.

Развязывание Первой мировой войны обычно объясняют структурой международной политики в эпоху империализма и/или социальными структурами кайзеровской Германии. Однако ни первое, ни второе объяснение не обладает неизбежной логикой. Здесь кроется еще не получившая удовлетворительного теоретического объяснения и решаемая в основном за счет красноречия проблема взаимосвязи между структурами и цепочками поступков, изменяющих эти структуры. Чтобы преодолеть это, нужно выяснить что-то о кинетической энергии общества — о той расходящейся и все изменяющей тревоге, которая взаимосвязана с тем, как именно познаются существующие структуры. Это также побуждает точнее исследовать ту «нервозность», о которой столько говорилось и писалось в эпоху, предшествующую 1914 году.

Чтобы понять, что тогда происходило, нужно все время помнить о двуликости понятия «нервозность»: она была культурным конструктом и в то же время подлинным расстройством. Взятые в отдельности симптомы — кишечные и желудочные боли, импотенция, сердцебиение, бессонница, состояние тревоги и слабости — многозначны и не специфичны; целостной нервозностью они становятся лишь посредством обобщения и интерпретации. Однако в свое время эти истолкования не были произвольны. Культура — это не намеренно действующий субъект, запросто выдумывающий себе болезни. И нервозность того времени — не просто модное слово — она была и остается тревожным и мучительным подлинным опытом.

Да, без дискурса нервов нет нервозности. Вплоть до свидетельств пациентов, начиная с моего деда, прослеживается, как вибрирующий образ нервов высвобождает этот опыт. Но в том-то и дело: правильно понятая история дискурса — это история не только слов, но и — еще более — живого опыта. Слишком часто «история дискурса» вырождается в историю одних дискуссий, как будто вся всемирная история есть бесконечное заседание ученых мужей. Дискурс нервов представлял собой иное явление: у него не было модератора и были, как мы увидим, собственные дикие, непостоянные, эмоциональные эскапады. В этом и его прелесть для исследователя, и его опасность.

Обаяние литературы о нервах состоит в первую очередь в том, что в ней чувствуется собственный опыт пишущего, его опыт самопознания. Если неврологи постоянно заверяют, что при всей путаной симптоматике неврастению все же легко идентифицировать, то эта уверенность

произрастает не только из трезвого анализа, но также из интуиции и внутренней близости. И у Бирда, автора понятия «неврастения», заметен личный опыт этой болезни, и у немецкого специалиста Пауля Мёбиуса нетрудно разглядеть, что он пишет о себе. В оскорбительных письмах, которыми засыпали его шведские феминистки после выхода в свет его работы «О физиологическом слабоумии женщины» (1900), они с особым удовольствием нападали на его «нервозность». Для них она проявлялась в его враждебности к женщинам и понималась ими прежде всего как сексуальное бессилие. «Мы над Вашей книгой [...] ужасно хохотали. [...] По одному тому, что такая книжка в принципе может быть написана, очевидно, как дегенерировали немцы. [...] Вся она свидетельствует о самой страшной нервозности и тревоге» (см. примеч. 3).

Невролог Вилли Гельпах, в начале XX века самый расторопный молодой автор по теме «нервозность» и один из основных моих свидетелей, не делал тайны из того, что расстройство, с которого когда-то началась его карьера, было и его собственной проблемой, и вместе с тем его шансом. Когда он был молодым врачом, «его страшно раздражало» ожидание пациентов, пропускавших прием. Его нерешительность в любви и двойная жизнь также выводили его из себя. «Моя жизнь становилась все более безнадежна. Я видел лишь кучу осколков и руины». Когда он открыл нервозность как свою тему, он знал, о чем писал. Однако им руководило не одно только страдание, но и честолюбие. «Ходят слухи, что неврологу принадлежит будущее, XX век будет веком неврастении и ее преодоления». Именно неудержимая радость открытия неисследованных регионов обыденности сделала его тем, что он стал не крупным ученым, но медиумом своего времени. «Гельпах говорит обо всем, обо всем на свете», — смеялся его гейдельбергский коллега. Фрейд, однако, заверял Гельпаха, что относит его «к честным искателям истины, к каковым отношу и самого себя» (см. примеч. 4).

Диагноз, поставленный благодаря интуиции и самопознанию, имеет собственную сомнамбулическую надежность, а также коварство. Это еще больше относится к «нервозности» как к политическому диагнозу. Немецкая история нервозности — в кайзеровской Германии и после нее — повествует не только о психосоматическом расстройстве, но и о взаимодействии опыта расстройства и сознания своей эпохи. Это делает тему актуальной и сегодня, когда психологическая игра с собой и с миром определяет сознание более, чем когда-либо, и терапия, а также решение подвергнуться ей, стали существенной частью общения с собственным *Я*.

I. *Магистрали и перекрестки в истории нервов*

ПО СЛЕДАМ ВЫСОКИХ ТЕОРИЙ — О НЕРВОЗНОСТИ МОДЕРНА

Эта книга предполагает, что рассмотрение истории феномена нервозности нуждается в прицельной точности и индивидуальном подходе — нужно направить оптику на записи самих «нервнобольных», исследовать не только общую нервозность Нового времени, но и конкретные, частные истории. Правилен ли такой подход? Может быть, тема «нервозность» нуждается не в дотошном расследовании, а в антропологии, философии истории, универсальной великой перспективе? Может быть, мы наивно путаем слова и феномены, предполагая, что если понятие «нервозность» принадлежит модерну, то и сам феномен нервозности также родом оттуда? Разве тревоги и дрожь неудовлетворенных желаний не известны людям с незапамятных времен? «Погоня и охота дарят сердцу человека вспышки неистовства», — учил Лао-цзы в VI веке до н.э. Тоска по спокойствию духа уже тысячи лет остается одним из основных мотивов философских учений.

Следует ли из этого, что расстройство, которое мы сегодня называем «нервозность», идет из глубокой древности? В известном смысле — да: древний субстрат у него, безусловно, имеется. Мы имеем дело не только с обусловленными эпохой констелляциями, но и с одним из основных состояний человека. Однако тысячи лет ядром любой жизненной мудрости было обуздание страстей. В «нервный век» основной опыт, напротив, был иным: многие страдали от надлома, нерешительности чувств и тосковали по сильной страсти, способной собрать и направить в общее русло всю энергию. Именно этим объясняется политическая взрывоопасность интерпретации мира через «нервы». Артур Имхоф видит в истории Нового времени ментальный процесс снижения конкретных страхов и рост неясных тревог. Если это так, то конкретная угроза — такая как война — способна вызвать чувство облегчения. Швейцарский правовед Карл Хилти на рубеже веков иронизировал, что немцы любят завершать свои доклады о нервозности словами Бисмарка: «Мы, немцы, боимся Бога, но кроме него — ничего на свете». На самом же деле, по словам Хилти, как

раз Бога многие немцы не боятся, зато боятся многого другого, «а это и образует одну из главных причин неврастении» (см. примеч. 1).

Подавленность и уныние терзали людей уже в древности: меланхолия представляет собой исходную форму психического расстройства. Однако неврастения — не то же самое: она принадлежит тому культурному кругу, в котором умеренная меланхолия поддерживается многочисленными стимуляциями. Такой же древний, мифообразующий феномен представляет собой ярость. Но то наполовину сдержанное раздражение, которое связано с полупреодоленной меланхолией, носит скорее модерные черты и подходит обществу, в котором не принято безудержно предаваться подобным страстям. Чезаре Ломброзо, известнейший итальянский психиатр конца XIX — XX века, считал неврастению характерной чертой своего времени, когда эксцессивные чистые формы неистовства и уныния отступали, а на сцену выходили «расстройства рассеянности» (см. примеч. 2).

Нервная слабость вследствие перегрузки: может ли это быть историческим новшеством? Изношенность тела за счет тяжелого труда известна, конечно, всю историю земледелия. Однако мир труда тысячи и тысячи лет находился во власти привычек и подчинялся ритму времен года. В традиционном аграрном обществе зима была временем относительного покоя, а вместе с тем темноты и холода, замирания жизненных соков и меланхолии. Непрестанная работа, напротив, увязывалась с хорошими сезонами: «торопливая страда» была привычной фразой. «Во время срочных полевых работ, — пишет сельский врач в 1905 году, — в сельском населении возникает трудовой порыв, он захватывает и гонит на работу все и вся, что только к нему способно». Даже «нервнобольной», «охваченный трудовым пылом», забывает о своем расстройстве (см. примеч. 3). Таким образом природа управляла психической стороной труда, пока непосильные поборы не парализовали волю к труду.

В городах форма и темп труда даже в XIX веке в значительной степени также регулировались привычками и природными ритмами. Лишь на рубеже веков стали наступать перемены. Невролог Франц Виндшейд в 1909 году отмечал, что «чувство, что не успеваешь что-то доделать» — «один из наиглавнейших источников» «профессиональной нервозности». Психиатр Ганс Бюргер-Принц справедливо называет хроническую боязнь не успеть выполнить повседневные задачи, не справиться или сделать что-то неверно массовым явлением модерна. То же можно сказать о мучительной разбросанности внимания. Вилли Гельпах[1] даже ста-

[1] Гельпах Вилли (1877–1955) — знаковый и тем самым типичный персонаж профессиональной культуры своей эпохи: некогда ученик самого Вильгельма Вундта, Гельпах вписал себя в историю как врач, психолог, журналист и политик-

вил точную дату: «рассеивание нагрузки» стало «всеобщим правилом» «где-то с 1890 года» (см. примеч. 4).

Итак, определенные типы психической нагрузки становятся массовыми лишь в Новое время. Но стоит ли историку переходить на микроуровень и изучать индивидуальные случаи? Может быть, тема требует мегаанализа: поисков психологических инструментов для теорий модернизации? Разве нервозность не вытекает логически из основных модерных процессов, прежде всего подъема капиталистической конкуренции, индивидуализации, ускорения? Рассмотрим эти процессы внимательнее.

Начнем с причинно-следственной связи между капитализмом и нервозностью: эта связь кажется особенно сильной и бесспорной. Понятно, что конкуренция и ставка на высокие показатели, слияние рисков и шансов, подъемы и спады конъюнктуры, суетные вибрации биржи, тенденция к перманентным инновациям — все это означало для множества участников и жертв этих процессов аномальную нагрузку. «Щекочущее напряжение», по словам Фернана Броделя, пронизывает уже торговый капитализм раннего Нового времени (см. примеч. 5). В таком случае та «борьба за существование», на которую жалуются авторы трудов по нервозности, в конце XIX века новостью не была.

Но целиком и полностью свободный рынок существует только в экономической теории, а не в исторической реальности. Стремление к безопасности было всегда слишком сильным, и потому субъекты экономики во все времена проявляли замечательную изобретательность, как только им угрожала неопределенность тотальной свободы: вступали в действие привычки, договоренности, семейные связи, картели, закрытие национальных и региональных рынков. Постоянные инновации далеко не всегда служат жизненным законом капитализма, как считают экономисты-теоретики. Закон инерции и здесь проявлял свою силу, и в научных трудах его действие нередко обнаруживается между строк.

демократ. Самый цвет «нервного модерна» приходится на начало как его научных изысканий в области социальной патологии нервозности, так и трудовых будней в качестве невролога. Однако круг проблем, как и положено духу науки и времени, стремится вписать себя в более широкий дискурс и утвердиться в основополагающем — в культуре как таковой. Так, практически полувековой научный путь Гельпаха от «Проституции и проституток» (1905) до «Немецкого характера» (1954) затрагивает темы религии, воспитания, образования, гигиены, труда, искусства, творческого акта, урбанизма, социума, этноса, географии и проч., — по сути, преломляя психиатрическую дисциплину культурологически. Несмотря на столь широкий горизонт интересов, Гельпах известен прежде всего как один из лидеров и родоначальников геопсихологии, и шире — психологии среды.

Но в конце XIX века экономические отношения в Германии становятся все более бурными, стереотипная жалоба на «травлю и охоту» была не пустой фразой. Как писал в 1911 году исходя из собственного опыта социолог и философ Макс Вебер, на рубеже веков из-за обострения конкуренции многие индустриальные предприятия, которые еще недавно почти не занимались учетом прибыли, были вынуждены перейти к строгим калькуляциям своих доходов. Эти тяжелые времена оставили свой след в нервных клиниках — как, например, в истории текстильного фабриканта из-под Аахена, 51 года, в 1907 году прибывшего в санаторий Бельвю[2] на Боденском озере: «Пациент с 14 лет постоянно перенапряжен [...] повсюду ощущает беспокойство, "нигде не задерживается надолго", меняет врачей и курсы лечения». Его родственник уверяет, что для экзистенциальных тревог фабриканта в принципе нет оснований, все дело только в том, что смена эпох отняла у него чувство безопасности: конкуренция в текстильной сфере лишила ее былого уюта и повлияла на рентабельность. «Пережить этот факт (он) не в силах, и это его постоянно злит и мучает». И теперь он «из каждой мухи делает слона» (см. примеч. 6). Даже когда дела шли хорошо, новые обстоятельства — необозримость экономики и постоянная необходимость держать уши востро — оборачивались для чувствительных натур вечной мукой.

Капитализм влияет на психику не только своим давлением, но и заманчивыми перспективами — сулит новые шансы и создает новые потребности. «В начале была Англия. И удовлетворенность ушла из этого мира», — лаконично комментирует один эконом начало индустриальной революции (см. примеч. 7). Не случайно в XVIII веке нервные расстройства нового типа фиксировались как «английская болезнь». Хроническое недовольство объясняется самой сутью денег: ведь она заключается не в исполнении определенного желания, а в создании шанса для удовлетворения любых потребностей. Деньги становятся мате-

[2] Санаторий Бельвю — с 1857 до 1980 года легендарная психиатрическая клиника в Кройцлингене (Швейцария), которой руководили четыре поколения семьи прославленных психиатров Бинсвангеров: Людвиг-ст., Роберт, Людвиг-мл. и Вольфганг Бинсвангеры. Клиника сыграла существенную роль в развитии теоретической и практической психиатрии. Так как клиентуру клиники составляли в основном выходцы из аристократии, она стала и знаковым культурным топосом, особенно в период интенсивной (и во многом эстетической) мифологизации психических отклонений как сопроводительных признаков творческого склада человека. Так, среди пациентов и гостей клиники были известные ученые, художники и поэты (в культурной истории этот феномен стал называться «богемой на Боденском озере»), такие как Нижинский, Грюндгенс, Кирхнер, Франк, а также Анна О., самая знаменитая героиня «Исследований истерии» Брейера и Фрейда. Клиника была закрыта по финансовым причинам.

риальным фундаментом для состояния, в котором человек испытывает постоянные смутные вожделения.

Тем не менее в истории деньги не всегда и не автоматически играли такую роль. Зачастую они служили в первую очередь, для того чтобы удовлетворять привычные и заданные потребности. Но были исторические фазы, когда заложенная в деньгах психодинамика обострялась; эпоха нервозности явно была именно такой фазой. Главный социолог модерна Георг Зиммель в «Философии денег» (1900) дал тогда классическое определение ментальных последствий монетаризации, затронув самый центр мира нервов: например, когда описывал, как деньги ускоряют «темп жизни» и производят вечный непокой, вечное метанье между множеством разнообразных желаний (см. примеч. 8).

Индивидуализация — из этого секулярного процесса тоже вполне логично проистекает нервозность. Если исходить из того, что в течение Нового времени индивид покинул уютный и обыденный мир заданных социальных порядков, то это означает, что уже за счет секулярных тенденций он попал в тревожный новый мир ненадежных норм, где нет постоянного распределения социальных ролей, где нужно обо всем заботиться самому и нести собственную ответственность. И поскольку с другими людьми происходит то же самое, то столкновения различных жизненных проектов становятся все более жесткими и судорожными. Психический стресс — так можно было бы продолжить — набирает силу благодаря растущей вместе с ним рефлексии. Мало того, что место, где ты находишься, объективно небезопасно, — психическая неуверенность нарастает еще и благодаря эгоцентризму, хаотичным размышлениям о небезопасности. Поведение, в котором человек руководствуется инстинктом безопасности, осталось в прошлом. Человек вечно сомневается: правильный ли он сделал выбор — будь то профессия, партнер или образ жизни — и отвечает ли он соответствующим требованиям. Внешние принуждения сменяются самодисциплиной. Однако воспитание дисциплины в самом себе идет далеко не гладко, тем более в мире, который все усложняется и подает личности все более противоречивые сигналы.

Но и индивидуализация не настолько связана с модерном, как часто думают. Уже средневековые монахи предпочитали индивидуальный образ жизни: стоило ослабеть дисциплине орденов, как монастырские общественные помещения опустели (см. примеч. 9). Вместе с тем и в Новое время процесс индивидуализации был не единственным, у него были конкуренты, его сопровождали противоположные тенденции социализации. Достаточно вспомнить, что на протяжении большей части

истории человечества в регионах с холодной зимой множество людей просто чисто физически не могли себе позволить образ жизни на большой дистанции от своих домочадцев. Топили только дровами, и дрова стоили дорого. Даже если в царстве идей набирал силу индивидуализм, то в реальности стужа заставляла людей жаться друг к другу.

Однако со второй половины XIX века, когда за счет массовой добычи каменного угля отопление стало дешевле, телесная дистанция стала расти. Теперь можно было совсем по-другому прочувствовать и стыдливость, и страх заражения, и эгоцентрическую возбудимость, и одинокие фантазии. Однако стабильные формы жизни выросли из этого далеко не так скоро — жизнь в одиночку становилась нормой долго и постепенно. Мать 25-летнего электротехника, уже побывавшего в Америке и попавшего в санаторий в 1901 году из-за неврастении, считала его «идею жизни в одиночку» ошибкой, хотя сын тосковал по автономии и связывал с ней мысль о «неуютной *chamber garnie*[3]». Пауль Мёбиус[4] из собственного опыта рассказывал о жалкой холостяцкой жизни в съемных комнатах — недаром здесь так много нервных: «вскоре на тебя начинает давить нужда, отвращение к этому жилью и его хозяевам, кабакам, нехватка пуговиц на рубашке и прочее и прочее». Типичные обитатели меблированных комнат совершенно беспомощны перед уличным шумом, детским криком и бренчанием пианино (см. примеч. 10). В семьях индивидуализм тоже набирает силу; но пока в игру не вступили соответствующие виды толерантности, потребности личности были источником внутрисемейных трений. Невролог Вильгельм Гис-младший[5] ви-

[3] Меблированная комната (*фр.*).

[4] Мёбиус Пауль Юлиус (1953–1907) — одна из ключевых фигур научной и культурной истории немецкой психиатрии, автор важных работ по истерии и психогенезу психических заболеваний. Внес существенный вклад в дифференциацию и систематизацию психических расстройств (которую детально проведет его друг, великий Эмиль Крепелин), впервые разделив их на эндогенные (обусловленные внутренними факторами нервной системы) и экзогенные (вызванные внешними явлениями). Мёбиус активно расширял поле психиатрического авторитета, экстраполируя научные знания и методы на культуру: ему принадлежат знаменитые патографии Шумана, Шопенгауэра, Ницше, Руссо и даже Гёте. Несколько неприятный след в истории Мёбиус оставил сочинениями «О вырождении» (1900) и «О физическом слабоумии женщины», которые, однако, органично вписывались в научные тенденции эпохи и еще не несли в себе того разрушительного заряда, который в эти идеи позже вложат национал-социалисты.

[5] Гис Вильгельм-мл. (1863–1934) — сын известного швейцарско-немецкого анатома (того самого, который не только реконструировал лицо И.С. Баха, но и заложил основы теории нейронов); изначально шел по стопам отца и даже со-

дел подлинную причину нервозности в «субъективизме, который все и вся обращает на собственную персону, ее благополучие и чувственное наслаждение». Однако не одно наслаждение: в истории болезни одного неврастеника, юриста 23 лет, им самим написанной на 55 страницах, повторяется жалоба на «чувство, что толком не знаю, где я», и поэтому ему все время страшно (см. примеч. 11).

Ускорение, цейтнот — еще один характерный признак модерна, причинно-следственная связь с нервозностью конструируется здесь напрямую. Однако и эта глобальная тенденция была прерывистой и нарушалась другими, противоположными. С тех пор как «время» стало модной среди историков темой, обсуждается, что временна́я дисциплина стала крепнуть уже с Позднего Средневековья, когда на ратушах и башнях появились городские часы. Отчасти да, но еще несколько столетий часы эти шли не точно и имели скорее символическую, чем практическую ценность. Серьезную перемену повлекло за собой появление настенных часов и железнодорожных расписаний — уже в XIX веке. Однако и в то время карманные часы с золоченой цепью, украшавшие дородные животы, скорее повышали статус своего обладателя, чем вынуждали его гнаться за временем. Поначалу трудовая дисциплина означала только одно — вовремя начать рабочий день, и лишь в конце XIX века был введен постоянный контроль за темпом работы. В природе многих людей в то время еще сохранялась прежняя неторопливость. И тем более суетными они становились от наступающего на их жизнь ускорения. Словами Роберта Музиля: «...словно старое бездеятельное человечество уснуло на муравейнике, а новое проснулось уже с зудом в руках и с тех пор вынуждено двигаться изо всех сил без возможности стряхнуть с себя это противное чувство животного прилежания» (см. примеч. 12).

Однако, как совершенно верно отметил Гельпах, эпоха модерна ускорила темп не во всем и не везде — в некоторых отношениях «темп развития человека замедлился». «Мы нуждаемся в более длительных сроках для воспитания... почти все культурные народы медленнее и обстоятельнее едят, чем большинство народов “природных”; в течение XIX века с его бурным ускорением транспорта замедлился карьерный рост, продвижение по службе становится все более тягостным». Уже бюрократизация служила тормозной колодкой, так как — словами одного авиатехника — «суть бюрократизма во все времена — тянуть время»

вершил ряд значительных открытий в области эмбриологии сердечно-сосудистой системы, но в первое десятилетие XX века, поддавшись очарованию эпохи и эстетической подоплеке «сердечного нерва», увлекся естественно-научным гуманизмом и психологической этикой врачебного искусства.

(см. примеч. 13). Однако того, для кого возросшая скорость уже стала второй природой, эти замедления как раз и выбивали из колеи. Время на сломе веков стало эпохой, когда новый темп стал не только внешним фактором, но был усвоен самими людьми посредством велосипеда и автомобиля, спорта и кино.

Подводя итоги: все те магистральные тенденции Нового времени, которые представляются причинами нервозности, никогда не действовали без помех, они всегда пробуждали противоположные силы. В конце концов, люди сами творят свою историю и не позволяют ими же спровоцированным неприятностям развиваться до бесконечности. Да и без намерения человека мир становится все сложнее и комплекснее по мере глобализации. Но общую историю социальных систем можно интерпретировать, словами Никласа Лумана, как процесс редукции комплексности. Получается, для новой нервозности вообще нет причины, по крайней мере на уровне системной динамики?

И все же, в исторической реальности редукция комплексности проходит не гладко. Социум отвечает на эффект модерного стресса, как правило, не сразу, но с отставанием, и далеко не все участники этих социальных реакций при этом выигрывают. Как раз тормозящие силы способствуют тому, что определенные модернизирующие процессы, стоит только ослабнуть тормозным механизмам, сдают назад и вызывают тяжелые потрясения: именно так и происходило, очевидно, в «эпоху нервозности». Более того: между процессом и ответной реакцией на него далеко не всегда устанавливается спокойный баланс, нередко возникают узлы и перемычки, создающие новые центры напряжения. К примеру, один такой изнурительный для психики узел появился между новыми нездоровыми привычками того времени и массовым реформ-движением[6] за

[6] *Reformbewegung, Lebensreform* (нем. — реформа жизни) — движение, распространявшееся с середины XIX века и принявшее в Германии модерна нешуточный размах. За отсутствием единого центра оно породило множество субкультур, ключевые аналоги которых наблюдаются и в XXI веке. «Реформаторы» выступали с критикой урбанистической культуры: в современном прогрессе им виделись симптомы упадка общества, всяческие «болезни цивилизации» (другими словами, «заката Европы»), «лечить» которые нужно «естественным», «сопряженным с природой» образом жизни. С этим связан и парадокс «реформаторского» бума: выступая изначально движением антимодерным и даже реакционным, критикующим индустриализацию и материализм, противники современности оказались законодателями новой моды на новую современность. Реформе подлежали практически все стороны бюргерской жизни. Впервые двигателем культурного развития стал целенаправленный и принципиальный поиск *альтернативы* (ср. ключевые для современности понятия альтернативной музыки, альтернативной медицины и проч.), колеблющийся между проду-

оздоровление. Стремительный переход к сидячему образу жизни, рост потребления мяса, соли, сахара и все более массовая доступность таких стимуляторов, как алкоголь и кофе, — все это составляло материальную основу того, что 100 лет назад понимали под нервозностью. Скопления газов, чувство переполнения, запоры — все эти расстройства являются важной и еще не полностью изученной частью истории телесных ощущений Нового времени. Немало источников неприятностей, вызывающих общее состояние дискомфорта и раздражительности, можно обнаружить в кишечнике. Другие связаны со стимулирующими жидкостями — кофе и алкоголем. Сторонники жизненных реформ боролись против вредоносных привычек, однако часто мало что могли изменить и приходили лишь к угрызениям совести и тревожным самонаблюдениям. В 1911 году в санатории Арвайлер целыми днями лежал на шезлонге тучный священник, про которого писали, что все «его мысли» вертятся «вокруг его стула» (см. примеч. 14).

манной сдержанностью и ажиотажной крайностью. Так, например, одни радели за новый стиль одежды — в угоду эмансипации, практичности и здоровья, в то время как другие пропагандировали и практиковали натуризм, которого от простой наготы нудизма отличала как раз крепкая идеологическая составляющая (культурная интегрированность этого течения отражается также и в самом немецком обозначении *Freikörperkultur* — «культура свободного тела»). Стародавнее «назад к природе» оборачивается разумной практичностью, выливаясь в антиурбанистические формы жизни, в основном по типу коммун и крестьянских поселений, хотя и здесь эстетство во многом взяло верх над идеологией — достаточно вспомнить, например, основанную в 1889 году Ворпсведскую колонию художников в Нижней Саксонии, взрастившую целую плеяду импрессионистов и экспрессионистов. Единения с природой под народные песни у костра искали и «Перелетные птицы» (*Wandervögel*) — молодежное движение, по сути, немецких скаутов, проявлявших экологическую сознательность. И естественно, свои претензии на излечение недугов модерна заявила пропитавшаяся верой в витализм альтернативная медицина — так называемая натуропатия. Одержимость витаминами еще не настигла модерного человека, зато его с головой накрыло альтернативное питание — от банально модной поверхностной диететики до более продуманных форм вегетарианства и сыроедения (в Германии до сих пор, помимо традиционных биомаркетов, существуют и реформ-магазины рационального питания — *Reformhaus*). Легендарный швейцарский диетолог Макс Бирхер-Беннер в первые годы XX века не только изобретает мюсли и придумывает ряд энергетических диет, но и открывает легендарный санаторий «Жизненная сила»: примечательно значение, которое на рубеже веков в Германии отводится медицинским концепциям — свою здравницу Бирхер-Беннер называл «школой жизни» (как называлась и реформ-педагогика его эпохи), в то время как гостивший в ней Томас Манн нарек ее «гигиенической каторгой» из-за господствующей «терапии порядка», что, однако, не помешало ему взять санаторий за пространственную модель знаменитой «Волшебной горы».

Нервозность модерна часто дефинируют как перевозбуждение и считают следствием стимуляторов модерной цивилизации. Никлас Луман, напротив, утверждает, что «сверхпотока раздражителей» вообще не может быть. Потому что «нейрофизиологический аппарат» резко отключает сознание и «оперативный медиум-разум» довершает «работу, чтобы позволить актуализироваться только тому, что хорошо переваривается». Но чтобы человек был способен реагировать на опасность, нервная система не имеет права полностью «отключать» сознание от внешних помех. Она должна передавать и предупредительные сигналы. «Оперативный медиум-разум» также не всегда работает совершенно. Там, где смысл жизни подвергается сомнениям, восприимчивость к раздражителям, вызывающим замешательство, возрастает, как было, например, с моим дедом в Палестине. Аналогичная динамика наблюдается на уровне всей империи того времени.

Этот вид нервозности не обязательно носит характер болезни. Напротив, без способности к ней люди и социальные системы не выживали бы в непривычных опасных ситуациях. Психика человека может многое вынести, и по современному уровню знаний уже нельзя, как прежде, автоматически исходить из того, что общество модерна вызывает психические расстройства. Долгое время многие считали эту причинно-следственную связь ясно доказанной. Примерно в 1910 году писали, что процент душевнобольных в Пруссии в 182 раза выше, чем в Индии. И еще в 1960-е годы Мишель Фуко и «новые левые» возвели связь между «безумием и обществом» чуть ли не в догму. Однако картина полностью изменилась, когда в 1970-е годы всемирные исследования ВОЗ показали, что процент тяжелых психозов — постоянная величина, не зависящая от общества (см. примеч. 15).

Но с менее тяжелыми нервными расстройствами дело обстоит иначе. Как замечает Карл Ясперс, у неврозов свой «стиль времени», и у неврастении это именно так (см. примеч. 16). Какую бы роль ни играло тело в возникновении недуга, его динамика определяется окружающей средой. Это — главное. Нервозность не обладает никакой сутью, которую можно было бы абстрагировать от ее протекания, но как функциональное расстройство она проявляется именно в том, как пациент ее проживает: какие механизмы он запускает, чтобы от нее избавиться, и как он взаимодействует с окружением. Эта реакция пациента на свою нервозность и это взаимодействие определяют роль и место такого расстройства в Истории. То, что в медицинских учебниках тщательно разделено на этиологию, симптоматику и терапию, здесь перемешивается друг с другом. Пребывания на курортах и водолечебницах, с помощью которых неврастеники стремились облегчить свои страдания, становились

составляющими стиля жизни невротика; при этом нервозность превращалась из болезни в некий феномен страдания и вожделения. Насколько серьезной болезнью были нервные расстройства, во множестве частных случаев историку реконструировать невозможно, да в принципе и не нужно. Гораздо важнее осознавать, что нервозность была динамично развивавшимся культурным явлением первостепенной важности, породившим новый опыт восприятия эпохи и мира.

КАРЬЕРА «НЕРВОВ» КАК ПОНЯТИЯ

Под словом «нервы» даже в Новое время еще долго понимались мускулы и сухожилия. Обозначать тонкие передатчики возбуждения они стали только в VIII веке, и это изменение пришло из Британии. Мгновенную популярность нервы обрели в 1765 году благодаря книге шотландского врача и физиолога Роберта Уитта[7]. Как писал один из учеников Уитта, даже те, кто прежде понятия не имел о своих нервах, жадно ухватились за это слово. Оно сумело вобрать в себя и выразить широко распространенный опыт. Человек сегодня уже немыслим без нервов. Но как именно концепт нервов изменил его самопознание? Еще в XVII веке открытие Гарвеем кровообращения укрепило давнее представление о сердце как источнике жизни. Теперь «нервы» поместили в центр тела свой основной узловой центр — мозг. А также вдохнули жизнь и в периферию. Нервы стали претендовать на роль средоточия жизненной силы: в конце XVIII века распространилось мнение, будто сущностью жизни является возбудимость. Однако уже скоро нервные волокна, эти нежные структуры, оказались особенно шаткими. Кристоф Гуфеланд[8] в 1812 году писал, что никогда еще нервные болезни не были явлением столь частым как сейчас и едва ли встретишь теперь болезнь без «участия нервов в виде

[7] Имеется в виду его труд «Нервные, ипохондрические и истерические заболевания, со вступительными замечаниями о симпатии нервов» (1764). Под «симпатией» нервной системы Уитт имел в виду «сочувствие частей», т.е. взаимодействие нервов через центр (т.е. Уитт предвосхитил теорию рефлексов, а его идеи действительно продолжил И.П. Павлов), но похоже «нервы» и в буквальном смысле вызвали симпатию у современников.

[8] Гуфеланд Кристоф Вильгельм (1762–1836) — известный немецкий врач, яркий представитель витализма, один из основателей макробиотики. Личный врач прусского короля Фридриха Вильгельма III, лечил также Гёте, Шиллера и Гердера. В двухтомном «Искусстве продления жизни» (1798), которое можно по праву назвать бестселлером, Гуфеланд в духе Просвещения изложил принципы гармоничного стиля жизни. Теория «жизненной силы» (витальности) Гуфеланда существенно определила развитие натуропатии.

судорог или чего-то подобного». Мишель Фуко рисует карьеру «нервов» как революцию в медицине: «новый мир» нервных заболеваний развернул «собственную динамику». Она повлияла не только на медиков, но и на пациентов, на их манеру описывать свои страдания.

Герд Гёкеньян считает время с XVIII века по сегодняшний день «нервным периодом в истории тела». Правда, под «нервами» XVIII век разумел нечто иное. Так, еще где-то в 1790 году «прототипом нервного заболевания» считалась астма. Под личиной «нервов» отчасти продолжалось прежнее учение о соках; люди представляли себе нервы по аналогии с кровеносными сосудами как трубки, по которым циркулирует «нервный сок». Поскольку черепно-мозговые и спинномозговые нервы окружены подвижной жидкостью, такое представление не было отвлеченным рассуждением. Между сосудистой недостаточностью и нервной слабостью еще и в течение всего XIX столетия видели тесную связь, особенно у женщин; «через боль нерв как бы молит о здоровой крови», если он реагирует со сверхчувствительностью, согласно учению Морица Ромберга[9], основателя немецкой неврологии (см. примеч. 17). Для тех, кто видел в нервах основу жизненной силы, спинномозговая жидкость была особым соком, подчинявшимся собственным законам, как сперма. Поскольку для движения жидкости нужно время, становилась понятной замедленность телесных реакций: такое восприятие нервов соответствовало стилю эпохи, еще не завороженной скоростью.

Столь же долго сохранялось представление о близости нервов и мышц; такие понятия как «нервное напряжение», «вялые нервы» и «нервная слабость» существуют и поныне. *Nervig* означало «мускулистый». Пока люди представляли себе нервы как мускулы, они почти автоматически приписывали слабые нервы женщинам. Однако около 1900 года такой уверенности уже не было. Тот, кто воображал себе нерв как жилу, легко ассоциировал его с тетивой лука или струной скрипки: это подходило к «напряжению» и «возбудимости» нервов и объясняло, почему длительное напряжение приводит к слабости и вялости. Если в конце XIX века кого-то занимали собственные нервы, то всегда существовал некоторый выбор, как именно их трактовать.

Новая эра началась после того, как в революционном 1789 году Луиджи Гальвани открыл явление животного электричества. Нервы наэлек-

[9] Ромберг Мориц Генрих (1795–1873) — врач, автор классического «Учебника нервных болезней» (1853). До сих пор в разных своих вариантах и в различных сферах применяется так называемая поза Ромберга (стоя, с вытянутыми вперед руками и закрытыми глазами), позволяющая выявить некоторые поражения нервной системы и нарушение равновесия.

тризовались, а «нервное напряжение» объяснялось теперь через электричество. Идеи неврологии попали в загадочный мир электричества. Появилось и объяснение молниеносности некоторых нервных реакций, тем более что электрический характер молнии стал известен совсем недавно. С течением времени эти новшества сделали возможным новое чувство нервов и поворот в дискурсе нервов, причем в центре внимания оказались возбудимость и скорость реакции.

В Англии конца XVIII века «новый язык нервозности», как пишет Рой Портер, был «насквозь пронизан классовой предубежденностью»: «нервы» были признаком утонченного общества, занятого интеллектуальным трудом. Но так было недолго — нижние слои тоже овладели«нервами», и медицине пришлось обратиться к ним. Окружной врач из Золингена в 1823 году пишет, что понятие «слабонервность» «в ходу и у благородных, и у ничтожных, даже у неотесанного крестьянина» (см. примеч. 18). Такой же процесс демократизации пережила и неврастения в конце XIX века.

В энциклопедии Крюница[10], которая в 1806 году дошла до буквы «N», *nervös* все еще означало то же, что *nervig*: «имеющий многочисленные и сильные нервы». В конце века под «нервозным» подразумевалось уже ровно обратное. В Англии и Франции значение стало меняться уже в конце XVIII века; прошло не так много времени, и те же признаки появились в немецкоязычном пространстве. О нервах говорилось так, будто они уже сами по себе были чем-то болезненным. Окончание *-ös* придавало прилагательным несколько подозрительный привкус: *pompös, ominös*[11]. Теодор Фонтане изобрел слово *schauderös*[12]. Гуфеланд с недовольством отмечал, что если «прежде нервным человеком называли уравновешенного, полного сил сына Адама, то теперь вошло в моду обозначать человеком с нервами существо, которое любое впечатление ощущает тысячекратно, от писка комара падает в обморок, а при запахе розы впадает в конвульсии» (см. примеч. 19). Однако старое значение слова *nervös* еще долго сохранялось наряду с новым. Даже в 1900 году измученный неврастенией Макс Вебер пишет о потребности много путешествовать, чтобы «целиком отдаться на волю ярким впечатлениям» и тем самым «совершенно окрепнуть нервами». Его представления оста-

[10] Крюниц Иоганн Георг (1728–1796) — врач, естествоиспытатель и лексикограф. Его «Экономическая энциклопедия» выходила с 1773 до 1858 года, являясь сегодня важнейшим источником о системе знаний в период между Просвещением и Индустриализацией.

[11] Напыщенный (помпезный), сомнительный (одиозный) (*нем.*).

[12] Новообразование от нем. *Schauder* — дрожь, ужас.

вались еще явным продуктом конца XVIII века, когда истоки раздражительности усматривали в вялости нервов, а во внешних раздражителях видели средство их укрепления. Жене Вебера, уверенной в собственной подверженности «нервным нагрузкам», самодиагностика мужа не казалась убедительной (см. примеч. 20).

Не только электричество, но и открытие вегетативной нервной системы растревожило в XIX веке мысли о нервах. Автономия нижележащих регионов человеческого тела несла в себе нечто непристойное: не свидетельствовала ли она о бессилии духа? Людвиг Бёрне[13] в 1836 году, незадолго до смерти от чахотки, сетовал — что толку ему от «ученой церебральной системы»: «Система ганглиев, эта каналья тела человеческого, присвоила себе всю возможную власть», так что его «талантливейшей голове» приходится повиноваться нижележащим ганглиям. Позже хирург Карл Людвиг Шлейх назвал симпатический нерв «карликовым королем души», который и после солидного роста головного мозга человека «вовсю орудует своими бесчисленными карликовыми кулачками» (см. примеч. 21).

Вплоть до начала XIX века концепция нервов укрепляла идею единства души и тела человека, даже если это единство было не вполне совершенным, ведь люди догадывались, что в теле не всегда царила чистая гармония. Определенная идентичность цельного человека все же сохранялась. Шотландский медик, сторонник научного прогресса, Роберт Верити в 1837 году заявлял: «Человеческое достоинство и превосходство покоится на совершенной и неослабной целостности его нервной системы — на суверенитете его воли и интеллекта». Такой «андеграундный» автор, как Маркиз де Сад в своей «Жюльетте» показывает человека как одну сплошную нервную систему, полностью охваченную конвульсиями либидо и абсорбирующую саму душу. Его персонажи с такой чрезмерностью воплощают принцип «жизнь — это возбудимость», что даже постоянный переизбыток похотливой боли, кажется, совсем не потрепал им нервов (см. примеч. 22).

[13] Бёрне Людвиг (1786–1837) — немецкий публицист, один из зачинателей жанра литературной критики и в особенности фельетона — прославил колкий и яркий язык его критики, в том числе в адрес Гёте и Гейне. С дискурсом нервов Бёрне был знаком не понаслышке: в Берлине он пытался изучать медицину у одного из предшественников романтической медицины Иогана Кристиана Рейля — скорее всего, придумавшего термин «психиатрия». Тема нервов часто занимала мысли Бёрне, в своем последнем сочинении «Менцель-французоед» он так объяснит свой стиль: «я пишу не так, как другие [чернилами и словами]: я пишу кровью моего сердца и соком моих нервов, и у меня не всегда хватает духу собственной рукой причинять себе боль и не всегда хватает сил долго переносить ее» (*Берне Л.* Менцель-французоед / пер. с нем. М., 1938).

В XIX веке в дискурсе нервов набирает силу страх перед разрушением нервной системы. В середине века ученые не устают открывать новые нервные центры, нервная система все больше напоминает лабильное государственное образование, на периферии которого сплошь автономные или полуавтономные регионы постоянно учиняют беспорядки. Или здесь просто недооценивались возможности управления за счет коры головного мозга? Врач из Дармштадта в 1892 году коротко и внятно констатировал, что «здоровые нервы» имеет тот, «кто ими повелевает, а не управляется ими»: будто бы сама анатомия мозга и нервов допускала обе возможности (см. примеч. 23). В зависимости от ответа на вопрос, как лучше функционируют периферийные нервные регионы — без помех или под руководством коры головного мозга, — невротикам рекомендовали кому расслабление, кому активизацию воли.

Теперь разберемся, как эти учения о нервах влияли на смысловое наполнение самого понятия и его производных в повседневной речи. Ведь на рубеже XIX–XX веков «нервы» и «нервозность» были у всех на устах: «даже детям они хорошо знакомы: сколько чести тебе, если можешь говорить о нервах, как мама — по собственному опыту!» Расхожая присказка того времени «что́ у ребенка невоспитанность, то у взрослых — нервы» свидетельствует о том, что считаться нервным было не лишено шарма в глазах детей. Это позволяло извинить собственные и чужие дурные манеры, абстрагироваться от них и требовательно ожидать к себе сочувствия. Тот, кто объявлял нервозным своего вечно бранящегося отца, играл роль врача и не воспринимал серьезно отцовский авторитет, связывая при этом одно с другим жестом прощения (см. примеч. 24).

В рассказе Вильгельма Буша[14] «Бабочка» (1895) некая «дородная мадам» изливает доктору свои муки: «Я не знаю, я все время так беспокойна. Каждый час ночью я слышу, как дудит сторож, и я так боюсь мышей и дурных людей; всему виной конечно нервозность». «Новомодное слово! — сказал доктор. В иных случаях это называли нечистой совестью. Те же симптомы»». Тогда еще помнили время, когда «нервозность» была чем-то новым. Знаменательно, что это слово звучит не от врача, а от пациентки, а врач не особенно высоко оценивает сей неологизм. Заметно, что «нервозность» как субститут «нечистой совести» — это феномен

[14] Буш Вильгельм (1832–1908) — знаменитейший немецкий поэт-юморист и рисовальщик. Всемирную известность приобрела его сатирическая книга для детей «Макс и Мориц» (1865), своеобразный комикс времен модерна. Педагоги эпохи Бисмарка считали книгу фривольным произведением, развращающим малолетних. Многие из двустиший Буша закрепились в немецкой культуре крылатыми фразами.

секуляризации языка. Снижение чувства вины в пользу идеи ипохондрии считается общим явлением модерна. Ницше считал очевидным, что христианское «чувство греха и покаянной подавленности» — есть состояние болезненное и нервозное, а знание о том, что у человека нет души, но есть нервная система, «остается уделом лишь немногих самых осведомленных» (см. примеч. 25). Теория нервов предстает атакой на мораль. Некоторые материалисты того времени приветствовали нервы как концепцию, противящуюся старой вере в существование души. Эрнст Геккель[15] считал сознание «неврологической проблемой».

В романе Алисы Беренд «Шпрееман и Ко» (1916) стареющий предприниматель Шпрееман не понимал, зачем «молодым людям вечно надобно все омедицинивать». «Больше всего он сетовал на придуманную нервозность... То, что раньше называли нетерпением или вспыльчивостью, теперь элегантно именуют нервозностью». Фрейд, напротив, в одной из лекций 1917 года замечает, что обыкновенно и, по его мнению, ошибочно «употребляют слова — "нервный" и "боязливый" одно вместо другого, как будто бы они имеют одно и то же значение»[16] (см. примеч. 26). Высокая привлекательность слова *nervös* кроется не в последнюю очередь в его многозначности, ведь из него можно столько всего сделать. «Я нервничаю». «Ты действуешь мне на нервы». «Не будь таким нервным!» Никакое другое расстройство не способно вызвать такой эффект пинг-понга. Называя кого-то «нервным», можно избежать таких унизительных слов, как «несносный» или «малодушный», оставить открытым вопрос о «трусости» или «вздорности». Но главное — создать ауру чувствительной близости и подспудных намеков. «Нервы» могли указывать как на мозг, так и на гениталии: понятие деликатно оставляло висеть в воздухе обе возможности. В спорах между материалистами и спиритуалистами, соматиками и психиками понятие «нервы» с его психосоматическим семантическим потенциалом могли использовать все стороны. Макс Вебер старался тщательно отделить нервы от психики,

[15] Геккель Эрнст (1834–1919) — в качестве естествоиспытателя и последователя Дарвина занимался проблемой эволюции человека и вошел в научную историю среди прочего как автор терминов «филогенез», «онтогенез» и «экология»; в роли философа он продолжил в социал-дарвинистском ключе размышлять над эволюционной теорией — теперь уже в рамках монизма, который сводит все ментальные и духовные явления к материальной реальности как единственно возможной.

[16] В оригинале Фрейд использует как относительно однозначное *nervös* (нервный, нервозный), так и довольно неоднозначное *ängstlich* (боязливый, робкий, тревожный). Упоминаемая лекция станет 25-й главой под названием «Тревога» (*Angst* — страх) его «Лекций по введению в психоанализ».

когда в 1899 году был вынужден отказаться от чтения курса лекций: «неспособность говорить — явление чисто физическое, нервы отказывают, и при одном взгляде на конспекты лекций я просто лишаюсь чувств»[17] (см. примеч. 27). Но в то же время на основе изучения людей «нервозных» развивался психоанализ.

То и дело «нервы» оказывались своего рода шифром. Швейцарский невролог и психолог Поль Дюбуа[18] подчеркивал, что «нервозность во всех своих формах» есть «психоз» и все разговоры о «нервах» — эвфемизм: «Мы легко и без всякого стыда признаем себя *нервнобольными*, в то время как признание *душевнобольным* нас коробит». Частные заведения для умалишенных из высших сословий маскировались под «нервные» здравницы. Но поскольку об этом много судачили, какая-то часть табуизированного значения окрашивала и само слово-эвфемизм, так что признание за кем-либо «нервозности» не оказывало ему особой чести. В 1909 году Эрнст Байер, руководитель крупнейшей в Германии народной неврологической клиники[19], заметил, что для «публики» «нервнобольной» — это то же самое, что «душевнобольной», «в то время как настоящий невротик, неврастеник, активно отвергает мысль о том, что является нервнобольным» (см. примеч. 28). Однако это относилось далеко не ко всем — даже здоровые люди в то время считали себя невротичными. Ведь в «нервозную» эпоху нервная слабость формировала в некотором смысле идентичность между *Я* и миром.

Была и еще одна причина, делавшая нервы привлекательными: они могли подразумевать сексуальность, не называя ее вслух. Когда Макс Вебер, обозначавший свои нервные расстройства «демонами», назы-

[17] Вебер повторно откажется от чтения лекций и в 1903 году, после нескольких месяцев лечения в санатории и долгого пребывания в Италии, и вернется к преподавательской деятельности лишь в 1919 году. Вебер пристально наблюдал за развитием своих психических расстройств и детально зафиксировал весь тяжелый нервозно-депрессивный период 1897–1919 годов. К сожалению «автопатография» не сохранилась — вероятно, она была уничтожена его женой по совету Карла Ясперса из-за опасений, что «дискредитирующие» записи могут попасть в руки нацистов.

[18] Дюбуа Поль (1848–1918) — швейцарский невролог, один из пионеров психотерапии, независимо от Фрейда и Жане и практически одновременно с ними подчеркнул роль биографии пациента в картине болезни и разработал собственную теорию психогенных заболеваний.

[19] Имеется в виду открытая в 1906 году клиника Родербиркен в Северной Рейн-Вестфалии. С момента своего основания клиника специализировалась на нервнобольных — изначально женщинах, пока в 1910 году не открыла дополнительное мужское отделение на 150 мест.

вал евангелие от Отто Гросса[20], проповедовавшего свободную любовь, «этикой для нервов», идеалом которой был «совершенно банальный здоровый нервный хвастун», — он подразумевал «сексуальную этику» и «сексуального хвастуна». Карл Краус[21] в то время уже вполне открыто использовал маскировочную функцию «нервов», говоря о нестандартных «нервных желаниях», имея в виду гомосексуалистов (см. примеч. 29). «Нервный» дискурс не в последнюю очередь был завуалированным обсуждением сексуальности. Были ли «нервы» в таком случае лишь прикрытием? Иногда да, однако кроется здесь и обоснованное подозрение, что человеческая сексуальность — не автономная зона.

В любом случае сексуальность была возмутителем спокойствия в осознании нервов. С одной стороны, нервная система создавала фундамент для нового эгоцентризма — *Я* как сложнейшая система! С другой стороны, казалось, что это столь усложнившееся эго находится в стадии какого-то небывалого распада.

ТОЛСТОКОЖИЕ ЛЮДИ И СТЕКЛЯННАЯ ГАРМОНИКА: НЕРВНАЯ СЛАБОСТЬ В ЭПОХУ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РОМАНТИЗМА

Мог ли массовый феномен нервозности зародиться еще в конце XVIII века, вместе с «нервным» дискурсом? Это подтвердило бы, что в начале было все

[20] Гросс Отто (1877–1920) — успел побыть учеником Фрейда, ассистентом Крепелина, пациентом Юнга и поклонником Кропоткина и умер в нищете. Будучи анархистом в психиатрии (и отчасти предвосхищая антипсихиатрическую волну и контркультуру второй половины XX века), он считал механизмы вытеснения важной причиной нервных расстройств и сам отказался подавлять собственное либидо, вступая в половые связи даже с пациентками. Макс Вебер, в журнале которого хотел напечататься Гросс, отверг последнего как ученого, назвав центральную идею Гросса о «свободной любви» — по сравнению с собственной теорией «акосмической любви» — сугубо миссионерством и идеологическим проповедничеством, недопустимым в нейтральной социологии.

[21] Краус Карл (1874–1936) — австрийский писатель, едкий сатирик, великий публицист, ревностный ценитель этических идеалов журналистского дела, издатель легендарного журнала «Факел», автор монументальной драмы «Последние дни человечества», мастер афоризмов и, в целом, главный литературный и культурный критик эпохи. Радкау цитирует сатиру Крауса «Максимилиан Гарден: ликвидация», в которой возмущенный Краус разрывает дружбу с публицистом Максимилианом Гарденом, после того как тот публично разоблачил гомосексуальность некоторых советников Вильгельма II (об этом см. «“Мягкая” сторона вильгельминизма и его позор»). Поступок Гардена, имевший печальные последствия, Краус назвал в этой статье «победой информации над культурой».

же слово, нежели опыт. Как бы то ни было, понятие «нервная слабость» встречается уже тогда. Канадский историк Эдвард Шортер пишет, что уже в конце XVIII века европейцы считали, что живут в «нервном» обществе, и ссылается при этом на немецкого педагога Кампе[22], который в 1787 году говорил о «наших богатых на фантазию и нервные болезни временах» (см. примеч. 30).

Действительно, праформы того, что позже стали понимать как «нервозность», появляются вместе с началами психологического самоотражения. Так, автобиография бывшего священника Адама Бернда (1738) была написана, как следует из ее названия, чтобы передать словами «по большей части неведомый еще телесно-душевный недуг»[23]. Кое-что из этого «недуга» напоминает привычную меланхолию. Сам Бернд воспринимал себя скорее как человека смешанного темперамента, «сангвинико-меланхолика». Глухое, парализующее уныние никогда не захватывало его надолго: в пору своей приходской деятельности это был успешный проповедник в суетном ярмарочном Лейпциге. В чем-то Бернд напоминает современную жертву стресса: уже ребенком он наблюдал у себя навязчивое желание непременно закончить определенную работу к конкретному сроку. Он даже описывает опыт злоупотребления новым наркотиком — кофе: «Голова моя кругом идет, а мысли с огромной скоростью сменяют галопом одна другую, и боюсь, что вот-вот — и силы покинут меня в столь огромной душевной смуте». По сути, он уже рассуждает на стандартную в грядущих дискуссиях о нервном раздражении тему, а именно — почему «слабые нервы» отличаются особой возбудимостью (см. примеч. 31). Стало быть, в каком-то виде «неврастеничный» самоанализ существовал уже в середине XVIII века. Однако это были единичные случаи, и в языке для нового ощущения еще не было собственного понятия.

Для автора рецензии на автобиографию Бернда в 1787 году понятие имелось: с его точки зрения, автор принадлежал к «ипохондрикам». Позже ипохондрия будет считаться наиболее именитой предшественницей неврастении. А до XVIII века и в его начале под ипохондрией понима-

[22] Кампе Иоахим Генрих (1746–1818) — писатель и издатель (ему принадлежат многотомная «Детская библиотека» и знаменитая адаптация «Робинзона Крузо»; считается одним из основателей современного жанра детской и юношеской литературы), лингвист (отстаивал «онемечивание» иностранных слов в рамках просветительских идей) и педагог (был, среди прочего, домашним учителем Вильгельма и Александра фон Гумбольдтов).

[23] Отрывки из «Моего жизнеописания» были напечатаны в журнале экспериментальной психологии Карла Филипа Морица «Gnothi sauton».

лось расстройство по сути физическое, и если оно и влияло на состояние души, то истоки его все же надо было искать в области желудка. И только во второй половине XVIII века ипохондрия стала все больше смещаться в сферы души, постепенно обрастая современным значением навязчивых воображаемых болезней. С таким расстройством можно было попасть в очень недурную компанию, здесь были и Фридрих Великий, и Иммануил Кант. Шиллер считал ипохондрию «болезнью мыслителей, глубоко чувствующих умов и большинства великих ученых». Он не знал, «в теле или душе» нужно искать «первоисточник болезни», но склонялся ко второму варианту. Точку зрения, что ипохондрия — лишь веяние моды в угоду репутации, никак нельзя назвать общим мнением. Чем больше обнаруживалось связей с психикой, тем настойчивее она ассоциировалась с душевной болезнью. Автор диссертации 1755 года (г. Халле) считал понятие «ипохондрик» едва ли не оскорбительным (см. примеч. 32). Так как одной из причин недуга считался напряженный умственный труд, ипохондрия напоминала более позднюю неврастению, однако здесь еще не преобладало мучительное чувство измотанности и перегруженности.

Известный педагог Иоганн Бернхард Базедов в 1783 году опубликовал в первом томе «Gnothi sauton», первого в Германии психологического журнала, некоторые «добровольные признания». Так, он сообщает, что при желании чего-то добиться ему приходится «работать не иначе как с невероятным напряжением, отнимающим почти весь сон»: «Из-за этого я, в конце концов, впадаю в такое состояние, что боюсь потерять все душевные силы, даже сам разум, если не заставлю себя прервать работу и отвлечься». С сегодняшней точки зрения это классическое переутомление. Однако исполненные трудовой этики реформаторы той эпохи, считавшие праздность корнем большинства недугов и неприятностей, такой диагноз не одобрили бы, так что этот страстный педагог решил в качестве терапии учредить собственное учебное заведение и открыл образцовую школу — школу филантропии в Дессау. Но когда и этот вид терапии оказался непригодным, он стал объяснять свои душевные срывы не трудовым рвением, а меланхолией своей матери! Объяснять разрушение нервов систематическим перенапряжением еще не было привычной практикой, как в конце XIX века. Что касается Базедовской школы филантропии, то, например, Гердеру она казалась «ужасающей», неким «парником», где в нездоровой мере ускорялось умственное развитие молодежи, — такому как Базедов, он «и теленка не доверил бы на воспитание, не говоря о людях» (см. примеч. 33).

В 1947 году французский историк Анри Бруншвиг первым возвел «нервозность» сентиментальной Германии эпохи раннего романтизма в

ранг важного исторического факта и вписал его в широкие контекстные связи. Фонтанируя впечатлениями, он описывает эту нервозность как начало германской беды и как психическую эпидемию, причем в конечном счете нет никакой разницы — была ли она подлинным, воображаемым или искусственно созданным расстройством: иногда это было так, иногда иначе, а иногда все вместе. Как бы то ни было, политический исход был один. Решающим с его точки зрения было то, что нервозность сыграла ведущую роль при уходе немцев в тот иррационализм, которым они отреагировали на политический и экономический кризис. Этот иррационализм как медленная и незаметная болезнь источил и изъел немецкое Просвещение (см. примеч. 34).

Однако многое в этой картине не сходится. Внимание к нервам и их расстройству развивалось ни в коем случае не против просвещения, а в согласии с ним. И было оно вовсе не особым путем Германии, а черпало вдохновение из Англии и Франции. Некоторые пассажи из «Исповеди» Руссо (1781), самом знаменитом французском самоанализе столетия, гораздо ближе к тому, что сегодня понимается под «нервозностью», чем любые немецкие автобиографии того времени. Руссо уже сетует на то, что граждане в вечной спешке своей перетруждаются до смерти (см. примеч. 35), тогда как в Германии той эпохи подобных признаний еще поискать. Кроме того, увлекаясь жалобами на нервы, датированными рубежом XVIII–XIX веков, нельзя забывать об их количественной несопоставимости с целым массивом свидетельств, оставленных на рубеже веков XIX–XX.

Тем не менее целый ряд общих условий, благодаря которым с 1880 года начала складываться карьера неврастении, существовал еще за 100 лет до этой даты. Уже в XVIII веке зарождается культура гигиены. Здоровье стало делом общественным — здоровье в самом широком смысле, включая благополучие души и нервов. В размышлениях о том, что поддерживает целостность человека, внимание направлялось на нервы. Поскольку ни учение о нервах, ни учение о душе еще не подверглись специализации, и психосоматическое мышление было еще само собой разумеющимся, то концепт неврастении не противоречил никакой господствующей доктрине. Напротив, предположение, что внешние раздражители и растревоженные эмоции могут привести в смятение дух и тело, не доставляло той эпохе никаких теоретических сложностей. Лежавшая в основе более поздних страхов перед неврастенией уверенность в ограниченности жизненной силы и необходимости правильно ее расходовать, в 1800 году уже существовала. И уже тогда люди осознавали, что впереди их ждет бурное переломное время, а потому были готовы к новым состояниям души (см. примеч. 51).

Уже Гуфеланд упоминает «ту несчастную деловитость, которая овладела теперь значительной частью рода человеческого» как элемент, сокращающий срок жизни, поскольку она «ужасающим образом» ускоряет «самопотребление» человека. Как следует из крылатого выражения Бенджамина Франклина «время — деньги», уже вторая половина XVIII века характеризовалась стремлением к экономии времени; предпосылка для модерной суеты и спешки в принципе уже была. Стимуляторы той эпохи — кофе и чай, противодействовавшие естественному чувству усталости, также распространялись и бурно обсуждались в XVIII веке. Знаменитый голландский врач Бонтеку[24] рекомендовал своим пациентам выпивать до 200 чашек чаю ежедневно, что в целом шло на «ура», пока его не разоблачили как наемника Ост-Индской компании. В 1788 году один немецкий врач писал, что Голландия обязана «бесчисленной армией нервных симптомов» двум врачам, «которые в пользу голландской Ост-Индской компании считали здоровым разжижение крови и потому ввели в практику частое употребление горячего чая». Правда, стоит добавить, что и в кампаниях против чая и кофе проявлялась не только забота о здоровье, но и интерес к ограничению импорта. Гуфеланд в 1790-м писал, что «турки и другие ближневосточные нации», которые «ставят свою жизнь в зависимость от постоянного употребления кофе и табака, сладострастия и разврата», тем не менее свободны от судорог, ипохондрии и нервной слабости — и почему же? Потому что они поддерживают стародавнюю традицию купальной культуры (см. примеч. 36).

Здесь мы оказываемся в центре другой важной темы — воды! Курсы купания и водолечения стали узловым пунктом в разговорах о нервах и причиной, почему «нервозность» часто сигнализировала не только о недугах, но и о желаниях.

Уже около 1800 года, как и через 100 лет после этого, для обеспеченных пациентов нервная слабость была весьма удобным расстройством, ведь она служила веской причиной для поездки на воды. С 1770 года на водах юго-западной Германии нервные расстройства «внезапно стали темой номер один». Венский доктор Паскаль Ферро открыл в 1781 году водолечебницу на Дунае, будучи под впечатлением от того притока посетителей, который пережила первая крупная немецкая водолечебница, основанная в 1777-м на Рейне под Мангеймом. Он говорит не только о «толпе народа», но и «ликовании врачей, заполучивших-таки средство,

[24] Бонтеку Корнелиус (настоящее имя Корнелиус Деккер) (1647–1685) — голландский врач и лейб-медик Великого курфюрста (Фридриха Вильгельма I Брандербургского). Основной заслугой Бонтеку называют распространение кофе, шоколада и чая в Берлине при дворе курфюрста.

коим можно было положить конец распространившейся повсюду слабонервности, мучительной для врача не менее, чем для пациента». Очевидно, «нервная слабость» и тогда не была изобретением врачей — это был недуг, который обнаруживали у себя дилетанты и, вооружившись этой находкой, действовали на нервы врачам. Артур Шопенгауэр, 36 лет, мать которого любила ездить на воды, писал одному другу, что всю зиму промучился геморроем, подагрой и нервами. Теперь он «восстановился, но нервы все еще столь слабы», что «от дрожи в руках» он почти не может писать, — только «брожу как тень, засыпаю при свете дня» (см. примеч. 37).

Следует ли из этого, что «модерная нервозность» началась еще во времена Гёте? Нет, как раз такое умозаключение было бы ложным. Если посмотреть на эпоху в целом, с удивлением обнаружишь, насколько нервозный опыт 1800 года отличался от более позднего — несмотря на то что многие предпосылки неврастении были уже тогда. Здесь главное — не попасться на удочку таких понятий, как «слабонервность» и «нервозность», — если собрать все, что ассоциировалось с ними на рубеже XVIII–XIX веков, то попадаешь в мир, совершенно отличный от мира неврастении начала XX века. В контексте 1800 года при всей неразберихе медицинских воззрений на природу нервных расстройств сложилось мнение (по крайней мере в немецкоязычном пространстве), что среди форм их проявления преобладает не перевозбуждение, но «тупость». «Притупленность и безжизненность» нервов приводят к более тяжелым последствиям, чем вызванные духом активности «нервные жалобы», писал в 1793 году Кант Лихтенбергу[25] — все равно что в открытую дверь ломился. Для Гуфеланда «тупость», «пустота и бесчувствие» относились к самым неприятным признакам той «ипохондрии и слабонервности», «от которых постепенно увядает наша эпоха» и которую он хотел преодолеть с помощью вод и купален. Эту ипохондрию он изо дня в день замечает даже за простыми людьми, будь то крестьяне или кузнецы, «которые жалуются на слабость, тяжесть и скованность членов, стеснение сердца и метеоризм» (см. примеч. 38).

[25] Лихтенберг Георг Кристоф (1742–1799) — сегодня известен прежде всего как автор блестящих афоризмов, опубликованных, правда, посмертно, — при жизни же был математиком и первым профессором экспериментальной физики в эпоху Просвещения. Лихтенберг сводил саму суть человека к его нервам: «Человек в своей сути напоминает луковицу с тысячами корней, нервы живут и чувствуют лишь в немодном, все остальное служит тому, чтобы корням было удобно держаться и продолжать свой рост, т.е. все что мы видим — это лишь горшок, в который высажен человек (нервы)» (*Lichtenberg G.C.* Vermischte Schriften. Erster Band. Göttingen, 1800. S. 406).

Автор «Систематического описания всех целебных источников и вод Германии» (1768) заверяет: «Врачи, к сожалению, каждый день узнают, как тяжело и мучительно трудно возвращать вялым, ослабленным и размягченным волокнам нервов и мускулов естественный тонус и надлежащую крепость». Вдобавок это требует срочности, поскольку снижение тонуса, напряженности нервов и жил влечет за собой «бездны болезней». «Единственные средства» против этого — «стальные воды», «марциальные воды», чьи железо и «укрепляющая сила» вернут телу здоровье. «Стальным источником» славился Пирмонт, несмотря на свою удаленность ставший в XVIII веке наиболее изысканным из немецких водных курортов. В 1823 году Гуфеланд отмечал, что «правящий класс» в Пирмонте составляют «слабонервные»; он отличает их от ипохондриков, преобладавших в Карлсбаде. Исходя из этого, рассмотрим слабонервных пациентов старого типа на примере Пирмонта (см. примеч. 39).

Известнейшим специалистом по водам в Пирмонте был доктор Генрих Матиас Маркард, практиковавший там с 1775 года. Многие считают его и вовсе крупнейшим специалистом своего века. Он придавал особое значение тому, чтобы удержать подальше от Пирмонтовского «стального источника» больных, плохо переносивших железистую воду, и призывал врачей для начала разобраться в том, чем на самом деле страдают их пациенты: вялостью нервов или же, напротив, излишней их возбудимостью. Его позиция проливает свет на тогдашние национальные особенности учений о нервах — так, он признает себя сторонником французской медицины и критикует немецких и английских неврологов, у которых «почти все» вращается «вокруг ошибочных идей о дряблости нервов и восстановления их тонуса с помощью восстанавливающих средств». Но подобная полемика — это скорее игра на публику, с помощью которой Маркард демонстрирует свою независимость от доходов Пирмонтского источника. Маркард тоже придерживается мнения, что «в наши дни» наиболее широко распространенным «болезненным отклонением от естественного состояния», «особенно в высших классах» является «вялая конституция, утраченный тонус (*fibra laxa*)».

Он сам, перегруженный работой врач и ученый, олицетворяет современный тип беспокойного, возбудимого, раздираемого различными обязательствами, раздраженного и воинственного невротика. Явно по собственному опыту он злится на то, что «здоровые толстокожие люди, способные переварить все что угодно, объясняют любые расстройства, связанные с повышенной возбудимостью, воображением или вообще аффектацией». «Тупая природа этих толстокожих не позволяет им понять, что человеку необязательно лежать в постели, дрожать в лихорад-

ке или задыхаться от чахотки, чтобы испытывать ужасные страдания». Маркардовские «раздражительные люди» выделяются среди других мучительной неугомонностью: «они никогда не выдерживают плана; сила их воображения, всегда волнующая и мучительная, каждый день представляет им их недуг в новом обличье» (см. примеч. 40). Заметно, что и в XVIII веке наблюдается нечто сходное с пришедшей позже «нервозностью». Однако в Германии это явление еще не было массовым феноменом и не нуждалось в специальном термине.

С 1780-х годов у Пирмонта появляется сосед и конкурент в лице амбициозного водного курорта Дрибург, который тоже имел железистый источник, но в отличие от великосветского Пирмонта предлагал себя в качестве сельской идиллии для работающей буржуазии. Здесь более, чем в Пирмонте, господствовал идеал покоя. Как писал в 1792 году тамошний врач Иоахим Дитрих Брандис, в Дрибург приезжали, чтобы «насладиться сельской жизнью, сбросив с себя ярмо тяжкого труда, вздохнуть полной грудью» и «поправить здоровье». Но и Брандис на своем буржуазном курорте не создает последовательную терапевтическую философию покоя и умиротворения перевозбужденных нервов. В принципе, и он полагает, что «общая дрожь», возникающая при помощи холодной воды, целительна для «нервной системы», ведь целью лечения является «потрясение нервной системы».

В 1837 году будущий натуропат Генрих Франке, известный под псевдонимом Рауссе, вернувшись из США с «почти до сумасшествия перевозбужденной нервной системой», отправился в Грефенберг к специалисту по водолечению Винценцу Присницу[26]. Там он убедился, что холодная

[26] Присниц Винценц (1799–1851) — немецкий целитель, родоначальник водолечения (гидротерапии). Будучи простым крестьянином, он не оставил письменных свидетельств своих методов, которые распространялись через записи пациентов и других врачей. Лечение водой, открытое им совершенно случайно, оказало эффект разорвавшейся бомбы — за короткое время желающих исцелиться у «водного доктора» стало так много, что в 1822 году он открыл первую водолечебницу. Феноменальный успех простого крестьянина в роли врачевателя не мог не вызвать зависть у профессиональных коллег, в 1829 году обвинивших его в шарлатанстве, однако, так как вода не считалась лекарственным веществом, Присниц был оправдан судом, а в 1831-м получил официальное разрешение на открытие бальнеологических лечебных купален. После смерти Присница эстафету лидерства перенял «водоцелитель» Себастьян Кнейп (1821–1897), чья книга «Мое водолечение» (1886) переводилась на иностранные языки и расходилась миллионными тиражами. Заслуга Кнейпа в истории водолечения заключается в том, что он дополнил методы Присница естественными терапевтическими средствами, а также, сам будучи дилетантом (Кнейп был священником), привлекал профессиональных врачей для усовершенствования методов лечения. Как бы то ни было, именно благодаря Присницу водо-

вода приводит его нервы в еще большее возбуждение, и основал свой собственный водолечебный курс для перевозбужденных. Однако лидерство сохранилось за Присницем (см. примеч. 41).

Помимо водолечения, в Германии того времени также преобладала тенденция высоко ценить раздражение нервов в качестве целебного средства, пусть и с некоторыми оговорками. Не случайно слово *reizend* (возбуждающий), изначально вполне нейтральное, получило в то время свой современный смысл — «привлекательный, обаятельный, чарующий». Некоторые свидетельства той эпохи создают впечатление постоянной жажды «возбуждений». Покельс, соиздатель журнала «Gnothi sauton», в одной из сносок к жизнеописанию Адама Бернда делится своей мечтой о бесконечном возбуждении нервов: «Можно представить, что наше тело когда-нибудь станет настолько утонченным, что окружающий его эфир будет в состоянии вызывать в нем постоянное и радостное щекотание нервных окончаний» (см. примеч. 42).

«Наиболее волнующим событием медицины того времени» (Нелли Тсойопулос) была теория шотландского эксцентрика Джона Брауна[27], изложенная им в книге «Elementa medicinae» (1780). В Германии она вызвала больше эффекта, чем у себя на родине и во Франции: в немецкой медицинской мысли с 1793–1794 годов она стала «самой обсуждаемой теорией» в принципе, а Браун — «героем дня». Браун объяснял любые расстройства парой полярных понятий — стения и астения. Изобилие силы, вызванное стенией, лечилось лишением возбуждения, в то время как бессилие, вызванное астенией, нуждалось в дополнительном возбуждении. То есть теоретически из брауниз ма можно было вывести также учение о перевозбуждении и терапии покоем. Но привлекательность брауниз ма в Германии покоилась на учении об астении, из которой вытекало то же, что из популярного отождествления жизненной силы и возбудимости: целительное действие внешних раздражителей. Более

лечебницы прочно утвердились не только в народной и научной медицинской культуре (в виде популярных водолечебниц), но и в психиатрии (вспомнить хотя бы так называемый душ Шарко).

[27] Браун Джон (1735–1788) — шотландский врач и натурфилософ, революционным новаторством которого была идея, что все жизненные явления зависят от возбуждаемости, присущей всем органическим телам, что означает, что в зависимости от заболевания, в терапии следует применять средства, снижающие или усиливающие возбудимость. Основанная на этих представлениях медицинская система была названа именем их создателя — «брауниз м». Германия, по словам психолога Макса Дессуара, стала «главной ярмарочной площадью брауниан цев» (*Dessoir M.* Geschichte der neueren deutschen Psychologie. Berlin, 1902. S. 511).

позднее понятие «неврастения» хотя и созвучно брауновской «астении», несло в себе, скорее, противоположную тенденцию. Авторитетный английский психиатр Томас К. Оллбат еще в 1895 году был сторонником прежней теории витального значения возбудимости. Показательно, что он считал ее более интересной, чем новое учение о неврастении, утверждавшее, что переизбыток возбудителей в эпоху модерна несет с собой болезни: «Нет более претенциозной чуши, чем крик о том, что наши нервы слишком чувствительны, слишком возбудимы. [...] Имею я право спросить, в чем же тогда состоит ценность наших нервов, если не в их возбудимости? Чем возбудимее, тем эффективнее: как породистая лошадь отличается от осла, так и цивилизованный человек выделяется именно возбудимостью своих нервов» (см. примеч. 43).

Нашелся и тот, кто подхватил и развил совсем другую мысль из брауновского движения. Клеменс Меттерних, государственный канцлер Австрийской империи, державший в своих руках бразды правления в течение 30 лет после падения Наполеона, первым осознал политику как неврологический курс высокого стиля, как систематический курс лечения покоем для перевозбужденной Европы. Себя он любил называть «врачом в большом мировом госпитале». Не случайно он провозгласил свои «Карлсбадские постановления» для подавления революционных настроений не где-нибудь, а на одном из водных курортов. В 1800 году он даже поручился 25 тысяч франков за погрязшего в долгах Франца Йозефа Галля[28], чтобы тот смог напечатать второй и третий том своей анатомии и физиологии нервной системы. Всю жизнь он оставался поклонником учения Брауна о возбудимости (см. примеч. 44). Ирония в том, что терапевтическая философия Меттерниха в отличие от Маркарда не подкреплялась собственным опытом — наоборот, Меттерних, как, пожалуй, ни один другой государственный муж в мировой истории был воплощением непоколебимого спокойствия и невозмутимости. Во всем и всегда он находился в гармонии с собой — будь то политика, философия, здоровье или сексуальная жизнь. Ничто не вызывало в нем раздражения. Во время Битвы народов под Лейпцигом он удалился в любовное гнездышко. Его любимой песней была «Радуйтесь жизни», в то время как своего современника Бетховена он не любил. Его высокомерно-улыбчивое спокойствие действовало на окружающих как провокация и вызывало глубокую ненависть молодого поколения, исполненного кипучего

[28] Галль Франц Йозеф (1758–1828) — немецкий врач и анатом, создатель френологии, по идее которого центры душевной жизни сосредоточены в мозговых извилинах, а различия в мозговых извилинах отражаются на внешней форме черепа.

беспокойства. Меттерних так и сконструировал болезнь Европы, чтобы порекомендовать ей в качестве лекарства самого себя со своей политикой реставрации. Он был убежден в том, что подавляющее большинство людей в принципе не желает ничего кроме спокойного наслаждения, и, вероятно, был прав. Однако у молодых германских студентов меттерниховский покой ассоциировался с кладбищем, а не воспринимался как непосредственная релаксация удовлетворенных чувств. Это был первый крупный исторический провал квиетистского понимания мира. Позже, в начале XX века, многочисленные попытки лечить «нервозную эпоху» сеансами покоя стали еще одним фиаско подобного рода.

На рубеже XVIII–XIX веков человеком развитым и полноценным считался человек возбудимый и чувствительный — по крайней мере в глазах немецкой образованной буржуазии. В энциклопедии Крюница под словом «хладнокровный» (1789) обнаруживается весьма сдержанная положительная оценка: похвалы достойно только такое хладнокровие, которое исходит из силы разума, но не то, что коренится в природной бесчувственности, «так как бесчувственный человек есть почти всегда несчастное, ни к чему не пригодное существо». «Мы стремились стать чувствительнее и печальнее», — описывает Иоганн Генрих Фосс[29], один из членов гёттингенского «Союза Дубравы», прощальную сцену в сентябре 1773 года, когда ее участники объединяли свои души песнями, объятьями и пуншем, пока не полились потоки слез. Нервное перевозбуждение, о котором написано в литературе того времени, было такого рода, который ценили очень высоко, видели в нем особый дар и вызывали у себя намеренно, что не исключало, правда, и того, что оно рано или поздно выходило из-под контроля и вело собственную жизнь. «Возбудимые, слабые, перенапряженные нервы», — признавал Жан Поль[30], истерия и ипохондрия это «разные имена единственной любимой моей болезни» (см. примеч. 45).

По распространенному убеждению, слабые и в то же время возбудимые нервы особенно свойственны женщинам. Кто-то над этим посмеивался, но Пьер Руссель, автор «Исследования о чувствительности», воспевал эту «слабость и чувствительность» как «подарок природы». Марианна Эрман, анонимный автор труда «Философия женщины» (1784), утверждала даже, что большинство мужчин «могут только играть в любовь,

[29] Фосс Иоганн Генрих (1751–1826) — немецкий поэт и переводчик, филолог. Описанная сцена считается одним из ключевых моментов в становлении немецкого романтизма.

[30] Жан Поль (1763–1825, настоящее имя Иоганн Рихтер) — немецкий писатель, сентименталист и преромантик.

подражать ей, потому что их нервы, в палец толщиной, не дают им по-настоящему пережить это священное чувство». Как возбуждение нервов и души могло обрести вид религиозного озарения, так отзвук культа чувствительности можно видеть в религиозных движениях XIX века, где «тупость» была врагом, а «возбуждение» — целью (см. примеч. 46).

В 1770-е годы появляется порожденное новой технологией изысканное средство возбуждения нервов — стеклянная гармоника. Это был музыкальный инструмент, состоящий из вставленных друг в друга, вращающихся вокруг металлического стержня стеклянных полусфер, приводимых в движение педалью и звучавших от прикосновения влажного пальца. Бенджамин Франклин технически усовершенствовал инструмент, «но настоящей его родиной была Германия». Стеклянная гармоника предъявляла высокие требования к нервам слушателей и еще более высокие — к нервам исполнителя: слепой Марианне Кирхгеснер, прославившейся искусством игры на ней, пришлось прервать свою карьеру виртуоза-исполнителя из-за проблем с нервами. Так приобретались первые знания о допустимых нагрузках на определенные нервы. Гегель заметил в своих лекциях, посвященных эстетике, что при слушании стеклянной гармоники «у многих болит голова», а Эрнст Теодор Амадей Гофман сравнил ее звучание с «царапанием ножа по оконному стеклу». Понятно, что через какое-то время люди уже не могли выносить этот инструмент. Однако это продолжалось довольно долго. Еще в 1839 году композитор Иеронимус Трун воспевал «тонкую, электрическую нервную систему» скончавшегося в 1822 году Теодора Гофмана (см. примеч. 47).

Культ возбудимости накладывал отпечаток — как же иначе — на эротический опыт. Американский ученый Курт Р. Эйслер в своем «психоаналитическом исследовании» о Гёте сделал обоснованное предположение, что вплоть до зрелого мужского возраста Гёте страдал от преждевременного семяизвержения, которое могли вызвать даже поцелуи. Эйслер предполагает, что «психологическая конституция его личности задавала тенденцию к полному эмоциональному ответу даже на минимальный раздражитель». Столетие спустя с такими особенностями он был бы признан неврастеником. Однако в свою эпоху он, видимо, не чувствовал себя потенциальным пациентом. Вполне уверенный в себе, он в 1781 году, 32 лет от роду, говорит своей матери о «размахе и скорости» своей натуры, которая в «тесном и медленном буржуазном» кругу приводила бы его «в бешенство», тогда как свобода жить в соответствии со своей природой всегда благоприятно сказывалась на его здоровье. Если чувство уверенности в себе базировалось на чувствительности, то излияние семени под влиянием одних поцелуев воспринималось скорее как

признак тонкой натуры. И все же во время итальянского путешествия Гёте изменил свою философию жизни и вместе с ней, по Эйслеру, сексуальное поведение (см. примеч. 48). Если романтизм он теперь воспринимал как нечто болезненное, то это указывает не только на эстетическое, но и на витальное неприятие безудержных чувственных излияний.

В 1840 году, когда в литературе романтизм уже стал тривиальностью, в Пруссии вступил на престол записной романтик, настоящий продукт сентиментального воспитания — Фридрих Вильгельм IV. Его сентиментальность была очевидно подлинной. Лишь с «громкими рыданиями» он сумел подписать смертный приговор бывшему бургомистру города Шторкова по фамилии Чех, который совершил на него покушение и которого Фридрих не смог принудить ни к единому слову раскаяния, что дало бы возможность его помиловать. Поначалу он очаровал берлинцев своей мечтательной риторикой; но уже незадолго до мартовской революции 1848 года его изображали на карикатурах как короля-шампанское, стрелявшего пробками из горла. Генрих фон Трейчке с дистанции бисмарковской эпохи описывает Фридриха Вильгельма IV, как «последний изящный цветок долгой, только что преодоленной эпохи эстетической чрезмерности». Он намекает и на его импотенцию: «мужской силы тела и души» этот правитель с одутловатым станом и «безбородым, со слабыми чертами лицом» был лишен. Бисмарк замечал с отвращением, что если можно было бы зажать в кулак этого короля, то «в руке осталась бы только пригоршня слизи».

Как позже Вильгельм II, так и Фридрих Вильгельм IV с его непостоянством и неустойчивой фантазией остался в истории прототипом политического неврастеника. Но если Вильгельм II с детства был воспитан воспринимать свою парализованную руку как тяжелый изъян и старался компенсировать его молодецкими замашками, Фридрих Вильгельм IV не выказывал ни следа подобных наклонностей. Это помогает понять совсем иной характер той эпохи. Для таких людей, как Трейчке, его веселое спокойствие было воистину «загадкой». Он абсолютно не был склонен скрывать свою возбудимость под респектабельной маской милитаризма и выказывал необычайную для прусского короля степень миролюбия и неприязни к войне. Глубочайшим провалом его биографии считается 19 марта 1848 года, когда он, испугавшись пролитой на баррикадах крови, приказал вывести войска из Берлина. Но с современной точки зрения возникает вопрос — не доказывает ли как раз эта «слабость», предотвратившая дальнейшее кровопролитие, благоразумие и добрый инстинкт короля? (См. примеч. 49.) Нежность нервов, может, и была бы природным даром — да только если не отказываться от нее.

Чувствительность с самого начала то и дело оказывалась в немилости. Как бы ни ценилась возбудимость, в воздухе постоянно витала мысль о том, что перевозбуждение вредно. Иоахим Кампе считал «лихорадку сентиментальности» «душевной чумой» и предупреждал, что через намеренное «возбуждение нервной системы» человек заболевает, сам того не замечая. Эмили фон Берлепш[31], анализируя условия счастливой семейной жизни (1791), резко осуждает «расчувствования», как «медленный яд», «разрушивший уже немало женских нервов». Демонстративная грубость студенческих союзов выглядит как сознательная провокация против изнеженности. Людвиг Бёрне, хорошо осознававший собственную возбудимость, испытывал отвращение к «жалкой нервной философии» своего времени, противопоставляя ее сильному человечеству минувшей эпохи (см. примеч. 50).

Дело в том, что в Германии той эпохи переизбыток раздражителей не был насущной проблемой. Мыслящие люди ощущали иную неприятность — нехватку волнений и пронизывающую все и вся вялость. Об этом наглядно рассказывает Жермена де Сталь — женщина стремительная и яркая: «Когда приезжаешь из Франции, с трудом привыкаешь к медлительности и вялости немецкого народа. Он никогда не торопится, он повсюду обнаруживает помехи, и возглас “Это невозможно!” в Германии услышишь в 100 раз чаще, чем во Франции». «В Германии печи, пиво и табачный дым образуют вокруг людей из народа тяжелую горячую атмосферу, которую они совсем не любят покидать». Нельзя путать сознание смены эпох, которое пронизывает немецкую литературу рубежа XVIII–XIX веков, с изменением будничного ритма. В крайнем случае, некоторые стали воспринимать темп, считавшийся прежде нормальным, излишне медлительным — как тот же Бёрне, который в 1821 году в своей «Монографии немецкой почтовой улитки» высмеял почту, увидев в ней родственника этого моллюска. Чувство, что человека против его воли куда-то тащат и торопят, было еще редкостью. Зато обнаружилась другая опасность для тела и души — скука. Лишь много позже, в «нервозную эпоху», люди научились ценить ее как средство исцеления (см. примеч. 51).

В XVIII веке ко времени можно было относиться столь беззаботно, потому что лишь немногие знали, какое мучение доставляет расписан-

[31] Берлепш Эмили фон (1755–1830) — немецкая писательница и защитница прав женщин, близкий друг Иоганна Гердера. В своей главной работе «Условия счастливой семейной жизни» она задолго до теорий феминизма выступала за независимость женщины в браке и создание автономной женской культуры. Послужила прототипом эмансипированной графини в романе «Титан» Жан Поля, с которым была помолвлена.

ный по минутам день. Почтовая карета даже между Берлином и Дрезденом ходила тогда раз в 14 дней, и когда у нее появилось расписание — уже инновация! — то сначала его установили не по минутам, а лишь по часам, да и то не часто соблюдали. Скорость была чем-то желанным, а не устрашающим. «Богатство и быстрота — вот, что восхищает мир и к чему стремится каждый», — пишет Гёте своему другу и композитору Карлу Цельтеру в 1825 году. Но изобретенный мюнхенским анатомом Зёммерингом электрический телеграф, сделанный им, как он сам думал, в подражание нервной системе, не сделал карьеру даже в вихрях наполеоновских войн, а после войны интерес к нему и вовсе исчез: «Еще не было прямой потребности в такой срочной коммуникации». «У нас масса времени», — восклицал Вольфганг Менцель, немецкий литературный авторитет эпохи Бидермейера, назло Людвигу Бёрне. Даже сторонник строительства железных дорог в Пруссии в 1843 году замечал, что «у нас не хватает скорее предприятий, чем времени, чтобы что-то предпринимать»: экономия времени еще не стала смыслом железной дороги. Когда в ночь на 1 января 1834 года заработал Прусско-Германский таможенный союз, и на внутригерманских границах поднялись вверх шлагбаумы, длинные очереди грузовых повозок тронулись в путь под щелканье хлыстов и ликованье народа: новые скорости, все еще не такие высокие, были источником надежд, а не страха (см. примеч. 52).

В некоторых протоиндустриальных регионах уже существовал тип «ипохондрии», который указывает на психосоматические нарушения модерного типа, развивающиеся вследствие недостатка движения, монотонно-напряженного внимания и непрестанного возрастания темпа труда. Поучительный пример содержит хрестоматийный труд итальянского врача Бернардино Рамадзини (1633–1714) о профессиональных заболеваниях, переработанный и переведенный на немецкий язык Иоганном Кристианом Готлибом Акерманом (1780). Акерман служил в то время городским врачом в фогтландском городе Цойленрода, население которого состояло в основном из чулочников, так что он смог добавить в ученый труд Рамадзини собственную главу об этой профессии. Там говорится: «Многие чулочники не менее ипохондричны, чем самый наиученейший муж. Их мысли почти всегда развратны; они [...] по большей части в высшей степени своевольны, вспыльчивы, их трудно уговорить, убедить», и при этом они «в сравнении с другими необычайно ослаблены». В чистом виде та самая «возбудимая слабость», которую позже назовут «неврастенией». Чулочный станок, в то время «одна из наиболее искусных машин в мире», создавал трудовую нагрузку модерного типа — не требуя особой физической силы, он требовал утомительной

и монотонной концентрации на сложной аппаратуре. Поштучная система оплаты, соответствовавшая мануфактурной системе труда, служила стимулом работать как можно быстрее (см. примеч. 53).

Экономист Адам Смит гораздо проницательнее большинства медиков своего времени осознал, что стимулирование оплаты труда на высокоприбыльном предприятии угрожает здоровью работников, хотя такое мнение и не подходило либеральной вере в способность экономики к самоконтролю. «Хорошо оплачиваемый сдельный рабочий, — пишет Смит, — часто склонен перетруждаться и таким образом в течение всего нескольких лет теряет свое здоровье». Перед его глазами были Лондон и Манчестер. Но в Германии большинство рабочих еще думали иначе. К замешательству многих предпринимателей, они были на удивление непритязательны, и даже стимулированием труда было не легко нарушить их покой. После 1815 года конкуренция с Англией вынудила напрячь силы, но после первого шока значительная часть немецкой промышленности сумела вполне сносно обустроиться в нишах, не занятых английскими фабриками, и продержаться в них довольно долго. Крупные текстильные фабрики с их машинным темпом далеко не так типичны для эпохи начала индустриализации, как это следует из исторических трудов. Машиностроение еще долгое время вполне неспешно осуществлялось на предприятиях, напоминавших былые ремесленные, и даже во второй половине XIX века конкуренция не была такой острой (см. примеч. 54).

Конечно, наполеоновские войны принесли с собой много непокоя, и для Германии означали вторжение цивилизации, привыкшей к гораздо более быстрому темпу. Однако немцы, сопротивляясь ей, открыли в своей новой национальной идентичности противоположный полюс — уютность. В XVIII веке слово *gemütlich*[32] стало популярным поначалу в пиетистских[33] трудах. Немецкий квиетизм[34] эпохи модерна также имел свои религиозные корни в «сельской тиши». Но чтобы стать частью нацио-

[32] Уютный (*нем.*).

[33] Пиетизм (от лат. *pietas* — благочестие) — реформаторское направление в протестантизме рубежа XVII–XVIII веков, придававшее особое значение религиозным переживаниям человека и его личному благочестию, т.е. в центре внимания оказывался субъект. Поэтому считается, что пиетизм оказал особое влияние на литературу немецкого Просвещения, где смог органически сочетаться с новой для того времени наукой психологии и концентрации модерна как макроэпохи на индивидуальности (например, «Вильгельм Мейстер» Гете и «Антон Райзер» Карла Филиппа Морица).

[34] Квиетизм — сложился в католичестве и требовал от человека абсолютного смирения, пассивности, подчинения божественной воле и созерцательно-мистического отношения к действительности.

нальной идентичности, «уютность» должна была подвергнуться секуляризации и начать ассоциироваться с жизнерадостностью, блаженством пивопития, а также отчасти пропитаться антизападными настроениями. Возможно, Алисе Беренд небезосновательно ищет один из истоков новой «уютности» в знакомстве с опытом гильотины (см. примеч. 55). Если неспешность бытия до этого времени оставалась скрытым качеством немцев и замечалась лишь такими сторонними наблюдателями, как Жермена де Сталь, то с учетом вызовов, связанных с французской революцией и английским трудовым энтузиазмом, уютность становится осознанным национальным качеством. Причем она была не только прекрасной мечтой, но опиралась на вполне реальный фундамент немецкой непритязательности и умения существовать в собственной небольшой нише.

Возникает вопрос, как могло это свойство уживаться с героическими идеалами освободительных войн. Но и герою иногда нужен покой. В сборниках студенческих песен военные гимны прекрасно сочетались с застольными пивными песнями. В 1845 году по образу и подобию знаменитого гимна на стихи Шиллера «Вперед, вперед, товарищи, на коней» появляется песня «Рыцари уюта», первая строфа которой гласит: «И если в полуночный час компания заплутала, то благородные господа устроят достойное застолье, и где бы оно ни было и когда бы оно ни было, но благородны рыцари уюта». Лишь двумя поколениями позже между пивным застольным уютом и идеалом героизма пролегла трещина.

В 1847 году в прусском ландтаге банкир Давид Ханземан произносит фразу, ставшую крылатой: «Где появляются деньги, там кончается уют». Генрих фон Трейчке, для которого 1840-е годы были временем детства и юношества, описывал их как начало эры болезненной раздражительности: «Появилось новое поколение, вечно спешащее с места на место, от одного впечатления к другому, быстро обучаясь и быстро забывая выученное, постоянно наслаждаясь, постоянно что-то приобретая, влюбленное в самое себя и в насущное, лишенное мира и радости». Особенно женщины, по его словам, лишились «значительной доли их привычного деятельного спокойствия». Растущая непредсказуемость экономической ситуации осложнила возможность заключить брак, «так что число неудовлетворенных, больных и нервных женщин непрерывно росло». Даже собственная мать казалась Трейчке настолько «нервной» и «раздражительной», что он не чувствовал к ней сыновней любви (см. примеч. 56). Растущая нервозность контрастирует с параллельным процессом национального пробуждения, который Трейчке буквально обожествлял. Лишь через одно-два поколения, когда «первенцы» ново-

го темпа жизни уже сами оказались поколением старшим, обнажился массовый феномен патогенных последствий ускорения. И уже многие неврастеники указывали на «нервных» родителей.

Знаменитый химик Юстус Либих уже в молодости проявлял все признаки расстройства вследствие постоянного стресса. Горя вечным нетерпением в работе, он жаловался то на одно, то на другое недомогание. Его друг Фридрих Вёлер в 1832 году дал конкретную справку о его недуге: «*Hysteria chemicorum*, причины которой — чрезмерная умственная нагрузка, честолюбие и дурной лабораторный воздух. Все великие химики страдают этим». Сам же Либих ставил себе диагноз «ипохондрия», поскольку его фантазия даже мельчайшее недомогание раздувала так, что для него «любое удовольствие отравлено, любой приятный час испорчен». О своих нервах он не говорил. Позже в «Письмах о химии» он гневно критиковал досужие рассуждения врачей о «всеохватной силе нервов». Примерно в середине века медицинский жаргон в Германии приобретает новое звучание, которое сопровождалось новым импульсом в применении естественно-научных методов. Браунизм стал постыдным воспоминанием. Такие понятия, как *Irritabilität* («раздражительность»), *Asthenie* («астения»), *Nervengeist* («нервный дух») и *nervöser Genius* («нервный гений»), исчерпали кредит доверия, даже если некоторые врачи-практики продолжали их использовать (см. примеч. 57). В то самое время, когда начался стресс индустриальной эпохи, никакого адекватного термина еще не было.

В 1840-е годы им в некотором роде стала «спинальная ирритация», которая для многих ассоциировалась с «неугомонностью эпохи». Этот пришедший из Англии медицинский концепт объяснял различные жалобы как следствия возбуждения спинного мозга. Он был основан на недавнем открытии центральной роли спинного мозга в нервной системе и соответствовал новым требованиям, согласно которым каждую болезнь нужно четко локализовать. Позже спинальная ирритация стала считаться прямой предшественницей неврастении, хотя такое происхождение было для неврастении и не слишком почетным. Дело в том, что вскоре обнаружился псевдосоматический характер этого учения, и представители строго анатомического направления выступили с «категорическим “Хватит!”». Ромберг превратил спинальную ирритацию в «призрак». Но окончательно изжить этот термин не удавалось еще несколько десятков лет — очевидно, из-за высокого практического спроса на подобное понятие.

А как же старая-добрая «нервная слабость»? Один ганноверский врач в 1845 году критиковал это понятие: нервы «слабы» только в своей не-

способности «вести себя в соответствии с нормой». Но вместо этого они часто способны на совсем иное, как показывает возбудимость многих «слабонервных» людей, так что с «тем же правом» можно «допустить при этих болезненных состояниях чрезмерную силу нервной системы» (см. примеч. 58). Остается только удивляться, что уже поколением позже старое понятие «нервной слабости» успешно воскресло в виде «неврастении».

КТО ПЕРВЫЙ: БИРД ИЛИ БИСМАРК? НЕВРАСТЕНИЯ КАК АМЕРИКАНСКАЯ ИЛИ НЕМЕЦКАЯ БОЛЕЗНЬ

В отличие от множества других болезней историю неврастении можно начать как сказку: «Жил-был на свете один человек...» Этим человеком был невролог из Нью-Йорка Джордж М. Бирд (1839–1883). Уже 100 лет эту историю так и рассказывают. Однако чем больше читаешь про Бирда, тем труднее составить о нем ясное представление. Он выглядит то отважным пионером с проблесками гениальной интуиции, то человеком неясным и поверхностным, бросающимся от одной мысли к другой в постоянном стремлении к успеху. Эта противоречивость заметна уже у его современников: кто-то издевался над бирдовской «неврастенией», называя ее цирком Барнума[35] от медицины, а кто-то, причем таких было много, хватался за новое понятие как за спасательный круг. Теория неврастении, впервые представленная Бирдом в 1869 году, сегодня кажется типичным продуктом своего времени — той турбулентной эпохи «реконструкции» после гражданской войны, когда, по словам американского историка Льюиса Мамфорда, «старая Америка» враз была уничтожена и «буквально за ночь восторжествовал» индустриальный капитализм в чистейшем своем виде. «Неврастения в самом реальном смысле стала рационализацией нового американского социального порядка. [...] Хотя в 1920-е годы неврастения зачахла, это ничуть не уменьшило ее значимость в качестве свидетельства беспокойного приспособления Америки к индустриальной эпохе» (см. примеч. 59).

Нет сомнений, общественный резонанс, вызванный «неврастенией» Бирда, был феноменом эпохи как минимум в той же мере, в какой он был событием медицины. Но именно то, что вызывает недоверие у медиков, у историка пробуждает интерес. Бирд не был ничтожеством.

[35] Цирк Барнума — цирк, организованный американским шоуменом своего времени — Финеасом Тейлором Барнумом (1810–1891), аналог фрик-шоу, демонстрировавший не только экзотических животных, но и людей с врожденными физическими патологиями, так называемых уродцев.

Этот не особенно успешный врач не приобрел бы такой славы, если его «неврастения» была бы лишь красивым словом для банальностей. В то время даже авторитетные медики, стоявшие в академической иерархии много выше Бирда, приветствовали «неврастению» как великое открытие, как откровение. И это при том, что Бирд не мог похвастаться ни новаторскими исследованиями, ни блестящей теорией. У всемирной карьеры его «неврастении» остается одно объяснение: его понятие сумело вобрать в себя широко распространенный опыт.

Первый важный пункт в биографии Бирда — собственный опыт нервного расстройства, усугублявшийся ипохондрией. Уже в юности он был склонен к тревожному самонаблюдению и обнаруживал у себя множество симптомов, которые позже относил к неврастении, будь то шум в ушах, головная боль, нарушения пищеварения или общая слабость. В 1858 году, когда ему было 19 лет, один врач открыл ему правду о том, что он «очень нервный» и ему нужно «избегать умственной деятельности». Бирд, очевидно, не знал, что делать с таким советом. Какое-то время он искал исцеления в улучшенном питании, но затем ему стал мешать лишний вес. Преодолев юношеский кризис, он все-таки «продолжал следить за собственным телом со своеобразной вынужденной нежностью, исполненным страхом нарциссизмом, относившимся к его весу, выдержке, упитанным щекам» (Питер Гай) (см. примеч. 60).

Второй пункт в становлении Бирда — отказ от отцовской религиозности. Отец его был проповедником у конгрегационалистов[36], двое его братьев тоже получили духовный сан. Юношеский кризис Бирда вырос из религиозных сомнений и метаний между страхом греха и стремлением к соблазнам. Переход от религии к медицине означал для него внутреннее освобождение, однако в профессию врача он привнес долю религиозного рвения. Теория неврастении сделала возможным «публичное вторжение неврологов в личные проблемы» (Эббот), т.е. Бирд открыл для неврологов ту сферу, которая для набожного человека всегда входила в сферу забот о душе. Один из первых его трудов был посвящен стимуляторам и наркотикам (1871). В нем он дистанцировался от радикального антиалкоголизма и пуританской борьбы против всего, что доставляет удовольствие. В отличие от следующего поколения лечащих неврологов он даже отстаивал укрепляющее воздействие алкоголя на организм и приводил в пример мужчину, страдавшего бронхитом, который не вынимал изо рта трубку, выпивал бутылку джина в день и тем не

[36] Конгрегационализм — радикальная ветвь английского кальвинизма, утверждавшая автономию каждой общины (конгрегации), чтобы избежать бюрократии общенациональной церкви и деспотизма синодов.

менее дожил до библейского возраста (см. примеч. 61). Возможно, Бирд недооценивал вред алкоголя, но он не обнаружил бы неврастению, если в своих поисках застрял бы в пуританских кампаниях против роскоши и распутства.

Третьей важной станцией на пути Бирда к неврастении был интерес к электричеству. В первой его работе «Электричество как тонизирующее средство» (1866) еще просматривается старое толкование, что суть терапии нервов заключается в укреплении ослабевшего тонуса, напряжения нервов. Это было логико-технологическим фундаментом для электротерапии. Электричество интриговало Бирда с самого детства, он испытывал его действие на собственном теле. И даже бытует мнение, будто именно благотворное действие одного из таких опытов привело его к решению стать врачом и исследователем. Какое-то время он работал вместе с Эдисоном и стал одним из самых восторженных приверженцев знаменитого изобретателя. Благодаря Эдисону электротерапия приобрела в глазах Бирда космический масштаб. В 1876 году он писал, что обнаружил жизненную силу в искрах электричества во время экспериментов Эдисона, а в 1881 году — что «электрический свет Эдисона» предлагает «лучшую иллюстрацию влияния индустриальной цивилизации на нервную систему». Потому что если к электрической цепи (человеку) подключаются «новые функции», как того требует новая цивилизация, то при постоянно сохраняющейся энергии более слабые лампочки начинают мигать или вовсе гаснут: «Это философия современной нервозности» (см. примеч. 62).

Подобные пассажи кажутся сегодня фигурами речи. Тем не менее знакомство с электротехникой помогло представлениям о нервной системе стать более реалистичными. И по сей день неврология черпает вдохновение из электротехники и электроники. Пускай в электротерапии Бирд — и, к сожалению, не только он — наделал глупостей, но электроманом все же не стал. Его книга о неврастении (1880), принесшая ему мировую известность, родилась в ситуации, когда попытка добиться славы как глашатай электричества провалилась, и Бирд вернулся к профессии врача. Его книга содержит не только идею о *Homo electricus*, но и реальный опыт. Стиль мышления Бирда кажется сегодня механистичным, но он не только видел в неврастенике подсевшую батарейку, нуждающуюся в подзарядке, но, «вероятно, был первым американским психотерапевтом» (см. примеч. 63).

Возможно, лампочка Эдисона навела Бирда на мысль о том, что проявлениям жизни в людях свойственно своего рода мерцание. Однако метафоры, которыми он описывает силу нервов, показывают, что в сво-

ей фантазии он обращался не только к динамо-машине, но и к водяной мельнице, не только к паровой тяге, но и к солнечной энергии. «Человеческий организм в некоторой мере представляет собой резервуар силы с постоянными входом и выходом; расход силы компенсируется благодаря единственному и универсальному центру — солнцу». Лишь рецензия в «Times» навела его на мысль, что вполне подходящей моделью для его теории служит динамо-машина. Бирд приводит интересный образ. Он сравнивает индейскую скво, которая «беззаботно сидит перед своим вигвамом», с мельничной плотиной на большом пруду, «в котором приток и отток воды постоянно соответствуют друг другу, и потому сила, приводящая в действие колесо, никогда не иссякает». Неврастеничка же, наоборот, напоминает мельничную плотину с малым резервуаром и быстрым стоком. Интересно, что Бирду не приходит в голову, что, по логике его рассуждений, индейская скво служит положительным примером. Напротив, он с отвращением отвергает ее мнимую грубость, позволяющую распускать руки в общении с мужем, и хвалит нежность и чувствительность невротичной белой американки (см. примеч. 64).

Поначалу, еще в 1869 году Бирд предполагал, что неврастения может происходить от «дефосфоризации» центральной нервной системы, т.е. от расхода горючего вещества нервов; однако впоследствии он стал понимать ее как «функциональное» нарушение — как болезнь без явного органического фундамента. «Функциональным» было для него то, что «не способен увидеть» микроскоп (см. примеч. 65). Очевидно, микроскоп смог привести к более тонкому различению между органическими и функциональными болезнями. Впрочем, в бирдовском описании неврастении бросается в глаза, что в отличие от более поздних авторов он практически не пытается выделить и точно описать симптомы. Его книга предполагала, что врач видит пациента как единое целое и формирует у себя инстинктивное понимание неврастении. Примечательно, как много врачей того времени приходили к убеждению, что подобную слабость нервов можно идентифицировать как самостоятельный недуг. Не напрасно Бирд полагал, что сумел подобрать слово, озвучившее то, что инстинктивно и бессловесно уже давно витало в воздухе.

Что касается этиологии, то Бирд предварил свою «неврастению» утверждением, «что первая и важная причина неврастении кроется в современной цивилизации и сопутствующих ей условиях». Трудными для нервов были в глазах Бирда не только постоянное давление на психику со стороны современной техники и индустрии, но и «подавление эмоций», надежды и возможности, диктуемые современной свободой, а также — вспомним происхождение Бирда — протестантские секты. «Ни

одна католическая страна не является столь нервной», — замечаешь это, как только переходишь границу католической Канады. Даже если согласиться, что в США современная цивилизация охватила все слои общества, Бирд полагал, что неврастению лучше всего изучать на «представителях обеспеченных классов». В этом, по Бирду, также кроется одна из причин, почему неврастению до сих пор не распознали как самостоятельную болезнь: медицинское знание доселе чересчур однобоко формировалось в одних госпиталях да в практике врачей, лечащих бедноту (см. примеч. 66).

Поскольку Бирд полагал, что какая-то часть нервозности это неизбежное следствие современной цивилизации, и верил, что нервозность передается по наследству, аккумулируясь в последующих поколениях, было бы логично, если он опасался бы дегенерации и вырождения культурных народов. Однако тон Бирда оставался оптимистичным, и декадентские страхи были ему чужды. В его работах сквозит уверенность, что в общем и целом неврастению можно свести на вполне безопасный уровень легкой нервности. Такая нервность, по его мнению, даже имеет свои плюсы: «Создается впечатление, что чрезмерная нервозность американцев действует как противоядие и превентивное средство против яда и ревматизма, а также других воспалительных заболеваний» (см. примеч. 67). Мысль о том, что феномен, считающийся болезнью, может играть в организме позитивную роль, была интересной и перспективной.

В терапии Бирд также не придерживался одной генеральной линии, но практиковал разнообразную, почти хаотичную палитру методов. С сегодняшней точки зрения многое кажется шарлатанством. Современный социолог медицины комментирует, что методы лечения Бирда — а он не брезговал даже столь опасным веществом, как стрихнин, — оправдывали мнение, что от врачей надо держаться подальше. Мюнхенский невропатолог Леопольд Лёвенфельд[37], хоть и использовал само понятие «неврастения», но ужасался тому, что Бирд применяет электрический ток в области гениталий. Вероятно, разнообразие методов Бирда объясняется тем, что он исходил из пожеланий самих пациентов. Как писал

[37] Лёвенфельд Леопольд (1847–1923) — немецкий психиатр и невропатолог, был корреспондентом и другом Фрейда. Начав с «Экспериментальных и критических исследований электротерапии головного мозга» (1881), он в научном плане продолжил развиваться в абсолютном соответствии с поворотами в эволюции психиатрической культуры: в его библиографии присутствуют и работы по нервной слабости и истерии (1887), и исследования в области сексуальной жизни и института брака (1899, 1906, 1911), и труды по гипнотизму (1901, 1904, 1922), и изыскания в области проблем взаимосвязи гениальности и искусства (1903, 1904, 1905).

он в «Неврастении»: «Пациенты беспрестанно требуют помощи и таким образом вынуждают врачей искать новые средства и методы лечения» (см. примеч. 68).

Мгновенный успех бирдовской «неврастении» именно в Германии поразителен. «Новое слово, — пишет Мёбиус, — заворожило и врачей, и пациентов». Говоря точнее, слово уже было, но «хранилось в чулане». «Неврастения» была диагнозом для таких случаев, встречаясь с которыми, врачи не знали, что сказать.

В 1887 году Зигмунд Фрейд, тогда еще не известный, называл неврастению «наиболее частым заболеванием в нашем обществе». Рихард фон Крафт-Эбинг[38] позже вспоминал, что работа Бирда, «несмотря на весомые недостатки, появилась на медицинском небосводе как озарение», причем именно в немецкоязычном пространстве. «Повсюду обнаружилось множество описаний болезни, соответствующих его данным, — пишет Отто Дорнблют[39], автор последнего крупного учебника по неврастении (1911), — как будто мир только и ждал наименования и описания этой болезни». Рядом с поговоркой «кто отдыхает, тот ржавеет» примерно в 1900 году появился стишок популярного писателя Отто Эриха Гартлебена: «Трудоголик иль бездельник — будешь точно неврастеник». Оглядываясь назад из критических 1920-х годов, Освальд Бумке, один из ведущих немецких психиатров того времени[40], замечал: «Наверное, нет другого такого случая в истории медицины, когда одно лишь слово

[38] Крафт-Эбинг Рихард фон (1840–1902) — австрийский и немецкий психиатр, невропатолог, криминалист, автор легендарной (и по степени своего влияния на культуру действительно культовой) «Половой психопатии» — исследования сексуальных извращений и вместе с тем одного из самых больших сборников клинических историй пациентов, благодаря чему книга была известна не только в узкоспециальных кругах, но пользовалась феноменальной популярностью в самых широких читающих кругах. Среди прочего, автор самого знаменитого своего термина — «садо-мазохизм», за основу которого взял фамилии Маркиза де Сада и австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха («Венера в мехах», 1869).

[39] Дорнблют Отто (1860–1922) — немецкий врач и издатель «Клинического словаря» (с 1894 г.).

[40] Бумке Освальд (1877–1950) — немецкий психиатр и невролог, автор нескольких всемирно известных пособий по психиатрии. Вращаясь в среде культурной элиты (Бумке и сам пробовал себя в жанре афоризма), он также и психиатрию выводил в широкое поле культуры, исследуя смежные вопросы медицины и общества. В известной работе «Культура и вырождение» (1912) критиковал популярные тогда в науке и обществе идеи дегенеративности. В марте 1923 года вместе с другими зарубежными коллегами консультировал больного Ленина в Москве, где свел знакомство с Троцким и Радеком, которых назвал людьми большого формата, и Чичериным, которого назвал психопатом.

оказало такое гигантское влияние на науку и в то же время создало видимость такого множества новых заболеваний, как это сделала "неврастения"» (см. примеч. 69).

Такой успех, многим современникам показавшийся столь естественным, сегодня вызывает множество вопросов. Виртуозностью самой концепции или исследовательских трудов Бирда его, конечно, объяснить нельзя. Не имел Бирд и авторитета в науке: этот нью-йоркский доктор вообще находился вне академической иерархии и рано умер, не успев внести вклад в распространение свой теории. В его эпоху европейская наука еще служила для Нового Света наставником, смена ролей «учитель-ученик» началась тогда только в технике. Вплоть до сегодняшнего дня психиатрические термины американского происхождения остаются редкостью, неврастения была в этом смысле серьезным исключением. В Германии, наука которой в то время приближалась к вершинам своей славы, Бирд до 1880 года был практически неизвестен, его имя фигурировало лишь в электротерапии, переживавшей бум с 1850-х годов (см. примеч. 70).

Бирд, хотя и ярко выраженный американец, был очарован немецкой наукой. Он поддерживал контакты с гейдельбергским неврологом Вильгельмом Эрбом, неоднократно на него ссылался и писал: «Если бы мы постоянно не подпитывались от кормящей груди Германии, то и Англия, и Америка в научном смысле давно бы уже погибли с голоду». Однако в самой Германии лесть проигнорировали. Все говорит за то, что успех Бирда объясняется только собственной срочной потребностью в новом концепте — каким и была его «неврастения». Там, где речь шла о стрессе, связанном с новым темпом экономики, у нью-йоркского врача предполагалось знание из первых рук. И в то же время «астения» пробуждала романтические ассоциации (см. примеч. 71). В 1880 году учение об астении уже нельзя было предъявить в традиционной форме, но новое его издание в бирдовском варианте казалось суперсовременным.

Немецкая медицина одарила Бирда не только признанием. Чуть ли не признаком хорошего тона стала некоторая сдержанность по отношению к американскому аутсайдеру. Однако под этой сдержанностью обнаруживается стандартная модель поведения специалистов — поначалу они дистанцировались от Бирда, затем начинали применять большую часть его теории. Отто Бинсвангер[41] еще в 1883 году предпочитал говорить о

[41] Бинсвангер Отто (1852–1929) — немецкий психиатр и невропатолог, сын основателя санатория Бельвю Людвига Бинсвангера-ст. и дядя Людвига Бинсвангера-мл. Был главным врачом психиатрической и неврологической клиники в берлинском Шарите, директором университетской психиатриче-

«неврозах истощения» и жаловался, что неврастения, «этот медицинский термин, пришедший к нам из-за моря, до сих пор внес к нам лишь сумятицу и вред». Через какое-то время тот же Бинсвангер опубликовал один из хрестоматийных трудов по неврастении и отдал дань «богатому опыту» нью-йоркского врача. Влияние Бирда ощущалось и там, где на него не ссылались, что еще больше доказывает его убедительность.

Крафт-Эбинг напомнил о том, что медицина, увлеченная победоносным шествием анатомии, порой полностью теряла из вида «болезненные явления, не определяемые анатомически». Возникший вследствие этого вакуум также объясняет успех Бирда в Германии.

С чисто научной точки зрения немцы предпочли бы учиться скорее у французов, чем у американцев. Рудольф Арндт[42], немало смущенный славой Бирда, призывал вспомнить изданный еще в 1860 году труд «Nevrosisme» («Нервность») детского врача Эжена Бушу, парижского профессора медицины. Эта книга и введенный ею термин появились как следствие дискуссии, которую за год до того вели в Медицинской академии. Однако книга Бушу, как вспоминает Арндт, внесла поначалу только путаницу. Хотя Бушу (как и Бирд — неврастению) дефинировал свою *nervosisme* как чисто функциональное расстройство без видимой органической основы, но добавил к описанию лихорадочные атаки и другие острые заболевания массового характера. Тем самым он вторгся на территорию клинических исследований. Кроме того, современная индустриальная цивилизация как патогенный фактор не играла для него никакой роли. Данные Бушу о том, что причины *nervosisme* обусловлены образом жизни, кратки и стереотипны, он пишет в русле критики роскоши и страстей, и его доводы с одинаковым успехом могли использоваться и в XVIII, и в XIX веке (см. примеч. 72). Отсутствие интереса к книге Бушу доказывает, насколько успех новой теории нервозности объяснялся ее связью с модерном и индустриализацией. Примерно до 1880 года немцы ассоциировали «нервозность» скорее с французами. Может быть, это мешало им признаться в собственной нервозности до тех пор, пока Бирд не превратил ее в американский недуг.

Немецкое *nervös* («нервный», «нервозный») раньше считалось заимствованием из французского, хотя пришло в XVIII веке сначала из Англии. В использовании понятия *Nervenschwäche* («нервная слабость»,

ской клиники в Йене. Среди его известных пациентов были Фр. Ницще, Г. Фаллада, И.Р. Бехер.

[42] Арндт Рудольф (1835–1900) — немецкий психиатр, автор первого в Германии труда по неврастении «Неврастения (нервная слабость), ее сущность, значение и лечение» (1885).

«слабонервность») Германия и вовсе могла бы претендовать на приоритет. Создается впечатление, что *nervosité* пришло во Францию как заимствованное немецкое *Nervosität*. Однако ни традиционная немецкая «слабонервность», ни нервозность во французском стиле в 1880 году не вошли в употребление, чтобы сформулировать и выделить опыт нового расстройства. Немецкие любители изящной словесности были знакомы с французской нервозностью по «Мадам Бовари» Гюстава Флобера (1857), автор которой и сам сильно жаловался на нервы. Но в этом случае слово *nervös* было лишь эвфемизмом, за которым скрывалось эротическое разочарование и скука провинциальной жизни; это было противоположностью страданиям от стресса и потока раздражителей в крупном городе. Во Франции «неврастения» Бирда также показалась новшеством. Даже столь значимая фигура, как Жан-Мартен Шарко, самый прославленный невролог своего времени, считал описание этой болезни «великолепным» и близким к реальности, хотя для него и его учения об истерии «неврастения» была потенциальным конкурентом. Его высокая оценка также показывает, что вопреки путаному разнообразию ее симптоматики неврастения казалась тогда вполне распознаваемым недугом (см. примеч. 73). То, что сегодня это не так, объясняется, в частности, изменением коллективного душевного состояния.

Представление о том, как изменилась атмосфера в Германии в 1870-е годы, дают неврологические труды, написанные непосредственно перед эпохой грюндерства[43]. Справочник о «Болезнях нервной системы» издания 1869 года проводит границу между органически обусловленными и функциональными расстройствами и обозначает последние как «собственно нервные болезни (неврозы)». Общий контур того, что 10 лет спустя назвали «неврастенией», здесь уже был. Справочник содержит главу об «общей повышенной чувствительности, болезненной возбудимости, раздражительной слабости, нервной слабости» — «конкретные наименования здесь не так важны». Заметно, что складывается новый комплекс симптомов, для которого пока нет удобного названия. Далее говорилось: «противоположное состояние, отупение» имеет «ничтожное практическое значение». В начале XIX века многие врачи придерживались обратного мнения. «Причины возбудимой слабости» автор не мог «привести с точностью». «При всей важности этих факторов, — за-

[43] Эпоха грюндерства (от нем. *Gründer* — основатель, учредитель) — в узком смысле первые годы после образования Германской империи (1871) до экономического кризиса 1873 года, в широком — весь период индустриализации 1870–1914 годов; характеризуется активным учреждением фирм и предприятий, классическим либерализмом и буржуазной культурой.

канчивается абзац, — попытка предпринять здесь специальное расследование завела бы нас слишком далеко» (см. примеч. 74). Именно в этой точке остановилось немецкое учение о нервах в 1870-е годы, а Бирд его подхватил и продолжил.

В 1881 году один пациент направился во Франкфурт-на-Майне к доктору Зигмунду Теодору Штайну — электротерапевту, находившемуся под влиянием Бирда. История его болезни приводит нас в самый центр нового мира неврастении — здесь самым наглядным образом предстают и временной контекст его расстройства, и его чисто экзогенные причины, так что в целом можно легко проследить, как усиливается его нервозность, доходя до «высочайших форм» неврастении. Речь идет о торговце 44 лет, чей предпринимательский дух включился на полную мощность благодаря обильным военным поставкам 1870–1871 годов. В этот период для него началась «столь же волнующая, сколь утомительная и ответственная деловая деятельность», конца у которой уже не было. Обогатившись за счет войны, этот человек, «с избытком обеспеченный», со всей головой окунулся в эпицентр грюндерского бума:

> «Волны спекуляций захватили его со всей силой, а вскоре он, как и большинство его коллег, столкнулся с потерями 1873 года. Биржевой крах, который хотя и сотряс его материальное благополучие, но не похоронил его окончательно, положил начало его нездоровью. После того как все бурные коммерческие треволнения не повлияли на этого человека, обычно столь бодрого, жизнерадостного, крепкого и свежего, о себе дали знать потеря аппетита, нарушения пищеварения, бессонница и дурное настроение. [...] В 1877 году начали складываться более тонкие формы неврастении, в первую очередь усилились диспептические явления [...] дискомфорт в нижней части живота, ломота в спине, давящие головные боли и чувство страха» (см. примеч. 75).

С 1870-х годов психологические последствия технического и индустриального перелома обратили на себя внимание немецких политэкономов, и связано это было с растущим осознанием кризиса. Около 1870 года Густав фон Шмоллер, восходящая звезда немецкой политической экономии, назвал «сказкой» теорию о росте продолжительности жизни в эпоху модерна, что было совершенно несправедливо. Тем не менее, по его словам, «[ж]изнь в среднем стала короче. Работа и удовольствие истирают ее». Он полагал, что в будущем экономическая наука должна уделить особое внимание тому ущербу, который наносит психике индустриальный прогресс. В 1873 году он писал:

> «Мы видим в сотни раз больше того, что видели наши деды. Горизонт расширился неизмеримо. Уезжая в отпуск, наши деды редко теряли из виду башню деревенской церкви. Теперь же ученик средней школы уже путешествует в Гарц,

> в Шварцвальд, в Альпы. [...] Мы действуем более решительно, более интенсивно живем, наслаждаемся и работаем. Все должно быстро идти вперед. Добродетель точности выросла, возможно, более остального. Железные дороги кажутся [...] большими национальными часами. Тому, кто хочет преуспеть в жизни, приходится отказаться от любых личных желаний, отдаться быстрому темпу, общим условиям бега на длинную дистанцию. Все должно стать быстрее. Молодое поколение все стремительнее вступает в жизнь. Лозунгом стало: Не теряй ни минуты; вся жизнь напоминает несущийся мимо скорый поезд» (см. примеч. 76).

Текст завораживает своей амбивалентностью. Он написан в кульминационный момент эпохи грюндерства, еще до великого краха, и пронизан чувством полноты и энергии. Но чувствуется, как легко эйфория может обернуться своей противоположностью и как близится общество к порогу раздражения. Учреждение Германской империи резко увеличило и усложнило немецкий мир, а железная дорога сделала этот рост заметным не только на карте, но и в повседневной жизни каждого человека. Экономический бум грюндерства привел к коллапсу, погоня за счастьем обернулась борьбой за существование. После эйфории объединения Германии немцы столкнулись с тяжелыми внутренними противоречиями, борьбой нового правящего слоя против «врагов империи», католиков-ультрамонтанов[44] и социалистов. Новое чувство национального превосходства было глубоко оскорблено Всемирной выставкой в Филадельфии 1876 года — там выяснилось, что немецкие товары считаются в мире «дешевыми и плохими». Новой моделью и будущим соперником стали США, и стоило только немцам покинуть свою нишу, как стало заметно, насколько слабо защищены их позиции на мировом рынке.

После биржевого краха два десятка лет царил дух кризиса. Статистика доказывает, что «Великая депрессия», начавшаяся в 1873-м и ушедшая далеко в 1890-е, — это «миф»: как свидетельствуют производственные показатели, большая часть этих лет была не более чем замедлением роста, и только коллективное состояние тревожного беспокойства превратило эту эпоху в затяжной кризис. Немецкий историк Ганс Розенберг описывает годы между 1873-м и 1896-м, т.е. время той самой якобы «Великой депрессии», как «эпоху невроза, склонного к навязчивым представлениям», когда «нервы оказались перегружены». В 1879 году один венский врач заметил, что «сегодня при каждом удобном и неудобном случае употребляют слово “нервный”». Гельпах связал оглушительный успех «неврастении» Бирда с «великим переломом» Германской империи в конце 1870-х годов: отказом от свободной торговли и либерализма, за-

[44] Идеология ультрамонтанства выступала за жесткое подчинение национальных католических церквей папе Римскому.

вершением культуркампфа[45], законом против социалистов[46] и первыми «грозовыми всполохами» антисемитизма. Либеральный индустриализм пережил что-то вроде «нервного коллапса», и как раз около 1880 года нервная эпоха ощутила потребность «увидеть себя, так сказать, в зеркале». Переход к покровительственной пошлине продемонстрировал мощь нового союза между аграриями и тяжелой индустрией, но верх взяла общая перемена атмосферы: нарастающее ощущение, что для спасения немецкого уюта необходимо будет сооружать защитные валы против безудержной конкурентной борьбы. Бисмарк в 1880 году назвал эру свободной торговли временем «болезни», а закон о протекционистской пошлине — «курсом лечения» (см. примеч. 77).

В те же годы Бисмарк приобрел и сугубо личный опыт болезни и восстановления. В 1870-е годы из-за ненасытности в еде и питье он превратился в огромного толстяка весом больше 125 кг, чье раздувшееся тело и одутловатое лицо с тяжелыми мешками под глазами и невралгическим тиком казались живым воплощением всевозможных болезней эпохи грюндерства. Бездна, разверзшаяся между ним и традиционными прусскими консерваторами вследствие культуркампфа, тяжелым грузом легла ему на душу, поскольку означала для него отрыв от эмоциональной родины. Пароходы, привозившие из-за Атлантики дешевое американское зерно, заставили аграриев, привычных к относительно спокойной жизни, вести типичную для эпохи борьбу за существование. В 1878 году Бисмарк заболел опоясывающим лишаем и, видимо, не без оснований воспринял его как психосоматическое заболевание, как «расплату за нервное истощение», которое именно в то время усугубилось колкими насмешками газеты «Reichsglocke»[47] над отношениями Бисмарка с еврейским банкиром Блейхрёдером. Канцлер полагал, что с его здоровьем «покончено»: «Здоровье мое потерпело парализовавшее меня банкротство». Он боялся уподобиться презираемому им Фридриху Вильгельму IV, и его преследовал страх перед «размягчением мозга». Врачи подозревали рак печени и желудка. Бисмарк задумался об отставке. Но затем за крупным политическим переворотом — возвращением к консерваторам — он совершил не менее важный переворот в своем образе

[45] Культуркампф (нем. *Kulturkampf* — борьба за культуру) — конфликт между Германской империей и Римско-католической церковью. Бисмарк опасался партикуляристских устремлений католического духовенства, Пия IX смущало первенство протестантской Пруссии.

[46] Исключительный закон против социалистов (*Sozialistengesetz*) запрещал деятельность социалистических и социал-демократических организаций в Германской империи вне рейхстага и ландтагов.

[47] Имперский колокол (*нем.*).

жизни, что вернуло ему уже позабытое «ощущение здоровья». Героем этого переворота был вылечивший Бисмарка врач Эрнст Швенингер со своими методами натуропатии (вскоре распространился глагол «швенингерить»), и освобождение от страха перед безумием и смертью привело канцлера к мысли, что все его страдания были следствием противоестественного образа жизни и «нервного кризиса» (см. примеч. 78).

Или мысль эта была плодом его желаний? Ведь «нервы» не были для него новой темой. В дневниках Людвига Бамбергера[48] «нервы» встречаются уже в 1870-м как слово, типичное для словаря Бисмарка. С 1860-х годов Бисмарк любил повторять, что изнуряющая жизнь выматывает его нервы. Широко известен припадок судорог, случившийся с ним в 1866 году в Никольсбурге, когда он потребовал немедленного заключения мира с Австрией и при этом так яростно поспорил со своим королем, что несколько месяцев проболел. «Шторм разрядился его нервами», — писал об этом австрийский историк Генрих Фридъюнг. Однако война 1870–1871 годов для нервов Бисмарка прошла прекрасно и «унесла с собою все недуги».

В тяжелом психосоматическом кризисе, последовавшем затем, Бисмарк говорил, что проблемы с нервами у него начались с «беспутной» студенческой жизни. Около 1880 года он, как записала баронесса Шпитцемберг, «сильно мучился от лицевых болей, мешавших ему говорить, есть и ужасно его раздражавших». В 1882 году Швенингер, впервые посетив Бисмарка, нашел его «взволнованным и в то же время апатичным, измученным лицевыми болями и мигренями, страдающим от бессонницы и отсутствия аппетита, бледным, с резкими коликами в желудке и нарушениями пищеварения». Однако кроме камня в желчном пузыре он не нашел никаких серьезных органических нарушений, только «целый ряд нервных и функциональных» расстройств и прописал своему высокопоставленному пациенту строгую диету, которая определяла не только пищу и напитки, но и весь распорядок дня. Когда однажды, пользуясь недолгой отлучкой Швенингера, Бисмарк съел «два фунта [...] сырокопченой колбасы заодно с гусем» и «тройную порцию» пахты, после чего тяжело страдал от возмущения в нижней части живота, он истолковал эти мучения как наказание за ослушание. Позже он с одобрением рассказывал, что Швенингер убрал у него «из-под носа» все прописанные предыдущими врачами пузырьки и вернул его к жизни «возвращением к природе» (см. примеч. 79).

Понятие «неврастения» Швенингер, видимо, не употреблял, да и вообще, его кредо состояло в том, что болезней нет, а есть только больные

[48] Бамбергер Людвиг (1823–1899) — немецкий банкир и политик, соучредитель одного из крупнейших банков Германии («Дойче Банк»), считается «отцом» немецкой марки.

люди. Может, недомогание Бисмарка прослыло неврастенией в самом обществе, поспособствовав тенденции обнаруживать это «почетное» заболевание у себя и у других? Действительно, особенно после 1918 года, в атмосфере утраченного уважения, когда культ Бисмарка пережил своего рода демократизацию, даже его почитатели считали Бисмарка неврастеником. Это было сходно с тем, как сухорукость Вильгельма II использовалась для того, чтобы вызвать сочувствие к свергнутому кайзеру. В 1921 году санитарный советник из Мёнхенгладбаха писал, что у Бисмарка была «неврастения истощения» и что история его болезни могла бы внести лепту в «науку по вопросу неврастении». Дело в том, что неврастения — «это болезнь духовного лидера, а не того, кто занимается физическим трудом». Немецкий писатель, автор биографии Бисмарка, Эмиль Людвиг описывал нервозность Бисмарка с элементами анималистики: «Насколько схожа твоя натура с природой догов, которых ты так любил: сильных и нервных. [...] Таким же мощным, нервным и опасным, как его дог, был и сам Бисмарк». Бисмарк сам рассказывал, как во время судороги его дог Султан клал ему лапу на грудь и успокаивал его своим сочувствием (см. примеч. 80). Психолог Эрнст Кречмер описывал канцлера по вполне неврастенической модели, хотя концепт неврастении не входил в типологию Кречмера. По его заверению, Бисмарк верно подметил: «Я весь одни нервы, и единственной задачей моей жизни стало самообладание». «Да, это подлинный образ Бисмарка: осанистая фигура богатыря с мозгом неврастеника [...], гений, силу воли которого все время пришпоривает нервная слабость». Только унаследованные им от матери нервы сделали его тем, кем он стал.

О «нервных» чертах Бисмарка знали еще на рубеже веков, тем более что он и сам недвусмысленно указал на это в своих мемуарах. Для историка и публициста Генриха Фридъюнга Бисмарк был «самым гордым и самым раздражительным человеком». Один английский почитатель канцлера в 1912 году упоминает его «нервную» раздражительность как общеизвестный факт. В 1914 году бисмаркианец и пангерманец Пауль Лиман[49] цитирует фразу Бисмарка о борьбе с соперниками при дворе: «Эта борьба стоила мне нервов, жизненной силы» (см. примеч. 81). Однако Бисмарк, безусловно, не был неврастеником а-ля Вильгельм II, он был воплощением иного типа: который не стремился все время бороться со своим беспокойством и снимать его за счет суетливых движений, но применял его целенаправленно и концентрированно. Его натура за-

[49] Лиман Пауль (1860–1916) — писатель и публицист, так называемый клакер Бисмарка, автор многочисленных книг и статей о Бисмарке, влиявших на его образ в обществе.

щищалась от перенапряжения периодическими психосоматическими нервными срывами. В конце концов ему, видимо, удалось овладеть своими нервами — благодаря долгому, не на один месяц уединению в померанском поместье Варцин или Саксонском лесу. В старости Бисмарк, превратившийся уже в икону, стал для почитателей своего рода монументом нервозности — приобретенной в битвах, жаждущей новых боев и постоянного преодоления. Этот образ служил идеальным идентификатором «нервной эпохи», но тем болезненнее выглядит на его фоне непреодолимое и нерешительное беспокойство тех, кто пришел после него.

ОТ СЛАБОСТИ К ВОЗБУДИМОСТИ: МЕТАМОРФОЗЫ И КОНСТАНТЫ НЕВРАСТЕНИИ

Значение слова «неврастения» объясняет ее как состояние слабости. В том же духе ее определял и Бирд. Когда Зигмунд Фрейд в 1880-х годах пытался победить кокаином то, что диагностировал у себя как неврастению, то и он тогда имел в виду состояние вялости, нуждающееся в стимуляторах. Многие невротики, приходя к врачу, демонстрировали слабость. Швейцарский невропатолог Поль Шарль Дюбуа сообщает, что некоторые неврастеники «во время консультации полностью съезжали с кресла и растягивались на полу».

Как же сочетается с этим ярко выраженная возбудимость множества пациентов? Над этим вопросом думали еще в XVIII столетии, и для Отто Бинсвангера, автора хрестоматийного труда по этой теме, двуликость неврастении была загадкой (см. примеч. 82). Как и раньше, поиски разгадки сводились к спекуляциям, пусть их и научились получше облачать в научные одежды нейрофизиологии. Существовал ряд объяснительных моделей: если исходить из того, что эффективность нервной системы состоит не только в передаче, но и в регуляции раздражений, то ослабление может иметь своим последствием как недостаток реакции, так и сверхреактивность. Если нервную систему представлять скорее децентрализованно, то слабость и перевозбуждение могли локализоваться в различных местах. Но особенно успешно возбудимость и слабость сочетались в сексе: преждевременное семяизвержение — ejaculatio praecox — кажется прообразом возбудимой слабости.

Сосуществование слабости и возбудимости для истории интересно в первую очередь тем, что со временем оно трансформировалось: главный акцент в описании неврастении сместился от слабости к перевозбудимости. Для более поздних авторов основным качеством неврастении стала склонность к сверхвозбудимости, а быстрая утомляемость перешла на задний

план. Как утверждал в 1911 году Отто Дорнблют, аномальная утомляемость неврастеников зачастую была лишь их фантазией: «Я видел множество неврастеников, кипевших бурными жалобами на умственную неспособность, однако демонстрировавших такие трудовые достижения, которые были не по плечу большинству их сверстников и коллег». Лишь «отдельные исследователи» придерживались тогда мнения, что «аномальная истощаемость есть основной элемент неврастении». Для Германа Оппенгейма[50] и эта истощаемость была «в известной степени скрытой возбудимостью». Особенно он указывал при этом на «сексуальную сферу» (см. примеч. 83).

Типичен в этом отношении случай 35-летнего владельца дворянского поместья из региона Восточной Эльбы, который в 1905 году направился в Бельвю, где ему поставили диагноз «неврастения». Он остро нуждался в лечении в связи с припадками депрессии. Однако его биография, иллюстрирующая вторжение капиталистического духа в сельское хозяйство, никак не соответствует общей картине депрессии:

> «Постоянная раздражительность. Последние пять-шесть лет глубоко погружен в работу, много почетных должностей и т.д., требующих множества усилий, постоянно стремится увеличить свое состояние, и кроме того, сверхтрудолюбив в поместьях. С момента рождения ребенка пациент еще более одержим идеей, что ему необходимо зарабатывать деньги, хотя для жены и ребенка и так прекрасно обеспечен. Сексуально очень возбудим, так же в браке. Заядлый курильщик, 30–35 сигар ежедневно».

С точки зрения Альфреда Адлера[51], в «нервном характере» преобладают агрессивная жажда власти и денег; прежний элемент слабости трансформировался в воображаемую картину, а именно в «комплекс неполноцен-

[50] Оппенгейм Герман (1958–1918) — автор выдающихся работ по невропатологии, с 1883 по 1891 год руководил клиникой Шарите в Берлине, с 1907 года председатель Берлинского общества психиатрии и невропатологии, основатель и президент Общества немецких невропатологов (сегодня — Немецкое невропатологическое общество). Внес существенный вклад в признание неврологии как самостоятельной дисциплины.

[51] Адлер Альфред (1870–1937) — выдающийся австрийский врач и психотерапевт, основатель «индивидуальной психологии», предвосхитил идеи неопсихоанализа, повлиял на множество психоаналитических школ, в том числе на Виктора Франкла. С 1902 года принимал участия в «заседаниях по средам» у Фрейда, но в итоге разошелся с его идеями и разработал собственную, по которой человек предстает не продуктом своих влечений, но свободным существом, решающим возникающие культурные задачи. В своей главной работе «О нервическом характере» (1912) он объединил принципы нормативной психологии и психопатологии в собственное учение — «индивидуальную психологию» как альтернативу психоанализу, которая также переросла и в его сугубо философский труд «Смысл жизни» (1933). Сегодня одна из улиц Вены названа именем Альфреда Адлера.

ности». Не последнее умение — пользоваться временем как средством власти, т.е. невротик требует от других пунктуальности, в то время как сам вечно опаздывает и заставляет его ждать. Такой характер — не меньшая проблема для общества, чем для медицины. В рассказе «Неврастеник» (1913) писатель Мартин Берадт описывает человека, который от неизбывного беспокойства — суетных движений, сексуальных желаний, жажды разрушения — едва не сходит с ума и мечется в безумных, никогда не реализуемых фантазиях. В такой форме неврастения приобретает и криминологический интерес, становясь потенциальной причиной преступлений (см. примеч. 84).

Популярный справочник 1911 года «Больше не нервничать», начинавшийся со смелого утверждения, что нервозность ежегодно уносит «больше жертв, чем самая кровавая война», делал акцент на суетливости и рассеянности, даже при наличии энергии: «Душа мечется во всех направлениях и вопреки всем усилиям воли тратит себя в бесплодных мечтаниях». Эти мечтания нередко бывают честолюбивого характера — т.е. неврастеника мучает уже вовсе не слабость. Рудольф Штейнер[52] говорил в 1912 году, что у невротиков «непоседливая» душа (см. примеч. 85).

Чем объяснить смещение акцента от слабости к перевозбудимости, от утомляемости к бесконечным метаниям? Безусловно, не сменой медицинской парадигмы. Напротив, научный термин «неврастения» явно втягивается в воронку расхожего в народе понятия нервозности. Вильгельм Бергманн, ведущий врач водолечебницы Клеве, в 1911 году сознавался, что «народ», понимая под словом «нервный» более обширный спектр расстройств, чем это дозволяла «неврастения», с «тончайшим чутьем» опередил науку. В 1912 году Гельпах заметил, что слово «нервный», на какое-то время практически вытесненное словом «неврастеничный», снова оказалось в чести (см. примеч. 86).

[52] Штейнер Рудольф (1861–1925) — австрийский философ и эзотерик, основатель «гётеанства XX века» — антропософии как «науки о духе», по которой человек может саморазвиваться и познавать духовное через свое мышление. Антропософия имела огромную популярность на рубеже веков и влияла на искусство, педагогику, медицину, сельское хозяйство. Его учение оказало большое влияние на различные сферы жизни, такие как педагогика (вальдорфская педагогика), искусство (эвритмия, антропософская архитектура), медицина (антропософская медицина), сельское хозяйство (биодинамическое сельское хозяйство). Кульминацией идей Штейнера стало возведение близ Базеля так называемого Гётенаума — Центра антропософского движения, который своей «органической архитектурой» по замыслу представляет модель Вселенной и объединяет в себе все виды искусств, т.е. является «гезамткунстверком» — одним из центральных концептов культуры модерна.

Что же так привлекло медиков в нечетком бытовом понятии? Конечно, медицинская наука не могла добровольно подчиниться мировоззрению народной медицины. Ответ на эту загадку может быть только один — возбудимость и определяемые ею формы поведения у неврастеников действительно настолько возросли, что этого нельзя было не заметить. Намечается связь с изменениями общей атмосферы того времени: от «Великой депрессии» к экономическому буму, от эры социальной политики — к эре «мировой политики» и, наконец, мировой войны.

В игре участвовали и социальные тенденции. Мёбиус приводит в пример отца семейства, чья «нервозность проявляется в основном через вспыльчивость» и таким образом серьезно сказывается на и без того плохом состоянии «слабонервного» сына. Отто Бинсвангер описывает семью, страдавшую под «тяжким гнетом» отца — тирана и «неврастеника». Заметно, что неврастеники, нуждающиеся в терапии, в типичных случаях были жертвами агрессивных невротиков. Можно предположить, что именно это нередко скрывалось за стандартными указаниями неврастеников на их «нервных» отцов или матерей. Агрессивный невротик — часто это такой человек, который лечится сам, выплескивая свои беспокойства и волнения на окружающих. Выражаясь словами Баумгарта: «Сам невротик страдает мало; при малейших телесных неприятностях он устраивает такой шум, что все сбегаются к нему, и это настолько приятно его воспаленному субъективизму, что он радуется триумфу и вскоре забывает о своей несущественной боли» (см. примеч. 87).

Но другой, страдающий невротик — останется ли он в роли жертвы? Нервозность — отличный мячик для пинг-понга. Вполне вероятно, что многие пассивные невротики со временем успешно учатся перекидывать мяч нервозности дальше, следующему игроку. Нервозность становится социальным процессом расходящейся тревожности.

В этот образ вполне вписывается и тенденция считать чистой формой расстройства неврастению, вызванную внешними факторами, даже если при этом признавалась изначальная к ней предрасположенность. Заданная Бирдом генеральная линия, связывавшая неврастению с последствиями индустриальной цивилизации, в Германии сильно конкурировала с наследственной и конституционной теориями, но по прошествии времени все же сохранила свое главенствующее положение. Крамер[53] был настолько уверен в экзогенном происхождении неврасте-

[53] Крамер Август (1860–1912) — немецкий психиатр, сын другого психиатра — Генриха Крамера. Написал уважаемое коллегами введение в судебную психиатрию, а вместе с Отто Бинсвангером — «Учебник психиатрии» (1904). Активно занимался поддержкой и призрением «асоциальных» душевнобольных,

нии, что даже описывал ее как отравление и сравнивал «высокоградусного неврастеника» с лягушкой, отравленной стрихнином, которая сначала сильно дрожит, а затем цепенеет. Правда, вместе с тем он считал возможным выделить и тип неврастении, обусловленной эндогенными причинами, хотя он сам, по его признанию, годами сопротивлялся такой позиции (см. примеч. 88). Расщепление нервозности на два типа — «неврастению трудового переутомления» и «нервное вырождение» — позже стало опасным, потому что могло быть использовано в евгенике, настроенной на истребление «вырожденцев».

Центральным для общества, хотя и не самым важным для медиков, был вопрос о том, что же представляет собой типичный неврастеник, был ли это состоятельный и благополучный член общества или некая сомнительная фигура. Мнения об этом резко расходились. Еще от Бирда шла традиция представлять «типичного неврастеника» как воплощение трудолюбия, измотавшее себя на работе. Мёбиус замечал, что «сословие» досужих бездельников к настоящей неврастении не склонно. Но с XVIII века существовала и другая традиция — подозревать за разрушенными нервами распущенность и беспутство, так что, хотя моральные суждения и не входили в компетенцию неврологов, из их уст иногда звучали резкие неодобрительные выпады. Отто Бинсвангер говорил о «неврастениках-неряхах» и «неврастениках-бродягах», «которые в высших слоях общества встречаются в виде досужих лентяев и расточительных бездельников, а в низших — бродячих музыкантов и прочих бродяг». Крафт-Эбинг в «Учебнике судебной психопатологии» (1875) пишет в примечании, что «многие бродяги — это конституциональные неврастеники». «От тех состоятельных людей, что вследствие неврастении проводят всю свою жизнь в санаториях, лечебницах, на климатических курортах и т.д., их отличает лишь отсутствие средств». Очень сходные мысли высказывает Альфред Гротьян[54] об «урожденных невра-

открыл первую немецкую Народную неврологическую клинику и заложил основы детской и подростковой психиатрии. Сформировал термин «озвученные мысли» (нем. *Gedankenlautwerden*).

[54] Гротьян Альфред (1869–1931) — немецкий врач, основатель социальной гигиены, автор первого учебника по социальной медицине XX века — «Социальная патология» (1912). Согласно его теории, на протекание и лечение заболевания оказывает влияние социальное окружение больного. В то же время в культурной и политической истории Германии Гротьян не остался незапятнанным: в 1920-х он стал одним из самых радикальных представителей евгеники и расовой гигиены, изложив в известном сочинении «Гигиена человеческого размножения» (1926) необходимость «планомерного искоренения» и «количественного и качественного [...] очищения человеческого общества от больных,

стениках», которых он резко отличает от тех, кто стал неврастеником под воздействием внешних обстоятельств: «Если они из высших слоев общества, они транжирят деньги, беднеют, совершают аферы и мошенничества, становятся кошмаром семьи или же, в лучшем случае, коротают жизнь в "пансионах для нервнобольных". Если они из неимущих слоев, то скатываются в люмпен-пролетариат, и без того наполненный нервнобольными, и увеличивают армию нищих, бродяг и преступников» (см. примеч. 89).

Между строк ощущается раздражение занятого врача на людей, которых он воспринимает как своих антиподов и которые отнимают у него драгоценное время. Швейцарский инженер Громан, которому многих невротиков не удалось подвигнуть к трудовой терапии, ругал богатых «нервных франтов». Набожный сельский врач Штединг проводил резкую границу между «элитарными неврастениками», измученными «жизненной борьбой», и «комедиантами от нервозности» (см. примеч. 90). Однако подлинные истории болезней позволяют понять, как трудно отличить «хорошего» неврастеника от «плохого». Теория неврастении с ее постоянно стиравшейся гранью между переутомленными и распущенными невротиками отражала реальную жизнь.

Неврастения перечеркивала рамки морали: в конечном счете было неважно, нравственным или безнравственным путем человек разрушил собственные нервы. Педагог Фридрих Вильгельм Фёрстер — не только пацифист, но и жесткий моралист — упрекал невропатологов, зрение которых совершенно искажено персонажами «неполноценными» и «неврастеничными», в том, что они разлагают общество.

В медицинских картах Арвайлера[55] обнаруживается примечательный клинический случай падшей молодой женщины, попавшей с диагнозом «нервная перевозбудимость» на реабилитацию вопреки буржуаз-

---

уродливых и неполноценных» — посредством призрения и принудительной стерилизации слабоумных, алкоголиков и инвалидов. Уже после смерти автора нацистский режим начнет воплощать его идеи в «жизнь» самым прямым и брутальным образом.

[55] Клиника доктора фон Эренвалля в Бан-Нойенар-Арвайлере, основанная в 1877 году немецким врачом Карлом фон Эренваллем (1855–1935), — одна из самых известных тогда частных психиатрических клиник Германии, по качеству и комфорту сопоставимая разве что с санаторием Бельвю. Клиника ориентировалась на современные терапевтические методы (например, на художественную, спортивную и эрготерапию) и была хорошо оснащена техническими средствами, а также собственным электро- и водоснабжением. Также представляет собой типичный образец семейного предприятия, передающегося из поколения в поколение.

ной морали. Брак ее родителей был несчастливым, мать умерла после родов, отец пристрастился к алкоголю и морфию, постоянно находился «в очень раздраженном состоянии» и окончил жизнь самоубийством. После его смерти она попала к дяде, ее опекуну. У нее проявилась клептомания, осложнявшаяся тем, что дядя держал ювелирный магазин. Когда участились не только случаи воровства, но и «любовные аферы», дядя сдал племянницу в лечебницу для умалишенных, где она провела восемь лет. Там у нее был отмечен дефицит не только морали, но и некоторых знаний: так, она понятия не имела ни о битве при Садове, ни о битве при Седане. В своей сексуальной распущенности она ничуть не раскаивалась, напротив, объясняла, «что без сексуальных сношений не выдержала бы». В конце концов она попала в Арвайлер. И когда она там прекрасно зарекомендовала себя на больничной кухне, за нее горячо заступился хозяин и главный врач клиники Карл фон Эренвалль, тем более что она, будучи теперь обрученной, убежденно заверила, что «с этого момента у нее есть силы быть верной и послушной». В контрэкспертизе, занимавшей 18 страниц текста, Эренвалль с едкой иронией раскритиковал то заключение, на основании которого она в течение восьми лет удерживалась в стенах сумасшедшего дома. Беда была не в болезненных сексуальных наклонностях, а в том, что она восемь лет провела в этой больнице. Ее аномальное поведение объяснялось «сильным нервным перевозбуждением», к которому добавилась наследственная отягощенность, а также явно недостаточное воспитание (см. примеч. 91).

Для пациентов и их врачей наиважнейшим был, конечно, вопрос о том, безобидны ли нервозность и неврастения или опасны. К этому присоединялся и вопрос о том, самостоятельные ли это заболевания или же они лишь предваряют другие, более страшные психические болезни. Мёбиус называл нервозность «первичной слизью», из которой «берут свое начало все общие нервные заболевания». Крафт-Эбинг называл нервозность «своего рода ящиком Пандоры», из которого могут выходить «всевозможные недуги». Неудивительно, что самым частым из страхов, распространенных среди неврастеников, была боязнь неизбежного безумия.

Однако с началом нового века общая тенденция среди медиков заключалась скорее в том, чтобы избавить неврастению от всего, что вызывало бы страх. Теория о наследовании приобретенных свойств стала вызывать недоверие. Методы диагностики тяжелых органических расстройств, таких как туберкулез и сифилис, усовершенствовались, стало легче выделить тяжелые психозы из обширного спектра нервных расстройств. Поль Дюбуа пришел к заключению, что из всех психоневрозов неврастения «наиболее доброкачественный». Хотя и случается, что она

перерождается в «душевное расстройство», «но в еще большей степени я поражен, насколько доброкачественным оказывается это расстройство в тех своих формах, которые поначалу казались тяжелыми» (см. примеч. 92).

Абсолютно иначе звучит мнение Альфреда Баумгартена, одного из последователей гидротерапевта Кнейпа[56]: «Уверен, что холера и чума не причинили роду человеческому столько несчастий, как неврастения. Медленно, но изнуряюще точит она костный мозг человечества, навязывая ему горькую и, кажется, безнадежную борьбу против этого таинственного врага». В своем мрачном описании он опирался на то, что «не так много существует неврологов, у которых был бы столь обширный материал по неврастении», как у него за 10 лет практики в Вёрисхофене. Оказывается, самые панические настроения приходили порой из круга натуропатов.

Поскольку в науке считалось прогрессивным расчленить цельный феномен, медики пытались делить и неврастению, различая между «церебральной» и «спинальной» или между сексуальной и пищеварительной неврастенией. Ни одно из таких разграничений не удержалось во времени. Неврастения сохранила свой протееподобный характер, проявляясь у одного и того же человека в течение его жизни то в одной, то в другой форме. Как писал Фридрих Марциус, ее история представляет собой поучительный пример того, как «все попытки систематизации» постоянно разбивались о реальный опыт (см. примеч. 93). Заметно, сколь мало концепт неврастении был защищен против реального врачебно-практического опыта.

Нередко диагноз «неврастения» ставили *per exclusionem* — посредством исключения телесных недугов и тяжелых психических заболеваний. «Мы, современные неврологи, покаянно бьем себя в грудь, если позже неврастеник становится обитателем психиатрической клиники», — утверждал издатель «Справочника по неврастении» 1893 года. Случай из Шарите[57], когда сам пациент объявил себя неврастеником, а врач его диагноз не подтвердил, дает понять, что врачи выделяли неврастению по вполне определенным признакам — на практике порой более определенным, чем в учебных пособиях. В данном случае речь идет о 20-летнем коммивояжере, который, как он сообщил, будучи евреем,

[56] См. сн. 26.

[57] Шарите (Charité) — старейший госпиталь Берлина и крупнейшая университетская клиника Европы, ведет свою историю еще с 1710 года в качестве чумного лазарета. В Шарите работала целая плеяда выдающихся врачей и ученых (Кристоф Гуфеланд, Вильгельм Гризингер, Роберт Кох, Герман Оппенгейм, Отто Бинсвангер и многие другие). Наравне с санаторием Бельвю — важный культурный топос немецкоязычного пространства.

рано познал жизненные невзгоды. Уже взрослым, работая на фабрике по производству резины, он учинил «скандал своему начальнику, разволновался, бросил в него чем-то и ушел прочь». Уже два года он страдает тревожными состояниями, которые он сам объясняет отчасти чтением спиритических книг, отчасти — переутомлением на работе. Он считает себя «психически здоровым, только нервным». Он хотел «далеко пойти» как коммивояжер, и тем сильнее его расстраивало, что в самые важные моменты у него отнимался язык. В Шарите вел себя экзальтированно, разыгрывал эпикурейца и в то же время давал понять, что эпикуреец из него не получается. В благодарственном письме к друзьям, которые принесли ему сигары и табак, он рассыпается в описаниях «изысканного наслаждения курением», чтобы затем продолжить с горькой иронией: «И поскольку добрая матушка природа устроила так, что любой момент счастья длится у меня очень недолго, то и моему блаженному упоению, которое готов я был вдыхать и выдыхать бесконечно, сегодня, в среду в 11:15 часов, пришлось утихнуть». Он жалуется на «ужасную» скуку в Шарите и подает себя как сластолюбца: «Ничего не курить! Ничего не читать! Ничего не — — — — — — ! Если бы я был уверен, что мои письма не будут проверяться, я бы поставил еще больше тире». Врача он заверяет, что «болен не смертельно», что борется со своим расстройством «энергично», но без успеха, и отправился в Шарите, «чтобы его освободили от груза неврастении». В Шарите с диагнозом колебались, история болезни снабжена пометками «психоз тревожности», *Dégénéré*[58], *Paranoia incipiens*[59], но не «неврастения». После двух с половиной недель он был переведен «неизлеченным» в психиатрическую клинику Дальдорф (см. примеч. 94). Его беззастенчивость и безудержность не подходили к обычной картине неврастеника. Но его самого успокаивала мысль, что он «всего лишь» неврастеник.

Один гинеколог из Кёльна уже в 1880 году писал, что «картина нервозности (*Nervosismus, Neurasthenie*) каждый день предстает «глазам врачей, меняя окраску, как хамелеон». Но удивительно, что распознать этого «хамелеона» многие именитые врачи считали делом элементарным. При всем многообразии причин и симптомов модельный тип неврастеника остается неизменным, утверждал еще Шарко. Альберт Эйленбург[60] говорил, что в некоторых больных «сразу виден и слышен неврастеник». Многих

[58] Вырождение (*фр.*)

[59] Начинающаяся паранойя (*лат.*).

[60] Эйленбург Альберт (1840–1917) — немецкий врач, психиатр и сексолог, с 1880 года издавал хрестоматийную для того времени «Реальную энциклопедию медицинских наук» (в 1901 году она насчитывала уже 26 томов).

можно было распознать по их жалобам. Адольф Штрюмпель[61], для которого «неврастения» и «истерия» в 1888 году были «еще настолько не устоявшимися медицинскими терминами», что невозможно было выделить «абсолютно точные и общепризнанные симптомы», в 1908 году уже усматривал общий образ: «Если мы спросим невротика, на что он больше всего жалуется, то он почти всегда ответит: «Я постоянно обеспокоен, меня возбуждает каждая мелочь, меня волнует совершенно все, из-за этого я не могу спать, меня мучает вечная внутренняя тревога» (см. примеч. 95). В состоянии перевозбуждения нервозность распознать было проще, чем в состоянии слабости.

Однако по литературе не всегда ясно, по каким признакам врачи выявляли неврастеников. Очевидно, многие из нервнобольных выглядели так, что их нельзя было ни с кем спутать: из-за этого неврастения казалась заразной и вызывала склонность к подражанию. Если врач замечал у пациента своего рода вибрацию, полуподавленное беспокойство и возбудимость, смесь напряжения и вялости, он уже знал, с чем имеет дело. «Известная торопливость и непостоянство заметны во всем, что бы они ни делали», — описывает типичного неврастеника руководитель санатория в тюрингском городе Фридрихсрода (см. примеч. 96).

Идентичность неврастении складывалась не только из наружных признаков. После прочтения сотен историй болезней кристаллизуется что-то вроде твердого ядра (пусть не в медицинском смысле), некой константы: навязчивое представление о собственной несостоятельности, недостатке энергии как в профессии, так и в сексе. Этот мотив тянется через множество анамнезов[62] с такой монотонной очевидностью, что постепенно его даже перестаешь замечать. «Его главные психические жалобы — что он не может с радостью думать о невесте [...], кроме того, он не проявляет интереса к своему делу», — эта жалоба чикагского фабриканта может служить хрестоматийным образцом типичных сетований неврастеника (см. примеч. 97).

На рубеже веков в Арвайлере два раза лечился один бельгийский политик. В своей автобиографии он представил себя прежде всего как

[61] Штрюмпель Адольф (1853–1925) — немецкий невропатолог, именем которого названа болезнь Мари—Штрюмпеля, более известная как болезнь Бехтерева. В марте 1923 года был в составе коллегии, приглашенной в Москву для лечения Ленина.

[62] Анамнез (от лат. *anamnesis* — воспоминание) — совокупность сведений, которые рассказывает о себе больной или люди его круга и которые включают в себя его историю болезни, условия жизни, перенесенные заболевания и проч., т.е. все то, что могло бы выявить факторы, повлиявшие на возникновение или развитие недуга.

классический пример человека, который — при изначально слабой конституции — постоянным переутомлением на работе доводит себя до хронической нервозности. «Пациент ребенком был слаб, так называемый проблемный ребенок, [...] плохое пищеварение, студентом был активен и трудолюбив, но постоянно нервный. В 22 г. обратился к политической журналистике, из-за чего нервозность сильно возросла; после ухода из редакции стало лучше [...]». Но уже в 26 лет он становится профессором, ссорится с коллегами, неудачно женится, снова идет в политику, делает стремительную карьеру, становится министром, проводит реформы и представляет Бельгию на различных всемирных выставках, которые в то время считались просто артиллерийской атакой на нервы. Затем его департамент терпит крах, и к этому добавляются большие потери на бирже. Поездка в Италию с дочерью лишь ухудшает его и без того мучительное беспокойство. В Арвайлере он постоянно ссылается на *deux chagrins*[63] как две причины своих бед — потерю имущества и несчастный брак. «Холодность и эгоизм жены доводили его до бешенства, до отчаяния. [...] Жена желала ему смерти». Тем и кончилось: он застрелился. Мысль о том, что он «всего лишь невротик» его не успокаивала, он считал себя «самым тяжелым пациентом в клинике» (см. примеч. 98). Врач в Арвайлере видел его в состоянии абсолютного отсутствия энергии, в то время как весь его жизненный путь свидетельствует об энергичности. Его случай особенно наглядно показывает, как *deux chagrins*, профессиональная и эротическая неудачи, воспринимаются как единый провал и вызывают паническое болезненное состояние.

Наконец, самый захватывающий и вместе с тем тяжелый вопрос — имела ли неврастения какой-то смысл для ее носителей. Мысль о том, что явление, которое человек воспринимает как болезнь — например повышение температуры, — это своеобразная помощь организма самому себе, вовсе не новейшее открытие, она очень стара, как стара и философия исцеления путем намеренно вызываемого кризиса. В 1897 году Оттомар Розенбах, один из умнейших критиков «анатомизма» в медицине, называл вопрос о том, не является ли нервная реакция «целесообразной для сохранения индивидуума», «сложнейшей проблемой всех медико-терапевтических знаний» (см. примеч. 99).

Уже Бирд полагал — и это самое примечательное в его учении, — что неврастения уберегает людей от более тяжелых заболеваний. Он считал, что неврастеники в массе своей выглядят моложе своего возраста и живут дольше. Ни один другой тезис Бирда не встретил в Германии

[63] Две горести (*фр.*).

более решительного протеста. Был ли он настолько ошибочным? На первый взгляд неврастеников можно было бы поставить на одну доску с сегодняшними жертвами стресса. Однако присмотревшись внимательнее, изучив массу документов, замечаешь чрезвычайно важную разницу, которая вместе с тем указывает и на возможный смысл неврастении: неврастениками во многих случаях становились люди, сумевшие вовремя уклониться от разрушающего действия стресса. Этим объясняется и смена возбудимости и слабости. Читаем Отто Бинсвангера: «Если вы осмотрите большое число неврастеников, вам бросится в глаза — как минимум для выраженных случаев — своеобразная сонливость, вялость и отсутствие энергии в их поведении. Они ограничивают свои действия минимально необходимой мерой, боязливо отступают от исполнения любых задач, выходящих за пределы их ежедневной трудовой нагрузки. Больные тщательно и тревожно приспособили профессиональную нагрузку под свои силы» (см. примеч. 100).

И не забудем: понятие *nervös* принадлежало не только медицине. Нельзя видеть мир только глазами врача. Существовало множество невротиков, которых никогда ни один доктор не видел. Как культурный феномен нервозность была двулика, и наряду с тем ликом, который гнал человека к врачу, существовал и другой, связанный с получением удовольствия. Достаточно вспомнить, например, главную героиню романа «Человек без свойств» Роберта Музиля, у которой никогда не замолкал телефон по время подготовки ею имперского праздника: «Но этот нервный срыв, так и не наступивший, а лишь непрестанно заявлявший о своей близости дрожью каждой жилки, дарил Диотиме счастье, какого она еще не знала. Это был трепет, это была захлестывающая волна значительности, это был скрежет, как от давления на камень, венчающий мироздание, это было щекотно, как чувство пустоты, когда стоишь на возвышающейся надо всем верхушке горы[64]» (см. примеч. 101).

Такое состояние не создавало потребности в терапии. Эйфорическую сторону неврастении обнаруживаешь не в приемных врачей, но скорее в культуре империалистической эпохи. Истории болезней пациентов дают возможность, напротив, увидеть теневые психологические стороны эпохи, которые в будущем обрели и политическое значение.

[64] Пер. с нем. С. Апта.

II. *Взгляд врача и опыт пациента*

ГЛАЗАМИ ДОКТОРА: НЕСЧЕТНОЕ БОГАТСТВО ИСТОРИЙ ПАЦИЕНТОВ

Если излагать историю медицины как социальную историю, нужно видеть ее не только глазами врача, но и глазами пациента. Однако если это и делается, то, как правило, история болезни не выходит за рамки медицинского дискурса. Господствует мнение, что из-за нехватки источников вообще нет пути по ту или иную сторону этого дискурса. Истории болезней в качестве источника ученые до сих пор предпочитают избегать[1]. В одной из очень немногих работ, где эти документы использовались как источник, труд с ними называют «геркулесовым» (см. примеч. 1); постоянно утверждается, что эти документы отражают лишь точку зрения врачей и возвращают нас в медицинский дискурс.

В случае неврастении добавляется еще одна сложность — не так легко собрать достаточное количество ее «историй». Наиболее доступны документы государственных психиатрических лечебниц. Но неврастеников, как правило, там было мало: около 1905 года в Германии их доля составляла 5,65% от общего числа пациентов этих клиник. Неврастеники лечились прежде всего в частных неврологических лечебницах, а их документы зачастую утеряны. Тем не менее постепенно я собрал — часто мне помогал случай — обширную источниковую базу из историй болезни. Это документы различных заведений с различными региональными и социальными охватами: тут и государственные лечебницы, и частные, и психбольницы, и курортные заведения. Речь идет о неврологической

[1] Это не совсем так, хотя после выхода в свет книги Радкау (1998) ситуация изменилась в еще более положительную сторону, клинические истории стали одной из самых популярных тем и объектов исследования в гуманитарных науках (в первую очередь литературоведении и культурологии), см., например: *Stuhr U.* // Deneke F.-W. (Hrsg.). Die Fallgeschichte: Beiträge zu ihrer Bedeutungals Forschungsinstrument, 1993; *Steinlechner G.* Fallgeschichten: Krafft-Ebing, Panizza, Freud, Tausk, 1995; *Brändli S.* // Lüthi B. u.a. (Hrsg.). Zum Fall machen, zum Fall werden. Wissensproduktion und Patientenerfahrungen Medizin und Psychiatrie des 19. und 20. Jahrhunderts. 2009; *Spuler D.* Susanne // Pethes N. (Hrsg.). Fall — Fallgeschichte — Fallstudie: Theorie und Geschichte einer Wissensform, 2014.

клинике Карла Бонхёфера в Берлине, бывшем Дальдорфе, классической психбольнице; неврологическом отделении Шарите, в отапливаемом подвале которого были складированы штабеля неразобранных документов до 1914 года; гессенская психиатрическая лечебница Айхберг, документы которой лежат в государственном архиве Висбадена и даже рассортированы по диагнозам; франкфуртская нервная клиника, бывший Аффенштайн, в становлении которой сыграл большую роль Генрих Гофман[2]; дом «Бетезда» в Бетеле; санаторий Бинсвангера Бельвю в Кройцлингене на швейцарском берегу Боденского озера, документы которого впоследствии оказались в Тюбингене. Наконец, санаторий доктора фон Эренвалля в Арвайлере на Рейне, который, как, пожалуй, ни одна другая подобная клиника, до сих пор сохранил характер времен кайзеровской Германии.

Особенно богаты оказались архивы Бельвю и Арвайлера. В обоих заведениях «расцвет» неврастении относится к периоду между 1890 и 1910 годами. В Кройцлингене «неврастения» встречается за это время 73 раза как диагноз при поступлении больного и 283 раза как диагноз при выписке: будто лечебницы сами производили неврастеников. В заведении Эренвалля между 1898 и 1909 годами лечились 210 неврастеников (см. примеч. 2). Несмотря на частотность, неврастения не производит впечатления того рутинного диагноза, который ставится в затруднительных случаях: когда врачи действительно находились в замешательстве, они отказывались от наименований. При всем сходстве этих заведений между ними было серьезное отличие — Эренвалль состоял в тесном контакте с семьями рейнско-вестфальской бизнес-буржуазии, в то время как у Бинсвангера тон задавала скорее образованная буржуазия. Около 1900 года в Бельвю комната на одного человека с врачебным сопровождением стоила 12 марок в сутки. В Арвайлере цены были выше и варьировались в зависимости от уровня комфорта. Ни в том ни в другом заведении не придерживались какого-либо единого учения, которое определяло бы все вплоть до повседневного быта заведения. Психиатрическое образование доктора Эренвалля, видимо, было отрывочным, сам он много путешествовал, а заправляла всем его жена. В 1907 году ведущий врач Курелла, специалист по электротерапии, устроил бунт против правления этой дамы, и этим конфликтом, при котором обе стороны обвиняли друг друга в нервозности и психических

[2] Гофман Генрих (1809–1904) — немецкий психиатр, выступал за улучшение условий жизни больных. В культурной истории остался как автор «Штрувельпетера» («Struwwelpeter») (1845, в рус. пер. «Степка-Растрепка», или «Неряха Петер») — назидательных стихов с картинками о детях, которые плохо себя ведут.

болезнях, занималось даже правительство в Кобленце (см. примеч. 3). Тем не менее эта лечебница была благополучнее многих других санаториев. Она славилась хорошей кухней и знаменитыми арскими винами, причем даже тогда, когда психиатры начали активно переходить на сторону борцов с алкоголизмом.

По сравнению с днем сегодняшним документы пациентов конца XIX — начала XX веков имеют очень важные для историка достоинства. С одной стороны, бюрократизация в деятельности клиник уже настолько продвинулась, что они производили большую массу бумаг. С другой стороны, психиатрия еще не достигла профессионального уровня, и в этих бумагах отражен далеко не только «взгляд врача». Неврология и психиатрия располагали тогда лишь весьма ограниченным специальным жаргоном, и даже немногие уже сложившиеся термины на практике применялись с большой осторожностью. В 1908 году Огюст Анри Форель[3] жаловался, что психологическая и неврологическая терминология «впала в такое состояние, что всякое описание выглядит издевательством».

Во многих случаях пациентам просто давали высказаться и не перебивали их ежеминутно вопросами, которые направляли бы ход рассказа в какое-либо определенное русло. «Мы должны слышать больного», — наставлял Отто Бинсвангер в книге о неврастении. «К анамнезу нужно подходить с большим тщанием» — так начиналась большая работа о нервных болезнях Германа Оппенгейма (см. примеч. 4). Многие врачи не фиксировали разговор изначально на определенных темах и пунктах, которые считались бы важными с точки зрения патологии. Дальнейшее поведение пациента в клинике записывалось часто также очень подробно, причем, в отличие от сегодняшней практики, на пациента воздействовали не транквилизаторами, а исключительно успокоительным бромистым калием. Учебники по неврастении содержат много конкрет-

[3] Форель Огюст Анри (1848–1931) — швейцарский невропатолог, психиатр, социалист, пацифист, специалист по муравьям, противник алкоголизма и поборник эсперанто. Исследования мозга привели его к открытию нейрона («Теория нейронов», 1887) и к теории о единстве мозга и души. К существенным достижениям Фореля можно отнести его исследования о вменяемости умалишенных, что позволило отправлять некоторых преступников вместо тюрьмы на лечение. Немаловажную роль в контексте времени сыграла его книга «Сексуальный вопрос» (1905), в которой он выступил за растабуизирование сексуальной жизни и за гендерное равноправие — табу он в некотором роде и сам снял своей книгой, впервые обратившись к сексуальной жизни чистым языком естественных, психологических и социальных наук. Одним из учеников Фореля был Эйген Блейлер.

ных примеров, но предпочтение отдают тем, которые подтверждают определенные тезисы. Лишь изучение оригинальных клинических историй учит понимать, что нельзя путать медицинские модели восприятия с исходным опытом расстройства.

Многие неврастеники, в ответ на вопрос о предыстории их расстройства, начинали описывать всю свою жизнь, начиная с детства. Нередко они привозили с собой записи, чтобы не забыть ни одной детали. Шарко из-за этого называл неврастеников *l'homme aux petits papiers* — «человек с маленькими бумажками». Это определение стало впоследствии крылатым. Один юрист 23 лет приехал в Кройцлинген, привезя с собой целых 55 больших листов, исписанных мелким почерком. Фрейд рисует портрет «неврастеника, занятого описанием своего расстройства»: «Лицо его напрягается [...], голос его становится резким, он мучительно подыскивает слова, отметая любые определения, которые предлагает ему врач для обозначения этих болей [...]; ему явно кажется, что язык слишком беден, чтобы ссудить ему слова для описания этих ощущений, да и они сами являют собой нечто исключительное, доселе небывалое, совершенно не поддающее описанию [...]»[4] (см. примеч. 5). Многие неврастеники продолжали традицию возводить на фундаменте своего расстройства здание собственного *Я*, так что дефицит уверенности в себе перевоплощался в богатую и многоликую индивидуальность. Различные телесные жалобы наслаивались друг на друга как выражение развивающегося нервного недуга и складывались в итоге в историю жизни.

Но далеко не все было инсценировкой. При просмотре множества таких историй невозможно не понять, что эти люди пришли в клинику через тяжелые страдания. Нередко читаешь о том, как обеспеченные и благополучные с виду пациенты, во «внешней» жизни демонстрировавшие миру успех и превосходство, в клинике съеживались, превращаясь буквально в комочек боли и впадая в неуютную, неудобную телесность. Подобные сцены никак нельзя считать театром. Но и такие жалобы, как и любые источники, требуют критического подхода, потому что и они обладают своеобразным риторическим посылом и не все в них можно воспринимать буквально.

Молодой журналист из Варшавы, приехавший в 1907 году в Арвайлер, казался там «типичным неврастеником». Он носил с собой «подробную автобиографию» и поступил в клинику с детально-точными представлениями о собственном расстройстве и желаемой терапии.

[4] Цит. по: *Фрейд З.*, *Брейер Й.* Исследования истерии / пер. с нем. С. Панкова // Зигмунд Ф. Собр. соч.: в 26 т. Т. 1. СПб., 2005. С. 172.

«Прежде всего он желал бы устранить “слабость мозга и нежелание работать”». Когда врач попытался воздействовать на него психотерапией, «чтобы он проявил чуть больше энергии» и «прежде всего выполнил неприятные для него обязательства», тот письменно попросил, «чтобы впредь его пощадили от подобных уговоров, поскольку они его очень волнуют». Этот «типичный неврастеник» совсем не похож на сегодняшнюю жертву стресса — напротив, это медлительный человек, который не был склонен к активным действиям и тем сильнее раздражался на предъявленные к нему ожидания. Суть неврастении состоит не в телесных страданиях, а в разочаровании и ощущении собственной несостоятельности. В данном случае у нас в руках не только отчеты врачей, но и написанная самим журналистом «история болезни». Ее стоит процитировать более подробно.

> «Мне 26 лет; мой отец почти с самого моего рождения страдает невралгией (время от времени сильные боли ножных нервов); моя мать 8 лет назад умерла, причина смерти раковая опухоль (в животе). [...] В последние годы жизни она сильно страдала от неврастении. [...] На 16-м году моей жизни начался онанизм. Из того же времени происходят и первые неврастенические симптомы: мозговое истощение, функциональное утомление в нижней части позвоночника, плохой сон (не бессонница), общее чувство изнурения, подавленность духа и т.д. Так продолжалось восемь лет — то лучше, то хуже. В качестве средств использовались только бромистый натрий и гидротерапия. [...] Летний отдых и заграничная поездка в Висбаден и особенно еще два других важных изменения [...] привели к улучшению, хотя и временному. Эти два изменения состоят в том, что я прекратил онанировать и курить. Первое я заменил весной 1906 года на половые сношения с проституткой (в зимнее время онанизм шесть-восемь раз в месяц и один-два раза сношение с той же девушкой, к которой я постепенно привык). [...] После возвращения домой я заметил, что половая связь меня возбуждает и утомляет — (дело в том), что она [...] вызывает [...] трудноописуемые ощущения в лодыжках. Это меня очень испугало; ведь я вспомнил ужасные боли в ногах у моего отца. Поэтому я решил по возможности меньше ходить и как можно реже использовать женщину» (см. примеч. 6).

С первого взгляда замечаешь ключевую роль сексуального опыта. Из «онании», которой он объясняет и свою неврастению, он делает даже «-изм», как будто «онанизм» есть некий образ с собственной логикой, как «ревматизм» или «социализм». Большого страха перед последствиями рукоблудия из текста не следует, он даже приобретает опыт, что онанизм и совокупление вполне сочетаются друг с другом. Проститутка, которую он «использует», кажется чем-то вроде безотрадного лекарства против онанизма. Напрашивается предположение, что его безрадостное отношение к сексу является причиной того, что при онанизме и поло-

вых сношениях он не чувствует ничего кроме утомления. Однако он не зацикливается как мономан на сексуальных проблемах, причину своего нездоровья он ищет также в непрерывном курении, тем более что страдает «горловыми аффектациями». Если учесть, что, бросив учебу, он пошел работать в отцовскую газету, можно предположить, что именно зависимость от отца помешала ему найти такую форму существования, в которой он пришел бы к согласию с собой. Но в его истории отец встречается только как жертва невралгии, боли которого он вспоминает при собственных ощущениях после полового сношения. Острую потребность в терапии вызывает, видимо, не само расстройство, а скорее мучительная апатия на работе.

Но его анамнез еще не закончен: следует новый заголовок «Духовная (!) индивидуальность и духовная жизнь»[5] и рассказ на пяти страницах. Лишь здесь он приводит квинтэссенцию своего самодиагноза, где «душевное» (т.е. психическое) становится «духовным»:

> «С моей точки зрения, намного важнее, чем описание материальных симптомов болезни, картина ее психологической основы. Существует три первоисточника моего онанизма и невыносимого мозгового истощения, которое мешает мне в столь желанной работе: 1. Унаследованный, имеющийся от рождения духовный недуг — робость; 2. Духовный природный дар — развитая фантазия; 3. Врожденный мальконтентизм, принципиальное недовольство современными формами культуры и жизни. Робость была, особенно раньше, [...] необыкновенно сильно развита, так что могла влечь за собой физиологические явления. Например, если я попадал в новое для меня общество, где присутствовали молодые дамы, мои колени становились так слабы и хрупки от противоестественного страха, что я с трудом мог держаться на ногах. В груди я совершенно физически ощущал щекочущее чувство волнения, сердце сильно стучало. Горло было так сдавлено, что я лишь с трудом мог говорить — чужим, дрожащим голосом. И все это несмотря на то, что я напрягал всю свою волю, чтобы справиться с этим. Наряду с этической неприязнью [...] (эта робость) была главным препятствием, мешавшим мне посещать публичные дома и незнакомых девушек. Я пытался время от времени, раз в несколько месяцев, туда пойти, но это было в высшей степени разрушительно и утомительно для нервной системы; мне это стоило максимальных усилий воли и (было) при этом, особенно в начале [...] безуспешным, я хочу сказать, импотенция как следствие нервного потрясения. — Робость, с одной стороны, отдалила меня от других людей [...], а с другой стороны, дар воображения позволил создать идеальный мир для меня самого. [...] Осознание пропасти, которая отделяла “мой мир” от реального, всегда было со мной, эта мука вынужденной жизни в центре отвратительного для меня ре-

[5] *Geist* (нем. — дух) породило два понятия: *geistig* — духовный в значении душевный, умственный, психический и *geistlich* — духовный в значении религиозный, церковный.

ального окружения. Так, погруженный в мечты, я жил с 8 до 18 лет. [...] И хотя я уже больше почти не мечтаю, однако если по каким-либо причинам мой мозг не занят серьезной умственной работой, то мне чрезвычайно тяжело (его) держать в узде; (он) сам по себе плодит беспорядочные фантастические и пустые мысли, задевает все возможные предметы, но только не реальные, не ручной труд, который как раз сейчас надо делать. На трудовую терапию я возлагаю большую надежду. А именно, я полагаю с ее помощью развить в себе чувство реальности, облегчить вхождение в позитивную конкретную жизнь. Для меня чрезвычайно необходимо привыкнуть к реальной жизни, также и для того чтобы уменьшить уродливую гиперчувствительность ко всевозможным жизненным мелочам. [...] Эта чувствительность портит жизнь и пожирает энергию».

Тренируя силу воли, журналист следовал новейшему для его времени тренду нервной терапии, правда, не в данном конкретном случае: попытке преодолеть отвращение к борделю, как будто успешное функционирование в борделе — это долг любого здорового мужчины! В описаниях «духовной» стороны расстройства момент секса тоже сильно заметен. Но в отличие от невротиков, описанных Фрейдом, расстройство связано не с вытеснением, а скорее с чрезмерной рационализацией сексуальных желаний. Особенно мучительным кажется восприятие собственной сексуальности через призму учений об энергии и воле. Общее впечатление — неуверенность в своей природе и своих целях, как в профессиональном, так и в сексуальном отношении. В этом журналист был действительно «типичным неврастеником».

Фрейд потерял интерес к «актуальным невротикам», высказывания которых не имели символической ценности, а были непосредственным выражением неудовлетворенных желаний: психоаналитику нечего было с ними делать. Но именно они составляли значительную массу неврастеников. Из этого следует, что историк, разбирая свидетельства больных, имеет право оставаться в привычной для себя сфере, придерживаться буквальных слов, он не попадает в зависимость от психоаналитических предположений. Даже если исходить из того, что психическое расстройство проистекает из желаний, не нужно уходить на поиски истины далеко под словесную поверхность.

Это относится и к сексуальным желаниям. Задолго до распространения учения Фрейда Отто Бинсвангер говорил студентам:

«Вам очень часто будут поступать от пациентов обоего пола субъективные жалобы на болезненные явления в генитальной сфере. Либо с эпической широтой, либо тяжело и вязко, с налетом тайны, но всегда это будет рассказано так, что вы поймете, какое большое значение приписывают сами больные этой симптоматике. [...] Многих людей с нервной патологией посещает диковинный соблазн в подробностях наблюдать за собственными сексуальными ощущениями и про-

цессами, размышлять о них и устно либо письменно обращаться к врачу за советом о том, соответствуют ли норме их сексуальные функции или нет».

А сотрудники лечебниц, записывавшие данные, не практиковали никакой систематической цензуры. У одного страдавшего от тревожных психозов владельца лакокрасочной фабрики, который, согласно анамнезу, «с юности был нервным» и «много пил», сотрудник Шарите протоколирует (1902): «В последнее время у меня чувство, как будто я "жопник", [...] "педик"». По словам пациента, он ничтожнейший человек во всем мире, аномально сложен, у него слишком маленький пенис, у него совершенно аномальные чувства в «заднице»» (см. примеч. 7). После банкротства фабрики чувство сексуальной неполноценности превратилось для него в подлинную пытку.

Свидетельства пациентов отчетливо показывают, что наряду с медицинским и литературным дискурсом нервов существовал и повседневный, бытовой. Источниковая база позволяет изучить историю дискурса в исходном смысле: не только как дистилляцию слов из слов, но как реконструкцию структур ощущений и пережитого опыта. И то, что в основном замалчивают учебники, отчетливо доказывают истории болезней — а именно, что до 1914 года тема нервозности еще не была монополизирована медициной, и диагноз, если он вообще ставился, был не более чем интерпретацией самого пациента, пусть врач и разыгрывал в процессе диагностики роль эксперта. Потому свидетельства пациентов являются связующим звеном между медицинским дискурсом и общей нервозностью эпохи.

ТЕОРИЯ НЕВРАСТЕНИИ И МЕДИЦИНСКИЕ СТРАТЕГИИ: МЕЖДУ НЕВРОЛОГИЕЙ, ПСИХИАТРИЕЙ И НАТУРОПАТИЕЙ

Авторы детективов с ограниченным кругом подозреваемых любят находить преступника через доказательства невиновности других лиц, постепенно исключая одного за другим. Тем же путем пошел Эмиль Дюркгейм, когда в поиске причин суицидов индустриальной эпохи объявил их виновником общество[6]: до этого он исключил одну за другой целый ряд альтернативных причин — безумие, неврастению, расу, наследственность, климат, подражательство. Тот же метод напрашивается, чтобы доказать реальное существование и культурную обусловленность неврастении.

Правда, круг подозреваемых в этом случае очень широк, но зато в нем явно выделяется главный — медицина. Напрашивается подозрение, будто медики сами придумали это расстройство, чтобы повысить соб-

[6] Имеется в виду его классическая работа «Самоубийство» (1897).

ственный авторитет и получить новую группу пациентов. Однако здесь же обнаруживаются и убедительные доказательства невиновности. Во второй половине XIX века основной тенденцией медицины была локализация болезней. Учение о неврастении шло вразрез с этой тенденцией. Оно появилось после провала локализующей «спинальной ирритации» и с самого начала исключало мысль о том, что нервная слабость имеет в организме постоянную привязку. На вопрос Вирхова[7]: "Ubi est morbus?" (где сидит болезнь?) оно ответа не давало. И далее: победное шествие теории неврастении совпало с триумфом бактериологии — именно эта сфера науки олицетворяла тогда прогресс медицины. Научный успех в то время означал возможность продемонстрировать причину болезни под микроскопом. А диффузная этиология Бирда была в этом смысле очень неудобной. Громоздкость и невнятность теории неврастении — самый убедительный аргумент в пользу ее реалистичности. Неврастения была настолько реальна и навязчива, что медикам пришлось принять как данность то, что вовсе не вязалось с основными научными трендами того времени.

В отношении неврастении было немало злопыхательств — устных, видимо, еще больше, чем письменных. Наиболее резко нападал на нее вюрцбургский невролог Конрад Ригер, называвший неврастению «подушкой для ленивых диагностов». Но Ригер, известный тем, что в 1900 году развязал дискуссию о значимости кастрации, принизив значение гениталий для формирования мужского характера, остался в аутсайдерах. Мёбиус, тщательнейшим образом разбирая доводы Ригера, опирался на собственный опыт жизни в Лейпциге — оживленном городе, число жителей в котором между 1871 и 1914 годами выросло со 100 тысяч до 625 тысяч, и сравнивал его с Вюрцбургом: «Вероятно, покой старого епископского города виноват в том, что Р. редко встречает тех больных, которых мы обычно называем "слабонервными"». Психиатр из Грейфсвальда Рудольф Арндт не жаловал неврастению: «Это что-то вроде горшка [...], в который без разбора накидали самые разные симптомы, которые прежде приписывали другим неврозам, и различные состояния, не поддающиеся международной классификации» (см. примеч. 8), и тем не менее написал о ней целую книгу и несколько статей.

Сатира 1911 года описывает пьяницу по имени Шарль Нульпе, который упорствует в том, что его периодическое недомогание не простое похмелье, а «настоящая, вполне современная неврастения», и ему необ-

[7] Вирхов — берлинский врач, физиолог, один из основоположников клеточной теории и теории патологии клеток (целлюлярная патология), что существенно сблизило медицину с естествознанием. Был хорошо известен в российских научных кругах.

ходим курс щедрого санаторного лечения. В поисках самого модного он, на свою беду, направляется в клинику к натуропатам, переживает там разнообразные неудобства, вызывающие у него «подозрительное раздражение», и в конце концов гибнет в отчаянной борьбе с аппаратом Цандера[8] — последним писком тогдашней моды. Смеяться над неврастенией легко — даже сегодня, занимаясь этой темой, не всегда удается сохранить серьезность. Тем более удивительно, что теория неврастении продержалась в Германии несколько десятков лет. Даже если кто-то из немецких медиков и смотрел на Бирда сверху вниз, то все равно использовал его теорию в своей работе (см. примеч. 9).

Учение о неврастении пришло не из медицинской теории, а из врачебной практики. Тем не менее оно мало способствовало укреплению авторитета врача. Его общий концепт больше соответствовал натуропатии, чем научной медицине: расстройство не поддавалось местному лечению или специфическим методам, а требовало регенерации человека в целом. И если главную его причину искали в современной цивилизации, то лучшим способом лечения было возвращение к природе. «Болезни цивилизации» — неважно, реальные или мнимые — были излюбленным объектом натуропатов. В 1908 году руководитель одного из «курортных заведений для нервнобольных» предупреждал, что ни в одной другой медицинской сфере так не распространено шарлатанство, как в лечении нервных болезней. Невропатология была в то время важнейшим полем битвы между профессиональной и любительской медициной. И лобовые атаки в этой битве профессиональным медикам помогали мало.

Отто Бинсвангер с некоторой обидой просвещал своих студентов, что «при лечении неврастеников они будут постоянно сталкиваться с неистребимостью шарлатанства». Его вывод: «физиотерапевтические методы лечения» должны стать «общим достоянием всех врачей». Только если врачи сами овладеют всеми теми методами, которые применяют натуропаты, они смогут сохранить конкурентоспособность в лечении неврастеников. Вильгельм Гис в 1908 году заметил, что «только после того как нервозность стала общенародной болезнью», «методы натуропатии обрели главнейшее из требуемых показаний, а вместе с ним и соответствующее опыту признание». От имени неврастении и народа можно было атаковать авторитет медицины.

«Склонность к физиотерапевтическим средствам в лечении неврастении отвечает потребностям народной души», — утверждал в 1905 году

[8] Цандер Густав (1835–1920) — шведский врач и физиотерапевт, работавший над системой аппаратов для лечебной гимнастики и ставший, таким образом, основателем механотерапии.

последователь Кнейпа Баумгартен. Он же отмечал, что стал очевидцем бурной демократизации медицины: «Народ победоносно прорвал барьер тщательно оберегаемой сдержанности врачей. Поскольку его не хотели учить, он стал учиться сам — так, как у него получалось» (см. примеч. 10).

Даже сам Мёбиус, не заботясь о чести мундира, открыто признал, что в лечении невротиков «шарлатаны» добивались «не меньших успехов, чем ученые». Герман Оппенгейм в своем «Учебнике о нервных болезнях», в каждом новом переиздании игнорируя все терапевтические рекомендации, завершал главу о неврастении настойчивым предупреждением: «Берегись излишеств в лечении. [...] Мне известны случаи, когда больной, впустую пройдя несколько курсов лечения, в конце концов отказывался от всякого лечения, возвращался к нормальному образу жизни и выздоравливал: он "наконец был исцелен живительным бальзамом всеисцеляющей природы"[9]». В своей вере в природные силы Оппенгейм здесь превосходит самого Кнейпа, который все же дополнял действие природы водными процедурами (см. примеч. 11).

Почему медицина делала столько уступок «шарлатанам»? Конечно, не по доброй воле. Ее принуждали к этому нехватка эффективных методов лечения, неудовлетворенность нервнобольных и нередкая успешность натуропатов. Если соглашаться с тем, что конец XIX века был этапом победного шествия лабораторной медицины, удивительно, до какой степени ученые доктора чувствовали угрозу для себя со стороны «природных» целителей. Однако на самом деле около 1900 года многие ожидали скорой победы натуропатии. «Ницше и Кнейп, Вёрисхофен и Байройт» — символы нашего времени, как говорилось в одном ироническом стишке. Тема «Природа и медицина в борьбе за господство» была типичной для доклада в клубах ученых. Напрасно настаивали на восстановлении отмененного в 1869 году запрета на шарлатанство. Натуропатам симпатизировали все — от Бисмарка до социал-демократов. Общества натуропатов возникали как грибы после дождя, особенно после 1880 года. В 1913 году их было уже 885, и входило в них 148 336 человек. Немецкий историк Клаудиа Хюркамп говорит о настоящем «массовом движении». Поддержали натуропатов и страховые медицинские организации, так как те помогали им придержать рост расходов на лекарства. Врачебное сообщество Германии чувствовало, что «его авторитет в обществе неуклонно падает». В такой ситуации все больше врачей присоединялись к

[9] Цитата из стихотворения И.В. Гёте «Орел и голубка» / пер. с нем. В.А. Жуковского.

движению натуропатов, что снижало влияние врачей-любителей в этой сфере (см. примеч. 12). Методы натуропатии постепенно завоевывали позиции и внутри профессиональной медицины. Неврастеники играли в этом процессе ведущую роль.

Немецкий историк медицины Альфонс Лабиш недавно представил теорию, что модерный *Homo hygienicus* появился в конце XIX века как плод господства бактериологии. Однако примерно в 1900 году претензии бактериологов на господство оказались под угрозой. «Немало представителей» бактериологической школы «столь же стерильны от любых творческих идей, как их любимые питательные среды», — издевался социал-гигиенист Адольф Готштайн в 1903 году. Роберт Кох, в 1882 году открывший туберкулезную палочку и взошедший на вершину славы как национальный герой, уже в 1891 году потерпел громкое фиаско[10]. «Упоение туберкулезными прививками» оставило по себе недобрую память как «психологическая эпидемия». Общественность осознала, что нет прямого пути от этиологии к терапии и что даже самые яркие открытия в патологии далеко не сразу могут помочь пациенту. Как и прежде, врачи видели себя в сильнейшей зависимости от целительных сил природы. В 1890-е годы в рядах врачебного сообщества растет самокритика, возникает ощущение, что в стремлении к локализации болезни врач теряет из поля зрения больного как единое целое. Если сравнить медицину того времени с более поздними тенденциями, заметно «невероятное психотерапевтическое возрождение», «вторичное открытие души» (см. примеч. 13).

Еще одна причина, по которой медики симпатизировали натуропатам, — отвращение к таблеточной медицине с ее агрессивной рекламой и такими средствами, как «антиневрастин». Процесс, опускавший множество врачей до уровня мелкой обслуги фармацевтической промышленности, в то время еще только-только начинался. На рубеже XIX–XX веков медикаментозная терапия далеко не всем казалась чем-то особо актуальным, скорее, она воспринималась как пережиток древнего знахарства, особенно если речь шла не о природных веществах с общеизвестным действием, а о неких «тайных средствах». «Пилюли, горчичники, мази, микстуры — у наших дедов нет иной рецептуры» — пели в

[10] Кох держал в секрете состав разработанного им лекарства — туберкулина. Когда туберкулин поступил на рынок и стали случаться летальные исходы, Вирхов доказал, что препарат активизирует латентные формы, а не убивает туберкулезную палочку. Разразился скандал, Коху пришлось раскрыть карты: он и сам не знал точного состава своего препарата. Финансовые надежды, которые Кох возлагал на туберкулин, не оправдались, препарат был признан «добросовестным заблуждением».

медицинской песне 1874 года (см. примеч. 14). Гигиенист Адрье Пруст, отец нервного Марселя Пруста, писал в предисловии к «Гигиене неврастеника» (1897), что он не побоится сказать: неврастеникам лекарства в целом больше навредили, нежели помогли, причем до такой степени, что надо бы задать вопрос, «кем являются неврастеники для медицины — должниками или жертвами». Учение о неврастении не чуждо докторской самокритики. Оно развивалось в атмосфере, свободной от догматики и открытой для использования природных методов.

В то же время стали осознаваться неприятные последствия узкой специализации. Отто Бинсвангер в книге о неврастении гневно обрушивается на гинекологов, которые при любых сексуальных проблемах у женщин с жадностью мономана исследуют исключительно влагалище. «Специализация в самом скверном смысле слова, т.е. исключительно изучение "своего" органа, — писал он, — приводит к неслыханным, просто возмутительным случаям». Иные невропатологи видели в своей науке наследие традиционной общей медицины: невропатолог, по их мнению, — «прирожденный противник всех этих желудочных, кишечных и почечных специалистов». Роберт Гаупп[11] в 1907 году на собрании вюртембергской ассоциации врачей обвинил и саму неврологию в прогрессирующей слепоте: «мы, неврологи также несем свою часть вины», если невротик оказывается в конце концов в руках «шарлатанов», потому что средствами одной лишь неврологии помочь ему нельзя. По его словам, нужно «иметь мужество» видеть вещи «такими, какие они есть», «слишком сильная вера в авторитет вредит не только больному, но и [...] престижу нашей науки». Учение о нервозности способствовало налаживанию отношений между учеными и практиками, специалистами и генералистами. Выступление Гауппа содержало комплимент врачам-практикам и вызвало «шквал благодарных аплодисментов» (см. примеч. 15).

Понятие «неврастения» исходило из кругов неврологов. Критика же его в типичных случаях звучала из уст психиатров. Когда Огюст Форель в 1908 году на собрании кружка швейцарских психиатров раскритиковал «модное невнятное понятие "неврастения"», он тем самым напал на всю «так называемую современную неврологию», которая, «полностью

[11] Гаупп Роберт (1970–1953) — немецкий психиатр и невролог, как и многие коллеги его времени (как, например, Лёвенфельд), широкого тематического профиля, применял психиатрию к анализу явлений культуры, как то: «Психология массового убийства» (1914), «Поэтическое творчество душевнобольных» (1926). Но, как и многие коллеги той же культуры (как, например, Гротьян), оставил и мрачный след в истории — печально известными сочинениями «Санкция на уничтожение жизни, недостойной быть прожитой» (1920), «Обеспложивание психически и морально больных и неполноценных» (1925).

игнорируя научный прогресс», хочет «оторваться от психиатрии» (см. примеч. 16).

Явственней, чем в Германии, стратегический расчет в теории неврастении проявился в США. В 1870-х годах там разгорелся открытый конфликт между неврологами и психиатрами, в ходе которого неврология пошла в атаку как новая и активно развивающаяся профессия. В 1881–1882 годах между представителями двух специальностей произошла нашумевшая битва по вопросу вменяемости убийцы президента Гарфилда[12]. Бирд также проявил себя достойным защитником компетентности новой науки (см. примеч. 17). Его теория была вполне пригодна для того, чтобы увеличить клиентуру неврологов и отнести к их компетенции целую серию расстройств, даже если это и не имело никакой ценности для науки. Чтобы исключить притязания психиатров, нужно было четко отличать неврастению от тяжелых психических заболеваний, что, как оказалось, вполне соответствовало реальному положению дел.

В Германии интерес к разграничению неврологии и психиатрии был не столь заметным: обе дисциплины состояли в тесной связи. Со времен Гризингера[13] этот альянс считался специфической «берлинской традицией». Все — от прусского правительства до практикующих врачей — сходились во мнении, что разделение психиатрии и неврологии, в принципе, неразумно. Настоящий синтез обеих дисциплин не получался, для этого у них было слишком различное происхождение. Конфликты между ними происходили и в Германии (см. примеч. 18), однако здесь граница между ними была открыта, и немецкая наука от этого только выиграла.

Изначально между психиатрией и неврологией существовала экзистенциальная пропасть, обусловленная их происхождением. Психиатрия как гуманитарный проект была порождена философией, а на

[12] Гарфилд Джеймс Абрам (1831–1881) — 20-й президент США. Совершивший на него покушение проповедник и адвокат Шарль Гито, вопреки требованиям адвокатов, был признан вменяемым и повешен.

[13] Гризингер Вильям (1817–1868) — немецкий психиатр. Людвиг Бинсвангер называет его создателем основ современной психиатрии. Его работу «Патология и терапия психических болезней» (1845), переведенную на много языков, можно назвать ключевой в становлении психиатрической науки. Дело в том, что неврология была частью внутренней медицины, а психиатрия существовала только в стенах психбольниц. Гризингер же выступил за их слияние, так как исходил из того, что причинами сумасшествия являются не только биологические факторы организма, но и психические. В этом же ключе он решал и спор между «психиками» и «соматиками»: для первых психоз был последствием страстей и пороков (идеалистическая трактовка, т.е. психологическая), для других в расстройстве был виноват организм человека (материалистическая точка зрения).

практике осуществлялась администрацией психиатрических лечебниц. Неврология, напротив, формировалась как часть терапевтической медицины. Правда, оставаться там она не захотела. В конце XIX века тенденции в психиатрии и неврологии были в некотором отношении противоположны. Психиатрия пыталась вырваться из своей вечной изоляции внутри медицинской науки. Неврология, напротив, боролась за свою самостоятельность и самобытность. Психиатры существовали в основном в рамках сложившейся безотрадной практики, неврологам только предстояло создать и обустроить собственное практическое поле. Они хотели обрести свободу от психиатрии, которую в то время цинично называли «учением о неизлечимых болезнях». Правда, и новое отдельное поле неврологии было не самым радостным, молодому Гельпаху оно даже казалось ужасающе «безнадежным». Большая часть научных успехов неврологии не имела терапевтической ценности. Даже сейчас неврология считается классическим примером науки, которая пусть и совершает одно занимательное открытие за другим, но в итоге бросает врача у постели больного на произвол судьбы. В 1890-х годах Гельпах писал, что неврастеники хотя и служат «хлебом насущным» для невролога, однако же тот в процессе своего образования не обучается ничему полезному для них. В 1891 году стал выходить «Немецкий неврологический журнал», и Вильгельм Эрб[14] первый номер начал статьей со взгляда в прошлое, обратив внимание на «огромные» успехи последних десятилетий (см. примеч. 19). Однако на деле неврологическая практика была весьма далека от триумфальных настроений.

В кругах психиатров недовольства было еще больше. Да, психиатры имели твердые и надежные позиции как руководители множества представительных клиник для душевнобольных, а также в качестве экспертов в уголовных делах и в делах о лишении дееспособности. Однако ни в медицине, ни в обществе они не пользовались хорошей репутацией. Былой «психиатрический хилиазм» — надежда на то, что в обозримом времени они смогут излечивать «безумцев», — угас. Психбольницы снова несли на себе печать безнадежности. Пришлось признать, что если психиатры и могли что-то излечить, то только легкие психические расстройства. Эмиль Крепелин[15] жаловался, что «непрерывное общение с

[14] Эрб Вильгельм (1840–1921) — немецкий невропатолог, издатель известных справочников по заболеваниям нервной системы и по электротерапии и автор знаменитой книги «Про повышенную нервозность нашего времени» (1893), повлиявшей на Фрейда.

[15] Крепелин Эмиль (1856–1926) — один из столпов немецкой психиатрии, создатель учения о *dementia praecox* (*лат.* — раннее слабоумие) — прообразе

душевнобольными», «безнадежность врачебной деятельности, наконец, невнятность и недостаточность наших научных познаний» доводят впечатлительных психиатров до «постоянной нервозности». Гаупп в 1903 году заметил, что «парализующая покорность», распространенная в психиатрии, влечет за собой «бегство в дружелюбную соседнюю область неврологии».

Пациенты-неврастеники приносили долгожданный опыт успеха. Однако некоторых психиатров понятие «неврастения» смущало, и они подчеркивали, что мнимые «нервнобольные» на самом деле душевнобольные. В этом пункте резких возражений не поступало даже от неврологов. Крепелин, отвечавший за международный профессиональный вокабуляр, с 5-го издания своего учебника по психиатрии (1896) отказался от понятия «неврастения» как обозначения самостоятельного расстройства. Но и он не выступал открыто против концепта как такового (см. примеч. 20).

Книги о нервозности и неврастении, написанные неврологами, часто начинаются с анатомии нервной системы. Воспринимая эти главы буквально, можно легко поверить в неврологический фундамент теории неврастении. Эдвард Шортер, описывая историю изучения нервов, датирует 1870 годом закат рефлекторной парадигмы и восхождение парадигмы центральной нервной системы. В этой смене парадигм он видит научные истоки последовавшего развития невропатологии (см. примеч. 21). Однако представление о линейной смене парадигм существенно переоценивает упорядоченность вещей и управляемость науки. При желании можно расставить акценты с точностью до наоборот: представление о всеохватной нервной системе возникло в XVIII столетии, в следующем веке новым было открытие вегетативной нервной системы, а затем и нервных клеток — «нейронов». Но ни то, ни другое не задавало доминирующей парадигмы.

Самое волнующее открытие неврологии 1890 года заключалось в том, что «отдельные нервные клетки функционируют относительно независимо друг от друга». С 1891 года для них используется введенное Вильгельмом фон Вальдейером обозначение «нейроны». Таким образом наука о нервах пересеклась с клеточной теорией Вирхова. К этому подошло и следующее открытие — о том, что нервные импульсы распространяются медленнее и прерывистее, чем полагали ранее. Нервная система была все же чем-то другим, чем телеграфная сеть. Но учение о неврастении опи-

---

шизофрении. Основатель самой обширной на то время классификации психических заболеваний и автор многих психопатологических терминов, таких как словесная окрошка, кверулянтский бред, шизофазия и многое другое. Последнее, 8-е издание его легендарного учебника по психиатрии насчитывало 3000 страниц. Неоднократно номинировался на Нобелевскую премию.

ралось не на новейшие положения науки о нервах — его происхождение уходило корнями вглубь. Сделать практические выводы из теории нейронов было и без того крайне затруднительно. Новый, «молекулярный» взгляд лишь усугубил невнятность того, как же функционировало столь сложное образование, как нервная система (см. примеч. 22). Из нейрофизиологии ничего нельзя было понять о том, можно ли управлять поведением нервных клеток, и если можно, то как. Как приглушить излишнюю раздражимость, было делом исключительно практического опыта. Хотя Крамер истолковывал неврастению как «истощение нейронов», а невролог Маргарет Кливз уверяла, что при припадках неврастении она чувствует каждый отдельный нейрон, то если вспомнить, что один только человеческий мозг включает в себя свыше 10 млрд нейронов, абсурдность такой идеи становится очевидной. Нейроны в то время влачили фиктивное существование, сходное с атомами. Бирд в одной из сносок сделал очень существенное замечание, что в науке «ближе всего к знанию понимание, что мы ничего не знаем» (см. примеч. 23). Так, история неврастенической теории не в последнюю очередь оказывается важной главой еще не написанной истории обращения медиков с незнанием.

Пауль Юлиус Мёбиус (1853–1907) заслуживает особого внимания как «немецкий классик нервозности» (Гельпах). Его имя уже давно не вызывает доверия. Дело в том, что в памяти читателей он остался исключительно как автор труда «О физиологическом слабоумии женщины» (1900). Даже ультраконсервативная газета «Kreuz»[16] отреагировала на такое название болезненно[17], а последователь Фрейда Штекель[18] назвал автора «сенсационщиком-бомбометом» (см. примеч. 24). В ответ на упрек Штрюмпеля Мёбиус попытался оправдаться: «Ах, ну это же была реклама для книготорговца». К «Слабоумию» Мёбиуса в 1903 году добавилось еще одно евангелие женоненавистников, которое сам Мёбиус воспринимал как плагиат — «Пол и характер» несчастного Отто Вейнингера[19], застре-

[16] Крест (*нем.*).

[17] Более того, работа Мёбиуса вызвала целый шквал серьезных и вместе с тем саркастических ответных сочинений со стороны влиятельных немецких писательниц и защитниц прав женщин, среди них «Антифеминисты» Хедвиг Дом, «Женщина и интеллектуализм» Оды Ольберг, «Феминизм и наука» Йоханны Эльберскирхен.

[18] Вильгельм Штекель.

[19] Вейнингер Отто (1880–1903) — австрийский философ, за трактат «Пол и характер» (1902) считавшийся современниками гением. Исследование мужского и женского начал действительно во многом перекликается с идеями Мёбиуса: в то время как *М* олицетворяет высокая интеллектуальность, гениальность, продуктивность и нравственность (репрезентируемые также христианством),

лившегося в том же году. Оба произведения кажутся на первый взгляд плодом тупой мужской самоуверенности, но если вникнуть в личность обоих авторов, оказываются скорее эксгибиционистскими проявлениями невротической неспособности общаться с женщинами. Тот, кто знал о несчастном и бездетном браке Мёбиуса с не слишком приятной женщиной на 10 лет его старше, знал, откуда взялась его книга. Поскольку Мёбиус провоцировал женщин вполне осознанно — у него не было никаких иллюзий по поводу того, как будет встречена его работа, и в более поздних изданиях он даже приводил выдержки из потока оскорбительных писем, — то в его саморазоблачении было что-то мазохистское: поскольку любить женщин он не мог, то желал, чтобы они его по крайней мере как следует высекли (см. примеч. 25).

По своей природе Мёбиус был очень далек от грубого маскулинного типа. Это был чувствительный человек, которого резко возмущала та легкость, с какой иные доктора ставили печать симулянта или ноющего ипохондрика на каждом нервном пациенте, и который надолго придал новый импульс методу электротерапии, причем как раз тогда, когда этот метод стал опасным из-за развития технологии сильного тока. С горькой иронией он писал в 1904 году, что один французский критик видит в нем «типаж новой немецкой брутальности», при том что в действительности он был, по собственному признанию, не «добрым патриотом», а почитателем Будды, фигурки которого украшали его кабинет. Еще более неприятное чувство вызовут у читателя милитаристско-евгенические идеи того же Мёбиуса, вплоть до истребления неизлечимо больных. Ученого, полушутя называвшего самого себя *Dégénére supérieur*[20], завлекла теория вырождения. Его патологические мысли явно отражали сложные отношения с самим собой. Поворот к страху перед вырождением не отвечал никаким общим тенденциям в учении о неврастении, а совпал у Мёбиуса с отходом от этого концепта. В последние годы жизни Мёбиус, как вспоминал потом Гельпах, «не мог думать без гнева о болтовне по поводу неврастении и все, что ею считалось, переводил в различные формы “вырождения”». В то время он страдал уже не только нервами, но раком. Закоренелый курильщик, он защищал табак от нападок некурящих, считая его успокоительным средством, и не беспокоился о его канцерогенном действии (см. примеч. 26).

Ж присущи диаметрально противоположные качества (представляемые также иудаизмом). Отстаивал идею о принципиальной бисексуальности человека. Застрелился в гостиничном номере, в котором умер Бетховен.

[20] «Дегенерат высшего качества», или «самый большой выродок» (*фр.*).

Ни защита докторской диссертации, ни брак с нелюбимой профессорской дочерью не принесли Мёбиусу столь желанной кафедры. В то время как его печатные работы находили среди читателей широкий резонанс, оратором он был плохим. Лекции его постоянно отменялись — студенты на них просто не приходили. В 1893 году он отказался от преподавания, чтобы целиком посвятить себя практике и научной работе. По чисто университетским масштабам биография его была провалом. Тем не менее сам великий Крепелин, который не был сторонником теории нервозности, высоко оценивал Мёбиуса как «необычную личность с выдающимися способностями» и считал его пионером психиатрии. Ему вторил Фрейд, говоря, что Мёбиус произнес «спасительное слово», объяснив успехи электротерапии внушением. Для Эстер Фишер-Хомбергер Мёбиус стал «колумбом психиатрии» — столь высоко она оценила его знаменитое определение истерии: «истеричны все те болезненные изменения в теле, которые вызваны каким-либо представлением» (см. примеч. 27). Намного более резко, чем Шарко с его драматизацией истерии[21], Мёбиус отрицал операции на матке у истеричных женщин, считая их врачебным мошенничеством. Разве не парадоксально, что в историю ученый вошел как женоненавистник.

Практически никто не критиковал тогда анатомический перекос в медицине так резко, как Мёбиус, хотя сам он изначально занимался именно анатомией. Этот мягкосердечный человек становился здесь воинственным. В 1894 году, под свежим впечатлением от гипноза, он писал, что «вся история медицины была бы менее постыдной, если бы медики уделяли достаточное внимание психологическому фактору». «Один грамм знания человеческой природы может быть врачу полезнее, чем целый килограмм физиологических познаний без нее». «О душе человека в медицинских школах [...] не слышно ничего». В пожилом возрасте Мёбиус говорил о «сегодняшнем состоянии науки» лишь с едкой иронией. «Самое скверное — это, конечно, абсолютное естествознание» (см. примеч. 28). Сегодня кажется удивительным, как смело он говорил о том, что составляет картину болезни, руководствуясь представлениями о нервозности со стороны непрофессионалов. И ведь при этом его уважали все ведущие умы неврологии и психиатрии — от Эрба и Штрюмпеля до Фореля и Крепелина.

Вильгельм Эрб (1840–1921), с 1880 года профессор и директор медицинской поликлиники в Университете Лейпцига, считался ведущим нев-

[21] Имеется в виду способ, каким Шарко демонстрировал истерию перед студенческой и коллегиальной публикой: приглашалась актриса, на манер театрального действа изображавшая перед зрителями заданный недуг.

рологом Германии. «Легкий и прямолинейный», «скромный и простой», он, в отличие от Мёбиуса, не обладал личным опытом неврастеника. Внутреннее напряжение выражалось у него в основном в нарушениях сердцебиения. Если Мёбиус считал электротерапию надувательством, то Эрб даже издал справочник по электротерапии (1882) — столь бурный интерес к этому техническому методу был необычен для уважаемого медика того времени. Отсюда проистекало его уважение к Бирду, и, возможно, нервозность он обнаружил как раз в поисках пациентов для электротерапии. Поскольку представление Эрба об ответе нервной системы на раздражение было довольно простым, в своем докладе в Гейдельберге в 1893 году он обрисовал «растущую нервозность нашего времени» как воздействие современной технической цивилизации. Как несколько иронично пишет Штрюмпель, Эрб обходился с неврастениками «так же, как с больными, имевшими органические нарушения нервной системы»: «большинство нервнобольных он встречал электрическим током, выказывая при этом замечательную выдержку и неутомимость». При этом его возмущали «чудовищности» жесткой медикаментозной терапии, которая пользовала «несчастного неврастеника» смесью из дюжины «сильнейших, ядовитейших алкалоидов» (см. примеч. 29).

Эрб соглашался, что зачастую бывает трудно «отделить друг от друга соматические и психические нервные болезни», тем более что существует множество «пограничных случаев». Тем не менее своим ассистентам он наказывал: «Берегитесь психиатров!» и настаивал на строгом различении между неврологией и психиатрией. Адольф Штрюмпель (1853–1925), сотрудник Эрба и его преемник по Лейпцигской кафедре, был решительно другого мнения. Если Эрб, как он писал Штрюмпелю в 1890 году, настаивал на том, «что терапевты должны сделать все возможное, чтобы побороть возрастающую узурпацию нервных болезней психиатрами», то Штрюмпель в 1924 году задним числом объяснял: «Требовать отграничения неврологии от психиатрии — это как требовать от скрипача, чтобы он играл только на струнах соль и ре, потому что струны ля и ми предназначены для другого скрипача» (см. примеч. 30).

Один венский невролог в предисловии к 4-му и 5-му изданиям своей книги о неврастении (1899) писал о лечении нервных болезней:

> «Из-за того, как мало достигли к настоящему дню в этой сфере врачи, перед любой — самой фантастической, эксцентричной, авантюрной и даже безрассудной фантазией открыты все двери и ворота. [...] От традиционных курсов, насыщенных всевозможными методами вроде питья воды, ванн, лечения жаждой, голодом и потением, до новомодных специализированных курсов засыпания, массажа, велосипеда, солнечных и световых ванн, к которым теперь добавля-

ются хвойные и песчаные ванны, если уж не говорить и о лечении холодной водой Присница, курсов Шрота и Баутинга и т.д. вплоть до Ортеля, Швенингера и Кнейпа (*e tutti quanti*[22]) — каких только лечений мы ни повидали на своем веку!»

Нет сомнения, что здесь начинается эпоха не одной определенной научной парадигмы, а дикого экспериментирования.

Многие выдающиеся медицинские умы знали, что самоуверенность медицины по отношению к психосоматическим расстройствам — всего лишь театр. Поль Дюбуа без всякого стеснения ругал своих коллег: «Среди врачей царит невероятная путаница в понятиях, причем до такой степени, что больные или их близкие часто понимают больше, чем лечащие их эскулапы, и втихомолку смеются над курсами лечения». Он не щадит и электротерапевтов: «Ну, теперь у нас на очереди электричество: больная должна сесть на изоляционную табуретку статической машины. [...] И врач-невролог с большим удовлетворением будет водить электродами по всему телу своей жертвы, не останавливаясь и не отвлекаясь на — ах, какую скептическую — улыбку больной. Давайте честно: из этих двоих болен, уж конечно, не тот, на кого все думают!» (см. примеч. 31).

Весомое преимущество теории неврастении перед ее предшественницей — спинальной ирритацией — заключалось в том, что она более четко очерчивала сферу неизвестного и по крайней мере ничего не искажала вследствие псевдоанатомических дефиниций. «Нервы» были не просто определенными осязаемыми анатомическими структурами, они обладали чертами великого незнакомца. Об этом знали не только медики. Поль Валери в 1903 году писал своему другу Андре Жиду, что «нервы — или нечто, что слишком неизведанно еще для того, чтобы это нечто обвинять» — целиком его «одолели». Еще раньше, в 1901 году, он писал, что при слове «нервная система» терапевт погружается в «шестой круг ада», где оккультисты, эстетисты и философы гложут собственные пятки. И даже такой соматик, как Вильгельм Гис замечал, что, говоря о «нервозности», он намеренно использует «это неопределенное выражение». Точное определение подразумевало бы специальное знание, которого в реальности не было. И именно разрастающееся специализаторство в лечении нервнобольных казалось Гису опасным (см. примеч. 32).

В последнее время принято находить в истории науки прежде всего элемент стратегии, конструкции, выторговывания так называемой истины. И этот элемент, безусловно, существует. Однако сегодняшнее положение вещей, когда теории действительно нередко порождаются

[22] И все остальные, и все поголовно (*итал.*).

тактическим расчетом, не следует однозначно проецировать на XIX век. В то время в науке еще преобладал такой поиск истины, такая радость открытия, каких многие сегодняшние ученые просто не могут себе представить. Любопытство стояло выше, чем «продвинутый» ум, и ученые любили обнаруживать *terra incognita*. Бирд представил свою «неврастению» как шаг в неведомое. Теория неврастении развивалась не вследствие внутренних потребностей науки, а благодаря открытости медицины новому опыту своей эпохи.

«Я» КАК ОСИНОВЫЙ ЛИСТ: ТРЕВОГИ НЕРВНОГО САМОПОЗНАНИЯ И УПРЯМСТВО ПАЦИЕНТОВ

Читая работы о нервах, постоянно удивляешься, сколько комплиментов расточали даже именитые медики в адрес непрофессионалов — от Мёбиуса, легко использующего бытовое определение нервозности, до Дюбуа с его рассказами о том, как пациенты смеются над врачами. Все это тем более удивляет, что в конце XIX века в медицине наблюдался общий процесс «лишения пациентов дееспособности» (см. примеч. 33). Медицина апеллировала к успехам современной науки, и доверие людей к испытанным домашним средствам стало снижаться — это было, видимо, общим трендом. Камнем преткновения в этом процессе стало упрямство неврастеников. Венский невропатолог Иоганн Хиршкрон писал, что большинство невротиков хоть и консультируются у врача, но «в жизни следуют лишь советам дилетантов». Часто от невротиков можно слышать: «Наконец я нашел то, от чего мне лучше, и буду это продолжать» (см. примеч. 34).

Один врач в периодическом издании «Reformblätter»[23] уверяет, что большинство неврастеников «отлично знают причину своего расстройства». «Вы только взгляните на мой язык, — говорил Баумгартену один молодой гамбуржец, — и вы сразу поймете, откуда моя неврастения», а именно — из желудка. «Я бы хотел сказать, какой совет для меня в настоящее время был бы самым полезным, — наставлял своего врача в Констанце еще один молодой гамбуржец. — Вы бы вызвали к себе мою мать и велели бы ей, чтобы она вместе со мной поехала куда-нибудь в теплый климат. Вы бы тогда осчастливили не только меня, но и мою мать! Так я потерял последние годы своей юности». Видно, что немало врачей перенимали у неврастеников их психотерапевтическую самоуверенность. Справочник по нервным болезням Пауля Кона 1931 года даже

[23] Реформ-листки (*нем.*).

заканчивался призывом «не бежать сразу к врачу» — пусть невротик сначала «воспримет свою нервозность как воспитание, воспримет эту объяснительную записку с презрением». «Любой благоразумный невротик — сам себе лучший лекарь» (см. примеч. 35).

Но самоуверенность дилетантов в вопросах нервов не давала надежной базы для автономии относительно медицины, потому что базировалась на опыте наблюдения над собой, насквозь пропитанном медицинскими понятиями и теориями. Типичный неврастеник, хотя и имел собственное суждение о своем расстройстве, был слишком тревожен, чтобы положиться на него, и страстно жаждал советов и новых терапевтических методов. Разочаровавшись в одном докторе, он отправлялся к другому. Как, например, немецко-английский бизнесмен 62 лет, с 1871 года живший в Лондоне и утверждавший, что «из всех лондонских немцев он играл наиважнейшую роль». В 1910 году он приехал в Арвайлер, где ему поставили диагноз «неврастения». С 40 лет его преследовал страх, что он заражен сифилисом. Два раза у него диагностировали сухотку спинного мозга — осложнение после сифилиса. После такого диагноза он посещал Эрба, который «опроверг диагноз сухотки и объяснил пациенту, что в его случае речь идет о состоянии нервного истощения». Но пациента это не остановило. В Арвайлере он утверждал, что консультировался «у более чем пятисот врачей». Несмотря на частые расстройства желудка, — читаем в его истории болезни, — «пациент ест как свинья (пачкается, лезет пальцами в рот, чтобы удалить остатки пищи)». В Арвайлер он приехал по настоянию жены, после того как «утратил энергию и силу воли» в бизнесе и стал причиной больших потерь. Его жена утверждала, что «пациент выздоровеет в тот же момент», «как только она наведет порядок в делах, что ей наверняка удастся сделать в течение нескольких недель» (см. примеч. 36). Очевидно, энергичная жена, разглядевшая в муже болезненный дефицит энергии, буквально вложила в уста доктору диагноз «неврастения».

Осаждая врачей, неврастеники в то же время не думали, что те способны им помочь. В 1901 году в клинику Бельвю поступил молодой электротехник, у которого, как у многих других, переплелись друг с другом профессиональные и эротические разочарования, вызвав состояние постоянного волнения и отчаяния. Если смотреть трезво, у него не было никаких причин считать себя серьезно больным, но он «честью и совестью» заклинал Рудольфа Бинсвангера «безо всякой пощады» ответить ему: во-первых, «аномален ли [он] психически»; во-вторых, может ли он когда-либо «стать довольным человеком»; в-третьих, стоит ли ему вообще думать о женитьбе. В то же время он был уверен: «помочь-то мне никто не может,

кроме меня самого, в санаторий или какую другую лечебницу я не пойду, ибо нет от того никакой пользы» (см. примеч. 37). Удивительно, как, с одной стороны, он хочет, чтобы врач решил за него сверхличный вопрос о женитьбе, а с другой — не доверяет ему в вопросах терапии.

«Нервы» обычно ассоциировались с тревожными образами, будто они сами по себе уже были очагом болезни. Механистические представления о силе нервов, которую гарантировал бы точный баланс между производством и потреблением, порой до гротеска определяли мышление пациента. Читаем историю владельца фабрики, прибывшего в 1892 году в Йену к Отто Бинсвангеру, «переутомленного и перетруженного бизнесом и изобретениями» и уже восемь лет страдавшего от различных психосоматических расстройств. «Более всего пациента мучают скопления газов в кишечнике, которые при слабой деятельности кишечника не уходят вниз, а наоборот, идут вверх, выходя через рот или давя на сердце». Для «освобождения от воздуха нижней части тела пациент с 1885 года занимался комнатной гимнастикой по методу Шребера[24] (упражнения с палкой), при которых воздух выходит только через верх». Но после шести лет махания палкой над головой начались боли в руках и плечах, из-за чего предприниматель начал четко ограничивать объем письменной работы. «Я по возможности слежу за тем моментом, когда нервная деятельность приближается к своему порогу, и тогда прекращаю работу». Он вообразил, что точно чувствует уровень своей нервной силы (см. примеч. 38).

Подобная тревожность не ограничивалась образованным обществом, в котором имелись и время, и деньги для терапии и чтения медицинских

[24] Шребер Даниэль Готлиб Мориц (1808–1861) — немецкий врач и социальный педагог, с 1843 года возглавлял в Лейпциге частную клинику, занимавшуюся оздоровительной гимнастикой и ортопедией. Автор множества приспособлений и конструкций для коррекции осанки у детей. Придумал и пропагандировал небольшие садовые участки для городских жителей как часть системы воспитания детей, которым выделялось по несколько грядок для самостоятельного ухаживания — в немецкий язык вошло понятие «шребергартен». Его руководства по комнатной гимнастике и каллиопедии (воспитанию чувств прекрасного) расходились большими тиражами, однако с развитием общества и науки его методы поздней рецепции станут называть «черной педагогикой». Будучи старой патриархально-деспотической закалки, все свои теории и конструкции, выглядевшие громоздко и устрашающе, испытывал на собственных детях, четверо из которых закончили жизнь в психиатрических лечебницах. Один из них, Даниэль Пауль Шребер, остался в культурной истории как автор «Воспоминаний нервнобольного» (1903) — объемной рефлексии над собственной параноидной шизофренией через интерпретацию своих нервов. Книга нашла широкий отклик в психоаналитических и культурных кругах (Фрейд, Юнг, Канетти и др.).

трудов. Они проникали и в рабочий класс, где «нервы» связывались с идеей «расшатанности». В 1872 году один машинист после того, как во время поездки сломалось ведущее колесо рабочего механизма, выйдя из состояния шока, жаловался, что «вся его нервная система расшатана». Двадцатилетний обойщик объяснял в 1907 году, что приехал во Франкфуртскую нервную клинику из-за «расшатанных нервов». На вопрос, в чем же состоит «расшатанность», он ответил: «Я плохо помню даты, числа, и если пытаюсь думать и работать, тогда начинается вот такое: взгляд путается и возникают последствия», а именно недержание мочи. «Расшатанность нервов» проявляется и в постели, и на рабочем месте: «Внимание к работе настолько терялось, что я не получал от работы никакой радости, не мог гарантировать успеха в работе». То есть обойщик исходит из того, что в норме работа должна доставлять радость и недостаток такой радости — признак плохих нервов.

В 1909 году берлинский рабочий-строитель, пропив и промотав отцовское наследство в 1500 марок, пугается призрака «расстройства нервов» и отправляется в Шарите, не догадываясь, что его «дрожь» — вполне нормальное следствие неумеренного потребления алкоголя:

> «Каждый вечер у меня были половые связи — или с моей невестой, или с девушками из заведения. Из-за этого руки стали сильно дрожать, сейчас это бывает даже в состоянии покоя, я ужасно легко возбуждался [...] могу в любой момент заснуть, днем и ночью, но при этом каждую секунду просыпаюсь. У меня ужасные мысли о моей болезни. Что она ухудшается. (Врач: "Что за болезнь?") Если сказать Вам правду: "нервное расстройство". У меня начинается дрожь, я дрожу всем телом, совершенно внезапно» (см. примеч. 39).

Медики несли некоторую ответственность за эти навязчивые состояния. В 1910 году тайный медицинский советник писал в «Анти-хаме», издании Общества против шума, читатели которого очень заботились о нервах:

> «Человеческая нервная система подобна (насколько возможно использовать для нашего организма образы из внешнего мира) осиновому листу. Как лист приходит в движение от легчайшего дуновения воздуха, так и нервная система приходит в волнение от минимального внешнего воздействия. Воздействия настолько слабого, что в обычных обстоятельствах мы его почти или совсем не осознаем. И как дуновение воздуха превращается в шторм и ломает ветви, увлекающие за собой листья, так и нервная система подвержена всем степеням возбуждения, причем следы такого нервного шторма не заставляют себя ждать» (см. примеч. 40).

«Нервный шторм» был чем-то вроде природной катастрофы. Американский врач Маргарет А. Кливз пережила свой первый тяжелый приступ

неврастении как «электрический шторм» и в том же контексте признавалась: «Я состою из отдельных самостоятельных частиц, и всю мою жизнь я получала наслаждение от их борьбы между собою». Свою нервную дрожь она воспринимала как единство с вибрациями космоса. Более печальный опыт нервозности предлагает пример молодого обитателя психбольницы Айхберг в Гессене, которого, по его словам, «уже годы преследует тяжелая неврастения» и «мучает нервное расстройство». Но и он обладал самоуверенностью невротика. В принципе, он хотел убедить врача выпустить его из закрытого заведения, куда его поместили из-за угрозы суицида. Однако при этом он описывает себя как безнадежно больного, который только страдает и не может больше ничего. Он знает, насколько продвинулась психизация учения о нервах и воспринимает ее как опасность, потому что не хотел бы считаться психически больным, а именно нервнобольным, — в физическом смысле. Тем не менее его самодиагноз не утешителен. Он носит название «Субъективное от нервнобольного» и начинается так:

> «Когда нервнобольной описывает свои страдания, он ясно понимает, что это субъективное описание болезни никогда не будет воспринято неврологами как ценное для врачебной оценки его болезни. Он обычно оказывается в мучительном положении человека, рассказ которого воспринимается как болезненное преувеличение. Противоречия между данными объективного медицинского обследования и субъективными описаниями его страданий привели современных психиатров к убеждению, что эти расстройства имеют в основном психическую природу. Объективные данные ничтожны, но больной описывает свое страдание как нечеловеческое и мучительное: этот контраст легко приводит к упомянутой трактовке. И все же расстройства нервнобольных базируются на тяжелых функциональных расстройствах, которые у пациента проявляются так, что он чувствует сильнейшие нарушения во всех своих жизненных отправлениях. Ничто больше не функционирует у него правильно» (см. примеч. 41).

Еще один подобный случай — юноша 21 года, пациент Франкфуртской нервной клиники, который в 1905 году пишет еще более подробное сочинение «Проявления моей болезни и краткий обзор моей жизни». Руководитель клиники диагностировал «тяжелую неврастению». Это хрестоматийный пример неврастеника: с нарушенным отношением к сексуальности, склонностью периодически перетруждаться вопреки слабой конституции, а затем терять всякую способность к труду. Один врач увидел в нем «навязчивые идеи», которые «находили выход особенно в том, что в высшей степени пришпоривали силы пациента, но действовали при этом парализующе и тревожно». «Подобного рода [...] представления особенно раздражают пациента, если он хочет снизить

судорожный темп, и сильнее всего, если пытается отдохнуть и расслабиться. В таких ситуациях вследствие нервного возбуждения проявляются следующие физические явления: судорожные сокращения и давление в гениталиях, стенокардия, стеснение дыхания, напряжение в области гортани, сильная тяжесть и дрожь в ногах».

Особенно мучительные колебания вызвали у него мысли об отъезде в Америку, обострившие его расстройство и заставившие лечиться. «Сомнение скоро погубило меня; у меня исчезли всякие желания». Он чувствовал, что его нервы разрушены в совершенно физическом смысле: «Говорю Вам, я пропал. Мои нервы разрушены вплоть до жизненного нерва, и этот последний тоже отмирает». Когда-то у него было «чувство, как будто бы нервы здесь (пациент указывает на свой лоб) разветвлялись; вся левая сторона не могла думать; ему часто казалось, что нервы сместились».

Его подробный анамнез выразительно демонстрирует, как на «нервозности» можно выстроить идентичность и протянуть ее сплошной красной нитью через всю биографию. При этом с постоянным страхом наблюдаемая нервозность обретает все большую самостоятельность, драматичность и остроту:

> «Нервозность проявлялась у меня уже в раннем детстве. Будучи ребенком, я часто терял сознание и при свистке паровоза резко вздрагивал. [...] Поскольку школьные обязанности я выполнял с большим рвением и при этом иногда забывал про еду, то был физически очень слаб, и это соединялось с сильной нервозностью. [...] Тогдашние проявления были следующие, по очередности: я был хронически взволнован, мог разволноваться по малейшему поводу. Если я входил туда, где собиралось много людей, у меня начинала кружиться голова. Невольно я клал руку на сердце, мне казалось, будто у меня удар, потом начиналось ужасное сердцебиение. Судорожно сжавшиеся во время припадка нервы дрожали во всем теле. [...] Рука об руку с этими припадками приходила тяжелая ипохондрия. Если я, например, читал в газете, что с кем-то случился удар, я смертельно бледнел, проводил рукой по сердцу и стонал от страха. [...] Мучения, которые доставляет такое расстройство, неописуемы. [...] Годами я страдал от мыслей, что не смогу достаточно хорошо исполнять свою работу, что каждодневно приводило к сильнейшему возбуждению».

Удивительно живо рисует он, как постоянные размышления об отъезде в Америку приводят к нервной катастрофе, нервозность становится «демоном»:

> «Как человек слабовольный, я пришел в сильнейшее противоречие с самим собой. Это обстоятельство вызвало такие эксцессы, которые обрекли мои нервы на верную гибель. В мою жизнь закрался демон, который был сильнее моей

воли, и который перечеркнул весь мой счастливый жизненный путь. Поскольку я не мог противостоять этой дьявольской мощи, я выпал в колею несчастий. Вспоминая, как искусно эта дьявольская сила могла влиять на события, как умело она запускала противотоки и растравляла все мои раны, я вижу перед собой нечто таинственное. [...] С тех пор я совершенно точно ощущал, как отдельные нервные нити отрывались от прочих, и часть их текла в спинной мозг и желудок. Сегодня я живу только за счет того единственного нерва, который передает сознание или разум от души к мозгу. Поскольку этот жизненный нерв развит у меня очень хорошо и имеет удивительную крепость и выдержку, то я вынужден видеть, что тело мое уже отмерло вплоть до мельчайшей его части, что отчетливо проявляется в запахе разложения. Так, я, мужчина двадцати одного года — который, не страдая безумием, был одарен большими талантами и, уж конечно, достиг бы преклонного возраста, — вынужден в ясном сознании ожидать своего полнейшего распада».

Сначала он зарекомендовал себя во Франкфурте как приятный пациент, хвалил лечение как «образцовое» и заверял, что врачебной коллегии здесь «невозможно выразить достаточного уважения». Однако когда его заподозрили в том, что он помог одному из обитателей клиники сбежать, он накричал на директора и попал в закрытое отделение. После этого он сравнил свой случай с делом Дрейфуса[25], «где неполноценная, жестокая, преисполненная завистью и ненавистью шайка, прикрывшись идеями патриотизма, загоняет в глубочайшую пропасть честного и честолюбивого еврейского офицера» (см. примеч. 42).

Нередко можно видеть, как нервы в фантазии пациента обретают мобильность и начинают жить собственной жизнью. В 1913 и 1920 годах во Франкфуртской нервной клинике лечился рабочий, 1885 года рождения, утверждавший, что свою «нервозность» он получил «у Круппа»[26]. Порой он слышал голоса и был уверен, «что голоса — это нервозность». Один булочник, 1878 года рождения, в период с 1911 по 1914 год 4 раза попадавший в клинику, говорил, «будто на него навели порчу, из него вытягивают нервы», с женой они обвиняли друг друга в больных нервах (см. примеч. 43).

[25] Дело Дрейфуса — судебный процесс 1894 года во Франции против офицера Альфреда Дрейфуса, еврея из Эльзаса, которого по фальшивым документам обвинили в шпионаже в пользу Германии и на волне антисемитских настроений приговорили к пожизненной ссылке. Последовал острый социальный конфликт и раскол общества, в поддержку Дрейфуса выступили видные культурные деятели, такие как Золя, Пруст, Клод Мане, Жюль Верн, Ролан, Толстой, Чехов. Дрейфус был оправдан в 1906 году.

[26] Крупп — одна из крупнейших немецких промышленных династий, занимавшаяся сталелитейным и военным производством.

Между страхами невротиков и популярными в литературе «страшилками» разворачивалась спираль эскалации. Иные справочники распространяли чудовищные ужасы, шла ли речь о любви, учебе, еде или купании. Невротику приходилось все время опасаться сделать что-то не так, даже если речь шла всего лишь о том, чтобы позволить себе чуть больше тепла или холода, переборщить с питьем или переперчить еду. Один священник, пациент в Кройцлингене, отличался сверхтревожностью в еде и питье: «не рискуйте есть фрукты или выпить бутылку пива без позволения врача». Когда к Кнейпу в Вёрисхофен прибыл индийский магараджа с 30 слугами и буддийским врачом, Баумгартена потрясло, какие количества карри переносит желудок индуса (см. примеч. 44). Он объяснял такое чудо индийским климатом и природными свойствами индусов.

Многие врачи, без сомнений, неплохо зарабатывали на страхах невротиков. Крепелин превратил свою психиатрическую клинику в Тарту из дотационного предприятия в рентабельное — за счет того, что принимал к себе не только психически больных, но и платных пациентов «из-за разнообразных жалоб на нервы». Фридрих Бодельшвинг[27] в 1886 году по финансовым соображениям учредил в Бетеле заведение Эйххоф для состоятельных людей, страдающих нервными расстройствами, он называл его «благородный приют для баловней». Как позже вспоминал Фрейд начало своей практики, в 1880-е годы «в городской практике частного врача» ничтожное число нервнобольных с органическими нарушениями тонуло «в огромной массе невротиков, которая росла еще и потому, что эти люди безостановочно бегали от одного врача к другому» (см. примеч. 45). Однако делать из этого вывод, что неврастения лишь фантом, что ее изобрели медики для собственной выгоды, — значит грешить против истины. Слишком часто невротики приходили к докторам без всякого приглашения, навязывались, своевольничали и упрямились. Мнения врачей о невротиках как о пациентах расходились до полной противоположности. Мёбиус настаивал на том, что «нервнобольных» далеко не всегда можно представлять себе как «молодых истеричных женщин»: большинство из них имели «ярко выраженную потребность в мире и покое и мало склонности заботиться о ближнем». Не слишком дружелюбно эгоцентризм неврастеников описывает Отто Бинсвангер:

[27] Бодельшвинг Фридрих-ст. (1831–1910) — немецкий пастор и теолог, известный своей благотворительной деятельностью и основанием ряда известных заведений, среди них колония для эпилептиков Бетель (Вефиль), дом диаконисс Сарепту, дом диаконов Назарет, трудовая колония Вильгельмсдорф. Одним из первых применял методы трудовой терапии для реабилитации психически больных. Дело было продолжено сыном Фридрихом Бодельшвингом-мл. (1877–1946).

> «В отелях неврастеники — кошмар для хозяина и официанта, в лечебницах они настоящее испытание для долготерпения и твердости врачей и персонала. Вечно всем недовольны, в пренебрежительной и оскорбительной манере критикуют любое врачебное предписание и действие, ругают организацию хозяйства, деятельность персонала и т.д. Таким образом они подрывают репутацию врача среди больных, устраивают настоящие заговоры против авторитета врача и всего заведения и в конце концов доводят до очень неприятных инцидентов, когда врач вынужден указать на дверь строптивому пациенту, который после этого продолжит свое паломничество по водолечебницам и другим клиникам, сея повсюду беспокойство и смуту» (см. примеч. 46).

Типаж мучителя и зануды, очевидно, касается того верхнего слоя общества, представители которого были частыми гостями отелей и курортов и привыкли командовать врачами и персоналом. Однако неприятности исходили не только от таких пациентов. В диссертации, написанной в 1911 году в неврологическом отделении психиатрической клиники Отто Бинсвангера в Йене, отдельно упоминались учителя, прежде всего народных школ. Это была неблагодарная популяция пациентов, вечно знающих все лучше всех.

Об упрямстве неврастеников свидетельствуют и многие истории болезни. Один берлинский врач писал в 1909 году, что невротик «более любого другого пациента» испытывает потребность «проникнуть в суть своей болезни».

Один из пациентов Бельвю — текстильный фабрикант, председатель вегетарианского кружка и поклонник натуропатии — требовал «теоретического объяснения каждой процедуры». Еще один пример типичного неврастеника, неудобного и в то же время прибыльного пациента, — юрист из Вены, композитор-любитель, с 1900 года неоднократно лечившийся в Бельвю. До этого он проходил в Вене курс фрейдовского психоанализа, но, как записано в его документах в Кройцлингене, за «пробуждением воспоминаний» следовал «полный упадок сил». «С того времени ни один курорт, Мюнхен, Карлсбад, грязевые ванны, снова Мюнхен, Висбаден» не помогает, от вод и лечебной грязи пользы ничуть не больше, чем от внушения и психоанализа. Неудивительно, что медицинские познания таких пациентов приносили медикам проблемы: «В общении с врачами и благодаря чтению пациент приобрел обширные познания в неврастенологии (sic!), и охотно ими делится. На любое утверждение лечащего врача он цитирует какую-либо авторитетную личность, утверждающую ровно обратное». Он разъярен «неслыханным невежеством» лечащего врача. «Единственное действенное средство — курс опиума. В нем он мне отказал. Зато дал мне прочесть политиче-

ский труд Трейчке: невыносимая книга». Расставаясь с Кройцлингеном, юрист вновь дает волю своему раздражению: «Ей Богу, было бы намного разумнее провести лето в Париже или Лондоне, вместо того чтобы принимать теплые ванны в Бельвю» (см. примеч. 47). В этом он, быть может, и был прав — но что же влекло его снова и снова в Кройцлинген?

К некоторым неврастеникам медики испытывали уважение. В историях болезней еще яснее, чем в учебниках, видно, насколько часто врачи следовали пожеланиям своих пациентов. Как шутливо рекомендовал Генрих Гофман, автор «Штрувельпетера» и директор психиатрической клиники во Франкфурте, в своей пародии «Купальня Зальцлох» (1860): «Любителю пить — дайте пить, кто-то любит купаться — пусть себе купается, любит человек ничего не делать — дайте ему ничего не делать. Предоставьте больного собственной воле, это всегда можно обставить так, как будто все основано на авторитете врача, и обеим сторонам будет хорошо». Так и Отто Бинсвангер прямым текстом говорил своим студентам: «Армии нервных горожан, которые ежегодно используют свои летние каникулы для путешествий и уже хорошо знают, как влияют климатические лечебные курсы на состояние их нервов, несложно дать врачебный совет. Нужно следовать общему принципу — отправлять пациента туда, где он уже когда-то нашел для себя отдых и источник укрепления сил» (см. примеч. 48).

Таким образом слабонервность помогала исполнять желания. При всей разорванности самовосприятия нервозность обладала не только неприятными сторонами, иначе такое количество людей не стало бы причислять себя к невротикам. Свести разнообразнейшие жалобы к единому понятию нервозности означало для человека ощутить единую суть в многообразии жизненных проявлений и приобрести чувство собственной целостности. На этом чувстве, пусть даже негативном, можно было обосновывать претензии и выдвигать требования. И далее — чем более нервозность становилась знамением времени, тем крепче была связь между личным и коллективным опытом ее переживания.

Испытывая сердцебиение, головокружение и бессилие, человек попадал в мейнстрим. Повседневные жалобы обретали, таким образом, более значимый смысл. Еще важнее следующее: став связным и доступным для терапии явлением, нервозность давала надежду на то, что можно быстро вылечиться от целого спектра ощущений, мешающих счастью. Если исходить из того, что человек сознательно или бессознательно стремится к счастью, то привлекательность понятия нервозности обретает логический смысл.

ЛЕЧЕНИЕ НЕРВОВ КАК УТОПИЯ И КАК ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕТЬ: НЕРВОЗНОСТЬ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ

Когда Карл Пельман (1838–1916), старейшина рейнской психиатрии[28], в ноябре 1900 года на выступлении Нижнерейнской ассоциации охраны общественного здоровья призвал к учреждению государственных народных нервных клиник, он сослался на то, что в Германской империи уже действует 500 частных заведений подобного рода. Они покрыли собой «каждую живописную точку нашего Отечества» и из года в год «забиты больными». Это не удивительно — ведь «кто же сегодня не неврастеник»? (См. примеч. 49.)

Рост числа лечебниц стал материальным и организационным субстратом для дискурса нервов. Теперь этот дискурс развивался уже не в вакууме, но легитимировал учреждение организаций и вложение денег — или же критиковал эти процессы. Для состоятельных и обладающих досугом пациентов множество расположенных в прекрасных местах неврологических клиник было шансом превратить свою нервозность в форму жизни — богатую путешествиями, пребыванием на курортах и экспериментами на собственном теле и духе, дававших неисчерпаемый материал для бесед с товарищами по несчастью. Возникали сетевые коммуникативные структуры, где невротики получали рекомендации от врачей и друг от друга и где «нервозность» сгущалась до массового феномена.

Бум неврологических санаториев, каким бы он ни казался актуальным и естественным, в свете учения о неврастении вызывает вопросы. Это учение не представило целостной картины заболевания, которая предлагала бы подходящий объект для поддающихся стандартизации методов. Скорее наоборот, почти все авторы сходились во мнении, что неврастения охватывала широкий спектр индивидуальных вариаций и требовала индивидуального консультирования, которое куда больше подошло бы семейному доктору, знающему и наблюдающему больного многие годы. Поэтому даже доктор — сотрудник клиники, писал, что «клиника» теряет «характер собственно нервной лечебницы, если превышает определенный размер». Карл Хилти[29] предупреждал, что «так называемые заведения для нервнобольных», где неврастеники постоянно пребывают

[28] Пельман активно выступал за административную реформу психиатрии как социального института, гуманизацию психиатрических методов и установление партнерских отношений между пациентом и врачом.

[29] Хилти Карл (1833–1909) — швейцарский специалист по государственному праву и теолог-любитель, редкий образчик гармоничного сочетания христианства и либерального мышления.

в среде себе подобных и к тому же часто получают лечение «возбуждающими методами», подчас «скорее вредны, чем полезны». Один русский студент, 24 лет, в 1904 году отправился в Арвайлер как неврастеник, но, приехав туда, окончательно потерял самообладание, что тамошний врач, учитывая обстоятельства, счел «естественным» (см. примеч. 50).

Прообразом неврологических клиник, без всякого сомнения, хотя об этом и не любили говорить, были частные психиатрические приюты для состоятельных пациентов. Такой путь прошли и Бельвю Бинсвангера, и клиника Эренвалля. Тип заведений за пределами города сформировался в поисках места, где разместить душевнобольных. Принцип изоляции был заимствован из опыта обращения с чумой. В XIX веке нашлось еще одно обоснование — терапевтическая ценность покоя. «Людей обуяла идея содействовать душевному исцелению с помощью сельской тишины и уединения», — иронизировал Альфред Хохе[30]. Изоляция действовала не только на пациентов, но и на врачей, воспитывая в них черты чудака-одиночки и изгоя (см. примеч. 51). На рубеже веков в неврологических клиниках на неврастениках опробовали некоторые методы терапии, оказавшиеся бесполезными для душевнобольных.

Буму неврологических санаториев предшествовал бум строительства психиатрических больниц. Не менее важную роль сыграла и волна учреждения легочных клиник. Конец XIX века вообще был отмечен массовым учреждением разного рода лечебниц. Один из сторонников этого явления, санитарный советник Перетти из Графенберга, в 1904 году объявил:

> «Мы живем в эру лечебниц. Вряд ли найдется какое-либо не острое заболевание, для которого не предложили бы клинику. Под животворным золотым дождем пышнее всех расцвели легочные лечебницы, и уже есть опасения, что они зарастут сорняками, вместо того чтобы приносить желаемые плоды. Уже подумывают о том, чтобы использовать лечебницы отчасти и для неизлечимых больных, поскольку больные с излечимыми формами туберкулеза не могут их заполнить. Поступали даже сообщения о том, чтобы место в легочной лечебнице наследовали неимущие нервнобольные» (см. примеч. 52).

Перетти дает понять, что учреждение лечебниц для легочных больных развило собственную динамику, уже не связанную с непосредственной потребностью. Бум легочных санаториев в конце XIX века кажется не менее странным, чем конъюнктура неврологических клиник, ведь если туберкулез имел бактериальную природу, то лечение солнцем и воздухом, соб-

[30] Хохе Альфред (1865–1943) — немецкий психиатр и невролог, выступавший с критикой в адрес Крепелина и Фрейда, а также как соавтор печально известного труда «Санкция на уничтожение жизни, недостойной быть прожитой» (1920) (см. на с. 95).

ственно, особенного смысла не имело. Волна учреждения неврологических, легочных и психиатрических клиник объясняется в первую очередь не требованиями медицины, а потребностями общества. Обществу было важно, чтобы в этих сферах происходило что-то ощутимое и достойное, тем более что в этом вопросе сложился широкий политический консенсус.

Многие сторонники нервных клиник воспринимали легочные санатории в качестве соперников. Председатель социал-демократической партии Август Бебель в 1899 году выступил, напротив, за легочные клиники и против нервных. Хотя в своей популярной работе «Женщина и социализм» он называет нервозность «бичом нашей эпохи», однако лечить это недомогание советует не с помощью врача, а с помощью социализма. «Народные неврологические клиники» он в то время не считал по-настоящему народными. С легочными санаториями, однако, все было иначе. Выступая в рейхстаге против предложений по флоту от 1899 года, он противопоставил им гигантский проект: «Возьмите 600 тысяч бедных туберкулезных больных, постройте для них две тысячи заведений [...] и вы сделаете для культуры и счастья людей бесконечно больше, чем всеми вашими предложениями по флоту». К прямой атаке на флот он добавил и боковой удар на «врачевателей душ» (как раз тогда учреждение лечебницы «Дом Шёнов»[31] сделало нервные лечебницы своего рода делом большой политики): «Для врачевателей душ денег у вас полно, а для врачевателей тел нет ни гроша». Это было сильным преувеличением и показывает, что для Бебеля бум неврологических клиник был не более чем модой для богатых (см. примеч. 53).

Когда нервы императрицы Августы Виктории осенью 1900 года пришли в «скверное состояние», Вильгельм II испугался, что ему придется «увидеть, как бедная императрица окончит свои дни в клинике, где лечат холодной водой». Видимо, такое заведение было для кайзера привычным ответом на нервный кризис. Немало заведений из тех, что предлагались публике как «лечебницы для нервнобольных», вышли из водолечебниц. С точки зрения Альберта Молля[32], «нервная клиника» и

[31] Основанная в 1899 году в Целендорфе близ Берлина частная клиника «Дом Шёнов» (Haus Schönow) входила в состав частной народной клиники Швайцерхоф — первой народной психиатрической лечебницы для неимущих, учрежденной на благотворительные средства, и служила еще одним примером лечебницы как семейного предприятия: основал ее психиатр Генрих Лэр, руководил ею его сын — психиатр Ганс Лэр, а с 1899 года отделением «Дом Шёнов» — другой сын, психиатр Макс Лэр.

[32] Молль Альберт (1862–1939) — немецкий психиатр, сексолог, исследователь гомосексуальности, одним из первых применял в исследованиях гипноз. Входит в число основателей современной сексологии.

«клиника, где лечат холодной водой», — это почти одно и то же, разве что водолечебница имела резервуары для воды. Он смотрел на связь между нервами и водой скорее скептически и говорил, что знавал дам, которые, только попав в такие заведения, становились подлинными ипохондриками или даже морфинистками (см. примеч. 54).

«Ни одна картина болезни не встречается руководителю водолечебницы чаще и в более разнообразных формах, чем картина неврастении», — заверял в 1891 году руководитель висбаденской лечебницы термальных вод Нероталь, ставшей впоследствии санаторием для нервнобольных. Не случайно Ф.К. Мюллер, автор «Справочника по неврастении» (1893), был ведущим врачом водолечебницы. Как раз перед этим он написал учебник по гидротерапии, в котором изложил, что специалист по водолечению очень часто сталкивается с неврастениками. С одной стороны, врачи нуждались в таких медицинских показаниях, при которых водолечение не выглядело бы смехотворным в свете современной науки. С другой — неврастеники сами устремлялись в водолечебницы (см. примеч. 55).

Эдвард Шортер полагает, что волна учреждения нервных клиник объясняется не растущим спросом, а стратегией самих заведений, в первую очередь — водолечебниц. Они оказались в кризисе, поскольку традиционное доверие к целебной силе воды ослабло и поиски новых симптомов и нового дизайна привели к мысли поискать новых пациентов среди нервнобольных. Цитата из Мюллера не дурно подходит под эту теорию. Действительно, многие водолечебницы в конце XIX века превратились или в природные курорты, или в лечебницы для нервнобольных. Между «природой» и «нервами» обнаружилась интимная связь. Однако серьезность кризиса гидротерапии в конце XIX века еще не так очевидна, а неврастения явно не была изобретением гидротерапевтов. Если раздражительную слабонервность серьезно воспринимать как болезнь, то традиционное «плескание в воде» обладало весьма сомнительной ценностью. Врач из богемского Теплице в 1866 году жаловался, что «очень часто» в водолечебницах в отношении неврастеников «нещадно грешили», применяя к столь чувствительным больным «весь тяжелый арсенал» лечения холодной водой (см. примеч. 56).

В цитадели невротиков эволюционировали также многие водные курорты, которые при всей подчеркнутой традиционности и древности своих методов лечения в эру железных дорог и крупных отелей разрослись до невиданных прежде масштабов и активно искали новых пациентов и новые болезни. Серьезные проповедники лечения воздухом и водой с их склонностью к аскетизму видели в самых знаменитых курортах

недобросовестных конкурентов, поскольку эти центры имели вполне заслуженную репутацию, что своей привлекательностью они обязаны вовсе не водам, а казино и варьете. В то время как в учении о нервах «Венера и Бахус», так и волнение и риск, обычно подавались в качестве патогенных факторов, тайная философия крупных курортов была обратной и строилась на обаянии возбуждения.

Если искать тайны истории в материальном интересе, можно заподозрить, что бум неврастении — заслуга курортов. Бросается в глаза, что в Германии на рубеже веков феноменальным образом расцвели как неврастения, так и всевозможные «воды», что сулило им взаимную выгоду. Но как часто бывает, простые причинно-следственные связи при ближайшем рассмотрении вызывают сомнения. Даже главный врач расположенного в Таунусе курорта Шлангенбад, который со своим «лесным покоем» пользовался «репутацией замечательно спокойного и умиротворяющего курорта», в своих ежегодных «бальнеологических сообщениях» лишь мимолетно использует новое показание «неврастения». После некоторого промедления, в 1893–1894 годах, курортный врач называет Шлангенбад идеальным приютом для неврастеников. Однако уже в 1897 году он замечает, что «показания для пребывания в Шлангенбаде» изменились, «поскольку теперь меньше встречается тяжелых неврозов, ведь такими пациентами заполнены сейчас лечебницы для нервнобольных и специальные клиники». То есть в конце XIX — начале XX века неврологические клиники отделяются от известных водных курортов и составляют конкуренцию даже «водам для нервных» в Таунусе (см. примеч. 57). Как только к неврастении стали относиться серьезно и увидели в ней новое заболевание, терапевтическая ценность многих «вод» и водолечебниц стала вызывать сомнения. Собственно, курс лечения водой проистекал из старой, родом еще из XVIII века теории, понимавшей слабонервность как вялость, а не как раздражительность, и многие методы с применением воды все еще следовали старой идее раздражения ослабленных нервных волокон. Крафт-Эбинг сообщает, что видел «бесконечно много дурного» в водолечебницах, где не вдавались в своеобразную природу неврастеника. Самое скверное — слишком горячие термальные ванны, в которых «неврастения, а именно наиболее тяжелые ее формы, просто взращивается». Уже Бисмарк полагал, что его государственный министр Бернгард фон Бюлов, отец будущего рейхсканцлера, умер от курса лечения в Бадгаштайне (1879), поскольку тот не годился для его «перетруженных нервов». Гаштайнские воды были особенно горячими и радиоактивными. Фридрих фон Гольштейн, будущий «серый кардинал» Министерства иностранных дел, в 1869 году в Хом-

бурге говорил, что «вода» действует ему на нервы. Множество историй неврастеников вошли в длинный ряд бальнеологических «страшилок», уже сотню лет образующих теневую сторону истории водолечения (см. примеч. 58).

Около 1895 года инициативы по учреждению государственных неврологических клиник «с удивительной скоростью» объединились в массовое движение. Ключевую роль в этом процессе сыграл Пауль Мёбиус, которому удалось «своим настойчивым призывом пробудить значительное число громких голосов и соединить их в хор, который нельзя было не услышать». Чтобы подчеркнуть общественный интерес, он сослался на образцовых госслужащих: «Представим себе, что какой-либо учитель или чиновник перетрудился на ниве общего блага. Если ему повезет, то он сделается душевнобольным (sic!), и тогда о нем позаботятся, его поместят в прекрасное заведение, построенное за миллионы. Но если он попадет в категорию нервнобольных, у которых хворает ум, но не дух, то увидите, где он окажется». На технические возможности лечебниц Мёбиус не ссылался: для его психического миропонимания технизированная терапия нервных заболеваний была сущим кошмаром. Всевозможными ваннами и обертываниями, электричеством и массажем — всем тем, чем заполняли время на курортах, — у невротика только и развивали чувство, «что он по-настоящему болен и не способен к деятельности». Мёбиусу виделось совсем другое — связь между медитативным покоем и раздумчивым физическим трудом в сельских поселениях-колониях. В одном из своих предложений для расположенной в Швейцарии колонии Фридау (1903) он создал проект идиллического феодального мира, где лечебница становится социальной утопией:

> «За образец возьмем крупное поместье — такое, что являет собой отдельный маленький мир и само обеспечивает значительную часть своих потребностей. Как в таком поместье господский дом образует центральный пункт, так и здесь лечебница образует центр. [...] Как там деревня примыкает к господскому дому, так и здесь маленькие сельские дома должны окружать лечебницу как места проживания выздоравливающих больных, гостей курорта, которые, собственно, не являются больными, и вступивших в колонию здоровых людей».

По Мёбиусу, колония должна «в известной степени стать преображенной версией сельской жизни». Исполненный презрения к обычному тогда курортному стилю, Мёбиус рисует скорее монастырский идеал: чисто мужское общество, сообщество спокойных индивидуалистов, без секса, без алкоголя, с трудом в качестве главного средства разнообразия. С отвращением он ссылается на заведения, в которых «перед каждым

гостем в обед и вечером стоит бутылка вина». Этими словами Мёбиус мгновенно заслужил аплодисменты Огюста Фореля, заверявшего, что «постоянно борется с так называемыми заведениями для невротиков, которые являются ничем иным, как дорогими отелями для пьяниц». Мёбиус, чьи семейные корни восходили к Мартину Лютеру, совершенно открыто признавал, что именно «мысль о монастырях» была его путеводной нитью. «Действительно, если вообразить себе идею монастыря, то замечаешь, что он представляет собой идеальную лечебницу для нервнобольных». Бедность освобождает от всех забот, связанных с имуществом, послушание снимает «любую ответственность» и «в том же смысле благотворно» воздействует «целомудрие» — «поскольку исключаются все возбудители, затухает и влечение». Без сексуального воздержания «никогда и ни в коем случае не получится» обеспечить невротикам «настоящий покой». В этом пункте Мёбиус был анти-Фрейдом, даже если был вовсе не чужд фрейдовского мнения, что корни неврозов кроются в либидо. Монастырский идеал многократно встречается в идеях по лечению неврозов (см. примеч. 59).

Если считать, что вера, брак и семья — это источник жизненной силы, центральное ядро буржуазной идеологии, то удивляет, как сильно в иных речах сторонников нервных клиник прорывается враждебность к семье. Женщина уже не выступает полюсом покоя в жизненных бурях. Брату одного из пациентов Арвайлера, 25-летнего торговца из Рурского региона, ведущий врач Эренвалль заявляет открытым текстом:

> «Больше всего ему [пациенту] хотелось бы быть свободным и холостым; брак подавляет его, он хотел бы освободиться от его оков. [...] Поэтому во что бы то ни стало необходимо пощадить Вашего господина брата, насколько это вообще возможно, от переписки, и прежде всего не являться к нему с семейными сплетнями (sic!) и тому подобным. До чего довели Вашего господина брата различные семейные разногласия, вы даже представить себе не можете» (см. примеч. 60).

Прорывом в массовом движении нервных клиник считается открытие «Дома Шёнов» в Целендорфе под Берлином. Идейным толчком здесь послужил труд Мёбиуса о нервных клиниках, написанный в 1896 году. В 1897 году берлинский банкир Берль пожертвовал на учреждение заведения капитальный взнос в 100 тысяч рейхсмарок. В 1898 году было основано «Общество клиники для нервнобольных “Дом Шёнов”», и уже в конце 1899 года заведение было торжественно открыто — такой темп был примечательным даже в условиях тогдашнего Берлина (см. примеч. 61).

Реклама для привлечения инвестиций сделала нервные клиники открытой темой. Появились первые протесты, сомнения в пользе по-

добной филантропии. В 1898 году из-за «Дома Шёнов» в газете «Die Zukunft»[33] завязалась очень серьезная дискуссия, впервые показавшая, какие ответные реакции способен вызвать рост культуры нервозности. Берлинский невролог Альберт Эйленбург, один из главных представителей медицинской гильдии в борьбе с больничными кассами, высказал резкую неприязнь к нервным клиникам, хотя в свое время их защищал. Теперь в его голосе появились тревожные нотки, и внезапно зазвучали совершенно непривычные для дискурса нервов слова:

> «Вместо непомерной симпатии, которую мы выказываем обременительному переизбытку живущих, но не нужных для жизни "неполноценных" и "нервозных", вместо раздутых и сверхтревожных усилий лечить всех этих людей за счет государства или общества, желания осчастливить всех и каждого в различных заведениях, давайте лучше обратим взгляд в будущее и попытаемся выступить против роста и развития обстоятельств, угрожающих надолго подорвать тяжелыми хроническими болезнями силу нашего народа, применив мощные средства и меры, пусть даже нежеланные и непопулярные».

Удивительно, как тот самый Эйленбург, который несколькими годами позже, в 1905 году в одном из номеров «Gartenlaube»[34] при слове «нервозность» впадает в услужливый тон и беспокоится о том, что для «обессиленных неврастеников» не благотворна «атмосфера иных мест на Ривьере», в «Die Zukunft» отстаивает идеи жесткого социал-дарвинизма. Может быть, он хотел привлечь внимание к только набиравшей популярность газете. Вскоре он же опубликовал на ее колонках рассказы о маркизе де Саде и Леопольде фон Захер-Мазохе (см. примеч. 62). Но надо отдать должное «Die Zukunft» — в том же году Мёбиусу была предоставлена возможность ответить, и споры продолжились.

На торжественном открытии «Дома Шёнов» 3 декабря 1899 года выступил бранденбургский оберпрезидент Теобальд фон Бетман-Гольвег, будущий рейхсканцлер. Он сообщил, что в учреждении заведения принимал участие сам кайзер, — с приходом нового века отношение к неврологическим клиникам стало в высшей степени серьезным. Первое время заведение могло принимать до 80 пациентов, среднее время пребывания

[33] Будущее (*нем.*). Выходила с 1872 по 1931 год как «Еженедельник о литературе, искусстве и жизни общества» (подзаголовок). Послужила ареной скандала вокруг гомосексуальных кругов в кайзеровском окружении (об этом см. далее).

[34] Садовая беседка (*нем.*). Одно из популярнейших печатных изданий эпохи модерна, выходившее с перерывами с 1853 до 1982 года. Предтеча нового жанра иллюстрированного журнала для семейного чтения — так называемый семейный листок. Например, в Петербурге с 1859 по 1862 год выходил «Иллюстрированный семейный листок» (1862–1863 — «Иллюстрированный листок», затем «Иллюстрированная газета»).

которых составляло около двух месяцев. В составе больных 1-е место занимали неврастеники. Затем заведение расширилось, в 1903 году одних неврастеников было уже 210 человек. «Бесплатных коек» было немного, тарифы ориентировались на предварительно рассчитанную себестоимость. В 1901 году 60% пациентов оплачивали свое пребывание сами, за 30% платили больничные кассы. Большинство составляли выходцы из среднего сословия. Но были и неврастеники из рабочего класса, именно здесь они впервые появились как ограниченная группа, доступная для медицинской статистики. Это включило в нервный дискурс новый элемент (см. примеч. 63).

Следующим учреждением имперского значения была лечебница Раземюле под Гёттингеном, торжественно открытая 29 сентября 1903 года и рассчитанная на 75 пациентов. И здесь весь процесс — от первой инициативы до открытия клиники — прошел быстро и беспрепятственно, акция была подхвачена и осуществлена на волне единого активного настроя. Основным двигателем здесь выступил психиатр из Гёттингена Август Крамер — человек, который, по словам одного биографа, «обладал исключительной силой убеждения и умел для исполнения своих планов пустить в ход все возможные службы без исключения». Правительство Ганновера он убедил в том, что возможности источников Раземюле еще далеко не исчерпаны функционирующими заведениями, и что неврологический санаторий станет самым прибыльным делом. В зажигательной речи перед парламентом Ганновера он объяснил, что лечебница совершенно необходима как превентивная мера для содержания неизлечимых психически больных, и что если ее не будет, то такие больные тяжким грузом лягут на плечи общества (см. примеч. 64).

Крупнейшей нервной клиникой кайзеровской Германии, не ориентированной на получение прибыли, стал Родербиркен близ Золингена, на окраине Бергского текстильного и металлургического региона. Это величественное заведение торжественно открылось в 1906 году и было рассчитано на 145 пациентов. Первая инициатива исходила из Бергского благотворительного общества, затем ход событий определяло тесно связанное с ним Земельное страховое общество (LVA) Рейнланда. Сходным образом учреждалось и расположенное неподалеку заведение для легочных больных Ронсдорф: просматривается связь различных инициатив по учреждению лечебниц и более глубокая подоплека гигиенического движения, которое в Рейнской области развернуло особенно активную деятельность. Заметен также немалый вклад государственных страховых учреждений. В остальном Родербиркен интересен высокой долей сотрудников из нижних слоев общества и тем, что это заведение, вопреки

исходному плану народных нервных клиник, исходно предназначалось только для женщин. Лейтмотивом здесь было не столько содержание умалишенных, а как можно более дешевое и в то же время эффективное лечение выздоравливающих пациенток — в большинстве своем «нервозных» или «слабонервных». В неотложности и важности этой задачи сомнений не было. В 1903 году было основано спонсорское общество «Рейнское народное заведение для нервнобольных», куда вошли сливки рейнской экономической буржуазии, включая Круппа и Стиннеса. Даже из Йены от Цейса пришел взнос в размере 1000 марок. В Рейнской провинции неврологи и психиатры имели совместное общество, и оно также выступило в поддержку народной лечебницы. Немало психиатров чувствовали себя задавленными всей этой активностью, развитие неврологических клиник грозило сделать их существование еще более плачевным, отнимая у них более легких больных. Но в обществе подобные голоса отклика не находили. Уверенность в пользе и общем благе неврологических клиник господствовала тогда практически повсеместно.

Когда планы приобрели четкие контуры, LVA внесло взнос, который во времена учреждения Родербиркена покрывал 80% стоимости ухода за больными. Если спонсорское общество «изначально планировало учредить небольшое заведение в недорогих виллах или сельском поместье, своего рода опытную станцию», то LVA «имело в виду более крупное учреждение», которому надлежало стать образцовым и «соответствовать всем требованиям науки». Почему же именно страховая компания, взявшая на себя львиную долю расходов, настаивала на увеличении масштабов? Дело в том, что в то время страховая компания ожидала от неврологической лечебницы огромную выгоду, ведь ее клиенты дольше сохранят трудоспособность, и LVA, сэкономив на выплате пенсий и компенсаций, в 2 и в 3 раза окупит все вложенные в Родербиркен расходы. Однако по документам не видно, чтобы при учреждении народных нервных клиник действительно проводились бы серьезные калькуляции расходов и доходов. Если смотреть более трезвым взглядом, земельные страховые компании, как подчеркивал руководитель заведения Наунхоф под Лейпцигом, особого интереса в нервных клиниках не имели, «поскольку предназначенные по закону методы лечения нервнобольных, в том, что касалось возвращения таким больным трудоспособности, вызывали серьезные сомнения». Но в рейнско-бергском регионе *хотели* верить в пользу нервных клиник, и потому приводимые аргументы никто не критиковал.

По замыслу главной задачей народных нервных клиник должно было стать лечение «более или менее острой или приобретенной неврасте-

нии». Уже в первый год своего существования Родербиркен принял 479 пациенток с «функциональными» расстройствами, из них 286 — с «различными формами слабонервности». «Слабонервность» была самым частым диагнозом и 20 лет спустя. В 30-е годы частота ее стала снижаться, зато возросли жалобы на проблемы с желудком.

Для Мёбиуса нервная клиника носила ярко выраженный мужской характер. На рубеже веков, напротив, оживленно обсуждался вопрос о том, не нуждаются ли нервные женщины в заботе общества — быть может, даже более мужчин. Ссылались не только на природную слабость женщины, появился и новый аргумент — ее экономическая слабость: «в борьбе за существование женщины более уязвимы». Одна из самостоятельных тенденций в эволюции народных нервных клиник заключалась в преодолении их женоненавистнических истоков. С точки зрения LVA, в Рейнской земле более сильную в количественном отношении потребность демонстрировали пациенты женского пола, так что Родербиркен исходно предназначили исключительно для женщин, и лишь много позже, в 1912 году, была обустроена и отдельная лечебница для мужчин. Среди пациенток Родербиркена 1-е место с большим отрывом занимали работницы фабрик (ведь это был текстильный регион), за ними следовали горничные, портнихи и продавщицы. Подавляющее большинство обитательниц клиники составляли незамужние и профессионально работающие женщины до 40 лет (см. примеч. 65).

Эрнст Байер, первый главврач Родербиркена, предпочитал небольшие частные клиники и не скрывал свой скепсис относительно предоставленного в его распоряжение крупного комплекса, настроенного, скорее, на «массовое лечение» в стиле легочных санаториев. Уже разнообразные звуки и шумы столь крупного учреждения могут быть мучительны для невротиков. «Какой коллега не задавался вопросом, не предпочел бы больной лечиться на вершине Монблана или на необитаемом острове?»

На Висбаденском заседании Немецкого общества по охране общественного здоровья в 1908 году один берлинский врач отмечал, что нервные клиники «слишком роскошны, а их деятельность слишком расточительна». Он рассказывал о дешевых «воздушных кабинах», настолько популярных, что больных оттуда «не вытащишь». Получалось, что огромные величественные здания на самом деле не имеют с терапией нервнобольных ничего общего. Руководитель лечебницы Танненхоф под Ремшайдом в 1908 году отмечал, что Родербиркен «увы, совершенно не оправдал ожиданий». Бюджет Родербиркена демонстрировал глубокий дефицит: в 1913 году из совокупных затрат, составивших 563 300 марок, 381 246 марок были оплачены за счет дотаций LVA. Уже в 1907 году можно было видеть, как «после

очень резвого старта» учреждение нервных клиник затормозилось. Эпоха расцвета для народных нервных лечебниц так и не наступила, и когда в 1914 году разразилась Первая мировая война, время нервных санаториев уже оказалось в прошлом. В 1914 году из Родербиркена «уже в первые три дня августа были выписаны все пациенты мужского пола», а к середине августа опустело и женское отделение (см. примеч. 66).

Хотя народные клиники как дело общенародное больше бросались в глаза, они оставались единичным явлением на фоне огромного числа частных доходных санаториев. В обстановке этих заведений, вопреки квиетистским учениям о нервах, главным трендом стали модернизация и увлеченность новыми технологиями. В их рекламных текстах значительную роль играли преимущества водопровода и электрификации. То же относилось и к психиатрическим заведениям. Между длительными ваннами, которыми успокаивали пациентов в сумасшедших домах, и водопроводным комфортом нервных санаториев, призванным снять напряжение с больного, существовала подспудная взаимосвязь. Около 1900 года и то и другое стало возможно довести до такого совершенства, о каком прежде без новых технологий нельзя было и мечтать. В лечебницах комфорт повышался на широком общем фоне — в конце XIX века в городах началась великая эпоха канализации, электрификации и расцвета всевозможных гигиенических технологий. Лечебницы, претендовавшие на статус прогрессивных, старались не отставать от общих трендов. Эренвалль в одном из докладов 1898 года оправдывает рост своего заведения: «Общее развитие хозяйственной жизни, подстегиваемое техническим ускорением, повсюду стремится к замене мелкого ручного производства более крупным и более выгодным механическим». Он с гордостью сообщает, что его заведение опередило городок Арвайлер в вопросах канализации и электрификации. Тут надо упомянуть и некоторые отзывы. В 1912 году оппозиционное издание «Volksmund»[35] напечатало статью «Автомобилизм, психиатрия и защита прав невротиков» под псевдонимом *Medicus adeptus*, в которой упоминалась не только склонность Эренвалля к новой технике, но и его участие в процессах по лишению дееспособности: «Насколько мы знаем, аэроплан пока еще не закуплен, чтобы забирать невротиков в их смирительные клетки, но кто может предсказать, как еще практическая психиатрия будет приспосабливаться к чудесам современной техники! “Лишай дееспособности паром!” — давно уже стало лозунгом в Арвайлере». В то же время ревизионные отчеты окружного врача о заведении Эренвалля полны восторгов от технических новшеств (см. примеч. 67).

[35] Глас народа (*нем.*).

Если фанатичные натуропаты спорили между собой о том, что лучше — сидячие или лежачие ванны, холодный душ или теплая ванна, «воздушные ванны» или «плескание в воде», то крупные неврологические санатории, как правило, не придерживались конкретных теорий и предпочитали эклектику, предлагая богатейший ассортимент всевозможных терапевтических методик, основанных на самых разных философских концепциях. Новые технологии внесли свой вклад в этот ассортимент. Современный душ был уже не просто лейкой: его можно было сделать сильнее или слабее, настроить на различную температуру. Прогресс электротехники расширил экспериментальное поле электротерапии.

Около 1890 года в крупных немецких городах появились первые «медико-механические институты» с гимнастическими аппаратами Цандера. Вопрос о методе — ручном либо механическом — расколол лечебную гимнастику на два лагеря. Невротики служили для Института Цандера неиссякаемым источником постоянных клиентов: видна связь между нервозностью и страстью к новым технологиям. В 1900 году клиника Шарите при поддержке могущественного министериаль-директора Фридриха Альтхофа пополнилась Институтом гидротерапии, в который немедленно поступили пациенты. К нему были присоединены отделения механо- и электротерапии «с богатой аппаратурой». К ним же примкнула и основанная в 1906 году больница Вирхова с «несравненным», по словам французского журналиста Жюля Гюре, гидротерапевтическим отделением. «Природные» методы лечения сложились в Шарите в сложную и технически затратную систему, в которой особенно бросается в глаза специализация на различных частях тела:

> «Началось бегство в аппаратуру. Что прежде доверялось человеческой руке, осязанию, глазу, теперь передоверялось промышленности в иллюзорном представлении, что таким образом можно что-то облегчить или сделать более объективным. [...] Сначала были [...] пузыри со льдом и грелки, слишком грубое действие которых признали поздно и с ужасом. [...] Их сменили электрические термостаты, вольтовы дуги, все более сложные и дорогие душевые и ванные установки, [...] душевые катетеры, шланговые установки, горячего [...] и холодного воздействия на голову, сердце и область желудка, [...] Арцбергский зонд для прямой кишки; ванны с пузырьками воздуха и пенные ванны; душевые кабины с потоками горячего воздуха и паровые кабины, различные световые ванны в форме дорожек с обручами. Аппараты с потоками горячего воздуха для отдельных частей тела; электрические ванны с лампочками и рефлекторами и т.д., и т.д.» (см. примеч. 68).

Между строк историй болезней неврастеников конца XIX — начала XX века читается, сколь вредным могло быть то, что тогда считалось терапией, — до такой степени, что невольно задумываешься, не была ли

тогдашняя нервозность отчасти результатом самой этой терапии. Некоторые неврологи жаловались, что нескончаемое лечение нередко ухудшает неврастению.

Но технические — в большей мере, нежели терапевтические — достижения были не единственной новостью в применении воды. Тогда же общество открыло для себя прелесть купания в море и плавания на открытой воде. Любые водные курортные процедуры стали теперь казаться педантизмом и скукой. На рубеже веков в Немецком обществе народных вод шла оживленная дискуссия между сторонниками душевых кабин и бассейнов, в 1904 году инспектор по купанию из Эльберфельда подвел итог: «Народ сам решил, что идет ему на пользу, и вы с вашими душевыми кабинами ничего не сможете сделать. Народ требует бассейнов. Он хочет окрепнуть и сделать своих детей здоровыми, а для этого нужен бассейн, а не душевая кабина». С ним согласился коллега из Дрездена, высоко оценив «плавание и купание в проточной воде» в качестве «курса укрепления нервов» (см. примеч. 69). Нервный дискурс недолго следовал путем коммерчески успешной терапии, уже скоро он вырвался на волю.

Если связь учения о нервах с ростом числа лечебниц в ретроспективе вызывает смешанные чувства, то для того есть еще одна причина: растущий интерес к нервозности, пусть и не напрямую, пусть и в отдаленной перспективе, но способствовал изоляции неизлечимых душевнобольных. Среди врачей-неврологов было распространено мнение, что «нервнобольных нужно резко отделять от душевнобольных». В санаторном деле такое разделение требовалось сперва организовать. Отчасти это так и осталось на уровне замысла. Многие частные заведения из финансовых и практических соображений принимали у себя и легких, и более тяжелых больных, пусть и размещая последних в изолированных отделениях. В таком случае они приобретали странную двойственность: с одной стороны — курорт, с другой — больница для умалишенных, рай и ад. Рассортировать новоприбывших было не всегда просто; иногда правильнее было спустя какое-то время переводить пациента из одного отделения в другое. Когда в 1907 году Ганс Курелла[36] описывал состояние дел в Арвайлере, он счел «скандальным», что в открытом и практически не охраняемом отделении «больные с тяжелыми психическими расстройствами [...] постоянно составляли примерно треть всех пациентов»

[36] Курелла Ганс Георг (1858–1916) — немецкий психиатр, первый из немецких учеников Чезаре Ломброзо, чьи идеи о врожденных преступниках он активно пропагандировал, особенно в труде «Естественная история преступника», что, конечно, внесло лепту в популярность расистской идеологии. С 1905 года заведовал клиникой доктора фон Эренвалля.

(см. примеч. 70). Гигиенист социал-демократической закалки Гротьян, который акцентировал внимание на длительном содержании неизлечимых больных, в своих «Руководящих принципах», составленных им в 1908 году для нервных клиник, давал понять, что «неспособные к улучшению психопаты» содержатся недостаточно изолированно, лечебницы в этом смысле недостаточно последовательны, а их трудовая терапия — всего лишь «забава» и приносит слишком мало пользы экономическим интересам заведения (см. примеч. 71).

Психиатрические больницы в конце XIX века также пережили бум. Дирк Блазиус пишет, что крупные клиники создали «платформу», чтобы продемонстрировать «всемогущество бюрократии». Однако у немецких бюрократов того времени не видно стремления к тоталитарному контролю, а душевнобольные были не самым привлекательным объектом для власти. История учения о нервах предлагает другое решение. «Господа, кто из нас посмел бы твердо верить, что его никогда не нужно будет поместить в заведение для душевнобольных?» — задал риторический вопрос один из ораторов на заседании парламента Рейнской провинции в 1865 году. В XVIII и XIX веках почти везде господствовало мнение, что и здоровый человек вследствие треволнений и ударов судьбы может сойти с ума. Значительная часть тревог о нервах выросла из опасения, что нервозность — это первый шаг на пути к безумию. Мёбиус в одной из своих речей в поддержку нервных клиник объяснял, что из всех причин, по которым здоровые люди заботятся о больных, самая главная — «страх заболеть самому». И происходившее в то время объясняется самым непосредственным образом, если именно здесь увидеть главный мотив учреждения лечебниц, идет ли речь о безумцах или о невротиках.

Однако с приходом нового века точка зрения постепенно меняется, и окончательный перелом наступает после Первой мировой войны. Нервозность, поскольку она не была выражением дегенерации, стала считаться безобидной. Здоровый человек теперь был уверен в том, что при любой нервозности он неуязвим для безумия. Собственная нервозность помогала оправдать свое неприятие людей с тяжелыми нарушениями. Осознание подверженности нервным расстройствам, изначально порождавшее сочувствие к душевнобольным, стало мотивом для изгнания «психов» из поля зрения (см. примеч. 72).

НЕВРАСТЕНИЯ И ПОЛ

Каким было отношение к женщине в дискурсе нервов? Известнейший неврологический труд на итальянском языке, «Нервный век» Паоло

Мантегаццы[37] (1887), начинался с описания двух типичных невротиков мужского и женского пола. Оба образа карикатурны, их имена — Тито Нервозетти и Нервина Конвульси. Но если мужчина описан с юмором, то женщина — скорее злобно. Тито Нервозетти, высокопоставленный банковский служащий с чертами ипохондрика, подвержен маниакально-депрессивным сменам настроения, однако все же сохраняет работоспособность и каждый свой нервный трудодень заканчивает яичным пуншем и пребывает в отличном настроении. Ярко выраженная истеричка Нервина Конвульси, в отличие от Тито, — божеское наказание для окружающих. Уже до обеда она успевает 10 раз упасть в обморок, чтобы вскоре очнуться, и половину дня занята тем, что постоянно что-то ест и сразу же извергает съеденное обратно. В сегодняшних терминах — случай нервной булемии. Ни Тито, ни Нервина не похожи на то, что понималось под неврастениками в США и в германоязычном пространстве. Еще Бирд полагал, что романские католические народы не знакомы с неврастенией как массовым явлением, и Мантегацца, объявивший себя не только в высшей степени итальянцем (Italianissimo), но и невротичным ипохондриком, в итоге вынужден с ним согласиться (см. примеч. 73).

Своим отношением к женщине книга флорентинца резко отличается от аналогичных американских и немецких трудов. Невротичная американка Бирда столь же прилежна, сколь и привлекательна. Несколько менее благосклонно, по контрасту к американке, Бирд рисует портрет индианки. В общем и целом можно сказать, что чем ближе литература о нервах подходит к жанру фельетона, тем более она склонна к штампам и клише. Интересно сравнить с книгой Мантегаццы брошюру о «нервной женщине» берлинского «целителя душ» Альберта Молля, владельца респектабельной практики на Курфюрстендамм. Молль тоже пишет в несколько развязном тоне, привлекая читателя сомнительными остротами — например, описывая ипохондричную даму, жалеющую о том, что «нет еще пока специалиста по четвертому пальцу правой ноги». Однако вместе с тем он решительно выступает против клише а ля Мантегацца и настаивает на том, что типичными являются совсем иные формы женской нервозности:

> «Бытует мнение, что есть лишь *один* типаж нервной женщины — кокетливая, капризная, избалованная, которой целый день нечем заняться, кроме как раздражать мужа и домочадцев. [...] Такой типаж действительно существует, но он не самый частый. Есть тысячи нервных женщин, на которых реже обращают

[37] Мантегацца Паоло (1831–1910) — итальянский врач и гигиенист, пользовался также сомнительной славой как успешный автор эротических произведений, что подогрело интерес к нему также и в Германии.

внимание именно потому, что они не так назойливо попадают в поле зрения общественного внимания. [...] Они остаются в домашней тиши и терпеливо несут свои нервные расстройства, будь то мигрень или что-то иное, это лучшие жены и матери, каких только можно себе представить».

Молль вовсе не предлагает идеал домохозяйки и матери как лучшее средство против нервозности. Напротив, он критикует популярную манеру использовать нервозность как аргумент против женского образования: «Если у студенток и вправду нередко приходится наблюдать нервные или подобные им явления, то не думаю, что в этом виноваты занятия наукой» (см. примеч. 74).

Мантегацца воспевает женщин прошлого, которые — из правильно понятого эгоизма — оставались дома, не получали высшего образования и не курили: «воздержанность и невежество» этих женщин были «как свежие луга», где мужчина «отдыхал от всякой нервозности». Теодор Фонтане[38], досконально изучивший книгу Монтегаццы, на полях пишет: «Зато они были невероятно скучны и бранились еще больше и глупее теперешнего». Леопольд Лёвенфельд в 1894 году подчеркнул, что именно воспитание, нацеленное на то, чтобы сделать из девочки «желанный объект для женитьбы», готовит почву для «неврастении и истерии» (см. примеч. 75). В таком воспитании было заложено опасное противоречие — с одной стороны, девочку-подростка полностью фиксировали на отношениях с противоположным полом, а с другой — подавляли проявления сексуальности.

Альберт Эйленбург в той же статье, в которой он призывал «традиционную солнечную, зигфридовскую натуру» немцев противостоять нервозности эпохи, назвал «расширение прав женщин» отличным средством от женской нервозности. Не вполне свободно от стандартных клише эссе Эйленбурга о «нервной берлинке» (1910). Но если он пишет, что о «нервной супруге и хозяйке можно написать тома» и что «кухонное бешенство» как профессиональная болезнь давно уже вошло в анналы невропатологии, то понятно, что и для него неврастения — это не повод оставить женщину дома, у плиты. Женщинам, как и мужчинам, он рекомендует в качестве лекарства спорт. В принципе, на женские нервы распространяются те же законы, что и на мужские. На рубеже веков еще спорили о том, полезен ли женщинам велосипед, который в то время рекомендовали более крепким неврастеникам. Правда, уже в 1898 году

[38] Писатель-реалист Теодор Фонтане (1819–1898), некогда аптекарь, активно реципировал среди прочего и труды по психиатрии своего времени — тема болезни и общества, насильственных механизмов бюргерской культуры и человеческой натуры играют в его творчестве одну из важных ролей.

Молль заверял, что нельзя не признать «благотворное действие велосипеда на нервных женщин», даже если у некоторых этот новый вид спорта вызывает сексуальное возбуждение (см. примеч. 76).

Интерес к психическим расстройствам с точки зрения истории женщины обычно концентрируется на истерии — классическом психосоматическом женском недуге. Поэтому, как пишет Марк С. Микале, тема истерии испытала «исследовательский взрыв» и стала «безнадежно модной» (см. примеч. 77). Истерия позволяет подойти вплотную и к неврастении, так как в конце XIX века эти расстройства соседствовали друг с другом. Некоторые авторы писали на обе темы. Подобно «раздражительной слабости», истерия также часто проявлялась в загадочном сочетании бесчувственности и сверхчувствительности, так что некоторым авторам было нелегко провести черту между обеими болезнями.

Исторические рамки истерии несравнимо шире, они простираются до Гиппократа и Платона. Если судить по названию болезни, то локусом расстройства считалась матка[39]. Вопрос о том, оправданно это или нет — и если да, то в каком смысле, — вызывал споры еще в Античности и приводил к самым диким спекуляциям. В XIX веке стремление локализировать болезни вновь привлекло внимание к матке. В 1853 году Ромберг писал в контексте истерии о «предостерегающем зеркале истории», напоминая о быстротечности медицинских теорий (см. примеч. 78).

Казалось бы, истерию с ее тысячелетней историей невозможно увязать с цивилизацией Нового времени. И все же в 1890 году Макс Нордау верил в «чудовищный подъем истерии в наши дни», и многие были с ним согласны. К судорогам — исходному признаку истерии — в XIX веке добавились явления паралича. Если исходить из такой симптоматики, то в XIX веке и начале XX намечается заметная кривая роста и снижения, указывающая на историчность этой болезни. Эдвард Шортер полагает, что истерия приобрела свою драматическую театральность в эпоху, когда на общество можно было произвести впечатление только так и никак иначе; а затем, когда надобность в резкой демонстрации телесных функциональных расстройств исчезла, потому что авторитет в обществе приобрели чисто психические расстройства, она утратила свою драматичность. Однако карьера неврастении доказывает, что и во времена *grande hystérie* на общество можно было произвести впечатление менее яркими психосоматическими расстройствами. Если истерия и производила впечатление драматической постановки, то все же не была одним лишь театром (см. примеч. 79).

[39] Слово «истерия» происходит от греческого обозначения матки.

При изучении истерии связь с историей пола и историей женщины заметна сразу, хотя половая специфика истерии вызывала сомнения еще до XIX века. Столь же отчетливы женоненавистнические подтексты — настолько сильные, что и в начале XX века они болезненно задевали некоторых медиков. Учитывая близкое соседство неврастении с истерией, было бы логично предполагать интерес к неврастении в контексте истории пола. На первый взгляд его не видно, в литературе по нервозности и неврастении вопрос о «мужском» и «женском» характере неврастении серьезно не обсуждается. Если исходить только из этих трудов, то можно вообще забыть вопрос об отношении к полу. Хоть в них и содержится довольно пассажей о мужских и женских качествах, но они не являются центральным пунктом и не обладают теоретической широтой.

Чтобы пойти дальше, нужно сначала прояснить, как часто у женщин диагностировали неврастению. И если диагноз неврастении ставили пациентам обоих полов, то не пробивалась ли дискриминация в самой форме диагноза. Следует также изучить связь между неврастенией и истерией: была ли концепция первой сформулирована в четком отграничении от второй или границы между обеими болезнями оставались размытыми? И была ли неврастения «мужским» аналогом истерии, с помощью которого можно было уберечь мужчин от этого позорного диагноза? В заключение возникает вопрос, помогают ли феномены нервозности и неврастении пролить свет на гендерные отношения. Тогда история нервозности могла бы способствовать тому, чтобы из двух отдельных историй мужчины и женщины, где разорваны реальные связи, сложилась общая история отношений полов.

Кого было больше среди неврастеников — мужчин или женщин? Конечно, точный статистический учет здесь невозможен, это знали прежде, знают и сейчас. Но даже общее впечатление современников не было единым, литература демонстрирует примечательную неуверенность в вопросе, есть ли смысл подчеркивать половую специфику неврастении. Эта неуверенность начинается уже с Бирда. В его опусе о неврастении вперемешку представлены случаи неврастении у мужчин и у женщин, без явного акцента в ту или иную сторону. В книге «Американская нервозность» Бирд связывает столь восхваляемую им привлекательность американских девушек с их нервозностью. В ней он угадывает не одно лишь расстройство, но и проявление таланта, способность к быстрому темпу. «В голове американской девушки мысли едут на скором поезде, в голове ее европейской сестры — на пассажирском» (см. примеч. 80).

Эмиль Дюркгейм полагал, что «неврастенических женщин всегда больше, чем мужчин». Шведский врач Аксель Мунте по опыту своей парижской практики объявлял «судьбой специалиста по нервам» «быть

окруженным лейбгвардией нервных дам». Мёбиус, напротив, считал мнение о том, что «нервозность свойственна в основном женскому полу», распространенной ошибкой. В выборке из 300 пациентов-неврастеников, составленной в тюрингенской водолечебнице Эльгарсберг, было 68% мужчин. Среди пациентов Рудольфа фон Хёслина в его неврологической клинике в Мюнхене преобладали мужчины — 73% из 828 неврастеников. Отто Бинсвангер считал, что «у обоих полов» частота неврастении «примерно одинакова» и критиковал «дурную привычку» «сводить все функциональные нервные расстройства у женщин к удобному собирательному понятию истерии» (см. примеч. 81).

В 1911 году Отто Дорнблют подвел итог: если раньше «неврастению считали болезнью мужчин, а истерию — болезнью женщин», то в настоящее время о такой гендерной специфике «не может быть и речи». Среди «невротиков», лечившихся у Крепелина, было 65% мужчин, но его преемник, «патриарх психиатрии» Эйген Блейлер[40]объяснял это тем, что «женщине подобные аномалии меньше мешают в ее привычной деятельности, так что она реже посещает врача, или же ее объявляют истеричкой». Некоторые формы нервозности у женщин, в отличие от мужчин, практически не создают потребности в терапии. В частности, это относится к состояниям тревожности. Как пишет в 1903 году в «Die Zukunft» анонимный автор: «Мужчина, который чего-то боится, нам противен, испуганная женщина скорее привлекательна» (см. примеч. 82). Добропорядочная домохозяйка с услужливым нравом могла позволить себе и частые смены настроения, и сбивчивую речь, и суетливость, и многое другое без риска попасть в поле зрения невролога. Совсем иначе дело обстояло с работницами и горничными. Мы уже видели, что огромный неврологический санаторий Родербиркен был отведен именно для таких женщин, несмотря на то что идея нервных клиник исходно обладала маскулинным характером.

Большинство женщин в отличие от мужчин не могли предложить врачу драматических историй о переутомлении вследствие изнурительного и ответственного труда. Не было в их анамнезах и подробных повествований об онанизме, проблемах с потенцией и прочих жалоб, типичных для мужских историй. Женщины вели себя с врачами-мужчинами гораздо сдержаннее и не вдавались в интимные детали. Вероятно, есть еще одна причина, почему роль женщин в литературе по неврастении не особенно выразительна. Эта же причина отчасти объясняет подспудную

[40] Блейлер Эйген (Ойген Блойлер, 1857–1939) — швейцарский психиатр, предложивший заменить термин Крепелина «*dementia praecox*» на «шизофрению». Учение Блейлера о шизофрении разовьет его ученик Юнг.

пикантность этого литературного жанра. Труды по нервозности приобретают особую красочность и проникновенность благодаря личному опыту самих врачей, а в Германии участвовавшие в дискурсе врачи были сплошь мужчинами, без единого исключения.

С этой точки зрения надо признать, что «нервная» литература по крайней мере подспудно была дискриминационной по отношению к женщине. Правда, если вспомнить близость неврастении к истерии, стереотипы касательно «слабого пола», вспомнить, что дискурс нервов в Германии в начале 1880-х годов начинали такие медики, как Мёбиус и Арндт, имевшие не слишком высокое мнение о женщинах, то можно было бы ожидать куда более сильной дискриминации. «Нервный» дискурс имел собственные линии развития, и в контексте эпохи был далеко не антифеминистским. Скорее наоборот, его участники привлекли внимание к тому, что в реакциях на стресс и трудные ситуации особенной разницы между полами не наблюдается. Если у кого-то и были предрассудки в отношении женщин, то гендерная тематика как раз доказывает, что дискурс этот определялся опытом, исследованиями и наблюдениями, а не идеологией и предубеждениями.

Конечно, представление о слабых женских нервах никуда не исчезло, но оно выглядит скорее как реликт давней традиции. Нейрофизиология Нового времени не знала разницы в силе и слабости между мужскими и женскими нервами. Даже в быту женская слабонервность уже не была общим местом. В романе «Еще один» Фридриха Теодора Фишера женщина, в отличие от мужчины, справляется с «проказами вещей»: «Мой господин, у женщины есть время для борьбы с коварством предмета, она живет в этой борьбе, это ее стихия; мужчина же не может и не должен иметь на то времени». Когда Бисмарк жаловался, что губит свои нервы в придворной борьбе, то в первую очередь подразумевал свой вечный бой против влияния императрицы Августы — супруги Вильгельма II и кронпринцессы Виктории — это были сильные личности, и он их опасался. Карл Май в «психологическом исследовании» о своей первой жене описывает, как «болезненное возбуждение половой сферы» придает женщинам демоническую силу: то, что у мужчин ослабляет нервы, у женщин становится тайной силой. В 1908 году берлинский журнал «Frauen Rundschau» организовал опрос о «городских шумах и женских нервах». Одна женщина упрямо отвечала, что ей не мешают никакие городские шумы, потому что у нее «нет нервов» (см. примеч. 83).

Если медики предпочитали ставить женщинам диагноз «неврастения», то зачастую это открыто объяснялось намерением уберечь женщину от ярлыка истерички и отвечало пожеланиям их пациенток, для

которых диагноз «истерия» был оскорбителен. Некоторые неврологи и психиатры под влиянием теории неврастении меняли свою позицию. Крафт-Эбинг, который еще в 1878 году приписывал яичникам центральную роль в развитии у женщин истерии и безумия, в книге о нервозности 1900 года порицал склонность «называть истерией любой общий невроз, обнаруживаемый у женщины и имеющий элементы истеричности». В той же книге он признавался: «У меня сложилось впечатление, что неврастения у женщин встречается лишь на ничтожный процент реже, чем у мужчин». В связи с этим он замечает, что «трудовое переутомление и распутство», играющие важную роль при возникновении неврастении у мужчин, «у женщин почти компенсированы переутомлением в роли домохозяйки и матери». Так что — у женщин имелись также вполне достойные причины для неврастении (см. примеч. 84).

Если верить Тому Лютцу, то в Америке конца XIX — начала XX веков дискурс нервов, несмотря на Бирда, был в высшей степени дискриминационным в отношении пола: причины неврастении у мужчин и женщин описывались совершенно по-разному, и столь же разными были предлагаемые методы терапии — для женщин покой, а для мужчин путешествие верхом по Дикому Западу. Психиатр и невролог Жено Колларитс открыто признавал, что, учитывая важные различия между мужчинами и женщинами, он «априори ожидал, что не только форма неврастении у мужчин и женщин различна», но и «при оказании помощи можно обнаружить различия». Но его исследования не оправдали этих ожиданий. Сначала он предполагал, что «неврастению у женщин могут вызвать менее серьезные обстоятельства». «Однако когда я вспоминаю, как один невротик объяснил последнее ухудшение своей болезни смертью одного из своих кроликов, то я и у женщин не могу найти особенно ничтожных причин». Среди трех типичных случаев, которыми иллюстрирует природу неврастении Август Крамер, — «биржевик», банкир и медсестра. Женщина в этом трио вызывает самую большую симпатию: она являет собой классический пример неврастении, возникшей на почве стремления как можно лучше выполнять свою работу. Ее болезнь не связана ни со слабостью — врожденной или приобретенной, — ни с дурными привычками, а объясняется лишь трудовым переутомлением и травматическими переживаниями:

> «Медсестра фройляйн Х., 29 лет, работала медсестрой в Китае, когда там начались боксерские волнения[41]; наследственность не отягощена, всегда была здо-

[41] Боксерское восстание (1898–1901) — восстание ихэтуаней (букв. «отрядов гармонии и справедливости») против иностранного вмешательства во внутреннюю жизнь Китая.

рова, в течение последних недель ей почти ежедневно приходилось переживать ужасающие сцены, всевозможные жестокости, постоянное волнение и беспокойство, затем очень тяжело работать во время подавления восстания. Наконец она вернулась обратно в Германию и начала, поскольку обладала лишь очень малым состоянием и должна была искать себе заработок, готовиться к экзамену на право преподавать в старшей школе, с большим рвением взялась за учебу, работала целыми днями до поздней ночи. В третьем семестре этой работы, которую она не прерывала и на каникулах, начинает портиться сон, [...] (по ее словам) если иногда спокойно засыпала, то немедленно просыпалась из-за невыносимо страшных снов. Чувствует себя "вялой и разбитой" в резком контрасте с ее былой энергичностью».

Этой женщине можно было помочь; через восемь недель лечения «былая энергичность и эластичность» вернулись (см. примеч. 85). Сочувственные рассуждения о нервных расстройствах у студенток и работающих по специальности женщин нередко соседствуют с женоненавистничеством и дискриминацией, но у Крамера и речи нет о том, что лучшим средством спасения женских нервов был бы отказ от профессиональной деятельности. Множество невротичных домохозяек доказывали обратное.

Альфред Баумгартен в описании типичных случев неврастении приводит в качестве примера нескольких невротичных женщин, расстройство у которых объясняется преимущественно трудовым переутомлением, однако профессия у этих женщин не идет вразрез с их природой, но, напротив, служит способом самореализации. Баумгартен рассказывает, как в 1866 году одна пациентка, чье состояние слабости было для него поначалу загадкой, побудила его сделать неврастению «предметом особого внимания». Речь шла о женщине 48 лет, за плечами у которой были «очень напряженная профессиональная деятельность» и нервный срыв, случившийся с ней после того, как ей пришлось помогать при рождении своего первого внука, сопровождавшемся многими осложнениями. Примечательно, что даже в этом случае, глубоко взволновавшем его «с личной и профессиональной точки зрения», Баумгартен не заговаривает о том, что женщина несет двойную нагрузку. Подобные нюансы подтверждают, что до 1914 года дискурс нервов оставался в рамках сугубо мужского опыта.

Лишь в США открыто взяла слово женщина-врач, но и она писала так, как будто говорила не о себе, а лишь передавала отчет пациентки. Этой женщиной была невролог Маргарет Кливз, автор изданной в 1910 году «Автобиографии неврастенички». Через тему неврастении она пыталась оспорить гендерную специфику профессиональных ролей. Она хотела также показать, что трудовая терапия хороша и для женщи-

ны: именно ее работа дарила ей короткие моменты здоровья. В самом начале автобиографии она подчеркивает, что пол автора здесь роли не играет, потому что «полное истощение высших нервных центров», описанное в книге, у женщины встречается «редко». Американская писательница Шарлотта Паркинс Гилман возмущалась тем, что уважаемый в обществе невропатолог Уэйр Митчелл[42] хотел запретить ей писать, полагая, что подобным мучительным бездействием можно лечить женские нервы (см. примеч. 87).

Напрашивается мысль, что нервные женщины, как и мужчины, имели собственное мнение о том, как их правильно лечить, ведь лечение повседневных недугов все еще находилось в сфере ответственности женщины — недаром популярная медицинская литература обращалась к «женщине как семейному врачу». В истории одной незамужней учительницы, 34 лет, из знатного семейства, направленной в 1908 году на три месяца в Арвайлер, можно прочесть немало поучительного о том, как интересующаяся медициной женщина мечется между официальной медициной и натуропатией и как терапия вписывается в отношения между женщинами. Сама она объясняла свою «нервозность» переутомлением, однако медицинские документы наводят на мысль, что всевозможные терапевтические методы интересовали ее потому, что помогали налаживать тесные контакты с людьми. Врач описывает ее как «высокую, довольно тучную пациентку». В ее биографии, очевидно записанной с ее слов, читаем:

> «В школе пациентка демонстрировала успехи. В 17 лет пациентка пришла в женский учительский институт [...], где проделала колоссальную работу, потому что хотела сдать выпускной экзамен уже через год. Она часто вставала в четыре утра и очень интенсивно работала. Она сдала экзамен в намеченный срок, однако полагает, что вследствие этого возникли проблемы с нервами. Позже в Англии, потом в Висбадене давала много частных уроков, затем была частной учительницей в Люксембурге, где опять пришлось очень много работать. После этого три четверти года была больна и оставалась дома. Когда наступило некоторое улучшение, она уехала в Париж — 10 месяцев — где у нее было очень хорошее место, причем она одновременно посещала университет и сдала множество экзаменов. Не дав себе отдыха, отправилась в Аахен в женскую высшую школу, где попала в очень тяжелую ситуацию, так как ей были поручены уроки французского языка в трех последних классах. Поняла, что дальше так продолжаться не может. Получила в этом году в августе отпуск и отправилась в Вальдесхайм

[42] Гилман ослушалась Митчелла и благодаря творческой работе излечилась. Этот опыт лег в основу ее романа «Желтые обои» (1892), в котором Гилман рисует клиническую картину начинающегося безумия и излечения не за счет прописываемого покоя и бездействия, но благодаря самореализации.

(водолечебница Кнейпа под Дюссельдорфом), где проделала, по ее словам, "лошадиный курс лечения". Сейчас страдает бессонницей, головными болями, непоседливостью, общей раздражительностью. [...] В последнее время вновь появились боли в малом тазу, от которых ее подруга-натуропат делала ей массаж по методу Туре Брандта. Участились состояния возбуждения, во время которых она много плакала и стонала. [...] В настоящее время жалуется на плохой сон и боль в области входа во влагалище. Против последней ее мать делала ей обмазывания глиной, что принесло успех на четыре недели. Консультировалась у бесчисленного множества врачей, мнения которых противоречили одно другому; вряд ли осталось хоть одно средство, которое бы она еще не испробовала».

Письмо ее матери в Арвайлер выдает некоторую ревность к «подруге-натуропату», которая делала пациентке гинекологический массаж — метод, предложенный шведским майором и физиотерапевтом Туре Брандтом, для устранения опущения влагалища и выпадения матки, при котором «палец одной руки, введенный во влагалище или прямую кишку, удерживает массируемый орган в совершенно спокойном положении по отношению к руке внешней — массирующей, подвижной». Мать жаловалась, что ее дочь проявляла «некоторую досаду» против нее, потому что та «была не вполне согласна с врачом-натуропатом, которая теперь выступает в качестве массажистки». Боли внизу живота ослабли, только когда она, мать, «раздобыла свежую хорошую глину» и наложила ее на живот дочери (см. примеч. 88). Соперничество различных дамских компетенций и слияние терапевтических методов с интимными отношениями в столь явной форме — случай непривычный. Однако в общем можно допустить, что у женщин болезнь интенсифицировала отношения между матерью и дочерью. Однако эту сферу медики обычно не принимали во внимание. В остальном история знатной учительницы демонстрирует параллели с историями неврастеников-мужчин из высшего круга: профессиональное честолюбие, склонность к изнурительному труду и удивительную мобильность.

Одна из главных заслуг учения о неврастении состояла в том, что оно уберегло женщин от бессмысленных гинекологических операций, причем именно в то время, когда такая защита была нужна как никогда. В общем операционном ажиотаже, разгоревшемся в конце XIX века вследствие совершенствования хирургических технологий, частота операций на влагалище и на матке также драматически выросла. Взгляд через микроскоп на слизистую оболочку генитальной сферы открыл наблюдателю новый волнующий мир, где кишели микробы, бушевали воспалительные процессы, кисты и ранки. Возникали все новые версии об очагах болезней. Несмотря на то что теория матки как вино-

вницы истерии в 1880-е годы уже утратила популярность, лишь теперь по-настоящему участились операции на матке против «нервных» расстройств. Даже Шарко, оставшийся в истории как великий новатор психической интерпретации, до сих пор видел причину истерии в яичниках и поддерживал операции по их удалению. Конрад Ригер еще в 1900 году жалуется, что, «к примеру, удаление обоих яичников из-за одной лишь "нервозности" не вызывает ни малейших колебаний». «Женщины при этом проявляют истый *furor operatorius passivus*, врачи же, напротив — *furor operatorius activus*»[43] (см. примеч. 89).

Само понятие «нервозность» никак не защищало от бессмысленных операций на малом тазу; при желании можно было сконструировать теорию о том, что аномалии генитальной сферы вызывают потрясение всей нервной системы. Однако учение о неврастении было изначально антилокалистическим и несло в себе принципиальный протест против *furor operatorius*. Именно Мёбиус, которого женщины считают врагом, выступил здесь их защитником. Альберт Молль заключает свою популярную книгу о «нервной женщине» настойчивым предостережением от оперативного вмешательства при лечении неврастении: «Дело дошло уже до полной кастрации женщин, чтобы лечить истерию!» (см. примеч. 90).

Если неврастения четко отграничивалась от истерии, то она более эффективно защищала женщин от бесполезных операций, чем истерия. Но была ли между ними ясная граница? Для Бирда — определенно да, во всяком случае, истерию он понимал как типично женское расстройство. Он подробно рассказывает, как дифференцировать диагнозы истерии и неврастении. Первое различие — отсутствие при неврастении судорог, традиционного признака истерии. При истерии «симптомы острые, интенсивные, яркие, активные», при неврастении они «умеренней, спокойней, пассивней». Шарко, настоящий гроссмейстер *grande hystérie*, сделавший сенсацию своими драматическими шоу загипнотизированных истеричек, строго отграничил истерию от вялой неврастении, высоко оценив при этом теорию Бирда. Это не помешало ему предложить понятие «истеро-неврастения», т.е. он признал переходный случай как широко распространенный. Впрочем, в 1890-е годы *grande hystérie* Шарко отчасти была разоблачена как продукт врачебного внушения, и истерия, таким образом, утратила часть своей драматичности. А оставшаяся «ма-

[43] Упоминаются симптомы истерии: противопоставляются желание пассивного оперативного вмешательства (у пациента, например, желание, чтобы ему ампутировали часть тела, кастрировали и т.д.) и активного (желание самому что-нибудь удалить, вырезать).

лая истерия» — без ярко выраженных судорог и оцепенения — уже не так легко отграничивалась от неврастении (см. примеч. 91).

Вплоть до 1880-х годов исследование истерии было делом французской науки, а немцы считали истерию характерным свойством француженок. Лишь с распространением концепта неврастении истерия привлекла к себе интерес и в Германии. До этого понятие «истерия» в немецких научных кругах вызывало недоверие. Психиатр Карл Пельман вспоминал: «Раньше в истерию, как в чулан, относили все, что у представительниц слабого пола было менее похвальным и достойным, и что не встречало серьезного понимания». В повседневном немецком языке понятие «истеричный» также было тогда не особенно распространенным; в анамнезах пациентов члены семьи женского пола очень часто описываются как «нервные» и лишь в отдельных случаях как «истеричные». То, что интерес немцев к неврастении и истерии растет примерно в одно и то же время и отчасти у одних и тех же авторов, говорит о том, что под этими расстройствами исходно понимали разные вещи. Для Мёбиуса истерия была сначала чем-то «совершенно иным» по сравнению с неврастенией, но уже вскоре он убедился в том, что оба расстройства «чрезвычайно часто» встречаются вместе. Молодой Гельпах, который в то время не только писал одну за другой статьи о нервозности, но и выпустил толстую книгу об истерии, утверждал — что граница между ними «столь удивительно четкая», что путаницу между той и другой «ничем нельзя извинить», однако тогда он еще не имел большого практического опыта. В теории эти расстройства различались, но во врачебной практике, напротив, они «необыкновенно часто сопутствовали друг другу» (см. примеч. 92).

Соседство между неврастенией и истерией привлекало к себе внимание еще и потому, что чем сильнее в центр концепта неврастении выдвигалась возбудимость и чем важнее становилась роль воображения, тем более подвижной становилась граница с истерией. Это обстоятельство не обязательно вредило женщинам. Порой удивляешься, что иногда даже приступы ярости и слез, которые так легко было бы признать «истеричными», получали диагноз неврастении. Так, у Отто Бинсвангера читаем: «Я знал высокообразованных женщин с большой степенью самообладания, которые в подобных неврастенических состояниях топали ногами, били об пол тарелки и метались во все стороны, пока не падали на диван в отчаянии, изнеможении и горьких слезах». Бинсвангер вовсе не трактует такое поведение как типично женское, но проводит аналогию с «беспокойной деловитостью» охваченного тревожностью «неврастеничного торговца» (см. примеч. 93). Похоже, что между концепциями

истерии и неврастении существовали взаимовлияния, хотя бы подспудно. Сначала истерия уподобляется неврастении и воздействует на идею этого расстройства. Но сегодня, когда в бытовом языке, благодаря своему уничижительному эффекту, сохранилось лишь понятие истерии, оно вобрало в себя и все неприятные стороны прежней неврастении: капризную раздражительность, жалость к себе и пронзительные тирады.

Возможно ли, что «неврастения» была нужна для того, чтобы уберечь мужчин от недостойного диагноза «истерия», и что в этом и состояла ее негласная функция? Вероятно, в отдельных случаях так и было. Отто Бинсвангер приводит пример «священника с чрезвычайно высоким интеллектом», известного «публичными речами на народных собраниях». Он ставит ему диагноз «неврастения», хотя тот страдал судорогами и «почти полной неспособностью двигать нижними конечностями». Освальд Бумке в 1920-е годы ратовал за то, чтобы ограничить диагноз «истерия» совершенно конкретными психогенными телесными реакциями, и приводил следующий аргумент: «Если мы будем [...] *любую* необычную телесную реакцию на сильное душевное потрясение тотчас же трактовать как истеричную, то мы — страшно сказать — поставим диагноз самому Бисмарку, с которым после особо волнительных переговоров иногда случался припадок рыданий» (см. примеч. 94). Как добропорядочный немец, Бисмарк еще мог считаться неврастеником, но никак не истериком.

Урсула Линк-Хеер, ссылаясь на французские источники, утверждает, что «немецкая по-солдатски здоровая нация с ее панцирными телами» никогда не приняла бы «мужскую истерию». Однако она весьма переоценивает реальную силу тех клише, которые культивировались народными националистами. В Англии идея мужской истерии отклика не нашла, но в Германии — вполне. Немецким неврологам и не снилась идея о том, что немецкий мужчина — юный Зигфрид. Уже в 1894 году Лёвенфельд замечает, что представление о специфике пола «в последнее время претерпело огромные изменения»; и разве что тайком не воспрещается предаваться старой вере в то, что истерия — исключительно женская болезнь (см. примеч. 95).

В Бельвю у Бинсвангеров в 1880-е годы диагноз «истерия» встречается почти только у женщин, а «неврастения» преимущественно у мужчин. В 1889 году знатный остзейский сенатор поступает в клинику как неврастеник, а его жена — как истеричка. Однако в 1890 году Роберт Бинсвангер у прусского капитана благородного рода из региона Восточной Эльбы диагностирует истерию, хотя тот записал себя неврастеником. Решающую роль сыграли, вероятно, припадки ярости, которые

Бинсвангер не считал нормальным явлением даже для армейского капитана и которые нарушали идеальную картину неврастенического диагноза. Значительную часть вины Бинсвангер возлагал на супругу капитана: «Очень неблагоприятно влияет на пациента его жена, которая и сама очень нервна, напичкана псевдомедицинскими знаниями, не доверяет врачам и курсам лечения, что чрезвычайно затрудняет работу». В 1887 году в Бельвю находился профессор и тайный советник, принятый туда как морфинист, а вышедший оттуда как истерик. С 1896 по 1901 год в Арвайлере 4 раза проходил курс лечения торговец с берегов Рейна, поначалу демонстрировавший симптомы неврастении, вызванной «кучей работы» и «длительными переездами по железной дороге». Но когда у него при тряске от поезда или велосипеда «бессознательно и невольно» начали происходить выбросы спермы и кала, для врача он превратился в истерика. Решающим критерием выступала при этом анестезия[44] как следствие бессознательного характера этих процессов (см. примеч. 96).

Для врача-невролога было привычным видеть представителей «слабого пола» не только в женщинах, но и в мужчинах. В мужчинах-неврастениках было не больше героизма, чем в женщинах. Даже те из них, у кого за плечами была впечатляющая профессиональная карьера, отправлялись в клинику испуганными, плаксивыми, нерешительными и сверхчувствительными, подверженными сменам настроения и всяческим колебаниям. Бирд рассказывал про одного политика, страдающего от «нервных симптомов»: «Это был настоящий Геркулес, однако он описывал свою болезнь так, как мы привыкли слышать только от самых слабых, нежных, истеричных женщин». Дюбуа тоже подчеркивал, что крепость нервов ничего общего не имеет с физической силой: «Мужчины, которых буквально распирает физическая сила», могут «выказывать нервозность капризной взбалмошной дамочки». Нервозность сближала оба пола. Мёбиус писал, что нервозность продуцирует «женоподобных мужчин и мужеподобных женщин». В сравнении с неврастенией истерия была более сильным, хотя и более неприятным для окружающих, средством справиться с психическим напряжением. Хирург и философ Карл Шлейх даже подчеркивал «стальную силу воли» истериков (см. примеч. 97).

Схожую гендерную нервозность можно объяснить тем, что внутренний мир мужчины и женщины по сути своей не так различен, как это ка-

[44] Под «анестезией» в медицине также понимается потеря чувствительности, атрофия возбудимости.

жется внешне. Можно также искать причину в том, что нервозность — болезнь заразная, особенно в интимном кругу семейных и партнерских отношений. Но это не объясняет, почему наблюдения такого рода учащаются и накапливаются к концу XIX века, тем более если исходить из того, что при возникновении неврастении существенную роль играли и внешние факторы. Создается впечатление, что волна неврастении — это один из симптомов того, что гендерные роли, а также условия труда и быта мужчины и женщины, которые в XIX веке поначалу развивались в противоположных направлениях, к концу XIX века снова начали сближаться. Это новое сходство возникло не только вследствие того, что женщин поглотил ритм индустриальной эпохи, но и потому, что мужчины стали подвергаться таким нагрузкам, которые традиционно были характерны для женщин. Круглосуточная занятость, вечная спешка, разбросанность внимания, непрестанное ощущение, что «надо сделать то-то и то-то», суета и беготня, необходимость постоянно помнить о нескольких вещах одновременно — все это прежде было характерно для мира женщины. Теперь все чаще осваивать такие условия приходилось мужчинам. Возможно, это отчасти объясняет и то, что большинство классических случаев неврастении описаны у представителей мужского пола, — ведь мужчины были менее привычны к подобному типу стресса, чем женщины (см. примеч. 98).

Общий опыт «нервных» проблем задавал новый стиль диалога полов. Томас Клиффорд Оллбатт, главный авторитет по вопросам неврастении в Англии, уже в 1895 году иронизировал: когда появилась «новая женщина», то оба пола, «соединив свои нервные песнопения, сравнивая симптомы, вместе рассуждая о физиологических проблемах, рука об руку стали мучительно проходить один за другим лечебные курсы» (см. примеч. 99). Дискурс нервов способствовал тому, что гендерные роли сдвинулись и в сознании.

Ассимиляция мужского и женского стресса углубляла взаимопонимание полов. Биография Макса Вебера, написанная его женой Марианной, хоть и не раскрывает тайну чувственной стороны их отношений, но все же демонстрирует примеры такого взаимопонимания через «нервы». Марианна Вебер замечает, что поскольку ее собственные нервы были «перегружены», она могла «полностью вчувствоваться в состояние мужа». Действительно, та мучительная «необходимость разрываться между делами», которая предшествовала психическому срыву Вебера, была хорошо знакома множеству женщин, и у них было больше опыта в преодолении стресса такого типа: расставить в делах приоритеты и

сэкономить силы. Эдуард Баумгартен[45] полагает, что болезнь одарила Вебера «свободой неверия в превосходство мужской (более грубой) силы» (см. примеч. 100).

Однако в гендерном отношении «нервный» дискурс шел далеко не мирным путем. «Нервозность» служила партнерам неисчерпаемым материалом для игр и взаимного раздражения. Специальная литература трактует неврастению в основном как индивидуальный феномен, затрагивая социальные аспекты далеко не всегда и то лишь полунамеками, и только в самих историях болезни встречаются эпизоды семейного быта, которые дают понять, что «нервозность» — свойство не только индивидов, но и сложившихся коммуникативных моделей. Отто Бинсвангер отмечал у типичных неврастеников ярко выраженное и доведенное до совершенства умение вывести из равновесия своих близких, а вместе с ним «удивительную, хочется сказать — "демоническую" — радость по поводу того, что теперь именно их можно упрекнуть в потере самообладания». Если невротик мог упрекнуть своего визави: «Что ты так нервничаешь!?» — мяч летел обратно (см. примеч. 101).

Иные мужчины-невротики прибегали к таким трюкам, чтобы превратить свою нервозность в средство власти. Но далеко не все обладали такой способностью, к тому же некоторые женщины знали, как обращаться с мужской нервозностью. Примером служит 53-летний голландский банкир, прибывший в 1902 году в Арвайлер по настоянию своей супруги. Несколькими годами раньше он уже побывал там вместе с супругой, которая успела приобрести кое-какие знания о нервных расстройствах и навыки обхождения с ними в браке. В 1902 году она повторно отправила супруга в Арвайлер, предусмотрительно сопроводив несчастного и диагнозом, и комментариями: «Поскольку муж мой с некоторых пор страдает неврастенией, я бы хотела поместить его в целях оздоровления в Ваше заведение. [...] Поскольку нервнобольные, к сожалению, непредсказуемы, я не могу пока назвать Вам точной даты. [...] Поскольку муж мой, увы, утверждает, что не болен и не может оставить свое дело, то подвигнуть его на поездку в высшей степени трудно». Однако ей это удалось (см. примеч. 102).

Подобные игры случались и на низших социальных этажах, как, например, в случае рабочего франкфуртской типографии и его жены — хозяйки прачечной. Они поженились в 1910 году после того, как он пригрозил ее «застрелить», если та не выйдет за него замуж, по крайней мере

[45] Баумгартен Эдуард (1898–1982) — немецкий философ и социолог, племянник и последователь Макса Вебера.

так утверждала женщина. Она также сообщала, что муж ругал и истязал ее, если она просила помочь в прачечной. Однако из истории болезни следует, что он все же оставил работу в типографии и какое-то время проработал с ней вместе в прачечной. Уже в 1911 году по настоянию жены он оказался в закрытом заведении, и явно надолго, поскольку он получил там нелегкий диагноз *dementia paranioides*. Действительно, он высказывал бредовые идеи. Но с его точки зрения, во всем были виноваты нервы его жены, которую он сам хотел поместить в заведение: «[Он] якобы совершенно здоров. [...] Ради своей жены он отказался от места в типографии. [...] Он не подходит для прачечной; ему приходилось там работать разносчиком; вообще никогда не отдыхал, должен был изводить себя. [...] Уже собирался поместить жену в заведение, поскольку она была в высшей степени нервной. [...] Доктору донесли, что я страдаю нервозностью». И далее «со всей обстоятельностью» он рассказывал врачам, «какая нервная» у него жена. Однако ничего не помогло — в состязании, кто быстрее и ловчее обвинит супруга в «сильнейшей нервозности», жена оказалась проворнее (см. примеч. 103).

В 1897 году в Бельвю к Роберту Бинсвангеру поступил профессор-фармацевт, 48 лет. Его дрезденский семейный врач сообщал, что у этого занятого и уважаемого человека «под воздействием периодического алкоголизма и сверхактивной, очень утомительной умственной деятельности [...] сформировалась постоянно усиливающаяся неврастения», выражавшаяся в бессоннице, раздражительности, беспокойстве и снижении трудоспособности. Следовало даже опасаться, что за алкоголизмом фармацевта «могут скрываться начальные явления развивающегося паралича мозга». Однако в конце XIX века на Боденском озере еще не так трагично воспринимали то, что в Дрездене уже считали настоящим алкоголизмом. Когда жена профессора чуть ли не умоляла оставить ее мужа в Бельвю и держать его там как можно дольше, ей ответили: «[...] покуда его нервная система находится в хорошем состоянии, как сегодня, нужно надеяться, что у него достанет энергии, чтобы сохранить трезвость». Жена не отставала: «К сожалению, мы совершенно точно знаем, что дома его теперешняя энергия очень скоро его покинет» (см. примеч. 104). Это было то переломное время, когда одни еще считали алкоголизм вполне здоровым явлением, а другие — чумой для народа. Женщины, объединившись с фракцией врачей, в собственных интересах способствовали победе второй точки зрения.

Американский критик психотерапии Джеффри М. Мэссон нашел в историях болезней Бельвю случай 19-летней Жюли де ля Рош, которую после нескольких попыток побега из семьи — один раз с подругой, дру-

гой с другом — в 1896 году отец доставил в лечебницу. Решение это было принято после того, как домашний доктор высказал опасение, что девушка близится к «состоянию *moral insanity*[46]». В Бельвю ей для начала была предписана неделя постельного покоя, после чего она сбежала и во всеуслышание нажаловалась в прессе на заведение. Однако этот случай далеко не так типичен, каким представляет его Мэссон. Вопреки его утверждению, диагноз *moral insanity* не входил в вокабуляр Бинсвангера. Утверждая, будто любой психиатр в то время неизбежно увидел бы у такой девушки «моральный дефект», Мэссон лишь демонстрирует незнание истории немецкой психиатрии (см. примеч. 105). Сексуальные потребности и стремление освободиться от оков строгой семьи, в том числе у молодой девушки, ни в коем случае не считались в неврологической литературе признаком приближающегося безумия. Скорее наоборот, одной из предпосылок массового учреждения нервных клиник стало признание того, что жизнь в определенных семьях может быть невыносима для чувствительного человека. Нервные клиники вовсе не служили средством борьбы с эмансипацией. Более того — совсем не редко именно женщины способствовали направлению в клиники пациентов-мужчин. Очевидно, что многих женщин эти заведения хоть и на короткий срок, но избавляли от совместной жизни с алкоголиками и дебоширами.

В 1921–1922 годах пациентом Арвайлера на 1,5 года стал горный инженер, 63 лет. Врачебный отчет характеризует его как «типичного неврастеника». Поначалу он попал в закрытое отделение, из которого писал брату, что «целиком и полностью заперт здесь по настоянию жены». Брат сообщил врачу, что этот слабонервный мужчина, «дрожа, валялся на коленях» перед своей женой. «Никогда и никому он этого не говорил. Мне это сказала в прошлое воскресенье сама его жена. Она и сама, очевидно, весьма нервная, но значительно превосходит его энергичностью и силой воли. И сказала даже, что она его ударила!» Муж без конца мучается из-за былых алкогольных эскапад, хотя пил всегда только пиво. Он присоединился к одному борцу с алкоголизмом, бывшему пьянице, тот его сильно запугал, и теперь он в ужасе от того, что народ прежде не был просвещен о вреде алкоголя. Видно, как даже среди горняков, хорошо знавших, что такое жажда, потребление пива теряло свое доброе имя и чистую совесть. Инженер ощущал боль не через нервы, а скорее сердцем, и переживание боли имело у него профессиональный оттенок, он постоянно использовал образы вроде «как будто кто-то глубоким буром

[46] Нравственное помешательство (*англ.*).

вонзается в сердце». Однако корни его нервного расстройства уходили не в профессию горняка и не в мировую войну. Очевидно, что его проклятием с самого начала стал брак. Уже в 1886 году, непосредственно после женитьбы, у него начались проблемы с желудком, и он отправился отдохнуть к родителям. В присутствии жены у него случались припадки «буйства», когда он опрокидывал столы и стулья, чтобы потом на коленях вымаливать прощение (см. примеч. 106).

Семья как источник нервозности — в целом литература обращалась к этой теме мимоходом и очень сдержанно, однако ни в коем случае не игнорировала ее. Крамер описывал, как «нервные» члены семьи взвинчивали друг друга «до крайнего раздражения». На приеме у врача, еще до того, как пациент успевал произнести хоть слово, часто можно было по поведению мужчины сделать вывод о нервозности его жены, и наоборот. Так, он описал не только «мужчину, с виду здорового как бык», которого превратила в невротика истеричная жена, но и униженную «задавленную рабыню», за которой распознается «раздражительный, склонный к насилию, эгоцентричный, со скрытой нервозностью муж». Крамеру известны случаи как устойчивого разделения ролей между активным и пассивным невротиком, так и случаи переменной индукции, которая продуцирует что-то вроде нервных противотоков. По контрасту с этим, учение об истерии разрабатывает устойчивый ролевой сценарий. Для Уэйра Митчелла истеричная барышня — это «вампир, высасывающий кровь у здоровых людей вокруг».

Не все авторы признают агрессивный тип неврастеника. Дрезденский невропатолог Отто Шер считает, что типичный неврастеник становится для своего социального окружения «осликом для перевозки грузов», чей изнурительный труд так низко ценится, «что нередко ослику достаются еще и подбадривающие тычки в форме скрытых намеков, усмешек и т.д., так что он считает вполне в порядке вещей просто брести дальше и терпеть, и приноравливаться к еще большему грузу». Поскольку семейной терапии культура рубежа веков еще не знала (хотя надо сказать, что некоторые семейные пары отправлялись в нервную клинику вместе), то спасения приходилось искать лишь во временной изоляции от семьи. Густав Ашаффенбург[47] не считал преувеличением мнение, что «разлука с домочадцами — это уже половина лечения». Врач из Кройцлингена, познакомившись с семьей одного из своих пациентов, банкира из Гамбурга, в 1920 году пишет Людвигу Бинсвангеру, что этому человеку сле-

[47] Ашаффенбург Густав (1866–1944) — немецко-американский психиатр, в свое время крупнейший специалист в области судебной психиатрии и криминологии, ассистировал Крепелину.

довало бы «срочно оставить своих домашних»: «в адском котле его дома [...] атмосфера настолько сгустилась от всякого рода интриг и домогательств, как не бывало даже в придворных кругах эпохи рококо», и его выздоровлению грозят серьезные проблемы (см. примеч. 107).

Август Шатлен, многолетний директор крупной психиатрической клиники в швейцарском местечке Префаржье, опубликовал уже в возрасте 73 лет (1911) труд «Гигиена нервной системы», в котором он советовал нервным парам проводить каникулы отдельно друг от друга. Кроме того, он, что необычно для того времени, заговаривает о нервном потенциале в отношениях между матерью и дочерью, что для многих мужчин оставалось скрыто: «Я видел дочерей, которые жили только с матерью и доходили до чрезвычайной неврастении. “Мое дорогое дитя, — говорит мать перед смертью, — что станется с ним, когда меня не будет?” [...] И скорбящая дочь очень скоро избавляется от своей тяжелой неврастении. Так часто бывает у женщин» (см. примеч. 108).

Смерть ближнего как терапия — подобные мысли по большей части оставались табу, кроме желания отцеубийства, обнаруженного Фрейдом в подсознании. Однако тогда же некоторые врачи уже понимали, что не только отношения с отцом, но и отношения с матерью могут быть источником нервозности — в том числе и у мужчин. Юристу 26 лет, в 1910 году вторично прибывшему в Кройцлинген (в 1907 году он уже лечился там три месяца), Роберт Бинсвангер с особым тщанием и детальностью ставит диагноз «неврастения», чтобы предохранить пациента от подозрения в *dementia praecox*:

> «При первом собеседовании в присутствии матери и врача пациент ведет себя в высшей степени по-детски. Это [...] позволяет заподозрить *dementia praecox*. Однако такое предположение не подтвердилось. Диагноз указывает на проявившуюся в детском возрасте неврастению с навязчивыми идеями и навязчивыми движениями (мания аккуратности и чистоплотности). [...] В умственном отношении с пациентом все в порядке. Как бы он ни был избалован, упрям и одержим нозофобическими[48] идеями, интеллект его и благоразумие постоянно одерживают верх. [...] Когда пациент уехал от нас в 1907 году, мы нажали на все рычаги, чтобы избавить его от настойчивой материнской опеки» (см. примеч. 109).

Нередко в историях болезни между строк просматривается нервный потенциал в отношениях между отцом и сыном. Возможно, нервозность в семье создавал раздраженный отец, тиранивший своих сыновей — может быть, именно это скрывалось за многочисленными указаниями неврастеников на «нервного» отца? Но если отец был ярко выраженный

[48] Нозофобия — боязнь заболеть.

тиран или патриарх, об этом так и говорилось — в понятие «нервный» такие проявления не входили. А если буйного отца относили к категории «нервный», это означало, что его буйства не воспринимались всерьез. Правда, это вовсе не делало их более сносными. Гротьян с особой неприязнью вспоминал, что его отец, в общем и целом стремившийся «гуманизировать педагогику розги», в «нервной горячке» его все же лупил. Страдания под гнетом отцовского авторитета, напротив, обнаруживаются реже, чем можно было бы ожидать из расхожих представлений об обычаях кайзеровской Германии. Вместо этого обнаруживается совсем иное. Прусский профессор юриспруденции в разговоре с Робертом Бинсвангером в 1866 году озадачен тем, что его семилетний сын просит на все разрешение: «Дома Эрих вечно мучил нас вопросами, а можно ли ему то, а можно ли ему это». Очевидно, к зрелому возрасту сын превратился в комок нервов, совершенно неспособный к профессиональной деятельности. Если посмотреть, как отец анализирует состояние нервов своего сына, видно, что уже в 1880-е годы учения о нервах вышли за пределы медицины и инфицировали семейные отношения, а неврологический подход оттеснил морализаторство в отношениях отцов и детей на задний план (см. примеч. 110).

Среди документов Бельвю обнаруживается история болезни 26-летнего кандидата филологических наук, который с энциклопедической полнотой представляет себя воплощением неврастении. Его распирает от обилия симптомов, и списку их нет конца:

> «Невроз отсутствия желаний, утрата энергии, заторможенность мыслей, навязчивые идеи, меланхолия, ипохондрия, невозможность концентрации мыслей, состояния истощенности, чувство страха, ощущение оцепенения, апатия, летаргия, постоянные навязчивые размышления (дополнение: бессонница), недоверие (расстроенные состояния), мысли о самоубийстве, неравные (sic!) сексуальные побуждения, сентиментальность, внутреннее беспокойство и неуютность, отсутствие темперамента, чувствительность, боязнь людей (чувство отвращения), смущение, нетерпение, отсутствие юмора (скука), нерешительность, т.н. капризность [...], безнадежность, уныние, недовольство [...] (и т.д.)».

Такое нанизывание симптомов говорит не только о том, что пациент вел настоящий дневник своей неврастении, но и о знакомстве со специальной литературой. В тексте этого отпрыска мюнхенской литературной богемы бросается в глаза, что при всей его сверхточности сексуальный мотив упоминается лишь единожды и мимоходом. Может, поток слов лишь пытается отвлечь от самого больного места?

Подозрение усиливается, если вспомнить про отца пациента, сыгравшего, очевидно, значимую роль в этом случае неврастении. Его отец —

Георг Хирт, редактор журнала «Jugend»[49], основанного в 1895 году и уже к 1897 году «завоевавшему весь земной шар». Хирт вовсе не был репрессивным отцом из «правильного» бюргерского семейства. Совсем наоборот — это был пророк сексуальной свободы, правда, того сорта, который возводит сексуальное счастье в ранг обязательной программы. Демонстративно сильная и радостная натура с широкой ухмылкой и сверкающим взглядом, он обожествлял «райскую силу фаллоса» и издевался над теми мужчинами, которые из-за преждевременного семяизвержения лишали женщину радости оргазма. Онанизм он не считал чем-то ужасным, но презирал его как «обезьянье искусство». Был склонен к бахвальству своими сексуальными достижениями и считал важным демонстрировать потенцию до старости: «Там, где деды могут продемонстрировать своим внукам крепкие члены, дегенерация трусливо уползает в мышиную нору». Как и его сын, был доподлинно и детально знаком с учением о неврастении. Сын характеризовал своего отца как «экзальтированного невротика» и полагал, что унаследовал собственную нервозность от родителей (см. примеч. 111). Этот поучительный случай неврастении вытекает из таких отношений между отцом и сыном, какие по общим представлениям свойственны скорее не кайзеровской Германии, но современной. Он же подводит к сексуальной проблеме неврастении, и здесь история нервов позволяет взглянуть на довоенное общество с весьма непривычной стороны.

«ПОСТЕЛЬ — ПОДЛИННОЕ ПОЛЕ БОЯ НЕВРАСТЕНИКА»: НЕВРАСТЕНИЯ И МУЖСКИЕ СТРАХИ — ВЕНЕРА, БАХУС И МАЛЬТУС

Дискурс нервозности в сильной степени был полускрытым дискурсом о сексуальности. Под словами «нервное возбуждение» отчасти подразумевали сексуальное возбуждение, под «нервозностью эпохи» — водовороты «свободной любви», которая на рубеже веков многим казалась самой взрывоопасной темой. Сексуальные проблемы идут лейтмотивом через бесконечное множество историй болезни — в учебниках они не так отчетливы. Бирд называл «сексуальную неврастению» «едва ли не самой важной среди всех форм неврастении». Сексуальность предлагала классическую модель «возбудимой слабости», ведь сильная возбудимость и слабая потенция часто сопутствовали друг другу. Во множестве историй болезни сексуальные проблемы являются подлинным ядром невра-

[49] Молодежь (*нем.*).

стении или по крайней мере той точкой, где возникает острая потребность в лечении. Чтобы это увидеть, не требуются очки психоаналитика. Даже такой резкий противник Фрейда, как Теодор Циген[50], который в 1-м издании своего учебника по психиатрии 1894 года ограничивается лишь беглым упоминанием сексуального компонента неврастении, уже в 4-м его издании, собрав огромный опыт практики в Шарите, выделяет «расстройства сексуальной сферы» как особо важный фактор. Невролог Рудольф фон Хёслин в комментарии к «Справочнику по неврастении» Ф.К. Мюллера пишет о том, как опустошительно влияет сексуальная фрустрация[51] на фантазию неврастеника и вызывает такую потребность в избавлении, что пациент ни о чем другом не может думать. Если гётевский Мефистофель смеется над «дамами»: «Особенно ж всегда умейте к дамам / Подделаться их вечный “ох” да “ах” / Во всех его бесчисленных тонах / Лечите всё одним, всё тем же самым»[52], то его рецепт кажется не менее пригодным и для мужчин. Об одном балтийском бароне, отправившемся в Бельвю в 1889 году, записано: «С 1878 года ни одного соития. Только этим летом после электрических ванн». Было ли это тем самым эффектом, которого так страстно ожидали от слабого тока мужчины? Электричество при импотенции действует «превосходно», заверял в 1911 году венский невролог Мориц Бенедикт, защитивший докторскую диссертацию по электротерапии (см. примеч. 112).

Отто Бинсвангер предсказывал своим студентам, что рано или поздно «почти каждый неврастеник» «раскроет им свое сердце» и «попытается доказать, что он стал несчастной жертвой юношеских глупостей» — читай: онанизма. Сам он воспринимал такое убеждение скорее как навязчивую идею. Более серьезно относился к нему Герман Оппенгейм, считавший онанизм в высшей степени вредным. Он установил, что «сексуальный аппарат» очень часто находится в самом центре нервных расстройств. Первое «звено в цепи» — мастурбация. Она продуцирует «целую армию нервных жалоб», а они, в свою очередь, вновь запускают мастурбацию — «получается замкнутый круг сексуальной неврастении». Как причина этого явления, так и частое следствие, по его мнению, — импотенция. «Да, и не будет преувеличением сказать, что большая часть индивидов, жалующихся на импотенцию, — неврастени-

[50] Циген Георг Теодор (1862–1950) — немецкий психиатр и философ со строгим рационалистическим подходом, разработал комплексную систему теории познания. Занимался лечением Ницше в Йене.

[51] Сексуальная фрустрация — угнетенное психическое состояние, возникающее вследствие полового возбуждения без сексуальной разрядки.

[52] Пер. с нем. Н. Холодковского.

ки». Эти фразы выдержали все многочисленные переиздания его «Учебника по нервным болезням» (см. примеч. 113).

Классическим примером неврастенической озабоченности сексуальными проблемами служит «обеспеченный человек без определенных занятий», 36 лет, прибывший в Арвайлер в 1896 году. Вильгельм Эрб направил его туда «вследствие неврастенического состояния». Как сообщил пациент, «уже ребенком он страдал от нервозности». «Очень рано у него начались сексуальные фантазии, которые вскоре привели его к онанизму, которым он долгое время очень активно занимался». Получив высшее образование, он три года прожил с одной молодой вдовой и «был очень распущен сексуально». «При таком распутном образе жизни пациент периодически напряженно работал. В то время он часто страдал головными болями и давлением, а кроме того сердцебиением и сильнейшей неврастенией». Один профессор признал у него «сильно расшатанные нервы» и предписал «пребывание на юге и проч.» Поскольку он любил Ривьеру, то повторять дважды ему не пришлось. Возрос интерес к собственной неврастении: в Арвайлере он «активно изучал медицинские книги, а именно труд о неврастении Крафт-Эбинга», и «почти ежедневно» обнаруживал у себя новые симптомы. «По ночам пациент, видимо, очень мучается из-за сексуального возбуждения. Он говорит, что постель есть полинное поле боя неврастеника» (см. примеч. 114).

Изучая истории неврастеников, легко понять Фрейда, который в кругу таких пациентов пришел к убеждению, что исток всех нервных расстройств кроется в сексе, а все остальное лишь побочные явления. Если верить в то, что неврастения вызывается каким-то одним, но чрезвычайно сильным фактором — а большинство специалистов придерживалось иного мнения, — то подозрение почти неизбежно падало на сексуальность. Сложнее понять, почему Фрейд считал необходимым извлекать подлинные сексуальные мотивы из глубин подсознания и предполагать внутреннего цензора — даже в сновидениях. Как замечает в своем справочнике Хёслин, сны неврастеников кишели сексуальными фантазиями (см. примеч. 115). Пациенты начинали свои рассказы с сексуальных тем, не дожидаясь наводящих вопросов от врача. Чтобы попасть в империю секса, Фрейду достаточно было подчиниться желанию пациентов выслушать их сознательные и выразительные описания. Однако сконцентрировавшись на обосновании подсознательных сексуальных мотивов, он оставил в стороне столь частые в историях болезней банальные мотивы, не требовавшие анализа: неосуществленные сексуальные желания, досаду из-за проблем с потенцией, страх перед сифилисом и мнимыми ужасами онанизма.

Немало фактов из этого исследования отвечает антифрейдовскому предположению Мишеля Фуко, что эпоха модерна характеризовалась не замалчиванием сексуальности, но разговорами о ней, и что именно эти обильные речи оказались фактором давления. Во многих случаях в историях неврастеников бросается в глаза вовсе не вытеснение темы секса, а невольный и многословный поток слов и размышлений.

Поэтому в позиции врачей-невропатологов, склонных отвлекать внимание пациента от его сексуальности, стоило бы видеть не столько ханжество, сколько жизненную мудрость. Герман Оппенгейм, рассуждая об импотенции неврастеников, подчеркивал: «Половой акт не терпит рефлексии, отстраненного созерцания собственного *Я*, тревожных раздумий и опасений». Пожалуй, и столь категоричный отказ от любых рефлексий несет в себе некий страх и стеснение — будто одни мысли об этом способны извратить либидо. Его максима в отношении секса выдает судорожную установку «закрыть-глаза-и-вперед» (см. примеч. 116).

Существенный недостаток всей специальной литературы о нервах — отсутствие мысли о том, что невротик может наслаждаться своей сексуальностью так, как получается, как позволяет ему его нервозность. Искать в учениях о нервах отголоски юмора и легкости по отношению к теме секса — затея почти безнадежная, большинство авторов были явно не способны воспринимать ее без звериной серьезности. Неважно — здоровым или нездоровым явлением считать частое половое сношение, но с тем, что половое поведение тесно связано с общим здоровьем, были согласны почти все. И напротив, к мысли, что для здоровья не так уж важно, ведет ли человек половую жизнь и как именно он это делает, приходили лишь очень немногие авторы.

«Он думает, что над всей его жизнью тяготеет проклятие, потому что он с ранней юности онанировал», — значится в документах Арвайлера об одном 40-летнем учителе старших классов, который с 22 лет тревожился по поводу своей *neurasthenia dyspeptica*[53], в то время как врач «над этим смеялся». Типичное признание неврастеника. Онанизм совершенно однозначно находился в центре неврастенических тревог. Когда Фрейд в 1893 году, размышляя о неврастении, пришел к выводу, что «источник» мужской неврастении — это мастурбация, и не одна из причин, а единственно подлинная причина, он тем самым озвучил и официально признал точку зрения, широко распространенную именно среди пациентов. Действительно, из самих историй болезни видно, что если кто-то сочтет необходимым объяснять неврастению конкретной сексуальной

[53] Диспептическая неврастения (*лат.*). Диспепсия — нарушения нормальной деятельности желудка и пищеварительной системы.

причиной, он неизбежно выберет онанизм. Список историй, где встречается эта тема, не имел бы конца. «Мы все едины во мнении, что тема онанизма абсолютно неисчерпаема»: такой фразой Фрейд завершил соответствующую дискуссию на заседании Психоаналитической ассоциации (см. примеч. 117). В то время это было именно так. Онанизм нередко кажется своеобразным наркотиком — чем-то желанным и в то же время пугающим, он переживался как нечто, обладающее значением и потенциалом. Популярный автор Вильгельм Бёльше[54] полагал, что онанизм есть праопыт бессмыслицы, и что лишь знакомство с таким опытом порождает насущную потребность в смысле (см. примеч. 118).

Страх перед последствиями онанизма для 1880-х годов не был новостью. Но чтобы понять, насколько неврастения была все же болезнью своего времени, приведем выдержки из историй болезни пациентов, наглядно отражающих связи между ней и эпохой.

В первом случае речь идет о 20-летнем сыне пастора из окрестностей Ольденбурга, в 1902 году проведшем семь месяцев в Арвайлере. Там он, подбодренный доктором, составил подробный отчет об истории своего онанизма, врач и пациент явно сходно воспринимали патологический потенциал этой темы. Впрочем, по всей биографии пациента видно, как постепенно между переживаниями пациента и советами врача формируется своего рода спираль. Очевидно, врачи внушали молодому человеку страх, а он, со своей стороны, оказался чрезвычайно подвержен их воздействию и без участия родителей постоянно выискивал все новых консультантов, волновавших и тревоживших его. В итоге в нем бурлила фатальная смесь из недетской мудрости и жалости к себе:

> «В данный момент мне почти двадцать лет, с самой ранней юности, очевидно, еще с десятилетнего возраста, я страдал от онанизма, во всяком случае я помню, что у меня еще не было семени, когда это расстройство впервые дало о себе знать. Как я до этого дошел, я не помню, меня никто не соблазнял; может быть, наряду с легкой нервной предрасположенностью сыграла свою роль слишком обильная еда. Болезнь приходила часто и интенсивно, сначала ежедневно минимум по разу, в последние годы обычно два-три раза. [...] Всякий раз врачи признавали меня здоровым, хотя выглядел я очень грустным, а родители из-за врачебной оценки тоже ничего не замечали. Вместо этого они лишь поощряли вялое и болезненное состояние своего отпрыска лечением на курортах. Так, после прохождения четырехнедельного курса в соляном курорте Ротенфельде под Оснабрюком, я потащился в путешествие по Гарцу до зимы 1899 года, там

[54] Бёльше Вильгельм (1861–1939) — немецкий писатель и издатель. С помощью художественных произведений популяризировал актуальные знания естественных наук, прежде всего теорий Дарвина и Геккеля. Был одним из инициаторов первой Народной школы в Германии.

внезапно стало очень скверно, у меня начались поллюции, которые затем стали повторяться по два раза за ночь. В моем несчастье я прочел про доктора из Берлина, который лечил подобные расстройства по переписке».

Он написал доктору и получил указания, которые были не вполне удобны для молодого человека, живущего в родительском доме: ему нужно было питаться по определенной диете, поддерживать пищеварение клистиром... Он думал, что советы ему, вероятно, помогли бы, если бы он мог «следовать им целиком и полностью», но в реальных обстоятельствах только теперь и началось настоящее возбуждение: «Поскольку я лечился тайком от моих домашних и страстно хотел выздороветь, то делал все очень нервно и многое неправильно». Целых четыре месяца не было дня, чтобы он «был действительно сыт». В конце концов, в сентябре 1899 года он сознался родителям в своем недуге. Об отцовском гневе говорить не приходится. Вообще, по контрасту с тем, как обычно представляют себе традиционный дом священника на севере Германии, в его истории совсем не присутствует гнетущий отцовский авторитет. В ответ на признание родители растерялись и для начала отправили его на целых шесть месяцев в отпуск. Он сам инициировал собственную терапию. В поисках правильного лечения он добрался до Берлина, там он сперва воодушевился кислородными процедурами, однако вскоре с ним случился «сильный рецидив прежнего расстройства», а именно онанизма: «Болезнь приходила ежедневно до пяти раз за день». Для него онанизм уже сам по себе есть болезнь, и она развивается своим чередом, так что сам он ничего сделать не может. Трактуя самоудовлетворение как болезнь, он обставляет это так, будто сам не является активным участником процесса. Отношений с женщиной он, кажется, не искал, хотя очень часто оказывался вне родительского присмотра; о женщинах он вообще не говорит. В его случае онанизм — это часть тотальной зацикленности на самом себе. Общий контекст этой невротической истории на удивление современен и совершенно не отвечает стереотипу «юности в кайзеровской Германии»: покладистое общество всеобщего благосостояния, пышное изобилие терапевтических практик и не более чем тень отцовского авторитета.

Во втором случае перед нами гимназический учитель 39 лет из Гамбурга, не женатый, проживавший у матери и в 1896 году прибывший в качестве неврастеника на пять месяцев в Арвайлер. По его сообщению, он онанировал «с самой ранней юности» до последнего времени; кроме того, в 1882 году вследствие инфекции у него появился «гнойничок» на пенисе, а в 1888 году с ним случилась белая горячка. Однако начало своей неврастении он датировал брюшным тифом, которым он заболел в 1890 году и следствием которого стали тяжелые нарушения пищеварения.

«С того времени он очень внимательно наблюдал за собой, кроме того, с тех пор как его мать, с которой он проживал, заболела меланхолией, много общался с психиатрами и немало узнал от них о таких вещах как неврастения, паралич мозга и наиболее частые причины подобных явлений. Уже давно считал себя неврастеником и боязливо избегал удовольствий и развлечений».

Неврастения выражается у него не в определенных физических симптомах, а в легкой утомляемости и депрессии, и прежде всего в неспособности принять решение о помолвке: «Состояние ухудшилось вследствие чрезмерных упражнений и гимнастики, а еще более вследствие помолвки, которую пациент из-за длительных колебаний и нерешительности очень долго отодвигал». Дело было тем более щекотливым, что невестой в данном случае была дочь директора школы, где он работал. У него было ощущение, что его хотели с ней сосватать; «его сажали за стол напротив нее, и однажды мать сказала: "Доктор И. так плохо спит, ну вот, это моя дочь"». Один из коллег ему предсказывал, что он потеряет место, если в скором времени не примет решение; к тому же он опасался, что «общество выживет его из Гамбурга», если он не женится на дочери директора. Эта напряженная ситуация, очевидно, стала для него острым поводом бегства сначала в болезнь, а затем и в Арвайлер. В Арвайлере врач записывает, что сон пациента «нарушен вследствие сексуального возбуждения». «Вообще создается впечатление, что мысли пациента много вращаются в этой сфере».

Один из психиатров, с которыми он свел знакомство, заподозрил у него «начинающийся паралич мозга». В то время, имея такие страхи, было успокоением знать о себе, что ты — чистый неврастеник, и неврастения твоя является исключительно следствием онанизма. Может, именно поэтому учитель подчеркивал, что он онанировал «с самого раннего детства». Если бы ему очень хотелось избавиться от онанизма, он стремился бы к браку, однако именно этого он избегал. Хотя мысли его были заняты сексуальными фантазиями, он в то же время не чувствовал себя созревшим для брака и боялся, что болен венерической болезнью. Здесь, как и во многих других случаях, онанизм кажется не причиной расстройства, а скорее средством, которое трансформирует разного рода тревоги в неврастению и переводит их таким образом в устойчивое хроническое состояние, которому можно дать название и держать под контролем. Хроническое беспокойство вследствие онанизма и здесь кажется частью ярко выраженной зацикленности на себе и феноменом эпохи, в которой хотя и бушевали страхи перед «рукоблудием», однако же никто не был уверен в характере и степени его пагубности.

Последний пример — из низших слоев общества: в 1909 году холостой сапожник, 24 лет, из берлинского района Шёнеберг отправился в Шарите, где ему поставили диагноз «ипохондрическая неврастения с тревожными аффектами». Он сообщает, что его родители «нервнобольные» и сам он «нервнобольной». Он чувствует себя больным уже два года и страдает от продолжительной головной боли. С прошлого года у него случаются ночные поллюции, иногда 2 раза подряд. Он почти лишился сна; чувствует «зуд в пенисе, но без эрекции».

> «По ночам у него возникает ощущение, как будто его мысли отделяются от него и парят в воздухе; это случается, когда он думает о своей нервной болезни. [...] Когда он выходит на улицу, его ослепляют огни; если приближаются повозки, он вздрагивает и пугается [...]. Тогда он боится потерять рассудок. Не может выносить уличный шум. [...] Утомление после работы и в особенности после семяизлияний (sic!); потом сразу приходят печаль и тревога. Он уже не справляется с работой. С тех пор по-настоящему не смеется. Много работал с гомеопатическими средствами».

«Упрекает» ли он себя — спрашивает врач. — «Да». — «За что?» — «Что я не был просвещен об этом прежде, в родительском доме. О половых процессах — мастурбации». Нет никаких указаний на то, чтобы врач развеял его тревоги. История болезни показывает, что страх большого города и нетерпимость к шуму могли в то время переживаться как сопровождающие явления глубокой сексуальной неуверенности, и что такой опыт не ограничивался буржуазным обществом. В этом случае не родители наводят страх перед онанизмом — наоборот, пациент обвиняет их в том, что они его не «просветили». Псевдопросвещение о скверных последствиях онанизма в низших слоях общества кажется в то время еще чем-то новым, не таким, чему бы учили родители. Иначе трудно было бы представить, что курьер из Франкфурта — еще один пациент Шарите в тот же период времени — в юности без всяких помех мог онанировать до 12 раз (см. примеч. 119).

Панический ужас перед «рукоблудием» идет из XVIII столетия. В течение XIX века страх перед онанизмом явно вышел далеко за пределы медицинских и педагогических кругов. Этот процесс до сих не получил удовлетворительного объяснения, да и потребность в его объяснении еще не осознана. Ветхий Завет с его проклятиями в адрес Онана ничего не объясняет, враждебность к сексу викторианской эпохи в общей ее форме принадлежит к царству легенд, а таких обвинителей онанизма как Тиссо[55] в конце XIX века уже давно нельзя было цитировать. С пози-

[55] Тиссо Самюэль Аугуст Андре Давид (1728–1797) — швейцарский врач. В своей популярнейшей книге о мастурбации (1759) доказывал вред от растраты семени.

ций материалистической медицины модерна разницы между онанизмом и половым сношением в воздействии на организм, собственно, быть не могло. Живучесть и распространение фобии вряд ли можно было бы объяснить, если бы онанизм во всей полноте своих одиноких фантазий не был так подвержен тревогам. Между медицинской литературой и живым опытом был явно запущен фатальный взаимообмен: об этом свидетельствуют многие сообщения пациентов.

Здесь нужно вспомнить одну очень простую вещь, а именно, что со второй половины XIX века, когда повсюду стал доступен дешевый каменный уголь и холод уже не вынуждал людей тесниться друг к другу, телесная дистанция между людьми выросла как никогда прежде. Только теперь, когда все больше молодых людей стали спать в одиночку, мир онанических фантазий мог широко развернуться и обрести свою тревожную навязчивость. В то же время сексуальная фантазия стимулировалась с другой стороны. Благодаря общему увеличению телесной дистанции между людьми, сокращение этой дистанции в сексе приобрело черты чего-то экзотического и даже извращенного, что еще больше будоражило и возбуждало фантазию. В то время, когда люди еще постоянно и с головы до ног были упакованы в одежду, представление о голой коже несло в себе мощный заряд, что трудно постичь сегодня. Одиночество онанизма позволяло разыгрывать такие фантазии без всякого предела и стимулировать их в повышенном темпе. Молодой человек невольно доходил до границ своей потенции и переживал фрустрацию, которая разрушала весь мир фантазий и оставляла после себя нервозное бессилие, знакомое многим неврастеникам.

Онанизм поставлял тогда массу материала для тяжелых размышлений, усиливавших напряжение. Чем больше о нем думали, тем меньше уверенности было в том, насколько он действительно опасен. Разве с физиологической точки зрения онанизм не был равен половому сношению, а это последнее разве не считалось естественным и здоровым? Одни сведения усиливали страх, другие развеивали его. В зависимости от того, что было в данный момент актуальным — желание онанировать или разочарование от него — невротик колебался в ту или иную сторону. Даже для такого человека, как Фрейд «вопрос о вреде онанизма» был неприятен, потому что здесь он и сам терял уверенность. Так, его раздражало, что «весь мир», кажется, «ничто кроме онанизма не интересует». Однажды он назвал мастурбацию «первичным пристрастием», а никотиновую зависимость — его заменой (см. примеч. 120). Однако медицина того времени оставляла и проблески надежды. Этим отчасти объясняется, что многие пациенты столь вызывающе и подробно начинали рассказывать о своих

проблемах с онанизмом, хотя тема эта считалась в высшей степени «неловкой». Ее обсуждение и рефлексия, видимо, несли в себе некое освобождение, и пациент лелеял надежду узнать что-то утешительное.

Однако ответы врачей были почти всегда неоднозначны. Для литературы по неврастении типичны обходные маневры в обсуждении онанизма, причем иногда они кажутся тактически просчитанной игрой. Постоянно встречается одна и та же модель: сначала автор устраивает энергичный отпор преувеличенной панике, которую он представляет как происки нечистых духов, в заключение же более изящным способом сам высказывает тревоги и неуверенность. Пауль Фюрбрингер, автор статьи об онанизме в «Реальной энциклопедии медицинских наук» Эйленбурга (1888), пишет, что обнаружил «среди честнейших и надежнейших специалистов резко противоположные взгляды» на эту тему. Сам он пытался лавировать между «за» и «против» и петлял туда-сюда. Да, с точки зрения физического воздействия онанизм и коитус «совершенно идентичные действия». Однако онанизм склонял к излишествам и к осуществлению действия даже без эрекции, из-за чего приводил к неврастении. В заключение он со свирепым удовлетворением описывает, как «одного молодого парня, которому не помогали никакие поучения и наказания, он исцелил тем, что острыми ножницами запросто отрезал ему переднюю часть крайней плоти, а у одной молодой дамы, которую даже в обществе преследовали ее ужасающие (sic!) влечения, вызвал значительное улучшение многократным прижиганием вульвы». И в то же время он не стеснялся признавать, что в основном «на длительный срок подобные процедуры [...] совершенно бездейственны» (см. примеч. 121).

Неужели все эти врачи были слепы? Вряд ли. Очевидно, думать иначе тогда было нельзя, даже будучи свободным от предрассудков. Нельзя забывать, что в вопросе о воздействии онанизма на психику существовала не одна только объективная истина — были и субъективные, и обусловленные эпохой. Медицинские учения об онанизме основывались тогда на субъективных истинах, а они формировались в процессе обмена опытом между врачом и пациентом: это просматривается во многих историях пациентов. Неврастеники, и без того склонные к эгоцентризму и робости перед противоположным полом, посредством онанизма лишь подпитывали собственную слабость — и в этом смысле были правы, воспринимая самоудовлетворение как опасное деяние.

Логика медицинской науки того времени не объясняет чудовищного страха перед онанизмом. Скорее его можно объяснить исходя из идеала соединения секса и любви, из культа эроса. Лучшим примером служит чрезвычайно популярный труд Крафт-Эбинга «Половая психопатия»,

в котором он рисует кошмарные последствия мастурбации в нежном возрасте. «Онанизм не дает распуститься зачаткам идеальной любви, он лишает растущий цветок его красоты и аромата и оставляет только грубое животное стремление к половому удовлетворению». В мастурбанте «погасли все искры живого чувства, в нем нет жара здорового полового влечения; он, кроме того, не верит в свои силы, ибо все мастурбанты в большей или меньшей степени отличаются малодушием и робостью»[56] (см. примеч. 122). И ввиду традиционных обвинений в адрес «шарлатанов» неожиданно оказывается, что панику перед рукоблудием, как видно, нагнетали и авторитетные ученые.

Есть немало свидетельств коллективной одержимости мыслями об онанизме. Из школ, прежде всего интернатов, кадетских корпусов и казарм, сообщалось о «массовом онанизме» и «онанизме на спор». Смущение медиков здесь понятно. Однако реакция некоторых реформ-педагогов и натуропатов граничит с истерикой. «Любое половое возбуждение чудовищно перенапрягает нервный аппарат сердца», — предупреждает фрайбургский врач в журнале «Der Naturarzt»[57] 1905 года, а еще один, доктор наук, в 1907 году пишет в «Reformblätter»: «Если бы холодные стены спален, уборные и другие потаенные уголки интернатов могли говорить — каким пронзительным воплем ужаса отдалась бы в сердцах родителей эта противоестественность». Он порицает даже «фривольное чтение античных классиков, которому столь старательно предаются в элитарных школах». Действительно, тайное, почти позабытое сегодня обаяние античного наследства состояло когда-то в приобщении к сексуальной морали, далекой от буржуазной. Каким же хаосом сексуально-гигиенических сигналов было окружено подрастающее поколение! Вето по отношению к сексу уже давно не было столь однозначным и категоричным и не могло заглушить остальные сигналы. При желании вполне можно было найти доказательства того, что онанизм и сексуальные «эксцессы» по крайней мере в определенных (но каких?) границах вполне безобидны. Однако никогда не знаешь наверняка — и если после запретного акта возникало чувство опустошенности, этому всегда можно было придать глубокое и губительное для здоровья значение. Это был тот самый способ, каким возникло душевное состояние, называемое тогда неврастенией (см. примеч. 123).

Еще один лейтмотив в историях неврастеников — страх перед сифилисом. «Сифилисофобия» встречается даже как устойчивый термин. Эти страхи также легко порождали преломленное отношение к сексу и со-

[56] Цит. по: *Крафт-Эбинг Р.* Половая психопатия. М., 1996. С. 290, 291.

[57] Натуропат (*нем.*).

стояние общей тревожности и ипохондрии. Страх заболеть сифилисом имел не только психические, но и совершенно реальные физические основания. Курс лечения, при котором в кожу больного втирали ртутную микстуру, следствием чего были такие явные неприятности, как выпадение зубов, наносил нервной системе не только мнимый, но и совершенно реальный вред. Ужасы этих «втираний» описал в автобиографии Стефан Цвейг: несчастный пациент чувствовал себя «существом падшим, не только душевно, но и физически»[58] и при этом даже по окончании не был уверен в излечении от люэса[59]. В то же время у ртути имелась армия едва ли не фанатичных сторонников. Иван Блох[60] прославлял ее как «божественный меркурий» и проклинал ее противников, так что литература, как и в случае онанизма, предлагала контрастный душ из страхов и надежд, придававший «сифилисофобии» неврастенический характер. Иные неврастеники лавировали между двумя страхами — перед онанизмом и перед сифилисом: отправляясь в публичный дом, чтобы побороть онанизм, они попадали из одной неприятной ситуации в другую, еще более неприятную. Во многих биографиях «сифилисофобия» встречается не отдельным эпизодом, но в тесной связи с характером человека, накладывая отпечаток на личность в целом (см. примеч. 124).

В 1911 году в Шарите направился 20-летний служащий с «ипохондрической неврастенией». Он жаловался на головные боли и тяжелые депрессии. Некогда он работал сапожником на химической фабрике, но теперь уже полтора года как был безработным. С того же времени, как он сам говорил, у него начались «эти головные боли и мерцание перед глазами». Прежде он не был «нервным»; корень своих бед он подозревал в гонорее, которую подхватил в 1909-м. Сразу же у него появился

[58] Цит. по: *Цвейг С.* Вчерашний мир / пер. с нем. Г. Кагана. М., 2004. С. 64. Цвейг также вспоминает, что «на улицах Вены на каждом шестом или седьмом доме можно был обнаружить табличку “Специалист по кожным и венерическим заболеваниям”», что он связывает с тактикой постоянного напоминания молодежи об опасности «в то псевдонравственное время», когда «жизнь была гораздо драматичнее», но и «гораздо более непристойной, неестественной и вместе с тем более удручающей» (Там же).

[59] Люэс — устаревшее название сифилиса.

[60] Блох Иван (1872–1922) — немецкий врач, венеролог и сексолог, определявший сексологию как междисциплинарную науку, выводя психиатрию на более широкое поле культуры — отсюда и специфика его популярных сочинений: «Сексуальная жизнь нашего времени в ее отношениях к современной культуре» (1907), «История проституции» (1912, 1925), «Заблуждения человеческой любви, а также популярное до сих пор исследование о культуре и нравах эпохи Маркиза де Сада» (1900, 1915, 1965, 1978, 2007). С Эйленбургом основал в 1914 году журнал «Сексология и евгеника».

панический страх перед сифилисом. К страху за здоровье у него примешивался страх утратить работоспособность, которую он определял по критериям самостоятельного предпринимателя. При этом ему было неприятно признаваться в своих страхах, возможно, поэтому ему удобнее говорить о «нервозности»: «Страх? Скорее нет, лишь своего рода беспокойство». «Раньше я был более самостоятелен», теперь же приходится говорить ему, что надо делать. «Никакого духа предпринимательства». Раньше мог работать, работал с удовольствием, сейчас ни к чему нет желания. «Будто заживо похоронен». Думает, лучше бы умер, совершенно растерян от такой болезни. Лучше лишиться на руке пальца, тогда хоть работать можно. Врачи ему якобы сказали, что у него сифилис мозга, и ведь это так ужасно. Если он качает головой, то слышит внутри какой-то хруст. [...] Непрестанное внутреннее беспокойство, потому что все у него не так, как хотелось бы. «Ощущение такое, будто у меня размягчение мозга. [...] Когда делаю вдох, вся грудная клетка трещит, я совсем выхожу из строя. Я раньше любил работать, теперь же энергию во мне будто переломили»» (см. примеч. 125).

С первого взгляда не понятно, почему страх сифилиса разбушевался именно на рубеже веков, ведь в самой инфекции не было ничего нового, во времена Лютера люэс свирепствовал куда более убийственно, чем в XIX веке. Однако только сейчас удалось доказать его отсроченные последствия — поражение нервной системы, завершавшееся параличом мозга. Тогда же обратили внимание на возможность наследственной передачи сифилиса. В 1880 году была обнародована статистика, согласно которой три четверти паралитиков имели в истории своей болезни сифилис. Именно в этот период сифилис оказался неразрывно связан с представлениями о слабоумии и дегенерации. Крепелин провозгласил «открытие, что паралич возникает вследствие сифилиса [...] крупнейшим на сегодняшний день шагом в изучении условий возникновения безумия». Однако это было одной из тех типичных ловушек, когда успех диагностики намного опередил успех терапии и вызвал еще больший ужас у больных. Гигиеническое просвещение народа на рубеже XIX–XX веков еще сильнее разжигало эти страхи. Экспозиция по венерическим болезням, составленная врачом Ойгеном Галевски и представленная на Дрезденской международной гигиенической выставке 1911 года[61], в устах народа именовалась «Камера ужасов Галевски». Тогда же появились передвижные выставки, на которых демонстрировались муляжи — восковые модели, воспроизводящие натуральные объекты с симпто-

[61] Сегодня — Немецкий музей гигиены. После упоминаемой выставки был основан в 1912 году как Народный учебный центр гигиены.

мами сифилиса. Эффект их был оглушающий: наблюдатели отмечали внезапную бледность и могли «узнать того, в ком муляжи пробудили нечистую совесть или память о давно забытых грешках». На рубеже веков сифилис, как никогда прежде, стал считаться одной из главных проблем общества. Возникла международная лига борьбы с сифилисом, а в 1899 и 1902 годах в Брюсселе были проведены две крупные конференции по венерическим заболеваниям (см. примеч. 126).

Все это повлияло и на неврастеническую волну, так как общая картина неврастении в значительной части совпадала с картиной ранней стадии прогрессивного паралича. Страх «невротиков» впасть в безумие вовсе не был лишь плодом тревожной фантазии — зачастую он имел под собой вполне реальное основание. Паралич постепенно научились определять на ранних стадиях, но еще в 1896 году Отто Бинсвангер считал, что его трудно отличить от неврастении. В 1906 году появился тест Вассермана[62]. В 1910 году два психиатра заверяли, что без него «они бы уже не хотели быть психиатрами». Но и этот тест был поначалу крайне неточным. В 1910 году широкую славу как спасение от сифилиса приобрел препарат сальварсан, разработанный в компании «Хёхст» на основе препарата Пауля Эрлиха «606». Однако вскоре разразилась «сальварсановая война» и выяснилось, что и на этот препарат не всегда можно надеяться, к тому же он имеет коварные побочные эффекты. Полный триумф над сифилисом принес лишь пенициллин — десятилетиями позже. До 1914 года проблема сифилиса не давала покоя, и в последние годы перед Первой мировой войной боязнь сифилиса стала движущей силой народной реформы жизни. Об этом говорит, среди прочего, невероятный успех романа Германа Поперта «Гельмут Харринга» (1910) в кругах молодежных движений. Эта книга была страстным призывом против культуры пивных и казино: молодой плейбой, подхватив сифилис, производит на свет умственно отсталых детей и приносит гибель невинной жене, а благородный герой, посетив после кутежа заведение в районе красных фонарей и также заразившись, бросается в море, чтобы не стать причиной подобных вещей. Каким идеологическим зарядом обладала сифилисофобия, можно проследить вплоть до гитлеровской книги «Моя борьба» («Mein Kampf»). Через представление о евреях как хозяевах ночной жизни формируется цепочка ассоциаций «еврейство — сексуальное сверхвозбуждение — проституция — сифилис — расовая дегенерация», развязавшая убийственный гитлеровский антисемитизм (см.

[62] «Реакция Вассермана» — метод диагностики сифилиса, предложенный иммунологом Августом Вассерманом.

примеч. 127). Однако в историях неврастеников времен кайзеровской Германии я ни разу не встретил какой-либо связи между страхом перед сифилисом и ненавистью к евреям.

Собственно, многие неврастеники не меньше сифилиса могли бы бояться туберкулеза, ведь главным риском для жизни была тогда медленная смерть от чахотки. Ранняя стадия и здесь была сходна с ранней стадией неврастении, как и вообще туберкулез «нередко сочетался с ярко выраженной неврастенией». В 1882 году, вскоре после появления «Неврастении» Бирда, Роберт Кох публично сообщил об открытии туберкулезной бациллы и вызвал тем самым волну страхов заражения. Однако же боязнь туберкулеза редко принимала невротические формы. В сообщениях неврастеников эта фобия обнаруживается очень редко. Одна из причин заключалась, вероятно, в том, что туберкулез не представлял собой ничего постыдного и не приводил к безумию. Однако главным, скорее всего, было то, что чахотка не била неврастеника по самому больному — она не вселяла в пациента сексуальную неуверенность. Легочный больной со времен романтизма считался привлекательным, чувствительным и чувственным.

В историях неврастеников страх перед чахоткой так просто не найти. Вот случай портного, 53 лет, которого судьба перебросила из Люнебургской пустоши в Берлин за стойку трактира, и тяжелый городской воздух был для него мучителен. Но и в его анамнезе общим фоном проступают боязнь сифилиса и сексуальная фрустрация: в 25 лет он заразился, прошел через курс «втираний» и получил смертельный страх. Он так и не женился. В 1909 году в Шарите его признали «ипохондричным неврастеником с псевдодеменцией». Однако уже через неделю его перевели в легочную клинику Вальдхаус Бух — т.е. он не был чистым ипохондриком? В Шарите он сообщил, что приехал, «чтобы как следует восстановиться, чтобы вновь быть полноценным человеком». «Вы больны?» «Ну да, я это и имею в виду. Такая тяжелая жизнь, а толку никакого. Я все время боюсь, что, находясь рядом с людьми, меня окружают дурные испарения. Там все время приходится вдыхать чужие испарения. Они так много плюют». (В то время главным оружием против туберкулеза стала плевательница.) «Сейчас мне приходится бегать за воздухом, а ведь раньше бегал за деньгами». Ему «может, стоит жениться, чтобы человеческие части (sic!) пришли в движение. Чего-то ему не хватает, он не знает, чего именно». Действительно ли не знает? «Быть полноценным человеком» — для него это, очевидно, означало: глубоко и свободно дышать, спать с женщиной, позволять себе отдых. В 1900 году он хотел поехать на Всемирную выставку в Париж и в Испанию — в этом тоже

проявлялось его желание вырваться. Как и многих других пациентов, его не так легко подвести под стереотипные представления о классовом менталитете (см. примеч. 128).

Страх перед онанизмом и сифилисом часто наносил удар по либидо и пробуждал еще одну тревогу: боязнь проблем с потенцией. Больше всего невротиков беспокоило преждевременное семяизвержение, *ejaculatio praecox* считалось буквально «монограммой неврастении» (см. примеч. 129). Здесь как нигде возбудимость оборачивалась слабостью. Чем больше сексуального желания проявляла женщина, тем сильнее мужчина опасался своей несостоятельности. В историях неврастеников нередко слышны мучительные переживания как в ожидании свадьбы, так и после заключения брака, когда мечты обернулись разочарованием.

В 1904 году в Бельвю — очевидно, с собственного согласия — на целый год приехал 20-летний гимназист. Бинсвангер записал его как неврастеника, но сам он считал свой случай более тяжелым. Его состояние яснее всего передает длинное и совершенно откровенное письмо, написанное им из клиники отцу. Гимназист жаловался, что свою жизнь в последние месяцы он может назвать только «адскими муками» и «дьявольской болью». «Если бы я не был ненормален, или, скорее, не был полным, насквозь патологичным извращенцем, если бы я был простым неврастеником, я бы скрепя сердце сказал: господа, я из-за неврастении отстал в развитии и т.д. Каждое существо женского пола било меня прямо в сердце: Ты ненормальный, ты ненормальный! *Ты не можешь совокупляться!* [Курсив в оригинале. — *Й. Р.*] Ты извращенный садист!»

Понятия «извращенец», «патологичный» и «садист» он взял из вокабуляра своих врачей. Навязчивая идея, что он «ненормальный», тянется красной нитью через все письмо и означает главным образом «психологическую импотенцию». По его словам, один врач сказал ему, что «заядлые онанисты» (он пишет «о...сты») — «психологически импотентны». Он в курсе, что импотенция связана с психикой, а не с пенисом, но его это не утешает. Его мучает мысль о собственном онанизме, но не менее мучительно и отказать себе в нем. По его словам, всякий раз его одолевало «ужасное настроение»: «Чувственный инстинкт вопил об удовлетворении, как голодный зверь. [...] Целый день я игрался с членом, т.е. испытывал половое желание, но вдвойне тяжела была нечеловеческая энергия, чтобы не о...ть! Шепотом я выкрикнул “Нет!”, выпрямляясь со всей силой. Голова горела, губы пылали. Но победа была одержана».

В конце концов врач разрешил ему три визита в бордель в Констанце и даже дал ему на это 10 марок. Однако посещения борделя оказались «совершенно безрезультатными». Во многих отношениях мучения гим-

назиста отмечены чертами эпохи. Противоречие между страхом перед сексом и навязчивой идеей о необходимости обладать мощной мужской силой доходит до крайности. Его терзает современный ему идеал нормального человека. Но вместе с тем он склонен к старомодным эмфатическим излияниям чувств, которые у молодых людей XX века уже вышли из моды (см. примеч. 130).

Эпоха гигиены, когда между людьми увеличивалась физическая дистанция, а телесные контакты стали ассоциироваться с грязью и бациллами, породила крайне разнообразные психологические реакции: кто-то со всей серьезностью следовал новым правилам гигиены, а кого-то, наоборот, привлекали опасности свободного секса. Бойкая вдова Анна из пьесы Франка Ведекинда[63] «Маркиз фон Кайт» (1900), разделила людей «на две большие группы: одни — это гоп-гоп, другие — эти-пэти»[64]. Прочитав множество историй неврастеников, очень хорошо понимаешь, что имел в виду автор.[65] Но соль в том, что многие из группы «гоп-гоп», как сам Ведекинд, рано или поздно попадались в ловушку сифилиса или как минимум сифилисофобии, а многие из «эти-пэти», такие как нежный 15-летний Герман, с которым заговаривает Анна, охотно сыграли бы в группе «гоп-гоп». Оба варианта вели к неврастении. Гигиена тоже привлекала пристальное внимание к телу.

К тому, что прежде понимали под «гигиеной брака», относилось и предупреждение беременности. В то время оно называлось «неомальтузианство» или «супружеское мальтузианство»[66] и в некоторых специ-

[63] Ведекинд Франк (1864–1918), в свое время один из самых популярных драматургов художественного модерна, автор скандальных пьес «Пробуждение весны» (1981), которую в России ставил Мейерхольд, и «Ящик Пандоры» (1902), которая легла в основу незаконченной оперы Алана Берга «Лулу». Тексты Ведекинда, среди прочего, перерабатывают и современные ему психопатологические теории — например, фон Крафт-Эбинга — в садо-мазохистские сюжеты и мотивы.

[64] Цит. по: *Ведекинд Ф.* Маркиз фон Кайт / пер. с нем. О. Норвежского. СПб., 1908. С. 39.

[65] То есть противопоставляются «раскрепощение, неразборчивость, любопытство, беспорядочность» (*hopphopp*) и «закрепощенность, разборчивость, традиционность, порядочность» (*etepetete*), что с легкостью проецируется на половые связи — неспроста Анна в самом начале разговора кладет Герману руку на плечо.

[66] Неомальтузианство рекомендовало стремиться к ограничению деторождения. В отличие от воздержания от полового акта, которое в конце XVIII века предлагал основатель мальтузианства, английский ученый Томас Мальтус, стали распространяться рекомендации о применении безвредных средств для предупреждения зачатия.

альных трудах считалось главной причиной неврастении. В особенности это касалось *Coitus interruptus*, который, как писал в своей книге о неврастении 1900 года Крафт-Эбинг «с недавних пор получил широкое распространение». Даже Фрейд с 1893 года, когда они с женой приняли решение отказаться от дальнейших детей, неоднократно называл «неполноценное сношение» одним из главных источников неврастенических жалоб, и его мнение разделяли тогда многие неврологи. Несмотря на это, в выборке из 114 мужчин, страдающих сексуальной неврастенией, Крафт-Эбинг в 88 случаях устанавливает в качестве причины онанизм и один-единственный раз — прерванный половой акт (см. примеч. 131).

Трактовка «акта с предохранением» как «насилия над естественным инстинктом» связана с определенным представлением о мужском желании, о том, что суть сексуальности состоит в неуклонном и безудержном повышении градуса вплоть до оргазма. Однако у «прерванного акта» имелся и политический аспект. Дело в том, что в последнее десятилетие перед Первой мировой войной в Германии как в левых, так и в правых кругах горячо обсуждалось снижение рождаемости. Наивысшего накала это обсуждение достигло в 1913 году, когда некоторые социал-демократы призвали женщин рабочего класса к «забастовке родов»[67]. В ответ последовали яростные протесты со всех сторон: кто-то увидел в такой «забастовке» угрозу народным силам и добрым немецким традициям, кто-то — опасность для пролетариата и «здоровой чувственности» — тема пересекала границы политических фронтов. Нет сомнения: репродуктивное поведение немцев изменилось, и в этом выразилось глубочайшее изменение менталитета, охватившее все социальные слои. Невролог Ригер[68] считал время рубежа веков «крайне неомальтузианским». Фридрих Науманн, как пишет его биограф Теодор Хойс, был перед 1914 годом сильно обеспокоен «резким падением рождаемости среди людей с высоким жалованием» и установкой, стоявшей за этим явлением: «Их бездетность — оборотная сторона их добродетелей. Они болезненно пунктуальны, аккуратны, расчетливы. [...] Рабочая сила, но не жизненная!» Историк Рейнгард Шпрее отмечает у мелкой буржуазии Германии отчетливый поворот к ограничению рождаемости с 1905 года. Та же тенденция наблюдалась у квалифицированных рабочих: в их среде рас-

[67] «Забастовка родов» выросла на фоне опального «контроля за рождаемостью», против которого выступали Клара Цеткин и Роза Люксембург.

[68] Ригер Конрад (1855–1939) — немецкий психиатр, ученик Шарко, друг Крепелина. Внес существенный вклад в развитие психиатрии как институции: в Вюрцбурге он основал психиатрическую клинику, которая не только служила лечебницей, но и функционировала как научно-исследовательский институт.

пространилась точка зрения, что путь к лучшей жизни проходит через контроль над сексуальностью, в то время как многодетность ассоциировалась скорее с бедностью и глупостью. Социальное страхование привело к тому, что рабочие уже не так нуждались в детях для обеспечения собственной старости. В 1913 году, том самом, когда шли дискуссии по поводу «забастовки родов», вышло исследование дерматолога, писателя и сиониста Феликса Тайлхабера «Стерильный Берлин». В книге он вспоминает, что еще в 1880-е годы в Берлине преобладал типаж рабочего, который, зачастую только выбравшись из деревни, «в чистом чувственном желании, первозданно» и наобум начинал производить на свет детей, не думая о последующих затратах. Теперь это принципиально изменилось. Как «тысячекратно» показывает повседневность, «даже самые простые люди используют для предохранения чрезвычайно изобретательные средства, не всегда известные даже специалисту» (см. примеч. 132).

Питер Гай считает, что технологии XIX века уже обеспечивали «беспримерно надежные и удобные противозачаточные средства». Это явно не так, хотя в конце века их активно рекламировали. Но еще в 1914 году Гротьян жаловался, что при надевании резинового презерватива мужчина ощущает глухое чувство, а само его использование вызывает отвращение. Уже с 1882 года в Германии была известна влагалищная диафрагма, но применялась она, видимо, не так часто, так как была дорогой и установка ее требовала медицинского вмешательства.

«Черт бы побрал все эти губки и колпачки, а с ними и все спринцевания», — ругался Георг Хирт. Попытки технизировать противозачаточные средства вызывали тогда одни неприятности: в этом пункте Фрейд был, наверное, прав. Однако во Франции предупреждение беременности с успехом распространилось еще со времен революции, причем без каких-либо новых технологий и химии. Видимо, не случайно в Германии оральный секс до сих пор считается «французским». Хотя французские труды по неврологии конца XIX века при случае упоминают превентивный секс как причину неврастении, но лишь как одну из многих. С точки зрения французских экономистов, сексуальное желание и зачатие удалось «без особых усилий» развести еще до 1914 года. Как видно, «мальтузианская установка» (Цибура) воздействовала и на сексуальную жизнь (см. примеч. 133).

А что же немцы — они были настроены иначе? Бросается в глаза, что «брачное мальтузианство» как фактор неврастении играет куда большую роль в специальной литературе, чем в историях болезней. С триадой из страхов — перед онанизмом, импотенцией и сифилисом — оно ни в какое сравнение не идет. Непривычный и странный случай «маль-

тузианской» неврастении известен из фрейдовского круга. Речь идет об одном профессоре медицины из Вены. Как пишет его домашний доктор, он был «неврастеничен в течение нескольких лет и очень возбужден». Имел гомосексуальные наклонности, которые ему в своем положении, конечно, приходилось скрывать, и удовлетворял их через мастурбацию. Позже стал принимать морфий — не только из-за бессонницы, но и для того, чтобы преодолеть свои «извращенные» половые привычки, — и постепенно стал морфинистом. Ко всем напастям добавилось то, что на работе он заразился люэсом. Он женился, однако сексу с женой всегда предпочитал онанизм. После рождения двух детей пара решила отказаться от дальнейшего потомства. «Лишь с началом "супружеского мальтузианства" он постепенно утратил способность к половому акту с женщиной, и, вероятно, в течение шести-семи лет стал полным извращенцем». Затем случилось крайне неприятное событие: застрелился племянник профессора, и при расследовании этого случая в доме появился полицейский. Тут у профессора случилась эрекция, его охватило сильнейшее гомосексуальное желание, и он бродил по венским писсуарам, пока ему не удалось поцеловать возбужденный пенис. После этого он и сам хотел застрелиться от стыда. Однако вместо этого отправился к Бинсвангеру на Боденское озеро. Тот похвалил домашнего доктора, что он навел пациента «на правильный след» и подтвердил, что во «всех невропатических отклонениях» профессора виновато «в первую очередь сексуальное извращение, проявляющееся у него припадками». Этот пациент — «невропатик *per exellence*». «Мальтузианство» в его случае означало отказ от любого сексуального контакта в браке, однако такой отказ дался профессору без труда. Очевидно, «супружеское мальтузианство» послужило лишь спусковым крючком тяжелого жизненного кризиса, подлинной причиной которого была невозможность предаться своей гомосексуальной наклонности (см. примеч. 134).

Иван Блох, поборник контроля над рождаемостью, в 1907 заверял, что сегодня прерванный половой акт считается среди медиков далеко не столь вредным явлением, как прежде. Хотя о некотором вреде говорит «частота невротических расстройств в промежутке между обручением и браком» — т.е. в период, который один коллега обозначил как «сплошной прерванный половой акт», — серьезность такого вреда ничто не доказывает. Уролог Александр Пейер при изучении прерванного полового акта услышал от одного опытного коллеги: «Да кто же этого не делает?» Пациентов предостережения врачей не пугали — верный признак того, что медицина вызывает страх, лишь когда попадает в резонанс с собственным опытом пациента. Один немецкий крестьянин на предупреждение

об опасности прерванного полового акта невозмутимо возразил, что такого не может быть, иначе бы все люди были больны (см. примеч. 135).

Самым надежным способом предохранения было воздержание — но не вредило ли оно здоровью? На рубеже веков этот вопрос горячо обсуждался и в медицине, и за ее пределами. Иван Блох полагал, что расхождения здесь как нигде резкие. Август Бебель эмоционально признавался в том, что считает секс источником молодости; ни одному отзыву на его книгу «Женщина и социализм» он не уделял столько внимания, как атаке Альфреда Хегара[69] на его гимн сексу. Однако противоположная позиция далеко не всегда отдавала реакционным душком. Часть медиков считала последним словом в науке сексуальную аскезу, в то время как совет жить веселее, сопровождаемый ухмылками и псевдолютеранской цитатой о «вине, женщине и песне», у новых «апостолов гигиены» ассоциировался скорее со старыми, не вполне стерильными докторами (см. примеч. 136).

В общем и целом, многие сексуальные проблемы того времени объяснялись не репрессиями по отношению к сексу, а скорее нервными метаниями между различными тенденциями культуры. Гельпах позже замечал, что около 1890 года «необыкновенно быстро» рухнула «великая буржуазная идея девственности». «В истории нравов столь быстрые изменения были редкостью». В англо-американском мире произошел сходный поворот, и табу с секса было снято. Однако создается впечатление, что в Германии конфликт между сексуальной фантазией и реальным поведенческим репертуаром и, более того, между культом гигиены и культом силы был наиболее острым и подспудно связан с политическими проблемами. Дэвид Герберт Лоуренс, по личному опыту знавший сексуальные ниши вильгельмовской Германии, в романе «Любовник леди Чаттерлей» рисует Германию с точки зрения жителя викторианской Англии как страну эмоциональной и сексуальной свободы. Макс Вебер, связанный с Лоуренсом через общую дружбу с сестрами Эльзой и Фридой Рихтгофен, временами впадал в настоящую ярость по поводу того, что в Германии не хватает жестко-аскетической традиции. Даже Иван Блох, которого никак нельзя назвать пуританином, утверждал: поскольку «мы» во всех чувственных радостях чрезмерны, «поэтому и любим в три раза больше» (см. примеч. 137). Однако стоило человеку модерна побороть в себе моральные сомнения, как его начинали одолевать страхи медицинского толка.

[69] Хегар Альфред (1830–1914) — немецкий гинеколог, предложивший «симптом Хегара» для ранней диагностики беременности. Выступал за отрицательную евгенику и расовую гигиену.

Случай коммивояжера из Берлина (К. Л.), который в 1904 году в возрасте 35 лет был доставлен в Дальдорф и произвел там впечатление «чрезвычайно нервного» человека, служит примером, как типичная для городской жизни той эпохи смесь из сексуальной свободы и неуверенности, усугублявшаяся нестабильной работой, вызвала длительный тяжелый невроз. Немалую лепту в поддержание этого невроза внесли и сами медики. К. Л. с чрезвычайной подробностью излагает на бумаге историю своей жизни и своей болезни. Как и в других историях, его физическая неуверенность началась с гонореи, а затем лишь обострялась из-за врачебных рекомендаций вкупе с собственной ипохондрией. «Уже в школьные годы я страдал от постоянных головных болей, озноба и состояний нервозности. В 1889 году я оставил школу и начал учиться банковскому делу, [...] став коммивояжером на фабрике конфитюра. В 1897 году умерла моя мать, и я по протекции дяди получил место на берлинской бирже. В 1898-м я заболел плевритом и получил (дополнение: гонорею и) вместе с тем мысль, что могу сойти с ума, а поскольку я думал об этом, я боялся, что тем скорее это произойдет». Годы между 1898-м и 1904-м были наполнены боязнью заболеть, лечением, прохождением различных курсов, сменой работы и любовными историями:

> «В 1896 году в одном танцевальном баре в Темпельхофе я познакомился с девушкой, с которой у меня завязались отношения. Она жила у одной акушерки и недавно у нее родилась девочка, поэтому она поссорилась с отцом [...]. Моя связь с ней продолжалась до 1898 года, и я разорвал с ней, когда умерла моя мать, поскольку с тех пор все мне сделалось противно. [...] (В 1898 году он начинает любовную связь с "фройляйн Н.", причем его отец "терпит эти отношения".) Мой дядя, когда я задумался о том, что могу сойти с ума, сначала не имел ничего против моей связи, однако позже запретил мне любые дальнейшие сношения с этой девушкой. [...] В августе 1900 года я потерял место, так что пришлось отказаться от квартиры и продать мебель. Я раздобыл для фройляйн Н. место продавщицы в одном торговом доме, а сам стал корректором у Рудольфа Моссе и Германа Герсона, но долго не выдержал. [...] В 1902 году, вскоре после того как я вышел из лечебницы профессора Лэра, однажды вечером я увидел — в то время я пил шнапс и пиво, — как мой кузен целовал фр. Н. Наши отношения тем не менее сохранились. Фр. Н. временами меня поддерживала, поскольку я часто оставался без работы, и мне казалось, что она давала мне деньги не из собственных средств, а передавала их для меня от родственников, поскольку профессор Лэр советовал мне работать и говорил, что я вполне здоров. Я в то время очень страдал, поскольку не мог выполнять никакую работу, а мой дядя заботился обо мне мало. Следствием этого было, что я попал в Шарите, а оттуда в Каппельн в Шлезвиг-Гольштейне, и поэтому мои отношения с фройляйн Н. прекратились. Вернувшись оттуда в Берлин, я стал искать работу, и поскольку у меня никого не было, кто бы обо мне заботился, искал также какую-либо женщину, только

не проституток. Я еще должен заметить, что профессор Лэр запретил мне общение с фройляйн Н., чтобы мне снова не потерять дом моего дяди. Следствием этого было, что у меня никого не осталось. [...] Я искал какую-то другую связь, и у меня ничего не получалось, поскольку любая девушка шарахалась от моего возбуждения и через короткое время исчезала. (Он начинает связь с женщиной, которая иногда "помогала ему деньгами".) От нее я снова заразился триппером и лечился от него шесть недель в клинике на Урбане. Первые четыре недели она регулярно навещала меня, и вдруг внезапно исчезла без всяких причин, что меня очень сильно задело и привело к новому припадку нервного расстройства. [...] Если бы мне кто-то раздобыл место [...], тогда бы мне не нужно было, чтобы женщина помогала мне деньгами. Болезнь уйдет, если не будет проблем со средствами, и я мог бы вести достойное существование, как говорил моим родственникам врач из Шарите».

Врачу в Дальдорфе он объяснял, «если он ведет половую жизнь, то все хорошо, он прибавляет в весе и поправляется; теперь же «настал коллапс» (см. примеч. 138).

Возникает заколдованный круг: отсутствие работы ведет к тому, что он не может содержать женщину; беспорядочные связи приводят к новым заражениям гонореей; как следствие — возникает ужас перед потенциальным безумием; эти страхи в свою очередь блокируют его профессиональную активность. Что-то из этого кажется чистой ипохондрией. Но мучает его не одна ипохондрия, но и размышления о ней и мысли об этих размышлениях. А больше всего его мучают последствия этих навязчивых мыслей для практической жизни.

К. Л. объясняет истоки своего расстройства не обстоятельствами времени, а своими личными особенностями. Как и многие другие неврастеники, через опыт своего недуга и знакомство с разными лечебными инстанциями он конструирует собственную биографию и вместе с ней — идентичность. Однако за строками его истории перед глазами читателя отчетливо вырастает Берлин начала XX века — с его прессой, биржей, его стремительным темпом, вечно гоняющимися за заказами коммивояжерами: миллионный город, чье выматывающее воздействие на нервы существовало не только в воображении реакционно-романтических критиков культуры.

Во многих отношениях жизнь К. Л. проходит на грани между традиционным мелкобуржуазным обществом и обществом крупного индустриального города — это касается положения в обществе, образа жизни и сексуальных норм. К. Л. не выбирает четкого профессионального пути, он постоянно меняет работу, однако в то же время старается не утратить связей с родственниками, прежде всего с дядей, и даже в 30-летнем возрасте позволяет ему вмешиваться в собственную личную

жизнь. При этом он был убежден, что половая жизнь — основа душевного здоровья. Поэтому любая терапия нервов — будь то заведение Лэра или родственники в деревне — обременена для него дилеммой, что она лишает его самоутверждения в сексе. Любопытно, как в его случае нервозность и терапия образуют самовоспроизводящуюся систему.

Во многих историях неврастеников обнаруживается врачебная помета «in Baccho et Venere excediret». Формула «Бахус и Венера», которая несла в себе нечто забавное и раскрывала над спертым воздухом трактиров и борделей высокое небо античных богов, пришла из студенческого жаргона. Она отсылала к определенной модели мужского поведения, богатой традициями, порой даже ритуализированной — как было принято в мире студенческих корпораций и офицерских казино: сначала общая попойка, затем дружный поход в бордель. К тяжелому утреннему похмелью примешивался страх перед сифилисом, особенно на фоне активного народного просвещения о венерических заболеваниях.

Однако служило ли это типичным источником неврастении, не ясно. По собственному опыту врачебное сословие имело далеко не негативное отношение к алкоголю, в кабаках студенты-медики распевали: «У врача бездонна глотка, поскорее наливай, / Не допил еще вторую, ему третью подавай!» Рудольф Вирхов рекомендовал своему стареющему другу Генриху Шлиману, открывателю Трои, для поддержания потенции «больше покоя» и баварское пиво «в умеренном количестве». В 1899 году отпрыск знатного семейства из региона Восточной Эльбы сообщал в Бельвю, что когда-то его, гимназиста 3-го класса, лечили от «состояния нервозности» вином и бульоном. Даже один из реформаторов модерной жизни Эрнст Нейман среди своих 150 максим для «исцеления нервозности» напоминает: «Задумайся: чей отец развлекался вином, кабаниной и женщинами, тому в одночасье святым не стать!» (см. примеч. 139).

Однако в то же время среди неврологов и психиатров сформировался фронт против пьянства. На то имелись свои причины — в конце XIX века их клиники были буквально переполнены больными алкоголизмом, к примеру, в психиатрическом отделении Шарите почти у половины всех новоприбывших пациентов находили признаки белой горячки (см. примеч. 140). Просматривая их уныло-монотонную статистику, понимаешь, почему таким психиатрам, как Крепелин и Форель алкоголь в то время казался самым главным врагом. Именно те психиатры, которые не сдавались перед неизлечимостью психических заболеваний, а хотели и пытались что-то делать, обнаружили здесь безотказный механизм терапевтического воздействия на пациента.

На рубеже веков сомнения в пользе или вреде алкоголя стали не только индивидуальной причудой, но и общим феноменом со своими закономерностями. С тех пор как общество благополучно распрощалось с религиозно-моральным недоверием в адрес хмельных «радостей жизни», лишь медико-психиатрическим опасениям по поводу алкоголя впервые с конца XIX века удалось пошатнуть глубоко укорененные привычки. Пивные ритуалы студенческих корпораций по-прежнему оставались важными ступеньками на карьерной лестнице кайзеровской Германии. Но в то же время в германском обществе, вплоть до высших его кругов, стала распространяться неприязнь к алкогольной культуре. Даже Вильгельм II, в привычки которого входило пить вино уже к завтраку, в итоге пришел к заключению, что алкоголь плохо сказывается на «нервах». Статья о «здоровье народа», написанная для показательного сборника «Германия как мировая держава», вышедшего к 40-летнему юбилею Германской империи в 1911 году, клеймила алкоголизм как «давнего врага», коварно подрывавшего победоносное шествие гигиены и «многократно виновного» в «нервозности нашего времени». Если посмотреть на статистику потребления алкоголя, окажется, что до 1914 года антиалкогольное движение в Германии особых плодов не приносило — хотя потребление водки и других крепких напитков действительно снизилось в пользу потребления пива, а с 1906 года несколько упало и потребление алкоголя на душу населения, — однако зерна сомнения оно сеяло весьма успешно. Даже в сексуальной жизни: если обычно первая брачная ночь проходила в тяжелом опьянении, хотя бы для того, чтобы преодолеть смущение, то теперь стали бояться, что зачатый в пьяном состоянии ребенок с рождения будет неполноценным (см. примеч. 141).

Немецкая антиалкогольная кампания была, как правило, сдержанной: девизом обычно выступало не строгое воздержание, но умеренность; серьезно осуждался только шнапс, но никак не умеренное потребление пива; на работе алкоголь порицался, в свободное время — нет. Если выпивал человек из рабочего класса, он считался уже горьким пьяницей, если же из более высоких слоев общества, то все еще сходил за «рубаху-парня». «Студенческие забавы» сохранили свои особые привилегии, однако реформаторские и молодежные движения распространяли отвращение к пьянству, и в карикатурах журнала «Simplicissimus»[70]

[70] «Simplicissimus» — легендарный сатирический журнал модерна, издававшийся в Мюнхене с 1896 до 1944-го и затем с периодическими попытками возродить журнал — до 1998 года. В нем печатались центральные персонажи немецкоязычной культурной сцены, такие как Манн, Гофмансталь, Гессе, Шницель, Вагнер и др.

студенты-корпоранты с их огромными пивными животами выглядели все более омерзительно. Редактор «Simplicissimus» Людвиг Тома с презрением вспоминал то время, когда образцом для зеленых юнцов был «раздувшийся студент», напивавшийся «сколько хватало здоровья и сил»: «Сегодня каждый школьник презирает того, кто уже в 20 лет страдает от последствий пьянства. Сегодня он восхищается альпинистом, лыжником [...]». Тем не менее немецкая питейная культура устояла. Однако в назревающем конфликте норм «дозирование наркотика под названием алкоголь», как замечает Хассо Шподе, стало «хождением по лезвию ножа» (см. примеч. 142). Вероятно, в Германии оно давалось особенно нелегко, потому что, с одной стороны, обострялся конфликт между алкогольной повадливостью и реформой модерной жизни, а с другой — здесь имели обыкновение искусно лавировать между обеими нормами.

Союз «Бахуса и Венеры» способствовал тому, что свободная любовь была окружена нездоровой атмосферой, так что реформаторы жизни получили идеальную мишень. Союз реформ-движений и движений за здоровый образ жизни проложил в бытовой культуре кайзеровской Германии глубокую трещину, которая была тем более болезненной, что проходила через психику отдельных людей. Ее следы просматриваются во множестве историй неврастеников. Судьбы этих людей ясно показывают, как в душе одного и того же человека могут сочетаться совершенно разные поведенческие идеалы, какой мучительный след они в ней оставляют, как из разных понятий формируются навязчивые идеи и как в водоворотах личной биографии из них складывается порочный круг, из которого необходимо вырваться.

III. *Неврастения как феномен модерна*

«МОДЕРНАЯ» ТЕОРИЯ НЕВРАСТЕНИИ И ЕЕ КРИТИКА: МОДЕРНОСТЬ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ; СПЕЦИФИКА ГЕРМАНИИ

Связь между «нервами» и «модерном» легко сходит с пера многих авторов. Но насколько модерной была «слабонервность» в эпоху 1880 года на самом деле и чем эту модерность доказать? Свидетельства современников заставляют читателя колебаться. Если такое множество информированных современников с глубоким убеждением заверяют, что стремительное распространение нервозности обусловлено в первую очередь тяготами современной цивилизации, то у историка нет оснований им не верить — по крайней мере пока у него нет весомых контраргументов. Однако, чем дольше приходится слушать эту вечную тоскливую шарманку из «борьбы за существование», «травли и беготни», потока впечатлений большого города, тем сильнее крепнет подозрение, что все это не более чем привычная болтовня критиков культуры, кочующая из одного текста в другой. Эстер Фишер-Хомбергер связывает веру в болезни цивилизации с античным мифом о Пандоре — навязчивой идеей, что достижения цивилизации неизбежно влекут за собой новые недуги (см. примеч. 1).

Хотя технические инновации существенно повлияли на теорию неврастении, страхи перед модернизацией и таящейся в ней опасностью для духа и души были значительно старше и не зависели от опыта знакомства с новой техникой. Потому вполне может быть, что техника как причина болезней — лишь декорация, за которой скрывалась традиционная модель мышления. Уже в революционной и послереволюционной Франции распространилась идея о том, что к психическим заболеваниям приводят общественные беспорядки.

Еще в 1881 году Генрих Гофман, директор Франкфуртской психиатрической клиники, предложил теорию о связи нервных расстройств с модернизацией, не обращаясь к технике: по его словам, тот факт, что «сегодняшнее человечество [...] преимущественно нервозно», не может «удивить никого», поскольку «сегодня с самой ранней юности мозг го-

раздо более напряжен, и требуется куда больше умственной работы, чем 30–40 лет назад» (см. примеч. 2).

Относительно рано обратили внимание на фактор техники в медицине труда. Из медицинских заключений, приведенных в докладе Английской фабричной комиссии 1833 года, Карл Маркс сделал принципиальный вывод о том, что механизированный труд, «подавляя разнообразную игру мышц», «в высшей степени нагружает нервную систему», правда, скорее за счет бездушной монотонности, чем вследствие напряжения и разбросанности внимания (см. примеч. 3).

Джордж Бирд в самой подробной форме изложил свой собственный тезис о «модерности» нервозных явлений. В его почти 100-страничном обзоре причин нервозности 1-е место занимает изменение стиля жизни вследствие технических инноваций; ни один немецкий автор не писал об этом столь подробно. Бирд начинает с «неизбежных бед специализации», переходит к карманным часам и необходимости все делать вовремя, затем говорит о телеграфе, который резко ускорил деловую жизнь и пока не вполне осознан в качестве причины нервозности. В заключение он с удивительной для того времени обстоятельностью описывает вредное воздействие шума, и в этом он ближе к модерну, чем большинство немецких авторов (см. примеч. 4).

Лишь в 1890-е годы в Германии растет количество текстов, авторы которых признают технику одной из причин неврастении. Это соответствует реальному развитию техники в то время и не является лишь бумажным дискурсом. Уже тогда под стимулом технических инноваций произошел переход к «коммуникационному обществу» (Г.-У. Велер). В 1892 году Макс Нордау попытался точно высчитать, как за прошедшие полвека за счет прямых или отдаленных последствий технических новшеств упростилась повседневная жизнь — как будто само собой, нечаянно, исключительно за счет ускорения и удешевления транспорта: «Кухарка принимает и отсылает больше писем, чем прежде профессор высшей школы, а мелкий лавочник больше путешествует, видит больше стран и народов, чем иной правитель». В нервных расстройствах он видит недостаток адаптации: «Благовоспитанное человечество отстало от собственных изобретений и прогресса» (см. примеч. 5).

В 1893 году берет слово ведущий немецкий невролог Вильгельм Эрб. Его гейдельбергский доклад «о возрастающей нервозности нашего времени» посвящен критике культуры и выдержан в стиле широкого панорамного снимка. Он не особенно пессимистичен, а скорее напоминает призыв к созданию науки о «гигиене нервной системы». Сам Эрб, видимо, не особенно страдал от возросшего темпа эпохи, несколько позже

его девизом стало: «как следует работать и как следует развлекаться». Упомянутые им в качестве причин нервозности технические средства, прежде всего новые средства транспорта и коммуникации, пробуждают не только пессимизм, но и эйфорию: «Время и пространство, кажется, удалось преодолеть, мы летаем со скоростью ветра через все материки, говорим прямо или опосредованно с обитателем другого полушария». Эрб впадает в футуризм — на самом деле в 1892 году никто еще не никуда не «летал», а по телефону житель Берлина не мог говорить даже с лондонцем, и уж тем более с «обитателем другого полушария». Но стремительные успехи электрификации резко расширили горизонты, стало казаться, что технический прогресс уходит в бесконечность — еще 20, 30 лет назад ничего подобного невозможно было себе представить (см. примеч. 6).

Американской конкуренции Эрб приписывает такую всепроникающую силу, которую она обретет лишь в зрелом XX веке. Но уже в 1893 году он пишет о том, что Америка «с ее безостановочной занятостью, с неисчерпаемыми вспомогательными средствами» вступила в соревнование со Старым Светом и угрожает «обогнать его во всех сферах деятельности». Каждый отдельный человек, как и целые нации, оказался «перед необходимостью проявить доселе немыслимые усилия в борьбе за существование». Драматический сценарий, подвергающий наблюдателя контрастному душу восхищения и ужаса.

Такой была картина мира немецкого империализма. Можно сделать вывод, что для описанного Эрбом нервного кризиса существовало только политическое решение: протекционистская *Imperium Germanicum.* Ведь надежной «гигиены нервной системы», которая сделала бы нервы неуязвимыми для конкурентной борьбы, не было.

В том же 1893 году вышел «Справочник по обращению с невротиками», начинавшийся с привычного занудства: когда начинают характеризовать наше время и общество, мы слышим два выражения всякий раз “борьба за существование” и “эпоха нервозности”». Автор рисует «мрачную картину» состояния нравов и заверяет, что «все невропатологи [...] в один голос отмечают прогрессирующий рост нервозности». Песня «нервозная эпоха» из сборника студенческих песен 1895 года, подтверждает:

«Всюду гонка, гул, охота за наживой;
Каждый скрипкой первой хочет быть.
Одному стать суждено машиной,
а другому — нервным жить» (см. примеч. 7).

«Нервным», очевидно, становится тот, кто *не стал* машиной.

Невролог Альберт Эйленбург в 1896 году выступил на Берлинской промышленной выставке с речью о «нервозности нашего времени». Он сделал акцент на том, что подлинные истоки современной нервозности нужно искать не во внешнем мире, а в «глубинах и безднах наших мыслей и настроений». Люди потеряли смысл жизни, «веру в себя и свое будущее» и потому стали так подвержены внешним тревогам. Завершили его речь слова Трейчке: «Господь не оставил ни один народ, который не оставляет самого себя» (см. примеч. 8).

Справочная статья о «неврастении» 1900 года предлагает читателю бессистемный хаос на тему критики культуры, выдавая весь этот паноптикум за научное знание (см. примеч. 9). Испробовав это скучнейшее попурри из всевозможных причин неврастении, понимаешь, как соблазнительно было для въедливого аналитика типа Фрейда отодвинуть от себя все это разнообразие и сосредоточиться на одном-единственном, глубоко запрятанном этиологическом факторе. Понятно также, что многие другие приходили к выводу, что многоголовую гидру неврастении удастся одолеть, не просто устраняя причины и симптомы, но улучшая наследственный материал человека.

Мысль о том, что процессы модернизации разрушают нервы, проникла в самые узкие политические круги кайзеровской Германии. «В нашем сегодняшнем способе жизни и восприятия явно есть нечто такое, что служит серьезным испытанием для нервов», — пишет в 1908 году Гольштейн супруге Максимилиана Гардена[1]. «Результат виден в растущем количестве неврологических клиник» (см. примеч. 10).

Создается впечатление, будто мысль о связи нервозности с модерном абсолютно преобладала: она повторяется вновь и вновь, словно речь идет об общеизвестном и тысячекратно подтвержденном факте. Однако это не так. При внимательном изучении литературы обнаруживается целый ряд иных мнений, часто противоречащих друг другу. Как правило, они не обладают такой законченностью, как теория модерности, в них еще меньше обоснований и едва ли не больше клише.

Большинство противников модерности неврастении вспоминали старую ипохондрию и спинальную ирритацию, а также всевозможных авторов от XVII до начала XIX века. При этом связь расстройства с эпохой в более широком смысле сохранялась, исчезал только конкретный эффект технических инноваций XIX века. Другие критики заглядыва-

[1] Гарден Максимилиан (1861–1927, настоящее имя — Феликс Эрнст Витковский) — немецкий публицист, в 1892 году основавший еженедельник «Die Zukunft». Скандальную известность приобрел своими разоблачениями «мягкотелости» и «пороков» в ближайшем окружении кайзера (об этом см. далее).

ли в более далекое прошлое и вспоминали извращения Римской империи, танцевальные эпидемии Средневековья и охоту на ведьм раннего Нового времени. Одним эти экскурсы давали возможность продемонстрировать знание истории, другим нравилась небрежная манера и скептический рефрен «все-это-уже-когда-то-было». Значительная часть исторических аллюзий составлена из клише, которые валят в одну кучу распутство, массовые психозы, навязчивые идеи и всевозможные треволнения. Рудольф Арндт одним махом превратил в неврастеников Геракла и Аякса, Давида и Саула, Мухаммеда и Меттерниха, Алкивиада и Будду, поздних Меровингов и Армию спасения (см. примеч. 11). Насколько серьезны были все эти рассуждения, часто неясно — во множестве текстов они заканчивались уступками в пользу тезиса о модерности. Ясно одно: и в 1900 году существовало множество контраргументов против связи нервозности с эпохой модерна.

Если в 1890-е годы «модерная» теория была на пике успеха, то с приходом нового века набирают силу голоса ее критиков. Особенно резок был франкфуртский невролог Леопольд Лаквер, раздраженный разбирательствами с невротиками — жертвами несчастных случаев[2]. В 1908 году он писал: «Вечный скулеж о нервозности так же уйдет в прошлое, как поиски тарантулов, синдром Вертера и прочие былые страхи». Это было сильно сказано, и тем не менее «значительная часть здоровых нервов [...] уничтожена из жизни [...] катящимся грузовиком культуры»!

Наиболее изящный и темпераментный протест против теории модерности принадлежит терапевту Фридриху Марциусу (1850–1923). Самого себя он представляет как «культуроптимиста» в отличие от пессимистически настроенных противников. В работе 1909 года он видит теорию неврастении в союзе с теорией вырождения; всеобщий страх перед упадком растет как «всепожирающая язва». Он иронизирует над упадочными сценариями ученых-евгеников, по которым «арийской расе [...] нужно прибегать к осеменению», чтобы утвердиться «против японцев, монголов и других более или менее желтых современников». Один из основателей конституциональной теории, Марциус, и неврастению относит к расстройствам, обусловленным конституцией. В своей врачебной практике он собрал большой опыт работы с неврастениками. Карьера его началась с того, что в 1889–1890 годах он с помощью гипноза избавил Великого герцога Мекленбурга от целого ряда психосоматических жалоб. Марциус был борцом против засилья в медицине бактериологии и вообще возражал против упрощенных моделей, по которым болезнь легко объясняется внешней причиной. Он цитирует философа Лихтен-

[2] Об этом см. подробнее гл. IV о «рентном неврозе».

берга, что врачи «в большинстве всегда оставались наивными в своих поисках причины». Доказать количественный рост неврастении и вовсе нельзя: пересчитать можно баранов в Мекленбурге, в крайнем случае — больных раком, но не неврастеников. Помимо прочего, он пишет о том, какое множество «заметно ослабленных неврастеников» он обнаружил в мекленбургских деревнях. По его мнению, только неврологи, живущие и работающие в крупных городах, могут воображать, что неврастения есть порождение мегаполисов. Он подводит следующий итог: «Способность человеческого мозга приспосабливаться к новым социальным условиям, воздействиям технического прогресса много выше, чем заверяют нас культурпессимисты. Невозможность попасть из Ростока в Берлин за четыре часа, а из Гамбурга в Нью-Йорк за пять дней действует на нервы современному человеку. Напротив, любой из нас начнет нервничать, когда ему, чтобы доехать из Ростока в Рёбель (городок в южной части Мекленбурга), придется провести пять часов в пригородном поезде с его звоночками» (см. примеч. 12). Последнее предложение явно выдает личный опыт. Однако автор все же противоречит сам себе, упоминая, что именно современные процессы приспособления ведут к новым нервным переживаниям.

В текстах других авторов также постоянно сталкиваешься с тем, что критики модерного толкования неврозов делают своим противникам значительные уступки. Даже Освальд Бумке, который после Первой мировой войны решительно и резко отверг учение о неврастении вкупе со всей ее «модерностью», еще в 1912 году писал, что определенные нервные расстройства «усиливаются с каждым днем» и демонстрируют «прямую зависимость от особенностей наших общественных институтов» (см. примеч. 13).

К обсуждению вопроса о том, порождает ли новая культура новые проблемы для нервов, нередко добавлялась давняя и еще более тревожная дискуссия о том, не усиливаются ли под действием современной цивилизации тяжелые психические заболевания и к чему это может привести в будущем.

Четвертый международный конгресс по призрению душевнобольных, проходивший в Берлине в октябре 1910 года, целиком посвятил одно из своих утренних заседаний связям между «безумием и культурой» (или по *фр.* «la civilisation et la folie»). Сначала один итальянский референт представил позицию культуроптимистов, а затем Эрнст Рюдин, один из авторитетов немецкой расовой гигиены[3], — противоположную

[3] В 1939 году он даже получил от Гитлера медаль за искусство и науку, что и не удивительно: во время Второй мировой войны он принимал участие в исследованиях, которые основывались на экспериментах над людьми.

точку зрения, не преминув указать на последствия алкоголя и сифилиса. Рюдин, считавший рост нервозности индустриальной эпохи и усиление психических болезней одним и тем же процессом, пришел к заключению, что «ничего не остается, как собраться с духом и с помощью мер расовой гигиены остановить грозящее нам вырождение». Докладчик из России возразил, что алкоголь и сифилис — это не цивилизация, но недостаток цивилизации. Крепелин подчеркнул открытость проблемы, в то время как психиатр Густав Ашаффенбург и невролог Адольф Фридлендер раскритиковали рюдинский пессимизм. На какой-то момент возникла провидческая конфигурация, не типичная для довоенного времени: два невролога еврейского происхождения противостояли представителю национал-социалистической евгеники (см. примеч. 14).

Одной из крупных загадок, поглощавших огромную массу интеллектуальных сил, был вопрос наследственности. Казалось бы, идея модерности неврозов должна выступить конкурентом спекулятивным соображениям о наследственной передаче нервной слабости и таким образом послужить противовесом засилью теории наследственности. Иногда так и было, но очень часто дела обстояли совершенно иначе. В арсенал биологической и медицинской мысли тогда еще входила теория Ламарка о наследовании приобретенных свойств, а вместе с ней и допущение, что нервозность может передаваться по наследству и усугубляться от поколения к поколению. Еще в 1912 году Бумке говорил, что большинство врачей настолько «склонны к наивному ламаркизму», что многие считают экспериментальную проверку «совершенно излишней» и не замечают умозрительного характера этой теории (см. примеч. 15).

Вместе с идеей эволюционного прогресса возникла также мысль о регрессе, а именно — нервной дегенерации. Бенедикт Августин Морель (1809–1873), основоположник учения о вырождении, выдвинул «закон прогрессивного роста»: из легкой нервозности первого поколения во втором поколении разовьется невроз, в третьем — психоз, а в четвертом — идиотия (см. примеч. 16).

С самого начала теория неврастении находилась под воздействием этого учения, если не сказать, что полностью шла в его русле. Морелевские ступени дегенерации не обязательно противоречили концепту модерной неврастении, они означали только то, что индустриальная нагрузка на нервы началась не в конце XIX века, но одним-двумя поколениями раньше. Для представителей нового поколения, чьи родители выросли уже в эпоху железных дорог, это допущение выглядело вполне убедительным. Таким образом, можно было вообразить, что там, где уже родители были невротиками, детям также грозила неврастения и,

сверх того, им надо было опасаться, что их потомство будет еще более психически неполноценным. Опрос «нервозных» пациентов постоянно начинался с вопросов о родителях и родственниках, зачастую сами пациенты начинали с рассказов о «нервозности» матери или отца. Напрашивался вывод: возложить ответственность на воспитание — в конце концов, люди не были столь слепы, чтобы не увидеть этого очевиднейшего влияния. Тем не менее при упоминании нервных родителей в воздухе зачастую витало подозрение на наследственность.

В 1866 году биолог и неодарвинист Август Вейсман (1834–1914) представил новаторский доклад «О регрессе в природе», в котором с помощью наблюдений за хвостатыми земноводными доказал, что объяснить редукционные процессы можно и без теории наследования приобретенных негативных признаков, и что эта гипотеза лишена биологического обоснования. Это открытие имело широкое воздействие — оно лишило почвы теорию дегенерации, но вместе с тем открыло путь радикальному расизму, исходившему из неизменности качеств расы. Впоследствии открытие Вейсмана стало казаться фундаментом всей евгеники. Однако старые воззрения отличаются стойкостью. Для их понимания нельзя забывать, что не только старый ламаркизм, но и применение взглядов Вейсмана к учению о нервах человека содержит элемент умозрительности (см. примеч. 17).

Отто Бинсвангер в учебнике о неврастении 1896 года исходил из того, что вопрос уже ясен. Он признался, что теория Вейсмана ему сначала не понравилась: он отталкивался от «почти имманентной для клинициста и, казалось бы, подтвержденной опытом предпосылки, что не составит труда неопровержимыми фактами подкрепить наследственность приобретенных душевных и нервных болезней». Однако такое доказательство не удалось — «постыдный» для Бинсвангера опыт. На Вейсмана активно ссылался «культуроптимист» Марциус (1909), заверявший, что гипотеза дегенерации со всеми ее страхами скорее всего неверна, ведь она выдержана в русле ламаркизма и с ним же отомрет. Бумке в 1912 году в реферате «Нервозность и дегенерация» откровенно заявил — понятие дегенерации «столь размыто, что вообще становится лишним», все учение о вырождении созрело для «ликвидации». Новые исследования еще более укрепили его в этом: «Величественное здание, выстроенное изучением наследования психиатрических болезней, в последние годы было разрушено камень за камнем. Законы наследственности ведут не к вырождению, а к возрождению». «Дегенерация, вырождение — все это мошенничество», — бушевал Шлейх в статье «Что такое неврастения?» (См. примеч. 18.)

Собственно, элемент наследственной «предрасположенности к нервозности» не отвергали целиком и полностью, резкие возражения вызывала идея о кумуляции регрессивных признаков. Однако эти возражения так и не возымели должного успеха, теории нервозности и деградации продолжали соседствовать друг с другом. Когда Георг Энгельгардт в работе 1925 года «Тайна нервозности» писал, что поспешное заключение об унаследованной нервозности «бессмысленно», что оно всего лишь «шезлонг для ленивых врачей», он вместе с тем констатировал, что таких врачей великое множество: сваливать нервозность на наследственность «стало почти догмой». «С этой догмой большинство врачей встречает пациента-невротика, а кто-то с ее помощью нагоняет на себя важность» (см. примеч. 19).

Тезис историка психиатрии Эрвина Акеркнехта, что на рубеже веков учение о дегенерации в психиатрии уже не имело под собой почвы, как общий вывод не выдерживает проверки. Такому неврологу как Альберт Эйленбург новое учение Вейсмана было хорошо известно, однако он воспринимал его в сугубо теоретическом ключе, в крайнем случае — как правду о хвостатых земноводных. Крафт-Эбинг описывает, как измотанные «труженики ума [...] поколение за поколением становятся все более нервными» и как «современный деловой и трудящийся человек», в преклонном возрасте решив наконец жениться, «собирает скромные остатки своей мужской силы и, не прерывая напряженной профессиональной деятельности», производит на свет «болезненных, ослабленных, нервозных детей». Гельпах в 1902 году полагает «очень вероятным, что нервозность — это один из сильнейших рычагов вырождения», и что «раз начавшееся вырождение идет вперед семимильными шагами и уже вынудило великие сильные народы покинуть арену истории». Подобные интенции он не стесняется подавать читателю в качестве учения «культурно-исторического опыта». Даже Лейбушер и Бибрович, которые в причинах неврастении переносят акцент целиком на условия труда и знакомы с теорией Вейсмана уже как принятой в науке точкой зрения, после прочтения трудов Крафт-Эбинга теряют уверенность и воспринимают проблему наследования как «чудовищный вопрос», «нагоняющий над будущим темные тучи» (см. примеч. 20).

Даже опубликованная в 1928 году в серии социалистических изданий брошюра о неврастении содержит давно уже опровергнутую к тому времени теорию, что нервная слабость «во многих случаях» является врожденной. Если отец и мать «слабонервны», то они «произведут в высшей степени слабонервных детей»; а «в высшей степени слабонервным личностям» следовало бы «безусловно отказаться от продолжения

рода». В той же брошюре теория модерной нервозности представлена в ее традиционной форме («Куда ни глянь, всюду спешка, гонка и травля [...]»). Окончательного разделения между учением о нервозности и идеей дегенерации так никогда и не произошло. Однако к расовой политике национал-социализма привело не слияние этих теорий, а другое учение — о вырождении вследствие смешения рас, исходившее из постоянства наследственного материала (см. примеч. 21).

Насколько индивидуально развивалось учение о неврастении в Германии в его связи с модерностью и наследственностью? Первым напрашивается сравнение с Францией. Здесь литература на тему нервозности была не менее обширна, а традиции ее научного осмысления — (около 1880 г.) старше, чем в Германии. Франция была исторической родиной учения о дегенерациях, и нервный дискурс сильно подпал под ее влияние. Однако позже с французской и французско-швейцарской стороны, от таких ученых, как Шарко и Жане, Ипполит Бернгейм с его Нансийской школой гипноза[4], Форель и Дюбуа, поступили сильнейшие импульсы к психизации учения о нервах. Психизация происходила более или менее из теории дегенерации, над которой Дюбуа шутил, что она бросает в один котел «пьяниц, распутников» и «настроенных против вивисекции престарелых англичанок». Но хотя между 1855 и 1875 годами в Парижской центральной аптеке чуть ли не в 200 раз возросли продажи бромистого калия и хотя (или потому что?) Париж был столицей моды, бросается в глаза, что во французской специальной литературе техническую цивилизацию в качестве источника неврастении почти не встретить. Хотя трудовое переутомление (*surmenage*) как патогенный фактор какую-то роль играло — Крафт-Эбинг даже перенес понятие *surmenage* в немецкий язык, — но жалобы на его резкий рост звучали редко. Шарко подчеркивал, что описанная Бирдом манера перенапрягаться и в труде, и на досуге — типично американская дурная привычка. Во Франции Прекрасной эпохи, эльдорадо для рантье, расстройства из-за сверхактивности не были столь значимым явлением, как в Нью-Йорке времен Бирда. Какого бы теоретического направления ни придерживался автор, но во Франции на рубеже веков мысль о взаимосвязи нервозности и модерной культуры не казалась убедительной и ее просто игнорировали (см. примеч. 22).

Может, типичную модерную нервозность следует искать за пределами Парижа? В 1911 году невролог из Невера Раймон Бельбез опублико-

[4] Нансийская школа гипноза выступала против гипнотических теорий Шарко и утверждала, что гипноз сводится к внушению и воздействию на воображение человека авторитетом гипнотизера, а не патологической природой самого гипноза.

вал книгу на необычную тему — неврастения в деревне. Восьмилетний опыт врачебной практики в округе Гаронна привел его к заключению, что 30% тамошнего сельского населения страдают неврастенией. Столь внушительная цифра — плод относительно недавнего времени и объясняется растущим обнищанием. Бельбез говорит о различных «культурах неврастении»: семейной, школьной и литературной, из которых как минимум две последние — относительно новые явления. Заслуживает внимание резюме этого оригинального и глубокого исследования: «Изучаемый нами регион совершил особенно резкий переход от процветания к упадку, так что его жители пережили моральную травму, действие которой усугубили различные факторы: воспитание — скверное, как это бывает в обезлюдевшей местности, — школа, пресса или литература, военная служба. С 1870 года все эти причины действовали с неожиданной силой и тем интенсивнее, что во всецело материальной цивилизации они не компенсировались никаким психологическим противовесом» (см. примеч. 23).

Английская литература о неврастении раскрывает еще один новый мир. Тенденция к психическому толкованию была здесь намного слабее, чем во Франции. Знаменательно, что исследовательница Джанет Оппенгейм, которой мы обязаны наиболее обстоятельным описанием дискурса нервов викторианской эпохи, воспринимает этиологию концепта неврастении как «бескомпромиссно соматическую»: при изучении французской и немецкой литературы такое выражение было бы просто немыслимо. В Англии литература о нервных расстройствах имела самую долгую традицию: уже в XVIII веке англичане обнаружили в нервах общий знаменатель для многочисленных и разнообразных жалоб. Также рано здесь заметили связь между цивилизацией и диффузными жалобами. Но к 1880 году «Английской болезни» Чейна[5] (1733) уже было почти 150 лет, и связь между индустриализацией и нервозностью уже давно потеряла всякую остроту. Темп индустриализации замедлился, и к тому же англичане первыми додумались превратить спорт в средство против недостатка движения. Если в английской литературе особенно любили сравнивать силу нервов с капиталом, который следует расходовать разумно, то делалось это с точки зрения общества рантье, живущих за счет унаследованного капитала и не склонных увеличивать его посредством рискованных предприятий (см. примеч. 24).

Когда в 1861 году в Антверпене переволновавшийся молодой инженер и писатель Макс Эйт спешил к пароходу, панически боясь на него опоз-

[5] Чейн Джордж (1671–1743) — шотландский врач, философ, математик. Названная книга описывает явления нервозности, опираясь на идеи Бернарда де Мандевиля об ипохондрии и истерии.

дать, он заметил одного англичанина, совершенно спокойно ступившего на трап в самый последний момент. Мало того, этот англичанин, уже стоя одной ногой на корабле, оживленно беседовал со своим комиссионером, никак не реагируя на гудки парохода и нетерпение капитана! С тех пор глубочайшим убеждением Эйта стала фраза Гёте о том, что «флегма правит миром». Другим немцам англичане также часто казались образцом невозмутимого спокойствия, в то время как сами немцы утратили свою традиционную репутацию «уютных» людей. В 1906 году Август Нольда, врач из экстравагантного швейцарского курорта Санкт-Мориц, изучивший, как он сам выразился, «интернациональный материал» из более чем двух тысяч неврастеников, счел «необходимым отметить, как редко встречается неврастения у англичан». Стабильность нервов у британцев он объяснял не только спортом, но и «разделением труда». Работы Бирда знали и в Англии, но его тезис о том, что неврастения — новая болезнь цивилизации, встречал возражения у большинства британских медиков. Здесь преобладало мнение, что неврастения — лишь новое обозначение давно известной картины заболевания. А вот французское учение о дегенерации нашло у английских психиатров «энергичный» отклик. Яркой иллюстрацией этих откликов служит вопрос Томаса Карлейля Дарвину о том, возможно ли, чтобы человек мог развиваться обратно, в сторону обезьяны (см. примеч. 25). Труд Дарвина «Происхождение видов» заставил всех говорить о «борьбе за существование», однако у Дарвина она служила не спусковым рычагом нервозности, а как путь к отбору наиболее приспособленных видов.

В общем и целом английская литература на тему неврастении производит более бесцветное впечатление, чем французская; в поздневикторианской Англии ощущается нехватка широкого фундамента живого опыта. Зато концепция неврастении очень рано подверглась там разгромной критике — такой резкой, какой не знали ни Франция, ни Германия. Не кто иной как сэр Эндрю Кларк[6] в своих «Наблюдениях по поводу так называемой неврастении» (1866) дал ясно понять, что о новом явлении и речи быть не может — все дело лишь в спектре симптомов, многократно описанном компетентными наблюдателями еще со времен Чейна и Уитта. Затем он долго и со вкусом критикует термин «неврастения» — «ошибочный», «неточный», «ненаучный» и «терапевтически дезориентирующий» (см. примеч. 26).

Наиболее основательной и оригинальной английской книгой о неврастении стал труд Томаса Диксона Савилла «Лекции о неврастении»,

[6] Кларк Эндрю (1826–1893) — в свое время популярнейший практикующий врач из Лондона.

выдержавший между 1899 и 1909 годами четыре издания. Савилл опирался на опыт лондонских госпиталей. В 1899 году он критически замечает, что до сих пор неврастения не вошла в английскую учебную литературу. Если сексуальный компонент неврастении он задевает лишь мимоходом, то куда больше внимания уделяет жалобам невротиков на боли в желудке. Его авторская позиция состояла в том, чтобы подчеркнуть ведущую роль нарушений пищеварения в развитии неврастении, поскольку они приводят к самоотравлению организма и таким образом причиняют вред нервной системе. Идею модерности недуга Сэвилл обходит стороной, хотя выказывает необыкновенную грамотность в отношении зарубежной литературы (см. примеч. 27).

Если сравнить судьбу учения о неврастении в США и Германии с его судьбой во Франции и Англии, то однозначно обнаружится, что идея о связи неврастении с модерном нашла наиболее широкий отклик в тех странах, которые в конце XIX и начале XX века пережили мощную волну индустриализации. Приоритет того или иного направления в медицине особой роли не играл. Германия по вопросу о связи неврастении с модернизацией пошла по американскому пути. Если сравнить немецкую и английскую литературу, отчетливо чувствуется, что Англия считала себя прародиной индустриализации, в то время как для многих немцев этот процесс был искусственным, навязанным вследствие конкурентной борьбы; и это тоже служило причиной, почему процесс индустриализации чаще воспринимался как нагрузка на нервную систему.

Возможно ли в принципе проверить тезис о модерности неврозов эмпирическим путем? Как и с концепцией неврастении в целом, сделать это *напрямую* будет нелегко — необходимо действовать отчасти *per exclusionem*, т.е. исключая альтернативные толкования. Первым напрашивается возражение, что объяснение через модерность ни что иное как зеркало модных тогда культурпессимистических веяний. Однако эта гипотеза не выдерживает критики: целый ряд известнейших сторонников этой идеи, будь то Эрб или Гельпах, Оппенгейм или Лампрехт, не были культурпессимистами.

Существовал ли интерес к этой теории со стороны медиков и нет ли здесь повода задуматься? Иногда да: неврологические лечебницы, расположенные в идиллической природе вдали от городской суеты, в своей рекламе ссылались на проблемы модернизации. Апеллирование к «борьбе за существование» вкупе с рефреном, что нервнобольной в первую очередь должен вырваться из своего окружения, постоянно повторяется в рекламных текстах клиники Эренвалля. Пишущих врачей тема связи современной цивилизации с нервными расстройствами тоже привлекала, ведь

она пользовалась успехом у общественности. Гонорар за «Нервозность и культуру» позволил молодому Гельпаху обедать в берлинском «Черном поросенке», завсегдатаями которого были члены Генштаба. Вместе с тем если главную ответственность за неврастению несла на себе цивилизация, то это означало, что врачи мало что могли сделать. Поэтому медики вовсе не стремились объяснять болезнь современными условиями, а скорее наоборот, склонялись к тому, чтобы даже такие феномены, которые были типичны скорее для эпохи модерна, «датировать более отдаленными годами, срывая с них покров модерна» (Эдди Шахт) (см. примеч. 28).

Как говорил в 1908 году Гаупп в докладе «О растущей нервозности нашего времени», «борьба с нервозностью как болезнью эпохи приводит нас к проблемам социальной гигиены: более благоприятным условиям труда, сокращению механической деятельности, реформе жилья, децентрализации крупных городов, открытому пути для любого дарования, закалке тела, реорганизации нашей духовной жизни, преодолению шовинизма (sic!)» (см. примеч. 29). Ни один врач не выразил бы доходчивей, что борьба против нервозности как болезни эпохи заставляет выйти далеко за рамки врачебной компетенции.

В научном смысле тезис о модерности вел медицину в тупик, так как заводил в такие сферы, которые были закрыты для медиков. Медицинская теория не могла использовать даже материальные факторы мира индустриального труда: так, в случае пневмокониоза специалисты по клеточной патологии и бактериологи не сразу признали, что эту болезнь вызывает просто-напросто каменная пыль — ведь такое объяснение было бесполезным для господствующих научных направлений. Еще меньший интерес у медицинской науки вызывало стрессовое воздействие индустриализации.

Когда в 1911 году Макс Вебер, который благодаря Крепелину был в курсе дела, произносил речь на Нюрнбергском генеральном собрании Союза социальной политики, у него были все основания резко заявить, что при всей болтовне об успехах исследований в сфере психологии труда надежных результатов на самом деле «нет никаких» (см. примеч. 30). Дефицит знания о психопатологической стороне мира труда затрудняет эмпирическую проверку модерной подоплеки нервозности. Замечания врачей о воздействии внешних условий на нервы оставались формальными и отрывочными, по крайней мере в отношении тех социальных слоев, о жизни и труде которых врачи, вращавшиеся в ином обществе, не имели непосредственного представления.

Отвечала ли идея модерности интересам пациента? В каком-то отношении, безусловно, как, например, утверждение о причинно-след-

ственной связи между трудовым переутомлением и неврастенией. Слабонервность таким образом становилась явлением весьма почтенным — неудивительно, что в анамнезах очень часто указывается на переутомляемость на работе, пусть даже у читателя этих «курортных неврастеников» нередко возникает подозрение, что эти сетования носят субъективный характер. Однако научная литература заставляет думать, будто в историях пациентов можно найти гору жалоб на суету и сутолоку индустриальной эпохи, ускорившийся темп жизни, порабощение человека техническими устройствами и проч. Это далеко не так: подобные жалобы надо еще поискать, а те, которые удается найти, не всегда убедительны.

Но если вникнуть в состояние пациента, перестаешь удивляться такой погрешности. Многие неврастеники отличались эгоцентризмом; весь стиль самонаблюдений отвлекал их от таких причин расстройства, которые были обусловлены эпохой и обществом. Если история недуга служила пациенту фундаментом собственной идентичности, то он не мог использовать коллективные феномены. Если неврастеник любил рассказывать и представлял причины своего расстройства в форме историй, то структурные предпосылки ему тоже были ни к чему, они не годились для историй. В 30-х годах XX века венгерский невролог Франц Вольгеши отмечал, что «нервный человек постоянно обосновывает свою нервозность тем, что у него под рукой в данный момент». Герхард Хейлиг, исследуя «фабричный труд и нервные расстройства», пришел к убеждению, что «воздействие механического труда на органы чувств как этиологический фактор вообще довольно слабо поддается изучению». Он обнаружил соответствующие данные только в 66 из изученных им 574 случаев, т.е. лишь в 11% (см. примеч. 31).

Те медики, которые не только писали о нервозности, но были знакомы с ней по собственному опыту, пытались выявить в нем что-то общее и типическое. Вероятно, акт письма приносил им облегчение, помогал преодолеть ощущение неполноценности. Но дилетанты, посещавшие неврологов, такого выхода не нашли или *пока еще* не нашли — в их анамнезах почти нет ощущения, что они захвачены потоком времени. Однако между строк их историй поток времени ощущается постоянно. Достаточно вспомнить пространный текст жителя Берлина К. Л. с его мешаниной профессиональных и сексуальных проблем, отражающий не защищенную, не отрегулированную внятными нормами жизнь холостяка в современной столице. Многочисленные анамнезы неврастеников ведут в модернизированный, уже совсем не бидермейеровский мир, в котором мало устойчивости и много перемещений и в котором

как профессиональные цели, так и сексуальная мораль утратили надежность и стабильность. Но все эти обстоятельства выступают лишь в качестве условных моментов, а не непосредственных причин заболевания.

Примером служит биография одного 25-летнего электротехника, прибывшего в 1901 году в Бельвю. Он относительно хорошо осознает связь своей судьбы с эпохой, в которой живет. Его жизненный кризис разразился в 1898 году, когда он отправился в Буэнос-Айрес обрести самостоятельность и руку любимой женщины. Ни то ни другое ему не удалось, хотя он работал иногда по 16 часов в сутки. Когда он вернулся в Берлин и устроился работать на крупное энергетическое предприятие, ему, сыну директора, пришлось привыкать к фабричной бюрократической дисциплине. Любовное разочарование сопровождается профессиональным:

> «Привыкнув к абсолютной самостоятельности в работе, я решительно ничего не смог достичь на третьих ролях, не смог подчиниться общей дисциплине. [...] Оказалось, в теперешние времена мне уже не добиться того, к чему я стремился [...] Я делался все более нервным, взволнованным, все больше терял трудоспособность, мучил родных и из-за своего поведения и вечного недовольства потерял привязанность единственного существа, которое по-настоящему любил».

Он снова хотел уехать, вернуться в Америку; затем он перевелся в офис той же компании в Мадрид, но и там его не покинуло «это страшное беспокойство» (см. примеч. 32).

Сочетание наследственной предрасположенности и индустриального стресса встречается также в истории болезни часовщика из Шварцвальда, сумевшего обустроиться в Лондоне и открыть там собственное дело. В 1888 году, в возрасте 49 лет, он приехал в Бельвю, где произвел впечатление «добродушного, честолюбивого и набожного человека». Из его биографии в протокол попали следующие данные:

> «Пациент имеет отягощенную наследственность, отец был тяжелый пьяница, бабушка душевнобольная, племянник — в сумасшедшем доме. Ребенком был здоров, молодым человеком, получив у себя на родине в Шварцвальде образование часовщика, уехал в Лондон, основал там собственное дело и благодаря необыкновенному прилежанию и экономному образу жизни заработал небольшой капитал. Переутомление на работе он считает причиной тяжелого припадка головокружения, потери сознания, нелепой речи и конвульсий (зима 1878). Все это, а также добавившиеся к ним желудочные колики [...], кроме того, онемевший при движении очень болезненный затылок заставили его обратиться к одному шарлатану и уличному электризеру. Поскольку от неправильного лечения состояние его ухудшилось, пациент приехал в Германию и прожил здесь два года без работы. Когда ему стало лучше, он поспешил вернуться к своей деятельности в Лондоне. Здесь он приобрел склонность к одной публичной

женщине и мечтал жениться на ней. Эта женщина эмигрировала в Америку, и после этого пациент, по его словам, не может избавиться от своего глубокомыслия (sic!), стойкой головной боли, постоянных мыслей о самоубийстве, нервных болей в спине и руках» (см. примеч. 33).

Человек этот на первый взгляд выглядит классическим представителем буржуазной культуры, но в его биографии есть множество смутных сюжетов, которые в эту буржуазность не вписываются и делают его ближе современному дауншифтеру. Подобная нестабильность, скрытая за солидным буржуазным фасадом, — нередкое явление в биографиях неврастеников. Так, вместо того чтобы обратиться к признанному врачу, он доверяется тогдашним «альтернативным» медикам — с точки зрения Бинсвангера, себе же во вред. Однако около 1880 года было в моде подвергать себя электрическим процедурам. Чтобы вновь обрести душевное и физическое благополучие, он позволяет себе отпуск длиной в два года — удивительный жизненный поворот после стольких лет пчелиного прилежания. Мало того, после этого он безнадежно влюбляется в проститутку, которая тем не менее сбегает от него, несмотря на предложение руки и сердца. В итоге не переутомление, а любовное разочарование послужило спусковым крючком, вызвавшим у этого стареющего человека психическую катастрофу, хотя с самого начала его историю сопровождал мрачный шлейф наследственной отягощенности. Его история местами напоминает «Учителя Гнуса» Генриха Манна. Однако буржуазное общество допускало куда больше экстравагантности, чем думали иные критики. Активные проявления неврастении входили в число таких допущений.

ТЕХНИКА И ТЕМП, СДЕЛЬЩИНА И ШУМ: «МОДЕРНАЯ» ТЕОРИЯ В ПОИСКАХ ОПОРЫ

Если смотреть на мир неврастении с чисто научной точки зрения или через историю идей, возникает искушение отнестись ко всему с иронией и разом признать всю «слабонервность» фантомом. Однако изучаешь историю техники и трудовых процессов — и будто пелена с глаз спадает: ускорение и суета того времени вовсе не игра воображения, пусть даже подлинный опыт часто прикрыт лоскутным одеялом стереотипов. Недаром в моду вошли такие эпитеты, как «неустанно» и «непрерывно», а слово «темп», которое до того обозначало определенную заданную скорость, превратилось в призыв к максимальному ускорению. Как замечают даже трезвые социальные историки, в конце XIX века исчезла «часть неторопливости старого мира» (Риттер и Тенфельде). Да, стремление

к экономии времени встречается еще в XVIII веке — правда, поначалу лишь в виде мудростей вроде «тише едешь — дальше будешь», — а уже в начале XIX века к привычным словам добавляется атрибут ускорения: так, технический лексикон, равно как и реалии жизни, массово пополняется такими новшествами, как «скоростное отбеливание», «скорое дубление», «срочная почта», «скоропечатная машина» и многое другое. Но в новом техническом контексте 1900 года экономия времени обрела совсем иное значение — она стала уже не просто девизом, но полностью организованной практикой, экспериментом беспрестанного ускорения и второй природой человека. Столь резкое изменение произошло на глазах одного поколения. В Германской империи новый мир индустрии и техники возник более стремительно, чем во многих других европейских странах. На рубеже веков скорость считалась символом эпохи прежде всего в США и в Германии — ни в коем случае не во всей Европе. Американский философ и историк Генри Адамс в это же время полагал, что во всемирной истории заработал «закон ускорения» — самые яркие его подтверждения за пределами Штатов он видел в Германской империи: всюду чувствуется новая энергия, питаемая каменным углем, Рейн более модернизирован, чем Гудзон, Кёльнский собор рядом с главным вокзалом Кёльна выглядит так же чуждо, как собор Святого Имени в Чикаго. Одному французскому наблюдателю бросилось в глаза, что в Германии с каждым днем становится все больше сокращений — все зашло настолько далеко, что в деловом соглашении запросто пишут «м.сд.» — «мы сделаем» (см. примеч. 34).

Свидетельства очевидцев о «гонке и травле» кажутся еще более достоверными, если знать, что они исходили не только от книжных эстетов, но и от самых реалистичных технических специалистов. Особенно наглядно техническое ускорение в период между 1870 и 1890 годами описал Алоис Ридлер, один из корифеев машиностроения. С его точки зрения, еще начало 70-х годов оставалось эпохой ранней индустриализации, когда «в ленивом такте своих тяжелых членов» еще работали чугунные машины, и никто не думал о «точной работе». В 90-е же годы «технический мир» превратился в «кипящий котел», из которого, как пузыри, непрерывно поднимались рискованные новации, и где под бичом конкуренции изменилось все и вся. В 1899 году он сам, будучи ректором Высшей технической школы Берлин-Шарлоттенбург, объявил «быстрое производство» девизом нового времени. «Применение высоких скоростей», — пишет Ридлер, — это «не просто свойство нашего транспорта [...], но свойство всех технических достижений современности» (см. примеч. 35).

В США скорость к тому времени уже была девизом. В 1870-х годах темп, прежде всего в массовом производстве рельсовой стали, рос до тех пор, пока не дошел до предела допустимой нагрузки на рабочих. Судорожный темп как фирменный знак американцев был тогда в новинку; еще не так давно янки считался таким типом, «покой которого ничем не нарушишь». Самой технике ускорение давалось непросто: «колеса выли и скрипели, как только скорость увеличивалась, так что все время было страшно, как бы они не сошли с рельсов». Уже по чисто технической логике повышение темпа вызвало волну стрессовых явлений как у материала, так и у человека. Совпадение во времени между переходом к быстрому производству и распространением неврастении, как ее понимал Бирд, поражает воображение. Система принуждения и контроля существовала еще до изобретения конвейера: «На каждые пять или шесть рабочих, обслуживавших станки, — сообщает Ханс Доминик на примере американской электроиндустрии, — приходился один контролер, с часами в руке постоянно сидевший у них за спиной». В последующие годы Фредерик Уинслоу Тейлор[7] полагал, что большинство станков все еще функционирует слишком медленно и что рабочие напрасно заявляли, будто ускорение идет за счет качества производства. Благодаря его «быстрорежущей стали» темп наращивался резкими скачками, что лишь за первые несколько лет после 1900 года вызвало «невероятные преобразования во всей металлообработке». Началось повсеместное соревнование в повышении эффективности, которое выходило далеко за пределы технических мощностей и привело к тому, что материалы не выдерживали и давали сбой в самых неожиданных местах (см. примеч. 36). Именно в этой ситуации немецкая индустрия в начале 1900-х годов пережила волну американизации.

Инженер Вильгельм Бердро, позже ставший биографом фирмы Круппов, в 1900 году написал для журнала «Gegenwart»[8] статью «Техника на рубеже веков» против повсеместного ажиотажа вокруг нового столетия. Великих технических сюрпризов он не ждал, и даже полагал, что XX век точно так же «пройдет под знаком пара, как истекший век». Тем сильнее бросается в глаза, что и он под впечатлением современной техники готов к непрерывному ускорению:

> «Увеличение скорости во всех технических производствах будет одним из главных девизов XX века. Как телеграф [...] из печатающего стал быстрым телегра-

[7] Тейлор также был основоположником тейлоризма — учения, направленного на научную организацию в целях повышения производительности и экономической эффективности.

[8] Современность, настоящее время (*нем.*).

фом [...], как со все более порывистой торопливостью делают свое шумное дело паровые машины и динамомашины, станки, молоты и прессы, буровые установки и клепальные машины, как военное судно, торговый пароход достигают нужного берега вполовину быстрее, чем прежде, как за несколько дней как будто из ничего возникает локомотив, — так во всех сферах техники и индустрии все стремится к максимальным, сверхнапряженным достижениям».

В сборнике «Техника в XX веке» за 1912 год значится, что были изобретены «сложные машины», окупавшие себя «за счет экономии секунд». Изготовление одного шурупа на старом токарном станке занимало 30 минут, а на автоматическом токарно-револьверном станке — 50 секунд, при этом один рабочий мог одновременно обслуживать до десяти станков, т.е. экономия за счет заработной платы была более чем в 300 раз. Конечно, столь резкая технизация затронула лишь некоторые сферы массового производства, однако их постепенно становилось больше. Даже такая отрасль, как изготовление мебели, прежде принадлежавшая исключительно старым мастерам, на рубеже веков была захвачена механизацией и серийным производством. Дольше держалась автономия ручного труда во тьме горных подземных выработок — вплоть до эры высокой индустриализации и даже позже. Но между 1909 и 1917 годами в Рурском регионе количество качающихся транспортеров, несмотря на сопротивление горняков, возросло с 6 до 630: это была техническая революция, которая привнесла в горное дело элемент поточного производства и не только повысила интенсивность работ, но и повлекла за собой усиление шума и вызвала таким образом «чувство повышенной опасности» (см. примеч. 38).

Вписывается в общую картину и то, что в 1901 году немецкая Имперская почта ввела быстропечатающий телеграф, который передавал сначала 24 тысячи слов в час, а пятью годами позже — уже 100 тысяч слов. По числу телефонных подключений Германия хотя и безнадежно отставала от США, однако значительно опережала Францию и Англию: в 1913 году количество подключений в Германии (1 076 000!) почти в 5 раз превышало показатели французской телефонной сети. Лишь Первая мировая война лишила страну этого лидерства. Поскольку в Германии того времени еще не говорили по телефону ради удовольствия, это свидетельствует в первую очередь об ускорении коммуникации в экономике и администрировании. С 1900 года разрешалось комбинировать внутрипроизводственные аппараты удаленной связи с основными линиями узловой телефонной станции. Ойген Дизель[9] позже с тоской вспоминал,

[9] Дизель Ойген (1889–1970) — писатель, сын Рудольфа Дизеля, автор культурно-философских работ о взаимоотношении человека с техникой и особенно с автомобилем.

какое «радостное возбуждение» царило в доме Дизелей в 1898 году, когда там установили телефонный аппарат: «Тогда мы еще не понимали, что с телефоном в наш дом и наше предприятие ворвался демон, который в любое время без предупреждения врывается к нам своими пронзительными звонками, прерывая ход мысли и разговора своим мгновенным вредоносным шоком и наполняя и без того занятый день новой нервотрепкой» (см. примеч. 39). Как видно в старом кино, телефонные звонки прежде звучали куда более волнующе, чем сегодня.

В 1875 году расстояние 650 км между Берлином и Мюнхеном можно было преодолеть на прямом поезде за 18 часов это соответствовало средней скорости 36 км/ч. Пока каждый вагон приходилось тормозить вручную и отдельно друг от друга, даже небольшое повышение скорости было очень рискованным. Но в 1880-х годах появился сплошной и полуавтоматический пневматический тормоз, и в обществе зазвучали призывы к увеличению скорости. В 1892 году был запущен прусский скоростной локомотив с максимальной скоростью 100 км/ч. В 1907 году локомотив поставил рекорд в 154,5 км/ч. Неприятной платой за ускорение оказались усилившаяся тряска и нервная нагрузка у обслуживающего персонала.

Сходные процессы шли и на море. В 1880 году немецкая судоходная компания Der Norddeutsche Lloyd по английскому образцу организовала скоростное пароходное сообщение. Возросший темп обусловил новые требования к квалификации судовой команды. Тогда Имперская служба внутренних дел после принятого в 1898 году Первого морского закона созвала конференцию специалистов по навигации, обосновав ее тем, что обострившаяся конкуренция европейских держав «настолько выдвинула на передний план стремление к экономии времени как у самих навигаторов, так и у всех, чьи задачи связаны с навигацией», как «во времена старого доброго пароходства мы и близко не знали». В 1897 году был спущен на воду немецкий скоростной лайнер «Kaizer Wilhelm der Grosse» (Император Вильгельм Великий), в том же году получивший «Голубую ленту Атлантики» — приз за рекорд скорости при плавании из Европы в Америку. За ним последовали новые немецкие пароходы, все более массивные и быстрые. «Все они имели гигантские паровые машины [...] и при высоких скоростях страдали от заметных вибраций». Стремление к техническим рекордам сопровождалось тогда еще большим ростом нагрузки на нервную систему, чем сегодня, ведь еще не было электронных систем управления, которые бы компенсировали сложность новой техники. Трудно представить, но в 1910 году для работы одних только машин и котлов на новом быстроходном паровом судне требовалось почти 400 человек (см. примеч. 40).

Новая техника зачастую была обременительна не сама по себе, но в комбинации с ускорением и интенсификацией труда. Общие заключения в отношении качественных аспектов страдают неточностью и неуверенностью, поскольку в отличие от заработной платы и графика работы здесь отсутствовала серьезная статистика. Однако множество симптомов указывает на то, что мир труда переживал на рубеже веков ускорение, спешку и стресс. Незадолго до 1914 года на заводах Бош в Штутгарте распространилось выражение «в темпе Боша». Вкупе со сдельной системой оплаты труда этот «темп» привел к острому трудовому конфликту, хотя Роберт Бош считался предпринимателем, дружелюбным по отношению к рабочим (см. примеч. 41).

Для интенсификации производства предприниматели использовали два разных (хотя бы теоретически) метода: сдельную оплату труда и усиление рабочего контроля. В Германии до 1914 года и еще долгое время после этого рабочий контроль на местах проводился на уровне мастеров, даже если честолюбивые инженеры предвещали «конец института мастеров», так что добиться интенсификации труда извне, через голову мастера, было очень трудно. Поэтому в центре дискуссий на тему интенсификации труда и ее последствий для нервов оказалась система сдельной оплаты труда. Насколько вырос процент этой формы оплаты в общей системе оплаты труда, сказать нелегко — общая картина форм выплаты зарплаты не поддается обзору. Сдельная система привлекательна только там, где для отдельного рабочего или бригады существует возможность повысить производительность, а смысл она имеет, лишь когда в производстве важно количество, но не качество. Поэтому механизация труда не всегда благоприятствует системе сдельной оплаты, ведь трудовые процессы, идеально объединенные в общую сеть, нельзя ускорить индивидуально, а прибыль от деятельности инспекции труда не оценивается количественно. В форме поштучной оплаты сдельная оплата имеет доиндустриальное происхождение и идеально вписывается в мир ручного труда.

В целом ряде случаев новая техника и сдельная оплата труда не уживались друг с другом (см. примеч. 42). Но несмотря на технический прогресс, в начале XX века в промышленности все еще преобладал ручной труд, и рабочий вовсе не был тем безвольным «колесиком в механизме», каким видели его представители образованной буржуазии, а напротив, зачастую вполне мог воздействовать на производительность своего труда. Это создавало выгодные условия для введения персональной и бригадной сдельной зарплаты. В ситуации, когда увеличивать продолжительность рабочего дня было уже невозможно и под давлением

профсоюзов его начали сокращать, предприниматели были особенно заинтересованы в том, чтобы за счет сдельной оплаты труда ускорить темп работы. Часть рабочих тоже к этому стремились. Экономист и социолог Генрих Херкнер даже утверждал, опираясь на опросы Союза социальной политики, что от рабочих часто можно было услышать: «Со сдельной оплатой труда не так скучно работать». Правда, свободные профсоюзы официально выдвинули лозунг «сдельная оплата — это убийство», однако на практике фронт против нее рассыпался, ведь немалое число рабочих не возражали против нее (см. примеч. 43). Новые потребности и новая уверенность в себе, возникшая за счет роста потребления, способствовали тому, что и среди рабочих находились люди, готовые выжимать как можно больше из своего трудового дня. Именно из-за того, что сдельная оплата не только навязывалась рабочим, но и отвечала их собственным устремлениям, она создавала атмосферу общей суеты, по крайней мере в переходный период, пока еще не установился новый трудовой ритм.

Некоторые современники указывали на взаимосвязь сдельной зарплаты и неврастении. Два врача из санатория Белиц, которые в 1905 году, опираясь на статистические данные, представили исследование о «неврастении среди рабочих», назвали главной причиной неврастенических расстройств с тяжелыми органическими последствиями «изменившиеся условия жизни и труда»: «Труд стал другим! Сдельная оплата труда принесла более высокий доход, но вместе с ним такую суету, гонку и неслыханную интенсивность труда, которая подкосила рабочее население, в первую очередь наиболее слабую его часть [...] Возник постоянный страх отстать, не успеть, задержаться на низкой позиции, низкой зарплате». Военный врач, который в те же годы, не будучи знаком с исследованием из Белица, изучал «Причины неврастении и истерии у рабочих» на примере 200 пациентов «Дома Шёнов», в 45 случаях называет главной причиной высокую трудовую нагрузку. В трети этих случаев отчетливо виден главный виновник — сдельная зарплата. Автор представляет свои впечатления: «Кто хоть раз заглядывал на фабрику, видел, с какой аномальной скоростью там работают, какую предусмотрительность и осторожность должен проявлять там каждый человек, не может не заметить изнуряющее действие сдельной оплаты. И не только как чисто физический фактор, но и в первую очередь как психологический». Такое мнение разделяли многие рабочие (см. примеч. 44). Когда Генрих Херкнер в докладе 1911 года на Нюрнбергском генеральском собрании Союза социальной политики подвел итоги исследований психологии труда, он говорил о «нервозной гонке сдельных рабочих» как об общеизвестном факте (см. примеч. 45).

Нагрузку на нервы создает не только темп труда, не менее важны равномерность или неравномерность работы и возможность задавать ритм работы самостоятельно, согласно собственным ощущениям. В этом отношении ситуация начала XX века у многих вызывала тревогу. Не просто так экономист Карл Бюхер поднял вопрос о ритме труда, считая его серьезной проблемой. Он совершенно справедливо считает, что тот момент, когда на смену разнонаправленным движениям машин пришли вращательные, стал антропологически значимым перелом в истории техники, переходом от ранней индустриализации к поздней:

> «На старых строгальных станках ручной рубанок двигали за счет механической силы, старые лесопилки на пилорамах были сделаны по подобию ручной пилы, самая первая мясорубка повторяла движения ручного ножа-качалки, традиционная плоскопечатная типографская машина очень недалеко отошла от ручного пресса. [...] Но теперь в развитии машиностроения стремятся избавиться от связанного с ритмическим ходом машин пустого возвратного движения и повсюду, где только можно, переходят к кругообразным движениям, позволяющим избежать потерь. [...] При этом из мастерских уходит древняя музыка труда, которая была еще отчетливо слышна в ритмических движениях машин».

И хотя новые машины тоже позволяют ритмизировать труд, но новые рабочие ритмы «резко отличаются от старых»: рабочий теперь уже «не господин своих движений» (см. примеч. 46).

Общие суждения о нагрузках на нервы у рабочих на рубеже XIX и XX веков всегда очень уязвимы — неудивительно, что историки пока не особенно активно исследуют реальное содержание тогдашних жалоб на стресс. Безусловно, вращательные движения машин не всегда повышают зависимость труда от внешних факторов. Когда итальянский физиолог Анджело Моссо, автор первых исследований по утомлению, написал, «что человек приговорен идти в ногу с гигантскими автоматами, и отдых для него уже невозможен», его с полным основанием стали критиковать за то, что он выдал кошмарный образ за эмпирическое наблюдение. Нельзя представлять весь фабричный мир до 1914 года как сплошной пандемоний нервных мытарств.

Слишком идеально-типическая картина общего ускорения, игнорирующая любые не вписывающиеся в нее признаки, возникает вследствие оптического обмана, когда люди путают тенденции с реальными процессами, а новейшие технические проекты — с реальным состоянием техники. «Американский зал», оборудованный в 1872 году в компании Siemens & Halske и ставший воплощением индустриального массового производства с высочайшей степенью разделения труда и сдельной оплатой, даже в описании семейного биографа Георга Сименса

полностью вписывается в картину новой изнурительной организации труда. Однако этот взрыв американизации у Сименса вскоре иссяк, и в 1890-е годы предприятие, как потом писали, стало «устаревшим и заспанным». Правила внутреннего распорядка на предприятиях Круппа еще в 1890 году содержали пункт о категорическом запрете сна в течение рабочего дня — это проливает свет на тот факт, что в трудовом процессе все еще оставались ниши для отдыха. В 1891 году 91-летний фельдмаршал фон Мольтке произнес в рейхстаге речь о том, что по военным соображениям необходимо ввести единое национальное время. При этом он подчеркнул, что «в практической жизни» «минутная точность востребована очень редко», а школьные часы нередко специально ставят с опозданием на 10 минут, «чтобы все ученики были на месте, когда приходит учитель» (см. примеч. 47). Позже, в эру рационализации 1920-х годов, трудовой процесс довоенного времени будет вспоминаться как вполне «уютный».

В историях болезней прямые указания на ускорение как причину неврастении встречаются довольно редко. Стрессовые явления трансформировались в ярко выраженную неврастению через профессиональные и сексуальные проблемы. Возможно также, что под давлением эпохи многие неврастеники не хотели признаваться в том, что они чего-то не успевают. Дюбуа упоминает «педантичную пунктуальность» как характерную черту неврастеника. Между строк зачастую просматривается гнетущее действие роста производительности труда, переутомления и страха проиграть в обострившейся «борьбе за существование». У инженера 35 лет, в 1908 году два месяца лечившегося в Арвайлере, страх не справиться с темпом работы коррелировал с сексуальными фобиями. Он полагал, что его нервное расстройство началось после того, как он получил место в берлинском филиале Всеобщей электрической компании (Allgemeine Elektricitäts Gesellsehaft — AEG):

> «Весной (1908 года) пациент был назначен выполнять определенную деятельность, однако однажды начальник заявил, что тот с ней не справляется: Вы работаете недостаточно быстро и производите своеобразное впечатление. Эта история очень взволновала пациента, так что он стал думать, что его в любой момент могут уволить. Он был так возбужден, что почти не мог более работать. [...] Он полагал, что начальник каждый день посылал в ресторан, где он обедал, молодую женщину, к которой он должен был проявить интерес. [...] Уже год пациент питается только в вегетарианских ресторанах, у него возникла идея, что ему что-то подкладывают в еду, потому что в истории с женитьбой он пошел наперекор ожиданиям других» (см. примеч. 48).

У одной женщины из обеспеченного семейства, побывавшей в Вефиле сначала в 1908-м, а затем в 1927 году поступившей туда на весь оста-

ток жизни, расстройство началось в 1907 году, после того, как ее муж умер, его магазин обанкротился, и она осталась «буквально ни с чем»: «учиться какой-либо профессии она не рискнула, потому что если ты не слишком быстр и умел, то успеха не добьешься» (см. примеч. 49). Уже одно ожидание высоких требований могло сыграть свою роль при возникновении психического расстройства.

Опыт знакомства с техникой определяется не только ее современным состоянием, но и через призму тех перспектив, надежд и страхов, которые она вызывает. 1890-е годы были началом эры бурных технологических предсказаний. Эта исполненная разнообразными ожиданиями эпоха началась довольно внезапно, с образов электрифицированного будущего. Еще не так давно многим казалось, что техническое развитие вскоре остановится. Возможности силы пара и даже известной к тому времени электротехники уже дошли до предела. Даже Сименсы не верили в великое будущее электричества и активно работали в других технических сферах; в 1880-х годах Вернер фон Сименс называл шумиху вокруг изобретения Белла «телефонной аферой» и не верил в победу электрической лампочки над газовым освещением. А уже в 1901 году даже Адольф Вагнер, один из критиков безудержной индустриализации, не видел пределов технического прогресса в сельском хозяйстве. В 1880 году президент Немецкого общества корабельных плотников заверял, «что время строительства железных корыт» вскоре «закончится» и «нужно будет снова строить деревянные парусные суда». Уже 20 лет спустя такой прогноз вызвал бы только смех (см. примеч. 50).

На рубеже веков представление о «технике» как взаимосвязанной цельной структуре стало общепринятым, а благодаря электрификации этот организм получил как бы собственные нервы. Эта техника была теперь чем-то вроде бесконечного потока, в котором вольно или невольно приходилось плыть всем и каждому. Если еще в первой половине XIX века немцы относились к западным новшествам скорее с сомнением, то к его концу в Германии как никогда прежде приветствовали инновации. Крупные и затратные технические проекты, такие как канализация или всеобщая электрификация, поначалу встретившие сопротивление множества авторитетных противников, теперь обрели непреодолимую силу и привлекательность. Лихорадкой инноваций заразились и многие медики. Если в начале XIX века простейшему, безобидному стетоскопу понадобились десятилетия для того, чтобы его признали немецкие врачи, то на рубеже веков опасная рентгеновская съемка пробила себе дорогу фактически молниеносно и с невероятным легкомыслием была пущена в медицинскую практику (см. примеч. 51).

Для 1890-х годов и начала XX века было характерно экстраполировать быстротечные тренды на далекую перспективу, что размывало грань между реальным и возможным. Именно в это время появляются ранние формы научно-фантастической литературы. В 1891 году обербургомистр Адикес на открытии Международной электротехнической выставки во Франкфурте, сыгравшей важную роль в развитии технологий переменного тока и тока высокого напряжения, говорил: «Дух беспокойства пронизывает наше время; фантастические картины наполняют пространство. Поскольку люди верят в технику, от нее ожидают невозможного; настало время утопий». Когда немецкие скорые поезда только-только достигли скорости 100 км/ч в час, превысить которую они затем не могли несколько десятков лет, Август Бебель торжествовал: «Теперь наш девиз — 200 км/ч». В 1909 году Вильгельм Оствальд на полном серьезе ждал, «что человек научится летать не хуже крупных морских птиц, которые достигают великих скоростей, не взмахивая крыльями» (см. примеч. 52).

Вырос ли темп работы в каждом конкретном случае или нет, но в 1900 году и оптимисты, и пессимисты не ждали от будущего ничего кроме темпа и скорости. Даже если настоящее оставляло простор для интерпретаций, будущее выглядело однозначно, по крайней мере поначалу. И с этим образом будущего связывались перспективы, казавшиеся не менее ясными: рост предприятий, совершенствование их структуры, дальнейшая механизация, постепенная замена людей машинами. Далеко не все реальные факты подтверждали такой образ будущего, однако логичная и выразительная картина технического прогресса складывалась только в этом направлении, достойных альтернатив у нее не было. Воздействие этого образа, в котором работающий человек все больше зависел от крупных технических систем, легко прослеживается в историях пациентов: вспомним электротехника, потерпевшего крах в Буэнос-Айресе и впавшего в полное отчаяние, работая в берлинском отделении AEG (см. примеч. 53). От Вальтера Ратенау до социалистов — все были захвачены общей идеей неуклонной механизации и безграничного роста предприятий.

Такая перспектива и завораживала, и ужасала. Высокий темп пугал и кружил голову; механизация могла означать как порабощение машиной, так и освобождение от бытовых мучений. Нет смысла пытаться однозначно передать атмосферу того времени — как полную эйфорию от техники, или наоборот, как страх перед ней: доказательств достаточно и с той и с другой стороны. Главной характеристикой эпохи была именно путаница, противоречивость эмоций. Безграничный технический прог-

ресс многих пугал, однако от него нельзя было уйти, поскольку с новой техникой связывались представления об исполнении элементарных пожеланий. Общее отношение к технике наделялось той нервной порывистостью, неуверенностью, которую порождает сочетание страха и желания. Националисты нуждались в техническом прогрессе для укрепления рейха, социалисты — для приближения государства будущего: техника, как и связанная с ней гигиена, в вильгельмовской Германии превратилась в элемент консенсуса, значение которого до сих пор недооценивают. В первое десятилетие XX века интерес к технике пронизывал даже аристократическую верхушку Германии. В конце 1913 года баронессу Шпитцемберг удивляла и беспокоила «страстная увлеченность знатных юношей техникой»: отпрыски Бисмарка, Бетмана-Гольвега и Варнбюлера бредят ею «день и ночь, как прежние поколения бредили охотой» (см. примеч. 54).

Техника порождала не только тревогу. Одной из наиболее ярких инноваций стала паровая турбина, устранившая вибрации парового поршневого двигателя с его возвратно-поступательным движением. Вращательное движение, которое сделало невозможным традиционный ритм труда, при техническом усовершенствовании принесло ощутимое снижение вибрации. После 1900 года от этого особенно выиграли военные корабли. Становился очевидным технический прогресс в сторону большего покоя — правда, при высокой скорости производства. Такой тип покоя открывал путь дальнейшему ускорению.

Стремление к высоким скоростям, общее упоение темпом нередко вызывали критику даже у технических специалистов. Погоня за рекордами, все эти «быстрее, выше, сильнее», были родом не из индустрии, а из спорта. Это отличный пример того, как современный спорт влияет на общий менталитет. В технических кругах порой говорили о лихорадке высоких скоростей как о коллективном психозе, и видно, что на формирование такого мнения повлиял и дискурс нервов. Это особенно заметно среди железнодорожных специалистов, которые очень рано начали обсуждать проблему воздействия высоких скоростей на нервы. В конце XIX века, вскоре после появления прусского скоростного локомотива с максимальной скоростью 100 км/ч, железнодорожники пришли к единому мнению, что «вряд ли когда-нибудь можно будет допустить» скорость выше 110 км/ч. Этот аргумент служил тогда для защиты от лобби электрификаторов, пытавшихся пропагандировать электрификацию железной дороги, ссылаясь на возможное увеличение скорости. Ограничение скорости обосновывали не только требованиями технической безопасности, но и интересами нервной системы. Главный советник по

строительству Мориц Штамбке, один из ведущих железнодорожных авторитетов, говорил прямо: «Наше время и так уже достаточно нервное и суетливое; не стоит подталкивать его еще и ростом скоростей» (см. примеч. 55).

Многие инженеры также считали «спешку и травлю» неприятностью, которую можно и нужно преодолеть. Автомобильные гонки казались им легкомысленным вздором. «Скоростная» лихорадка начала XX века провоцировала протестные настроения. Уже после первых 10 лет «производства на высоких режимах» на берлинских машиностроительных предприятиях отметили, что даже «переусердствовали в разработке устройств, экономящих время, и в совершенствовании механизмов». В американской сталеплавильной промышленности «производство на высоких режимах» также характеризовало лишь переходную фазу. По юбилейному фолианту «Германия как мировая держава», изданному к 40-летию Германской империи и включавшему раздел о технических достижениях, очевидно, что триумфы скорости остались в прошлом, и новыми лейтмотивами технического прогресса стали научная обоснованность технических устройств и повышение КПД. В 1912 году, после катастрофы «Титаника», профессор Берлинской высшей технической школы Отто Николаус Витт в издаваемом им журнале «Prometeus» с горечью писал о «вечной борьбе за скоростные рекорды», порожденной духом «ипподромов и велосипедных гонок» и несущей на себе основную часть вины за катастрофу (см. примеч. 56).

При трезвом рассмотрении далеко не все тенденции развития транспорта начала XX века указывают в направлении бесконечного ускорения. Многие из тех, кто ратовал за прогресс и стремился в будущее, были охвачены велосипедной лихорадкой. Другие, прежде всего сельские жители, возлагали надежды на рост и совершенствование национальной сети мелких железных дорог. Те, чьей первоочередной целью были максимально дешевые массовые перевозки, отдавали приоритет развитию сети каналов и речным работам. Даже экономист и социолог Вернер Зомбарт считал, что внутреннее речное судоходство «может служить равноценным партнером железных дорог» (см. примеч. 57). Строительство Среднегерманского канала стало первоочередной политической задачей. Одно время воплощением немецких технических мечтаний был величавый и плавный дирижабль. Однако все эти транспортные технологии через какое-то время притормозились — создать цельную связную картину «мягкой» альтернативы технологиям ускорения они так и не смогли. Подробнее стоит остановиться на велосипеде и автомобиле — технологиях, вызвавших в свое время самые бурные эмоции.

Велосипед — пример крайне увлекательный, и не только из-за того, что он взбудоражил чувственный мир человека[10], но и благодаря его заметной роли в дискурсе нервов. Историки велосипеда приписывают двухколесному транспорту настолько долгую и глубокую историю, что даже сами поддаются обману. Однако какой бы ни была история велосипеда, для нас важнее всего великий скачок 1890-х годов. «Мир сегодня — под знаком двух колес», — пишет в 1896 году в журнале «Jugend» Георг Хирт. И в том же году 59-летний Фридрих Август фон Гольштейн тяжко вздыхает: «Ничто не заставляет меня так остро ощутить собственную старость и начало новой бурной эпохи, как появление велосипеда». Эдуард Бертц[11] в начале XX века заявил, что «борьба велосипеда за свои права» была не менее чем «новым разделением мира». Только за счет новых технических достижений стало возможным массовое производство велосипедов с низкими колесами, легкими стальными трубками, цепным приводом, шарикоподшипниками, механизмом свободного хода и надувными резиновыми шинами. Все это сделало велосипед доступным и увлекательным для множества людей. Велосипедный энтузиазм не был полностью спонтанным и чисто техническим — на велосипед проецировались актуальные для того времени мечты о регенерации и освобождении. Еще в 1885 году, во времена высоких велосипедов, английская статья, посвященная «дегенерации лондонцев», ставила велосипед на 1-е место среди средств спасения от вырождения (см. примеч. 58).

На раннем этапе своей истории велосипед вызвал не только восторги, но и целую волну медицинской критики, врачи в то время уделяли велосипеду не меньше внимания, чем инженеры. В более поздних воспоминаниях заядлых велосипедистов эти сомнения сохранились лишь как уловки трусливого филистерства. Однако в самый первый момент они не были совсем пустыми. К примеру, швейные машины с их вибрацией и тряской оказались действительно вредны для женских органов. Кто мог поручиться за безопасность велосипеда? Кроме того, неопытные велосипедисты часто перенапрягались до полного изнеможения. Позже, в военный 1915 год, далеко не сентиментальный доктор писал, что «сердца» предвоенного времени, «вымотанные велосипедом и изможденные спор-

[10] Даже в упоминаемой ранее пьесе Ведекинда «Маркиз фон Кайт» езда на велосипеде несколько раз становится темой разговора — в рамках довольно небольшой по объему пьесы.

[11] Бертц Эдуард (1853–1931) — немецкий писатель и философ, выступал за актуальные эмансипационные движения эпохи, прежде всего за социал-демократию, права гомосексуалистов и езду на велосипеде.

тивными состязаниями», были залогом сердечных расстройств вследствие переутомления, ставших массовыми в Первую мировую войну.

Тревоги о том, что велосипед стимулирует сексуальное возбуждение, сегодня вызывают улыбку. В 1896 году один врач утверждал, что «велосипедистам нередко приходится останавливаться, поскольку сильные и продолжительные эрекции не дают продолжать путь» (см. примеч. 59).

Ответом на такие доводы служил встречный вопрос — так ли это плохо. Берлинский невролог Альберт Молль, известный в кругу знатоков как коллекционер фаллических изображений, не воспринимал побочное действие велосипеда чересчур трагично: «Благотворное действие велосипеда на бесчисленное множество нервных женщин уже не будет оспаривать ни один здравомыслящий врач». По мере привыкания эротические желания, видимо, стали ослабевать; в 1906 году Герман Опенгейм даже рекомендует велосипед от онанизма. К тому времени нервный дискурс давно уже встал на сторону велосипеда: между прочим, это говорит еще о том, что перенапряжение сердца не особенно интересовало неврологов. Езда на велосипеде со всеми ее психологическими переживаниями вошла в терапевтический арсенал неврологии. В роскошно оформленном сборнике, посвященном «велосипедному спорту» (1897), один врач писал, что «велосипедный спорт оказывает самое сильное и революционное воздействие на нервную систему», однако этот опыт, еще не получивший достойного внимания, остается недоступным для того, кто «изучает жизнь за письменным столом, а не в седле» (см. примеч. 60).

В 1898 году врач из Шарлоттенбурга, Артур Канн, опубликовал прославленную и неоднократно потом переиздававшуюся брошюру «Нервозность и велосипед», в которой воспел велосипед, называя его «событием для нервного мира» и «могучим конкурентом водолечебниц». Целебное действие велосипеда он обосновывает скорее собственным опытом, чем неврологией, и впадает при этом в полный восторг: «блаженство», «пронизывающее все члены» при езде на велосипеде, «неописуемо». «Стоит только уставшему, еще недавно избегавшему любого лишнего движения человеку сесть на велосипед, и вот он уже вызывает своего друга на олимпийское состязание по сельской дороге и чувствует такую радость победы, как будто завоевал весь мир». «Появляются мужество и хладнокровие, и бессильное существо поднимает голову и превращается в гордо шагающее вперед дитя человеческое» (см. примеч. 61). Любой читатель тут же представит себе, как даже врач в эйфории езды оставляет все медицинские сомнения по поводу лихачества, и как даже тот, кто казался себе слабым, расправляет плечи, вдыхает полной грудью и ощущает в себе презрение к слабакам.

Писатель Эдуард Бертц, который в 1881 году вследствие «тяжелого расстройства нервов» прожил год в уединенной хижине в «диких лесах Теннесси», в 1900 году опубликовал сочинение под названием «Философия велосипеда». В нем он — явно по собственному опыту — рекомендовал велосипед как проверенное средство восстановления людей с нервными проблемами. «Там, где исчезает природная решительность, где человека терзают вечные сомнения, нужен велосипед. Какая прекрасная школа мужественности!» Как символ эпохи велосипед вдруг приобретает жесткие, агрессивные черты: Бертц говорит о борьбе велосипеда против «обширной, вязкой массы филистеров»; эта борьба «нового, прогрессивного времени ведет против старого, уходящего, которое не хочет умирать и отчаянно противится своей гибели» (см. примеч. 62).

Между велосипедом и учением о нервах в начале XX века возникло взаимодействие, которое остается уникальным в отношениях между историей техники и историей нервозности. Эйфория езды на велосипеде поддерживалась надеждой на восстановление истощенных нервов. Но и знакомство с велосипедом, в свою очередь, сказалось на учении о нервах. Собственное тело открыло человеку новый опыт: благодаря быстрому движению возникает уверенный баланс, вновь исчезающий при остановке. Это переживание было антропологической новостью. Принципиальное понимание, что для лечения нервов отсутствие движения — это терапевтический тупик, и что нервы, наоборот, укрепляются за счет движения и напряжения, получила поддержку благодаря велосипеду, если не сказать, что именно ему она обязана своим появлением. Эмиль Золя в романе «Париж» (1898) хвалил велосипед как «школу долготерпения и силы воли»; а тренировка воли в последующее время стала девизом всех невропатологов, презирающих шезлонги и теплые ванны. Человеку, с детства привыкшему к велосипеду, не нужно напрягать волю, однако Золя учился ездить на велосипеде во взрослом возрасте, и в его тексте чувствуются и усилия, и преодоленный страх — отсюда и все разговоры о «хладнокровии» и «присутствии духа», необходимых, чтобы не разбиться. Кроме того, тогда еще не было системы переключения скоростей, облегчавшей езду в гору.

В 1909 году в Шарите лечился студент-неврастеник. Он заразился сифилисом, затем «очень много работал, лихорадочно работал», потом на каникулах «очень много катался на велосипеде, очень быстро ездил», а после этого впал в апатию. Видно, что он все время катался на велосипеде, чтобы избавиться от своей нервозности, однако именно вследствие этого совсем сломался. В 1903 году в Арвайлер поступил сын аптекаря, 28 лет, представившийся как «очень нервный». Его отец заметил, что он

«перевозбужден» и что такое состояние — следствие помолвки и чрезмерного катания на велосипеде. По словам отца, в день он проезжал 120–140 км. В 1901 году один политик приехал в Бельвю на Боденское озеро из-за «чрезвычайного нервного истощения»: как оказалось, в последние годы он слишком много работал, слишком много пил и к тому же жил в браке с женщиной, которая уже неоднократно проходила курс неврологического лечения. Однако в острую фазу его «нервная болезнь» перешла лишь после многодневного велосипедного тура. После этого он объяснил жене, что любить ее больше не может и ему все равно, если он вскоре умрет. Вскоре после этого с ним случился апоплексический удар (см. примеч. 63).

И на левом, и на правом политических флангах увлеченность велосипедом считалась феноменом нервного века — как для газеты «Vorwärts»[12], центрального органа немецких социал-демократов, так и для пангерманца Пауля Лимана, который в своем идоле кронпринце критиковал только одно — страсть к велосипеду, да и то извинял ее «растущей нервозностью эпохи». Даже иные пассажи из «Философии велосипеда» нервного Эдуарда Бертца при более внимательном прочтении кажутся двусмысленными. Он пишет, что через повальное увлечение велосипедами нашла себе выход губительная для нервов суетность эпохи. «Время — деньги, эта старая английская поговорка обрела в велосипеде свое живое воплощение». В безрассудстве и «спортивной дури», как тогда говорили, он даже видит смертельную опасность для народа: велосипед становится «тираном и разрушителем»; «через излишества велосипедный спорт, призванный увеличивать силы народа, лишь ускоряет наш упадок и губит нас и наших потомков». Как и в случае других эйфорий, связанных с техникой, к велосипедному энтузиазму примешивался страх. Тем не менее велосипед придает писателю «уверенность, что эта творческая и боевая эпоха найдет лекарство для тех ран, которые она наносит» (см. примеч. 64).

Еще одним воплощением технологий будущего стал автомобиль. По сегодняшним масштабам Германия первых десятилетий XX века была еще практически свободна от автомобилей, и тем большее внимание привлекали к себе те немногие, что уже были. Уже около 1910 года Конрад Мачос писал, что «через несколько лет» автомобиль полностью изменит «всю картину транспорта». Некоторые свидетельства современников кажутся написанными в эру массовой моторизации — настолько их авторам удалось предвосхитить будущее.

[12] Вперед (*нем.*).

В трудах по раннему автомобилизму заметны следы дискурса нервов. Оглядываясь назад, кажется, что против автомобиля должны были выдвигаться серьезные обвинения в нагрузке на нервы. Действительно, в начале 1909 года статья в «Mindener Zeitung», требовавшая ограничения скорости до 12 км/ч и считавшая 25 км/ч «диким лихачеством», пророчествовала: «Если это прискорбное положение вещей не изменится, нервозность будет только расти». И с ней будут расти «страх, тревожность, потеря жизнерадостности» (см. примеч. 65). Однако в общем автомобиль в контексте нервозности не вызвал особенного пессимизма. У истоков «нервного» дискурса стоит не автомобиль — тревоги проецировались в первую очередь на железную дорогу. Автомобиль как лекарство от неврастении стал популярным тогда, когда для укрепления нервов стали обращаться уже не к покою, а все больше к *движению*, и многие уже успели познать чудо езды на велосипеде. «Он почти такой же неврастеник, как я, — пишет Оскар Уайльд в 1899 году об одном друге, — но у нас был автомобиль» (см. примеч. 66).

Как и в случае с велосипедом, в обсуждение автомобиля немедленно вступили врачи. И почти сразу утратили нейтралитет — понятно, как удобно врачу иметь автомобиль. Уже в 1903 году один французский медик писал о «терапевтической роли автомобиля». Гельпах считал, что автомобиль по сравнению с железной дорогой куда лучше для нервов, и даже предсказывал, что развитие автомобильного движения в конце концов принесет людям больше покоя, а именно совершит «то доброе дело, которого мы никак не дождемся — строго разделит улицы на проезжую часть и зону для пешеходов». Правда, один психиатр в 1904 году высказывал обоснованные тревоги о «затуманенности чувств» за счет высоких скоростей. При желании основные проблемы безграничной массовой моторизации можно было увидеть уже тогда. Нагрузка на нервы у человека за рулем в то время казалась даже больше — пока уличное движение еще не перестроилось под автомобиль, шоферу требовалась бóльшая быстрота реакции, чем впоследствии. Еще около 1930 года действовало правило, что «сильная неврастения делает человека непригодным к вождению автомобиля». Тем не менее «благотворное воздействие» вождения на нервную систему в 1909 году даже вошло в Энциклопедический словарь Мейера (см. примеч. 67). Велосипед наглядно доказывает, что технические средства зачастую воспринимались и как причина нервозности, и как средство борьбы с ней.

В те годы, когда точность, к которой вынудила людей железная дорога, была еще не для всех привычна и вызывала тревожность, автомобиль вернул его обладателю свободу распоряжаться собственным временем.

Писателю Отто Юлиусу Бирбауму избавление от страха перед опозданием показалось настоящей «сладостной перспективой». Этот автор, создатель известнейшего немецкого апофеоза автомобиля (1903)[13], стилизовал свою автомобильную поездку под ренессанс «сентиментального путешествия» гётевской эпохи, наудачу ехал «куда глаза глядят» и повторял про себя: «Путешествуй, не спеша». «Железнодорожные нервы» были для него символом перевозбуждения и мании скорости.

Если быстрая езда на автомобиле еще не считалась выражением спешки, то нужно вспомнить, что автомобиль в то время был привилегией людей обеспеченных и располагавших временем. Водитель наслаждался сознанием власти и покоя, повергая в тревогу других. Бодри де Сонье, в свое время известнейший французский автомобильный публицист, в 1902 году заметил: «Нет веселее картины, чем лицо иного шофера, когда он жмет на клаксон и с олимпийским спокойствием ожидает дальнейшего эффекта. Ничто не может противостоять этому львиному рыку». В ранней истории автомобиля нередко слышится то злобное удовольствие, которое водитель и его пассажиры получали от волнения напуганных пешеходов. В «нервозную эпоху» автомобиль оказался превосходным средством экстернализации внутреннего беспокойства и приносил то ощущение покоя, которое дарит человеку чувство превосходства. Этот опыт также внес свою лепту в общее представление о нервозности и о том, как с ней обращаться. Триумфальное шествие автомобиля, поначалу вовсе не популярного среди масс населения, содержало психический механизм идентификации с агрессором. Сам кайзер возглавил этот победоносный поход. Как пишет рейхсканцлер Бернгард фон Бюлов, первое время Вильгельм II был в ярости от автомобилей, «пугавших его лошадей», и сквозь зубы шипел своему канцлеру: «Охотнее всего я бы затолкал всех шоферов в...» «Но стоило ему самому пересесть в автомобиль, а его личным шоферам весело загудеть клаксонами, он превратился в горячего сторонника [...] автомобильного спорта и воспринимал любую критику своих безобразий как личное оскорбление» (см. примеч. 68).

Одним из самых тяжелых и наименее преодолимых факторов стресса индустриального общества стал *шум*. В Германии борьба против шумовых загрязнений вступила в новую фазу почти одновременно с началом «нервозной эпохи». Еще в 1869 году прусский министр торговли отказался принимать единые правила в отношении шума для ремесленных предприятий. Но уже в 1882 году Имперский суд принял решение, кото-

[13] Имеется в виду «Чувствительное путешествие в автомобиле».

рое могло бы стать эпохальным, — он признал законной жалобу, в которой человек, живущий по соседству с типографией, возражал против ее работы в ночное время. В иных случаях такие жалобы обычно передавались полиции. Здесь же Имперский суд признал, что если в доме вследствие «продолжительного чрезвычайного шума» жить становится трудно или невозможно, то право собственности нарушается точно так же, «как если бы с соседнего участка летели камни». Древнее, родом еще из римского права, понятие выбросов в атмосферу получило благодаря этому решению расширенное толкование. Это стало юридическим фундаментом для фронтальной атаки на шум (см. примеч. 69).

К сожалению, единого мнения в дискурсе нервов не сложилось. Большинство медиков сходились во мнении, что неврастеники очень чувствительны к шуму. Однако вопрос о том, является ли длительное шумовое раздражение причиной нервозности или чувствительность к шуму исходно один из ее симптомов, остался без ответа. Как установил задним числом в 1914 году один исследователь, «когда нервозность вошла в моду, врагам шума это принесло неприятности». Если кто-то жаловался на шум, виновник теперь мог возразить, что у жалобщика просто слабые нервы, а это само по себе болезнь, а не норма, так что считаться с его проблемами никто не обязан. В действительности, в жалобах на шум все время повторялась одна и та же игра: соседи жаловались, что шум действует им на нервы, а виновник шума возражал, что это у его соседей проблемы с нервами (см. примеч. 70).

В 1896 году Имперский суд отклонил представляемую прежде прусским Конституционным судом точку зрения о необходимости «предоставления защиты от любого шума, который здоровых людей делает больными, а больных — еще более больными». Судьи должны были ориентироваться на людей хотя и не с «безупречным» здоровьем, но здоровьем «среднего уровня», и не имели права делать скидки тому, «кто страдал исключительной болезненной возбудимостью или нервозностью, даже если подобные расстройства встречались не редко». Именно тогда придумали понятие «нормального среднестатистического человека», вошедшее вскоре в Гражданский кодекс. Но что было «нормальным» в конце XIX века? Прусский Высший конституционный суд в 1890-е годы отстаивал мнение, что слабонервность распространена настолько широко, что необходимо защищать и очень нервных людей. Уже в 1880-е годы лейпцигский медик Карл Реклам вынес экспертное заключение по жалобе, поданной соседом против работы парового молота, что жители крупных городов вследствие шума и других потрясений в целом более нервозны, чем сельское население (см. примеч. 71). Реклам

издавал журнал Международного союза против загрязнения рек, почвы и воздуха, в то время очень влиятельной организации, часть требований которой по охране окружающей среды были радикальными, — на какое-то время борьба против шума попала в многообещающий контекст. Когда «нервозная эпоха» и «нервозность жителей крупных городов» вошли в повседневную речь, эти общие места обрели правовой потенциал, создав новое представление о «нормальности».

Однако сформулировать проблему шума так, чтобы можно было пустить в ход эффективные контрстратегии, так и не удалось. Жалобы на шум встречали активное сопротивление множества противников. Особенный гнев вызывала «пианинная чума» — в то время это было расхожее словечко для постоянного бренчания не особенно одаренных любимых чад из среднего сословия. В то время это обвинение было не таким смехотворным, как кажется сегодня, когда подобные звуки стали довольно редкими. Какую «долю нервной силы [...] пожирает [...] пианинная чума [...], хорошо известно», — полагал один дармштадтский доктор. Эта напасть в столь гигантских масштабах стала акустической новостью и была связана с индустриализацией, поскольку с 1870-х годов в Германии началось серийное производство фортепиано. Теодор Лессинг[14] в своем «боевом послании» против шума (1908) выделял как «новый вид шума» треск мотоциклов и автомобилей и считал его «несравнимо более ужасным», чем «весь шум и гром, который когда-либо приходилось сносить роду человеческому от какого бы то ни было — живого или неживого — инструмента». Правда, почти не меньше он стонет от звуков выбивания ковров, воя собак, кудахтанья кур, а прежде всего от «чудовищных безобразий» музыки из ресторанов и кафе (см. примеч. 72).

Вскоре после выхода в свет памфлета Лессинг, философ культуры с медицинским образованием, в декабре 1908 года учредил «Общество против шума», известное как «Анти-шум». Печатный орган Общества, печатавшийся в издательстве Rundschau[15], назывался «Анти-хам» (*Anti-Rüpel*). Уже само его название привлекало внимание в первую очередь к тому шуму, который производили люди, а не механизмы. Несколько ранее, в 1906 году, в Нью-Йорке было основано «Общество за подавление излишнего шума» (Society for the Supression of Unnecessary Noise). Через два года Общество Лессинга насчитывало 1085 членов, большин-

[14] Мироощущение Теодора Лессинга (1872–1933) во многом напоминает традицию философии пессимизма и Шпенглера, но в отличие от них Лессинг выступает за активное действие и перемены.

[15] Медицинское обозрение (*нем.*).

ство из Берлина, Ганновера, Мюнхена и Франкфурта-на-Майне, среди них австрийский писатель и драматург Гуго фон Гофмансталь, известный участник дискурса нервов психиатр Август Кремер и историк Карл Лампрехт. Сам Лессинг в 1911 году вышел из движения против шума и прекратил издавать «Анти-хам». Общественный отклик на деятельность Союза разочаровал Лессинга, особенно по сравнению с изначальными ожиданиями, а также успехом нью-йоркского аналога, который в 1913 году смог выдвинуть в почетные вице-президенты целых 40 губернаторов штатов (см. примеч. 73).

Артур Вильке, рупор электро- и автомобильного лобби, выступил против «Анти-шума» с полемической статьей «Тирания невротиков». Он высказал «подозрение», «что в этот союз устремляются в первую очередь и в большинстве своем невротики», и добавил к этому собственное понимание нервозности: «чем нервознее, тем эгоистичнее». К тому же невротики «не только в своей чувствительности, но и в своих высказываниях и требованиях народ довольно неумеренный». Вильке тревожит, что «кружок Анти-шум пробует свои силы на автомобиле»: это может стать опасным для автомобилизма, поскольку «массы еще не выместили на него всю свою злобу». Хорошо видно, какие высокие шансы имели бы борцы за снижение шума, если бы сумели политически мобилизовать всеобщее раздражение на автомобиль. Теодор Лессинг, однако, возразил, что «антишумисты» относятся к автомобилю очень сдержанно, с большим пониманием: «Мы предусмотрительно следим за тем, чтобы не раздувать в народе реакционные инстинкты и не преграждать великолепному спорту дорогу в будущее», — даже он признает за автомобилем его прогрессивность. Среди целей его кружка на 2-м месте стояло требование «изгнать с улиц шум от детей», а об автомобильном шуме на улицах нет ни слова, и лишь на 8-м месте среди прочего звучало требование «усовершенствования электро- и автомобилей».

Лессинг полагал, что «чувствительность нервов» — это «условие культуры». Он любил цитировать слова Маргарет Э. Кливз, сказанные в адрес неврастеников: «World's work is done by invalids»[16]. Он видит суть проблемы шума в бессовестном разгуле хамства и в том, что акустическим пространством правят враги духа. И он сам, и его «Анти-хам» выступали в откровенно элитарном и даже снобистском тоне и видели себя

[16] Наш мир — дело рук больных людей (*англ.*). Созвучная идея встречается еще у Ницше в работе 1887 года: «Человеческая история была бы вполне глупой затеей без духа, который проник в нее через бессильных», см.: *Ницше Ф.* К генеалогии морали / пер. с нем. К. Свасьяна // Ницше Ф. Полн. собр. соч.: в 13 т. Т. 5. М., 2012. С. 250.

тружениками ума и духа, страдающими от невежественного окружения. «Бесконечная цепь страданий и муки протягивается через всю жизнь тех, чей труд связан с умственной деятельностью». Своими адресатами «Анти-шум» признавал исключительно «культурные и образованные круги». Проблема шума на фабриках и вопрос о том, нельзя ли найти сторонников среди рабочих, его практически не занимали — вместо этого он искал поддержку у Союза владельцев недвижимости. Длинный список его требований включал запрет на «уличную музыку», а также «отправку хромых, сумасшедших», слепых в госпиталь. Лессинг — философ, убитый в 1933 году национал-социалистами, воспринимал свою борьбу против шума как первый шаг на пути к «евгенике». Современными ему процессами демократизации неврастении Лессинг еще не был затронут, и уязвимость нервов была для него признаком аристократии духа (см. примеч. 74).

Тема «производственного шума» стоит на 1-м месте в исследовании Герхарда Хейлига «Промышленное производство и нервные расстройства» (1908). Но Хейлиг, как и Пауль Шёнхальс в труде о неврастении у рабочих (1906), подчеркивает, что посторонний человек склонен переоценивать шум как причину нервных расстройств. Человека, впервые попавшего на фабрику, ничто не поражает так сильно и внезапно, как «сила и масса акустических раздражителей», и он не может себе представить, как люди годами выдерживают в «этом грохоте и свисте, стуке и бое». Однако из изученных им случаев — прежде всего неврастеников — только у 11,5% он определил шум как причину заболевания. Правда, он предлагал учитывать возможность, что длительные акустические раздражения могут «незаметно для самого рабочего [...] приводить к повышенной лабильности нервной системы» (см. примеч. 75).

Сильнее всего сознают проблему шума и наиболее мучительно переживают его рабочие, привыкшие к более спокойной рабочей обстановке. Литератор Ойген Левенштейн цитирует жалобу одного пожилого металлурга: «Когда на моем предприятии появились машины, прокатный цех, в котором работают сейчас от 80 до 100 человек, тут можно себе представить, если ты работал 42 года в тишине, и вдруг — свист, скрежет, грохот, как это старому человеку действует на нервы. Я целый день в поту, мне страшно. Я часто плачу как маленький ребенок, ночами спать не могу. [...] Многие рабочие страдают так же. Один до того дошел, что глотку себе готов перерезать».

25-летний рабочий, служивший сначала в кучерах, а затем на фабрике, где производились стеганые одеяла, в 1911 году в Шарите сообщал, что уже полтора года мучается приступами головокружения, с тех пор

как он поступил на механизированную фабрику, где «все время такой грохот», и у него начались «проблемы с нервами». Сотрудник AEG пишет в самодиагнозе, что хронический фабричный шум довел его до состояния нервозности, которое затем вследствие несчастной любви и размолвок с матерью вылилось в душевный кризис и привело его в клинику (см. примеч. 76).

За очевидной субъективностью жалоб на шум нередко скрывался совершенно объективный ущерб от акустического воздействия. Хотя уже «антишумисты» отмечали, что шум может приводить к подсознательному нарушению нервной системы, однако психизация учения о нервах отвлекла от этого независимого от сознания человека элемента. Достижения «нервозной эпохи» в изучении вреда от шума кажутся сегодня на удивление скромными (см. примеч. 77). Хотя жалобы на шум витали в воздухе, нужно исходить из того, что для широких слоев населения стресс был сильнее, чем описано в литературе.

Без сомнения, развитие техники и рост нервозности связаны друг с другом, но эту связь нельзя описать как простую последовательность. Инновации конца XIX — начала XX веков не могли быть источником нервозности уже потому, что нервная волна возникла раньше и первопричину ее нужно искать в прошлом. В историях болезней техника — если не учитывать несчастные случаи — практически не встречается, и многие неврастеники воспринимали технический прогресс не только как причину своей нервозности, но и в не меньшей степени как освобождение от нее. Если не говорить о тех, кто трудился на фабриках, то развитие техники ассоциировалось скорее с путешествиями, гигиеной и гидротерапией, но не с рабочей суетой. Но именно такое, вполне позитивное отношение к технике помогло ей органически вплести нервозность в общий стиль современной жизни.

Гельпах недаром подчеркивал, что во многих отношениях технический прогресс нес своим пользователям скорее покой, чем тревогу. «Разве легкое прикосновение к стене при входе в комнату не покойнее поиска спичек, капанья стеариновых свечей, треска керосиновой лампы?» В сознании людей еще жила память о доэлектрической эпохе. Сегодня мы знаем, что удлинение светового дня благодаря электрическому свету оказало глубокое воздействие на биоритм человека, и есть причины предполагать, что эта перестройка сопровождалась стрессовыми явлениями — однако такая взаимосвязь не ощущается напрямую. Гельпах обратил внимание на то, насколько тише стали вокзалы, еще совсем недавно «наполненные криками, гудками, звонками, звонами и свистками»; современный вокзал казался ему «самым ярким доказательством

технического прогресса в сторону покоя и тишины» (см. примеч. 78). Но он заблуждался, если верил в долговременность и надежность этой тенденции.

В профессиональном мире техническая сфера считалась более благоприятной для нервной системы, чем сферы торговли и финансов. Действительно, среди пациентов нервных клиник инженера можно было встретить гораздо реже, чем менеджера по торговле, постоянно и напрямую участвовавшего в конкуренции, охоте за заказами и финансовых рисках. Бывший «руководитель бюро крупной фабрики по производству сигар», у которого в Айхберге диагностировали истерию и «сильнейшую нервозность», сообщал о себе, что отказался от торговой деятельности по состоянию здоровья и обратился к химии. Впрочем, и химия не помогла его нервам (см. примеч. 79).

Одним из первых инженеров, получивших в Бельвю диагноз «неврастения», был некий П. Д. 40 лет, приехавший в Кройцлинген в 1895 году. Это был человек, витавший в неясных мечтаниях о величии и силе и далекий от образа хрестоматийного невротика. Подпись под одним из его писем звучала: «инженер системы-янки, скорости и сноровки как у ветряной мельницы». Вполне в духе времени он увязывал «систему» и «скорость» с американской техникой. Время от времени он раздувался от ощущения собственной силы: «У меня все хорошо, я гну сталь [...] как нечего делать и ломаю подковы». В Бельвю его бахвальство стало распространяться и на сексуальную сферу: «Я буду любить Йоханну, Розу и рыжую Сюзанну, потому что в области паха я стал голиафом». Его стихотворение «За работу» начинается пафосным призывом, правда, несколько двусмысленным:

«Вставай, ленивец, за работу, смрадный крокодил,
Чтоб наковальню с напильником в кузнице раскалил...
Аппетиту нагнать, будешь в теле — конь молодой...
И восстанет могучий муж, пожиратель огня, меч стальной:
Жизнь понесется, рекой забурлив.
В Гриндельвальд, на спор всех перепивши янки,
В женской утробе всю душу разворотив,
Подобно Гераклу надрав глотку на пьянке [...]»

Перед нами мужские фантазии в чистой культуре: мечта о неразрывном единстве мужской и трудовой силы — том единстве, которое в реальной жизни менее всего удавалось именно неврастеникам. Инженер хвастался, что он «уникум в изысканности нервов, благородстве кожи и мозга, по росту и сложению, силе и здоровью» (см. примеч. 80). Его фантазии — негативный снимок неврастении; они доказывают его одер-

жимость идеей мгновенно и одним махом преодолеть свою слабонервность. Эта навязчивая идея могла стать более фатальной, чем осознание неврастении: это проявилось затем не только в нервных клиниках, но в итоге и в политике.

Техника стала частью истории психического не только за счет непосредственного и прямого влияния. Она воздействовала на глубины души, порождая картины будущего и мечты о власти, меняя стиль жизни и ритм труда, и, что тоже очень важно, — интерпретацию собственного тела. Косвенное воздействие техники просматривается в распространении представлений об «энергии», в новой модели «нормально» «функционирующего» тела и в идее, что покой легче всего обрести в путешествии и движении. Новый темп особенно тревожно действовал не на тех, кто имел непосредственный контакт с техникой, а на тех, кто ощущал на себе лишь отдаленные последствия общего ускорения. Фридрих Ницше в 1873 году сетовал, что «человек науки» «в Германии с недавних пор попал в такую суету, как будто наука — это фабрика, и каждая минута промедления влечет за собой наказание». Однако далеко не всегда людям действовал на нервы темп как таковой, не меньшее раздражение вызывало то, что еще не захваченные новым темпом процессы вдруг стали казаться слишком медленными, мучительно медленными. «Все медленнее и медленнее», — вечно стонал Дизель; задержка его опытов на два-три месяца становилась для него «бесконечным адом» (см. примеч. 81).

Больше всего терзало людей «нервозной эпохи» не само ускорение, а резкое *расхождение* скоростей, проявлявшееся и в работе, и в удовольствиях и, как мы еще увидим, в политике.

«НАСКВОЗЬ НЕРВОЗНА, СОБСТВЕННО, ТОЛЬКО БУРЖУАЗИЯ»: НЕРВОЗНОСТЬ И КЛАССОВОЕ ОБЩЕСТВО

Связь между нервозностью и профессией очень скоро стала ясна как врачам, так и их пациентам, хотя научные исследования по этой теме появились лишь после 1900 года. В 1898 году некая «любознательная девица» пыталась через один швейцарский семейный листок выяснить, по каким признакам можно узнать, нервный ты человек или нет, «потому что для выбора профессии мне очень важно понять, сильные у меня нервы или слабые». Рудольф фон Хёслин в своем справочнике по неврастении 1893 года привел статистику по профессиям. Среди 598 исследованных им пациентов-неврастеников 1-е место (198 человек) заняли торговцы, за ними шли государственные служащие (130), учителя

обоего пола (68) и студенты (56). Замыкали список люди, занимавшиеся сельским хозяйством (11 человек). Будучи типичным расстройством людей «умственного труда», неврастения объединяла образованную и экономическую буржуазию — группы, между которыми пролегала экономическая и ментальная пропасть. Как писал один берлинский доктор, в нервозности «бедная учительница начальной школы» идет «рука об руку с богатым директором банка», которому она никогда не составила бы в браке приличную партию. Для Леопольда Лёвенфельда (1894) неврастения также была типичным расстройством людей «умственного труда», о какой бы профессии ни шла речь, правда, с заметным сдвигом к нижней планке: болезнь тех, кто несет на себе максимальную нагрузку и находится под контролем начальника (см. примеч. 82).

Среди «умственных тружеников» одна группа привлекала к себе особое внимание. Это были учителя, прежде всего — учительницы. Продолжительная дискуссия о «школьных перегрузках» касалась нагрузки не только на школьников, но и на их наставников. Учитель старшей школы, писавший о «перегрузках» в кругу своих коллег, ссылался на мнение врача, чтобы подтвердить, что школьный урок по степени нагрузки нельзя сравнивать с рабочим часом в конторе:

> «Конторский служащий может работать в зависимости от ситуации, например, несколько медленнее, если он в этот день не особенно хорошо настроен. Учитель же, который стоит перед классом и строго им контролируется, напротив, должен всегда сохранять активность, поскольку ученики немедленно заметят любую его слабость и используют ее, чтобы отвлечься. Кроме того, вследствие своей профессии учитель подвержен множеству душевных треволнений, и соответственно, огромным затратам энергии. Особенно утомительно то, что ему необходимо поддерживать напряженное внимание в двух направлениях — следить за учениками и за подачей учебного материала».

Если верить литературе, самая скверная ситуация складывалась с кадрами женского пола. «Гувернантки и учительницы, один раз заболев, редко выздоравливают», — предостерегал в 1888 году Карл Пельман, директор психиатрической клиники в Дюссельдорфе. Пауль Браунс, ведущий врач одного из санаториев Висбадена, заранее объявлял «несчастными существами» всех тех девушек, кто «собирается выучиться и стать учительницей». «Учительница, не страдающая истерией, — редкое явление», — заверял психиатр из Бреслау Карл Вернике в 1900 году.

Тем не менее к данным о нервозности учительниц нужно подходить с большой осторожностью. Нередко встречается мнение, что нервозность у женщин развивается уже в период учебы и сдачи выпускных экзаменов. Крепелин в 1894 году жалуется: «Хорошо известный психиатрам го-

сударственный экзамен на право называться учительницей печальным образом выделяется тем, что требует такого напряжения и такого объема памяти, бессмысленнее и бесцельнее которых даже не придумать». Неужели экзаменационные требования к учительницам действительно были более бессмысленны, чем к другим специалистам? Между строк снисходительного сочувствия сквозит предубеждение, что женщины не созданы для умственных усилий. Доктор из Бад Харцбурга, у которого за «почти 20-летний срок работы неврологом» сложилось впечатление, что неврастения особенно распространена среди учительниц, утверждал, что разослал по учительницам 10 тысяч (sic!) анкет, чтобы досконально исследовать данную тему. Однако вернулось к нему лишь 780 заполненных анкет, в 549 из которых опрошенные назвали себя нездоровыми. В итоге он пришел к не вполне подтвержденному результату, что «каждая вторая учительница, сразу после выпускного экзамена поступившая на место [...], начинала страдать нервами, хотя и не была перегружена работой». В своих оценках он с явной иронией относится к женским движениям с их любовью к профессии учительницы и утверждением, что женщина в этой роли способна к не меньшим успехам, чем мужчина (см. примеч. 83).

Интересно наблюдение Дорнблюта (1911), что еще несколько десятилетий назад, когда «нужда все чаще заставляла молодых девиц из образованных слоев общества работать воспитательницами и учительницами», «бросалось в глаза, какой тяжелый вред наносило это нервной системе». Однако к настоящему времени, отмечает Дорнблют, положение существенно улучшилось, так как многие девицы идут в эту профессию уже не из нужды, а по убеждению (см. примеч. 84). Поиски идентичности неожиданно выступают средством преодоления нервозности. Модерн открывается с новой стороны, дарующей чуточку покоя: через привычку, новое ощущение себя, измельчение обусловленной временем нервозности.

Как с тревогой отмечали в 1905 году в Министерстве внутренних дел Баварии, уже в течение нескольких лет учащаются случаи, когда служащих отправляют в отпуск или даже на пенсию вследствие проблем с нервами. Такие случаи особенно часты на железной дороге, в старшей школе, окружных правительствах, военной и финансовой администрации. Растущая армия торговых служащих также считалась особенно отягощенной нервными проблемами. Это сказывалось и на том, что, как писал в 1912 году один врач, «работники умственного труда именно из торгового сословия имели высочайшие перспективы на успех у целого направления наших центральных администраций, если только

могли обосновать свои пожелания гигиеническими требованиями». Под «успехом» в данном случае имелись в виду сокращенный рабочий день, отдых на водах и другие отпускные предложения. Гельпах относился к «конторской нервозности» скептически и не желал серьезно верить в переутомление конторских служащих. Дюбуа, по его словам, также никогда не встречал нервнобольного, состояние которого объяснялось бы «простым умственным перенапряжением»: здесь, как и везде, «нас спасает наша золотая лень» (см. примеч. 85).

К тому времени было уже понятно, что профессионально обусловленные нервные расстройства вовсе не ограничиваются «тружениками ума». «Демократизация» неврастении — процессы, когда ее стали обнаруживать как массовое явление и в нижних слоях общества, — более или менее параллельно происходили в США, Англии, Франции и Германии. При этом немецкая медицина даже вырвалась вперед. Это опережение объяснялось, прежде всего, системой социального страхования, благодаря которой рабочие чаще попадали в поле зрения медиков. Уже в 1882 году, еще до введения государственного медицинского страхования, Мёбиус критиковал поддерживаемое Бирдом мнение, что нервозность есть расстройство высших слоев общества, называя его «широко распространенным, но совершенно ошибочным предрассудком»; так, доказано, что особенно часто нервные расстройства встречаются у железнодорожного персонала.

К началу нового века в Германии произошел «мощный сдвиг» в социальном распределении неврастении. Как писали врачи из Белица в исследовании о неврастении среди рабочих: «Вопрос заболеваний среди рабочих [...] вышел на первый план и привлекает к себе больше общего интереса, чем прежде». «Снизу напирает, жалуется и угрожает организованная масса трудящегося народа». «О том, что неврастения спустилась в широкие массы народа, знают врачи и больничные кассы», — заверял директор рейнской нервной клиники Графенберг в 1903 году. Тогда же сторонник народных нервных клиник Пельман заметил, что нервозность утратила «эксклюзивность», «свои аристократические склонности» (см. примеч. 86).

Примечательно и то, что процесс шел вразрез с первоначальным импульсом учения о неврастении — стремлением подчеркнуть перегрузки и необходимость в отдыхе для людей «умственного труда». Альфред Хохе в 1910 году пришел к убеждению, что вред от умственного напряжения нередко «любят переоценивать» (см. примеч. 87). Демократизацию неврастении можно увидеть и в обратном свете, как повышение престижа производственного стресса, когда к нему стал применяться эксклюзив-

ный термин, исходно предназначенный только для высшего общества. Нет сомнений, что гигантский опыт, накопленный за время работы с пациентами из низших слоев, был записан совершенно недвусмысленным языком: в ином случае такой поворот в учении о неврастении было бы трудно объяснить.

Но даже если нервные расстройства носили массовый характер во всех слоях общества, то почему же они не могли различаться по социальным этажам? Вилли Гельпах особенно упорно отстаивал резкий и весомый контраст между нервными нарушениями в буржуазной и пролетарской среде. Он приступил к этой теме в тот период своей жизни, когда после краткого сближения с социал-демократами разочаровался в рабочей партии, попытался добиться признания как антимарксист и антиматериалист и обратил свое честолюбие на зарождающееся движение медицинских союзов. В 1902 году он писал, что «все те моменты», о которых говорят: они «разрушают нервы», — «в обоих классах существенно различны». Психику городской буржуазии разрушает «непрестанная смена чувственных впечатлений различной модальности». Промышленный рабочий класс, напротив, подвергается действию «монотонного шума», воздействие которого на психику пока неизвестно. «Насквозь нервозна», «собственно, только буржуазия, в душе которой гнездится скепсис, которая утратила упрямо-грубую веру в свою жестокую силу». Крепость нервов становится здесь в значительной степени делом идеологии, коллективного самосознания — и жестокости. В большом труде об истерии, изданном в 1904 году, после своего разрыва с социал-демократами, Гельпах, напротив, наделяет пролетариат чертами женской истеричности. Противоречие между «миром буржуазии и миром пролетариата» на психическом уровне — это противоречие между «возбудимостью и управляемостью». «А это означает, обратившись к патологии: в буржуазной культуре заложены столь же ярко выраженные предпосылки нервозности, как в пролетарской — предпосылки к истерии» (см. примеч. 88).

Описанный Гельпахом контраст, скорее сконструированный из его философии культуры, чем установленный по врачебным наблюдениям, касается скорее нервозности, ощущаемой обществом, чем реально переживаемой. Макс Лэр, руководитель «Дома Шёнов», который располагал гигантским опытом работы с пациентами из рабочей среды и мог опираться на диссертации, написанные по этой теме в его заведении, решительно отвергает теорию Гельпаха со всеми его обоснованиями. С его точки зрения, повседневная жизнь рабочих, как и представителей среднего класса, характеризуется не нуждой и монотонностью, как это было

еще у предыдущего поколения, но ростом «культурных потребностей» и мобильности; поэтому и среди рабочих «неизбежен стремительный рост» «хронического душевного перевозбуждения». Однако в своих выводах он не вполне уверен и вставляет фразу, что значительная часть рабочих пока еще далека от «нервной суеты» крупного города, и «может быть, из-за своей наивности, особенно в сексуальных вопросах, менее подвержена его опасностям» (см. примеч. 89).

Хотя в целом труды на тему нервов относятся к буржуазному жанру, в них тем не менее сквозит сочувствие и понимание к нуждам рабочих. Если их авторы и предпочитают подчеркивать тяготы «умственного» труда, то и стрессовые явления на фабриках они не игнорируют и даже приводят аргументы против трудовой гонки и сдельной оплаты труда. Со временем постоянной частью нервного дискурса стали выступления в защиту 8-часового рабочего дня. При этом обыкновенно ссылались на «золотое правило», приписываемое Канту, но на самом деле принадлежавшее Гуфеланду: «восемь часов труда, восемь часов отдыха, восемь часов сна». Это правило цитировали постоянно, причем именно те авторы, которые были далеки от рабочих движений. На уровне «гигиены» можно было легко преодолеть социально-политические разногласия. Решение в пользу 8-часового рабочего дня тем удивительнее, что оно опередило реальное положение дел на фабриках — настолько, что даже для профсоюзов, когда они около 1890 года впервые выдвинули это требование, оно «имело скорее пропагандистское, нежели практическое значение» (см. примеч. 90).

Только со временем выяснилось, что сокращение рабочего дня небезопасно для нервов — с самого начала оно, как правило, сочеталось с интенсификацией труда. Классическим примером здесь стали фабрики Zeiss с их высокими требованиями к точности работы, которые ввели у себя 8-часовой рабочий день уже в 1900 году. На фирме Бош сокращение рабочего дня произошло в 1906 году и также сопровождалось увеличением темпа производства. До какой-то степени эти опасности понимали и сами учредители рабочих движений. Так, Карл Каутский, теоретик классического марксизма, в 1890 году отстаивал 8-часовой рабочий день в значительной степени как средство увеличения «работоспособности трудящегося» и «морального и физического возрождения» «деградировавшей части» рабочего класса. В «постоянном росте интенсивности труда» он видел не результат произвола предпринимателей, а явление, сопровождающее технический прогресс. Первые отрезвляющие голоса прозвучали в Берлине на Международном конгрессе по гигиене и демографии в 1907 году, когда «в противоречие со всем предыдущим» выяс-

нилось, что сокращение рабочего дня сопровождается ростом несчастных случаев на производстве. Еще большее смущение вызвали доклады Генриха Геркнера и Альфреда Вебера на Нюрнбергском заседании Союза социальной политики в 1911 году с их тезисом о том, что квалифицированные рабочие, занятые «точной и сложной» деятельностью, к 40 годам полностью теряют здоровье. Инженер и социал-демократ Рихард Вольдт, который в то время начал заниматься тэйлоризмом и проблемой темпа труда, назвал это «ужасающим открытием». Леонгард Шварц в 1929 году сообщал, что немало его пациентов-невротиков проклинали 8-часовый рабочий день и говорили, что прежде, «с 10-часовым, все было намного уютнее» (см. примеч. 91).

Уже с 1880-х годов был уверен в «нервозности эпохи» и Август Бебель; в его многократно переиздаваемой книге «Женщина и социализм» можно проследить, как меняется от издания к изданию его текст на тему нервов. В последнем издании нервозность становится «бичом нашей эпохи», а социализм — избавителем от этого бича. Тем сильнее бросается в глаза, что вождь социал-демократов считает причиной нервозности только быструю смену моды, а не возрастание темпа в мире труда; в этом отношении он остается верен себе во всех изданиях. Иначе думал Франц Меринг, который в 1904 году, критикуя понятие Лампрехта «возбудимость», заметил, что «любому ребенку» нервозность известна «как следствие определенного способа производства в условиях развитого капитализма» (см. примеч. 92).

Если просматривать истории болезни пациентов из рабочего класса, то неврастения кажется чем-то вроде неспецифического синдрома приспособления, который не связан с каким-то определенным типом трудовой нагрузки, но проявляется, прежде всего, в новых, изменившихся и непривычных условиях труда; при этом новое и непривычное может заключаться как в большей, так и в меньшей степени автономии и ответственности. В 1890 году в заведение Эренвалля поступил 39-летний слесарь, служивший в должности начальника водокачки и описанный в документах клиники как «стыдливая (sic!), немного робкая и несамостоятельная натура». «Уже прежде наблюдались сомнения в собственной способности полноценно исполнять обязанности на ответственном посту, требовавшем от него, в частности, выполнения незнакомых ему работ. Когда он занял эту должность, сомнения и неуверенность усилились. [...] Козни одного из сторожей, который также претендовал на это место и создал для него массу сложностей. [...] Из-за этого еще большие сомнения». В конце концов он сбежал с водокачки, полагая, что «более ни к чему не пригоден», и подумывал о том, не стоит ли ему утопиться.

Ощущение профессиональной неполноценности превратилось в навязчивое состояние (см. примеч. 93).

Еще более частыми были нервные расстройства у тех рабочих, кто изначально привык к относительной автономии, свободному распоряжению временем и собой и, соответственно, «радости труда», а затем был вынужден подчиниться жесткой фабричной дисциплине и мучиться осознанием социальной деградации. Это объясняет, почему среди пациентов Белица рабочего происхождения явное большинство составляли столяры и плотники (см. примеч. 94).

Однако для трех «классических» нервных профессий ведущую роль играют факторы техники и темпа: речь идет о железнодорожниках, наборщиках и телефонистках. Тогда еще не существовало понятия профессиональных заболеваний как юридически признанных и требующих компенсации, тем не менее у представителей этих профессий неврастения уже претендовала на такой статус. Остановимся на них подробнее.

Как показывает история «спинальной ирритации» и «железнодорожного позвоночника», медики очень рано заметили, что нервные расстройства железнодорожников обусловлены их профессией. При этом речь шла не только о жертвах несчастных случаев, но и о хронических перегрузках. Макс Мария фон Вебер, инженер-железнодорожник и писатель, в 1862 году отметил у железнодорожников, в первую очередь поездного и машинного персонала, «необыкновенно быстрое физическое разрушение». Другой автор выступил еще более резко: «самое страшное среди социальных явлений железной дороги», — что «молодые и здоровые люди, физическая элита», уже через несколько лет превращаются в окостенелые мрачные фигуры с серыми лицами. Железнодорожный врач Йоханнес Риглер в 1879 году предложил термин «сидеродромофобия» для обозначения «боязни езды по железной дороге», встречающейся прежде всего у машинистов. Этот термин немедленно подхватил Бирд, а дальше его использовало классическое французское издание о неврастении. Риглер писал, что самое вредное воздействие на здоровье машиниста оказало повышение скорости движения поездов в последнее время. Правда, Людвиг Хирт в труде «Болезни рабочих» (1871–1878), заложившем фундамент немецкой медицины труда, утверждал, что «старые машинисты» железной дороги в большинстве своем «крепкие, загорелые мужчины, с остро развитыми чувствами» и «наилучшим пищеварением». Но он писал это еще о тех машинистах, которые проезжали в день не более 14 миль (sic!) (см. примеч. 95).

Действительно ли нагрузки на железнодорожников были столь высоки или же общественность проявляла повышенный интерес к этому

профессиональному сословию? Ведь в то время локомотив для обычного гражданина был самым волнующим воплощением техники, в основном внушающим страх. Низкие стоны, шипение и скрипы трогающегося локомотива пугал многих до мозга костей, хотя самого машиниста уже не заставлял вздрагивать. Да и по причинам безопасности нервы железнодорожников были «неотложным вопросом» (Гельпах) для всего общества.

Один из докладов на Берлинском международном конгрессе по гигиене 1907 года был посвящен «Опасности нервнобольных железнодорожных служащих для работы железных дорог» и опирался на статистический материал из Пруссии с 1898 года. Рост неврастении у поездного персонала впервые был отмечен в 1903–1904 годах. Железнодорожная катастрофа в баденском Мюльхайме (1911), в которой погибли 14 человек, послужила для окружного врача напоминанием о том, какое «бесконечно важное значение имеет гигиена нервной системы для производственной безопасности». Правда, в данном случае речь шла не о неврастении, а о пьянстве машиниста, проехавшего стрелку, где нужно было сбросить скорость до 20 км/ч, на скорости 110, так что поезд сошел с рельсов. Подобное уже случалось с тем же машинистом и в том же состоянии. Отношение к алкоголю на немецких железных дорогах было в то время невероятно толерантным, хотя во многих катастрофах уже и тогда было заметно действие излишних промилле. Но сходно с тем, как высокое потребление алкоголя было традиционной привилегией металлургов, так и многие железнодорожники считали алкоголь незаменимым «средством поддержания духа». Еще в 1905 году автор статьи в одной мюнхенской газете, посвященной «неврастении в целом, а особенно среди железнодорожников», возражал против крестового похода против алкоголя под знаком неврастении: причина неврастении вовсе не в алкоголе, нет, наоборот, «выродившаяся, ослабленная нервная система» больше не способна переносить алкоголь (см. примеч. 96).

Не все в этих дискуссиях выглядит серьезно. Читая документы гессенской клиники Айхберг, в которых врачи без всяких сомнений объясняют «нервную болезнь» 29-летнего железнодорожного рабочего «нервной службой на железной дороге» и, прежде всего, «шумом и свистом локомотива», а не полученным 12 лет назад ножевым ударом в голову, видишь, что у сотрудника железной дороги почти автоматически предполагали профессионально обусловленную неврастению. Поэтому к многочисленным данным о нервных расстройствах на железной дороге нужно подходить с осторожностью. Однако если вспомнить, как ходили поезда в XIX веке — с постоянными толчками, подпрыгиванием на

рельсах, несовершенной техникой торможения и подачи сигналов, чадом, копотью, сквозняками в открытых кабинах машинистов, то понятно, что и вполне реальных оснований для тревоги о нервах персонала было достаточно. Одно из исследований Союза социальной политики о служащих железной дороги, дойдя до проблем нервной системы, ярко описывает, как «танец машины на участке с недостаточно плотно уложенными шпалами» становится «сомнительным курсом хорошей встряски для машиниста», а всякий локомотив — это «индивидуальность, составленная из добродетелей и пороков»: «иногда преобладают первые, иногда последние; с возрастом [...] обыкновенно побеждают последние» (см. примеч. 97).

В 1905 году в баварском министерстве транспорта была подготовлена докладная записка о «Болезнях нервной системы» у железнодорожного персонала. Статистику здесь собирали с момента введения железнодорожной медицинской службы в 1877 году, так что материала накопилось достаточно. Понятие «неврастения» появляется уже в 1882 году. В период между 1882 и 1905 годами 400 баварских железнодорожных служащих были досрочно отправлены на пенсию из-за неврастении. Был сделан удивительный вывод, что более часто и в более тяжелой форме неврастения встречалась не у машинистов и поездного персонала, а у станционных и конторских служащих. Возможно, у поездного персонала неврастения отходила на задний план на фоне широко распространенных невралгий и расстройств пищеварения и была типична скорее для тех людей, у кого умственное напряжение сочеталось с сидячей работой (см. примеч. 98).

Не менее нервной считалась и работа водителя трамвая, ведь на рубеже веков «электрическая карета» еще считалась небезопасной из-за своей скорости. В 1910 году в Бостоне Гуго Мюнстерберг разработал первый психологический тест на профпригодность для водителей трамвая. Статья о трамвае в «Справочнике по заболеваниям рабочих» Теодора Вейля требовала от водителя «совершенно спокойного, хладнокровного восприятия». Вероятно, их действительно подбирали именно по этому принципу. Томас Манн использовал образ водителя трамвая как воплощение молчаливого спокойствия, противопоставляя его «мелкой и поверхностной возбудимости политика» (см. примеч. 99). Таким образом, спокойствие и невозмутимость — стиль поведения, когда-то характерный для аристократии, — в индустриальную эпоху стали требованием к новым техническим профессиям.

Еще одним прототипом «нервной» профессии стали наборщики, в первую очередь наборщики ежедневных газет. Здесь также бросалась в глаза связь с современной техникой, а именно появившимся в 1890-е годы ли-

нотипом — наборной строкоотливной машиной с «горячим набором» (т.е. отливом букв во время процесса набора). Наряду с локомотивом линотип считался самым сложным механизмом XIX века. Столь же впечатляющей была связь с новым темпом жизни, кульминацией которого стали журналистика и транспорт. «Берлинский темп», расхожее выражение 1900-х годов, ярче всего воплощался в прессе. Основанная в 1904 году «B.Z. am Mittag» претендовала на то, чтобы стать самой быстрой газетой в мире. При передаче в газету биржевого курса «скорость превращалась в колдовство»: прямая телефонная передача от биржи к наборщику обеспечивала пересылку самых свежих цифр за считанные секунды, а по времени от последних биржевых новостей до продажи первых экземпляров газеты Берлин опередил даже Нью-Йорк. Среди пациентов Белица наборщики составляли 16%, с отрывом опережая все остальные профессиональные группы. Отчет для Международного союза охраны труда о «Санитарных условиях на полиграфических предприятиях Германии» (1908), опиравшийся на материалы из Берлина, Мюнхена, Дрездена и Штутгарта, выявил среди работников мужского пола значительно более высокий процент «нервнобольных» от общего числа больных по сравнению со средним показателем застрахованных в общих больничных кассах. Раздел о болезнях наборщиков в «Справочнике по заболеваниям рабочих» Теодора Вейля также содержал данные о высокой частоте неврастении среди наборщиков. «Прежде всего, сам метод работы и время работы у наборщиков ведут к перевозбуждению нервов. Чтение рукописей, соблюдение орфографии и пунктуации — не легкая задача для многих наборщиков; мне много раз сообщали, что у некоторых из них от напряжения и страха по лбу постоянно струится пот, а иные не могут избавиться от постоянного чувства страха» (см. примеч. 100).

Если приглядеться к этой профессии повнимательнее, возникают вопросы. Источники можно читать иначе — возможно, объективно нагрузка на нервы и не была столь высока, но поднаторевшее и уверенное в себе профессиональное сословие, за всю свою предыдущую историю привыкшее к гораздо более вольготным условиям труда, сумело удачно разыграть «нервную» карту. Более позднее исследование видит в процессе механизации печатного набора в Германии «пример медленного и бесконфликтного введения новой технологии». В сравнении с другими типографскими рабочими механизация коснулась наборщиков позже, чем печатников и шрифтолитейщиков. Путь к практичной и удобной машине для набора оказался настолько трудным и полным разочарований, что сама идея наборной машины стала казаться мошенничеством.

Лишь после многих поражений американец немецкого происхождения Отмар Мергенталер наконец добился успеха: его «линотип» позволил чуть ли не в 5 раз увеличить производительность труда наборщика. Однако эти машины были дороги и окупались только на крупных производствах. В Германии до 1914 года преобладал ручной набор, и до серьезной безработицы среди таких наборщиков дело так и не дошло. А там, где эту машину все-таки установили, наборщики благодаря своей отличной профсоюзной организации сумели добиться и надбавки к зарплате и того, что к работе допускались исключительно наборщики с соответствующим образованием: для того времени это было необыкновенным новаторством и прокладывало путь к будущим соглашениям о рационализаторстве и охране труда. В вопросах сокращения рабочего дня и получения отпуска наборщики до 1914 года также принадлежали к самым успешным в Германии профессиональным группам. Питер Стернс полагает — видимо, опираясь в основном на опыт Англии, — что наборщики «сумели избежать ускорения темпа труда» не в последнюю очередь именно за счет выразительных жалоб на нервные перегрузки; французский профсоюз наборщиков (1905) делал ставку на то, что качественный набор не совместим с увеличением скорости (см. примеч. 101). Гуго Мюнстерберг упоминает наборную машину как классический пример того, что механизация не увеличивает монотонность работы. Кроме того, наборщики теперь были избавлены от непосредственного контакта с литерами, поэтому существенно снизилось отравление свинцом — профессиональная болезнь наборщиков, за которой прежде могли уходить на задний план неврастенические явления.

Видимо, впечатление о наборщиках как представителях «нервной» профессии сложилось за счет совместного действия объективных обстоятельств, субъективного восприятия нервных перегрузок и умения успешно сыграть на этих перегрузках. Тем не менее нельзя считать их неврастению чистым фантомом. Как показал Мюнстерберг, «высокая эффективность» наборной машины опиралась на «сообразительность и память наборщика, потому что быстрее всех на ней работал тот, кто легче запоминал длинные фразы и потому лучше проникался смыслом рукописи». Однако наборная машина оправдывала себя только в том случае, если наборщик читал гораздо быстрее, чем прежде; и потому наборщикам было теперь гораздо труднее понимать текст так, как они привыкли это делать. Понятно, что работа на наборных машинах, по крайней мере пока они еще были в новинку, вызывала мучительное и постоянное психологическое напряжение. Наборщики постоянно жаловались, что они утратили всякую радость труда, потому что в постоянной спешке уже

были не способны воспринимать смысл набираемого текста. Ручной набор вследствие механизации утратил позиции, владельцы типографий стали устраивать соревнования по скорости набора, рекламные объявления наглядно демонстрировали, что с помощью машины один наборщик выполнял работу пяти ручных. Если сегодня еще можно было выдержать темп работы, то от будущего наборщики могли ожидать лишь дальнейшего ускорения и стресса.

Третьей профессиональной группой, по общему мнению еще более предрасположенной к неврастении, были телефонистки — эти «вечно раздраженные жрицы телефонной мистерии», говоря словами Пруста. Еще до появления телефона считалось, что телеграфисты подвержены нервным перегрузкам, Мёбиус указывал на это во 2-м издании своей «Нервозности». Но с появлением центральных телефонных узлов, где одна-единственная связистка отвечала за 10 тысяч соединений («гнезд»), в историю техники вошел совершенно особый вид нервных перегрузок. Одна из телефонисток описала это так ярко, что уже одно чтение ее текста действует на нервы:

> «Посидите-ка семь или восемь часов в день с микрофоном на ухе, парой дюжин проводов и лампочек и десятью тысячами гнезд перед глазами, и все валится на вас вперемешку: звонки вызовов, вопросы, соединения, окончание соединения, промежуточные вопросы, сигналы о завершении звонков и семь жалоб; и снова завершение соединения, и автоматическое соединение (с четырьмя шнурами, пятью переспросами и снова соединить!), нетерпеливое миганье лампочек и «перезвонить», а потом «пожарная связь», а потом надзор и затем удаленная служба и снова разъединить. И найдите среди десяти тысяч номеров за полсекунды правильный и не промахнитесь и держите в голове, что желтый штепсель вот сюда, в это гнездо, а зеленый вон в то, и что перекрещенные означают совсем другое. И всегда сохраняйте спокойствие, думайте только о Вашем словаре телефонного диалога с его пятьюдесятью формулами вопрос-ответ и ни слова не давайте своим нервам. Здесь не существует ни обиженных, ни больных нервов; здесь все только контакты и реле! А за вашей спиной стоит надзиратель» (см. примеч. 102).

Карл Вернике предполагал, что практически все телефонистки вследствие многолетней работы «истеричны». Мюнстерберг сообщал из США, что долгое время телефонным компаниям приходилось увольнять значительную часть служащих после нескольких месяцев испытательного срока. В Англии служебная комиссия, изучавшая условия работы телефонисток, выяснила, что из 248 женщин «142 страдают более или менее сильными расстройствами здоровья вследствие телефонной службы». «Книга новейших изобретений» 1906 года предостерегала своих читательниц от этого ремесла: «Профессия телефонистки, воз-

можно, некоторым молодым дамам покажется привлекательной, но на самом деле нет ничего менее заманчивого. Она предъявляет к нервной системе молодой девушки чрезвычайно высокие требования». Вошло в правило всем претенденткам, «у которых были малейшие признаки отравления свинцом, анемии, истерии или неврастении, или даже намеки на предрасположенность к таким болезням», «неукоснительно» отказывать в приеме на телефонную службу. Тем не менее показатели заболеваемости продолжали расти. Это доказало экзогенный, профессионально обусловленный характер заболеваний, так что списать вину на уже существующую нервозность было невозможно. Даже в 1925 году в исследовании «профессиональных заболеваний» телефонисток, проведенном в Гейдельбергском университете, значилось, что «не только от дилетантов, но и от врачей и даже высших руководителей почтового ведомства» постоянно можно услышать, что «недавно принятые на работу молодые девушки, цветущие и свежие», на телефонной службе вскоре бледнеют, и черты их приобретают «вялость» (см. примеч. 103).

Практически с самого начала центральные телефонные станции были царством женщин. В конце 1897 года телефонная служба насчитывала примерно 2800 служащих женского пола, а в 1911 вся почтовая служба — 20 тысяч. Примечательно, что общество быстро сошлось на том, что для работы на телефоне лучше подходят женщины. Стандартным аргументом было то, что за счет «естественной высоты» женский голос звучит более ясно и внятно, чем мужской бас. Однако создается впечатление, что помимо этого женщинам приписывали также бóльшую устойчивость к специфическим нервным перегрузкам.

Иногда случались настоящие нервные срывы. В 1902 году на только что открытой телефонной станции Сименса в Берлине у телефонисток произошел общий нервный припадок. Георг Грабе, отвечавший у Сименса за развитие телефонной сети, назвал его «первой крупной катастрофой». В его воспоминаниях читаем:

> «Здесь мы тоже за относительно недолгий срок, работая днем и ночью, подготовили всю станцию и тщательно, с проверкой и перепроверкой, с главного распределителя, разделяющего внешнюю сеть от внутренней, опробовали, как она действует. Имперская почта к тому времени перешла с единичного провода на двойной и работала не с такой тщательностью. И вот, когда в одно из воскресений, т.е. в спокойный рабочий день, станция была подключена к работе, сразу же обнаружилось большое количество сбоев, а затем, в понедельник, они стали все больше нарастать. Теперь представьте себе последствия таких сбоев в условиях берлинской сети, которая связана с огромным количеством других служб. Многие звонки не доходили, значительная часть соединений к нужным абонентам

вообще была невозможна, сообщения об окончании соединений не работали, и абоненты, конечно, были в ярости. В ответ на это в такую же ярость пришли и девушки-служащие, пока наконец одна из них не разразилась бурными рыданиями. Через короткое время это явление распространилось на бóльшую часть сотрудниц, а директор телеграфа, который как раз находился в зале, хотел переключить все обратно на старую систему, заламывал руки и кричал громче всех: "Мои бедные девочки, мои бедные девочки!"» (См. примеч. 104.)

Эта история заставляет задуматься — тем более, как намекает Грабе, она была не единственным фиаско такого рода. В нормальной ситуации подобное женское поведение немедленно получило бы ярлык «истерия»; но здесь такой мысли даже не возникает: совершенно ясно, что причина эмоционального взрыва не в самих женщинах, а в недоработанной технической системе. Напрашивалось переложить вину за суматоху, прежде всего, на самого Грабе, который, как пишет Георг Сименс, своим штурмовым натиском не раз приводил служащих в отчаяние. В остальном же из описаний Грабе и Сименса вытекает, что первичная неврастения, а именно неврастения самого агрессивного типа, заключалась в клиентах берлинской телефонной службы, а в случае коллапса телефонисток речь шла только о вторичной нервозности, нервозности жертв. «Возбудимая берлинская публика», по словам Сименса, стала «как хищный зверь» (см. примеч. 105). С психологической точки зрения примечательно, что под таким давлением телефонистки еще были способны сбросить с головы наушники и просто закричать. После многолетней тренировки женщины реагировали бы, вероятно, не «истерически», а «неврастенически», т.е. страдали бы от хронических диффузных расстройств. Но тогда крупные телефонные станции еще были новым явлением.

Как и железная дорога, крупнейшая техническая система XIX века, телефонная сеть вскоре достигла таких пределов, выйти за которые было невозможно без автоматического управления. Потребовались десятилетия, чтобы понять, какую степень трудовой нагрузки может выдержать постоянно работающая телефонистка, — ведь в прежней истории ничего подобного не было. Идея автоматизации телефонной связи витала в воздухе уже в первые годы XX века. В 1907 году Сименс открыл первую полностью автоматизированную телефонную станцию в Гильдесгейме и сначала потерпел техническое фиаско, хотя станция имела всего 900 соединений. Многим тогда казалось, что самостоятельный набор номера станет непосильной нагрузкой для клиентов. Мюнхенское гражданское движение против автоматизированной телефонной связи возглавил тогда Людвиг Квидде, автор романа «Калигула», буквально навязавший обществу мысль о болезненной нервозности Вильгельма I (см. при-

меч. 106). Телефонистка еще долгое время была незаменима; страх многих граждан перед самостоятельным набором номера показывает, каким уважением пользовалась в обществе «телефонная барышня».

Здесь так же, как и с железнодорожниками, и наборщиками, есть признаки того, что особо нервной эта профессия считалась не только из-за объективного стресса, но и вследствие того впечатления, которое она производила в обществе. В сравнении с другими работающими женщинами телефонистки занимали привилегированное положение, относившее их скорее к средним слоям общества, чем к низшим. Они должны были обладать средним или полным школьным образованием, порой даже владеть иностранными языками. К тому времени, когда множество рабочих еще безуспешно боролось за 10-часовой рабочий день, они без всякой борьбы получили 8- и даже 7-часовой рабочий день и 42-часовую рабочую неделю. В то время как большинство рабочих еще не знали права на отпуск, они уже получали зимний или летний отпуск продолжительностью в несколько недель, а кроме того, при наличии медицинского заключения им могли предоставить курс отдыха длительностью до восьми недель. В то время как многие предприятия пытались представить зарождающиеся профсоюзы преступными организациями, почта с пониманием относилась к организационной деятельности своих сотрудниц. Однако все эти замечательные явления объяснялись не чистым человеколюбием, а прежде всего тем, что страшную нагрузку на телефонисток просто невозможно было игнорировать. Приходилось делать все, чтобы работавшие здесь женщины могли ее выдерживать, сохраняя при этом дружелюбный тон. Это не исключает того, что были и другие вредные для нервов занятия, но общество не замечало их, потому что они находились в тени и подлежали социальной дискриминации. К ним относились, например, профессии продавщицы или текстильщицы.

Стоит вспомнить и о горничных, об этих несчастных жертвах разочарованных буржуазных домохозяек и самых частых пациентках народной лечебницы Родербиркен. Как докладывал при всеобщей оживленной поддержке один эксперт на заседании Союза социальной политики в 1911 году, многие женщины предпочитали работу на фабрике тяжелой жизни служанки: «Фабричные мастера, как они уверяют, далеко не так грубы, как милостивые сударыни» (см. примеч. 107).

Специфическое воздействие на нервы, вызванное постоянным рассеиванием внимания, привлекло к себе интерес прежде всего на ткацких фабриках. В течение всего XIX века эти предприятия по степени механизации сильно отставали от прядильных фабрик, однако после 1900 года достигли такого уровня автоматизации, который позволил

одному рабочему обслуживать несколько станков. Макс Вебер в исследовании «К психофизике индустриального труда» заметил, что в отношении нервной нагрузки, конечно же, «принципиальная разница» заключается в том, работает ли ткач на одном или на двух ткацких станках. Знал ли он, что некоторые ткачи работали в то время уже на шести, а вскоре и на десяти станках? Здесь также пришлось на горьком опыте узнать, до каких пределов может дойти нагрузка на нервы рабочего, и осознать, что даже чисто технически необходимо сокращать продолжительность рабочего дня. Длительная забастовка ткачей, организованная в 1903 году на предприятии Криммичау, в которой принимали участие в основном женщины и которая вызвала в обществе широкую волну симпатии, была поддержана авторитетным гигиенистом Максом Грубером. Он объявил требование о 10-часовом рабочем дне «гигиенически оправданным» ввиду значительного повышения темпа работы машин. Однако создается впечатление, что возрастание нагрузки служило лишь дополнительным аргументом в борьбе за повышение зарплаты и сокращение рабочего дня. В 1920-е годы ткачи, работавшие на автоматических станках, были «самыми высокооплачиваемыми текстильщиками». Зато среди учеников осуществлялся «строгий отбор». Зная это, Франц Кёльш, специалист в области медицины труда, воспринимал нагрузку на нервы без всякого трагизма и даже с некоторой гордостью: «Автоматический ткацкий станок не для сонь и ротозеев» (см. примеч. 108).

Несмотря на некоторую профессиональную специфику, в общем и целом нервозность обладала отчетливой тенденцией к нарушению классовых границ. Если и существовала типично буржуазная неврастения, то она объяснялась не столько умственным напряжением, сколько особенностями буржуазного воспитания — противоречивой микстурой постоянных придирок и снисходительности. Браунс, анализируя причины неврастении, очень реалистично описывает, что происходит с ребенком, от которого уже в самом раннем возрасте ждут необыкновенных способностей и при этом постоянной улыбки, поскольку «детский смех так очарователен» (см. примеч. 109). Честолюбивые представители среднего класса ярко выделялись своей характерной нервозностью, и поэтому среди них она была замечена раньше всего. В отличие от них телефонистки не могли себе позволить нервное поведение на службе и должны были скрывать от клиентов свое состояние. Стилизовать индустриальный стресс, дать ему выход в определенном поведении — было привилегией буржуазии. Однако ощущаемая обществом нервозность была лишь видимой частью огромной, недостаточно обсуждаемой и не вполне осознаваемой проблемы. Нервозность как стиль поведения по-

тому казалась убедительной, что на деле была явлением гораздо более глубоким, чем просто стиль поведения.

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ» И «ГИПНОТИЗМ СИЛЫ»: ОПЫТ САМОПОЗНАНИЯ В ЭПОХУ СИЛЬНЫХ ТОКОВ

Оглядываясь назад, Ойген Дизель называл новую эру, начавшуюся в конце XIX века, «энергетическим веком», полагая, что «культ этой энергии» стал «истинной религией рубежа веков». Не только религией, но и самой трезвой реальностью: возникший тогда «энергетический, непрестанно индуцирующий и усиливающий сам себя поток процессов» привнес в мировую историю совершенно новые тенденции. «Ключевым словом нашего времени» стало выражение «будь энергичным», пишет в 1913 году врач Отто Шер в книге «В борьбе за лучшие нервы и повышение эффективности». «Как стать энергичным?» — так назывался известный медицинский справочник эпохи Вильгельма, в котором немало внимания уделялось воспитанию и укреплению воли (см. примеч. 110).

Было ли понятие «энергия» тем волшебным словом, ключом, который лучше всего передает тенденции индустриальной эпохи и связь неврастении с этим временем? Объясняет ли оно, насколько технические процессы — новый «силовой поток» (*Kraftstrom*) и электрификация — насквозь пронизали мышление и восприятие? Может, оно и есть связующее звено между опытом нервов и политикой? Ведь «энергия» входила и в политический словарь того времени. Но это было многозначное понятие: многозначное как по содержанию, так и по требованиям. Оно могло призывать как к покою, так и к неудержимой активности; могло указывать и на технизированное, и на спиритическое мышление, и могло скрывать один образ мыслей под маской другого. В таком свете понятие «энергия» кажется лишь блуждающим огоньком.

У этого эффекта есть свои причины. «Энергия» вовсе не является серьезным физическим термином, как полагают многие далекие от физики люди. Это понятие с самого начала имело элемент метафизических спекуляций. Его карьера в истории науки началась с романтической идеи о жизненной силе; исходно «энергия» относилась скорее к живой, чем к неживой природе. Закон сохранения энергии был впервые выдвинут в 1842 году врачом Юлиусом Робертом Майером применительно к живым организмам, а уже позже Герман Гельмгольц распространил его на все виды материи. Дальнейшая история концепта «энергия» также характеризуется взаимодействиями физики и антропологии. Во всем этом ощущается действие той мощной силы внушения, которая столь

характерна для технического прогресса. В одном из романов Натаниэля Готорна есть образ, навеянный поездкой по железной дороге 1851 года, в котором «материальный мир благодаря силе электричества превратился в единый огромный нерв, пронизывающий за время одного вдоха тысячу миль» (см. примеч. 111).

На фоне стремительного технического прогресса продолжалось начавшееся еще с Гальвани взаимопроникновение учений о нервах и электротехники. Электротерапия переживает заметный подъем с середины XIX века; при этом импульсы для ее развития поступают и с технической, и с теоретической стороны. Люди по-прежнему не понимали сущности ни нервной силы, ни электричества, и могли только предполагать, что же собственно происходило во время сеанса электротерапии. Довелось узнать и то, что с помощью электричества человека можно не только исцелить, но и убить.

Уже закон сохранения энергии, первый закон термодинамики, применительно к нервам обладал двуликостью: с одной стороны, он нес утешительную весть о том, что энергия никогда не теряется, с другой стороны, напоминал, что энергия не возникает из ничего и нужно обходиться той, которая уже есть в наличии. Непосредственно пессимистическое действие исходило из второго закона термодинамики — закона энтропии, сформулированного Клаузиусом в 1850 году. Из него следовало, что при всех процессах превращения энергии полезная энергия невосполнимо теряется. В соответствии с этим все процессы использования энергии — все то, что для дилетанта является «производством энергии» и где в каком бы то ни было виде появляется энергия, — являются в то же время процессами уничтожения энергии: парадокс, с которым «энергетическая политика» до сих пор не справилась. То есть современная цивилизация с ее растущими энергетическими затратами производит в то же время все большее количество негодной — слишком слабой, слишком рассеянной — энергии, своего рода «энергетических отходов»: эта мысль обнаруживает поразительное сходство с представлением о закономерно и необратимо нарастающей нервозности — того суетного, недееспособного беспокойства, которое следует за сверхактивностью. Недаром Маргарет Э. Кливз писала, что неврастеники постоянно «оказываются лицом к лицу с интереснейшей проблемой жизни — сохранением энергии», и утверждала, что знает, о чем говорит (см. примеч. 112).

Теория о росте нервозности в индустриальную эпоху обладала внутренним сродством с законом энтропии. Закон сохранения энергии, как установила Мария Озитцки, стал очень популярен уже в 1860-е годы, в то время как закон энтропии естественные науки встретили сдержанно.

С выходом книги Бальфура Стюарта «Принцип сохранения энергии» (1873) второй закон также привлек к себе внимание общества, на него стали ссылаться те, кто с пессимизмом смотрел на будущее цивилизации (см. примеч. 113). Этот процесс по времени совпадает с зарождением теории нервозности и вполне ей соответствует. С этого момента тема «энергия» была связана со страхом утраты энергии.

Бирд благодаря сотрудничеству с Эдисоном был знаком с новейшими достижениями электротехники, а электротерапия порой становилась для него главной специальностью. В бирдовском учении о неврастении в целом преобладало представление об ограниченности запаса энергии. Это тем более примечательно, что в это время резко возрастает масса доступных для промышленности энергетических ресурсов. Хотя литература на тему нервов в своей терминологии свидетельствует скорее о механистическом понимании человека, однако она содержала огромный опыт знакомства с пределами его функциональных способностей. Человек, стоящий в центре учения о неврастении, не был машиной в том смысле, что его можно было бы перевести на более высокие обороты. С точки зрения человеческого опыта закон об энтропии был доступнее и понятнее, чем с точки зрения опыта технического. Георг Хирт остроумно описывает опыт старения как «ощущение собственной энтропии; не будь у нас этого ощущения, мы становились бы жертвами поздних соблазнов» (см. примеч. 114).

В истории техники представление о том, что людям нужно уметь обходиться ограниченным количеством энергетических ресурсов, которое нельзя увеличить, но можно возобновлять посредством тщательно продуманного обращения с ними, принадлежит «деревянному веку», когда хозяйственная жизнь человека проходила в осознании ограниченности водных, лесных, животных и почвенных ресурсов. Это сознание пронизывало весь менталитет. Еще в XX веке старик — хозяин водяной мельницы поучал своих племянников: «Тот, кто всецело зависит от природной энергии, становится терпелив и откладывает в сторону все холерическое и “энергическое”. [...] Так мельник становится флегматиком или вовсе меланхоликом» (см. примеч. 115). Стремление к «энергичности» свойственно, напротив, эпохе угля, когда кажущиеся безграничными возможности роста изменили менталитет. Однако эта экспансивная энергия сопровождалась сомнениями в ее возобновимости. Отождествление «энергии» в человеческом и в технико-физическом смысле стало более проблематичным и напряженным, чем в то давнее время, когда техника функционировала еще в основном на базе возобновимых энергоносителей.

Применение сильных токов в конце XIX века и начало всеобщей электрификации отразились на понимании энергии в учении о нервах волнующе и неоднозначно. Понятие энергии стало как никогда наглядным и убедительным — сначала в естественных науках, а затем и в повседневном языке. Электричество, которое до того (за исключением молний) было известно только в форме магнетизма и слабого тока, теперь вышло на сцену как сила, причем сила, способная к любому превращению. Но эта новая электрическая сила имела уже не так много от силы природной. Если в случае слабых токов еще можно было ощутить их родство с животным электричеством, то в случае сильного тока, смертельного для живых организмов, это было невозможно. Именно в этот ранний период, когда средства изоляции еще были ненадежны и короткие замыкания были обычным делом, электричество в полной мере доказывало свою опасность. В 1880-е годы в Нью-Йорке, небо которого тогда закрывала масса плохо изолированных электрокабелей, произошла целая серия несчастных случаев, породившая волну страха. Даже такой отважный энтузиаст техники как Ганс Доминик называл ранние технологии высокого напряжения «страшным делом» (см. примеч. 116).

На Международной электрической выставке в Вене в 1883 году электричество было представлено зрителям не только как успех технического прогресса, но и как источник острых ощущений. Посетители могли пробовать на себе его действие до тех пор, пока не начинали вздрагивать и корчиться. «Немалое число людей пришлось после этого везти в больницу, и здоровью их был нанесен ущерб». Впоследствии Зигмунд Фрейд пришел к заключению, что теоретические основы электротерапии — плод фантазии. Особенно чувствительный удар по электротерапии был связан с Международной электротехнической выставкой 1891 года во Франкфурте, которая повлекла за собой победу токов высокого напряжения. Под предлогом выставки во Франкфурте состоялось «собрание электротерапевтов». Инициатором выступил Мёбиус; сам он во Франкфурт не приехал, но даже заочно стал главным героем собрания — дебаты с начала и до конца вращались вокруг его критических высказываний в адрес электротерапии, и единый фронт противников так и не сложился. Это тем более примечательно, что в то время электротерапия приносила множеству неврологов немалый доход. Но даже Эрб, который считался одним из основателей электротерапии и вел заседание, своей позиции не заявил. Мёбиус, хотя и сам поглядывал в сторону электрических методов, пришел к убеждению, что целительное действие электричества, если таковое вообще было, зиждилось исключительно на внушении. Он считал, что электротерапия не обладала подлинным

медицинским фундаментом, а опиралась на веру в то, что за физикой — будущее. Однако во Франкфурте именно прогресс физики и электротехники усилил подозрение, что целительные эффекты электротерапии исходят не от электричества. Альберт Эйленбург язвительно напомнил, что «первые лечебные результаты, полученные на еще очень несовершенных аппаратах, намного опережали современные со всем их усовершенствованным оборудованием». Парадоксально, но технический прогресс оказывал демистифицирующий эффект и уменьшал целительную силу веры в чудеса электричества (см. примеч. 117).

Сообщалось, что в лечебнице Бильца[17] с помощью «электрических ванн» добивались «блестящих результатов» в лечении неврастеников. Но уже в сборнике медицинских студенческих песен 1890 года появляется песня «Электрованна»: «Если все совсем без толку / юххе, юхху, / добавляют в ванну току / юххе, юхху / от энергии такой / астения с глаз долой». На самом деле электротерапия опиралась на то старое учение об астении, авторы которого пытались найти возбуждающие средства для «дряблых» нервов. В случае же неврастении, суть которой состояла в перевозбуждении, следовало, наоборот, опасаться ухудшения состояния при воздействии электричеством (если оно вообще оказывало какое-либо действие). Даже Герман Оппенгейм, принципиальный соматик, в духе Евангелия от Матфея (9: 22)[18] признался одной писательнице — которой электричеством успешно вылечил заболевание глаз, — что спас ее не электрический ток, но вера (см. примеч. 118).

Но судьба концепта «энергия» в учении о нервах не была связана с электричеством. Понятие энергии, когда-то мигрировавшее из физиологии в физику, на рубеже веков совершило обратный переход в учение о жизни и связалось с психическими процессами. Если теперь в неврологии говорили об «энергии», то все больше в том смысле, что через воспитание воли и изменение жизненной позиции эту энергию можно повысить, что, собственно, не отвечало закону сохранения энергии. У многих медиков эта трактовка вызывала недоверие. Гельпах в 1902 году называет распространенной «ерундой» мнение, что нервозность можно побороть с помощью «энергии». В глубине рассуждений о психической энергии чувствуется модный в то время спиритуализм: вера в невидимую и таинственную силу духа. Но и впечатление от бурного экономического роста способствовало тому, что в США и Германии на рубеже веков по-

[17] Бильц Фридрих Эдуард (1842–1922) — один из отцов натуропатии в Германии.

[18] «Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова».

явился терапевтический стиль, основанный, по замечанию Т.Дж. Джексона Лирса, «не на допущении дефицита психического, а на новой вере в его переизбыток». Эта новая вера ярче всего воплотилась в учении Вильяма Джеймса — автора «Энергии человека» (1906), который ратовал за психологическое, а не физиологическое понимание энергии человека и считал необоснованным страх перед растратой энергии в психических процессах. Лучшим доказательством того, что наивысшее возбуждение, находящее выход в религиозном экстазе, открывает новые источники энергии, служила для него мистик Терезиа фон Авила. Для него самого такая трактовка явно несла компенсаторную функцию: одна из новых монографий представляет Джеймса как наиболее яркого и известного американского неврастеника своей эпохи, постоянно преследуемого страхом перед утратой энергии (см. примеч. 119).

Новое представление об энергии было частью нового витализма, вошедшего в моду на рубеже веков, правда, скорее в обществе, чем в научном мире. Вера в особую жизненную силу, преодоленная первым поколением естествоиспытателей Нового времени, вновь ожила после того, как провалились попытки полностью растворить феномен жизни в физике и химии. Наибольшей популярностью виталистические представления пользовались в натуропатии, но и в университетской медицине отношение к ним стало более толерантным. Оттомар Розенбах, отводивший нервам ключевую функцию как трансформаторам энергии, отошел от физического понимания энергии и полагал «единственно разумной терапией» неврастении «методическое воспитание духа и тела»; позже его идеи стали считать предтечей «аутогенной тренировки» (см. примеч. 120). Поскольку он полагал, что энергия всегда тождественна движению и что потенциальной энергии, т.е. энергии покоя, не существует, то и терапия нервов, основанная на покое, с его точки зрения, не имела смысла.

Воодушевление, вызванное виталистическим пониманием энергии, наложило свой отпечаток на всю картину мира. Если в XX веке энергия стала считаться нервом вещей в экономике и технике, то это было эффектом не только физического, но и виталистического понимания энергии. В то же время не прекращались и поиски физических оснований для подтверждения квазибесконечности энергии. Молния, которая ранее всего донесла до человечества понятие о силе электричества, наводила на мысль, что совершенствование электротехники позволит вскрыть во Вселенной неистощимый резервуар энергии; сегодня такая возможность считается фантастической, но около 1900 года в нее с полной серьезностью верило немалое число инженеров (см. примеч. 121).

Вместе с тем вернулся давний страх, что энергетические ресурсы будут исчерпаны. За империалистической судорогой Германской империи в немалой степени стояло осознание ограниченности ресурсов планеты и беспокойство о том, что из обостряющейся борьбы за все более скудные ресурсы Германия выйдет с пустыми руками. Правда, империализм обещал лишь отсрочку наказания, ведь энергетические ресурсы колоний также не вечны. В 1902 году физик из Йены Феликс Ауэрбах опубликовал статью «Царица мира и ее тень. Общедоступное изложение оснований учения об энергии и энтропии». Чем сильнее растет энергия, тем больше становится ее тень — энтропия: «Как будто она живет самостоятельной жизнью, как будто она сама вознамерилась править миром» (см. примеч. 122).

Главный вопрос заключается в том, как все эти представления об «энергии» сказывались на самосознании человека. Различные трактовки энергии стимулировали совершенно разные формы самовосприятия. Тревожность можно было понимать как растрату энергии, но и как ее проявление, а покой — как отсутствие энергии, но и как состояние аккумуляции потенциальной энергии. Если человек воспринимал самого себя как закрытую систему, то прежде всего нужно было позаботиться о том, чтобы расходовать как можно меньше энергии; если же он, наоборот, видел себя открытым для бесконечных энергий универсума, то мог позволить себе более щедрый стиль жизни — как минимум теоретически. «Мы живем в центре вечных и бесконечных вибраций, — заходится в восторгах Маргарет Кливз, — и мириады наших химических клеток непрерывно вибрируют, чтобы энергия нервов накапливалась, переносилась и принималась». Однако, продолжает она, при современном образе жизни «более высокие вибрации нас не достигают» (см. примеч. 123). Как и большинство неврастеников, она была буквально зациклена на «энергии» — прежде всего потому, что боялась ее утраты. Об энергии вспоминали в первую очередь тогда, когда ее не хватало, — в таком случае понятие энергии помогало выразить общее недовольство как собственным телом, так и духом. Нерешительность, безвольность в профессиональной жизни, бессонница, головокружения, сексуальные проблемы — все это вместе указывало на один серьезный дефект: дефицит энергии. Поскольку «энергия» в то время ассоциировалась, прежде всего, с образом мужчины, то и страдания от ее нехватки больше терзали мужчин: неврастения предстает словно побочным эффектом жажды мужественности.

Очень часто, даже в натуропатии, нервную систему сравнивали с телефонной или телеграфной сетью. Эти технические устройства были

тогда еще новы и ненадежны, так что эта метафора вовсе не успокаивала. В научной литературе нервная система часто представлялась не как сложный организм, сформировавшийся за миллионы лет эволюции, но как клубок электропроводов с плохой изоляцией, где постоянно случаются короткие замыкания, а возбуждения постоянно передаются в те части тела, где им вообще не место. Карл Людвиг Шлейх хотя и признавал наличие в нервной системе «механизма торможения», драматически описывал нервное возбуждение как поджигание «бикфордова шнура». «Неврастеник», по его словам, «похож на плохо изолированную электрическую лампу с мигающим колеблющимся светом, истерик — на такую же лампу, но с короткими замыканиями, воспламенениями и взрывами». «Руководство по обращению с невротиками» 1893 года, сравнивающее нервную систему с телеграфной сетью и «находящимся под давлением паром в паровой машине», называет неврастеника «банкротом» и уподобляет нервный срыв на почве переутомления со взрывом машины под сверхдавлением. Технизированный образ человека отвечал состоянию техники своего времени и ассоциировался с образом не самого надежного и совершенного механизма. Кроме того, техника пугала и своим непостижимым многообразием. Теодор Фонтане, читая «Нервный век» Паоло Мантегаццы, подчеркнул строчки: «У нервного человека не пять чувств, а пятьсот, даже пять тысяч, и его нервы, ставшие настоящими микроскопами, телескопами, микрофонами, телефонами и гальванометрами, держат его в постоянном напряжении» (см. примеч. 124). Нервозность постоянно встречается как стиль поведения, навязанный общением и техникой: выходящие из строя технические системы зеркально отражают такие же нарушения мучительно выстроенного человеческого *Я*.

Из всех контактов, осуществляемых нервной системой, наибольшие тревоги вызывал контакт всех телесных зон с половыми органами. Если представлять себе деятельность нервов как движение тока по электрической цепи и искать два полюса, то напрашивается мысль о мозге и гениталиях. Американский гинеколог Чарльз А.Р. Рид в 1899 году сравнил женскую половую сферу с «центральным телеграфом, откуда провода тянутся в каждый угол и закуток и через который передаются болевые и другие сигналы»: тревожная картина, если вспомнить, что телеграфные службы считались настоящими рассадниками неврастении (см. примеч. 125).

Неудивительно, что увлечение «энергией» влияло и на восприятие сексуальности. Под «энергией» подразумевалась, среди прочего, «мужская сила», сексуальная потенция. Сексолог Иван Блох с удовольствием цитирует Георга Хирта, уже знакомого нам в качестве отца неврастеничк-

ного сына. Хирт буквально поет гимн сперматозоидам, «этим бешеным ребятам», которые, так сказать, утирают нос закону энтропии: «Трудно поверить, что в органическом мире существует что-то еще, что при такой ничтожной массе было бы столь шустрым и предприимчивым, как эти "семенные зверушки" [...] как стремительно движутся они вперед, пока не достигают заветной цели и не бросаются сломя голову в штрудель яйцеклетки — воистину зрелище для богов. И сомневаться здесь в энергии — почище всякого греха!» (См. примеч. 126.)

Такое понимание энергии превращало сексуальные проблемы в серьезную патологию — ведь они свидетельствовали о нехватке энергии и таким образом связывались со всеми другими жизненными неприятностями. Для неврастении эта связь была основополагающей. Создается впечатление, что все эти «энергетические» понятия внесли в сексуальную жизнь особенно много путаницы, придав сексуальной жизни глубокую амбивалентность, гораздо более тревожную, чем прежнее религиозное отношение к сексу — уничижительное, но как минимум по-своему однозначное. Была ли сексуальная сила энергией, которую с успехом можно накопить, или ее, подобно электрическому току, надо было использовать сразу после производства? Если человек задумывался об этом, он уже не мог понять, правильно ли поступает и что для него лучше — насыщенная сексуальная жизнь или экономия спермы, т.е. кинетическая энергия или потенциальная. И все еще больше запутывалось, когда обнаруживалось, что приложение энергии, усилие не служит правильным средством для преодоления импотенции. Сегодня бросается в глаза, что потенция воспринималась тогда исключительно как проблема нервов индивида, но не отношений между партнерами. Одного этого хватало, чтобы сексуальные разочарования превратились в хроническую проблему.

Жалоба на нехватку энергии — лейтмотив множества историй болезни неврастеников. Еще прошлое поколение «отсутствие энергии» считало бы ленью, моральным дефектом. Концепт энергии немало способствовал тому, что неврастению в принципе стало возможным понимать как болезненное состояние, нуждающееся в лечении. В 1889 году в закрытое отделение клиники Эренвалля в связи с угрозой суицида доставили одного торговца. После разговора с его сестрой врач поставил диагноз нехватки энергии, который затем подтвердил и сам пациент. Годом раньше этот человек потерял отца, в возрасте 33 лет был вынужден самостоятельно продолжать его дело и не справился с этой задачей. По словам сестры, сначала он был «очень старателен», но затем у него поднялось давление, он потерял сон и «способность думать». «Вялость» — лейтмотив рассказов сестры. «Во всем, что он делал, была вялость. Он

ни к чему не проявлял интереса, не мог написать самого простого письма, осанка была вялая. [...] Он часто пытался объяснить, что хотел бы ринуться с головой в работу, но не мог». Он жаловался, что даже не может на вокзале «бойко» позвать носильщика. «Все мне безразлично, я для всего умер». Та же «вялость» проявлялась и в сексе. «Все чувства в половой жизни угасли. [...] Сегодня он жалуется, что его яички вялые, "словно мертвые" и висят слишком низко. Он хочет расторгнуть свою помолвку [...] и все время спрашивает, не угасла ли совсем его потенция». В Арвайлере у него диагностировали «полное отсутствие энергии и апатию». Он воспринял это истолкование позитивно и был «убежден, что вновь обретет энергию». К сожалению, его новый прилив энергии длился недолго (см. примеч. 127).

Примеры можно перечислять до бесконечности. «Энергии», — ответил в 1906 году в Айхберге меланхоличный помощник мясника на вопрос, чего ему не хватает. Этот человек забивал волов, получал сдельную зарплату и совершил попытку самоубийства. Далее разговор шел так: «Вам грустно?» — «Да». — «О чем вы грустите?» — «Я не знаю, не могу сказать, из-за чего, это все нервы». Связь между «энергией» и «нервами» стала понятна для всех. В 1909 году один рабочий в Шарите на вопрос о самочувствии ответил, что ему лучше, но «только не хватает энергии и нервов». Бывший парикмахер, 30 лет, раздраженный собственной жизнью и уже несколько лет страдавший алкоголизмом, в 1910 году отвечает в Шарите на вопрос о своем расстройстве: «Страх, страх, страх». На вопрос, упрекает ли он себя: «Да, я всегда себя упрекал. Я сам виноват, что у меня все так плохо». Несчастная любовь лишила его всякой радости в жизни. Теперь он упрекает себя в том, что «у него нет больше энергии». Теперь он работает мойщиком окон и уже не может вернуться к профессии парикмахера, потому что «у него нет энергии». Юрист, 32 лет, получивший уже восемь санаторных курсов и снова собиравшийся в Бельвю, на призыв доктора собрать в кулак всю свою энергию, возразил: «Вы говорите об энергии, но у меня ее нет ни на грамм. У меня нет никакой моральной силы, я нуждаюсь в контроле и руководстве. Это повторял Форель. [...] Я не рискую в одиночку перейти через дорогу, обменяться с незнакомым человеком парой слов — а вы говорите об энергии, которую мне надо собрать». В отличие от парикмахера с его самообвинениями, для него понятие энергии не содержит призыва к силе воле в смысле «Стань энергичным!» Напротив, человек, лишенный энергии, может не больше, чем автомобиль с пустым баком (см. примеч. 128).

Существовали разные варианты того, как можно было развить понимание энергии и внедрить его в собственную жизнь. Парадигматиче-

ский контраст задают фигуры Рудольфа Дизеля и Вильгельма Оствальда. Оба и в технике, и в жизни стремились к прогрессу, к максимальному использованию энергии, и на обоих понятие «энергия» оказало сильнейшее духовное влияние, но совершенно по-разному.

Дизель с конца 1880-х годов увлекся идеей качественно повысить эффективность двигателя за счет перехода к более высокому давлению. В то же время сама его жизнь становилась все более оживленной и суетливой. Всемирная выставка 1889 года в Париже повергла его в состояние мучительного возбуждения: однажды, как он сам писал, с ним случился «такой кризис головной боли», что он «прямо в разгар выставки убежал, поймал дрожки и примчался к врачу перед окончанием приема». К его словам: «Я так загнан, что больше не могу», сын Ойген добавляет: «Эпоха неврастении держала его в своих когтях». В 1898 году «последовал срыв нервной системы, прежде всего мозга, пришедшего в тяжелое состояние возбуждения и вместе с тем изнеможения»; врачи диагностировали *Neurasthenia cerebralis*. Сын не устает описывать, как отец, преследуемый «жестоким призраком прежнего перенапряжения», довел до предела принцип самовозгорания и повышения эффективности за счет усиления давления: и в своем моторе, и на самом себе. Пользуясь модным в то время выражением, он относит своего отца к людям «высокого давления», страдавшим не от депрессии, а от «сверхпрессии». Он видит в отце воплощение типичной для индустриальной эпохи психомоторики: «умение открывать новые источники энергии заставляло, как под гипнозом, высвобождать все больше энергии» (см. примеч. 129).

Вильгельм Оствальд был известен в первую очередь как пионер физической химии; концепт энергии привлек к себе его внимание высокой интегративной ценностью — как мост между физикой и химией. Однако это оказалось лишь прелюдией. Около 1890 года, прогуливаясь по берлинскому Тиргартену в «солнечном свете изумительного весеннего утра», он, по его собственным воспоминаниям, пережил «подлинную троицу, сошествие духа», — настроение, которое он мог сравнить только с «самыми высокими чувствами» «весны своей любви». Что же произошло? На него, как озарение, снизошло понимание, что концепт энергии открывает ключ ко всем областям жизни. «Мышление в категориях энергии», писал он позже, овладело «часть за частью всем моим разумом»; это «расширение энергетического мировоззрения» происходило «почти автоматически». Особенно смелым и рискованным был переход от физики к психологии: «Трактовка психологических явлений в категориях энергии представляет собой особенно яркий пример уже упомянутого выше свойства энергетики — проникать подсознательно и

почти против воли человека как объясняющий принцип в области, которые кажутся совсем далекими от него». Он наблюдал, как сильно и внушительно подействовала эта идея на него самого и открыто признавал, что «оплодотворение» его «общих воззрений концепцией энергии», прежде всего, объяснялось его «личными потребностями и нуждами». Не удивительно, что он обнаружил «энергию» и в нервах, придав тем самым решающий импульс учению об энергии. «Лишь учение Оствальда о нервной энергии, — пишет автор статьи в "Die Zukunft" в 1908 году, — обеспечило понятие энергии подлинным фундаментом и сделало его общим знаменателем всех явлений, включая психические».

Вслед за «энергетическим» озарением последовал энергетический коллапс: в 1895 году у Оствальда, которому на тот момент было всего лишь 46 лет, начинается потеря трудоспособности со всеми симптомами неврастении, вызванной длительным перенапряжением мозга. Сначала он делает перерывы в работе, а в 1905 году, когда во время лекций у него начали случаться «постыдные просчеты» и его стали упрекать в пренебрежении профессорскими обязанностями, окончательно оставляет преподавание. Его мемуары вызывают подозрение, что он и без того утратил желание заниматься химией и делами университета, и состояние нервов дало ему возможность осуществить мечты о свободе и счастье. Он уединился в своем сельском поместье в Гросботене, которому когда-то дал имя «Энергия». «Усадьба всегда была для меня средством обрести новую энергию, когда моя собственная иссякала, и потому не могла получить более подходящего имени». Для его внуков «понятия энергии и рая» в этой сельской идиллии стали означать «приблизительно одно и то же». Бóльшая часть трудов и меньше всего радости выпали при этом, как он признавался, на плечи его жены. Она жаловалась, что дом, несмотря на свои 18 комнат, не имел даже столовой: Оствальд, совершенно неуемный даже в сельском поместье, все помещения занял под свою работу. В деревне люди спрашивали, зовут ли «Энергией» его самого или его жену: в то время это понятие еще не вошло в повседневный немецкий язык.

В «Энергии» Оствальд сформулировал свой «энергетический императив»: «не транжирь энергию, применяй ее по делу». До требований вообще не совершать никаких превращений энергии Оствальд не дошел: его понимание «энергии», в которое входило и представление о жизненной энергии человека, препятствовало такой точке зрения. В каком-то смысле его трактовка энергии будила страхи перед ее потерей, как будто каждое действие в жизни человека оплачивается нарушением телесной энергии; вместе с тем, его учение настойчиво внушало мысль, что полно-

ценная жизнь сама по себе означает высокий расход энергии. При случае он даже называл наслаждение, получаемое за счет затраты энергии, «героическим счастьем», а удовлетворение от экономии энергии, напротив — «куриным», или «филистерским», счастьем.

За своим собственным «энергетическим манометром» он наблюдал неустанно и полагал, что «сознательное и строгое применение энергетического императива» к его собственной жизни имело «самое благотворное воздействие». Своего лейпцигского коллегу, историка Карла Лампрехта, наделившего «возбудимость» высоким статусом эпохальной творческой силы, он критиковал за ошибочное понимание энергии: «Ученый-гуманитарий, он недооценивал неумолимость взаимодействий, обусловленных естественными законами, и полагал, что усилием воли может выжать из своего тела неограниченные количества энергии». И потому прожил всего 59 лет. Мысль, которую ему когда-то пытался привить отец — что воля делает возможным абсолютно все, Оствальд воспринимал теперь как трагическое заблуждение, виновное в его нервном истощении.

В естественных науках энергия как интегрирующий концепт какое-то время успешно конкурировала с атомизмом. Когда многолетний противник Оствальда, сторонник атомизма Людвиг Больцман, в 1906 году покончил с собой, то в одном из некрологов значилось, что он пошел на смерть от отчаяния, испугавшись наступления эры «энергетического варварства». Проложив мост между науками, перейдя от физики к психике человека, в научном мире Оствальд оказался в положении аутсайдера. Однако в обществе это принесло ему широкую славу, более чем его прежние химические исследования, за которые он в 1909 году получил Нобелевскую премию. Признавали его и в терапии нервной системы, хотя он вовсе не соответствовал новой тенденции делать ставку на активизацию воли (см. примеч. 130).

Когда Карл Хилти, швейцарский правовед и автор книги о неврастении, в 1899 году анализировал «господствующее настроение», с которым «сложный организм» «цивилизованного человечества, переходит в новое столетие», он усматривал в нем, прежде всего, «тоску по силе». Он полагал, что подобное состояние души нельзя объяснить с помощью основных философских и естественно-научных тенденций XIX века. Его причина — новое и глубокое ощущение слабости: «человеческий род, чувствуя себя слишком слабым», теперь ищет «силу любой ценой, как в политике, так и в искусстве и воспитании». Вольфганг Й. Моммзен считал империалистическую экспансию того времени «следствием бурных энергий в недрах европейских обществ», и можно было бы предполагать,

что эти экономические, технические и милитаристские энергии будут передаваться и отдельному человеку, наделяя его стабильным ощущением собственной энергичности. Однако это было далеко не так. Энергия, эта новая абсолютная ценность, как писала «Die Zukunft» в 1903 году, была своего рода «идолом», источавшим психологическую неуверенность и демонтировавшим традиционные ценности (см. примеч. 103).

Тревоги на тему энергии уже давно бродили и в политических кругах. В 1906 году, после того как Бюлов прямо на заседании рейхстага упал в обморок и заставил всех усомниться в своей энергичности, Филипп Эйленбург писал ему, что кайзер усматривает в африканской политике Бюлова «некоторый недостаток энергии» и вообще напирает на тему «энергии». Историк Иоганн Халлер подозревал, что «осторожное предупреждение, которое слышится в этом письме», «способствовало внезапному, резкому и не вполне мотивированному припадку "энергичности", который продемонстрировал впоследствии Бюлов, распустив Рейхстаг». Эйленбург уже давно прилагал усилия к тому, чтобы сделать более энергичными и Вильгельма II и всю германскую политику, причем вполне осознавал при этом невнятность понятия «энергия». В 1886 году он в разговоре с Гольштейном заметил, что, по его мнению, «лозунгом германской внутренней политики» могла бы стать «дружелюбная энергия». В 1899 году он с сожалением отмечал у кайзера «отзвук раскатистой энергии» и намекал ему, что его, «безусловно, современная сторона» «парализована слишком энергической манерой на публике» (см. примеч. 132). Вильгельм II всем своим поведением олицетворял убеждение, что энергия существует, прежде всего, в движении, т.е. в форме кинетической энергии. Этому соответствовала и витавшая в то время в воздухе очарованность «темпом».

Если «энергия» претендовала на статус высшей добродетели, то формировалась такая картина мира, в которой уже не было «плохого» или «хорошего» и даже «правильного» или «неправильного». Вместо всего этого на первый план выходило «энергичное» и «слабонервное», «исполненное силы» и «дряблое». Именно на фоне такой картины мира развязалась Первая мировая война. Это не значит, что «энергетическое» мышление во всех своих вариациях было гибельным или ошибочным. Понятие энергии и сегодня вполне продуктивно для понимания начала болезни и выздоровления, его обаяние не было лишь преходящей модой. Но в атмосфере накануне 1914 года оно способствовало нарастанию тревожности и суетности, превращало неуверенное ожидание во что-то нездоровое, вызывало желание испытать свое здоровье на прочность.

«НЕРВНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ БУЭНОС-АЙРЕСА»: МАНИЯ И ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ КАК СПУТНИЦЫ НЕРВОЗНОСТИ

Вильгельм Оствальд относил неврастеников к «несчастнейшим людям» — ведь неврастеник «не в состоянии принять даже самое ничтожное решение» (см. примеч. 133). Но правда ли, что нерешительность лишает человека счастья? Не создает ли возможность выбора прекрасного чувства свободы? Феномен неврастении включал в себя не только депрессивные состояния. В судьбах невротиков обнаруживается много свидетельств, что им были свойственны периоды маниакальной активности. В специальной литературе тема «мания» встречается очень редко, но это понятие было тогда еще расплывчатым, от прежнего значения «буйство» отрывалось лишь постепенно и в германоязычном пространстве абсорбировалось «маниакально-депрессивным психозом». Однако и не называя этого слова, многие авторы приписывали неврастеникам маниакальные свойства, такие как фазы эйфорической сверхактивности, «гонку и травлю мыслей», которой неврастеник зеркально отражал мучительную для него «гонку и травлю» всей эпохи (см. примеч. 134). Все это укрепляет предположение, что неврастения не в последнюю очередь была продуктом желаний и устремлений. Отвечает этому и значительная роль сексуальной фрустрации в историях болезни неврастеников.

Автор популярного труда о лечении нервных болезней представляет себе своего читателя классической жертвой маниакального синдрома: «Либо ты неестественно оживлен, весел, непосредственен, обижаешь лучших друзей своей бесцеремонностью и невнимательностью. В такие дни мысли твои текут потоком. Ты чувствуешь себя так легко, что готов полететь и мог бы завоевать весь мир. Но всю ночь без сна вертишься на постели. Фантастические картины непрерывно сменяют друг друга». Последователь Кнейпа Баумгартен выделял типаж «возбужденного неврастеника», которого выдает взгляд с «характерным блеском». Смена состояний возбуждения и слабости вообще проходит «красной нитью [...] через всю симптоматику неврастении» (см. примеч. 135). Возможно, тайное обаяние неврастении кроется в самом предвкушении маниакальных фаз.

В описаниях болезней, сделанных самими пациентами, в основном преобладает ощущение «отсутствия энергии». Однако во многих случаях они содержат также воспоминания о фазах кипучей активности, указывающей на маниакальное состояние. Отсутствие энергии наиболее тяжело переживает тот, кому знакомо радостное чувство ее полноты, а это чувство уже само по себе имело маниакальные черты. Ведь

«энергия» означает не конкретную способность, а потенциальную возможность совершить любое действие. Вторым полюсом этого состояния почти неизбежно становилась фрустрация.

Однако не только в психодинамике пациентов, но и в динамике экономического развития начала XX века с постоянным контрастным душем из соблазнов и разочарований крылись причины маниакально-депрессивных настроений. Еще можно было думать, что учреждение новой фирмы позволит относительно легко найти дорогу к счастью, но со времен первых заводов конкуренция успела существенно обостриться. В 1911 году в Арвайлер в состоянии депрессии поступил химик 49 лет. Уже 10 лет он лечил нервы, проходя различные терапевтические курсы. Прежде его настроение резко колебалось, переходя от гедонистически-активного к «угрюмой и брюзгливой ипохондрии» и обратно. «Злой рок настиг его летом 1911 года в фазе гипомании». В это время, находясь в «состоянии сангвинического оптимизма», он учредил химическую фабрику. Через год фабрика обанкротилась, он лишился всего состояния и совершил попытку самоубийства (см. примеч. 136).

Перспективы, появившиеся в конце XIX века благодаря колониализму и всемирной торговле, как будто нарочно были предназначены для того, чтобы открыть все пути маниакальным устремлениям, которые в итоге почти неизбежно оборачивались фрустрацией. Эта сторона колониальной политики и буйно развивающегося всемирного транспорта отражена в немалом количестве неврастенических историй — бросается в глаза, что многие из таких пациентов принадлежали к типу людей, склонных к перемене мест. В 1882 году в Бельвю поступил неврастеник, швейцарский коммерсант, 26 лет, до этого несколько лет проживший в Занзибаре. «С деловой точки зрения зарекомендовал себя нерешительным. Скорее теоретик, нежели практик; сангвиник, любит помечтать о миллионах, а затем снова робеет». Тропическая лихорадка усилила склонность к безумным идеям, под палящим африканским солнцем он мечтал не только о деньгах, но и о странствиях. Полагал, что «добился бы руки большинства девушек». Обручился, но вскоре уже снова «не был уверен, действительно ли ему надо жениться на своей невесте». При всем том планировал «осесть в Лондоне» и ожидал от этого «нечто фантастическое», но результатом была лишь неврастеническая нерешительность, которая вылилась в неспособность к какой бы то ни было деятельности (см. примеч. 137).

Когда Александра Давид-Неэль в 1910 году начала свои странствия, кульминацией которых стало знаменитое пешее путешествие в Лхасу в 1923–1924 годах, она радовалась: «Я на верном пути, нет больше време-

ни заниматься своей неврастенией». И когда в 1969 году она скончалась в возрасте более 100 лет, ее последним словом было «путешествие». Поскольку в своих странствиях она открыла для себя буддистскую медитацию, то в ее случае дорога в дальние края действительно вела к спокойствию. Вообще между нервозностью и путешествиями существует явная связь, и не только в литературе, но и в историях болезней. Возникает подозрение, что за понятием «слабонервность» стоит не только болезнь, но культурный феномен. Фернан Левиллен, ссылаясь на исследования венского невролога Бенедикта, считал бродяжничество одной из форм неврастении (см. примеч. 138), причем распространенной не только в нижних социальных слоях. Неврастеники постоянно использовали путешествия как средство восстановления хорошего самочувствия. Врачи иногда одобряли их намерения, иногда возражали. Предостережения были вполне обоснованы: нередко можно прочесть, что особенно сильные приступы нервозности были вызваны путешествием. Что происходило при этом, становится яснее, если вспомнить, что неврастеническому упадку в типичном случае предшествовало маниакальное состояние. Психологический эффект туризма вполне понятен — путешествия служат идеальным средством, чтобы полностью раскрепостить маниакальное начало и пробудить смутные желания. Но это иллюзорное счастье по сути своей нестабильно, и его хрупкий мир часто терпит крах уже в самом путешествии. Однако и в коллапсе оно порождает новую страсть к путешествиям — стремление «прочь, куда угодно». Таким образом, благодаря путешествиям нервозность превращается в самовоспроизводящийся психический механизм и привлекательный стиль жизни — именно потому, что странствия порой дарят человеку удивительную расслабленность и успокоение для нервов.

Собственно, связанные с железной дорогой «нервные» ассоциации могли бы вызвать недоверие к путешествиям. Однако для многих невротиков жажда странствий была подлинной потребностью, а вовсе не чистым рефлексом медицинских теорий, и если врачи рекомендовали своим состоятельным пациентам «сменить обстановку», то не в последнюю очередь из-за того, что тем было приятно это слышать. Случалось и так, что врач настаивал на путешествии против воли самого пациента. По свидетельству Гольштейна, врач Максимилиана Гардена считал «его нежелание путешествовать опасным для жизни». «Но нет, он не хочет». Действительно, в путешествиях иной раз происходили необъяснимые исцеления. Так, Цимзен в 1887 году сообщал об одном «ученом, страдающем неврастенией», который через несколько часов поездки по железной дороге избавился от нарушений сердечного ритма, терзавших его

в течение нескольких месяцев (см. примеч. 139). Особенно полезными считались путешествия по морю, правда, уже во времена гигантских пароходов, когда можно было не опасаться штормов.

Путешествия и прежде сопровождались сменой страстей и разочарований, но только в эпоху железных дорог это явление стало массовым и общедоступным опытом. Если сегодня туризм начала века кажется более чем скромным, то для своего времени он обладал воистину революционным размахом и у части средних и высших социальных слоев настолько сильно формировал менталитет, что при изучении этого феномена часто кажется, что речь идет о современных немцах с их туристическим фанатизмом.

В историях болезней путешествия — неисчерпаемая тема, и иногда трудно понять, какую роль они играют — причины болезни, ее симптома или попытки терапии. В лечебницу Морийя под Вефилем в 1900 году был доставлен пациент из дворянской семьи, 31 года, в истории которого в графе «место рождения» было указано «в путешествиях». Отчет начинается с того, что он, как и все шесть его сестер и братьев, является неврастеником. «Душевные задатки очень скверные; несмотря на частную школу, кадетский корпус, реальную школу, священника, принуждения, экзамена не выдержал; вольноопределяющийся, от испытаний освобожден решением короля. [...]. Не переносил алкоголь. [...] Мало влечения к противоположному полу». И далее: «После смерти отца потерял всяческую опору. С июля 1899 года продолжительные путешествия; нелепые письма». В путешествиях им овладевали бредовые фантазии: головные боли и боли в туловище «уже в течение нескольких лет электрическими и магнетическими путями передавались ему людьми, замышлявшими против него интриги; он постоянно состоял в тайных переговорах с кайзером и королем Саксонии». «Я бы достиг много большего, если бы у меня в голове уже десятки лет не проходил электрический ток» (см. примеч. 140).

Торговец 35 лет, который жил сначала во Франкфурте, а затем переселился в Буэнос-Айрес, сообщал, что в аргентинской столице у него была содержанка, с которой он «предпринимал секс», к этому добавилось «очень много хлопот в делах». «Нервозным я был уже давно. Я был известен в Буэнос-Айресе как нервный человек. Легко возбудим, легко приходил в гнев. [...] С любым человеком я через две минуты готов был сцепиться». Создается впечатление, что свою нервозность он подчеркивает, видит в ней личную идентичность, и не без самодовольства дает понять, что он, урожденный швейцарец, даже по латиноамериканским масштабам считался человеком горячей крови. По его рассказам, вся его

жизнь состояла из вечных разъездов, утомительной работы и сексуальных эскапад. Заметно, что путешествия со всеми их треволнениями хотя и изматывали его физически и душевно, но приносили ему удовлетворение (см. примеч. 141). Загадка колониальной и заморской романтики не в последнюю очередь крылась в сексуальных и алкогольных эксцессах, скрытых от бдительного ока буржуазного общества.

В 1907 году в Арвайлер прибывает текстильный фабрикант, жена которого рассказала, что ее супруг постоянно работал сверхурочно и перетрудил свои нервы. «К сожалению, у него было очень мало служебных поездок (ведь они могли бы хоть немного скрасить и разнообразить жизнь)». Командировки как терапия для нервов? Но сам пациент сообщал, что «первый сдвиг [...] в нервной сфере» случился с ним после поездки в Берлин. «Вернулся измотанным. Лишенным энергии». Позже, оставив фирму, он беспрестанно ездил по различным курортам и даже добрался до обеих стран восточной мечты — Индии и Египта. В конце таких поездок его нервы всегда оказывались «на грани». Тем не менее он не отказывается от дальнейших путешествий, так что поездки и нервозность кажутся вечным заколдованным кругом (см. примеч. 142).

Бирд не одобрял принятую у американских врачей манеру рекомендовать пациентам в качестве лечебного средства поездку в Европу. Маргарет Э. Кливз, автор «Автобиографии неврастенички», послушалась своего врача и отправилась в Европу, в чем сильно раскаялась впоследствии. Незадолго до отъезда с ней случился «первый сокрушительной силы электрический шторм» в ее нервах. Врач рекомендовал ей морское путешествие, но не успел пароход выйти из нью-йоркской гавани, как ей уже казалось, «что каждый ее нейрон вышел из строя». В Фонтенбло ее охватил «несказанный ужас»; она попыталась применить «старый трюк», стиснула зубы и сказала себе «я хочу», но все было напрасно. В других известных европейских городах ее нервные проблемы продолжились. По возвращении домой она заставила своего врача ответить на вопрос, зачем он предложил ее путешествовать. Он признался, что она единственная неврастеничка, которой он рекомендовал путешествие; он якобы не понимал, насколько далеко зашли ее проблемы. Задним числом она заметила, продолжая основную тему своей истории болезни, что мнение о благотворном действии путешествий на неврастеников могло распространиться только потому, что в мире господствует сценарий псевдоневрастении и псевдоневрастеников, которые лишь разыгрывают симптомы неврастении, будучи при этом вполне здоровыми (см. примеч. 143).

Альберт Эйленбург, однако, придерживался мнения, что популярная во все времена рекомендация путешествовать «для нервозных людей в

общем оправдана». В статье для «Gartenlaube» под заголовком «Нервозность и путешествия» он хоть и говорит кое-где о неврастении, но на самом деле предается собственной страсти к путешествиям, так что в заключение читатель может быть уверен, что неврологические клиники вполне можно было бы заменить пароходами. Эйленбург замечает, что в «столь характерной для нашего века страсти к путешествиям» находит выход и становится «доступным для исследователя культуры или социал-гигиениста подсознательное и невольное стремление к здоровью». Действительно, жажда странствий во многих случаях имела куда больше общего с подсознательными страстями и желаниями, чем с рациональными научными учениями. Если врачи отказывали своим пациентам в удовлетворении этой жажды, они рисковали потерять доверие пациентов. Как-то раз в Бельвю 20-летний сын коммерсанта буквально «взвыл», когда ему было отказано в путешествии, мысль о необходимости путешествий «для восстановления психического равновесия» была его навязчивой идеей. Однако отец хотел, чтобы тот приучал себя к работе (см. примеч. 144).

В то время дальние путешествия куда чаще, чем сегодня, сопровождались иллюзиями и неудачами, так что типичной была не только жажда странствий, но и разочарованность. Теодор Фонтане, любитель пеших походов и почтовой кареты, в 1873 году подшучивал над тем, кто пытается найти душевный покой на железной дороге и в привокзальной гостинице: «Он хочет уйти от дрожи, но его трясет больше, чем дома». В романе «Сесиль» (1887), повествующем об одной нервной даме, любовник пророчествует: «Нас ждет тотальная реформа медицины или по крайней мере учения о лекарствах, и рецепты будущего будут гласить: три недели Лофотенских островов, шесть недель Энгадина, три месяца Сахары». Однако для героини романа даже поездка в Гарц обернулась тяжелыми последствиями (см. примеч. 145).

Немецко-русский коммерсант, 26 лет, в 1884 году четыре месяца пробывший в Бельвю, после выписки отправился в Голландию и Англию (от запланированной поездки в Нью-Йорк он отказался), чтобы затем причалить в «покойной гавани» Санкт-Петербурга. По словам его тамошнего врача, он всегда был «очень чувствителен и амбициозен». В Кройцлингене он жаловался на «почти постоянный дурман в голове» и «общее чувство слабости». Но своей поездкой остался доволен: «Моя английская поездка во всех отношениях окупилась, как в отношении ее деловых результатов, так и за счет полученного удовольствия» (см. примеч. 146). Как видно, у этого человека уже сформирован менталитет, характерный скорее для более поздних эпох: со свободным временем он

обращается как с рабочим, т.е. старается выжать из него максимальный эффект.

Тема «путешествия» ведет в обширную тему «свободное время». Почти вся специальная литература едина в том, что причины нервозности следует искать в досуге не меньше, чем в работе: в охоте за удовольствиями и разнообразием, в ненасытности потребностей и чрезмерном стремлении к всевозможным возбудителям (см. примеч. 147). Подобные рассуждения относятся скорее к морали, чем к медицине. Тем не менее они маркируют моторику стресса, типичную для эпохи модерна — сегодня в этом не приходится сомневаться.

Но действительно ли существовала такая психомоторика 100 лет назад? При чтении текстов того времени кажется, что «общество досуга», считающееся новшеством последних десятилетий, сложилось уже тогда. При этом ассортимент, предлагавшийся тогда широким слоям населения для проведения отпуска и досуга, был по сегодняшним масштабам более чем скудным, и надо думать, что по крайней мере рабочие и мелкие служащие не были особенно отягощены досугом. Свободное время как самостоятельное явление в прежнем мире труда было явлением незнакомым. Как установил Кристоф Дойчман, сельские рабочие кайзеровской Германии, в душе которых еще жило старое отношение ко времени, «чувствительнее всего» реагировали не тогда, когда им увеличивали рабочий день, а когда им мешали делать привычные для них неформальные перерывы в работе. Но на механизированной фабрике в Хемнице, где трудился студент-теолог Гёре, уже в 1890 году дело обстояло иначе: «Распространенные прежде повсюду послеобеденные перерывы были со всеобщего одобрения отменены, так что рабочие заканчивали рабочий день уже в шесть часов вечера». Заметен перелом в отношении рабочих ко времени — возникает стремление выиграть свободное время, и ради этого люди мирятся с интенсификацией труда (см. примеч. 148).

Новизна досугового ассортимента конца XIX — начала XX века состояла, в частности, в том, что возникли заманчивые предложения для тех, кто в отпуске оставался дома. В 1910 году в лунапарке на Халенском озере жители Берлина могли испробовать «первые американские горки, водные горки с собственным бассейном, сомалийскую деревню с этнологическим шоу [...], стартовую площадку для путешествий на воздушном шаре и многое другое». Американские горки свидетельствовали не только о жажде головокружительных скоростей и желании пощекотать нервы, но и о доверии к новым технологиям. Карусели, работающие теперь на электричестве, «летали и кружились много быстрее, чем помнило предыдущее поколение», — было написано во «Всемирной истории

настоящего». «Горки, спуски, автомобили, воздушные путешествия — все это говорит о стремлении к скорости. Страстное стремление к движению затрагивает и духовную сферу». «Нервозная» эпоха была ознаменована не только страданиями от новых скоростей, но и счастьем от них, отождествлением себя с новым темпом.

Появление кино стало ответом на уже имевшуюся в обществе потребность, ему предшествовали менее удачные попытки оживить неподвижные картинки. Первые немые фильмы — это воистину искусство судорожного движения. Роберт Гаупп в 1911 году полагал, что он как врач должен обвинить кино в «разрушительном воздействии на нервы». «Дело в том, что зловещие картины мучительно сотрясают нервную систему, особенно у детей и людей чувствительных». Позже тот же Гаупп хотел доказать, что на войне здоровая нервная система способна вынести «даже самые чудовищные события без долговременного вреда здоровью» (см. примеч. 149). Нервная система большинства людей выдерживала кино. Его массовый успех показывает, что суетливый поток картинок был не только бедствием для нервов, но и частью новой культуры досуга.

Такая нервозность приходила не только извне, но и изнутри. Она была феноменом нетерпения, бурно растущих желаний, состояния «хочу-но-пока-не-могу». По сегодняшним меркам та эпоха кажется еще очень непритязательной, но для современников это было совсем иначе, и многие из них отмечали связь между ненасытностью потребностей и ростом нервозности. В бумагах бывшего колониального офицера, попавшего в 1907 году в Кройцлинген вследствие хронического «дурного настроения», читаем: «Его самое горячее желание — благородный автомобиль и яхта на море». «Дурное настроение» началось в 1900 году, когда он повесил униформу на гвоздь и женился на богатой и сентиментальной англичанке. Его потенция была «очень минимальной»; чувственные потребности заменила жажда потребления; он целыми днями курил. Его недовольство достигло кульминации, когда ему было отказано в продолжении военной карьеры, хотя в 1904 году он добровольно участвовал в подавлении восстания племени гереро в Намибии. Военные с неудавшейся карьерой составляли среди невротиков специфическую и мрачную группу. Среди документов Бельвю обнаруживается также история северогерманского преподавателя архитектуры, которого «из-за его добродушия годами использовали, чтобы заткнуть им всевозможные дыры» и переводили с места на место в зависимости от насущной потребности школы. Неврастеником он стал не только «из-за душевного напряжения», но и «вследствие неисполненных желаний» (см. примеч. 150).

Что же нового в том, что неисполненные желания вызывают тревожность? То, что потребности лишают людей покоя, а удовлетворение имеющимся дарит человеку спокойствие и счастье, было и остается философской мудростью от Будды до Шопенгауэра. И эту мудрость хорошо слышали, ведь даже в XIX веке подавляющее большинство населения было очень сдержанным в своих потребностях. Недаром Лассаль[19] в 1863 году упрекал немецких рабочих в их «проклятой непритязательности»: «Пока у вас есть жалкий кусок колбасы и стакан пива, [...] (вы) даже не знаете, что у вас чего-то нет!» «Спросите любого национал-экономa: что является самым большим несчастьем для народа? Если у него нет потребностей». Жалобы на отсутствие потребностей сближали социалистов с буржуазными экономистами. Старое время довольства и спокойствия — далеко не легенда, и в «эпоху нервозности» его еще хорошо помнили (см. примеч. 151).

Изменение менталитета началось, прежде всего, с эпохи грюндерства, и быстрее всего осуществлялось в крупных городах. Хорошо знакомый с мировым опытом французский журналист Гюре в 1906 году удивлялся охватившей берлинцев «мании удовольствий», заметной по тому, как заполнены были летними вечерами многочисленные кафе. «Такие пиршества, какие в Париже можно видеть два-три раза в год, проходят здесь каждый вечер. Можно всерьез подумать, что находишься в очень обеспеченной стране, жители которой празднуют вечный праздник». Гедонистический настрой распространялся вопреки нормам пуританской экономии, и во многих историях неврастеников читается это напряженное противоречие. Образ жизни уже не был заданной определенными привычками константой, но становился чем-то таким, что можно было пробовать и менять. Из мира стабильной реальности люди переместились в мир возможностей — это и был мир «нервозной эпохи» (см. примеч. 152).

Проследим изменения семантики понятия «потребность» (*Bedürfnis*). Это слово распространяется в Германии в основном в середине XVIII века, тогда оно было тождественно понятиям «необходимость», «нужда» (*necessitas, Notdurft*). Знаменательным образом значение самого слова *Notdurft* в XIX веке съеживается, ограничиваясь той «нуждой», которую можно справить в общественных уборных. «Потребности» же, наоборот, — это уже не то, что обусловлено природой, они становятся сферой буйного развития, открытой для изобретательности (см. примеч. 153).

[19] Лассаль Фердинанд (1825–1864) — защитник немецкого рабочего движения, инициатор и президент первой социал-демократической партии в немецкоговорящем регионе, автор «Системы приобретенных прав» (1861).

Этот эволюционный процесс можно объяснить закономерностями экономического роста. Если на ранней стадии индустриальное развитие стремилось, прежде всего, к более дешевому производству уже имевшихся типов продукции, то в более позднее время оно было направлено на изобретение новых. При этом если сначала производство ограничивалось удовлетворением уже существующих в обществе потребностей, то в какой-то момент ему пришлось сделать новый шаг — к изобретению новых потребностей. Поток инноваций, сконцентрированный когда-то на производственных процессах, теперь был направлен на сами продукты и методы сбыта. Изменения моды, когда-то медленно осуществлявшиеся в зависимости от социальных механизмов, теперь организовывались производителями и шли гораздо быстрее. Еще Карл Маркс полагал — и ссылался при этом на цитату 1699 года, — что «капризы моды» не соразмерны с системой крупной промышленности. Зомбарт, напротив, считал, что все более быстрая смена моды — это закон современного капитализма, куда более изобретательного, чем думал Маркс (см. примеч. 154).

В «Великой депрессии» 1870-х годов Германия достигла той точки, когда продолжение бурного индустриального роста стало зависеть от возникновения новых потребностей. Электрический бум, начавшийся в 1880-х годах, был самым ярким примером взрыва инноваций и спроса, породившим новые импульсы роста. Так что появление постоянной тревожности как хронического состояния вполне логично выводится из потребностей капитала, а рыночные механизмы добавляют к общей тревожности новые тревоги. Как разъясняют два экономиста, очевидцы событий, потребление в смысле маржинализма превращается «в некий вид обмена, для которого наше интимное Я становится рынком, а наши воюющие между собой желания — торгующимися сторонами» (см. примеч. 155). Удивительно, но нервозность в смысле метаний между противоположными желаниями выступает в качестве экономического регулятора. Но только — где написано, что человеческая психика послушно следует потребностям капитала и рынка? Процессы умножения потребностей объяснимы лишь тогда, когда они не только экономически, но и психологически понятны и отвечают внутренней диспозиции человека. И такая диспозиция в то время существовала, если исходить из того, что широко распространенным хроническим состоянием стало сочетание легкой степени маниакальности и нервозности, стабильность которого поддерживалась путаной смесью страсти и страдания. Жажда новых возбудителей поддерживалась постоянными разочарованиями.

Десятилетия на рубеже веков во всем мире имели решающее значение в истории рекламы. Это был настоящий рекламный бум. Реклама

начала работать с изысканными картинками, слоганами, ассоциациями. Ее развитие было знаком того, что капиталистическая конкуренция дошла уже до розничной торговли и что уже там, в конечных продажах на местах, сформировался рынок с анонимным покупательским кругом. Рекламный бум был тесно связан не только с экономическими тенденциями, но и новыми группами товаров и новыми технологиями. Это видно по тому, что особенно бурно реклама расцвела в трех сферах: электричестве, велосипеде и гигиене.

Одними интересами фирм невозможно объяснить ни новый стиль рекламы, ни весь взрывообразный рост потребностей. Для многих фирм все это выставочное обаяние было даже обременительным. Общий ажиотаж вокруг электричества жил собственной жизнью и лишь на малую часть был производным промышленной рекламы. «Растущая с каждым днем потребность в ускорении железнодорожного сообщения», — писал комментатор Всемирной выставки 1900 года в Париже, — не была результатом железнодорожной рекламы, но шла напрямую из кругов потребителей. Один технолог упрекал пассажиров скоростных поездов в жажде скорости — «возможно, именно осознавая опасность, они привносили разнообразие в жизнь своих нервов, испорченных всяческими наслаждениями» (см. примеч. 156). Новая изощренность рекламы отвечает силе внушения, открытой как раз в те же годы. Однако успех силы внушения зависел от внушаемости публики. Одной теорией манипуляции революцию потребностей того времени не объяснить. То, что называли «нервозностью», также внесло свою лепту в сдвиг потребительского поведения.

Это заметно по стремительному росту рынка продуктов для здоровья. Среди эксцессов ранней рекламы ничто не производит сегодня такого отталкивающего впечатления, как масштабы и назойливость рекламы всевозможных лечебных курсов, курортов и медикаментов. Врачи тоже давали собственную рекламу, и в мелких объявлениях особенной энергией отличались те, кто обещал исцеление самых интимных расстройств. Один врач в 1884 году подсчитал, что больше трети всех рекламных объявлений рекламирует лекарственные средства. «И обратите внимание — большинству рекламируемых средств приписывается сила полного исцеления от малокровия и отравления свинцом, слабонервности и других нервных заболеваний, эпилепсии и т.д.» «Взгляните на рекламные страницы этих медицинских изданий. Они кишат объявлениями неврологических клиник и “приютов” для нервнобольных, душевнобольных, ипохондриков, эпилептиков и так далее». Один берлинский врач заметил, что «самое плодородное поле» для того, кто «мас-

сово злоупотребляет невежеством ближнего», создает «главная болезнь нашего времени — нервозность» (см. примеч. 157).

Бесчисленные истории неврастеников, представляющие читателю бесконечную череду попыток терапии, демонстрируют, как часто и как сильно неврастения представляла собой такое состояние, когда человек постоянно испытывал смутную потребность в медицинских средствах и предложениях. Это расстройство заключало в себе неиссякаемый импульс к новым экспериментам над собой. Не всегда они приводили к негативным результатам. Хотя многие терапевтические средства скорее культивировали неврастению, чем помогали ее преодолеть, не исключено, что пациенты таким образом спасались от более тяжелых расстройств. В 1903 году в Арвайлер приехал владелец фабрики и коммерческий советник 53 лет, уже прошедший множество курсов лечения. В Арвайлере сочли, что пациент «очень склонен к испытанию разнообразнейших средств и экспериментам на себе», но что таким образом он «только усилил уже давно существующую у него неврастению». «Вопреки многочисленным курсам лечения» его состояние «не претерпело существенных улучшений» — тем не менее, вопреки постоянной напряженной умственной работе у него не бывает «головных болей» и его «душевные силы [...] превосходны» (см. примеч. 158). С такой неврастенией вполне можно было жить.

Неврастения как всеобъемлющая болезнь, подводившая множество симптомов под один знаменатель, в то же время отражала безбрежное стремление к счастью и здоровью — может быть, именно в этом состоит ее внутренняя цельность. Архитектурный стиль курортов со всеми их изысками — от классицизма вод и бань до колониального стиля веранд и мавританских орнаментов некоторых вилл — наглядно демонстрирует, что здесь речь шла не только о проблемах пищеварения, но и о воплощении мечты о счастье. Желания многих неврастеников не ограничивались мелочами; и здесь просматривается выход неврастении на политическую сцену.

Частью политической нервозности была и та известная манера, которая в эпоху Вильгельма стала официальным стилем, причем тон задал сам кайзер: сверкающий взор, высоко закрученные кончики усов, пружинистый шаг, «энергичные» жесты, бурный речевой поток. Если Вильгельм II, по словам престарелого Бисмарка, был из тех людей, кто хотел бы семь дней в неделю жить как в воскресенье, и того же приподнятого настроения ждал от окружающих, то это напоминает «праздничную радость бытия», хроническое маниакальное состояние. Как отмечал один англичанин, большой знаток Германии, молодой кайзер начал свое прав-

ление в общем «делирии восхищения». Вильгельм II, автор таких крылатых выражений, как «я веду вас навстречу благословенным временам» и «пессимистов не терплю», излучал атмосферу вечного предвкушения счастья и напряженного ожидания. И даже такой ожесточенный противник кайзера, как Макс Вебер, был в таком же настроении, когда в 1895 году в своей бравурной инаугурационной речи во Фрайбургском университете возвестил: «Нам не удастся избавиться от заклятья, под знаком которого мы живем, — быть потомками великой политической эпохи. Но может быть, мы сумеем кое-что другое — стать предшественниками еще более великой эпохи». Напряженное предвкушение, нескромные и неясные мечты о власти характеризуют весь политический и культурный климат Германии 1890-х и последующих годов (см. примеч. 159). Но это состояние было крайне уязвимым, подверженным нервозности и разочарованиям.

Частые поездки Вильгельма II, благодаря которым он получил прозвище «Кайзер-путешественник», вполне вписывались в общую картину: они были частью общей для всех немцев жажды странствий и зачастую объяснялись не политической необходимостью, а эмоциональной потребностью. Когда в 1896 году кайзер из политических соображений нехотя отказался от поездки в Англию и на Средиземное море, он сетовал: «Я лишил себя единственного, что мне действительно доставляло удовольствие». Путешествие как самое прекрасное, как главный смысл жизни: в этом Вильгельм II предвосхитил коллективный менталитет немцев конца XX века. При этом ни кайзера, ни его свиту не обошел стороной опыт, так хорошо известный многим странствующим невротикам: когда в длительных путешествиях на борту регулярно складывается атмосфера «общей нервозности» (Филипп Эйленбург). У Вильгельма II такая нервозность обычно находила выход в агрессии (см. примеч. 160). Его поездки пробуждали надежды, которые заканчивались только раздраженным разочарованием.

С точки зрения традиционной мудрости ситуация была ясна: немцы — по крайней мере те, что задавали тон — взрастили у себя слишком много потребностей. Выходом из дурного настроения была скромность. Теория оставалась прежней, но теперь она не соответствовала эпохе. Об этом твердили прежде всего пангерманцы: точка зрения, что Германия «насыщена» (saturiert), как утверждал когда-то Бисмарк, больше не соответствует реальности. Теперь верно другое — у Германии возникли «потребности», много потребностей. Председатель пангерманцев Генрих Клас говорил об этих «потребностях» так, как будто они служили правовым основанием и даже оправданием войны (см. примеч. 161).

IV. *Нервозность: от болезни к состоянию культуры*

НЕРВОЗНОСТЬ КАК ЭПИДЕМИЯ И КАК ОДАРЕННОСТЬ

Когда страх перед эпидемиями в Германии уже практически остался в прошлом, многие авторы с удивительной серьезностью возвестили приход новой эпидемии — эпидемии нервозности. Это признавали все — от медицинских авторитетов до народных целителей и авторов популярных справочников. Влиятельный клиницист Гуго Вильгельм фон Цимсен в 1887 году назвал заболевания нервной системы, в первую очередь неврастению и душевные болезни, «патологическим ярлыком культурной эпохи, в которой мы живем». Карл Пельман в 1888 году полагал, что неврастения «набирает силу с каждым днем», перерастая в «столь великое и невыносимое бедствие, какими были в свое время семь казней египетских». Гельпах считал, что у «нашей культурной эпохи» «характер невротика». В 1908 году на Висбаденском собрании Немецкого союза по сохранению здоровья общества один берлинский доктор говорил о царившем в народе «отчаянии» по поводу нервозности, будто речь шла о неизлечимой болезни. Вильгельм Гис в том же году совершенно серьезно назвал нервозность «психической эпидемией, которая за последние десятилетия захватила и продолжает захватывать весь цивилизованный мир», «нанося существенный вред экономической и духовной жизни» (см. примеч. 1).

Читать популярную литературу было еще страшнее. Швейцарский семейный листок пугал новыми «Содомом и Гоморрой», новым «всемирным потопом, ужаснее библейского», подразумевая при этом нервозность среди школьников. Но всех превзошла статья одного врача в «Reformblätter» (1907), который писал: «Неврастения — расстройство, о котором можно говорить, что по распространенности своей оно не превзойдено никаким другим». «Да, холера и чума требуют стотысячных жертв; туберкулез, алкоголь, сифилис забирают миллионы, однако они ничто в сравнении с ежедневно и ежечасно подступающей слабонервностью. Да, если быть точным: только состояние слабонервности позволяет названным болезням с таким размахом собирать свою жатву» (см. примеч. 2).

«Никто так не заразен для окружения, как невротик», — пишет справочник по нервным болезням 1931 года. Какими путями передается инфекция? Макс Лэр приводит устрашающий пример учителя народной школы, который «заставлял учеников наизусть заучивать симптомы неврастении», а затем опрашивал детей друг за другом, «замечают ли они за собой подобные явления во время работы, и какие именно». Адольф фон Штрюмпель настойчиво предупреждает, что «в присутствии детей нельзя злоупотреблять словом "нервный"». «Ребенок должен как можно дольше избегать знакомства с этим словом!» Август Крамер описывает «заразных личностей», способных превратить в невротиков целые семьи, включая прислугу. По его словам, известно и то, что «нервный начальник способен целую армию своих служащих превратить в невротиков». Чего же было ожидать от невротичного кайзера! Некоторые наделяли нервозность социальной и социализирующей силой. Макс Нордау полагал, что те, кого она коснулась, «притягиваются друг к другу как магнит и железные опилки» (см. примеч. 3).

Но чем больше неврастения казалась символом времени, тем сильнее напрашивалась мысль, что вместо того чтобы еще громче бить в колокола, можно поменять акценты и считать нервозность, со всеми ее неудобствами, не болезнью, а феноменом культуры. «Кто сегодня не неврастеник?», — задается вопросом Пельман в 1900 году. Если так, то оставалась ли неврастения болезненным состоянием или, что гораздо реалистичнее, не стала ли она нормой? Исследования мозга полезны «сегодня, когда все стали неврастениками, ха-ха-ха», — смеялся старый Райнер Фердинанд, эрцгерцог Австрийский, когда ему в 1906 году представили Международную комиссию по изучению мозга (*Brain Commission*).

В последнее предвоенное десятилетие теория неврастении демонстрировала совершенно различные тенденции. Часть авторов поддались страхам перед вырождением и стали считать слабонервность более или менее безнадежным явлением упадка. Однако главное направление медицинской мысли шло в ином направлении и трактовало нервозность как доброкачественное расстройство без физической причины, преодолеть которое можно психологическими методами, в особенности через воспитание воли. Были и те, кто задавался вопросом, стоит ли вообще стремиться к полному подавлению неврастении и не идет ли речь в данном случае скорее о некоей *одаренности* — реактивности, готовности к скорейшему ответу и таким образом адекватному ответу на требования индустриальной культуры!

В каком-то смысле позитивная оценка неврастении витала в воздухе с самого начала. Традиция воспринимать повышенную чувствитель-

ность как достижение культуры существовала в сентиментальную эпоху конца XVIII века и поддерживалась в первую очередь образованной буржуазией, женщинами и художественными кругами. Немалое число медиков, писавших о неврастении, воспринимали себя как людей в высшей степени нервных, так что идея ассоциировать с этим расстройством особую остроту чувств и особенные дарования напрашивалась сама собой. Бирд понимал неврастению как расстройство, однако нервозность, из которой она развивалась, была для него выражением прогресса цивилизации и ответом на него: «Нервозность нового времени — это вопль системы, которая борется со своим окружением».

Врачу и неврастенику Маргарет Э. Кливз принадлежит самодовольный афоризм о том, что «мировые достижения в большой степени осуществлены руками неврастеников», причем она считает это общепризнанным фактом. Густав Ашаффенбург в 1909 году заметил, что «нервозность и гениальность» — это «две формы проявления одной и той же психопатической диспозиции». Ведь нередко мы видим, как «неврастеники становятся гениальными первопроходцами культуры»! (см. примеч. 4).

Гельпах зеркально перевернул слова Мёбиуса о том, что «наша культура интересна для изучения» только «тому, кто смотрит на нее с учетом нервозности»: «Нервозность сможет понять только тот, кто видит в ней не чисто медицинскую проблему, но проблему культуры». Как врачу, Гельпаху было удобно смотреть на нервозность как на расстройство, нуждающееся в терапии; но с момента выхода в свет его труда «Нервозность и культура» в 1902 году Гельпах, воодушевленный историком Лампрехтом, вместе с тем старался реабилитировать нервозность как культурную силу и одновременно признавал продуктивность собственного «лихорадочного» беспокойства.

Карл Людвиг Шлейх, не слишком дружелюбный по отношению к неврастении, тем не менее считал, что, «может быть, это не поддающаяся описанию болезнь, но процесс приспособления к слишком быстрому культурному развитию». Возможно также, что у нее есть свой физический смысл: «готовность нервов к мгновенной реакции» повышает способность к «отторжению и избавлению от возбудителей более опасных болезней» (см. примеч. 5).

Шлейх, хирург по специальности, в «нервном» дискурсе был аутсайдером, пусть даже его философские экскурсы в неврологию встречали живой отклик. В позитивной оценке неврастении, особенно после 1918 года, стала заметна экзальтация. Популярный справочник «Тайна нервозности» (1925) воспевает нервозную предрасположенность таки-

ми словами, которые в прежних терапевтических изданиях не использовались: «нервозная конституция» означает «не какую-либо неполноценность, а особую ценность — иную, а в перспективе развития человечества даже более высокую». Нервозный человек — не что иное как переход от «человека силы» к «человеку духа». Еще более сенсационные формулировки использовал венгерский невролог и гипнотист Франц Фельгези: он хотел доказать, «что сокрытые в нервозности внутренние силы» представляют собой «самый здоровый наследственный материал каждого современного человека». «Собственно, если современный культурный человек жалуется на нервозность, он просто хвастается».

Для него нервозность была беспокойством того, кто рвется к борьбе. Потому она несет на себе и часть вины за большую войну (см. примеч. 6).

За пределами медицины, где не надо было лечить пациентов, нервозность наделялась еще более привлекательными чертами. В 1903 году Философ Георг Зиммель считал нервозность горожан неизбежной технологией выживания в индустриальной городской культуре. Для него она была «психологической основой, на которой выстраивается индивидуальность жителя большого города», «эволюционным этапом жизни нервов, проистекающим из стремительного и неустанного потока внешних и внутренних впечатлений». «Эволюционным этапом», не «возбудимостью» — он отказывается от патологической лексики. Нервозность становится для него осознанной свободой восприятия, основой новой урбанистической идентичности. Урожденный берлинец, он опирался на собственный личный опыт (см. примеч. 7).

Непривычную и примечательную роль в переоценке нервозности сыграл историк Карл Лампрехт. В своих дополнениях к истории Германии, издаваемых с 1901 до 1904 года, когда он уже навлек на себя страшный гнев своих коллег, поставив под сомнение господствующие позиции политической историографии, он представил психологическую трактовку новейшего времени. Период примерно с 1860-х годов он назвал «эпохой возбудимости», умышленно избегая отягощенного негативом термина «нервозность». «Возбудимость» была для него общей чертой эпохи, придававшей ей внутреннее единство, тайным связующим звеном между экономикой, политикой и культурой. Он мало говорил о том, откуда проистекает эта возбудимость, и заметно больше о том, чего она позволяла достичь. Лампрехт полагал, что некоторые из тех качеств, которые формируют образ «успешного предпринимателя», прежде всего, «так называемый острый и пронизывающий взгляд», сочетаются с «врожденными задатками невротика». В «эпохе возбудимости» он отмечал эволюционирование нервозности: от «прежней грубой

и болезненной» нервозности к новой «рафинированной чувствительности» вплоть до «возбудимого идеализма» Вильгельма II. Превратив кайзера в апофеоз нервозности, Лампрехт стал его горячим сторонником. Вильгельм II оказывал ему протекцию. «Старую грубую» нервозность Лампрехт ассоциировал с забивающим все материализмом, а рафинированную «возбудимость» с «новым идеализмом» (см. примеч. 8). Здесь просматриваются следы манифеста Германа Бара «Преодоление натурализма», о котором речь впереди.

Несмотря на все идеалистические одежды, Лапмпрехт заметил вполне реальную перемену, произошедшую в течение его жизни. «Нервный век» приобретает черты эпохальности не в последнюю очередь благодаря процессам обучения, т.е. тому, что многие люди научились лучше понимать, переносить и даже использовать себе на пользу внутреннее беспокойство. При этом Лампрехт значительно приукрашивает свою собственную манеру работы — необыкновенно суетливую, раздробленную на множество интересов и дел, далеко не настолько продуктивную в научном смысле, как ему хотелось думать. Удивительно, с каким признанием встретили его труд неврологи: не только молодой Гельпах, который обладал теми же достоинствами и слабостями и защищал Лампрехта от Макса Вебера, но и Макс Лэр. Хотя Лэр, как руководитель народного неврологического санатория, не стремился ассоциировать нервозность с высшими слоями общества, как это делал Лампрехт со своим «возбудимым идеализмом», тем не менее он отозвался о работе историка в высшей степени положительно, сказав, что тот «великолепнейшим образом опередил в своей работе» неврологов-практиков. Статью о «нервозности сегодняшних рабочих» Лэр, выступая против теории дегенерации, закончил призывом: если врач под действием «множества голосов о безнадежном процессе вырождения нашего народа [...] впадет в парализующий пессимизм», то «он найдет для себя источник мужества и силы у историка», который «с высоты птичьего полета» показывает, что «культура в процессе ее закономерного становления» все еще несет в себе зародыш «новой здоровой жизни» (см. примеч. 9).

Эмиль Дюркгейм полагал, что неврастеник — «первейший пионер прогресса», «вечно бурлящий источник новых идеей», поскольку он противится «ярму привычки». Если в науке все же была востребована добродетель терпения, то в мире литературы и искусства нервозность как одаренность развернулась в полной мере. Эдмон де Гонкур писал в письме Золя: «Задумайтесь, что наш труд — и в этом, возможно, его оригинальность, дорого оплаченная оригинальность — покоится на нервной болезни».

«Истое благословение наша нервозность, на которую сетуют дураки», — писал в 1894 году в возрасте 31 года Рихард Демель, скандальный в свое время поэт, а также друг хирурга Карла Шлейха. «Настоящее инстинктивное подспорье природы, чтобы наконец-то вернуть свежий пульс нашей выпаренной культурной крови». В «Человеке без свойств» Роберта Музиля поэт и мультимиллионер Арнгейм, образ которого навеян Вальтером Ратенау, «возможно, под действием слабых симптомов разложения, вызванных у него любовью», впадает в «мечтательно[е] состояни[е]», в котором представляет себе повышенный оборот не только товаров, но и мыслей и впечатлений — «и он невольно насладился волнующим зрелищем огромного производства впечатлений, [...] этакого нервного желе, дрожащего при любой тряске всеми своими частями»[1] (см. примеч. 10).

Действительно, для позитивной переоценки нервозности были свои причины. Но в литературной богеме того времени культ нервов обыкновенно попадал в сферу декаданса с его снобистским эгоцентризмом, так что он разделил его судьбу. Даже в литературных кругах высокая репутация нервозности не сохранилась надолго. Как раз здесь, где нервная возбудимость более всего претендовала на статус одаренности, она часто вызывала самые раздраженные протесты. В 1891 году Герман Бар, по собственному признанию 1887 года, «человек без всякой опоры, измученный и разрываемый тысячью перепутанных идей», в своем манифесте «Преодоление натурализма» возвестил приход «нового человека», состоящего только из нервов, и «нового идеализма», содержанием которого будут только «нервы, нервы и нервы». Под «нервами» он понимает предсознание, смутно-чувственное, «бормочущее из-под разума». Но все эти рассуждения несли в себе нечто натужно забавное и вызывали насмешки. В 1892 году вышел бестселлер Макса Нордау «Вырождение», в котором он трактовал искусство *fine-de-siècle* как патологическое. «К модерну относятся старая мебель и новая нервозность», — издевался Гуго фон Гофмансталь, назвавший Артура Шницлера «нервным Кашперлем»[2]; а также, замечает он, «в моде Поль Бурже и Будда». Бурже, автор психологических романов, вдохновлял Бара, но сам вскоре отошел от культа нервов, предавшись жесткому правому радикализму. В журнале «Gesellschaft»[3], занимавшем сторону натуралистов,

[1] Пер. с нем. С. Апта.

[2] Касперль (Кашперль) — комический персонаж немецкоязычного фольклора и театра марионеток с наивным характером и поведением.

[3] Общество (*нем.*).

в 1894 году вышла пропитанная антисемитизмом статья против «нервных поэтов», «этих ганглиев-корибантов». Их упрекали в «эффеминации, склонности к женскому началу и изнеженности» и вполне в духе зарождающегося учения о воспитании воли объявляли, что «сладкая игра нервов» парализует «силу воли». Встревоженные неврологи уровня Оппенгейма и Бинсвангера возвысили свои голоса, чтобы предостеречь против искусства, нацеленного исключительно на возбуждение нервов. Но и 18-летний Герман Гессе в 1895 году жаловался, что теперь «даже талант и гений» приходят в этот мир с «больным, вздрагивающим нервом», который «уничтожает самого себя, прежде всего в поэзии». Гессе, сам страдавший от нервозности, не видел в культе возбуждения нервов никаких перспектив. Престарелому Теодору Фонтане, который тоже немало настрадался от нервов, претило понимание нервозности как источника поэтического вдохновения. Если когда-то, в 1857 году, в своей «судорожной» манере он видел не нервную болезнь, а выражение душевного здоровья, то в 1894 году он упрекал одного учителя и писателя, стиль которого счел слишком язвительным и резким, в том, что природа его искусства, да и его самого — «страдание и нервозность». Фризский художник Момме Ниссен в 1905 году писал в «Kunstwart»[4], что «самый большой промах псевдомодернистов» состоит в том, что они «хотят поставить нервозность на место души» (см. примеч. 11).

После 1900 года в эстетическом восприятии свершилась глубокая революция, которая с переходом музыки и искусства к модерну XX века прервала тысячелетние традиции прекрасного. Для историка этот перелом до сих пор представляет собой загадку. Если исходить из того, что эстетика служит зеркалом общества своей эпохи, то следовало бы ожидать и революцию в обществе. Но ничего подобного: общество до 1914 года, по крайней мере внешне, как раз оставалось на удивление стабильным, и даже предвестники модерна в искусстве и музыке далеко не всегда были сторонниками социальной революции. История нервов, напротив, позволяет сделать шаг к решению загадки: в ней тогда господствовало ярко выраженное осознание кризиса, и тенденции в искусстве и литературе можно понять не в последнюю очередь как реакцию на кризисные явления.

Еще до этого перелома Рихард Вагнер довел напряжение в музыке до высшего драматизма, более грандиозного, чем во всем искусстве рубежа веков. Магия его музыки возникала благодаря контрасту между звенящей вибрацией и невозмутимым покоем. Вагнер так тонко сыг-

[4] Художественное обозрение (*нем.*).

рал на возбудимости своих нервов, как до него в искусстве не удавалось никому. Здесь он был первооткрывателем. В 1854 году он писал, что считает свои нервы «полностью разрушенными»: «однако удивительным образом эти нервы служат мне [...] драгоценнейшую службу». Но возбудимость была для него и источником страданий. Презирая «пошлый покой», он тем не менее мечтал о том «подлинном благородном покое», который есть не что иное, как «наслаждение удовлетворением подлинных и благородных страстей». Это был невротик, который музыкальными средствами инсценировал и возбуждение нервов, и полное преодоление этого возбуждения. Покой его питался предвкушением высшего возбуждения. «Неуютную, покалывающую тревогу» Вагнер находил в евреях и их музыкальных произведениях, однако другие люди обнаруживали то же самое у него. Макс Нордау, будущий сионист, и вовсе считал, что Вагнер «отягощен такой чудовищной дегенерацией, что превосходит в этом всех вместе взятых вырожденцев, с какими мы уже успели познакомиться». «Издевательство над нервами» и «истязание нервов» были стандартными упреками в адрес Вагнера. «Wagner est une névrose»[5], — писал Ницше, у которого был собственный опыт общения с этой нервозностью. По его мнению, Вагнер в своей музыке «угадал [...] средство возбуждать больные нервы, — тем самым он сделал музыку больною»[6]. Ницше, которого в отличие от множества невротиков нервы действительно погубили, не признавал культа нервов. «Наша нервная эпоха, — писал он, — ошибочно предполагает у великих людей вечную возбужденность». Для него самого нервы были источником разрушения собственного *Я*: «Нервная система и мозг — это система управления и аппарат централизации бесчисленных индивидуальных и различных по своему рангу движений духа»[7] (см. примеч. 12).

Расцвет и упадок историзма в искусстве и архитектуре так же не чужды истории нервов, как и изменения в истории музыки. Историзм нес с собой избыток спокойной уверенности и вечно новое продвижение к давно знакомому. Но чем пышнее он расцветал, тем очевиднее становились его психологические угрозы. Покой, который он сулил поначалу, за счет постоянного наложения друг на друга старых стилей оборачивался волнением; гостиные с их переизбытком орнамента приобрели удушающую атмосферу. И здесь мы снова встречаемся с Ницше как самым ав-

[5] «Вагнер — это невроз» (*фр.*).

[6] Цит. по: *Ницше Ф.* Случай «Вагнер» / пер. с нем. Н. Полилова // Ницше Ф. Полн. собр. соч.: в 13 т. Т. 5. М., 2012. С. 396.

[7] Цит. по: *Ницше Ф.* Черновики и наброски 1884–1885 гг. / пер. с нем. В.Д. Седельника // Ницше Ф. Полн. собр. соч.: в 13 т. Т. 11. М., 2012. С. 150.

торитетным свидетелем, именно он особенно рано и тонко ощутил эту тревогу. В труде «О пользе и вреде истории для жизни» (1873) он говорит, «что мы все страдаем изнурительной исторической лихорадкой», мешающей нам жить, а переизбыток сокровищ прошлого тормозит творческую силу. По его мысли, «историческ[ий] виртуоз[] современности [...] сделался пассивным эхом, которое своими отзвуками, в свою очередь, действует на другие подобные пассивные отголоски, пока наконец вся атмосфера данной эпохи не переполнится такими переплетающимися нежными и родственными отзвуками»[8]. Иными словами, окружающий мир превращает нервозность в хроническое состояние. «Гигиеническая листовка» 1911 года с терапевтическими рекомендациями для нервнобольных не советовала «перегружать квартиры», считая это «нервным вкусом». Позже юрист Густав Радбрух полагал, что «возбудимость» депутатов рейхстага в существенной степени исходит от «неестественности» самого здания, перегруженного историческими деталями (см. примеч. 13).

Молодому Вальтеру Гропиусу[9] во время путешествия в Италию — традиционного средства инициации любого поклонника искусства, — стало душно от переизбытка возбудителей. Огромный город вызвал у него ассоциации со «спешкой», и свою архитектуру будущего он представлял «на новооткрытой земле». С точки зрения новаторов архитектуры и градостроительства, крупные города стали оптическим хаосом, и велением времени снова стала скупость. Исторический ужас перед пустотой сменился любовью к пустоте. В то же время признаками модерна стали недоверие к сентиментальным эмоциям и предпочтение сдержанности — как в танцевальной музыке, так и в изобразительном искусстве. Поворот в эстетике совпал с эволюционными изменениями урбанистического менталитета: как отмечал один врач в 1912 году, в крупных городах на «смену более наивным и тонким чувствам» пришло «хладнокровие любой ценой». Нервный модерн уступил место новому — холодному модерну. Гарден, боровшийся за жесткость в политике, видел в своей жертве, Филиппе Эйленбурге, воплощенной мягкости Вильгельмовской эпохи, атрибуты популярного историзма: «Реставрированные замки, украшенные статуями аллеи [...] блистательные церемонии», «засушенные букеты, псевдоренессанс» (см. примеч. 14). Если Томас Нипперди считает успех авангарда в последнее десятилетие перед Первой мировой войной доказательством того, что немецкая буржуазия

[8] Цит. по: *Ницше Ф.* О пользе и вреде истории для жизни / пер. с нем. Я. Бермана, Е. Герцык // Ницше Ф. Полн. собр. соч.: в 13 т. Т. 1/2. М., 2014. С. 86, 127.

[9] Гропиус Вальтер (1883–1969) — немецкий архитектор, в 1919 году основавший в Веймаре Школу Баухаус (Bauhaus).

нашла путь к модерну, он явно увлекается, толкуя такую эволюцию как хэппи-энд. Не факт, что подобная модернизация сочеталась с гуманистическим прогрессом.

ОТ ЛЕЧЕБНИЦ К ПРИДВОРНОМУ ОБЩЕСТВУ: НЕРВОЗНОСТЬ И КРИЗИСНОЕ СОЗНАНИЕ ЭПОХИ ВИЛЬГЕЛЬМА II

Связь между психосоматическими расстройствами, технической эволюцией и имперской политикой Германии обретает ясность по мере изучения источников по медицинской, технической и политической истории в контексте истории нервов. Однако эту связь нельзя описать как цепочку причин и следствий. То, что нервозность — это прямое следствие технических инноваций, во многих случаях недоказуемо, еще меньше свидетельств существует о том, чтобы нервные расстройства вызывались непосредственно политическими условиями кайзеровской Германии. Когда в протестные времена 1968 года Вольф Лепенис выдвинул теорию о том, что «меланхолия» немецкого бюргерства была отражением его «заторможенности» в политике (см. примеч. 15), то переоценил прямую взаимосвязь между политическими условиями и психическими расстройствами. В клинических историях неврастеников до 1914 года политическая тема встречается крайне редко: «большая политика» и повседневные заботы были для большинства людей еще очень далеки друг от друга.

Единственный пример из 1903 года дает нам ассистент ревизора, впадавший по ночам в тревожные волнения по поводу анархизма: «Мне вспомнилось слово “анархизм”, и я сразу же почувствовал, как меня охватывает тревога, что мне это могло бы понравиться!!! Но я сразу же представил себе гнусную сущность [...]; я подумал о тех в высшей степени ошибочных средствах, которыми никогда не исправить существующую систему. Все учение анархистов — сплошное сумасбродство!» Нарушали его покой и другие назойливые мысли: «При взгляде на ночной горшок я думаю, что его можно поднести ко рту — фу! Если я встречаю мужчин, мне хочется схватить их за гениталии! Просто чепуха!» (см. примеч. 16). Как видно, его беспокоит не ужас анархизма, но то, как сильно на него самого действуют различные соблазны, так что он в душе считает необходимым все время бить себя по рукам. Если политика и появляется в историях болезней, то обычно в совершенно беспорядочном виде. Если больной много говорит о Бисмарке или о кайзере, это чаще всего нехороший признак — видимо, здесь речь идет о чем-то похуже неврастении.

Но если нельзя считать неврастению прямым следствием политических условий, то, возможно, работает обратное отношение: политические условия воспринимаются как кризисные вследствие того, что неврастения — как опыт или как представление — повсеместно витала в воздухе и влияла на интерпретацию политики. Крафт-Эбинг возлагал на неврастению главную вину за то, что «социальный организм кажется нам больным» (см. примеч. 17). От Норберта Элиаса и Пьера Бурдье нам сегодня хорошо известно, что общественные отношения оставляют в людях физический след, вызывая психосоматические реакции. Логично предположить и обратное: что состояние общества воспринимается и интерпретируется в зависимости от собственного физического и психического самочувствия. «Нервозная эпоха» служит тому классическим подтверждением. Томас Манн, который в «Рассуждениях аполитичного» описывает кайзеровскую Германию как нацию, истощенную мучительным напряжением, а Запад, напротив, как впавший в разврат полусвет, после падения империи признавал, что «Рассуждения», несомненно, были выражением его сексуальной «интровертированности» (см. примеч. 18). Проникновение неврастенических ассоциаций в политический дискурс дает понять, сколь распространенным было тогда восприятие политики через собственное тело.

Но нужна ли неврастения, чтобы объяснить всеобщее недовольство? С точки зрения ведущих немецких историков — от Ханса-Ульриха Велера до Вольфганга Й. Моммзена, — нарастающее в кайзеровской Германии кризисное настроение имело вполне рациональные основания: после ухода Бисмарка империя скатилась в затяжной латентный кризис. Полуабсолютистская структура Бисмарковской империи стала анахронизмом, и после отставки Бисмарка политическая система потеряла способность реагировать на новые проблемы; феодально-аристократический центр власти резко противоречил бурным индустриальным процессам; неудержимый рост рабочего движения постепенно загонял в тупик власть, уже неспособную разумно ответить на новые вызовы времени.

Но это лишь один из способов прочтения истории. Вместе с тем можно понять Бетмана Хольвега, которому общее «давление», отягощавшее политическую жизнь Германии и ощущавшееся им самим, в ретроспективе казалось «почти необъяснимым»: «Дела шли блестяще, коммуны соревновались в коммунальных и благотворительных мероприятиях, работы было для всех достаточно, и на фоне быстро растущего всеобщего благосостояния заметно рос и уровень жизни нижних слоев». Все это было в большей или меньшей степени правдой. С 1890-х годов начался экономический подъем, нарушавшийся лишь временными провалами.

Благосостояние Германии выросло как никогда прежде. Внутреннее единство также находилось на подъеме. Если во времена культуркампфа День Седан[10] звучал для множества католиков как День «Сатан», то с 1890-х годов национализм захватил и католический мир. Если в 1890 году еще думали, что Германская империя может снова распасться на отдельные государства, то вскоре такие тревоги исчезли. В кругах социал-демократов после того, как утратил силу «Исключительный закон против социалистов», стали происходить заметные реформы; их участники быстро заметили, что революционный пафос уже не воспринимается серьезно. Административная система Германии функционировала лучше, чем в большинстве других государств. Даже престарелый Фонтане, часто впадавший в отчаяние по поводу того, что творится в Германии, за несколько дней до своей смерти писал: «Но все-таки, вопреки всем недостаткам и шероховатостям, в целом у нас лучше, чем где бы то ни было, не исключая даже мою любимую и благословенную Англию». Английские историки, ведущие специалисты по вильгельмовской Германии, такие как Джофф Эли и Джон Рёль, при всей своей антипатии к вильгельминизму не соглашались с тезисом о хроническом кризисе. Кризисное сознание немцев, совершенно реальное и широко распространенное, объяснялось не объективным кризисом, а «нервозным» восприятием реальности. Тем историкам, которые впервые дали социально-экономическую интерпретацию кайзеровской Германии — будь то Экарт Кер, Георг В.Ф. Халльгартер или Ханс Розенберг, — этот факт был вполне известен; но они не стали развивать это направление (см. примеч. 19).

Представление о начавшемся в 1890 году затяжном кризисе Германии изначально сформировали бисмаркианцы, для которых отставка основателя империи была первородным грехом Вильгельма II. Для таких фанатичных пангерманцев, как Генрих Клас вся политика Германии с 1890 года была сплошным «бедствием» (см. примеч. 20). Некая ирония просматривается в том, что осознание кризиса, изначально наиболее острое в кругах «национальной оппозиции», позже перехватили левые критики «единоличного правления». А получилось так лишь потому, что позже кризисные настроения утратили явный бисмаркианский или пангерманский привкус, сделались смутными и невнятными. Тем более они нуждаются в объяснениях.

В спорах о виновниках Первой мировой войны Фриц Фишер и его ученики руководствовались в основном предположением, что если

[10] День Седан — день празднования победоносной битвы 1–2 сентября 1870 года во время Франко-прусской войны, отмечался в кайзеровской Германии с 1871 по 1918 год.

историк обнаруживает в документах экономический мотив или заинтересованный хозяйствующий субъект, то он делает шаг к пониманию сути вещей. Но оглядываясь назад, начинаешь сомневаться в том, что склонность школы Фишера к экономической интерпретации сослужила добрую службу его теории о том, что Германия умышленно развязала войну. Ведь смертельная авантюра большой войны менее всего объяснима экономическими мотивами. Общественные амбиции также не служат рациональным объяснением трагического «прыжка в неизвестность» августа 1914 года, потому что чудовищная война, вынуждающая к мобилизации последних резервов, почти неизбежно ведет к глубочайшим потрясениям (см. примеч. 21). Экономическая или социально-историческая интерпретация предыстории 1914 года всегда предполагает, что участвующие стороны невротически интерпретировали свои интересы. Так что и здесь приходится искать ключ среди патологических механизмов.

КИНЕТИКА КАЙЗЕРА И СТРУКТУРНАЯ НЕРВОЗНОСТЬ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ ВИЛЬГЕЛЬМА II

Среди всех немцев, считавших себя кайзерами, Вильгельм II был единственным, кто мог себе это позволить, не будучи обвинен в мании величия. Его Великие идеи до некоторой степени совпадали с реальностью, и определить ту грань, за которой начиналась мания величия, у него было сложнее, чем у обычного смертного. Однако уже довольно скоро после вступления Вильгельма II на престол пошли слухи о том, что он психически ненормален. С момента разрыва между молодым кайзером и Бисмарком старый канцлер стал главным источником сомнительных слухов о психическом состоянии Вильгельма. Сторонники Бисмарка невольно вспоминали Фридриха Вильгельма IV, «романтика на троне», закончившего свои дни психически больным, и критиковали Вильгельма II за непредсказуемость, спонтанность и склонность к политическим фантазиям. И даже генерал-фельдмаршал Вальдерзее, который подстрекнул Вильгельма II к отставке Бисмарка и нередко служил ему наставником в политике, был ненамного лучшего мнения о своем кайзере.

Тревожные намеки на характер кайзера множились, пока не переросли в излюбленную тему разговоров, где сходились воедино самые различные знатоки кайзера. В 1894 году вышло эссе Людвига Квидде[11] «Калигула», выдержавшее впоследствии 34 издания и ставшее «самым

[11] Квидде Людвиг — философ, историк и убежденный пацифист. В 1919 году вместе с Фердинандом Бюиссоном получил Нобелевскую премию «За подготовку общественного мнения Франции и Германии к мирному сотрудничеству».

успешным в кайзеровской Германии политическим памфлетом» (Велер). В образе полусумасшедшего римского императора любой читатель сразу же распознавал сатиру на кайзера Вильгельма II. Квидде совершенно серьезно верил в сходство между «имперским безумием»[12] римлянина и Гогенцоллерна. Вдохновляло его и новое учение о неврастении, в котором тогда еще допускалось, что нервозность — лишь первый шаг на пути к безумию. По Квидде, «характерной чертой» любых предприятий Калигулы была «нервозная торопливость, непрестанные переходы от одной задачи к другой». Ссылаясь на Кассия Диона, Квидде писал о «суетности и беспокойстве» Калигулы, «противоречивости и непредсказуемости его внезапных идей», «нервозных чертах». Вкупе с явной склонностью обоих императоров к бахвальству все это послужило для Квидде основанием считать сходство между Калигулой и Вильгельмом II «воистину загадочным», и невероятный успех его сочинения показывает, насколько востребованным было такое восприятие кайзера (см. примеч. 22). Если психология стала тогда считаться одним из главных ключей к реальности, то немалую лепту внес в это Вильгельм II. Посвященные ему тексты изобилуют психологическими намеками и ассоциациями. Иногда «нервозным» его называли те, кто прикрывал этим эвфемизмом «манию величия» или *pseudologia phantastica*[13]. Диагноз «нервозность», в котором можно было слышать и нотки симпатии, и куда менее приятные нотки, устраивал как друзей, так и критиков кайзера. Его сопровождали такие иронические эпитеты, как «Вильгельм Непостоянный», «Вильгельм Внезапный», «Вильгельм Торопливый». Бюлов в своих мемуарах не раз упоминает «неврастению» Вильгельма II как общеизвестный факт. Филипп Эйленбург, долгое время имевший самые доверительные отношения с кайзером, с самого начала считал его «нервы» лейтмотивом всего и вся. Умоляя Вильгельма II поберечь нервы, он жаловался на собственный горький опыт и ощущал внутреннее родство с горячо любимым кайзером:

> «Ваше Величество вряд ли могут составить себе представление о том ужасающем состоянии нервного кризиса, в котором я нахожусь вследствие переутомления и тревог. Последним толчком к нему послужила роза, которая столь не ко времени расцвела в величественных фиордах. Я молю Ваше Величество подумать об этом и не подвергать себя переутомлению и беспокойству. Мои нервы были в таком же состоянии, как у Вашего Величества, но если я как простое частное лицо могу восстановить силы благодаря пожалованному мне отпуску, то

[12] *Cäsarenwahn* (нем.) — «кесарское (императорское) помешательство», «кесарский бред».

[13] Патологическая ложь (*лат.*).

> Ваше Величество никогда не сможет устроить себе столь интенсивного отдыха. Поэтому единственно правильными были бы профилактические меры — то есть темп жизни Вашего Величества должен быть как можно более сдержанным».

За «нервозностью» Эйленбурга отчасти скрывалась та неуверенность, которую влек за собой его скрытый гомосексуализм. Может, именно поэтому его так потрясла роза, расцветшая вопреки всем законам природы. Его беспокоило, что возбудимость кайзера постоянно росла. В северной поездке 1903 года он переживал из-за того, что «возбудимость и раздражительность по пустякам», давно уже заметные у Вильгельма, «перешли в хроническое состояние». Он усматривает связь между раздраженностью кайзера и общей политической ситуацией, которая привела к «отвратительному настроению во всех германских кругах». Вместе с тем он в собственных интересах поддерживал сентиментальную струну кайзеровской нервозности. В своем «политическом завещании» 1913 года он упоминал, что момент, когда у Вильгельма II отказывают нервы, всегда благоприятен: «Он становится легко доступен для любых предложений и соглашений, у него размягченное настроение — как у нормального фюрста» (см. примеч. 23).

Но к квиетистскому учению о нервах Вильгельм II был не так восприимчив, как к более поздним активистским трендам терапевтической философии, тем более что природа наделила его крепкими чертами; в северном путешествии он к ужасу Эйленбурга ввел утреннюю зарядку. Как позже писал о кайзере Бюлов: «Он хотел, чтобы все время что-то происходило, хотел все новых и новых впечатлений, новых картин», «этот впечатлительный, непостоянный и подвижный как ртуть человек». Чувствительный к шуму Теодор Лессинг говорил о своем «удивленном восхищении» «нервным аппаратом» кайзера, который был в состоянии вечером вытерпеть «Кто тебя, тенистый лес...»[14] из 1200 мощных мужских глоток, а следующим утром проснуться под бравурный марш «всех капелл гарнизона» (см. примеч. 24).

Окружение Вильгельма II довольно рано забеспокоилось, что в кризисных ситуациях его проблемы с нервами могут стать опасны. Эйленбург в сентябре 1900 года опасался, что императрица заразит своего супруга дурной «нервной организацией», и писал Бюлову: политическое положение «так ужасающе тяжело, что требует от кайзера высшей степени хладнокровия и спокойствия». «Если он лишится покоя в соб-

[14] «Кто тебя, тенистый лес...» (*Wer hat dich Du schöner Wald*) — знаменитая песня для мужского хора на стихи поэта-романтика Йозефа фон Эйхендорфа и музыку Феликса Мендельсона-Бартольди.

ственном доме из-за бессонных ночей и всяческих сцен, то нервозность его скажется не только на нем самом, но и на всем государстве». Эйленбург, консервативный романтик, увязывал «нервозность» кайзера с конкретной политической тревогой: он опасался, что Вильгельм II открыто выступит против аграриев, чье недовольство решениями по «отвратительному флоту» приводило его в ярость (см. примеч. 25).

«Нервозность» Вильгельма II вызывала и совсем иные опасения. Уже около 1895 года министр внутренних дел Пруссии фон Кёллер тревожился: «Упаси нас Господи от войны, пока на троне Вильгельм II. Ведь у него откажут нервы, он труслив». Такое оскорбительное толкование нервозности было опасным. Как только его начал разделять сам кайзер, стало ясно, что только через войну он на деле сумеет доказать здоровье своих нервов и защитить свою честь. Это была совсем другая философия нервов, нежели у Эйленбурга, и теперь она была на подъеме. Слово «нервы» приобрело пагубный смысл: оно стало означать способность демонстрировать силу через войну или через убедительную политическую игру военной угрозы. В марте 1909 года дворцовый управляющий Цедлиц-Трютцшлер узнал от генерала фон Линкера, что тот считает данный момент удобным для войны против Франции и России. Когда он возразил, «что нервы кайзера слабы», генерал согласился и заметил, что генерал-начальник штаба Мольтке «опасается не французов и русских, но, пожалуй, самого кайзера» (см. примеч. 26). В глазах всех тех, кто настаивал на курсе жесткой экспансии, нервы Вильгельма II стали ахиллесовой пятой Германии, поскольку они мешали срочно объявить войну в удобной ситуации или хотя бы эффективно разыграть угрозу объявления войны.

Поскольку Вильгельм II стремился всегда быть в центре внимания, за ним и его поведением наблюдали более пристально, чем за предыдущими монархами, а чувствуя «нервность эпохи» очень остро реагировали на все, что подпитывало это ощущение. Таким образом, хотя сам кайзер далеко не всегда считался эталоном, стиль его поведения стал распространяться, заражая окружающих. Когда в начале 1894 года Гольштейн писал фюрсту Эйленбургу, что Его Величество вызывает у него ассоциации с человеком, «который слишком быстро едет с горы, так что потом ему трудно остановить повозку», Эйленбург в ответ только вздохнул: «Бедный кайзер действует на нервы всему миру, однако это, увы, нельзя изменить» (см. примеч. 27).

Имеет ли смысл видеть в кайзере настоящего неврастеника — или же главное, что таким хотели видеть его самые разные современники по самым разным соображениям? Вильгельм II был на редкость самоуверенным человеком, и в этом смысле он кажется антиподом «нормального»

неврастеника. Вплоть до изгнания в нем с удивительным упорством сохранялось убеждение в собственном божественном призвании. В своих мыслях он проявлял порой удивительное упрямство и примитивность и был далеко не так чувствителен и многогранен, как хотели думать его почитатели, проецировавшие в него собственные желания. В 1897 году он сказал Эйленбургу, что его воспитатель Хинцпетер хотел сделать из него «железного» человека, «каким он вообще-то уже был». «Бывает, я абсолютно ничего не чувствую там, где другие страдают». Гольштейн в 1889 году писал о молодом кайзере, что он обладает «очень полезным для суверена свойством бессердечности». Герберт фон Бисмарк в 1887 году непочтительно заметил, что принц «холоден, как собачий нос». Несмотря на постоянную тревожность, у Вильгельма II ни разу в жизни не было тяжелого нервного срыва — такого, который мог бы надолго лишить его дееспособности. Его коллапс после аферы «Daily Telegraph»[15] имел вполне рациональные причины и не носил невротического характера. Неврастеником в клиническом смысле Вильгельм II явно не был.

Но его самоуверенность была внутренне нестабильной. Одним из источников диссонансов служила убежденность Вильгельма в божественной природе своей власти. Как пишет Рёль, предпринятая Вильгельмом II попытка «наделить харизмой» не опиравшееся на традицию кайзерство Гогенцоллернов несла в себе нечто безнадежное. И сам кайзер вскоре осознал, что между его императорскими притязаниями и фактическими действиями разверзается глубокая пропасть и что он, несмотря на все свои громкие слова, постоянно и во всем вынужден считаться с законом, рейхстагом и общественным мнением. С течением времени он все сильнее разрывался между ощущением абсолютной власти и чувством полного бессилия. Его упрямые представления об императорском достоинстве не служили ему поддержкой, скорее наоборот, невозможность воплотить их в жизнь постоянно порождала новое раздражение (см. примеч. 28).

Чувство неполноценности было заложено у Вильгельма с детства из-за его сухорукости и усилено множеством мучительных процедур, с помощью которых врачи тщетно пытались нормализовать функции левой руки. На долю будущего кайзера выпала судьба ребенка, мать которого воспринимала его как физически неполноценного и была разочарована тем, что медицина не смогла исправить его изъян. Виктория опасалась, что он будет «трусом» и «никогда не станет мужественным и самостоя-

[15] Афера «Daily Telegraph» — публичный скандал в кайзеровской Германии, когда 28 октября 1908 года британское издание опубликовало разговор кайзера с британским генералом Эдвардом Монтегю-Стюарт-Вортли.

тельным, как другие мальчики». Однако Вильгельм, без сомнения, был энергичен и со временем научился компенсировать свой недостаток подвижностью. Видимо, этот успех вскружил ему голову. Его замечательное обаяние, распространявшееся на множество современников, в первую очередь людей чувствительных и лабильных, отчасти объясняется тем, что хотя он и выказывал явные признаки неврастеника, он вместе с тем выразительно демонстрировал, как слабость можно превратить в силу и собственную неврастению преподнести миру как триумф. Если немалое число современников видели в Вильгельме II что-то трогательное, то причиной тому были не его сильные стороны, а его слабости — именно слабости делали его подлинным представителем «нервного века». Тем более завораживало его умение придать стиль и лоск всему, что у обычного смертного воспринималось бы лишь как нервная тревожность. Его спасал оптимизм и кинетическая энергия. Но в последние предвоенные годы это удавалось ему все меньше, что перечеркнуло благие намерения сделать из неврастении божий дар.

Хотя Вильгельм II любил окружать себя льстецами, от него не укрылось, что его считали нервным, и порой он даже злоупотреблял такой репутацией. В 1905 году он ответил Бюлову, грозившему своей отставкой, что в этом случае с ним случится «тяжелая нервная болезнь»; в 1914 году после объявления войны он 24 часа провел в постели: по его словам, это была *a little nerves rest cure*[16]. Жена считала его невротичным, а он ее — еще более невротичной. Конечно, никто не смел сказать кайзеру в лицо, что в его нервозности видят признак трусости и неполноценности. Тем не менее Вильгельму давали почувствовать, что ему нужно опасаться такой репутации. Эйленбург в 1899 году на «одинокой прогулке» предупреждал кайзера, что если его неосторожность приведет к опасной политической ситуации, «то в некоторых обстоятельствах в империи может быть предпринята акция [...], целью которой будет отставка кайзера или признание его недееспособным» (см. примеч. 29). Вспоминал ли об этом Вильгельм во время скандала с Эйленбургом или аферы «Daily Telegraph»? Он испытал отрезвляющий шок и понял, что на кону его честь. Но поскольку он обладал большей энергией и уверенностью в себе, чем подлинный неврастеник, то лишь сильнее ощутил необходимость ответить на вызов и любой ценой доказать крепость своих нервов.

Как раз потому, что по своим личным качествам Вильгельм II лишь очень условно мог считаться «невротиком», растет подозрение, что его

[16] Маленькая передышка для нервов (*англ.*), буквально «маленький курс лечения нервов покоем».

«нервный» образ был продуктом современного ему немецкого общества. Пожалуй, прав был историк Хальгартен, заметивший, что, хотя Вильгельм II «вовсе не был столь психически ненормальным», как полагали многие его критики, «но его неврастения становилась тем сильнее», «чем больше в ней нуждались для собственного выживания известные политические группы». Генерал-фельдмаршал Альфред фон Вальдерзее еще в 1889 году писал, что все действия нового кайзера определяло его желание быть популярным, однако популярность эта основывалась на том, что «каждая партия хотела иметь его на своей стороне» (см. примеч. 30). Консерваторы и либералы, аграрии и промышленники, социалисты и империалисты, англофилы и англофобы — все хотели видеть молодого кайзера на своей стороне, а он, в свою очередь, стремился к признанию их всех. В итоге он бесконечно шарахался из стороны в сторону и в конце концов разочаровал всех. Беда в том, что в кайзеровской Германии не было института с полной политической ответственностью, который проводил бы успешный клиринг противоречивых интересов. Воплощением единства и цельности был сам кайзер, но он не опирался на выработанный поколениями национальный консенсус. «Нервозность» кайзера имела структурные причины.

«Вильгельмовская эра» носит свое имя не просто так. И критики, и поклонники кайзера сходились в том, что между Вильгельмом II и германским коллективным менталитетом его времени существовала самая тесная взаимосвязь. Александр фон Гогенлоэ, сын рейхсканцлера, считал, что «трудно ответить на вопрос, насколько кайзер влиял на свой народ, а народ — на него»; но так или иначе кайзер стал «карикатурой на собственный народ». Ратенау как разочарованный почитатель кайзера описывает панораму его времени: «Разгоряченная [...] жизнь большого города, основанная на технике и так называемых достижениях, жадная до хлеба и зрелищ, всяческих процессий и тех шумливых банальностей, которых берлинцы называли “гул да гам” (*Klimbim und Klamauk*), требовала репрезентации, которая объединила бы на одном полотне Рим, Византию, Версаль и Потсдам». Фридрих Науманн в 1905 году восхищался: «Вильгельм II — воистину первый виртуоз нового стиля общения. Он повсюду успевает за жизнью, телеграфически слушая и отвечая». Он — «воплощение всеобщих электрических тенденций, действующих во всех нас» (см. примеч. 31).

Как писал Лампрехт, кайзер был не тем человеком, «который оставит хоть одного немца равнодушным». Как бы к нему ни относились, но он «доминировал на политической сцене Европы 30 лет». С появлением кинематографа кайзер стал претендовать «на самого частого героя немецких новинок»; его демонстративная подвижность и энергичность

очень подходили для кинопоказа. Ведущие представители новых элит, которым, собственно, надлежало бы держать в конституционных рамках «единоличное правление» кайзера, проявляли слабость к его подвижности и безудержности, поскольку могли использовать эти качества против всевластия консервативных сил. Как писал в 1903 году еженедельник «Die Zukunft», бытовало мнение, что только «железная длань» кайзера «удерживает» аграриев; если его не будет, то «от промышленной державы, империалистической экспансии вскоре ничего не останется» (см. примеч. 32).

«Энергия, скорость, беспокойство в каждом движении — от быстрого короткого кивка до постановки ноги» — так в 1891 году описывает молодого кайзера Висконт Морли. В зависимости от того, как на него смотрели в данный момент, Вильгельм II представал либо воплощением неврастении, либо олицетворением кинетической энергии: внешне то и другое выглядело очень схоже. Он следовал базовому ощущению модерна: темп — это власть. Казалось, он уже открыл то, что в 1970-х годах заметил философ Иван Иллич, — «Развивший бóльшую скорость отнимает отрезок жизни у развившего скорость меньшую». Его девизом было «вперед на всех парах». Свой высокий темп он хотел продемонстрировать в первую очередь англичанам: когда в 1901 году он ехал на похороны королевы Виктории и его поезд вышел из Портсмута с опозданием, Вильгельм II дал машинисту приказ наверстать упущенное время, так что поезд помчался вперед, давая на отдельных отрезках скорость свыше 145 км/ч, пока чуть не сошел с рельсов. Макс Вебер уже в 1889 году говорил о новом кайзере: «Кажется, что сидишь в скоростном поезде, но при этом начинаешь сомневаться, правильно ли переведена следующая стрелка». Примерно так же воспринимал кайзера Гольштейн. Хотя одержимость высокими скоростями соответствовала самóй природе быстрого и энергичного кайзера, отчасти она объяснялась и тем, что высокая скорость в ту эпоху все сильнее завораживала все больше людей. Там, где это было жизненно важно, Вильгельм демонстрировал железное спокойствие. Подвижность кайзера резко противоречила тому величественному покою, который ассоциировался с традиционным обликом монарха. Стиль Вильгельма был явлением новым. И хотя он был личным изобретением кайзера, все же отражал коллективные желания. Лампрехт полагал, что немцам нравилась манера их кайзера вечно где-то разъезжать: повсюду хотели вживую увидеть его бравую активность (см. примеч. 33).

Не менее важна еще одна структурная причина того, что считалось «нервозностью» Вильгельма II, — диффузия целей немецкой внешней

политики, отражавшая многообразие и нескоординированность интересов. Можно возразить, что известная степень дивергенции и конкуренции во внешнеполитических планах — нормальное явление. Однако масштаб противоречий в политических планах вильгельмовской Германии был уникальным. На то имелись свои основания. Если состоявшиеся колониальные державы сначала приобрели свои империи, а уже затем сформировали у себя имперскую идеологию, то в Германии все было наоборот: империалистическая идеология уже была, но сама империя только зарождалась. Более того, не было единодушного представления о том, в каком направлении должна расширяться эта империя: то ли на юго-восток, в направлении Балкан и Багдада, то ли в Северную, Среднюю или Восточную Африку, то ли вовсе в Европу — Восточную или Западную. Было лишь одно основное убеждение, что территория империи в любом случае должна быть увеличена; однако при обдумывании конкретных экспансионных потребностей фантазия разыгрывалась во все стороны, и внешняя политика была открыта самым разнообразным ветрам. Даже «всемирный маршал» Вальдерзее, отправленный в 1900 году в Китай для подавления ихэтуаньского восстания, но внутренне давно настроенный на войну против Франции и России, постоянно использовал понятие «мировая политика», но и сам не знал, что оно должно обозначать.

Ганс Дельбрюк, преемник Трейчке по «Прусским ежегодникам» и один из идеологов вильгельмовской мировой политики, не связывал ее с определенными целями и признанными потребностями Германии, но презентовал ее как категорический императив. «Мы задохнемся от собственной полноты, если решим ограничиться сегодняшней территорией, в то время как Англия, Франция и Россия подчиняют себе половины континентов» — мировая политика в интересах здорового пищеварения и фитнеса. Маршал фон Бибершейн, проводивший в жизнь новую мировую политику в качестве госсекретаря по внешним вопросам (1890–1897), обосновывал ее «энергетическими» доводами: «переизбыток сил» Германии — это драгоценный капитал, который должен быть использован на пользу самой Германии, а не чужих стран; у мировой политики не может быть иного смысла. Впоследствии сходные аргументы использовал Бюлов. Чувство, что очень важно расходовать собственную энергию концентрированно, энергично и эффективно, и что распыление этой энергии, ее растрата по мелочам влечет за собой угрозу дегенерации, имеет внутреннее сродство с вечными тревогами неврастеника утратить энергию.

Однако до 1914 года для немцев было невероятно трудно сосредоточиться на конкретных и единых целях и внутренне идентифицировать

себя с ними. Здесь фатальнее, чем где бы то ни было, проявлялся дефицит механизма политических решений, способного преодолеть хотя бы самые грубые противоречия в определении внешних целей. Два раза казалось, что Германия из-за Марокко готова пуститься в большую войну; при этом даже Вильгельм II не был в состоянии пойти на все ради Марокко, хотя по указанию Бюлова совершил свою театрализованную высадку в Танжере 31 марта 1905 года, положив тем самым начало первому Марокканскому кризису. Если уже макрополитика Бюлова имела непрозрачные цели, то в 1911 году даже Бетман Хольвег не понимал, чего добивался в Марокко его министр иностранных дел Кидерлен, взявший к тому времени на себя все активные функции. Однажды он сказал своему ближайшему сотруднику Рицлеру, что «хотел бы вечерком как следует напоить Кидерлена, чтобы тот наконец сказал, чего он собственно хочет» (см. примеч. 34).

В труде «Немецкий империализм» (1912) Артур Дикс, публицист национал-либерального направления, объявил расширение территории насущнейшей необходимостью, чтобы предотвратить вырождение немцев: «У нас только один выбор — расти, или захиреть». Но и он не преминул подчеркнуть, «что предложить немецкому империализму ясные, позитивные цели достаточно трудно». Политик-центрист Мартин Шпан в том же году писал в газетной статье, вызвавшей бурный отклик у кайзера, что «немецкому народу сейчас более, чем другим объединенным в государства народам» не хватает «единых, вошедших в его плоть и кровь надежд и требований внешней политики» (см. примеч. 35). Сознание политического кризиса сложилось в кайзеровской Германии в первую очередь вследствие непреодоленного многообразия возможностей. Раздробленность внешней политики, ее расхождение по различным, противоречащим друг другу направлениям привели к тому, что ни одна из стратегий не реализовывалась последовательно и эффективно. Общим состоянием стало ощущение завышенных, но диффузных и размытых желаний, сопровождавшееся все более мучительным чувством отсутствия каких-либо практических достижений. Это имело такой же эффект, как состояние «возбудимой слабости» неврастеника, «желания-и-не-возможности».

Обвинения в постоянном метании, так называемом курсе «зигзага», стали стандартным мотивом критиков вильгельмовской внешней политики. Критики были самыми разными — пангерманцы, гарденовская «Die Zukunft» и даже члены внешнеполитического ведомства. Курс «зигзага» означал порывистость, недостаток решительности и воли: фактически это было обвинение в «возбудимой слабости». Зачастую как раз

те, от кого исходили такие упреки, сами вносили немалую лепту в размытость целей и общую атмосферу нервозного нетерпения (см. примеч. 36). Без такой атмосферы политика «зигзага» вполне могла бы считаться политикой попыток и открытых возможностей.

Нужны ли политике великие цели, на которых концентрируется вся и все? Рёль отвечает на вопрос о том, что должна была сделать Германия, чтобы избежать катастрофы 1914 года, поразительно просто: «Ничего». Это можно было понять и тогда. Многолетний посол Германии в Лондоне, граф фон Хатцфельд, любил повторять: «Если бы в Германии умели спокойно сидеть на месте, то совсем скоро настало бы время, когда бы жареные голуби сами летели к нам в рот». Даже нетерпеливый Гарден на свой лад подтвердил эту истину, когда в одной из своих гневных статей против недостаточно энергичной политики Берлина написал: «Пока мы заявляем о своем довольстве и удовлетворении и набожно складываем руки, никто не причинит нам вреда на востоке и на западе» (см. примеч. 37). Если внешнеполитическая нерешительность Германии препятствовала ей в приобретении колоний, то это вовсе не повредило империи; сегодня видно, что индустриальный расцвет Германии не затормозили даже чудовищные военные поражения и значительные территориальные потери.

Выжидательная политика «свободных рук», дававшая возможность не ввязываться в международные конфликты ни через союз с Англией, ни через союз с Россией, была бы разумной и миролюбивой — если бы была основана на терпении и непринужденности. Однако многим как раз этого и не хватало. Навязчивое представление, что время не терпит, распространялось все шире, и политика «свободных рук» все сильнее воспринималась как неврастеническая нерешительность. Империалистов преследовало чувство постоянно упускаемых возможностей. Германия никогда не использовала ситуацию — ни как Англия, изолированная вследствие бурской войны, ни как Франция, вошедшая в конфликт с Англией вследствие Фашодского кризиса, ни как Россия, ослабленная войной с Японией. Всех тех, кто воспринимал экспансию как жизненную необходимость, чем дальше, тем сильнее охватывало мучительное чувство, что Германия, какой она тогда была, не способна решительно взяться за дело.

«Германия — это Гамлет!» — сетовал когда-то поэт и певец Мартовской революции (1848–1849) Фердинанд Фрейлиграт, имея в виду, что немцы не способны подняться над своими мечтаниями и предпринять решительное действие во имя свободы. С тех пор отождествление Германии с Гамлетом стало для немцев навязчивой идеей сочувствия к себе.

На рубеже веков Гамлет обрел черты неврастеника, а Бетман Хольвег в одеждах рейхсканцлера казался великолепным претендентом на его роль (см. примеч. 38). На манифестациях, проводимых в Первую мировую войну, лозунг «Германия — не Гамлет, Германия — Гинденбург» срывал оглушительные аплодисменты. После поражения гамлетовская аллегория вновь стала популярной. Стоить заметить: нерешительность Гамлета заканчивается коротким замыканием, катастрофой саморазрушения.

У тех, кто верил в необходимость расширения германской державы, действительно были причины вздрагивать от тревоги. Вильгельм II, главный виновник постоянного промедления в политике, также очень рано оказался захвачен этим настроением. Уже в 1893 году у него «полностью сдали нервы», когда возникла внезапная угроза англо-французского конфликта из-за Сиама, а он оказался не в состоянии использовать эту возможность. Этот случай позволяет понять, насколько нетерпелив он был в подобных ситуациях. Политический невроз в смысле неудовлетворенных желаний на фоне постоянного предвкушения большей власти перешел в хроническое состояние. Не только «национальная оппозиция», но и сам кайзер, и Бюлов при случае критиковали непостоянство германской политики. Когда в 1897 году шла речь о приобретении территорий в Китае, оба сошлись на том, «что пришло время сделать более энергичной нашу шаткую и вялую политику в Восточной Азии» (см. примеч. 39). И вновь обнаруживается очередная параллель с нервным дискурсом: «энергия» против «вялости».

В ситуации все более мучительной нерешительности те немногие проекты, которые предлагали посылы к конкретным действиям, невольно обретали магическую притягательность, перечеркивавшую всякую внешнеполитическую разумность. Отсюда привлекательность Багдадской железной дороги — предприятия крайне ненадежного с чисто экономической точки зрения. Отсюда, в частности, и невозможность устоять перед величайшим проектом — снаряжением боевого флота. В Альфреде фон Тирпице, основателе флота, все видели воплощение силы воли — этого нового чудесного средства против неврастении. Говорили, что Тирпиц — «человек, который знает, чего хочет», и на этом фоне щекотливые вопросы о соотношении затрат и прибыли выглядели мелкими или, по выражению того времени, филистерскими. Обаяние этого человека, прежде всего, заключалось в том, что он ставил великие символические цели, создавал потребность в деятельности, более того — в высоком темпе. При таком сценарии Вильгельм II мог надеяться избавиться от клейма слабоволия и политики «зигзага». Даже для

Эйленбурга, который плохо себя чувствовал на море, политика флота доказывала силу нервов. Не вполне уверен был Гольштейн: первый великий план по созданию флота он воспринимал как продукт болезненного возбуждения. «Никогда еще ни одно искушение так не волновало нервы кайзера, как план строительства флота» (см. примеч. 40). Поскольку дело это было очень нервным, снаряжение флота создавало соответствующие проблемы. Его провоцирующее влияние на Англию, возможно, не было бы столь сильным, если бы дело шло тихо. Но шумиха по поводу флота была оглушительной — ведь сам смысл этой деятельности в том и состоял, чтобы продемонстрировать обществу энергию и целеустремленность. Будучи в принципе продуктом отсутствия политических целей, флот и сам воспроизводил такое отсутствие; ведь невнятное стремление к международному признанию требовалось флоту для того, чтобы получить видимость смысла.

Но может быть, бесцельность немецкой внешней политики лишь видимость или даже умышленная уловка? К такому мнению склонялся Фриц Фишер. Его теория о том, что немецкое правительство умышленно развязало Первую мировую войну, вызвала в обществе крупнейшую историческую дискуссию послевоенного времени. Исследуя предвоенное время, он искал, прежде всего, элемент намеренности: честолюбивые военные цели, которые Германия формулировала с сентября 1914 года, по его мнению, отражали интересы наиболее могущественных групп общества и в общих положениях существовали и прежде. Более ранние историки, авторы первых работ о социальных условиях предвоенной политики Германии, склонялись к совершенно другой интерпретации: Альфред Вагтс говорил о «невнятном, не имеющем конкретных объектов, струящемся во все стороны империализме образованной буржуазии [...] и бюрократии», гораздо более пагубном, чем экономический империализм промышленности и финансового мира. Тесно связанный с Вагтсом Хальгартен считал, что настоящим крестом вильгельмовского империализма была политика «как одно, так и другое», поскольку в итоге Германия настроила против себя все великие мировые державы. Нерешительность была опасной не сама по себе, но в сочетании с нетерпеливым и раздраженным стремлением к мировому господству; заслуга Фрица Фишера заключается в том, что он со всей убедительностью показал, что это стремление было главной причиной войны. Но когда Герхард Риттер возразил, что, «как известно, нет ничего труднее, чем точно сказать, что конкретно понимало довоенное образованное общество Германии под “мировой политикой” и “мировой державой”», то Иммануил Гайс, коллега и сторонник Фишера, не увидел в этом ника-

ких противоречий теории Фишера и в ответ подчеркнул, что немецкие «надежды на мировую державу» были «вдвойне взрывоопасны» именно вследствие своей невнятности (см. примеч. 41). Здесь действительно кроется главное. Не наличие германского империалистического плана до 1914 года, а нескоординированность и размытость целей были причиной разрыва между Германской империей и всеми другими великими державами. Первая мировая война развязывалась в атмосфере безответственности; не было ни одного места, ни одного поста в государстве, где бы в полном осознании ответственности вырабатывались решения для расстановки внятных внешнеполитических приоритетов. И произошло так, что Германия, уже развязав войну, нуждалась во многих целях, чтобы эту войну оправдать. Ведь не было ни одной территориальной цели, на которую были бы направлены устремления и желания немцев — сама по себе каждая отдельная цель была привлекательна лишь до определенной степени и ни в коем случае не годилась для того, чтобы оправдать чудовищные человеческие жертвы.

Если Фишер думал, что план мирового господства Германии существовал в последние годы перед войной, то Петер Винцен предполагал его наличие уже у Бюлова. Однако доказательства этому весьма скудные, хотя Бюлов был красноречивым политиком и не отличался сдержанностью (см. примеч. 42). Винцен считает, что уже одно стремление к снаряжению флота свидетельствует о большом плане по смещению английского мирового господства немецким. Но если немецкий флот когда-нибудь и дошел бы до серьезной стадии, то лишь через десятилетия — это понимали и Тирпиц, и Бюлов. Политическая выгода снаряжения флота в том и состояла, что позволяла отодвинуть в далекое будущее тяжелый выбор конкретных целей, не создавая при этом впечатление бездействия.

С отсутствием внятной ведущей цели была связана еще одна проблема, куда более тяжелая психологически — отсутствие внятных образов друга и врага. Здесь речь также идет о недостатке, который сам по себе вовсе не проблема, — он лишь отражает реальный факт, что в международной политике дружеские и враждебные отношения никогда не бывают абсолютны. Но немецкий национализм воспитал в себе сильную и все более возрастающую потребность в образе врага и успешно удовлетворял эту сомнительную потребность. Почему она стала чертой национального менталитета, вероятно, объясняется трудностью поиска национальной идентичности, которая вызывала бы симпатии, а также примечательной неспособностью к созданию стабильных и доверительных внешнеполитических отношений. Даже сближение с

Австро-Венгрией, которое с оттенком неизъяснимого романтизма подавалось как «верность Нибелунгам», базировалось на очень хрупкой эмоциональной основе. Как раз пангерманцам, активнее всех культивировавшим народное единство с австрийскими немцами, менее всего нравилось мультикультурное многообразие империи Габсбургов. Это государственное образование вызывало у них скорее отвращение как вырожденческая смесь народов, а Вена прекрасной эпохи казалась чем-то вроде «расового Вавилона» (Гитлер). Вместе с тем они страдали от того, что не могли дать выход своей агрессии по отношению к такой фигуре, как кайзер Франц Иосиф. Один австрийский симпатизант пангерманизма жаловался: «Более шестидесяти лет Франца Иосифа — такого не выдержат даже самые крепкие нервы». Даже граф Монтс, который когда-то, будучи секретарем посольства в Вене, был преданным почитателем Дунайской столицы, а затем какое-то время служил преемником Бюлова, ворчал при случае, что австрийцам «через некоторое время понадобится второй Кёниггрец[17]». Будучи послом в союзническом Риме, он еще хуже говорил об итальянских союзниках Германии: Турция «для нас много важнее, чем эта жалкая Италия!» (См. примеч. 43.)

Размывание образа врага при сильной потребности в нем началось и во внутренней политике. В эру культуркампфа 1870-х годов врагами были «ультрамонтаны», через отсылки к Каноссе подававшиеся в качестве тысячелетних губителей империи. Однако уже вскоре этот образ врага стал разваливаться под знаком политики объединения консерваторов. В марте 1890 года между Бисмарком и Вильгельмом II произошел скандал, когда Бисмарк лично принял председателя партии Центра Виндтхорста, в то время как юный кайзер занял тогда антикатолическую позу «мы не пойдем в Каноссу». Зато в то же время он нарушил бисмаркианский образ врага 1880-х годов: стал искать примирения с рабочим движением. Теперь уже Бисмарк имел основания упрекать Вильгельма II в ненадежности его отношений с друзьями и врагами (см. примеч. 44).

Традиционно у немецкого национализма был один внешний враг: Франция. Это была вражда не только на уровне политики, но и в сфере морали и культуры — Париж считался воплощением безнравственности. После войны 1870–1871 годов напряженные отношения с Францией стали более чем когда-либо политической константой; но в Германии эмоциональный накал этой вражды уже вскоре прошел свою кульминацию. Потребность в образе врага оставалась неудовлетворенной.

[17] Сражение при Кёниггреце — крупнейшее и решающее сражение австро-прусской войны 3 июля 1866 года.

Основным вопросом внешней политики Германии все время от 1871 до 1914 года оставалось, искать ли ей союза с Англией или же с Россией, поскольку противоречия с Францией казались неизменными. Но в этом вопросе Германия колебалась и металась в разные стороны, пока в конце концов не рассорилась с обеими мировыми державами. Эти метания были в высшей степени эмоциональны — Британская империя и царская Россия были контрастными мирами, вызывавшими сильные, но совершенно разные эмоции. У Трейчке в обоих случаях — резко негативные: по его словам, он не знал, что «ужаснее»: «русский кнут или английский денежный мешок». Оказавшись перед тяжелым выбором, хотелось одного — вовсе уйти от проблемы. Сам кайзер в 1901 году совершенно верно понимал, что «не может же он вечно колебаться между русскими и англичанами; в конце концов он окажется между двух стульев». Собственно, он вовсе *не хотел* колебаться, и тем болезненнее было для него, что иначе он просто не мог. Преемники Бисмарка изначально вступили на сцену с намерением выстроить ясную внешнеполитическую линию; Гольштейн в 1887 году критиковал: «Наша политика с ее разнонаправленными действиями напоминает путаницу рельсов на большом железнодорожном вокзале» (см. примеч. 45). Поэтому и в Берлине воспринимали курс «зигзага» как собственную неудачу.

Если вражда с Францией казалась неизменной, то все свидетельствовало в пользу сближения с Англией. Да и с точки зрения нового народного национализма, мир бы не рухнул, если бы обе великие германские державы пошли рука об руку. Но немецкий национализм на рубеже веков видел свой идеал не в индустриализованной Англии, а в бурах, которым угрожали англичане и которые жили в Африке по законам своих отцов. В прежние времена немецкий популярный географический справочник описывал буров как опустившийся на уровень готтентотов народ лентяев, вся жизнь которых проходила под щелканье кнутов или в облаках табачного дыма. Но теперь буры стали антиподом британской алчности, жестокости и даже всей «нервозной эпохи». Во времена Англо-бурской войны (1899–1902) в Германии впервые случился взрыв англофобии, хотя между интересами Германии и Англии не было никаких конкретных противоречий. В итоге в Первой мировой войне самым заклятым врагом немцев стала не Франция, но Англия, а новым немецким приветствием — «Господи, накажи Англию». Такое трагичное развитие событий вскоре стало казаться большой загадкой, в которой, как нигде, требовались психологические объяснения. Она была тем более сложной, что старая любовь немцев к Англии во времена Вильгельма вовсе не исчезла и по-прежнему часто давала о себе знать. Даже перед самым

началом войны немецкое правительство больше всего хотело не воспринимать Англию как врага.

Вильгельм II и сам был гротескным воплощением главного внешнеполитического противоречия своей эпохи. По рождению наполовину англичанин, в 19 лет с радостью заверявший свою английскую бабушку, что он «тоже британец», всегда находился под обаянием Британии и ездил в Англию так часто и настолько без повода, что это бросалось в глаза. Никогда он так сильно не впадал в ярость, как в тех случаях, когда Англия не оправдывала его ожиданий. Как уже в 1927 году обнаружил Герман Канторович, заметки кайзера на полях документов, собранных в «Большой политике»[18], «полны самых диких выпадов против Англии, считать их можно буквально сотнями». Это был классический случай любви-ненависти, которая со временем все больше переходила в одну ненависть. Когда в 1903 году у кайзера будто пелена с глаз упала, и он увидел, что своей политикой в области флота превратил Англию во врага, с чем он прежде не хотел соглашаться, его лицо, как писал Эйленбург, «совершенно исказилось»: «Война, месть, бессилие, гнев оскорбленного честолюбия после стольких признаний в любви Англии, его родной Англии, были написаны на его бледном, красивом нервном лице».

Вплоть до последних предвоенных лет антианглийская политика Вильгельма II была крайне непоследовательной. По иронии судьбы самым позорным провалом всего его правления была неуклюжая попытка втереться в доверие англичанам, информация о которой попала в прессу в интервью «Daily Telegraph» 1908 года; после этого с ним случился самый тяжелый в его жизни нервный приступ. И в декабре 1912, и в июле 1914 года у него повторялись сильнейшие всплески ярости и беспомощности, когда оказывалось, что в случае войны Англия встанет на сторону врагов Германии. В конце концов он окончательно вышел из себя от гнева на этот «залгавшийся, бессовестный торгашеский народ!» (См. примеч. 46.)

Экарт Кер, хоть и не любитель психологической интерпретации политики, видел корни немецкой англофобии в том, что немецкие консерваторы перенесли «свою ненависть к городу и индустрии» во внешнюю политику. Политический союз между аграриями и промышленниками не позволил им *напрямую* проявлять эту ненависть. Единство в англофобии, которое принесло промышленности заказы, связанные со строительством флота, дало альянсу плуга и домны идеологическую основу. Чисто экономические интересы дали бы консерваторам повод скорее к антирос-

[18] «Большая политика европейских кабинетов 1871–1914» — изданное в 1922–1927 годах собрание дипломатических документов внешнеполитического ведомства.

сийской позиции — с востока грозила конкуренция на рынке зерна. Но Англия воплощала ненавистное для них *time is money* (см. примеч. 47).

Этот символ действительно объяснял накал немецкой англофобии. От *time is money* серьезно страдали многие немцы, причем далеко не только закоснелые консерваторы. Многие другие неприятности тоже возводили к пресловутому *time is money*. В этом просматривается связь между англофобией и «неврастенией» эпохи. В конечном счете и обострение «борьбы за существование», и резкое ускорение «спешки и травли» были следствием индустриального подъема Англии. К раздражению, которое вызывала Англия, примешивалась зависть, набирая силу по мере того как сами англичане под защитой своей империи все больше казались олицетворением невозмутимого спокойствия. Статья о «Нервозности и неврастении» 1902 года наставляла своих читателей, что выражение *time is money* в Англии понимается иначе, чем в Германии: дело в том, что англичанин хочет «за короткое время» заработать «по-настоящему много денег», «и так, день за днем, выиграть побольше времени для отдыха, укрепления и оздоровления своего тела». Гельпах в 1909 году говорил, что «английский стиль жизни» есть «удавшаяся попытка сохранить жизнерадостность и здоровье вопреки индустриализации и меркантилизации» (см. примеч. 48).

Эдуард VII, как и Вильгельм II, считался олицетворением своего общества: непринужденно-гедонистических властных кругов Британской империи, преодолевших викторианскую строгость. В облике двух монархов воплощался обидный контраст между успешным английским спокойствием и неудачной немецкой тревожностью. При этом поначалу быстрый и резкий немецкий кайзер производил лучшее впечатление, чем его тучный, одышливый дядя принц Уэльский, и не раз давал это понять и почувствовать. Однако когда Эдуард стал королем и сомнительным образом сформировал ту союзную систему, которую Германия воспринимала как окружение, роли поменялись. В 1908 году «Simplicissimus» изобразил соперничество между германским и британским монархами как сказку о зайце и еже: заяц с усами Вильгельма II без устали мчится то в Париж, то в Рим, то в Санкт-Петербург — «но везде уже побывал еж». Эдуард II непринужденно и гедонистически персонифицировал английскую флегматичность. Когда он впервые нанес официальный визит в Париж, где прежде нередко развлекался частным образом, его освистали из толпы — ситуация, при которой Вильгельм II потерял бы самообладание. Но Эдуард на замечание одного из сопровождающих: «Они нас, кажется, не любят» — ответил классической репликой: «А с чего им нас любить?» (См. примеч. 49.)

Возмущение Вильгельма безнравственностью своего изысканного английского дяди имела в себе отпечаток затаенной обиды. На фоне Эдуарда VII, знаменитого своими любовными интригами, практицизмом, спокойствием и потенцией, Вильгельм II тем более казался неврастеником, хотя полагал, что давно справился с этим образом. Со временем он все яснее осознавал свое поражение. В конце июля 1914 года, в преддверии подступающей на несколько фронтов войны, он в бессильной ярости кричал: «Эдуард VII и после своей смерти сильнее меня, живого!» Гарден полагал, что Эдуард «сыграл» на «нервозности» кайзера и слишком хорошо понимал, что тот не в состоянии вести войну (см. примеч. 50). Однако в этом пункте Вильгельм II дезавуировал тех, кто приписывал ему слабые нервы. Когда до него дошли слухи, что Эдуард считал его трусом, он воспринял это как смертельное оскорбление и вызов.

Простейшим логическим следствием англофобии был бы союз с Россией, дорогу к которому проложил еще Бисмарк. Английская мать Вильгельма пыталась настроить его против России: она утверждала, что русские только и могут, «что нести повсюду убийство, грабеж, раздор и все злые духи ада». Однако позже, выйдя из-под влияния матери, Вильгельм II стал более открыт для собственного выбора друзей и врагов. Как вскоре оказалось, сближение с царем вызвало у него глубокий эмоциональный отклик. Царский двор был настоящим эльдорадо божественной монархии и тяжелого архаического дворцового блеска. Но и эта симпатия была у кайзера до странности нестабильной. Уже вскоре он попадает под влияние графа Вальдерзее, охваченного идеей войны против России. Однако и враждебность Вильгельма II к России оказалась ненадежной, в чем вскоре убедился Вальдерзее: «Мы по-прежнему колеблемся, считать ли русских прекрасными людьми или злобными канальями; только скорость этих колебаний теперь возросла». Эти колебания продолжались и в последние годы перед войной. И снова это была не личная слабость кайзера, но шизофрения всего немецкого консерватизма, который не знал, стоит ли ему видеть в России сильнейший оплот старого порядка или крупнейшую угрозу для империи (см. примеч. 51).

Такими же крайностями отличались и эмоции кайзера по отношению к Османской империи. Посетив в 1898 году Константинополь, Вильгельм II выказал «симпатию к султану и всему турецкому», включая гарем. Султан, как и русский царь, был последним представителем сакрально-абсолютистского монархизма. Кайзер несколько месяцев предвкушал эту поездку, политика смешивалась здесь с туризмом. Но произошедшие несколькими годами ранее страшные убийства армян, вызвавшие у европейской общественности ярость и отвращение, сдела-

ли султана в глазах христиан массовым убийцей, на руках которого была христианская кровь. Однако среди тех, кто формировал общественное мнение в Германии, были и друзья Турции. Для страдавшего нервной болезнью Хьюстона Стюарта Чемберлена, которого высоко почитал Вильгельм II, Турция была «последним кусочком Европы», «где целый народ» живет в «спокойном счастье» и знать не знает о «жестокой борьбе за существование»: резкий контраст к яростному германскому расизму Чемберлена. В душе кайзера уживались оба образа Турции. В Дамаске, как описывает Бюлов, он впал в полное упоение. «Где бы он ни появлялся, население приветствовало его долгими гортанными лю-лю-лю, лю-лю-лю, лю-лю-лю [...] Эти монотонные возгласы опьяняли его, как гашиш». В таком настроении он заверил «три сотни миллионов магометан» в своей дружбе. При этом в душе кайзера имелась и другая, черно-белая картина, на которой турки были заклятым врагом, а их противники на Балканах — христианскими героями. В октябре 1912 года, после начала первой Балканской войны, когда Турции грозила катастрофа, все увидели, как кайзер «с развевающимися знаменами» перешел в «лагерь балканских государств» и обменялся телеграммами с греческой кронпринцессой, «как будто на Балканах наступила новая героическая эпоха “для христианских народов”». Теперь он гремел, что «ближневосточный вопрос» нужно решать «кровью и железом» и что время Турции в Европе прошло. Лучше всего, по его мнению, немедленно разделить и азиатскую Турцию: «благоразумные турки уже терпеливо ожидают такой судьбы». Но не прошло и двух лет, как Турция стала для Германии братом по оружию, а отважные балканские христиане — «висельниками» (см. примеч. 52).

Случались у Вильгельма II и приступы «желтой угрозы». Этот образ появился впервые в 1890-е годы в англо-американском мире (*yellow peril*) и был нацелен в зависимости от ситуации то на Китай, то на Японию. У немцев было, пожалуй, меньше всего оснований входить в разногласия со странами Восточной Азии. И если призрак «желтой угрозы» все же бродил по Германии, то это свидетельствует об отчаянном поиске врага. Как только этот фантом появился на горизонте, Вильгельм II с примечательной быстротой ухватился за него и, более того, стал, как пишет Уте Менерт, мировым «шеф-пропагандистом» «желтой угрозы». Подъем Японии и ее претензии на роль восточно-азиатского гегемона наметились в контексте Японо-китайской войны 1894 года. В 1895 году Вильгельм II рисует набросок с подписью «Народы Европы, берегите свои священнейшие блага!», подразумевая «желтую угрозу». Картинка изображает архангела Михаила, покровителя немцев, в виде предводителя группы аллегорических женских фигур, символизирующих евро-

пейские нации. Архангел указывает вдаль на пылающий город. «Клубы дыма складываются в фигуру дракона, и сквозь дым угадывается фигура Будды, "застывшими холодными глазами взирающая на разорение"». Картина, выполненная с этого наброска придворным художником Кнакфусом, по высочайшему повелению украсила каюты немецких пассажирских пароходов. Бисмарк смысла в этой картине не обнаружил: «Будда не дает мне истолковать картину». Действительно, то, как в образ врага был введен Будда, было самой большой бессмыслицей всей аллегории. Это была как бы сконцентрированная защита от того восточного идеала медитативного покоя, который был столь соблазнителен для «невротиков». В этом смысле, как заметил Герман Гессе, кайзер «на удивление верно почувствовал»: «Это было заражение Европы Востоком, это было неуверенное возвращение уставшего европейского духа к азиатской матери, которого он недаром столь сильно опасался».

Бар когда-то назвал буддизм «религией нервов». В немецкоязычном пространстве жители Восточной Азии считались тогда образцом крепких нервов и сексуального здоровья. Японская актриса победоносно утверждала: «В Японии нет ни одного нервного человека!»

Позже, уже в изгнании, Вильгельм II вновь изменил образ врага: «Мы будем вождями Ближнего Востока против Европы! Я хочу изменить свой образ "народов Европы". Теперь мы на другой стороне!» (См. примеч. 53.)

Постоянное сочетание разочарований в дружбе и подсознательной враждебности создало тот раздраженный климат, который стал столь типичным для внешней политики Вильгельма и в итоге породил ощущение, что открытая вражда принесет избавление. Путаница в образах врага была настолько мучительной, что мысль о сплошном окружении врагами стала приносить успокоение; возник единый фронт, который позволял ненавидеть сразу все державы, доставлявшие столько неприятностей, и прекратить наконец мучительные метания между разными позициями. В 1908 году Вильгельм II сказал в речи перед военными, что «знает, нас хотят окружить, но германец никогда не сражался лучше, чем когда на него нападали со всех сторон. Пусть только придут». Пангерманцы уже давно служили примером, как можно создать впечатление спокойного и твердого характера, если воображать, что на тебя со всех сторон нападают враги. От политической неврастении освобождались, уходя в политическую паранойю. С некоторой долей закономерности этот менталитет двигался в сторону антисемитизма, ведь призрак еврейского интернационалиста лучше всего годился для того, чтобы соединить воедино разные образы врага. Даже Гарден, который начинал ощущать собственное еврейское происхождение, описывает венского

антисемита Люгера как идеал счастливого человека «без слабонервности». Неслучайно, что и Вильгельм II, не имевший никаких крестьянско-мелкобуржуазных мотивов для антисемитизма, закончил свои дни антисемитом самого скверного толка: с таким образом врага легче обрести покой в ненависти (см. примеч. 54).

«МЯГКАЯ» СТОРОНА ВИЛЬГЕЛЬМИНИЗМА И ЕГО ПОЗОР, ИЛИ ЗАКОЛДОВАННЫЙ И РАСКОЛДОВАННЫЙ МИР[19]

Каждое общество, как можно слышать в последнее время, обнаруживает те психические расстройства, которые оно принимает и поощряет. Если это так, то, вероятно, верно и обратное — эти расстройства воздействуют на общество. Как обстоит дело с неврастенией? Что говорит неврастения об общественных нормах и идеалах кайзеровской Германии?

Этот вопрос заставляет задуматься. Общество кайзеровской Германии, каким его обычно представляют сегодня, никоим образом не должно было поощрять подобное нарушение: напротив, каждый маломальски уважающий себя человек должен был, надо думать, стыдиться подобной болезни. Дирк Блазиус полагает, что «во времена Вильгельма была востребована [...] только сила, духовная и физическая» (см. примеч. 55). Почему же тогда великое множество достойных мужчин признавались в слабости нервов?

На этот вопрос возможны два ответа, и оба содержат долю правды. Первый — что неврастения была не преходящей модой, а настоящей горькой реальностью, причем обладала такой силой, что пробивалась даже через противоположные общественные идеалы. Действительно, на это указывает масса материалов и свидетельств современников. Тем не менее такие понятия, как «нервозность» и «неврастения», не были чистым отражением патологической реальности — они несли в себе и элемент искусственности. Отсюда другой ответ: немецкое общество, по крайней мере когда распространялся концепт неврастении, было не таким, каким его обычно представляют сегодня, его идеалы не ограничивались твердостью, героизмом и эффективностью. Если до сих пор еще не написана социальная история немецкой нервозности, хотя тема эта буквально хлещет из множества источников, то, вероятно, потому, что пока нет ясного пред-

[19] Среди прочего, понятия отсылают к философской концепции Макса Вебера «расколдовывания мира» (прежде всего, в статье «Наука как призвание и профессия», 1917), которым он обозначал актуальное развитие культуры и общества, характеризующееся отказом от мистики и обращением к интеллектуализации и рационализации, которые также определяют и развитие науки.

ставления о «мягкой» стороне общества кайзеровской Германии. В свидетельствах современников эта «мягкая» сторона проявляется на каждом шагу, однако современные историки привыкли воспринимать цветы красноречия и задушевные пассажи как пустые фразы и игнорировать их.

Понятие «нервозность» объединяло феномены, которые чисто автоматически вовсе не ассоциировались друг с другом. И если задуматься об этих феноменах и сравнить их с общественными нормами того времени, невольно удивляешься: «нервозность» относилась к чувствам как страха и упадка, так и страстного желания и агрессии. Понятие «нервозность» охватывало оба состояния — немужское и мужское — как единую, внутренне связанную тревожность. Нередко «нервозностью» обозначали такое состояние духа, которое прежде просто и бесхитростно назвали бы «страхом», но новое слово снимало с человеческого *Я* моральную ответственность. «Нервозность» могла подразумевать и непереносимость или нетерпимость к чему-либо, агрессию, в таком случае это понятие также выполняло функцию моральной разгрузки, но вместе с тем указывало на то, что легкая возбудимость не всегда связана с мужеством, но зачастую и с нервной слабостью и даже робостью. Еще более странно: такие понятия, как «нервозность», сводили вместе типы людей, которые в моральном отношении были настоящими антиподами: напрягающего все свои силы честолюбца и вялого сластолюбивого нытика, ослаблявшего себя излишествами или даже только воображавшего страдания, чтобы оправдать вечные поездки на курорты. Поскольку вскоре уже никто не сомневался, что множество нормальных людей более или менее нервны, то понятие «нервозность» не имело ничего дифференцирующего, а напоминало об элементе слабости, всегда присутствующем в каждом человеке. «Нервозность» объединяла коммерческих советников и рабочих, мужчин и женщин, немцев и евреев. Отсюда и аномальная популярность этого понятия в обществе, которое везде и всюду считается консервативно-патриархальным и милитаристски-шовинистическим.

Однако в целом это общество характеризовалось диалектическим противоречием: его «жесткие» черты развивались как защитная реакция на противоположные свойства. Культ «энергичности» отражал широко распространенную ипохондрическую слабость. Это понимали уже многие современники: «Из страха перед собственным мягкосердечием многие из нас демонстрируют чрезмерную мужественность», и потому мы «нервно перевозбуждены», — пишет автор одной французской книги в 1913 году. Даже Гельмут фон Герлах[20], ставший впоследствии паци-

[20] Герлах Гельмут — немецкий публицист и политик, начинавший с антисемитского крыла консервативной партии, затем под влиянием Фридриха Наумана

фистом, около 1900 года считал немцев «чересчур мягкосердечными» (см. примеч. 56). Длинные анамнезы неврастеников документируют эпоху, в которой много говорилось о радостях и страданиях, а жалобы на физические и душевные расстройства создавали атмосферу близости.

Неврастения возникает за счет трудовых перегрузок и задает диспозицию для тяжелых душевных расстройств: так учили многие врачи, и такие опасения порождали чувство общности с душевнобольными. В 1892 году издание прусских консерваторов «Kreiszeitung» опубликовало за подписью множества знаменитостей пламенный призыв против обычной тогда практики принудительного помещения в сумасшедшие дома. Неоконсервативная «Die Zukunft» в 1906 году разместила печальный рассказ одной женщины о том, как она в течение четырех лет вела кампанию против 17-летнего пребывания в психлечебнице. При этом гигиенист и социал-демократ Альфред Гротьян жаловался на то, что душевнобольных чересчур редко объявляют опасными для общества, и немецкая общественность проявляет излишнее недоверие к практике направления «нервно- и душевнобольных» в специальные заведения (см. примеч. 57).

По бытовавшему на рубеже веков мнению ученых, многие даже «здоровые» немцы считали себя потенциальными неврастениками и потому были восприимчивы к новым мягким методам лечения. Когда Теодора Лессинга упрекали в том, что его движение против шума суть восстание неврастеников, он возражал:

> «Вы хотите, господа, сознавая превосходство своих крепких нервов, расправиться со всеми этими страдальцами? Но кто поручится, что завтра или послезавтра вы сами не будете причислены к великой армии страдающих? [...] Если сегодня вы еще не чувствительны ко всему шуму городской культуры, то достаточно незначительного припадка инфлюэнцы, пары бессонных, полных тревог и беспокойства ночей, чтобы сделать и вас столь же чувствительными, как тех невротиков, о тирании которых вы рассказываете басни, в то время как сами их тираните» (см. примеч. 58).

Если нервные срывы были даже у Бисмарка — кто бы отважился настаивать на крепости собственных нервов?

Прототипом немца вильгельмовской эпохи считается Дидерих Геслинг — «Верноподданный» Генриха Манна. Но за его суровостью кроется сентиментальность: «Дидерих Геслинг, ребенок смирного нрава [...]»[21], —

встал на либеральную позицию, с которым в 1896 году основал Национал-социалистический союз. Первая мировая война сделала из Герлаха пацифиста.

[21] Пер. с нем. И. Горкиной. Герой романа носит говорящее имя *Heßling* — от *нем.* отвратительный, скверный.

так начинается роман (см. примеч. 59). Если в последнее время в качестве характерной черты тогдашнего менталитета приводится дуэль, то в романе студент Геслинг с глубоким удовлетворением убеждается, что поединок на рапирах вещь не такая страшная и не выходит за рамки добродушных пивных правил. Среди всевозможных страхов, которыми кишат истории неврастеников, страх перед студенческой дуэлью появляется лишь спорадически. Бесцеремонность, типичная для того времени, имела грубую сторону, но и своего рода уютность — непринужденность мужской компании. Связанные с корпорациями[22] протекционные системы сулили освобождение от «борьбы за существование». Да и культура корпораций господствовала не повсеместно — даже в кругах национальной академии существовали различные настроения. Не кто иной как Трейчке, идол националистов, будучи студентом, признавался, как «ненавистны» ему «дуэльные безобразия». Для властных кругов кайзеровской Германии дуэли как отстаивания чести не существовало. Норберт Элиас отмечает даже некоторую конкуренцию между придворным обществом и обществом, «способным к сатисфакции» (см. примеч. 60).

Феодально-аграрный элемент в политической культуре кайзеровской Германии хотя и был тесно связан с военной кастой, но содержал черты квиетизма. Их можно наблюдать даже у Бисмарка, который в пожилом возрасте все чаще ссылался на проблемы с нервами, чтобы месяцами уединяться в своих поместьях. Многие владельцы дворянских поместий опасались, что не выдержат конкурентной борьбы нового века и в конце концов окажутся разрушены и финансово, и психически, как барон фон Ротзаттель в романе Густава Фрейтага «Приход и расход». Некий граф Армин-Шлагентин написал брошюру с опровержением дарвиновской теории о том, что «борьба за существование» способствует прогрессивному развитию: по его словам, каждый заводчик знает, что эта теория — чушь, и что нельзя получить лучших свиней, если урезать им корм да еще заставить друг с другом за него бороться (см. примеч. 61). С точки

[22] Корпорации (корпусы, корпсы — *Corps*) — студенческие объединения в Германии, первые из которых возникли в 1815 году в Йенском университете и получили название *Burschenschaften* — братства. Они были, как правило, навеяны традициями милитаризма, политического идеализма и юношеского максимализма, сопровождались идеалами рыцарства и христианства, а также необходимой атрибутикой — униформой и оружием, т.е. определенным набором общих отличительных фетишей, позволявших молодым людям сплотиться в единый организм — как некую микромодель, отсылающую к актуальной идее объединения германских земель. Существовали разные категории объединений, была принята определенная градация студентов, в число самых популярных традиций входило мензурное фехтование, пивные испытания и многое другое.

зрения сельской знати «борьба за существование» выглядела столь же фатальной, как с точки зрения теории неврастении. Это укрепляло всеобщее чувство, что уже ради сохранения психического здоровья людей необходимо срочно формировать сельский мир в противовес индустриальной империи. Потребность в защите, возникающая вследствие нервной слабости, в конечном эффекте укрепляла феодально-аграрные элементы кайзеровской Германии; однако это еще не влекло за собой автоматически милитаризацию общества. Преобладание знати в офицерском корпусе долгое время держало в узких рамках экспансию армии, а также безусловное применение принципа эффективности в военной карьере.

Социал-дарвинизм в предвоенной Германии был далеко не так свиреп, как часто пишут. Самыми эффективными популяризаторами дарвинизма в Германии были Эрнст Геккель и его друг Вильгельм Бёльше, автор бестселлера «Любовь в природе» (1898–1902). В их дарвинизме «борьба за существование» не играет ни чересчур заметной, ни особо достойной роли. Бёльше буквально растворяется в культе любви: обожествлении секса в самых разнообразных проявлениях. Оглушительный успех его книги плохо сочетается с представлением о жестком духе времени, враждебном к телесным удовольствиям.

Даже против политической оппозиции кайзеровская Германия, в сравнении с другими властными системами того времени, не предпринимала жестких мер. Если здесь не было ничего сравнимого с делом Дрейфуса, то вряд ли из-за нехватки куража и чувства справедливости, а исключительно по той причине, что немецкие суды не давали столь вопиющего примера цинично-брутальных неправосудных приговоров на высшем уровне. Германских социал-демократов позже нередко упрекали в недостатке революционного порыва, в прозаической правильности; но при этом любили забывать, что кайзеровская Германия в действительности никогда не прибегала к террору против рабочего класса, не переходила к систематическому нарушению прав, по крайней мере после прекращения действия Исключительного закона против социалистов (см. примеч. 62).

Хотя Вильгельм II обладал беспокойным нравом, начало его правления в сравнении с последними годами эпохи Бисмарка знаменовалось скорее стремлением к спокойствию. Он быстро расстался с воинственным Вальдерзее и в своей северной поездке 1892 года назвал «успехом» то, что «вечно беспокойная внешняя политика Бисмарка уступила место миролюбивому настрою». Действительно, в Берлине на закате эры Бисмарка развился «военный психоз», даже если сам Бисмарк имел обыкновение в серьезных случаях брать на себя роль благоразумного и

мирного участника. Атмосферу скрытого напряжения создавали также борьба Бисмарка против врагов империи, преследование социалистов и обыгрывание планов государственного переворота. Во всех этих пунктах «новый курс» Вильгельма II принес существенную разрядку. Гарден позже характеризовал период, когда Бисмарк подал в отставку, а песни Эйленбурга[23] воодушевляли юного кайзера, как эру, в которой «нервы тосковали по спокойствию». Эйленбург страдал «несказанной тоской» по покою, будь это даже покой смерти (см. примеч. 63). А его друг Бюлов, любимый канцлер Вильгельма II, буквально специализировался на том, чтобы даже в неподходящих ситуациях демонстрировать непоколебимый покой и веселую непринужденность.

Экономическая конъюнктура вильгельмовской эпохи способствовала общему оптимизму. То, что многие прежде считали невозможным, теперь удалось благодаря искусству баланса, свойственного Бюлову, в сочетании с экономическим подъемом: ввести таможенную защиту для сельского хозяйства и при этом гарантировать продолжение бурной индустриализации. Даже если далеко не все это признавали, шло становление общенационального консенсуса от консерваторов до социал-демократов; августовские дни 1914 года лишь проявили то, что уже давно существовало в скрытой форме. Собственно, условия для политической разрядки при Вильгельме II были благоприятнее, чем когда-либо ранее.

Оба политика, пользовавшиеся наибольшим влиянием в первые два десятилетия правления Вильгельма II, — Эйленбург и Бюлов — пытались по-своему использовать свои шансы. Филипп Эйленбург был исполнен желания перенести в политику неврастенический идеал отрадного покоя, а его друг Бюлов, хотя и более жесткой натуры, проявлял себя прежде всего тем, что распространял вокруг солнечную ауру. Оба они умели с духовно-мечтательной и творческой манерой, с большой фантазией — у Эйленбурга она шла из души, у Бюлова была отчасти наигранной — создавать вокруг себя волшебный мир, в котором Вильгельм II чувствовал себя счастливым. Трубадуровский романтизм, которым Эйленбург окружил Вильгельма II еще в те времена, когда тот был принцем, служил «сладким дурманом» (Рёль). На Либенбергских застольях у Эйленбурга, где кайзера за глаза называли «Любимчик» (*Liebchen*), Вильгельм II мог по настроению играть и женскую роль, и предаваться детским шалостям. Многое из этого вышло наружу благодаря делу Гардена[24]: еще в 1930 году ста-

[23] Филипп Эйленбург был известен своим музыкальным талантом, он сочинял песни, которые даже пользовались популярностью.

[24] Скандальное публичное разоблачение гомосексуализма Эйленбурга — об этом см. ниже.

тья в «Weltbühne» напоминает о «женственной атмосфере берлинского двора» как об общеизвестном факте, хотя бросалось в глаза, насколько малую роль играли там женщины. Крах Эйленбурга стал тем рубежом, после которого в придворном стиле произошел перелом, имевший серьезные политические последствия.

Эйленбург был очень странным явлением среди политиков, и еще более примечателен факт, что он более 10 лет пользовался значительным влиянием в государстве со столь ярко выраженными бюрократическими и милитаристскими чертами. В старости он писал, что «у него всегда было слишком доброе сердце», уже в детстве его часто охватывало «безграничное сочувствие». Государственная служба была для него «мукой», а внешнеполитическое ведомство с его «волнующими нервностями» — «адом». Как он в 1895 году писал Гольштейну, одной из «самых больших загадок» для него было, как это у него, Гольштейна, после 20 лет, проведенных в этом ведомстве, «все еще есть нервы». Он не был, как сам признавался, «пушечным человеком» и не любил атмосферу казино, ему был ненавистен «вид любой машины». Он предпочитал минеральную воду пиву, ценил плавание и не переносил табачный дым; в этом он был близок к реформ-движению и движениям за здоровый образ жизни. Он вполне осознавал свои политические слабости: когда в 1893 году ему предстояло стать статс-секретарем по внешним вопросам, он воспротивился: «Из меня, несчастной курицы, делать орла!» Он не поддался даже уговорам самого Бюлова, заверявшего его, что эту роль он исполнял бы вовсе не как «несчастная курица», а как «верный, умный, благородный сторожевой пес». Вильгельм II, как он сам часто говаривал Бюлову, больше всего хотел бы видеть своим канцлером не его, а Эйленбурга; однако же тот отговорился, ссылаясь на свои «изношенные» на службе у кайзера нервы (см. примеч. 64).

У Эйленбурга просматривается определенный политический идеал, в воплощении которого он даже порой имел успех, — он мечтал о власти за счет харизматического обаяния круга друзей, сплоченных вокруг кайзера и связанных друг с другом любовью и романтическими мечтами, — круга, способного преодолеть бесчувственную пустыню бюрократии и запутанность современной политики. Эйленбург был дружен с Якобом фон Икскюлем, автором понятия «окружающая среда» (*Umwelt*), и перенял от него точку зрения, что каждое живое существо нуждается в подходящей окружающей среде и, не нарушая объективность мира, производит собственную окружающую среду. Такое мировоззрение одарило его «чувством безграничной свободы». Действительно, долгое время у него получалось создавать вокруг себя человеческое окружение, засло-

нявшее собой неприятные черты внешнего мира. Гарден в 1906 году смеялся над высокопоставленными друзьями Эйленбурга: «Исключительно хорошие люди. Музыкальны, поэтичны, спиритичны [...] и в обхождении своем отмечены [...] трогательным дружелюбием». Гольштейн, неприступный и замкнутый холостяк со своей «почти ужасной трезвостью» казался в этом кругу злым гномом Альберихом[25], власть которого зиждилась на том, что он был недоступен для любви (см. примеч. 65).

Политика дружеского круга функционировала лучше всего, когда дружба не подвергалась испытанию на прочность. Но идеалы дружбы Эйленбурга становились опасны, если на них пытались опираться во внешней политике, где не существовало продолжительной дружбы в интимном смысле. Тесное родство с русским царем и английским королевским домом позволило Вильгельму II увлечься иллюзией, что и отношения Германии с ее могущественными соседями можно регулировать в стиле личной дружбы. Эта иллюзия усугубила неспособность Германии наладить стабильные доверительные отношения хотя бы с одной из этих мировых держав. Кайзер постоянно вкладывал в отношения с Англией и Россией слишком много эмоций и впадал в ярость и разочарование всякий раз, когда отношения не оправдывали его ожиданий. «Мы с Ники простились как близкие друзья, нежно любящие и полностью доверяющие друг другу», — писал он в 1897 году Фили (Эйленбургу) о своем визите к русскому царю. И тем сильнее был его гнев, когда «Ники» забывал о своих дружеских обязательствах (см. примеч. 66).

В начале правления Вильгельма II политическая сцена представлялась скорее в розовом цвете. По сравнению с 1880-ми годами картина этой сцены менялась от «социального вопроса» к «мировой политике», т.е. как бы от берлинских задворок к Самоа. Иногда возникало впечатление полной открытости миру. В этом эйфорическом настроении то, что позже стало считаться неврастенической нерешительностью, еще казалось избытком свободы. Бисмарковский «кошмар коалиции», т.е. чудовищный страх перед тем, что его враги сплотятся в единую коалицию, его ближайшие преемники не разделяли — альянс между Россией и Англией считался столь же невозможным, как брачный союз медведя и кита. Казалось, что разрядка намечается не только во внутренней, но и во внешней политике. Бюлов заверял, что Германии уже не нужно, как в первые десятилетия после аннексии Эльзаса и Лотарингии, опа-

[25] Альберих — в тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» могучий гном, хранивший золото нибелунгов: всякого, кто завладевал этими сокровищами, настигало проклятие. В германо-скандинавской мифологии его звали Андвари.

саться «нападения со всех сторон». «Великие цели сегодняшней политики интересов — Средиземное море, Византия (sic!), Персия, Восточная Азия — вопросы, по отношению к которым мы имеем свободу выбора». В 1906 году, когда «мировая политика» Бюлова уже стала для ее критиков бесцельной политикой «всего и ничего», Гарден писал в «Die Zukunft» о Бюлове: «Это канцлер для воскресений. Упитанный, хорошо спящий по ночам. При плохой погоде ему бы никто не доверился. Поэтому он рьяно тщится всем доказать, что горизонт ясен и светел [...] Он относится к слабым, вялым, трусливым душам, страстное желание и гордость которых — не иметь врагов» (см. примеч. 67).

Самым блестящим успехом «мировой политики» Бюлова многие считали обретение двух крупных островов Самоа в конце 1899 года. Эти сказочные острова воплотили в жизнь заветное желание Бюлова, наполнили содержанием его крылатую фразу 1897 года о том, что Германии требуется «место под солнцем». С момента подписания в Берлине акта о Самоа в 1889 году эти острова находились в совместном владении Германии, Англии и США. В 1899 году присутствие Германии на Самоа оказалось под угрозой, и с двумя другими державами, подписавшими договор, возник открытый конфликт. По сообщению Бюлова, Тирпиц опасался, что из-за Самоа разразится большая война, и германская мечта о морской державе пойдет ко дну еще до того, как сойдут на воду первые крупные боевые суда. Здесь настал великий момент для Бюлова, когда он мог с успехом разыграть репутацию человека с крепкими нервами: «Все успокоится, если только у нас не сдадут нервы». Ему помогло то, что из-за начавшейся тогда бурской войны Англия не могла себе позволить конфликт вокруг Самоа. Когда владение обоими островами было гарантировано, Вильгельм II восторженно телеграфировал своему канцлеру, что тот «чистый волшебник, которого мне совершенно незаслуженно по милости своей послали Небеса» (см. примеч. 68).

Самоа околдовало не только кайзера, это был коллективный дурман. Началось оно с фазы общей ярости, когда интересы Германии на Самоа были нарушены. Профессора гремели со своих кафедр о «позоре на Самоа», а их студенты топали ногами от восторга. Между тем барон фон Рихтгофен, унтер-статс-секретарь Министерства иностранных дел, вздыхал, что Самоа не стоит даже тех издержек, которые уходят на отправку телеграмм между Берлином и Апиа. Бюлов, напротив, заявил в рейхстаге, что «превыше всего» он ставит «ценность Самоа для самосознания Германии». «Почти никогда» Бюлов не «развивал такой лихорадочной активности», как в вопросе Самоа, сообщает одно из новых исследований. Альфред Вагтс, подробнейшим образом изучивший кон-

фликт на Самоа и еще помнивший по опыту собственной юности империалистическое настроение до 1914 года, описывает почти маниакальное увлечение Самоа как международный феномен: «глубокое подводное течение древнейших чувств, как преступных, так и чистых», пригнало империализм «к самоанским пляжам», «которые так долго умудрялись не подпускать к своему прекрасному телу гибельное воздействие алкоголя и сифилиса». Самоа было воплощением мечты о связи чувственности и здоровья — и экзотического покоя. Рядом с «цивилизованным человеком и невротиком» самоанец был «неиспорченным, сексуально раскованным, свободным от трудовых принуждений пришельцем из другого мира, вернувшимся из собственного золотого века, давно уже исчезнувшего в Европамерике». На Самоа сошлись все страстные мечты неврастенической эры. «Жемчужина южных морей» «словно магическим шлифовальным кругом» стерла «будничные проблемы германской политики» (см. примеч. 69).

Созванная в 1906 году для решения Марокканского кризиса Алхесирасская конференция, когда кайзеровская Германия впервые ясно почувствовала свою международную изоляцию и, несмотря на большие политические затраты, не приобрела в Марокко ни малейшего опорного пункта, означала первый большой провал вильгельмовской эйфории. После Алхесираса, писал Гарден, «нимб немецкой политики уже не имел прежней силы». «Чары тридцатилетних побед были разрушены». Летом 1905 года, когда русские союзники Франции были парализованы поражением в Японской войне, в Германии молниеносно распространилась идея военным путем вынудить Францию уступить часть колоний. Остроумная аристократка Рина, устами которой говорил Гарден в «Die Zukunft», при мысли «война!» сначала начинает плакать, но затем дрожит от воинственности. «Всеми нервами понимаешь», что сейчас нужна война, «такого удобного случая больше никогда не представится» (см. примеч. 70). Тогда впервые сформировался фронт сторонников жесткой линии, политики неприкрытой военной угрозы и готовности к войне, в то время как кайзер и рейхсканцлер отступили, когда военная перспектива стала конкретной. С этого момента упрек в слабых нервах вошел в постоянный арсенал политических дискуссий. В политике становилось все более опасным считаться «слабонервным».

Скандал вокруг Эйленбурга, дело «Daily Telegraph» и второй Марокканский кризис довершили отрезвление и укрепили жесткую линию. Для империалистов открытый мир превратился в закрытый, и взорвать его можно было теперь лишь актом насилия. Выжидательная политика

«свободных рук» теперь воспринималась как неврастеническая нерешительность, а готовность к войне стала доказательством здоровья.

Вильгельмовская эйфория и прежде была подвержена припадкам разочарования и порождала тревожное состояние души. С самого начала особенно чувствительной помехой был Бисмарк со своими сторонниками. С психологической точки зрения отставка Бисмарка была тяжелым бременем вильгельмовской политики и главной причиной, почему кайзер так отчаянно нуждался в успехе. «Отцеубийство»[26] столь высокого стиля, тем более без ясных и убедительных оснований, можно было оправдать впоследствии лишь исключительными, блестящими деяниями. Невротические элементы вильгельмовской политики отчасти объяснялись призрачной битвой с тенью Бисмарка.

В 1894 году Эйленбург писал своему кайзеру, что победа над бисмаркианцами полностью окупила «вложенные силы». Потому что «продолжение борьбы и лавирования» нарушало бы «нервы и равновесие». В том же году он жалуется на «ведомую собственным адским ядом бисмарковскую фронду» — чувствуется его страх перед этой оппозицией. Еще в 1899 году он напоминал Вильгельму II о «беспримерно тяжелом времени» отставки Бисмарка, которое стоило ему «лучшей части его нервов»; и Вильгельм тоже давал понять, как больно ему вспоминать об этом. Бюлов в своей речи в рейхстаге 14 ноября 1906 года, той самой, когда он объявил, что «мы все» «в Германии стали слишком нервозны», заметил, что «догматизация князя Бисмарка» «стала у нас не только манией, но уже почти катастрофой». Как пишет Эрнст Екх, уход Бисмарка спровоцировал «трещину», которая прошла через «берлинское политическое общество и даже через внешнеполитическое ведомство», что надолго отравило общую атмосферу. Споры «за» или «против» Бисмарка разделили даже давних друзей. Вскоре наряду со старыми бисмаркианцами появились новые. Основанная Максимилианом Гарденом в 1892 году еженедельная «Die Zukunft» стала для сторонников Бисмарка в высшей степени привлекательным печатным органом, вдохнувшим в культ Бисмарка новые силы и молодость. В популярнейшей утопии того времени «Рембрандт как воспитатель» Юлиуса Лангбена, грезящей о будущем «сокровенном кайзере», «отмеченном скромностью и спокойствием»,

[26] Фрейд переосмысливал понятие «отцеубийства» в работе «Тотем и табу» (1913) после случившихся разногласий с Юнгом, который отвернулся от его учения и пошел собственным путем. Сложившуюся ситуацию Фрейд и интерпретировал для себя как убиение отца сыном. Такая расстановка фигур в целом кажется типичной для зрелого модерна и поэтому легко переносится и на описанную выше ситуацию.

об уходе Бисмарка говорилось: «немцев бросит в жар, если призрак их величайшего за триста лет героя будет взирать на них вопрошающе и укоризненно» (см. примеч. 71).

Но о чем вопрошал этот взгляд? Бисмаркианская оппозиция изматывала своих соперников диффузной критикой так, что никогда не было ясно, чего они собственно хотят. У Вильгельма II неизбежно должно было появиться ощущение, что абсолютно все, что он ни делал бы, будет в глазах бисмаркианцев неправильным. Историкам трудно разобраться в расколе между бисмаркианцами и сторонниками Вильгельма, потому что не всегда можно сказать по существу, о каких конкретных расхождениях шла речь. Тем не менее этот раскол доставлял кайзеру и его свите больше хлопот, чем противостояние партий в рейхстаге. Менталитет здесь приводил к формированию партий: одни видели мир в розовом, другие — в черном цвете, одни излучали оптимизм, другие — озабоченность, одни приветствовали мирное время, другие воспринимали его враждебно. Нервозная возбудимость была исходной чертой бисмаркианцев, в то время как в кружке Эйленбурга и Бюлова культивировался покой или как минимум тоска по покою. Но с 1906 года, а возможно и раньше, последователи Бисмарка, будь то гарденианцы или пангерманцы, научились отвечать соперникам их же оружием и представлять себя как партию здоровой жесткости, а противную сторону — как партию декадентской мягкотелости. Это было тем легче сделать, что к этому времени покой уже не всегда считался источником здоровья нервов. Бисмаркианцы, хотя их политические цели были не более ясными, чем у окружения Вильгельма, тем не менее нашли персональный объект для нападения — «Фили» Эйленбург и его «неслыханный» кружок женственных мужчин.

Подозрения в адрес Эйленбурга из-за его гомофильных наклонностей изначально исходили от самого Бисмарка — именно через него Гарден вышел на этот след. Его уколы в адрес дружеского круга Эйленбурга начались уже вскоре после основания «Die Zukunft», но долгое время не выходили за рамки мелких уколов и намеков. С течением времени язвительные намеки участились, превратившись в крупную наступательную кампанию. Гарден, чей псевдоним стал постепенно восприниматься как символ жесткости[27], специализировался на злобных шутках против любых проявлений мягкосердечия в окружении Вильгельма.

Он требовал, чтобы «на место болтунов» встали «люди дела», тогда бы «дела в Германской империи пошли лучше». Слабости болтунов

[27] Фамилия публициста (Harden) в оригинале созвучен немецкому *hart* — жесткий, твердый.

были ему известны по собственному опыту, ведь он и сам к ним принадлежал. У него было чутье на все нервозное и суетное, потому что, как писал о нем Теодор Лессинг, «основой его расколотой натуры» была «вечно угрожавшая ему возбудимость». Он упрекал кайзера в том, что тот испугался войны из-за Марокко. Но когда в 1914 году Вильгельм II сделал реальный шаг к войне, Гардена вскоре охватил страх. Дело Эйленбурга не раз ставило на грань психофизического срыва не только преследуемого «Фили», но и самого Гардена. Это была настоящая игра нервов. Бывший врач Бисмарка Швенингер, лечивший также Гардена, в 1906 году предостерегал от дальнейших перегрузок его «и так чудовищно перегруженные нервы» (см. примеч. 72). Гарден, которого Теодор Лессинг считал образцом еврейской ненависти к себе, олицетворял еще и самоуничижение нервозности.

Серьезную атаку на эйленбурговскую «камарилью», «либенбергские застолья», он начал после Алхесираса, когда пришел к убеждению, что если речь зайдет о жизни и смерти, то мягкотелая и слащавая шайка не даст кайзеру и его правительству защитить честь великой германской державы открытой угрозой войны. С этого момента Гарден, по словам другого публициста и историка Генриха Фридъюнга, «без устали» «пришпоривал читателей своей “Die Zukunft”», превзойдя в этом даже пангерманцев. На протяжении всей кампании против Эйленбурга Гарден всячески провоцировал кайзера, стремясь вызвать в нем ощущение, что только война может спасти его честь. Всеобщее внимание вызвала опубликованная Гарденом в 1907 году статья «Вильгельм Миролюбивый». Заголовок отсылал к фразе Клемансо, якобы назвавшего кайзера «пацифистом». Гарден добавил к этому слух, будто это личное желание кайзера — «остаться в истории под именем Вильгельма Миролюбивого». «Злополучная флейта!» — комментировал он, намекая на музыкальные склонности «трубадура» Эйленбурга. «Но если германский кайзер настолько не склонен к войне, что даже попытка унижения не вынудит его взяться за оружие, то немецкий народ сам будет ковать свою судьбу». В июне 1908 года, когда Гарден в лице рыбака Якоба Эрнста нашел наконец надежного свидетеля обвинения против Эйленбурга и фюрст оказался разбит, Гарден торжествовал: «Заколдованный круг разорван. Сладкоголосые певцы и духовидцы вернутся не скоро». Теперь кайзер «свободен», освобожден от «веры в романтическую политику».

Разоблачения Гардена, которые в течение нескольких лет эпизод за эпизодом изящно предлагались широкой публике, стали европейской сенсацией и приковали к себе всеобщее внимание. Эйленбург полностью сдался, признав, что стал для немцев «жупелом», при имени кото-

рого бьют «кулаком о пивной стол». Карл Краус, когда-то почитатель Гардена, теперь кипел от ярости и отвращения к той низости, с какой Гарден мобилизовал предрассудки против гомосексуальности, и ужасался чудовищному отклику на эту травлю в Германии. Необъяснимая популярность «антигомосексуалиста» Гардена, по словам Крауса, демонстрировала «духовную извращенность этого народа». Именно тогда он произнес фразу о «немцах как народе судей и палачей», которую сегодня обычно относят к преступлениям национал-социалистов (см. примеч. 73).

Примечательно, что первым, кто сообщил кайзеру о гарденовской атаке в «Die Zukunft», был кронпринц, решительный сторонник жесткого курса в политике. Это добавило ему популярности. «Никогда я не забуду отчаянное, искаженное лицо моего отца, смотревшего на меня неподвижно и растерянно», — вспоминал он позже. Кронпринц объяснил этот ужас «моральной чистотой» кайзера, который до этого случая не имел понятия о сексуальных извращениях в лучших семействах. Однако в действительности Вильгельма испугало то, что в опасности может оказаться он сам. Цедлитц-Трютцшлер в ноябре 1907 года записал, что скандал вокруг Эйленбурга «в итоге сильнее затронул кайзера, чем можно было предвидеть». При этом ему бросилось в глаза, что Вильгельм II не пытался вытеснить из сознания эту мучительную ситуацию. «Обычно он старается избегать правды, если она может быть неприятной, но здесь хотел услышать все до конца». Его реакции были крайне резкими — то он впадал в глубочайшее уныние, то вскипал яростью на прессу. «Короче, у него, так сказать, сдали нервы», — комментировал гофмаршал. Баронесса Шпитцемберг тогда заметила, что Вильгельм II и его окружение стали более «брутальными». Ведь кайзер никогда не был сугубо мягким и чувствительным человеком, каким его хотел видеть Эйленбург, и теперь, когда мягкосердечие оказалось не в чести, он тем более рьяно обратился к твердой стороне своего характера и не препятствовал краху Эйленбурга (см. примеч. 74).

Скандал вокруг Эйленбурга до сих пор обсуждался скорее в той части исторической науки, куда попадают анекдоты; с точки зрения политической и социальной истории он не выглядел серьезным событием. Тем не менее тезис Николауса Зомбарта о том, что «политическое значение» процесса Эйленбурга «трудно переоценить», вероятно, не лишен оснований. Зомбарт полагал, что безжалостная борьба Гардена против тех мужчин в окружении кайзера, кто якобы был не готов «при необходимости прибегнуть к мечу», наложила глубокий отпечаток на политическое сознание следующего поколения. Алхесирас и дело «Daily Telegraph» также внесли в него свою лепту. Гарден был теперь захвачен мыслью о том,

что настало время бороться с крупным заговором гомосексуалистов. По его словам, он получил огромный ворох писем с угрозами, но револьвер его заряжен. Насколько глубоко вся эта история проникла в головы современников, заметно по тому, что молодые люди стали обнаруживать в себе признаки гомосексуальности и в то же время разразилась «эпидемия преследования» (Лёвенфельд) гомосексуалистов. Прусский военный министр призвал офицеров-гомосексуалистов подавать в отставку. Давление нарастало. Разнеслась печальная весть, что в соседних странах немцев подозревают в том, что они «в большинстве своем чувствуют себя равно-полыми». Военный историк Ганс Дельбрюк жаловался на «чудовищное моральное опустошение», которое произвел Гарден в «душе немецкого народа», внедрив интерес к сексуальным извращениям в фантазию миллионов. Процесс над Оскаром Уайльдом, проходивший в Англии в 1895 году, имел сходные последствия — случалось, что прохожие кричали вслед длинноволосому денди «Привет, Оскар!» Однако дело Эйленбурга оказалось более тесно связано со сменой политических тенденций. Восприятие ситуации в мире тесно переплелось с восприятием собственного тела: в обоих случаях слабость грозила опасностью, и побороть ее позволяла лишь суровость. С этих пор для правящих кругов стало опаснее, чем когда-либо, проявлять «мягкотелость» — нарушитель тотчас же попадал под подозрение, что он вредит национальным интересам, а также вызывал сомнения в своем физическом и моральном здоровье. Показательно, что наиболее тяжелый нервный срыв Вильгельма II, случившийся с ним в ноябре 1908 года, еще под впечатлением от дела «Daily Telegraph», был вызван тем, что начальник его военного кабинета Хюльзен-Хезелер упал замертво после того, как он (уже не впервые) станцевал перед кайзером шуточный танец, облачившись в балетную пачку. В актуальном контексте эта внезапная смерть показалась божьей карой за подобные игры. Гольштейн подвел под делом Эйленбурга следующий итог: «Скандальные разоблачения [...] мы преодолеем прежде всего тем, что будем проводить и внутри страны, и за ее пределами достойную политику, которая вытащит нацию из трясины и приведет ее к высоким целям» (см. примеч. 75).

ГОРОДСКАЯ ГИГИЕНА, ШКОЛЬНАЯ НАГРУЗКА, РЕФОРМА ЖИЗНИ: РЕФОРМАТОРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАБОТЫ О НЕРВАХ

Сто лет назад о нервозности писали даже больше, чем сегодня о стрессе. Концепт нервозности особенно сгодился в трех долгих публичных дискуссиях: о плюсах и минусах больших городов, о школьной нагрузке и

обо всем, что имело отношение к «гигиене» и реформе жизни. Учение о нервах повсюду ассоциировалось с актуальными реформ-движениями.

В 1902 и 1903 годах независимо друг от друга выходят два сочинения с одинаковым названием «Гигиена нервов в большом городе». Оба были написаны известными неврологами — Альбертом Эйленбургом и Отто Дорнблютом. Первый писал по опыту работы в Берлине, перед глазами другого были жители Франкфурта. В том же 1902 году берлинский невролог Альберт Молль опубликовал статью «О влиянии жизни в большом городе на нервную систему». Актуальность темы была налицо. Бросается в глаза, что все авторы начинали свои труды одинаково — отвергали подозрения в своей нелюбви к мегаполисам, а уже потом переходили к тому, что несмотря на все достижения гигиены жизнь в большом городе очень тяжела для нервов и не все предостережения против нее есть предрассудки закоренелых ретроградов. Неприятие мегаполисов было на рубеже веков далеко не столь модным, как это изображает сложившаяся позже картина истории, в которой образованная буржуазия кайзеровской Германии бредит реакционной романтикой. Когда остались позади наиболее неприятные гигиенические проблемы, большие города по-новому оценили плюсы урбанизации. Заметно, что все три автора (все они принадлежали к немецко-еврейской интеллигенции, были сторонниками прогресса и жили в крупных городах) дистанцировались от реакционно-аграрных взглядов. И если они все же писали о нагрузках для нервов в больших городах, то не из антиурбанистических предрассудков, а скорее вопреки своей симпатии к мегаполисам.

Эйленбург начинает с утверждения, что большие города стали оплотами неврастении только потому, что их население рекрутируется «в основном из физически и духовно неполноценных слоев». Он считает, что в маленьких городках и в деревне «неврастения распространена сегодня никак не меньше». Тем не менее в конце книги уверяет, что один ученый из небольшого университетского городка был «тысячу раз прав», когда ради благополучия своих детей отказался от приглашения в Вену. «Присущая большому городу чудовищная концентрация», когда число контактов растет «в геометрической прогрессии», неизбежно разрушает нервную систему. Видимо, он не замечает, насколько противоречат друг другу его утверждения. «Все» в большом городе «перегружены — от высокопоставленного государственного чиновника до ассистента почтового работника, путевого обходчика и стрелочника, от директора престижного торгового дома до самого мелкого торгового служащего и приказчика». «Измученному горожанину с его истерзанными нервами» остается только бежать из мегаполиса. Проживание в спокойных пред-

местьях, большие и малые путешествия, садовые колонии — лучшие лекарства от городской нервозности. Эйленбург приветствует также народные купальни и даже поддерживает требование социалистов об общественных кухнях, которые освободят «мир женщины» от «незначительных и недостойных» бытовых мелочей. Кроме того, он призывает к строжайшей борьбе против «крупнейших бедствий городской жизни» — алкоголизма и проституции (см. примеч. 76).

Большой город как патогенный элемент встречается во многих трудах о нервозности, причем повторяются одни и те же аргументы. Если авторы объясняют нервные расстройства сверхпотоком раздражителей и переизбытком потребностей и излишеств, то они в качестве главного виновника склонны видеть жизнь в мегаполисе. «Гигиеническая листовка» для нервнобольных 1901 года говорит как о доказанном факте, что «жизнь в большом городе и нервные расстройства равнозначны». Но и та мысль, что повышенная нервозность — это не только расстройство, но и приспособительная реакция к индустриальной культуре, также возникает на опыте большого города.

Тема нервозности способствовала тому, что спорить о состоянии городов продолжили и после того, как удалось достичь первой великой цели коммунального гигиенического движения, на которой прежде концентрировалось все и вся, — речь идет о снабжении городских жителей чистой питьевой водой. В 1888 году показатели смертности в немецких городах впервые упали ниже сельских, и этот эпохальный перелом был отмечен и оценен современниками. В 1902 году один медик привлекает внимание к «гигиене деревень» и советует гигиенистам обратиться к борьбе с грязью в сельской местности, гигиенические проблемы городов он считает уже решенными. Именно на таком фоне развернулась волна публикаций о «гигиене нервов» горожан. Авторы с полным правом отмечали, что с первыми достижениями городской санитарии решены еще далеко не все проблемы, многие неприятности стали по-настоящему заметны только теперь. Широкие улицы, через которые в город пришел ветер, избавили их жителей от древнего страха перед духотой и спертым воздухом, но зато ускорили движение транспорта. Расширение улиц и канализация невольно повлекли за собой нежелательный эффект, позволив строить густонаселенные доходные дома, — расходы на канализацию легче было выдержать при плотной застройке, а широкие улицы устранили недоверие гигиенистов, пожарных и полицейских по отношению к густонаселенным домам. Новое поколение городских реформаторов стало сомневаться в прежнем типе городской гигиены (см. примеч. 77).

Радость от снижения уровня смертности в городах была недолгой, в последние годы перед войной общество взбудоражила новая тема: сни-

жение уровня рождаемости, особенно заметное именно в больших городах. Тот, кто считал горожан дегенератами, мог не испытывать сожалений по поводу их малой плодовитости, но такой культуроптимист как Гельпах задался «насущнейшим» и «великим вопросом» о том, чего именно не хватает жителям мегаполисов для продолжения рода — «физической *силы*» или же «духовного *желания*». Сегодня ответ кажется абсолютно ясным — дело не в силе, а в желании, ведь все те мотивы, которые с ростом благосостояния снижают радость от появления детей, известны и банальны. Однако в то время вопрос этот представлялся волнующей загадкой. Как мы уже видели, по господствующим тогда представлениям неврастения часто проистекала из онанизма, сифилиса и прерванного полового акта. Соответственно, ее возникновение имело много общего с противозачаточными практиками, в которые можно включить и связь с проститутками. В то же время неврастения зачастую снижала потенцию, порождала бессильное сладострастие. Из-за своей раздражительности неврастеники считались дурными родителями и супругами. Все это позволяет предположить, что между снижением рождаемости и слабонервностью складывается порочный круг. Отто Бинсвангер отмечал, что неврологи, лечившие в основном горожан, придавали сексуальной неврастении очень важное значение, в то время как сам он, имея опыт в лечении жителей как деревень, так и мелких городов, встречался с ней редко (см. примеч. 78).

Тема секса традиционно играет большую роль в критике урбанизма: большой город нередко кажется чуть ли не кодовым словом сексуального раскрепощения. Ужас перед теснотой, скученным образом жизни городской бедноты объяснялся не только медицинскими соображениями и любовью к людям, но нес в себе элемент сладостного трепета перед фантомом сексуальных оргий, которые, как казалось, происходили в подобных условиях. Не только доводы рассудка объясняли интерес жилищных реформаторов к многоквартирным домам. Многие их выпады кажутся сегодня странными и выглядят как доказательство того, что критика урбанизации в то время отражала буржуазно-консервативную мораль. Однако время было другим, и мотивы неприятия мегаполисов — совсем иными, чем у более близких нам депрессий, вызванных «негостеприимностью», анонимностью, вытеснением людей машинами. Даже такой опытный исследователь секса, как Иван Блох полагал, что «возбуждающий, оглушающий характер большого города [...] достиг невероятного накала». «Город — типичный носитель того возбужденного состояния чувств и нервов, которое характеризует наше поколение». «Горожанин — типичный носитель нервозности в ее современном проявлении» (см. примеч. 79).

Однако Макс Вебер, преодолев тяжелейший душевный и нервный кризис, вполне сознательно устремился в огромный индустриальный город со всеми его бурями и вихрями. В 1904 году он прибыл в Нью-Йорк и поселился в одном из небоскребов. У иных из его спутников начались разного рода нервные расстройства, однако сам он не только не страдал нервами, но ему стало «так хорошо, как никогда еще не было со времен его болезни». Он *не хотел* отвергать Нью-Йорк, как делали это многие и многие европейцы, и в положении туриста ему было нетрудно сохранить хорошее настроение. В дискуссии на Франкфуртском заседании социологов 1910 года он подчеркнул, что «определенные формальные ценности в нашей современной культуре могли быть порождены только существованием большого индустриального города с его трамваями, метро, электрическими и другими фонарями [...] и всем этим диким танцем звуковых и цветовых импрессий, впечатлений, будоражащих сексуальную фантазию». Так, через культуру получает признание именно возбуждающая сторона большого города. И до болезни Вебер однажды с удивлением заметил, что «воздух Берлина [...] укрепляет» его нервы. Марианна Вебер, также ощущавшая себя «нервной», в юности воспринимала Берлин как спасение от скуки маленького городка в Липпе: «Стремительный ритм берлинской жизни струился по жилам, наконец-то жизнь!» (См. примеч. 80.)

Взаимосвязь неврастении с крупным городом была не такой прямой и неизбежной, как думали многие горожане. Жизнь в сельской местности казалась спокойной, но это впечатление было обманчивым — деревня также была захвачена развитием капитализма, и более того, оказалась совершенно беспомощна перед ним. И до индустриализации деревни знали, что такое недоверие и враждебность. Тем не менее критика городов складывалась не только из ностальгических иллюзий. Многие мегаполисы кайзеровской Германии пережили на рубеже веков такой взрывоподобный рост, какого не знали ни до, ни после. По показателям плотности населения Берлин, Гамбург, Мюнхен и Вена далеко опередили Лондон и даже Нью-Йорк и Чикаго. Немецкие города напоминали тогда бурлящие адские котлы. В наше время такая картина характерна скорее для мегаполисов Третьего мира. В городах было еще много бедноты, нищенства, нелегальных проституток, узких и запутанных улиц. Мобильность населения была аномально высокой. Сельское население привлекали в город не реальные шансы на улучшение жизни, а призрачные возможности. Ни до, ни после в немецких городах не было такого наплыва людей, не привыкших к городской жизни. Даже Эрнст Ройтер, позже ставший обер-бургомистром Берлина и создавший

образ новой столицы, в 1913 году, только-только переехав в город, жаловался в письме родителям: «Берлин мне очень не нравится. Пыль и ужасно много людей, и все мчатся так, будто каждая минута стоит им десять марок» (см. примеч. 81). Особый ужас вызывали экстраполяции на будущее актуальных тенденций. Сегодня мы знаем, что эти прогнозы были ошибочны, — рост городов на закате кайзеровской Германии надолго приостановился, и изобилие раздражителей сменилось нарастающей монотонностью. Но в других частях мира хаотический рост мегаполисов не прекратился и нес в себе разрушительную тенденцию и в социокультурном, экономическом и экологическом отношениях. В глобальном масштабе есть основания для реабилитации немецкой критики городской среды, которая еще совсем недавно вызывала насмешки как романтически-реакционная, какой она, впрочем, вовсе не была.

Не похоже также, что обсуждение «гигиены нервов в большом городе» не имело практического выхода. Разговоры были связаны с вполне конкретными действиями, заметными, прежде всего, в сравнении с другими странами. Именно в то время, когда усилились жалобы на нервные перегрузки, в городах начался процесс зонирования, защитивший от соседства с промышленными предприятиями сначала владельцев вилл, а затем и представителей средних слоев. Первопроходцем выступил Дрезден, который в 1878 году объявил обширные застроенные виллами кварталы зоной, свободной от промышленности. В 1882 году то же самое было сделано в Альтоне[28]. В 1891 году Франкфурт-на-Майне провел зонирование, в результате которого промышленность была ограничена даже в смешанных зонах, а затем его примеру последовали другие города. Надо признать, что процесс этот отчасти шел за счет жилых районов, населенных беднотой, в которых теперь массированно размещалась промышленность. Однако для высших слоев общества забрезжила перспектива избавиться от промышленного шума, дыма и копоти. Напротив, в таком городе, как Борбек[29], — «крупнейшей индустриальной деревне Пруссии», где преобладали дикие неорганизованные процессы роста и зонирование оставалось безнадежным предприятием, в верхних слоях общества царила неврастения.

«Солнце и воздух», основные принципы курортной медицины и натуропатии, были лейтмотивами и в реформе градостроительства. Жизнь в окружении живой природы стала самым влиятельным бытовым идеалом XX века. Несмотря на привкус буржуазной идеологии, его при-

[28] В 1938 году вошел в состав Гамбурга.

[29] Сегодня — район города Эссен.

тягательность распространялась далеко влево, так же как неприязнь к мегаполисам не ограничивалась кругом консерваторов. «Наши большие города в их сегодняшнем виде никто не будет воспринимать как здоровый продукт», — писал Бебель, а Карл Либкнехт в 1912 году заявил в Рейхстаге под бурные аплодисменты социал-демократов, что обитатели мегаполисов «духовно, морально и физически» искалечены и что «даже города» нужно превратить «в города-сады».

Не только расширение спокойных зеленых предместий, но и монотонность городского ландшафта отчасти связаны с тревогами о нервах. Дорнблют как-то заметил, что «равномерность сплошной линии домов» «не является изъяном» с точки зрения нагрузки на нервы (см. примеч. 82). Идеи о том, что человеческий глаз может страдать не только от избытка, но и от недостатка раздражителей, еще не было. Уверенность в том, что главная угроза исходит от чрезмерного потока раздражителей, не только придала убедительности идеям городских реформаторов, но и ограничила их свободу и творчество.

Споры о непосильных нагрузках в школе по некоторым пунктам пересекались с урбанистическими дискуссиями, ведь многие утверждали, что чрезмерные требования к школьникам возникают только и исключительно на фоне проблем индустриальной цивилизации. Эти дебаты переросли в дискуссию европейского масштаба, тесно связанную с обсуждением школьной реформы и обладавшую широчайшим размахом — от политики до литературы. «Ни один общественный институт во всей западной Европе не привлекает к себе столь мощное внимание в качестве потенциального источника ухудшения здоровья нации, как классическая средняя школа». В германоязычном пространстве эти дебаты велись особенно глубоко и терпеливо. К немецкой культуре XIX — начала XX веков принадлежала не только гуманитарная гимназия, но и ее критика. Недовольны были не только оппозиционеры и сторонние лица, но и высокопоставленные представители господствующего класса. Список именитых критиков настолько длинный, а изливающаяся на школу ненависть порой настолько сильная, что остается только удивляться, до какой степени образованная буржуазия сомневалась в школе как институции, служившей фундаментом их собственного статуса. «Это проклятое образование сгубило всякую естественную способность к суждению; все повторяют друг за другом одну и ту же чепуху», — ругался сам Фонтане, автор классического романа о противоречиях между образованной и экономической буржуазией «Госпожа Женни Трайбель» (см. примеч. 83). Между утратой смысла жизни, от которой страдали многие образованные люди, и феноменом массовой нервозности суще-

ствовала внутренняя связь. С 1880 года на обсуждение школы начинает отчетливо влиять нервный дискурс. Страх перед нервными расстройствами придает теме новый накал, в то время как проблемы школьников предлагали практическую опору тем, кто проявлял тревогу о нервах. В «Центральном листке по сохранению здоровья общества» тема «нервозность» встречается, прежде всего, в контексте непомерных школьных нагрузок.

Начавшаяся в Германии около 1880 года агитация против гимназических перегрузок превзошла по своей активности все, что говорилось на эту тему прежде. Уже с 1870-х годов ведущие критики рекрутировались из психиатрии, и когда в обществе распространился страх, что школа выращивает не только бледных очкариков, но и будущих душевнобольных, ситуация стала серьезной. Психиатр из Брауншвейга Пауль Хассе, выступивший с соответствующими предостережениями, хотя и встретил возражения директоров прусских психбольниц, однако нашел поддержку в редакции «Gartenlaube». По его словам, «нервная конституция нашего времени» — это единая и общая «родоначальница» невралгии, эпилепсии, глухонемоты, пляски святого Витта, идиотизма, и существующая школьная система играет немалую роль в том, что «нервная конституция с высокой скоростью распространяется в лучших кругах общества».

Гипермоторика, непоседливость школьников в то время далеко не так беспокоила общество, как столетием позже. Страхи подогревали, прежде всего, сообщения о самоубийствах школьников, хотя их связь с перегрузкой просматривалась далеко не всегда. В 1882 году прусский министр образования и культуры Гослер поручил составить докладную записку по вопросу перегруженности в старших классах, и уполномоченная комиссия со всей серьезностью взялась за дело. Заключение гласило, что «явные изменения в нервной системе проявляются то в виде утомления и вялости, то в виде разной степени возбуждения вплоть до случаев серьезных болезней». И вновь перед нами картина «возбудимой слабости». Прошло немного времени, и политик центристского толка Райхеншпергер тяжко вздыхал, что быть в курсе всего того, что думают о перегрузках, уже означает перегрузку, — так много об этом писали (см. примеч. 84).

Вряд ли в Германии стресс для школьников был выше, чем в других странах. И вряд ли школа играла бóльшую роль в развитии юношеской нервозности, чем родители. «Нервные» родители встречаются в анамнезах невротиков намного чаще, чем учителя. Между строк этих документов ощущается неприятная тенденция в отношениях отцов и детей, ког-

да обе стороны не склонны принимать ни себя, ни других такими, какие они есть. Видимо, эта тенденция усиливалась еще и «идеалистической» традицией немецкой образованной буржуазии. Однако стало популярным взваливать всю вину на школу. Мёбиус утверждал, что «добросовестные и смелые школьные мужи» соглашались с жалобами врачей на старшую школу — будто те, кто сомневался в перегрузках, непорядочны и трусливы. Но сам он, будучи школьником, видимо, больше страдал от монотонности, чем от нагрузки, по крайней мере он вспоминал, «что на уроках истории говорилось исключительно о пунических войнах». В 1888 году Карл Пельман, авторитетный психиатр и активный участник рейнского гигиенического движения, сетовал, что «раздробленность всех духовных сил» в школе «духовно и физически губит целые поколения». Критика школьных занятий выводила на перспективную тему об опасности для психики постоянного и неизбежного расщепления внимания. Гельпах в 1902 году заверял, что «нет более убежденного противника так называемого гуманитарного школьного образования», чем он сам.

У «подавляющего большинства» учеников проблемы с нервами возникали именно в гимназиях. При счастливом стечении обстоятельств они затем, на первых курсах вузов, приходили в себя. Статья от 1907 года в «Reformblätter», посвященная «школе и неврастении», клеймила школу как «систему ужаса», которая разрушает детские нервы и закладывает фундамент для многочисленных болезней и общей усталости от жизни (см. примеч. 85).

Действительно ли перегруженность школьников была эмпирически подтвержденным фактом? Это совсем не так очевидно, как заставляют думать процитированные издания. Гёслин в «Справочнике по неврастении» упоминал, что в доступной для него статистике школьные перегрузки как причина неврастении играли «очень малую роль». Ссылаясь на Гёслина, Крафт-Эбинг подозревал, что «тема школьных перегрузок как непосредственной причины неврастении сильно раздута». Молль смеялся, что эта тема — «излюбленное поле многочисленных краснобаев», и что «проехаться» по школе куда легче и безопаснее, чем разбираться с родителями. «Deutsche Rundschau» напугало всех сообщением, что некий школьник заполучил летальное воспаление мозга, просто заучивая герундий латинского глагола *amare*. После 1918 года строгий санитарный советник одним махом объявил всех реформ-педагогов, «раздувавших страх перед перегрузкой», слабонервными: «Надо положить конец воспитательной работе неврастеников» (см. примеч. 86).

В историях пациентов школа как причина заболевания встречается не часто, по крайней мере в явном виде. У сына лифляндского помещи-

ка, нервы которого получили первый удар на уроках математики, вина за это лежала не на школе, а на отце-математике. Уже в возрасте 50 лет он жаловался, что «в рабстве у своего отца» был «измучен математикой». Прежде «нервозности в семье» не было, но и он, и семеро его сестер «уже в раннем детстве были умственно перегружены», «так что теперь все страдают от неврозов». Один учитель с севера Германии признавался, что в школе терял душевное равновесие из-за того, что необходимость решать математические задачи связывалась у него с сексуальным возбуждением. «Особенно его возбуждало, если, например, при выполнении трудной контрольной работы учитель говорил: "Еще десять минут, еще пять минут, и пора сдавать!" При этом он всякий раз испытывал семяизвержение и сладострастные ощущения». Позже, уже в должности учителя, его сводило с ума, что во время уроков с ним происходило нечто похожее (см. примеч. 87).

Жалобы на перегрузку, безусловно, имели реальные причины, даже если прямую связь школы с развитием болезней можно доказать лишь в отдельных случаях. Параллельно шел поток жалоб на переизбыток гимназистов и выпускников вузов. Немецкий исследователь педагогики Маргрет Крауль говорит о «невротической дискуссии переизбытка», которая способствовала строгому отбору среди учителей. В целом врачи из собственных сословно-политических интересов защищали гуманитарные гимназии, так что их критика заслуживает особого внимания. Как сообщала опубликованная в 1884 году прусская докладная записка, даже многие школьные советники и обер-президенты считали, что перегрузки учеников в старшей школе приняли сомнительные масштабы. Приводились определенные причины: хотя «цели обучения» сами по себе не выше тех, что были 50 лет назад, однако теперь гораздо строже следят за тем, чтобы они обязательно достигались. Дело в том, что «педагоги по тем предметам, которым уделяется меньше внимания и преподавание которых часто отдано на откуп случаю (например, французский язык, история и даже математика) теперь также должны обладать основательной подготовкой». Пока отношение к другим предметам было менее серьезным, древние языки обладали притягательной силой, по крайней мере для тех, кто чувствовал себя уютно в мире Гомера и Цицерона. Но когда в школе стали востребованы совершенно другие способности, древние языки стали тяжким бременем. Пауль Рорбах объяснял творимое гимназиями «разорение» тем, что они одновременно преследовали «две разные учебные цели» — гуманизацию и модернизацию, не достигая ни одной из них (см. примеч. 88).

Вильгельм Оствальд называл единый гимназический выпускной экзамен «преступлением и над нашей ученой молодежью» и «моральным и духовным истязанием». Сам он боролся за специализированное естественно-научное образование и высмеивал языковое, в котором гостиничный портье даст фору любому учителю старших классов. Расхожее выражение «быть полиглотом полезно старшему официанту» приписывалось Бисмарку: столь высокого уровня достигало раздражение на филологический снобизм. Уже в 1890 году в школьную политику включился Вильгельм II, и впоследствии стало известно, что он уделял «активное внимание» вопросу о перегрузках и в первую очередь стремился сломить господство древних языков.

Созванная новым кайзером конференция по реформе школы произвела в то время «сенсацию» и показалась символом «новой эры». «Никогда Вильгельм II не был на более верном пути, — писала берлинская "National-Zeitung", — когда в начале своего правления, еще юный и отважный, выдвинул требование, чтобы немецкий язык занял центральное место в образовании. И никогда еще бюрократическая неповоротливость не совершала ничего хуже, чем сейчас, когда всей своей свинцовой тяжестью придавила настойчивую волю кайзера». По крайней мере при Вильгельме убрали выпускное сочинение на латинском языке. Недаром он был первым из правящих Гогенцоллернов, кто выдержал гимназический курс и невыполнимые для него требования матери, в то время как его дед Вильгельм I еще мог позволить себе королевскую необразованность (см. примеч. 89).

Жалобы на перегрузки характеризовали не только школу, но и общество, в котором находили живой и широкий резонанс. Они только подтверждают впечатление, создаваемое литературой по неврологии, что немецкое общество на рубеже веков не было столь ригидным и охваченным жаждой достижений, каким его воображают сегодня. Тема перегрузок обсуждалась повсюду, школа везде служила мальчиком для битья — от «Gartenlaube» до «Die Zukunft», от «Simplicissimus» до «Jugend». «Молодежь переутомляется» — было устойчивым выражением, как сообщал «Справочник по неврастении». Роман Гессе «Под колесами» 1903 года описывает, как школа и полуподавленная сексуальность превращает школьника в нервно- и душевнобольную развалину, причем местами кажется, что автор переписывает справочник по неврастении. Эта история считается в значительной степени автобиографичной, но это не так — расстройства юного Гессе на самом деле были результатом его собственных стремлений, в то время как директор школы, по его

описаниям, был человеком добродушным и заботился о своих учениках чуть ли не чрезмерно (см. примеч. 90).

Разгрузить учащихся стремились не все, к жалобам на перегрузки иногда примешивались совсем иные ноты — речь идет, прежде всего, об интересах естественных наук, техники и спорта. Сюда же добавлялась критика господства иностранных языков со стороны националистов. Под ее влиянием находился и Вильгельм II. Даже в «Немецкой истории» Трейчке можно прочесть, что гимназия страдает от «переизбытка учебных предметов», а чрезмерное количество выпускных экзаменов есть «государственная болезнь Пруссии». Как частное лицо Трейчке еще более резко возражал против «экзаменационных пыток», «этой рафинированной глупости нашего мандаринства», настроенной на то, «чтобы удушить любое здоровое проявление в нашей "государственной молодежи"». Его громы и молнии били не только по естествознанию, этому «отупляющему балласту ненужных знаний об обезьянах, селедках и лобковых вшах», но даже по истории — ее, оказывается, тоже было слишком много. Расхожая фраза «мы погибнем от наших экзаменов!» приписывалась Бисмарку. Гольштейн еще в 1908 году, ссылаясь на самоубийства школьников, утверждал: ничто «не изменило его убеждения — немецкое юношество перегружено». И добавлял, что ответственный за это «учительский трест» — это такая же «напасть» для народа, как сторонники флота. Писатель и бывший учитель Людвиг Гурлитт, автор брошюры о самоубийствах школьников, вел в «Die Zukunft» яростную кампанию против школьных перегрузок, считая их научно доказанным фактом и в пух и прах критикуя сочинения своих противников, возлагавших главную вину за детские несчастья на родителей. Тому же Гурлитту принадлежит пропитанное шовинизмом «Воспитание мужественности». Справочник о нервах 1907 года заключал резкую критику школы тезисом, что «слава Богу», есть и другая школа, «великая школа воспитания нашей армии», которая, прививая твердость и смелость, способна компенсировать некоторые школьные огрехи (см. примеч. 91).

Тем не менее в общем и целом учение о нервах шло на пользу зарождающейся реформ-педагогике: оно поддерживало тенденции к сокращению учебного материала, избавлению от боязни школы, физическому оздоровлению школьников и большему вниманию к индивидуальности. Между терапией нервной системы и реформ-движениями того времени формировалась отчетливая связь. Если последние предвоенные десятилетия стали эпохой открытий в культуре здорового питания и здорового образа жизни — от йогурта до нудизма, — то не последнюю роль

в этом сыграла любовь неврастеников к экспериментам. Едва ли какое иное расстройство столь исправно поставляло гигиенистам, натуропатам, авторам реформ питания столь идеальный объект для опытов, как неврастения (см. примеч. 92).

Как показали исследования последних лет, гигиенические устремления конца XIX — начала XX веков были подлинным массовым движением, более того — одним из наиболее эффективных и разветвленных движений того времени, способным сформировать огромную сеть личных контактов и воодушевить людей буквально до фанатизма. Страстное желание здоровья, само по себе древнее как мир, стало как никогда прежде социальной силой. Даже жизненная сила народного национализма в значительной степени была порождением мечты о восстановлении здоровья. Романтическое увлечение природой на рубеже веков также было тесно связано с волной нервозности и мечтой о здоровых нервах. Герман Лёнс[30], сам «клубок нервов», целиком жил представлениями о «нервном веке». Его американский коллега Джон Мьюр, известнейший тогда защитник природы, видел в невротиках своих союзников в борьбе с лесорубами и инженерами-гидростроителями (см. примеч. 93). Движение за охрану здоровья, пусть по большей части и буржуазное, лишь условно можно отнести к принятым политическим и социологическим категориям, поэтому в исторических описаниях ему долгое время не находилось места. Оно шло поперек классовых границ и политических фронтов кайзеровской Германии и включало очень разных людей — от Августа Бебеля до кронпринца, сторонника пангерманизма (см. примеч. 94). В некотором отношении оно сильнее затронуло господствующую культуру, чем на то было способно рабочее движение. Новые нормы в отношении здоровья проникали глубоко в подсознание и влияли на восприятие собственного тела. В отличие от требований социализма, против требований гигиены нельзя было защититься идеологическим оружием, ведь здоровье было абсолютной ценностью и, соответственно, фундаментом нации.

Герой книги Ганса Пааше, сын африканского вождя Луканга Мукара, совершивший путешествие из недр Африки в «самые глубокие недра Германии» (1912–1913), к своему удивлению обнаружил там два сорта людей: отвратительных, жирных и дымящих пьяниц, и красивую, спортивную и радостную молодежь. Автор, бывший морской офицер, впоследствии ставший пацифистом и убитый за это в 1920 году право-

[30] Лёнс Герман (1866–1914) — немецкий журналист, писатель и охотник, сыграл колоссальную роль в развитии движения по охране природы.

радикалами, до 1914 года был известен, прежде всего, как активный противник алкоголя. Его Луканга Мукара наглядно иллюстрирует, как сильно раскололо немцев движение за охрану здоровья и в особенности борьба с алкоголизмом (см. примеч. 95).

Под яркими лучами нового идеала здоровья упитанный обыватель враз предстал опустившимся и безобразным. Оплывший студент-корпорант с пивным брюхом и висячими щеками стал мишенью для карикатур. «Урррра», гремевшее из обрюзгших тел и рыгающих глоток, стало для нового, закаленного и спортивного националиста постыдным фарсом, поскольку не выражало подлинной готовности к борьбе. Здоровая жизнь, напротив, рождала яркое чувство самоуверенности и общего превосходства. Утренний мир молодежных движений, хождения «в горы по утренней росе», был совершенно иным, чем ночная империя карлика Перкео[31], «утолявшего страшную жажду» из Большой бочки в Гейдельберге. Сидячая и ходячая культуры порождали различные миры, хотя многим вполне удавалось существовать в обоих. Культура алкоголя продолжала господствовать в кайзеровской Германии, но после 1900 года ее адепты уже не могли смотреть на себя в зеркало с прежним самодовольством. Бебель одобрительно цитировал опубликованный в 1901 году призыв авторитетных профессоров немецкому студенчеству, в котором те предостерегали от алкогольных и сексуальных излишеств — не только Бахус, но и Венера попали под прицел «гигиены». Распространенное в кайзеровской Германии ощущение кризиса, не поддающееся удовлетворительному объяснению ни из политических, ни из экономических обстоятельств, базировалось на физической неуверенности, которая находила выход в «неврастении» как болезни века и отражалась в многочисленных жалобах на вялость и нервное истощение.

Гигиеническое движение стало не только ответом на неврастению, но и источником новых тревог и ипохондрических страхов. Между нервозностью и гигиеной сформировалась положительная обратная связь. В 1902 году Молль жаловался, что «гигиенисты-доктринеры» выискивают «все новые и новые опасности» и только разжигают неврастению. Дорнблют писал, что «очень многие невротики» постоянно следят за своим видом, за своим стулом, состоянием языка, обсуждают даже с незнакомыми людьми возможные симптомы, рьяно прочитывают все, что

[31] Перкео — придворный карлик курфюрста Карла III Филиппа фон Пфальцского, хранитель Большой бочки Гейдельбергского замка. Был известен остроумными шутками и способностью много пить, не пьянея. Популярная фигура немецкого фольклора.

попадает в руки и часто формируют себе из этого «обширную и подробную медицинскую систему». «Мы живем в очень ипохондричное время», — сетовал в 1909 году берлинский врач Отто Штульц. «Ничто не поглощает большая публика столь жадно, как изыскания на медицинские темы». Загадочная смесь из страха и желания придавала гигиене особую притягательность. Новое осознание тела обладало своего рода чувственностью. Тайное обаяние многих книг по гигиене и реформе жизни, возможно, заключалось в иллюстрациях с обнаженными и полуобнаженными людьми. Купальни заключали в себе двойственность открытия тела и избавления его от запахов. В домашнем быту резкий рост требований к чистоте зачастую создавал климат хронического недовольства и вечных раздоров со слугами; дни больших стирок, когда в доме обычно «воцарялась неуютная, суматошная, раздраженная атмосфера», случались теперь чаще. Заповеди гигиены хотя и помогли сделать школу дружелюбнее к ученикам, зато увеличили и усложнили хлопоты с детьми дошкольного возраста, и жесткое приучение детей к чистоте также вносило свой вклад в «нервозный» менталитет (см. примеч. 96).

В злободневном романе Готфрида Келлера «Мартин Заландер», написанном около 1885 года, супруга главного героя смеется над неусыпным рвением мужа в народном образовании: «Ах, коли вы знаниями человеческого тела и регулярной заботой о здоровье превратите добрый народ в сущих ипохондриков, то с помощью народной музыки он вновь отлично повеселеет»[32] — духовой музыки! Бьющая по нервам ипохондрия влекла за собой контрреакцию — вместо прерванных аккордов теперь жаждали звуков трубы. Но означал ли этот звук преодоление слабонервности, или он и сам ей принадлежал, как духовой оркестр — заведениям Вефиля? Макс Нордау полагал, что между истерией, ипохондрией, реформой жизни и шовинизмом существует преемственность: по его мнению, «немецкая истерия» выразилась в антисемитизме точно так же, как в ипохондрических страхах. «В девяти случаях из десяти не ошибешься, — писал он, — если сочтешь гордого красавца в охотничьем наряде за шовиниста, почитателя Кнейпа за поборника здоровой пищи, а жаждущего профессорской крови адвоката — за антисемита» (см. примеч. 97). Правда ли это, или же медик и будущий сионист Нордау создал себе козла отпущения в образе антисемита — истерика и борца с вивисекцией? Здесь следует подробно остановиться на отношениях между нервозностью и национализмом.

[32] Пер. с нем. Н. Федоровой.

НАЦИОНАЛИЗМ И НЕРВОЗНОСТЬ: НЕРВНОЕ СОСЕДСТВО НЕМЦЕВ И ЕВРЕЕВ

О роли нервов для немецкого национального чувства в последнее время были высказаны две противоположные точки зрения, роднило которые только то, что оба автора считали нервозность искусственным конструктом. Первый автор, Андреас Штайнер, видит решение загадки, «почему в эпоху экономического благополучия, политического и военного подъема немецкий народ считал себя нервнобольным», в том, что нервозность была для немцев тем отличительным знаком, который поднимает нацию над примитивными народами и утверждает ее «культурный и цивилизационный прогресс». Второй автор, Георг Л. Моссе, напротив, считает, что немецкий народ видел чрезмерную нервозность не в самом себе, а в евреях и гомосексуалистах: т.е. нервозность играла роль стигмы (см. примеч. 98). По такой трактовке, подлинный немец предстает контрастом невротику.

Первый тезис опровергнуть легче всего. Он верен только для США и Джорджа М. Бирда, описавшего «американскую нервозность» с нескрываемой национальной гордостью. Но в Германии поиски подобных свидетельств будут тщетными. Пусть кто-то и был склонен воспринимать нервозность как природный дар, однако с национальной гордостью это никак не связано. Наоборот, бросается в глаза отсутствие каких-либо националистических оттенков. Такой авторитет в вопросах нервов, как Мёбиус, почитал Будду и признавался, что из него не получается «доброго патриота». Среди авторов трудов о нервах было немало националистов, но они вовсе не воспринимали нервозность как избранную черту немецкой нации. Берлинцы, правда, гордились своим темпом жизни — совсем как у «янки», но немцы в общем и целом вовсе не желали становиться суетным народом. Полемическое издание 1902 года «Велосипедная чума и автомобильные безобразия», авторы которого ратовали за «право на покой», возмущались быстрой ездой, угрожавшей «высшим благам нашего любимого немецкого народа: немецкой глубине мысли и уютности!» (См. примеч. 99.) В остальном неврастения, как ее тогда описывали, имела слишком много общего с импотенцией, онанизмом и метеоризмом, чтобы служить основой национальной гордости.

Следует ли из этого, что немцы, наоборот, основывали собственное национальное чувство на *анти*нервности, т.е. покое и уюте? Этот вопрос требует более подробного рассмотрения. Ведь национальная идентичность такого вида, возможно, продолжала вековую традицию и в «нервозную эпоху» могла стать притягательной.

В наполеоновские времена Жермена де Сталь любила сравнивать тяжеловесную немецкую флегматичность с беспокойным романским темпераментом. Генрих Гейне насмехался над немецким стремлением к уюту. Однако приехав в Лондон, он застонал от «ужасной скорости любви, голода и ненависти» и был охвачен ностальгией: «Насколько же веселее и уютнее в нашей дорогой Германии! Как сказочно уютно, как шабатно спокойно идет здесь наша жизнь!» Еще в 1906 году Шедвилл, сравнивая индустриальные достижения США, Англии и Германии, пишет, что немцы «медлительны, целеустремленны, тщательны, методичны и основательны в работе». Их «неприятие торопливости и склонность к основательности проявляется в тысяче мелочей». «В Германии никогда не увидишь бегущего человека, торопливый пешеход тоже редкость, однако к своей цели они приходят». Как видно, немецкие жалобы на «нервозную эпоху» вовсе не единственное свидетельство времени. Возможно, они выполняли защитную функцию и помогали сохранить собственный покой (см. примеч. 100).

Без сомнения, «уютность» была для немцев важна и служила для них базисом уверенности в себе и чувства собственного достоинства. Своей кульминации это чувство достигло в бидермейере, однако и в индустриальную эпоху оно не исчезло. При этом непереводимое и многозначное понятие «уютность» (*Gemütlichkeit*) все больше приобретало значение «неторопливость» и «медлительность». Психиатр Генрих Гофман в 1856 году ездил во Францию и Англию и заметил, что у его тамошних коллег никогда нет времени, и общение с ними приносит поэтому мало радости. И напротив: «Когда в Германии я навещаю коллегу, меня принимают сердечно и дружески, на стол ставят бутылку вина, воцаряется приятная праздная беседа [...] и время пролетает незаметно». Фонтане писал, что хотя немцу в Англии импонирует все и вся, но «удивительно, ко всему этому вдруг примешивается неудержимая тоска по нашей мелкобуржуазной Германии, где совершенно не умеют показать себя, зато умеют так великолепно, удобно и уютно жить». Культ уютности не был пустыми фразами, но содержал подлинный опыт благополучия. Надо полагать, в «нервозную эпоху» на этом уверенней прежнего могла утвердиться антинервная немецкая идентичность. Сам Бирд буквально вложил в уста немцам такой самоанализ: «Немцы служат примером "*coolness and calmness*"[33], [...] в которых так нуждаются американцы с их истощенными нервами», и поэтому «германизация Америки» (sic!) пошла бы на пользу американским нервам (см. примеч. 101). «Немецкий

[33] Хладнокровие и спокойствие (*англ.*).

дух спасет мир»[34] — на неврологических началах. Но никто в Германии этот пас не принял.

Факт удивителен, и интерпретировать его можно двояко. С одной стороны, он указывает на то, что беспокойство и нервозность были в Германии настолько распространенными явлениями, что сами немцы уже не верили никаким восхвалениям их уюта. Если иностранцам немцы все еще казались относительно спокойными, то сами они себя и свой мир такими уже не считали. Для Ойгена Дизеля «бесконечная неугомонность и трудовое буйство» (sic!) немцев к 1900 году стали некой загадкой. Даже в глазах историка-пангерманца Альбрехта Вирта восточноевропейские «торговцы мышеловками и крысоловы [...] часто обладали более крепкими нервами, чем культурный сброд наших столиц». «Нынче уже стыдятся покоя», — досадовал Ницше около 1880 года, — как раз когда на сцене появился Бирд, — описывая, как «лихорадочный темп работы» американцев «начинает уже заражать дикостью старую Европу»[35] (см. примеч. 102).

С другой стороны, он указывает и на другой пункт, объясняющий, почему немцы не гордились своими нервами, — тогда стали возникать сомнения в том, что традиционный немецкий уют с его флегматичностью и непритязательностью есть повод для гордости. Из немецких кабачков в ночные часы все еще раздавались здравицы в честь уюта и покоя, однако националисту с его мечтой о возрождении народа эти звуки стали подозрительны, пусть он порой еще и сам к ним присоединялся. В статье, анализирующей критику немецких экспонатов на Всемирной выставке в Филадельфии 1876 года («дешево и плохо»), объединены в одной фразе «немецкая уютность и филистерство». Понятие «филистер» было фатальным. Невролог Хиршкрон изобразил в 1893 году «уютного пивного филистера», «как бы саму флегму в человеческом обличии», как типаж человека, обладающего иммунитетом к неврастении, — но ведь это отнюдь не было идеалом новой Германской империи.

[34] Дословно: «Немецкий дух вылечит мир» («*Am deutschen Wesen soll die Welt genesen*») — выражение, составленное из двух последних строк стихотворения Эммануэля Гейбеля (1815–1884) «Призвание Германии», в котором автор ратовал за объединение отдельных немецких государств в единую Германию во главе с Вильгельмом I в качестве кайзера. «Немецкий дух (*Wesen*)» на самом деле подразумевал германскую государственность (*Staatswesen*). Национал-социалисты впоследствии вырвали слова из контекста, вложив в них совершенно иной смысл, а именно — *deutsches Wesen* как «немецкая сущность», «немецкость», «немецкий дух».

[35] Цит. по: *Ницше Ф.* Веселая наука / пер. с нем. К. Свасьяна // Ницше Ф. Полн. собр. соч. в 13 т. Т. 3. М., 2014. С. 328.

С XVIII века словом «филистер» студенты дразнили туповатого недалекого обывателя. В домартовский период[36] это слово впервые приобретает политический оттенок и применяется для ограниченного, закрытого для идей свободы бюргера и партикуляриста, который страшится идеи национального государства. Людвиг Рохау в 1869 году называл «доморощенное филистерство» в немецком национальном характере «эффектом долгого несчастного прошлого». С 1890-х годов добавляется новый оттенок: для сторонников наступательной политики «филистером» был тот, кто все еще считал Германию «сытой» и не видел нужды в активных политических действиях. Когда в 1913 году генерал Кейм, выступая перед немецкой Оборонной лигой, гневно обрушился на «филистеров», «для которых высшая гражданская ценность — это покой, и которые не хотят, чтобы возможность войны мешала им в их диванной политике», речь его была прервана «бурными овациями» (см. примеч. 103).

Но что могли новые националистические поколения противопоставить «шписбюргерам»[37] и «филистерам»? Нового идеала немца еще не было, не было даже единого мнения о том, каким ему быть: идеалистом или реалистом, аскетом или весельчаком, сильным духом или сильным телом. Самым уязвимым местом пангерманцев было то, что многие из них были до путаницы похожи на ненавистных им «филистеров». Видя в себе острие копья нового германизма, пангерманцы на самом деле не выходили за пределы своих кружков, обществ и шумных застолий, и ничто не задевало их больнее, чем острое словцо Бюлова об их «трактирном политиканстве» (1900). Сам Клас с горечью писал о том, что это прозвище буквально прилипло к пангерманцам, — с тех пор он стал непримиримым противником Бюлова (см. примеч. 104).

В реальной жизни к тому времени уже давно существовала основа для нового немецкого идеала, резко отличного от бидермейеровского бюргера. В кайзеровской Германии было множество людей с высокой трудоспособностью и ярко выраженной коммерческой жилкой. С обострением конкурентной борьбы, как показывает система государственного социального страхования со всеми ее последствиями, немецкой традицией, отличающей немецкий путь модернизации от американского, стали забота о будущем, социальные гарантии и беспокойство о здоровье. Вот только многие народные националисты не сумели оценить этот но-

[36] Домартовский период — эпоха между Венским конгрессом 1815 года и Революцией 1848–1849 годов в Германии.

[37] *Spießbürger* (нем.) — обыватель, мещанин.

вый тип немца. Они стремились к героизму, а не страховому менталитету, к идеализму, а не трудолюбию, к общности, а не конкурентной борьбе. Англичанка Кэролин Плейн, автор труда «Неврозы наций» (1925) полагает, что немцы «по натуре своей идеалисты» и «резкий разворот к грубому материализму» смутил их дух. Их «природная склонность» к «грезам и размышлениям» внезапно оказалась блокирована; даже дети оказались под таким давлением, что «стали невротиками». О том, что немцы по природе своей идеалисты, можно спорить, однако очевидно, что новый экономический менталитет не предложил в то время основ для национального идеала, привлекательного для немецких националистов. Отсюда — вечная неуверенность в ответе на вопрос: «Что является немецким?» Хотя Фридрих Науман провозгласил: «Тема немцев — индустриализация!» и «ново-немецкий дух» проявляется, прежде всего, в крупной организации, но его лозунг «Мы будем народом качества» сделал бытие «по-немецки» слишком утомительным (см. примеч. 105). Повсеместное ощущение слабости нервов говорит о том, сколь трудной для усвоения оказалась такая идентичность.

К немецкой *Gemütlichkeit* принадлежала и привычка давать себе волю (правда, не выходя за известные рамки), некоторая развязность в поведении и относительно высокая терпимость к неуклюжей наивности и той прямоте, у которой «что на душе, то и на языке». «Строгость манер и обычаев в Англии и Северной Америке для немца невыносимы», — писал уже Вильгельм Риль[38]. Он видел в этом немецкий тип свободолюбия, внутренне связанный с немецким лесом и суливший своим носителям великое будущее. Возможно, такая непринужденность действительно несла в себе нечто расслабляющее. Но в молодой Германской империи, где сошлись социальные элиты множества мелких немецких государств, отсутствие общих объединяющих правил все сильнее воспринималось как дефицит, бесформенность превратилась в неуверенность. Ведь теперь, когда появились рамки национального государства, и национализм набирал силу, людям *хотелось* иметь национальный немецкий стиль, хотелось сконцентрированной энергии и смелой решительности, даже если где-то внутри они еще тосковали по традиционному уюту. По-

[38] Риль Вильгельм Генрих (1823–1897) — немецкий публицист, историк культуры. Считается основоположником немецкой этнографии и научного изучения фольклора. Подчеркивал связь народной культуры с природой и ландшафтом. При жизни немецкие коллеги в основном не поняли и не приняли его призыва отказаться от «книжной учености» в пользу приобретаемого личным путем (например, в путешествии) опыта и художественной ценности описания — идеи, основополагающей для «полевых» исследований, этнографии и наук о культуре во второй половине XX века.

сле 1870 года в Германии отчетливо растет число книг о правилах приличия, и еще заметнее — их тиражи: явный признак того, что люди теряли уверенность, как себя вести. Изданный в 1878 году бестселлер Франца Эбхардта «Хороший тон» призывает даже в «волнующие» моменты жизни держать свои чувства под контролем и не давать волю «слабым нервам» (см. примеч. 106).

Если традиционная уютность не пригодна в качестве фундамента для немецкой идентичности, то остается еще вопрос — может, как полагает Моссе, понятие нервозности формировало негативную идентичность, выделяя и стигматизируя «не-немецкое»? Поскольку идентичность Германской империи определялась скорее поиском врага, чем позитивными образами, подобная находка не была бы открытием. В некотором отношении даже было бы логичнее всего сделать «нервозность» олицетворением всего того, против чего восставал подлинно-немецкий дух. Ведь немецкое национальное чувство традиционно складывалось в противостоянии с Францией, а Париж считался оплотом разврата, декадентства и крайней раздражительности. Слово *nervös* пришло в немецкий язык в XIX веке как галлицизм. Истерия еще в 1880-х годах считалась преимущественно французским недугом, даже Шарко полагал, что она особенно часто встречается во Франции. Эрб считал Францию «классической почвой истерии»; Пельман говорил, что французским неврологам выгодно «обилие нервных женщин». Но все это вовсе не означало, что немцы считались достойным контрастом. Только швейцарец Карл Хилти, называвший французское дело Дрейфуса «масштабной неврастенией», был убежден в том, что «победоносный перевес германских народов над романскими» всегда базировался «на их более крепкой нервной системе» (см. примеч. 107). Но немцам из значительной части их истории, напротив, трудно было сделать вывод о своем превосходстве над романскими народами.

Действительно, вопреки противоположным утверждениям, в немецкой неврологической литературе до 1914 года не обнаруживается практически ничего националистического. Лёвенфельд, как и Молль, заметил, что гипотеза о том, что истерия особенно распространена среди француженок, уже не работает. Лишь после того, как началась война, он, охваченный военными настроениями, издал труд «Галльская психопатия» (*Psychopathia gallica)*, в котором подчеркивал возбудимость как характерную черту французов; но и там не вполне ясно, идет ли речь о слабости или же, по крайней мере в определенных ситуациях, о сильной стороне. Альберт Эйленбург хотя и грезил в «Die Zukunft» о «давней зигфридовской веселости» немецкого народа, однако подчеркивал, что

современная «нервозность» — это порождение «глубин и мелей мира наших мыслей и настроений», и для отличия упоминал китайцев как совершенно не нервный народ. Дорнблют знал, что «весь мир полон неврастеников», а вот «о склонности различных народов и рас к психоневрозам» был «еще недостаточно осведомлен». Периодически появлявшиеся версии оказывались несостоятельными (см. примеч. 108).

В разговорах немецкие медики, может, и давали волю своим националистическим предрассудкам, но в публикациях неврологический национализм до 1914 года считался несерьезным. Нервный образ Франции чаще проскальзывает у политических мужей, однако акцент всегда ставился на теме возбудимости, а не слабости. Бисмарк, изменив текст Эмсской депеши, рассчитывал на «возбудимость» французов, однако в том же контексте упоминал «галльского быка», т.е. возбудимость вовсе не означала слабость. При случае Бисмарк охотно демонстрировал и собственную возбудимость. Бюлов посмеивался над французским декадансом, но подчеркивал, что французскую «эластичность и жизненную силу даже вопреки моральному упадку нельзя недооценивать». Он по собственному опыту знал, что и без строгой морали можно быть энергичным. Указания на *nouvel esprit*, новый французский агрессивный дух, в последние довоенные годы стали излюбленной темой немецких шовинистов (см. примеч. 109).

Совсем другой случай — евреи: множество авторов сходились во мнении, что евреи особенно подвержены нервным расстройствам. Сегодня это может вызвать глубокое недоверие к дискурсу нервов: может, постоянные разговоры о нервах способствовали росту антисемитизма — если и не прямо, то по крайней мере опосредованно и невольно? Обладало ли понятие нервозности стигматизирующим эффектом, как указывал на это Моссе? Случайно ли поток жалоб на неврастению начался именно тогда, когда враждебность к евреям, долгое время существовавшая в латентной форме, вырвалась наружу и, пережив фатальную модернизацию, превратилась в «антисемитизм»? Немало свидетельств того, что евреи в то время казались источником и воплощением нервозности. Трейчке обвинял «семитство» в том, что оно «бесспорно [...] несет часть вины» за «тот гнусный материализм наших дней, который рассматривает любую работу как выгодный гешефт и грозит задушить традиционную уютную радость труда, свойственную нашему народу». У читателя того времени могло возникнуть впечатление, что прежнюю уютность вполне можно восстановить, если избавиться от евреев. Евреи были подходящим объектом для проецирования собственного беспокойства, появилось выражение «еврейская спешка». Клас в духе почитаемого им

Трейчке писал, что приехавшие с востока евреи привнесли «элементы спешки, бесцеремонности и моральной бесчувственности в нашу хозяйственную жизнь». В 1920-х годах психолог Мюллер-Фрейенфельс в книге «Психология немецкого человека» пишет, что еврей «резко противостоит» немцу своим «гораздо более быстрым темпом жизни». Однако при этом он полагал, что благодаря евреям в немецкую кровь вливается то шампанское, которого, по мнению Бисмарка, ей не хватает (см. примеч. 110). Если возврат к прежнему уюту уже невозможен, то с еврейским элементом в немецкой культуре можно было бы смириться.

Литература о нервных и психических расстройствах, как бы осторожна она ни была в вопросах национальности, для евреев делала исключение. Это относится не только к немецким авторам: Шарко также верил в «нервозность» евреев, а через него это представление разошлось по всей Франции. Андреа Варга, автор статистического исследования об итальянских домах для умалишенных между 1874 и 1888 годами, придерживалась мнения, что евреи вследствие «лихорадочной тревожности» во всей Европе дают «самый высокий процент душевнобольных». Эрб утверждал, что «семиты» это «уже от природы склонная к невротии раса», «у которой благодаря неукротимой жажде приобретательства и веками присущего им образа жизни, а также вследствие близкородственных браков в удивительно высокой степени развилась и распространилась нервозность». Его трактовку подхватил Крафт-Эбинг, а его, в свою очередь, процитировал венский врач Мартин Энглендер в своем исследовании о «наиболее частых болезненных явлениях еврейской расы» (1902), усомнившись, правда, в тезисе о близкородственных браках. Еще социально-медицинский справочник Моссе и Тугендрайха (1913) констатировал, что почти все известные учебники «подтверждают склонность еврейской расы к психическим аффектациям», если не рассматривать алкогольные психозы, гораздо более частые у христиан, чем у евреев. Статистические данные при всех этих утверждениях почти не приводятся (см. примеч. 111).

Антисемитских настроений в немецкой неврологической литературе, напротив, почти не встречается. Это тем более примечательно, что противникам евреев было бы очень легко внести в популярную литературу о нервах подспудный антисемитизм. В Англии и Франции именитые медики вполне позволяли себе такие отступления, но в немецкоязычном пространстве их почти нет. Эдуард Шортер объясняет это тем, что немецким врачам приходилось считаться с пациентами еврейского происхождения (см. примеч. 112). Но этого объяснения недостаточно, ведь тогда антисемитские комментарии врачей должны были встречаться в

историях болезней, но и этого почти нет. По всей вероятности, тот антисемитизм, который в 1920-е годы принял среди медиков устрашающие формы, до 1914 года был еще не так силен. Значительный процент людей еврейского происхождения среди самих неврологов также не объясняет отсутствие антисемитских интонаций, ведь тогда следовало бы ожидать яростного антисемитизма от конкурирующих с ними врачей нееврейского происхождения — если бы к тому существовала предрасположенность. В общем и целом дискурс нервов решительно противоречит теории Гольдхагена о том, что смертельная ненависть к евреям давно уже была элементом немецкой культуры.

Многие евреи соглашались с тем, что нервозность была существенной частью их натуры и разделяли убеждение, что неврозы особенно часто встречаются среди еврейского населения. Лёвенфельд считает «фактом», «что среди иудеев в настоящее время обнаруживается диспропорционально большой контингент неврастеников и истериков». Он не называет это «особой склонностью расы» — у евреев из Восточной Европы можно скорее предположить нищету и «тяжелейшее моральное давление», а на западе — «преобладание среди иудеев людей умственного труда». Концепт неврастении открывал широкое поле для поиска внешних факторов. Герман Оппенгейм упоминает в качестве источника неврастении «чрезмерное честолюбие» еврейских семейств, вынуждавшее детей «к нездоровому напряжению всех сил». Об антисемитизме как причине неврастении эти авторы не говорят. Зато Август Крамер наглядно описывает, как проявления дискриминации вызывают у еврейских пациентов, уже явно идущих на поправку, все новые и новые вспышки нервозности. «Невероятно, что им приходится переживать. [...] Куда бы они ни пошли, они никогда не знают, что с ними случится, поедут ли они по железной дороге, на конке или зайдут в ресторан. Они все время готовы к тому, что над ними будут смеяться, издеваться и глумиться» (см. примеч. 113). Нервозность была адекватной реакцией евреев на положение в стране, где они хотя и не преследовались, но постоянно сталкивались с диффузным и подспудным антисемитизмом.

Из историй пациентов складывается впечатление о еврейской нервозности, хотя достоверность здесь не поддается проверке. Ситуации, когда пациент в анамнезе намеренно подчеркивает свое еврейское происхождение как отягчающий элемент, встречаются очень редко. Электротехник, пациент Бельвю, у которого нервное расстройство из-за эротических и профессиональных разочарований перешло в острую стадию, писал Роберту Бинсвангеру: «В гимназии я долгое время был единственным евреем в классе, и в этом качестве, тем более что я был во всех от-

ношениях более избалованным, более притязательным и отчасти также более одаренным, чем мои одноклассники, а также не хотел участвовать в их играх, я нередко подвергался насмешкам и плохому обращению». Он заговаривает о своем еврейском происхождении, но сразу же приводит и другие факторы, имеющие значение в его социальной изоляции.

В Арвайлере в документах о 30-летнем инженере-строителе иудейского вероисповедания, который «всегда был несколько изнеженным и слабым», пишут: «В течение многих лет у него было чувство, что из-за конфессии его только терпят, не воспринимают как полноценного. Поэтому жил одиноко и уединенно». Сначала он состоял на государственной службе, на железной дороге, где работа не была «чрезмерно утомительной». Но поскольку он думал, «что из-за своей веры ему не сделать карьеру на государственной службе», он перешел на частное предприятие, где труд был «очень утомительным». «Постепенно стало усиливаться чувство, что и здесь на него косо смотрят. Ему казалось, что за его спиной морщат нос, что к его чертежам придираются. Потом коллеги и начальство опять стали неестественно любезны. [...] В конце концов дошло до того, что ему стала чудиться настоящая травля». Через неделю после приезда в Арвайлер он жаловался отцу, что ему там не хорошо. «Большинство пациентов — бывшие офицеры» (имелось в виду, видимо, офицеры резерва), «и травля разразилась снова. Ему нужно в еврейское общество, где он будет знать, что его не преследуют». В Арвайлере диагностировали «нервное истощение с параноидальными идеями». Его расстройство выражалось, прежде всего, в сексуальных проблемах: «из идеализма» он никогда в жизни не имел сношений с женщинами, зато страдал частыми поллюциями. Еврейское происхождение выступает у него как патогенный элемент лишь в сочетании с другими факторами (см. примеч. 114).

Были и такие еврейские авторы, кто сознательно описывал нервозность у евреев как недостойное и опасное состояние, чтобы всколыхнуть евреев и заставить их ощутить необходимость коллективного возрождения. Это относится к Нордау, борцу против «вырождения» и одному из основателей сионизма. Теодор Лессинг называл «еврейскую возбудимость» в отношении критики некоторых еврейских качеств «частью социальной неврастении» и «патологией народной души», которую необходимо преодолеть. Швейцарский психиатр и сионист Рафаэль Бекер признавал, что евреи особенно подвержены не только неврастении, но и тяжелым психическим заболеваниям, однако делал это лишь за тем, чтобы подчеркнуть, что единственное средство и «радикальная терапия» заключается в «создании собственного дома и страны». Потому что в

настоящее время евреев доводит до безумия не давление извне, но утрата веры и коллективный комплекс неполноценности (см. примеч. 115).

При всех разговорах о нервозности евреев никогда не забывали о том, что нервная слабость чрезвычайно широко распространена и среди других наций. Сделать из нее стигму было явно невозможно. Даже наоборот, тема нервозности почти автоматически, даже без желания автора, задавала определенную солидарность немцев и евреев. Если считать, что нервозность как массовый феномен порождена эпохой модерна, то у евреев, этого древнейшего народа, не могло быть к ней никакой наследственной предрасположенности. Соответственно, причины неврозов крылись в разочарованиях и внешнем давлении. Если в глазах антисемитов евреи были источником нервозности, то в дискурсе нервов они представали жертвами слабых нервов. По мнению Хьюстона Стюарта Чемберлена, наиболее влиятельного антисемита вильгельмовской эпохи, еврейский национальный характер знаменовала «аномально развитая» и «тираническая» воля; но как неврастеники, евреи, наоборот, страдали болезненным слабоволием. Если в фантазиях антисемитов они были демонически опасными вследствие сексуальной привлекательности, то неврологи обнаруживали, что евреи мучились сексуальными расстройствами как минимум не меньше других.

Если кто-то считал возможным окончательную победу над модерной нервозностью, то евреев можно было считать тяжелым препятствием на этом пути. До 1914 года немецкие медики мало верили в возможность такой победы. Однако наряду с профессиональным дискурсом были и «дикие» дилетантские обсуждения, и их участники сильнее проявляли антисемитские настроения. Антисемитизм питал иллюзию, что «гонка и травля» Нового времени это не структурная проблема, что с ней можно справиться, изгнав из общества определенную группу людей. Это окружало неприязнь к евреям той аурой приятного спокойствия, с которой даже Фонтане расставался «со слезами» и которую после Освенцима уже невозможно ни представить, ни описать. У венского писателя Артура Требича учение о нервозности соединяется с самоуничижением евреев: нервозность, как он утверждал, «в существенной степени еврейское заболевание». Требича, вопреки еврейскому происхождению, особенно ценил Гитлер, считая его авторитетом в вопросах еврейства: «Он как никто разоблачил евреев» (см. примеч. 116). Избавление от нервозности через веру в нацию: была ли подобная программа не только у евреев-сионистов, но и у немцев? Стоило бы думать, что эпохе национализма эта идея была очень близка. Еще совсем недавно Томас Нипперди утверждал, что нехватка «национальной идентичности» требует распла-

ты в виде коллективной «лабильности душевного и интеллектуального равновесия»; соответственно, полноценное чувство национальной идентичности должно действовать политическим и психическим стабилизатором. Несомненно, в XIX веке идея витала в воздухе — нация как надежное убежище от вихрей индустриальной эпохи, даже если она всего лишь защищала покровительственными пошлинами текстильную отрасль от иностранных конкурентов. «Любовь к нашему великому немецкому Отечеству», — разъяснял в 1897 году Густав Шмоллер в речи перед Союзом социальной политики, — есть противовес жестокостям битвы интересов в индустриальный век (см. примеч. 117). Но можно ли было интегрировать эту идею в терапию нервов?

Такая программа существовала уже давно. Идея немецкого национализма издавна была связана с уверенностью в том, что с созданием нации «Германия, уже не раздирающая собственные внутренности», сможет преодолеть не только политический раскол, но и душевные, и телесные надрывы. В первом номере «Gnothi sauton» (1783) были опубликованы признания анонимного ипохондрика, который «избежал кораблекрушения»; его самотерапия заключается, прежде всего, в усилиях «быть немцем». «Немецкость во всех ее деталях есть настоящий антисептик против этой ядовитой гадости. И мы не стали бы ипохондриками, если бы не были так заражены чужими обычаями. [...] Я все время стараюсь найти круг мыслящих, но чувствующих всегда по-немецки, мужественных и бодрых незнакомцев». То было время, когда в «немецкость» можно было вложить множество мечтаний и устремлений, ведь единой Германии как политической реальности еще не существовало. В то время постоянно повторялась мысль, что, сбросив с себя французскую испорченность нравов, немцы окрепли бы и духом, и телом: педагог Зальцман мечтал, что тогда исчезнет онанизм и придут «крепкие нервами мужи». И если сегодня любой человек на подобные слова лишь покачает головой, то нужно вспомнить, что армия Наполеона действительно принесла с собой в Германию вспышку сифилиса и вполне обоснованный страх перед ним. Были и другие мотивы, почему Франция вызывала у немцев стресс. Еще в 1869 году, в преддверии Франко-прусской войны, которой предшествовало десятилетие напряженного ожидания, Рохау клеймил раздробленность Германии как «наш грех против самих себя», вследствие которого Франция «давным-давно держит немцев в изматывающем напряжении» (см. примеч. 118). Если так, то победа над Францией и учреждение империи служило бы избавлением от болезненного напряжения.

Но ни разу в клинических историях неврастеников не встречаются 1870 и 1871 годы как преддверие эпохи Возрождения. Новая Германская

империя принесла не покой, а тревогу; ощущение неврастении распространилось, когда надежды немцев на внутреннюю стабилизацию за счет объединения уже растаяли. Мысль, что нервозность связана с ростом материализма и дефицитом смысла жизни, была широко известна; некоторые авторы рекомендовали невротикам в качестве душевной опоры религию, но никак не нацию. И в описаниях самих пациентов, перепробовавших все мыслимые и немыслимые средства для избавления от своего расстройства, национальные мотивы попадаются очень редко и отрывочно. Можно даже сказать, что для такой националистической эпохи их отсутствие бросается в глаза. Совершенно очевидно, что «единая Германия» в то время не была полюсом надежды для того, кто страдал от мучительной тревожности (см. примеч. 119).

Если между нервозностью и немецким национализмом не существовало умышленно сконструированной связи, то реальное сродство все же очевидно: вильгельмовский национализм с его стремлением уйти от «насыщенности», не имея перед глазами ясной цели, был источником невнятного беспокойства и нетерпения. Самодовольного бидермейровского немца теперь презирали как «филистера», но нового реального и привлекательного идеала не появилось. Ясно было только, что этот новый немец не имел права быть довольным миром и собой. «Наша культура молода, — писал Трейчке, — во всем нам не хватает национального стиля, инстинктивной гордости, наработанного своеобразия», — и немедленно добавлял: «Поэтому мы были так долго беззащитны против чужого духа». Знал ли он сам, о каком «национальном стиле» он мечтал? Наверное, он жаждал сильной и динамичной Германии, однако бурное индустриальное развитие наполняет его глубоким недовольством, и в его огромном труде по истории Германии то и дело звучит тоска по прежнему уюту. С юных лет он страдал от вечной нехватки времени и хронической «трудовой гонки», и свое время он трактовал в стиле «эпохи нервозности» еще до того, как эта модель стала всеобщим достоянием. Позже даже немецкая душевность больше не успокаивала Трейчке, на внутреннем мире которого сказалась глухота: «душевность наша» почти «переросла в болезнь», и сам он «в этом отношении истинный немец» (см. примеч. 120).

Дефицит убедительной национальной идентичности — внятной и естественно сложившейся картины целей и интересов Германии — немало способствовал тому, что политика Вильгельма так легко реагировала на самые разные воздействия и следовала по зигзагу от одной невнятной цели к другой. Это было похоже на то, как у невротика переизбыток раздражителей сочетается с утратой уверенности в себе.

Возбудимость стала одним из самых явных признаков национализма кайзеровской Германии. Поскольку многие не знали, что́ именно в собственной нации им надо любить, они искали сильных чувств в ненависти. Может, любой национализм обладает агрессивностью такого рода? Конечно, в своей возбудимости немцы не были одиноки. Но вместе с тем не так давно Бенедикт Андерсон, опираясь на исследования, охватывающие весь земной шар и огромные периоды времени, подчеркнул, что «нации проявляют любовь, нередко глубокую, способную к самопожертвованию любовь», и нельзя придавать слишком большое значение ненависти как признаку любого национализма. Немецкий национализм терзался усилием скрыть все еще присутствовавшее чувство неполноценности по отношению к Франции и англо-американским нациям. Анонимный автор изданного в 1922 году исследования «О нервозности в немецком характере» видел корни патологических сторон характера немцев именно в комплексе неполноценности и полагал, что этот комплекс объясняется утратой исходной идентичности: «немецкий темперамент тяжел, склонен к основательности и глубине. И потому он претерпел удар уже тогда, когда вследствие победы над Францией был вынужден утверждаться в качестве великой политической державы за счет своей позиции как великой духовной державы. Американизм был и остается глубоко чуждым немецкой душе. И когда ей стали прививать американизм, эта душа занемогла». Один из учеников Альфреда Адлера в 1927 году заметил, что немецкий тип национального сознания «безусловно играет свою роль в развитии нервозности», потому что он склонен к насилию и эгоцентризму и при этом не опирается на традиционные, как на Западе, коллективные образования (см. примеч. 121). Пожалуй, по такой логике можно прийти к мысли, что преодолеть нервозность способно лишь народное сообщество, основанное на исконно немецких традициях.

Резкость иных высказываний по поводу комплекса неполноценности немцев парадоксальна и совершенно необъяснима реальным отставанием Германии. Скорее похоже, что немецкий национализм порой оборачивал свою агрессию против самого себя. Рихард Вагнер в 1880 году в письме Людвигу II жаловался, что его «бедные нервы» никак не «успокоятся» и что «Германия приводит его в полнейшее отчаяние». Когда Герман Бар в 1890 году, только вернувшись из Парижа, заявил, что «нервы» — это важнейший орган «модерна», он вскоре писал из Берлина, что уже знаком со всеми «знаменитостями» немецкой столицы, но в сравнении с его парижским носильщиком все они «просто болваны, без исключения». Максимилиан Гарден, взявший на себя роль ментора ми-

литаризованного немецкого национализма, сетовал на то, что «англичанину до сих пор бросается в глаза, как много в Германии безобразных стареющих толстяков». Эйленбург в 1903 году рассказывал Бюлову, что Вильгельм II, когда у него плохо с нервами, с ненавистью проклинал этих «грязных, упрямых, тупых, бедных, плохо одетых немцев, [...] которым надо брать пример с англичан и американцев». Мольтке, руководивший в 1914 году Генштабом, еще за 10 лет до этого, в 1904 году, писал в дневнике: «Немецкий народ в целом — жалкое общество. Политики не видят дальше своего носа, без единого намека на широту взгляда, узкие, мелочные, злобные, полные зависти и недоброжелательства, язвительные и близорукие, даже жалко становится». Францию он, напротив, считает «изумительной страной». И если в 1907 году на празднике Певческого союза в Бресслау тем не менее распеваются куплеты: «Народом единым, / так хочет судьба, / мир будет нашим — / немецким и навсегда», то на фоне глубочайшего национального комплекса неполноценности они кажутся виршами из психушки, бегством в манию величия (см. примеч. 122).

«Без возрождения нет народа, — писал в 1862 году, уже будучи провозвестником сионизма, Мозес Гесс[39], — сегодняшний немецкий патриотизм» — это «беспочвенный обман», «потому что у него нет мужества и таланта начать с возрождения самого себя». В этом с ним согласились бы многие молодые представители нового народного немецкого национализма. «Der Naturarzt» в 1905 году с ужасом сообщал, что в Нюрнберге, «жемчужине немецких городов», существует один кружок натуропатии, но не менее 38 «кружков обжор» и 50 клубов курильщиков. «Нам, натуропатам, следовало бы начать с пробуждения совести немецкого народа» (см. примеч. 123). Так народнические идеи ловко превращаются в инструмент гигиены. Благодаря массовым движениям за гигиену и реформу жизни начала XX века как никогда окрепла мечта о возрождении немецкого народа за счет великого национального подъема, уже 100 лет назад воодушевлявшая ранний немецкий национализм. Если когда-то здоровый образ жизни связывался с либеральными прогрессивными идеями, то теперь, когда заявили о себе патогенные стороны прогресса, эта связь оказалась сомнительной. Мечты о здоровье стали одной из ведущих сил нового немецкого национализма. Однако реально существующий национализм с его пивным хмельком, духом студенческих корпораций и разнообразными и многочисленными обществами

[39] Гесс (Хесс) Мозес — один из первых немецких социалистов и основателей вульгарного коммунизма, оказал существенное влияние на Маркса и Энгельса.

по интересам не соответствовал этим мечтам. Учения о натуропатии поначалу не находили в национализме надежной опоры.

Высокая возбудимость немецкого национализма происходила из его глубокого сродства с интимными жизненными проблемами. Растущее ощущение национальной непопулярности, неспособности к любви в сочетании с неудовлетворенным самолюбием имело фатальное сходство с неврастеническим онанизмом и страхом импотенции (см. примеч. 124). Ситуация Германии в эпоху Вильгельма II чрезвычайно настраивала на то, чтобы устанавливались взаимосвязи между опытом самопознания и опытом понимания мира, конкретно — между ощущением собственной невротичности и общим положением Германии. В этом же смысле тогда действительно существовала и заявленная Нордау связь между шовинизмом и ипохондрией. И там и там — возбудимая слабость, мучительное отсутствие целей и пустая трата сил и энергии. В итоге вполне в логике нервного дискурса возникла надежда избавиться от нервозности политическим путем, даже если медицинские учения о здоровье нервов предлагали решение только в рамках отношений между пациентом и врачом.

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И НЕВРАСТЕНИЯ: БАТАЛИИ ВОКРУГ «РЕНТНОГО НЕВРОЗА»

Политизация медицинского дискурса нервов проявилась особенно ярко при обсуждении «травматического невроза», где «жесткие» позиции обозначились наиболее ярко. Наряду с этим прослеживается и долгое, вопреки всем противодействиям, существование «мягкой» линии.

В терминологии того времени под «травматическим неврозом» понималось тяжелое хроническое нервное расстройство без видимых органических нарушений, наступающее вследствие несчастного случая. Это понятие было близко к неврастении: симптомы по большей части были одинаковы, порой на обе темы писали одни и те же авторы. Тем не менее изучение травматического невроза погружает читателя в совершенно иную атмосферу и показывает тех же авторов в ином свете. Если в случае неврастении принципиальные расхождения отсутствовали, то вокруг травматического невроза разгорелись споры на десятилетия, и острота их со временем только нарастала. Здесь обсуждались требования о возмещении ущерба и получении пенсии, если пострадавшие были застрахованы от несчастного случая, или же, если они считали причиной своего нервного расстройства железнодорожную аварию, на железную дорогу ложилась материальная ответственность независимо

от вины. Пострадавшие должны были достоверно доказать существенность своих жалоб и то, что они начались именно с момента несчастного случая. Поскольку точно этого доказать было нельзя, а заключение в существенной степени зависело от мнения врача, вопрос приводил к бесконечным спорам, тем более что зачастую речь шла о больших деньгах, потому что пенсии жертвам несчастных случаев обычно значительно превышали жалкие выплаты по инвалидности (см. примеч. 125). На эти деньги, в отличие от пенсии по инвалидности, вполне можно было жить. Отсюда и подозрение, что за травматическим неврозом в действительности скрывался «рентный невроз»[40]: сознательное или бессознательное желание получить ренту, имитируя нервное расстройство.

Борьба вокруг «рентного невроза» проливает новый свет на некоторые детали истории неврастении. Длинные списки возможных причин неврастении были способны разрушить простую причинно-следственную схему, лежавшую в основе диагноза «травматический невроз». То, что неврастению стали обнаруживать у рабочих, может показаться социальным достижением, однако это позволяло допускать, что рабочий, пострадавший от несчастного случая, был «нервозным» и до него. «Медико-механические» тренажеры в неврологических лечебницах служили врачам для разоблачения симулянтов, разыгрывавших нарушения телесных функций (см. примеч. 126).

У теории травматического невроза было два корня. Первый — спинальная ирритация и связанное с ней внимание к неврологическим последствиям железнодорожных аварий (в 1866 году лондонский хирург Эриксен даже ввел термин «железнодорожный позвоночник» — *Railway Spine*). Второй — принадлежавшее Шарко понятие травматической истерии, которое отводило огромную роль навязчивым представлениям и впоследствии вдохновило Фрейда. Но травма в понимании Шарко не служила обоснованием юридических исков на возмещение ущерба. Понятие травматического невроза, вызвавшее многолетние баталии, было, как пишет швейцарский автор Эстер Фишер-Хомбергер, «дитя немецкого духа» (см. примеч. 127).

Зачинателем дискуссии выступил Герман Оппенгейм, который в 1889 году, опираясь на пятилетний опыт работы в Шарите, опубликовал статью о «травматических неврозах». В то время ему был всего 31 год, он защитил в Берлине диссертацию и был восходящей звездой неврологии. Профессорского места он тем не менее так и не получил, потому что, бу-

[40] Реже в специальной литературе (ввиду возникающей двусмысленности) используется понятие «пенсионный невроз».

дучи евреем и сыном раввина, отказался креститься, что было в то время практически необходимым для университетской карьеры. Решающее значение в вопросах ренты в случае травматического невроза он отвел неблагоприятному прогнозу: если за один-два года состояние пациента не улучшилось, то это признак хронического нервного нарушения, и пациента следует отправлять на пенсию, чтобы предохранить его от тяжелого психоза или самоубийства (см. примеч. 128).

В том же году, когда появилась статья Оппенгейма, Имперская страховая служба (ИСС) вынесла принципиальное решение, признававшее травматический невроз таким последствием несчастного случая, которое влечет за собой обязательную выплату компенсации. Это признание последовало так стремительно, как будто ИСС только и дожидалась медицинской теории Опенгейма. Действительно, при возмещении ущерба пострадавшим на железной дороге дефицит подобной теории был заметен. Прецедентным стал случай железнодорожного рабочего Юлиуса Рёля, который 9 сентября 1886 года при маневрах локомотива получил тяжелое ранение левого плеча с последующим временным параличом всей руки. Несчастные случаи во время маневровых работ, когда пострадавшему грозило быть просто раздавленным, казались тогда наиболее страшными. Случай Рёля не мог быть симуляцией. ИСС удовлетворила его жалобу, хотя и в осознании «тяжелой мысли», «что при нехватке доказуемых патолого-анатомических изменений и множестве болезненных проявлений исключительно субъективного характера [...] такое признание откроет обширное поле для симуляций и злоупотреблений» (см. примеч. 129). Проблемы, создаваемые этим прецедентом, были ясны с самого начала.

Железная дорога не заставила себя ждать. Еще за 10 лет до этого, в 1880 году в анналах Шарите значилось, что вследствие Имперского закона об обязательной компенсации 1871 года участились случаи, при которых «заболевания нервной системы, возникшие вследствие ранений на железной дороге, [...] стали доходить до сведения и оценки врачей». После решения ИСС 1889 года кривая случаев возмещения вновь начинает расти. Хотя травматический невроз мог стать следствием любого несчастного случая, но на практике медики и судьи долго еще склонялись к тому, чтобы признавать его прежде всего у жертв железнодорожных аварий (см. примеч. 130).

С современной точки зрения бросается в глаза, что в этих дебатах не обращали особого внимания на автомобильные аварии, хотя каждая из них становилась в то время событием для прессы. Однако езда на автомобиле считалась скорее спортом, и участники аварий, по крайней мере те из них, кто находился в автомобиле, стремились преодолеть их по-

следствия со спортивных позиций. Так что по иронии судьбы жалобы на травматический невроз несравнимо сильнее затронули железную дорогу, чем намного более опасный автомобиль.

Еще одной темой наряду с железной дорогой были удары электрическим током. Поскольку было известно, что нервная система функционирует посредством электрических импульсов, можно было заключить, что несчастные случаи с электричеством для нее особенно разрушительны. Особенное внимание уделялось телефонисткам, которые из-за несовершенства изоляционных технологий «получали ток», как тогда говорилось, если нетерпеливые клиенты слишком сильно стучали по рычагам своих аппаратов. Поскольку считалось, что профессия «телефонных барышень» и без того делает их неврастеничками, травматический невроз у них конкурировал с неврастенией.

Альберт Эйленбург утверждал, что большинство так называемых электрических несчастных случаев становились «несчастными» не из-за электричества, а вследствие психического возбуждения. По его мнению, неслучайно, что эти «несчастные случаи» (Эйленбург заключал эти слова в кавычки) происходят, прежде всего, с «молодыми, анемичными или предрасположенными к неврозу» телефонистками. Ганс Курелла, в то время главный врач в лечебнице Эренвалля и специалист по электропатологии, возмущался манерой Эйленбурга мгновенно констатировать у молодых женщин «чисто психогенные расстройства» и говорил, что не стоит удивляться тому, как жестоко доверенные врачи телеграфа ведут себя с несчастными телефонистками, «если даже такие авторитеты, как Эйленбург высказываются в подобном смысле».

Но в случае, когда речь шла о мужчине, пострадавшем от сильного тока, даже Эйленбург потерял былую уверенность. Это была жалоба Бернгарда Векселя против Страховой организации точной механики. Его случай разбирался в ИСС в 1904 году. Податель жалобы сообщал, что в январе 1900 года при телефонном разговоре на одной из электростанций Вюртемберга он получил сильный удар током вследствие короткого замыкания на высоковольтной линии. Этим он объясняет наступившие с того момента симптомы «размягчения мозга» (*dementia paralytica*). Как именно это произошло, было совершенно неясно. Но Эйленбург дал понять, что он считает очень вероятными анатомические изменения «в центральных частях нервной системы» под воздействием «высоковольтного электричества», и даже представил довольно детальную картину подобных изменений, хотя речь шла об очень малоисследованной области. Столкнувшись с током высокого напряжения, обычный сарказм участников дискуссии прекратился (см. примеч. 131).

В начале 1890-х годов споры вокруг «рентного невроза» подогревались в первую очередь интересом к симулянтам. Внимание к себе привлекли язвительные замечания Мёбиуса. Он распространил высказывание психиатра Адольфа Кюна: «Число пациентов, которых врач признает симулянтами, обратно пропорционально его знаниям психиатрии». Как пишет Эстер Фишер-Хомбергер, эти слова приобрели известность как «закон Кюна—Мёбиуса» и стали боевым кличем против охотников за симулянтами и своеобразным «Символом веры» для экспертов.

Для Мёбиуса охота за симулянтами была хрестоматийным доказательством его любимого утверждения, что врачи игнорируют психологические особенности пациентов. Но это не означает, что сам он объясняет травматический невроз несчастными случаями. Он относил это расстройство скорее к истерии, а характерной чертой истерии, с его точки зрения, было то, что она базировалась на воображении — больше, чем неврастения, при возникновении которой важны также экзогенные факторы (см. примеч. 132). В середине 1890-х годов в дебатах на какое-то время наметился компромисс: подателей исков перестали постоянно подозревать в умышленном надувательстве, зато стали обращать больше внимания на бессознательное воздействие недавно открытых *Begehrungsvorstellungen*[41].

Это позволяло ввести в игру власть бессознательного. На первый план вышел феномен наведенного самовнушения. Теперь обвинения выдвигались уже не против рабочего, но против социального законодательства, которое порождало подобные ипохондрические навязчивые представления. Собственно, в таком случае главным виновником надо было бы назначить Бисмарка, но в его времена нельзя было предвидеть и рассчитать эти психологические последствия. «Закон, в этом нет сомнений, произвел эту болезнь», — заверил в 1910 году в своей речи во Фрайбургском университете Альфред Е. Хохе. Однако: «Никто этого не предвидел, никто не мог этого предвидеть» (см. примеч. 133). При этом нужно добавить, что медики в годы становления социального государства очень мало заботились о возможных непреднамеренных последствиях: оглядываясь назад, невольно удивляешься, насколько мало было

[41] Термином *Begehrungsvorstellung* с 1895 года (Адольф фон Штрюмпель) в контексте споров о травматическом и «рентном» неврозах стали обозначать психопатологическую реакцию пациента, когда невроз определялся не самой полученной травмой, но представлением пациента о компенсациях, которых он гипотетически может за нее добиться, так что навязчивое желание получить ренту оказывается сильнее непосредственных последствий приобретенной травмы и на фоне самоубеждения пострадавшего в своей нетрудоспособности выливается в так называемый рентный невроз.

в 1880-е годы значимых медицинских дискуссий о системе социального страхования.

В 1912 году в дебаты вступил экономист Людвиг Бернгард. Среди коллег он прослыл белой вороной, после того как в 1908 году был назначен профессором Берлинского университета вопреки отсутствию вотума. Его полемическая статья «Нежелательные последствия немецкой социальной политики», которая уже вскоре была несколько раз переиздана и стала вызовом для «катедер-социалистов»[42], привлекла к себе тем большее внимание, что Бернгард, будучи учеником Луйо Брентано, еще недавно считался защитником интересов наемных работников. Под «нежелательными последствиями» Бернгард имел в виду, прежде всего, «погоню за пенсиями» — он цитирует ключевые слова «пенсионная истерия», «пенсионная ипохондрия» и «пенсионная неврастения» и ссылается при этом на медицинскую литературу: только она являет собой «средство составить ясное представление о процессах, затемненных интересами и интригами их участников». Его текст оставляет впечатление, как будто медицина давно уже достигла такого уровня, который позволил бы врачам разоблачить систему страхования как причину возникновения нервных расстройств, дающих возможность получить пенсию. Далее он на 20 страницах цитирует медицинскую литературу и убеждается, что и мнения врачей резко противостоят (см. примеч. 134). Спор не получалось разрешить при помощи медицины.

В последние предвоенные годы в дебатах появляется новая и неожиданная тема — персональный опыт ученых, которые сами стали жертвами несчастных случаев благодаря новой спортивной моде — от автомобиля до альпинизма. Опираясь на него, они утверждали, что у человека, который не рассчитывает получать ренту как жертва несчастного случая, ни резкий удар, ни пережитый страх смерти не вызывают хронического нервного расстройства, препятствующего профессиональной деятельности. Зигфрид Плацек, доктор из реабилитационной неврологической лечебницы для жертв несчастных случаев «Лесной санаторий Нойбабельсберг», известный исследованиями нервных расстройств у служащих железной дороги, в 1913 году собрал целую кол-

[42] «Катедер-социализм», а также «кафедральный социализм» — движение консервативных экономистов против идей социал-демократического и марксистского толка. Катедер-социалисты выступали за вмешательство государства в экономику страны в форме «государственного социализма». Само название, предложенное Генрихом Оппенгеймом, обусловлено тем, что большинство представителей кафедрального социализма занимали в университетах профессорские кафедры.

лекцию таких случаев — от хирурга и тайного советника, пролетевшего 15 м по воздуху при автоаварии, до профессора-альпиниста, который провалился в трещину на леднике и отважно выбрался наружу, избежав близкой смерти. Подчеркивая, что все эти люди, несмотря на катастрофу, продолжали свою профессиональную деятельность, Плацек упускал из виду одно обстоятельство. Дело в том, что профессорская кафедра не вызывает столько воспоминаний о ледниковой трещине, сколько наушники телефонистки — о пережитом ударе электротоком. Главный врач университетской клиники в Бонне, критически ответивший на статью Людвига Бернгарда, высказал сомнения в доказательной силе «альпинистского» аргумента (см. примеч. 135).

С 1914 года мировая война четко и ясно доказала медикам то, чего не могла прояснить медицина со всеми ее средствами: травматический невроз — не более чем фантом. Время, когда пострадавший в железнодорожной аварии, даже оставшийся целым и невредимым, мог требовать компенсации за пережитый шок от вида искореженных трупов, мгновенно ушло в прошлое. Уже в ноябре 1914 года психиатр, опекавший лазарет с русскими и французскими пленными, среди которых было множество тяжелораненых, сообщал, что он «ни единого раза не видел даже намека на симптомы травматического невроза», — ведь эти военнопленные не имели перспектив ни на немецкую пенсию, ни на возвращение на фронт. С этого момента участились прямые нападки на Оппенгейма, порой даже ставилась под сомнение его профессиональная честь. На так называемом военном заседании Немецкого общества неврологов в сентябре 1916 года, темой которого были «неврозы после военных ранений», Роберт Гаупп докладывал как точно доказанный факт, что психогенные болезни чаще встречаются «у тех, кто остался невредим», и «напротив, очень редки у тяжелораненых». Он «не понимал», как мог Оппенгейм отрицать этот прискорбный факт (см. примеч. 136).

В глазах многих медиков Первая мировая война хотя и была поражением Германии, однако принесла победу над травматическим неврозом. Тем не менее только в 1926 году ИСС вынесла принципиальное решение, исключавшее обязательные выплаты после несчастных случаев, если «неспособность пострадавшего к труду основана только на его представлении о том, что он болен». Этому решению предшествовали бурные бои и битвы против «рентного невроза» и «истерии вследствие несчастного случая». Теперь против травматического невроза можно было пустить в ход даже психоанализ. Однако вопрос о том, можно ли отождествлять неявное и недоказуемое расстройство нервной системы с отсутствием всякого нарушения, остался открытым (см. примеч. 137).

Каков же сухой остаток этой дискуссии? Крепелин цитирует некоего специалиста, который в пяти тысячах несчастных случаев выявил всего 0,7% случаев травматического невроза, еще один автор приводит цифры 0,9% из 1370. Получается, что весь шум был поднят впустую и представлял собой театрализованную попытку медиков показать характер и вызвать недоверие к социальному законодательству. Но если даже суммы выплаченных пенсий и компенсаций были невысоки, поток исков создавал массу работы арбитражным судам, и при изучении документов клиник очевидно, что и врачам они доставляли множество хлопот (см. примеч. 138). Отраслевые страховые ассоциации направляли жалобщиков на экспертизу ко все новым и новым врачам. Сама процедура создавала между врачом и пациентом атмосферу недоверия и была мучительной для обеих сторон.

Лишь на одну отрасль «травматический невроз», вероятно, лег серьезным финансовым грузом — на железную дорогу. Это не удивительно, ведь шоковый эффект железнодорожных катастроф стоял у истоков самого этого понятия. Исследование, проведенное на семинаре по социальной медицине Боннского университета, показало, что в 1911 году из 195 человек, пострадавших на участке Эльберфельд местной железной дороги, не менее 89, т.е. 46%, имели «проблемы с нервами». И хотя противники травматического невроза делали акцент на симулянтах из рабочего класса, история железной дороги рисует иную картину. Самые громкие случаи, когда жалобщики требовали аномальные суммы компенсации, опираясь на сомнительное медицинское заключение, обнаруживаются в высших слоях общества. Эти люди могли позволить себе хорошего адвоката, способного произвести впечатление на судью и отстоять высокие требования. Доказательством служит дело 40-летнего торговца, который в 1907 году попал в железнодорожную катастрофу, никаких явных телесных повреждений не получил, однако был шокирован видом обезглавленного трупа. Хотя его нервная система, по замечанию эксперта, «вследствие спекулятивных сделок еще до катастрофы демонстрировала признаки возбудимой слабости», в качестве компенсации ему назначили невероятную по тем временам сумму 140 тысяч марок. Если бы за этим случаем последовали другие, то страховые компании и вправду имели бы повод для паники. В ином случае застрахованный на крупную сумму директор фабрики, путешествуя в спальном вагоне скорого поезда, перенес катастрофу «без телесных повреждений, но с изрядным испугом». «Двенадцать врачей, известнейшие немецкие и австрийские специалисты в области неврологии, единогласно признали его физически и духовно совершенно сломленным человеком», в результате чего он в

то время, когда средняя заработная плата в Германии составляла 750 марок в год, получил компенсацию в общей сумме 485 277 марок. Недаром главный врач берлинского Красного креста и доверенный врач Отраслевого страхового общества железа и стали утверждал, что материальные *Begehrungsvorstellungen* — это не особая черта рабочих и что «у среднего класса и более высоких слоев общества» такие явления выражены еще интенсивнее. Он напомнил о том, что в высших слоях общества врачи сильнее зависели от пациентов (см. примеч. 139). На этом фоне выступления медиков против стремления рабочих к получению пенсий выглядят отвлекающим маневром, чтобы скрыть те постыдные экспертизы, которые они любезно писали для платежеспособных пациентов.

Каким бы ни был материальный итог борьбы с травматическим неврозом, но ее эмоциональное, символическое значение явно было высоким. Недаром вокруг этой темы возникло столько споров и разгоряченной полемики с сердитыми цитатами, часто повторяющимися аргументами и саркастическими выпадами. Нет сомнения — раздражение было искренним. «Для меня любой невротик, требующий ренту, — подлая свинья», — заявлял один медицинский эксперт. Подозрение в симуляции вызывало сильные эмоции, и не только среди медиков. Иногда на симулянтов поступали доносы, особенно в мелких городках и деревушках, где соседи наблюдали друг за другом. Врачи, со всеми своими премудростями, беспомощные против обмана, впадали в бессильную ярость. Историк медицины Акеркнехт вспоминает рассказ своего бывшего начальника — как тот, выписав заключение скрюченной, страдающей спиной пациентке и проводив ее из кабинета, тут же увидел из окна, как та выпорхнула из двери его института «летящей походкой и с прямой спиной». «Смотрите, — обратился он к своему ассистенту, — вот идет паразит, который точит тело немецкого народа!» Противники травматического невроза выступали как знатоки человеческих хитростей, уловок и низостей. Эмоциональные подтексты этих споров сходны с теми, которые сегодня вызывает тема мнимых беженцев. Тогда тоже сталкивались друг с другом две моральные позиции: защитники напоминали о сочувствии и врачебной этике, согласно которой врач всегда должен быть на стороне пациента, а их противники осуждали экспертизу с ее конструкцией травматического невроза как провокацию, программирующую обман врача и вызывающую то расстройство, которое она якобы должна компенсировать. Пациенты, претендующие на травматический невроз, были врачам неприятны — ведь они хотели не лечиться, а лишь продемонстрировать свою болезнь, — к тому же, необходимые экспертизы отнимали много времени. Для неврологических санаториев пациенты,

пережившие несчастный случай и направленные туда для наблюдения, были обременительны, если даже не опасны. Даже Густав Ашаффенбург, настроенный к ним в общем доброжелательно, тяжко вздыхал: «Один-единственный такой кверулянт[43] способен одним махом свести на нет усилия врача в целом санатории» (см. примеч. 140).

С социально-исторической точки зрения возникает вопрос, была ли способна эта дискуссия сформировать какие-либо группы по интересам. Как минимум на стороне противников травматического невроза явно наличествовала потребность в едином фронте; но несмотря на поток публикаций, до 1914 года объединения так и не произошло. Еще в 1906 году, когда многие медики уже полностью приняли травматический невроз в чисто научном смысле, Гаупп отмечал, что среди врачей высоки «разногласия», что «большинство врачей [...] пребывают в неуверенности» (см. примеч. 141).

Единый фронт складывался с таким трудом отчасти потому, что интересы врачей не были однозначными. Литература по истории травматического невроза до сих пор мало обращала внимание на то, что этот спор проходил в контексте значительно более крупных дебатов: противоборстве врачей со страховыми компаниями, в котором формировалась современная самоорганизация и корпоративный дух немецкого врачебного сословия. В 1900 году был основан Лейпцигский медицинский союз, предшественник Гартмановского союза[44], который уже в 1904 году с успехом организовал забастовку врачей в Лейпциге. В те годы в публикациях медицинских союзов преобладал воинственный тон, и готовность к борьбе не утихала до начала Первой мировой войны. Если представить себе всю эту атмосферу, то борьба с «рентным неврозом» выглядит с первого взгляда двусмысленно и запутанно, ведь одно не вяжется с другим. Охота за симулянтами означала желание втереться в доверие к страховым компаниям и позицию *против* пациента, в то время как генеральная линия формирующейся в то время медицинской корпоративной политики указывала в ровно противоположном направлении.

Но противники травматического невроза настаивали на том, что сама страховая система провоцировала застрахованных сочинять себе такие болезни, как травматический невроз. Таким образом, эта тема

[43] Кверулянтство (от лат. *querulus* — жалующийся) — борьба человека за свои ущемленные права и интересы, которая переходит в болезненное сутяжничество. Крепелин ввел понятие «кверулянтский бред».

[44] Гартмановский союз — основанное в 1900 году лейпцигским врачом Германом Гартманом профессиональное сообщество, представляющее интересы врачей.

подпитывает полемику, направленную против обязательного государственного страхования. Более того: травматический невроз давал медикам идеальную возможность продемонстрировать, что не страховщики, а они являются лучшими гарантами экономии в медицине: дескать, они сами представляют подлинные интересы своих пациентов, в то время как страховщики порождают мнимых больных. Нападая на страховую систему в целом, медики в то же время доказывали страховым компаниям и отраслевым страховым обществам, что достойны доверия. Для многих врачей это было жизненно важно, потому что в отличие от более позднего времени врачи находились тогда в позиции подчинения страховщикам. Тем сильнее им приходилось защищаться от слухов, что их экспертизы носят соглашательский характер. Впрочем, полемику вокруг травматического невроза стоит читать более внимательно: после резких протестных жестов авторы нередко находили лазейку, чтобы при случае иметь возможность все же его признать (см. примеч. 142).

Феноменален был не только накал критики — удивляет также и то, как цепко травматический невроз сохранял свои позиции. Процедуры ИСС, апелляционной инстанции в случае отказных дел, создают впечатление тщательной и продуманной проверки приходящих жалоб. В одном случае ИСС присовокупила к позитивному решению принципиальное заключение: «Не соответствовало бы духу социального законодательства, если бы тот факт, что в медицинской науке по вопросам некоторых болезней еще господствует несогласие, подлежал бы трактовке не в пользу пострадавшего в том смысле, что в основу решений были бы положены недоброжелательные для него мнения отдельных медицинских авторитетов». Примечательно, что служащие ИСС не требовали «современных научных данных», а стремились на основе различных экспертных мнений составить собственное. Как установил Грег Эгхигиян, изучая акты ИСС, многие признанные симулянтами рабочие «с большим успехом» проходили апелляционную инстанцию. Не только кверулянтство и бойцовый менталитет заставляли застрахованных так настойчиво бороться за пенсии и компенсации, опыт показывал, что эта борьба нередко окупалась. Риска здесь не было — сам процесс был бесплатным (см. примеч. 143).

Общая атмосфера того времени настраивала на признание травматического невроза: неврастенические жалобы казались серьезным заболеванием, а от несчастных случаев, особенно если они были связаны с новыми технологиями, ожидали длительного шокового эффекта. Эстер Фишер-Хомбергер имела все основания назвать практику выплаты возмещения до 1914 года «великодушной» (см. примеч. 144). Даже критики

травматического невроза до 1914 года редко настаивали на полном отказе от выплат, в основном они ратовали за то, чтобы вместо постоянной пенсии выплатить одноразовую компенсацию, — «и тогда вы увидите», говорили они, «как быстро пройдет расстройство». Одноразовая выплата стала до 1914 года обычным компромиссом в подобных спорах.

Оценивать травматический невроз и споры вокруг него нелегко. Если исходить из того, как после 1914 года критика травматического невроза сливается со страшной травлей «военных истериков», то невольно принимаешь сторону Оппенгейма. Напротив, если исходить из долговременных тенденций к росту расходов на медицину и общей медикализации общества, начинаешь понимать врачей, настаивавших на экономии и осторожности в очень сложной и не прозрачной для медиков сфере и пытавшихся защитить добросовестных застрахованных от мошенничества мнимых больных. Социальное государство надолго сохранит свою легитимность только в случае успешной борьбы со злоупотреблениями. Правда, противники травматического невроза скорее пеклись не о сохранении социального государства, но о его дискредитации.

Дискуссия в целом страдала от того, что нужно было иметь устойчивые позиции на *terra incognita*. Многое до сих пор остается непонятным. В принципе, можно с уверенностью сказать, что несчастный случай, каким бы он ни был, способен вызвать хронические «нервные» расстройства, но и с такой же уверенностью можно говорить и о том, что зачастую причина лежит не только в самой аварии, но и предрасположенности конкретного человека. И конечно, единой картины заболевания, с какой ассоциируется термин «травматический невроз», не существует. Все это было более или менее ясно уже и до 1914 года. В общении с конкретными людьми резкое разграничение между объективными и мнимыми расстройствами теряло свою четкость. В документах нередко встречаются такие случаи, которых не увидишь в научной литературе, потому что они не предлагают внятных аргументов в пользу какой-либо одной позиции. Взять хотя бы случай 43-летнего берлинского столяра Эдуарда Бальццуна, который в 1908 году был на две недели направлен в Дальдорф, после тщетных попыток подать иск на получение пенсии в Страховое общество столяров. Страховое общество к тому времени уже забраковало дорогостоящую «полипрагмазию»[45] от одного врача: окружной врач поставил на пациента штамп «опасного для общества душевнобольного». Однако в Дальдорфе, напротив, у него признали

[45] Полипрагмазия — назначение (или также употребление) большого количества лекарственных средств или терапевтических процедур одновременно.

«типичные формы тяжелого травматического невроза». Поначалу говорилось, что Б. «несколько лет назад упал с лифтом в подвал и с тех пор имеет проблемы с нервами», может передвигаться только с палками и полагает, что он тогда сломал позвоночник. Рентгеновское исследование ничего не обнаружило (однако надо вспомнить о том, что этот метод был тогда еще очень несовершенен). Однако в дальнейшем в Дальдорфе стали всплывать другие несчастные случаи, все более отдаленные во времени, и Бальццун уже им приписывал начало своего недуга: в мае 1907 года на стройке он упал с высоты второго этажа и потерял сознание; в январе 1907 года отравился бензином; в 1900 году его правая рука попала в строгальный станок; в 1896, работая на мельничном шлюзе, он получил тяжелый удар по голове; в 1892 лошадь ударила его копытом, оставив рану на лбу; в 1889 приводным ремнем ему повредило правую руку... Складывается впечатление, что для многих рабочих было тогда вполне нормальным пережить множество травм и в пожилом возрасте оказаться физически израненным. Сотрудники Дальдорфа поняли это так же, как сегодня понимаем мы: страдания рабочего были подлинными, и между его скверным самочувствием и пережитыми несчастными случаями существовала причинно-следственная связь. Но попытки доказать ее были обречены на провал (см. примеч. 145). И это вполне типичный пример.

Сравнение с раздраженной полемикой о травматическом неврозе помогает оценить куда более мирный дискурс о неврастении. В этом случае медики не так сильно переживали болезненный конфликт между ролью целителя и ролью неподкупного эксперта. Вопросы о том, психической ли природы расстройство или физической, эндогенной или экзогенной, временное оно или хроническое, не требовали совершенно определенного и однозначного ответа. И если расстройство оказывалось психогенным, то это было не концом дискуссии, но началом новой.

Какую роль играла неврастения в понимании травматического невроза? Прежде всего положительную; неврастения была необходима уже для того, чтобы проявления травматического невроза в принципе воспринимались как симптом болезни. Но и противники травматического невроза использовали неврастению в своих целях.

Стандартный аргумент против назначения ренты гласил, что недуг подателя иска — не более чем обычная неврастения, а она может иметь множество причин. Растущее стремление объяснять травматический невроз не несчастным случаем, а борьбой за получение пенсии, также опиралось на учение о неврастении, ведь главной причиной неврастении считалась «борьба за существование». Правда, парадокс состоял в

том, что в случае «рентного невроза» сам больной был причиной борьбы. В этих спорах на сцену вышел новый тип неврастеника: не жалкая смесь слабонервности и нерешительности, а псевдоневрастеник, способный к удивительной целеустремленности и цепкости, если речь идет о реализации его заветного желания (см. примеч. 146).

Примечательно, что эксперты страховых компаний никогда не заговаривали о том, существует ли неврастения как реальная болезнь; ведь если неврастения и не давала повода к получению пенсии, то все же она была одной из главных причин посещения врачей и курортов. В 1907 году статья в «Ärztlichen Sachverständigen-Zeitung» сообщала, что «нагрузка для казны вследствие многочисленных курортных курсов» для государственных служащих, страдающих неврастенией, со служебной точки зрения «стала несколько пугающей». Еще долгое время была в ходу расхожая фраза «у меня плохо с нервами, пора на курорт». Однако единого фронта против неврастении так и не сложилось. Вероятно, сыграло свою роль то, что выплаты здесь были далеко не столь высоки, как при травматическом неврозе, и неврастения даже использовалась как контраргумент против него. Получить даже простой больничный листок по причине неврастении было нелегко, по крайней мере для рабочего человека; страховые эксперты разработали директиву, по которой медицинские экспертизы должны «демонстрировать, что жалобы на неврастению в общем не нарушают трудоспособность, более того, труд есть лучшее средство против неврастении». Тем не менее берлинские квалифицированные рабочие с диагнозом «неврастения» долгое время направлялись в санаторий Белиц, обстановка которого, по словам французского журналиста Гюре, была апогеем роскоши. «Один раз вкусив жизни в Белице, они больше не хотят работать», — рассказывали ему там. Так что нервная слабость все же действовала на нервы страховым компаниям. Однако признание неврастении серьезной болезнью до 1914 года было настолько банальным, что противодействие ему со стороны страховых компаний не имело смысла. И только в 1920-е годы, когда неврастения стала терять свой авторитет в научном мире, жалобы на неврастеников как серьезную обузу для больничных касс стали звучать громче. Эрвин Лик, один из пионеров национал-социалистической медицины, теперь выступил против неврастении в том же стиле, какой раньше использовался против травматического невроза: немецкая система больничного страхования ведет целые «народные слои к неврастении и ипохондрии» (см. примеч. 147). Он забыл о том, что неврастения родом из США — страны, тогда еще совершенно не затронутой соблазнами социального государства.

Получить ренту по причине одной только неврастении, исключая отдельные профессиональные группы, было нелегко, даже если порой наблюдалась тенденция к большей щедрости (см. примеч. 148). Да и размер назначаемых пенсий был не столь высок, чтобы они сами по себе заранее вызывали неврастению. Страховое общество горняков в 1923 году сообщало, что считает «пенсии за заболевания нервного характера [...] изначально очень низкими». Выразительный пример обращения с неврастеничными женщинами приведен в статье 1917 года о признании женских болезней приобретенными. Если автор рекомендовал «активнее чем прежде» признавать неврастению у женщин «основанием длительной инвалидности», то значит, он исходил из того, что до сих пор это делалось лишь крайне неохотно. Он имел в виду, прежде всего, определенный тип женщин-неврастеничек, а именно «пожилых, по большей части одиноких, страдающих хроническими женскими болезнями работниц промышленности». За текстом статьи угадывается безмолвная нужда, не обсуждаемая в специальной литературе: «с самой юности годами пребывая в монотонном труде, разрушающем мышцы и нервы, они хронически переутомлены и старятся раньше времени физически и духовно». «Хроническое малокровие и неврастения» — это «стигмы их профессии». Даже если такой женщине «всего лишь 40», то в «запущенных случаях» ей «уже почти нельзя помочь»:

> «Гинекологические заболевания при хронической фабричной работе уже не вылечишь; прибегали уже и к операциям, и ко всему возможному. Многократно испытанные курсы лечения в санаториях, неврологических лечебницах и на природных курортах помогают лишь временно. Пару недель на фабрике — и все болезни возвращаются. Такие пациентки были и остаются заботой и мучением для врача, фабрики, начальства и больничной кассы. [...] Страховщикам следовало бы проявлять снисхождение и почаще признавать у таких пациенток инвалидность, даже если она наступает неожиданно рано. Они заслуживают этого более многих других» (см. примеч. 149).

В сравнении с многословными дебатами вокруг травматического невроза, где жалобщиками были преимущественно мужчины, бросается в глаза, как мало внимания неврологи уделяли гораздо более распространенным нервным расстройствам у женщин, изношенных физическим и нервным трудом. Однако концепт неврастении и здесь свидетельствует об основной тенденции к гуманности и равноправию полов — даже в самые тяжелые военные годы.

V. *Поворот к воле и начало Первой мировой войны: Коллективное преодоление нервозности*

ПОКОЙ — ГИПНОЗ — «КУЛЬТУРА ВОЛИ»

Когда жалобы на расстроенные нервы вышли за пределы неврологических клиник, зазвучали в политике, особенных изменений не произошло. Многое осталось прежним — и в терапевтических методах, и в опыте самопознания. Особенно ярко это проявилось в повороте к жесткой линии, когда как медицинские, так и политические учения об оздоровлении перешли от культа спокойствия к укреплению воли. Случилось это в последнее довоенное десятилетие.

Покой как средство исцеления был известен издревле, это исходило уже из желания самих больных. Тем не менее терапия, делавшая высшую ставку на покой, причем из вполне определенных соображений, а не вследствие затруднительного положения, в конце XIX века была в новинку. Честолюбие медиков требовало гораздо больше активности и деятельности, не давая оставить пациента в покое. Санатории, расположенные за городом, делали рекламу с акцентом на покой; впрочем, предлагаемый ими «покой» был комфортабельным и разнообразным, чтобы поддерживать пациента в форме с помощью различных водных и электрических процедур, массажа и развлекательных программ. Однако была ли во всем этом необходимость? Швейцарец Шатле рекомендовал невротикам идеал сурка: «Сурок — по-настоящему счастливый зверь. Всю зиму проспать в теплом гнезде из сухого сена, укрытом от северных ветров и ложного прогресса. Выспаться как следует, сжав кулачки, вернуть себе за одну ночь длиной в пять месяцев весь утраченный покой, чтобы затем проснуться в ласковом апрельском солнце, с освеженным мозгом, успокоенными нервами, и завести “большую пружину”!» (См. примеч. 1.)

В 1890-х годах постельный покой как «первоочередное из всех средств душевной диеты» для Эренвалля стало открытием. В 1887 году в Ар-

вайлер прибыл бизнесмен 31 года, сын «очень взволнованной» матери, который свыше пяти лет утомительно и напряженно трудился на Яве, Суматре и Борнео, сколотив за это время фирму, торгующую скобяными изделиями. Он сообщил о себе, что «в 20 лет был ипохондриком» и «благодаря собственной силе воли» сумел выбраться из этого состояния. Однако после того, как он справился со страхом перед возможными последствиями онанизма, его начал преследовать страх перед сифилисом. «Постепенно сформировался невроз». Его направили в Арвайлер, так как он нуждался в «покое и более строгом присмотре». Покой здесь понимается как новое средство оздоровления, требующее пребывания в стационаре — и это после того, как потерпели поражение попытки самовосстановления за счет воли (см. примеч. 2).

Мёбиус также исходил из того, что многие его «нервозные» пациенты утратили естественный инстинкт компенсировать фазу спешки фазой покоя и страдали от противоположных настроений: «Я часто пытаюсь объяснить это с помощью шутки: вот здесь у вас в груди сидит маленький злобный дух, который все время кричит: быстро, быстро, быстро! Его нужно уничтожить». В рекомендациях Отто Бинсвангера бросается в глаза его невероятно расточительное обращение со временем: если классическим курортным курсом для невротиков считался трехнедельный, то Бинсвангер считал, что для неврастеников — всех неврастеников! — желательны как минимум шесть месяцев курорта (см. примеч. 3). Каков был бы мир с массой таких неврологических клиник и с такой неспешной экономикой, где значительная часть работников могла бы отсутствовать по полгода...

«Покой и еще раз покой», — предписывал Пельман терапию для невротиков, выступая в ноябре 1900 года в Нижнерейнском союзе общественного здоровья в поддержку неврологических санаториев. В первом годовом отчете Народной неврологической клиники Родербиркен значилось: «все авторитеты в сфере неврологии [...] сходятся в том, что первое требование для нервнобольных есть покой и еще раз покой», это подтверждалось на первом же «больничном материале». Тогда же «последовательный постельный режим» стал новым трендом и в заведениях для душевнобольных (см. примеч. 4). Как бы резко ни демонстрировали специалисты разграничение между нервнобольными и душевнобольными, однако терапия в обеих сферах развивалась параллельно: это относится как к введению абсолютного покоя, так и к сменившей его активности.

Лечебный покой не был похож на глухой покой сурка в зимней спячке, он не был погружением в себя, его счастье базировалось на контрасте

с тревожностью. Поскольку тревожность на протяжении человеческой истории изменялась, вместе с ней преобразовывалось и представление о покое. В шумную индустриальную эпоху «покой» стали понимать в первую очередь акустически. Терпимые к шуму жители Бразилии в XIX веке смеялись над поселившимися в их стране англичанами, этими «фанатиками тишины», которых нервировало уже цоканье деревянных башмаков (см. примеч. 5). Индустриализованная Англия соблюдала по выходным дням строжайшую, почти невыносимую для южан тишину. Обострившаяся экономическая конкуренция способствовала тому, что покой стал пониматься в первую очередь как удаление и выключение из деловой жизни, популярными стали местности, где можно было забыть об индустриализации. Однако прелесть такого покоя можно было понять и оценить лишь на фоне пережитого напряжения, и по мере того, как утомление и спешка уходили в прошлое, он терял привлекательность. Те, кто стремился к нему, по истечении какого-то периода вновь нуждались в активности. Между определенным видом покоя и нервозностью существует взаимозависимость.

В последнее время понятие покоя из-за своего диалектического характера все больше меняется. В доиндустриальную эпоху демонстративное спокойствие было признаком достоинства, манерой аристократов, которым не нужно было работать ради выживания. Но чем более суетным становится мир труда, тем больше умение сохранить спокойствие воспринимается как новая способность, свидетельство опытности и крепости нервов. Студент-теолог Гёре был поражен невозмутимым спокойствием наемных рабочих, постоянно переезжавших с места на место в поисках работы. Тот, кто ни за что не держался и постоянно находился в движении, порой обретал спокойствие, в то время как желание иметь твердую и постоянную почву исполнялось далеко не всегда (см. примеч. 6).

Наиболее счастливого покоя — после пережитой опасности или после тяжелейшего профессионального напряжения, или после любовных переживаний — неврологические лечебницы предложить не могли. Вместо этого они организовывали тот бессильный и робкий покой уединения, который в эпоху, когда людей все больше охватывала мания «энергичности», вызывал подозрения в лености и «филистерстве». Вечной проблемой лечебниц была смертная скука (см. примеч. 7). Многих пациентов приводило в состояние нервного беспокойства именно бездействие, заставлявшее их мысли вечно кружить вокруг себя самого и собственных симптомов. Во внешнем спокойствии, высшей ценности для лечебниц, руководство клиник, стремившееся к бесперебойной ра-

боте, было заинтересовано как минимум не меньше, чем сами пациенты: деление пациентов на «спокойных» и «беспокойных» было даже важнее, чем конкретные диагнозы.

С началом нового века в клиниках особенно участились случаи недовольства обычной терапией, отводившей пациенту пассивную роль. Исследование «Успешного опыта лечения неврастении» (1911), проведенное в психиатрической клинике Отто Бинсвангера в Йене на опыте более 1000 историй болезней с 1898 по 1908 год, установило, что результаты лечения неврастении у учителей «в общем очень неплохи», однако почти ни один из них не признал, «что улучшением своего состояния он обязан лечению». «Почти все они объясняют свое хорошее самочувствие тем, что поняли, как самому "стать хозяином" своих жалоб, или "держать себя под контролем за счет силы воли", или "подчинить тело духу"». Один учитель, который провел в клинике 71 день, записал, что пребывание там помогло ему осознать, «какой глупостью было с его стороны отправиться в клинику для лечения нервов». «Исцелился я не Йеной, мое состояние улучшилось исключительно за счет *моей воли*, которую я укрепил и усилил благодаря медленному систематическому обучению». Для медика его слова были не более чем педагогической болтовней. Отто Бинсвангер принадлежал к тем неврологам, кто особо подчеркивал необходимость полного отключения собственной воли пациента для успешного курса лечения нервов и критиковал точку зрения, «что явное слабоволие представляет собой противопоказание против лечебного курса». Как раз освободив пациента от «какой бы то ни было ответственности и необходимости принимать решения», врач достигает той «расслабленности», без которой все другие средства лечения остаются бездейственными (см. примеч. 8). Принцип покоя и авторитет врача были для Бинсвангера тесно связаны друг с другом. Однако собственная воля пациентов восставала против предписанного покоя.

К примеру, директор торговой школы, который любил поговорить о своей силе воли и «сам очень точно анализировал» свое расстройство, остался «очень недоволен» курсом лечения в Арвайлере. Его брат, сторонник лечебного курса, настойчиво просил его «побороть собственную волю», но сам он яростно протестовал — «к чему этот постельный курс, к чему эти ванны...» Еще один пациент, главный инженер, неврастения которого резко и сильно обострилась в процессе строительства канализации, в Бельвю сделал вывод, что «помощь и улучшение пришли к нему в основном благодаря его собственным силам, напряжению воли, преодолению дурного расположения духа, физической работы, отвлекающих занятий» (см. примеч. 9).

Но и воля, в спасительную силу которой верило все больше неврастеников, использовалась в терапии уже тысячи лет. Уже греческий стоик Эпиктет со своими вечными хворями учил, что можно преодолеть боль одной только силой воли. Вопрос о свободе или несвободе воли стал предметом теологических споров, прежде всего, благодаря реформации. Адам Бернд, которому трактат о свободе воли стоил места священника, в 1738 году считал установлением «мировых мудрецов», что человек «своей волей, действие и власть которой над телом являются непостижимой божественной тайной, задает жизненный дух и определяет все происходящее в мозге». Наиболее ярким примером власти духа над телом для него была эрекция, которая вызывается одной только мыслью о желанной женщине. Иными словами, воля и влечение тесно связаны друг с другом. В глазах пуританских моралистов, напротив, воля доказывала свою силу прежде всего в борьбе против влечений. В этом смысле существовала морально-философская традиция почитания воли. У современной науки воля, наоборот, вызывала скорее подозрения. Около 1800 года догма о свободе воле причинила немало бед душевнобольным, возложив на них полную ответственность за все их действия и оправдывая методы терапии, сходные с пытками. В истории психиатрии эта эпоха оставила по себе недобрую память. Но для психически здоровых людей учение о целительном действии воли могло сохранить свою силу. Кант по опыту собственной ипохондрии писал, что человек может справиться со своими «болезненными чувствами» «одним лишь твердым намерением», а Гуфеланд подкрепил это высказывание комментарием, что лучшее средство против ипохондрии есть «собственная твердая воля, собственная сила духа». Шопенгауэр, напротив, считал, что «наше несчастие» в том, что «мы вообще *хотим*»[1]. Воля означала для него, прежде всего, чувственные вожделения, власть которых причиняла ему боль и досаду; половые органы представлялись ему «настоящим фокусом воли и, следовательно, противоположным полюсом мозга, представителя познания»[2]. Чем сильнее воля воспринималась как витальная сила, тем более сомнительным было ее отношение к духу (см. примеч. 10).

Поль-Эмиль Леви, основатель французской терапии воли, ссылался на своих пациентов, упрямо утверждавших, «что постель их ослабляет». Американская писательница Шарлотта Перкинс Гилман в новелле

[1] Цит. по: *Шопенгауэр А.* Из рукописного наследия / пер. с нем. // Шопенгауэр А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6. М., 2001. С. 120.

[2] Цит. по: *Шопенгауэр А.* Мир как воля и представление / пер. с нем. // Шопенгауэр А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 1. М., 1999. С. 282.

«Желтые обои» (1892) рассказала о своем горьком опыте и жестоком разочаровании в предписанном ей доктором курсе питания и покоя. Врач хотел запретить ей до конца жизни прикасаться к перу и чернильнице. Писательница жаловалась, что очень быстро сошла бы с ума, если попыталась бы его послушаться. Разочарование в терапии покоя и обращение к воле были международным опытом и распространялись даже вопреки врачам. Во многих случаях уважение к воле является отражением самоуверенности пациентов. Медицина поначалу ценила в качестве средства против неврозов лишь сильную волю врача. Однако постепенно, с развитием методов управления волей авторитет врача стало возможным укрепить и с помощью терапии воли пациента. Если в XX веке многие врачи стали вести себя с пациентами как «полубоги в белых халатах», вопреки Гиппократу, призывавшему врача хранить задумчивость и не казаться самоуверенным, то это объясняется не только авторитетом науки, но и новым взглядом на терапевтическую роль внушения (см. примеч. 11).

Знаменательно, что к концу XIX века во Франции, а затем во всей Европе повышается интерес к гипнозу, который постепенно становится самым захватывающим и наиболее дискуссионным методом психотерапии. Тема была притягательной, волнующей и пикантной, особенно за счет спекуляций о том, можно ли заставить человека под действием гипноза и против его воли совершать сексуальные действия или криминальные деяния. Как средство терапии гипноз, т.е. вызванный внушением сон, был своего рода кульминацией лечения покоем. В то же время этот метод готовил почву для терапии, направленной на методическое укрепление воли. В дискурсе нервов гипноз укреплял психологическую интерпретацию нервозности, хотя и среди «психиков» у него были заклятые враги. Опыт гипноза был аргументом для тех, кто утверждал, что мнимые успехи физиотерапии, будь то гидро- или электротерапия, на самом деле основаны на внушении. В остальном гипноз поощрял широко распространенный в то время спиритизм, который, как полагал Гарден, был тайной религией Эйленбургского кружка, — имеется в виду вера в нематериальные человеческие сущности, которые можно вызвать силой сознания. Мюнхенский врач и специалист по гипнозу Барон Шренк-Нотцинг был известен не только статьей о «психическом и суггестивном лечении» в «Справочнике по неврастении», но и как автор самого известного немецкого труда о спиритических явлениях.

В самом конце XIX века центр гипнотизма перемещается из Франции в Германию. Правда, Вильгельм Вундт, глава немецких психологов, по-прежнему испытывал отвращение к гипнозу, а Мейнерт, у которого

когда-то учился Фрейд[3], называл его «противоестественным собачьим порабощением человека другими людьми».

В Швейцарии авторитетом в области гипноза стал Форель, в то время как Дюбуа, новый корифей психологической науки, объявил, что «взращивать» и без того «фатальную самовнушаемость» невротиков, принципиально неверно. Самовнушение он считал «злобным кобольдом». «Воспитание истеричности до гипнотизма, — ругался венский невролог Мориц Бенедикт, — в любых условиях такое же преступление, как взращивание морфинистов» (см. примеч. 12).

Верхушка немецкого союза натуропатов в конце XIX века была целиком на стороне гипноза: в «Der Naturarzt» противники гипноза сначала вообще не заявляли о себе, но после контрнаступления сумели добиться прекращения серии статей о гипнозе. Гипноз можно было трактовать как активизацию в человеке природных сил. Однако через какое-то время один натуропат, также бывший сторонником гипноза, заметил, что гипноз ослабляет «силу мысли и воли», «так как без уничтожения мысли и воли он просто невозможен». К такому же выводу пришел еще один автор. Учение о воле стало камнем преткновения в триумфальном шествии гипноза, прежде всего для тех, кто считал сутью неврастении слабость воли. В 1910 году в Арвайлер в качестве пациента поступил некий крупный промышленник и воинственный парламентарий. Он страдал от «тревожности, непостоянства, суетности» — неудивительно при его многообразной занятости. Но ко всему этому добавилось еще то, что когда после рождения 14 детей он прекратил половые сношения с женой, в нем вдруг проснулись непреодолимые гомосексуальные желания: смертельная опасность для политика, имевшего врагов. Это сделало его особенно «тревожным и нервным». Ашаффенбург предложил ему лечение гипнозом; однако тот отказался, потому что подобный курс «лишает людей воли», а ничего хуже для человека его склада и быть не могло (см. примеч. 13).

Вследствие трудностей с неврастениками гипноз постепенно оказался в сложной ситуации. Исходно «идеальным» объектом для гипноза считались «функциональные» расстройства, т.е. жалобы без заметных органических изменений. Гипнотическая терапия органических болезней предполагала бы неортодоксальное допущение, что духовные идеи могут воздействовать на органические изменения. Однако в случае неврастении не было точно известно, основывалась ли она лишь

[3] Мейнерт Теодор (1833–1892), пытавшийся понять психические расстройства через анатомические изменения мозга наставник В.П. Сербского.

на представлениях или имела реальные материальные причины. Среди американских неврологов наибольший интерес к гипнозу проявлял тогда не кто иной, как Бирд, однако в своей книге по неврастении он обошел гипноз полным молчанием. С его точки зрения, суть неврастении состояла в объективной утрате крепости нервов, которую нельзя было восстановить гипнозом. Мёбиус, напротив, все больше значения в возникновении неврастении придавал психике и потому считал исцеление гипнозом принципиально возможным; но в 1894 году он жаловался, что «гипнотическое внушение» в работе с «неврастениками — это такая тяжелая вещь, что большинству врачей не хватает либо умения, либо терпения, либо и того и другого вместе». «Честно признаюсь, что к "большинству" я причисляю и себя самого» (см. примеч. 14). К сходному заключению пришел и Крафт-Эбинг, объясняя его тем, что неврастеники редко приходят в «спокойное расположение духа и трудно фиксируют внимание». А уж если-таки подвергать их гипнозу, то не помешает и «немножко хлороформа для поддержки».

Лучше всего поддавались гипнозу, как заметил Лёвенфельд, «те, кто не имел обыкновения много думать и [...] был привычен к известному пассивному послушанию». Неврастениками же были в основном люди с собственным мнением и много думающие. Даже Шренк-Нотцинг, один из самых решительных сторонников гипноза в Германии, признавал, что «гипнотизация неврастеников — это тяжелейшая задача для любого специалиста по внушению». Он рекомендовал гипноз прежде всего при «нарушениях сексуального желания» (см. примеч. 15). В этом случае гипнотическое воздействие имело ясную цель, в отличие от неврастенических нарушений диффузного типа.

С началом XX века первый бум гипноза быстро пошел на спад. Вероятно, сыграл свою роль и неутешительный опыт работы с неврастениками. Многие пациенты, казавшиеся успешно загипнотизированными, после сеанса смеялись над врачами, признаваясь в злостной симуляции. Именно так поблек нимб вокруг Шарко. Райнхольд Герлинг, бывший актер и директор театра, издатель известнейшего журнала «Der Naturarzt» и автор постоянно переиздаваемого руководства по гипнозу, в 1905 году опубликовал популярный труд «Гимнастика воли», призывавший читателей к «укреплению силы воли без посторонней помощи». Там говорилось, что техника внушения доведена до такого совершенства, что гипнотизация в смысле погружения в искусственный сон уже не требуется, но пациент после соответствующего обучения может лечить себя сам. Самовнушение, предшественник «аутогенной тренировки», стало новым решением, устранившим противоречие между терапией внуше-

нием и учением об укреплении воли. Создается впечатление, что неврастеники как люди, более податливые к самовнушению, чем к внушению со стороны, были в этом методе пионерами. И только во время войны, когда от солдат, страдающих нервами, требовалась уже не собственная воля, но полное подчинение, гипноз вновь оказался в чести (см. примеч. 16).

Об изменении тренда в неврологии от отдыха к укреплению духа свидетельствовало и появление новых технических приспособлений. Парадигму задал велосипед, который Золя в 1898 году назвал средством «воспитания воли» для девушек, а автор «философии велосипеда» Бертц в 1900 году — «славной школой мужества». Велосипеду приписывалась особенная роль в укреплении нервов. Сходным эффектом обладало раскрепощение в обращении с водой. Современный водопровод, в котором вода подавалась под давлением, изменил процедуру принятия душа. Она стала более волнительной, чем прежде, когда душ был обычной лейкой. По сравнению с квиетизмом теплой ванны тугие струи душа несли с собой новую философию воды. А уж как отличалось от «ванного квиетизма» купание в волнах Северного моря! Кабирске, председатель Бреслаусского общества крытых бассейнов и пресс-секретарь Немецкого союза народных купален, в 1899 году воскликнул: «Душ — хорошо, купание — еще лучше, но все превосходит плавание, венец всего, что связано с водой». Он также ссылался на «нервозную эпоху» и подчеркивал ценность плавания для «крепости нервов». В целом массовый спорт, пришедший на рубеже веков из Англии в Германию, принес с собой множество новых впечатлений и открытий собственного тела, повлиявших, в частности, и на лечение нервов. Люди поняли, что могут выдержать больше, чем казалось, и что телесное усилие даже идет им на пользу (см. примеч. 17).

На рубеже веков в моду вошла — родом из Швеции — «механотерапия» с аппаратами Цандера и «упражнениями на сопротивление». Этот опыт нес радость изобретений и новых открытий. Некоторые аппараты приводились в действие мотором через систему передач и придавали гимнастическому залу вид «хотя и очень чистого», но фабричного помещения. Отто Бинсвангер в 1903 году восторженно рассказывал об одной «юной шведке», которая привезла с собой в Йену новейшие достижения шведской лечебной гимнастики: «Даже не знаю теперь, как бы я лечил неврастению и истерию без отделения механотерапии». Собственно, «механотерапевтический тренд» противоречил общей психизации учения о нервах, но «упражнения на сопротивление» можно было интерпретировать как упражнения на укрепление силы воли. Тем не менее

уже скоро польза аппаратов Цандера для нервов стала вызывать сомнения. Были и совсем резкие высказывания: «Не могу представить себе ничего более ужасного и возбуждающего нервную систему, чем аппарат для гребли или гимнастическую лестницу» в спальне, — ворчал Пельман. По его мнению, если терапию покоя непременно нужно дополнять движением, то лучшим методом была бы полезная работа. Как можно видеть, менталитет *Trimm-dich*[4] только-только зарождался; преобладала точка зрения, что усилие и напряжение должны иметь какой-то смысл (см. примеч. 18).

Мысль о том, что труд полезен для здоровья, конечно, не новая. Разумеется, предполагалась умеренная физическая работа, не слишком монотонная и разгоняющая кровь. Иоганн-Кристиан Гейнрот (1777–1843), один из ведущих представителей школы психиков, имя которого было забыто, а затем восстановлено Мёбиусом, считал «занятость» «универсальным лечебным средством для успокоившихся» больных. «Труд — лучшее лекарство» было лозунгом Бодельшвинга в основанной им колонии Вефиль, где участие больных в работе приветствовалось уже по экономическим причинам, но и соответствовало пожеланиям многих пациентов. Мёбиус обосновывал трудовую терапию принципом покоя: как бы «удивительно» это ни звучало, писал он, — но на вопрос о том, как «больному обрести покой и мир в душе», правильным ответом будет: «через труд». Еще легче было обосновать трудовую терапию принципом укрепления воли. Пациентам из образованных слоев общества, не имевшим привычки к физическому труду, требовалось серьезное внутреннее усилие, чтобы выдержать трудовую терапию. Автор исследования 1905 года, написанного по материалам лечебниц «Дом Шёнов» и Констанцерхоф, с явным сарказмом пишет, что «вопреки всем настойчивым призывам о лечебной пользе труда не так просто подвигнуть нервного тайного советника, университетского профессора, майора или советника коммерции к работе садовника, столяра или переплетчика». В 1913 году «Дом Шёнов» для небольшой группы тщательно отобранных больных ввел в свою программу «упражнения для воли» следующего типа: «участники под руководством тренера вместе принимают определенные позы и выдерживают их в течение краткого или более длительного времени. Моделями для таких поз служат античные и современные скульптуры». «Упражнением для воли» стала популярная в

[4] «Тренируйся, закаляйся» (*нем.*) — лозунг массового спортивного движения, достигшего кульминации в период проведения мюнхенской олимпиады 1972 года. Движение пользовалось поддержкой правительства и больничных касс.

то время игра в «живые скульптуры». Насколько безобидные практические последствия имел новый культ воли до 1914 года, настолько сильно все изменилось, когда он перешел в сферу политики.

Эмиль Дюркгейм в памфлете 1915 года «*L'Allmagne au-dessus de tout*»[5] видел в стремлении Германии к статусу мировой державы «болезненную гипертрофию воли, своего рода манию воли» — идею, что олицетворяемая государством коллективная воля способна перешагнуть границы, заданные природой вещей. Он имел в виду, что подлинный источник немецкого национализма нельзя слишком идеологизировать, это была не идеология, а скорее «конкретное живое чувство»: «чрезмерная жажда воли». Хотя сочинение Дюркгейма было данью военной пропаганде, его тезис не был полностью ошибочным. Правда, в Германии мания воли была еще молода, истоки ее лежали скорее на западе Европы, не в последнюю очередь во Франции. Уже в словах Руссо о *volonté générale*[6] звучала надежда преодолеть лабильность индивида за счет коллективной воли. Справочник Гебхардта «Как стать энергичным» во введении к разделу о «самостоятельной тренировке воли» ссылался на Поля-Эмиля Леви и на Амбруаза Огюста Льебо, основателя школы Нанси. Леви принципиально отвергал курс покоя и восторженно ратовал за «воспитание воли». В 1880-х годах французы изобрели «заболевания воли», а в последние годы перед мировой войной во французской популярной гигиенической литературе, как и в Германии, заметно усилился культ силы воли (см. примеч. 19).

В Англии терапия воли также имеет более долгую историю, чем в Германии. Мать Вильгельма II, британская принцесса Виктория, уже в 1861 году, беспокоясь о «взбудораженных нервах» своего супруга, призывала его применить «немножко силы воли» и тем самым познакомила берлинский дворец Гогенцоллернов с новейшими достижениями английских учений о нервах и силе воли. В викторианской Англии обращение медиков к силе воли имело моральный подтекст. Исследовательница Джанет Оппенгейм считает, что XIX и начало XX веков стали «трагедией британской психиатрии», потому что методы лечения были в это время ограничены господствующей в обществе моралью и бессмысленными призывами к воле, которой полагалось быть свободной и вместе с тем соответствовать той же основной морали (см. примеч. 20).

В США споры между философией досуга и философией активной суеты обнаруживаются в переписке между Уильямом Джеймсом, философом и психологом, и его отцом Генри. Генри Джеймс всегда беспокоился,

[5] Германия превыше всего (*фр.*).

[6] Общая воля (*фр.*).

как бы излишняя работа не повредила его здоровью. Неутомимый Уильям, хрестоматийный неврастеник по понятиям того времени, напротив, вечно стремился к движению и разнообразию, пусть и с ущербом для здоровья. В Германии он увидел женщину, занимавшуюся тяжелым трудом, и стал убеждать свою сестру в том, что работающая женщина — это идеальная и счастливая женщина. Он делил людей на два идеальных типа: «нежноногие из Бостона» и «суровые как Скалистые горы». В эссе «Евангелие расслабления» (1899) он писал, что американцев делает нервными не чрезмерная работа, а неверная жизненная установка. Когда американец приезжает из Европы и в его памяти еще свежи европейские лица, ему бросается в глаза «дикий взгляд» на лицах земляков. Этот взгляд объясняется «слишком отчаянной жадностью и страхом или чрезмерной ответственностью и любезностью». Лечебный курс покоя против этого совершенно ошибочен. Тем не менее в следующем году он отправляется на курс лечения в Бад Наухайм.

С начала XX века в США распространяется новый вид терапии, авторы которого исходили не из недостатка энергии, а из ее избытка. Уэйр Митчелл, американский первооткрыватель лечения покоем, начал направлять пациентов мужского пола не в санаторий, а в путешествие верхом на лошадях через Дакоту. Теодор Рузвельт, ставший к этому времени «тяжеловесом» американской политики, воспринимал себя неврастеником, но в Дакоте во время суровой верховой поездки праздновал победу над своей слабостью. Как описывает Том Лютц, его «ковбойская философия» и понимание империализма были «непосредственным результатом» его теоретического и практического опыта неврастении. Ни один руководитель иностранного государства не производил такого сильного впечатления на Вильгельма II, как Теодор Рузвельт. Тот, в отличие от немецкого кайзера, мог легко играть мускулами и строить боевые корабли, не подвергая при этом свою страну серьезному риску (см. примеч. 21).

В процессе психизации неврастении с начала XX века все чаще обнаруживается, что суть этого расстройства видят уже не в определенных функциональных нарушениях, а в слабости воли. Соответственно, и терапия должна была состоять в укреплении силы воли. Если исходить из того, что воля — это продукт жизненной установки и мировоззрения, то терапия нервов приобретала философский характер. Леви даже считал слабоволие «великой болезнью нашего времени», а Карл Бирнбаум, ассистент в берлинской клинике для душевнобольных Бух, в 1911 году назвал слабоволие своеобразной болезнью эпохи, «получившей широкое распространение». В 1906 году 23-летний наследный граф Эразм фон Эрбах-Эрбах был признан недееспособным по причине «патологическо-

го слабоволия» и «сексуальной неврастении», при этом он открыто признался в том, что не почитает иных богов, кроме Бахуса и Венеры. Этот случай привлек к себе внимание общества, поскольку обладал всеми достоинствами бульварного романа, а кроме того, речь шла о наследстве в 40 млн марок и экспертизу проводила целая галерея неврологических и психиатрических знаменитостей. При этом оказалось, что к северу от Майна судили строже, чем к югу от него, о чем была даже составлена эпиграмма (см. примеч. 22).

Открытие в нервозности проблемы воли содержало зерно истины. Если прежде в разговорах о нервах нередко делали вид, что речь идет о некоей периферийной части тела, которую можно отделить от своего *Я* и за которую человек сам не отвечал, то учение о воле показало, что за «нервами» на самом деле скрывается собственное *Я*. Но что из этого следовало? Воля могла быть чем-то, что присуще человеку от природы, но и чем-то, чего человек может достичь по собственному желанию. В традиционалистском обществе тренировка воли была нацелена на способность идти предначертанным путем. В обществе, находящемся на стадии перелома, укрепление воли, напротив, должно было повысить способность сосредоточиться на одной из многих возможных целей и не растерять собственные силы.

В конце XIX века понятие воли, прежде всего в популярной психологии, попало под влияние «энергетического» мышления: под «волей» имелось в виду чувство собственной силы и целеустремленности, хотя часто и напряженного усилия. Лозунгом «Воля есть сила!» предварял свою «Гимнастику воли» Райнхольд Герлинг. Если в понятие воли возвращался момент свободы, это способствовало неврастенической нерешительности. Тем не менее терапевтам приходилось сохранять элемент свободы в трактовке воли, потому что воля только тогда обладала терапевтической ценностью, когда над ней можно было работать. Но если тренировку воли воспринимали как чересчур утомительное предприятие, возникала другая дилемма: часто речь шла об освобождении от тормозящих идей и представлений; если же человек слишком сильно старался избавиться от них, как раз на них он и фиксировался. «Но как сделать так, чтобы по-настоящему захотеть?» — спрашивает в вымышленном диалоге пациент врача, который рассказал ему о «технике хотения». Удачный ответ: «Тем, что прежде всего как следует не хотеть это делать! Беззаботно пустить все на самотек, вот в чем секрет — тогда все пойдет само собой. [...] Совсем ничего не делать, это великое искусство, которому должен учиться невротик — забыть о том, что вы хотели что-то сделать, что-то по-настоящему хотели сделать» (см. примеч. 23).

В глубоко продуманном виде учение о воле приближалось к терапии покоя. Но популярные идеи часто звучали совсем иначе.

Учение, которое, с одной стороны, считало волю энергией, но с другой — допускало, что слабовольный человек способен к усилению воли за счет внутреннего толчка, запутывалось во внутреннем противоречии, если вспомнить закон сохранения энергии; ведь получается, что в нем заключалась вера в чудо, в то, что энергия может возникнуть из ничего. Вильгельм Оствальд, который в своей теории энергии никогда полностью не отрицал ее физической основы, считал опасным заблуждением мысль о том, что человек способен повысить собственную энергию усилием воли, и полагал, что одной из его жертв пал Уильям Джеймс. Своего полного расцвета учение о воле достигло на нематериалистическом фундаменте. Священнослужители, которые уже из теологических причин предполагали свободу воли к добру, апеллировали к воле и без всякой современной психологии. Профессиональный устав заведений Бодельшвинга наставлял диаконис, чтобы те поддерживали в пациентах «силу воли». Рудольф Штейнер в 1912 году также признал «культуру воли» средством против нервозности (см. примеч. 24).

Но немецкая психиатрия и неврология того времени не хотели иметь ничего общего ни с теологией, ни с морализаторством, ни тем более со спиритуализмом. Неудивительно, что терапия воли для многих ученых была делом подозрительным и чуждым. Дюбуа смеялся, что зачастую так называемые волевые люди на самом деле всего лишь «упрямцы» или «рабы собственных импульсов». Учение о воле явно не было порождением медицинской науки, скорее оно было веянием времени и детищем личного опыта (см. примеч. 25).

Венский невролог Хиршкрон еще в 1893 году выстроил свое учение о нервах целиком на понятии воли. «Стрелок, который на головокружительной высоте выслеживает серну, — пишет он, — отчетливо доказывает власть воли»: «нерешительность и робость неврастеников» образуют противоположный полюс. «Воздействие воли» на все «движения и действия» людей показывает «воздействие духа на тело». Волю он понимает как силу, которая формируется образом жизни и не может быть создана из ничего посредством волевых актов. Неврастеник не может одной доброй волей стать отважным охотником, а охотнику не требуется особого усилия воли, чтобы отправиться на охоту (см. примеч. 26).

Намного эмоциональнее писал о всемогуществе воли медик-любитель Адольф Вомацка. Его поразил бывший пражский официант, который демонстрировал перед медицинским сообществом невероятные примеры владения собственным телом и мог даже передвинуть сердце «с ле-

вой стороны тела на правую в брюшную полость». Но какое отношение подобная акробатика имела к здоровью? Идея об укреплении воли была близка также натуропатам, делавшим ставку на собственную силу пациента. Натуропат Диль, издатель «Physiatrische Rundschau», в 1906 году опубликовал статью, в названии которой повторил завет кайзера о развитии флота: «Наше будущее — вода, воля и наука о воле». По его словам, натуропатия «всегда обращалась к воле как одному из наиболее важных лечебных факторов». Могущество воли открыли для него индийские факиры. Достигший к тому времени тиража в 15 тысяч экземпляров «Der Naturarzt» Герлинга все больше внимания уделял «бесконечно важной для наших современников гигиене воли». В 1907 году это издание перепечатало статью из журнала «Hilfe»[7], написанную воинствующим пастором и реформ-теологом Траубом, другом Фридриха Наумана, позже, во время мировой войны пропагандировавшим стойкость в своих «Eiserne Blätter»[8]. Трауб рисует волю как альпийскую вершину: непоколебимую и твердую, как скала. Собственную силу воли человек ощущает лишь в борьбе: «Сила возрастает, чем сильнее мы ее напрягаем; воля простирает свои крылья для все более могучих взмахов» (см. примеч. 27). Вопрос свободы воли его не интересовал; ему была важна только ее власть.

Медицина, несмотря на некоторые теоретические сомнения, не осталась в стороне от нового культа воли. На Международном конгрессе по призрению душевнобольных 1910 года Адольф Фридлендер высказал мнение, «что часть нашей терапии — особенно в случае невротиков — нуждается в ревизии»: «поменьше изнеженности; укрепление воли есть одно из лучших средств предотвратить дегенерацию». Этой речи предшествовал доклад Эрнста Рюдина, в конце которого докладчик призвал «с помощью расовой гигиены выстроить дамбу угрозе вырождения». Невролог Виктор фон Вайцзеккер[9] считал «проблему воли» со времен Первой мировой войны центральным вопросом психотерапии и даже антропологии в целом; надежда на волю была для него знаком «тоски молодого поколения исследователей души», однако же не психоанализа (см. примеч. 28).

Чтобы найти какой-то подход к воле, психотерапевтам нужно было дать ей наглядное определение и разработать методы воспитания воли, «гимнастики воли». Соответствующая литература появляется в Герма-

[7] Помощь (*нем.*).

[8] Железные листки (*нем.*).

[9] Вайцзеккер Виктор фон (1886–1957) — немецкий медик, считается основоположником психосоматической медицины и медицинской антропологии.

нии в 1890-е годы. Если до этого собственная воля пациента была для терапевтов камнем преткновения, то «воспитание воли» превратило власть воли в средство взять под контроль психические проблемы. Некоторые «волевые» упражнения из руководства «Как стать энергичным» вызовут у современного читателя улыбку: «Вы выкуриваете сигару к своему утреннему кофе!», «Время, свободное от работы и профессии, вы целиком посвящаете покою!», «По истечении каждого получаса рабочего времени вы на 5–10 минут принимаете горизонтальное положение на диване [...]!», «Вы дополняете свой день вторым завтраком, за которым едите мясо или яйцо [...]!» (см. примеч. 29). Такое понимание воли имело мало общего с альпийскими вершинами Трауба; за доброй частью «волевых упражнений» крылось не что иное, как прежний курс лечения покоем. То, что подобные советы без иронии и юмора подавались публике как «воспитание воли», указывает на то, насколько суетны и деловиты были люди. В таком случае соблюдение некоторых правил отдыха и вправду могло требовать определенных волевых усилий.

На фоне разнообразных и изысканных методов современной психотерапии большинство «волевых упражнений» довоенного времени кажутся безыскусными и пресными. Если мировая война многим казалась высвобождением скрытой силы воли, то, в частности, потому, что у человека, страдавшего от слабоволия, было в то время мало возможности узнать, как действует организованная воля.

Эффективным было учение о воле или нет, но оно имело важный побочный эффект: позволяло искать компромиссы в давнем конфликтном поле между психиатрами и юристами. Уголовное право исходило из тезиса о свободе воли. Психиатрия, напротив, с давних пор развивалась в противоположном направлении и, таким образом, как считали многие юристы, становилась на сторону преступника. Более всего склонялись к детерминизму соматики, которые объясняли все психические нарушения заболеваниями мозга. Однако даже такой основоположник психического направления, как Дюбуа объявлял уверенность судьи и присяжных в свободной воле правонарушителя «ветхозаветным» спиритуализмом, не воспринимаемым всерьез современной наукой (см. примеч. 30). Тезис о свободе воли, который для некоторых терапевтов звучал как новое открытие, для ведущих ученых был древним суеверием. Вместе с тем психиатрам и неврологам было важно прийти к соглашению с юристами, ведь у них все чаще появлялась возможность выступать в суде в качестве экспертов. Там они нередко играли очень солидную и заметную роль, в то время как в медицине оставались аутсайдерами.

В смысловом наполнении понятия нуждалось и терапевтическое учение о воспитании воли. Не успел расцвести метод тренировки воли, как уже появились первые разочарования. Даже врач Маргарет А. Кливз, чрезвычайно высоко ценившая способности неврастеников, считала призывы к воле, когда ей становилось совсем скверно, бесполезными, и предпочитала лечить нервы в гамаке. Ушедший на покой Форель, не доверявший воле, подтрунивал над рвением своего преемника Эйгена Блейлера — тот даже сон порой объявлял «дурной привычкой», пытался справиться с ним за счет аномальной трудовой энергии, но «однажды вдруг свалился и пять часов пролежал без сознания»: у него был такой дефицит сна, что его просто не могли разбудить. В Арвайлере в разговоре с пациентом, у которого кончились деньги, врач признал бесполезность применяемых там упражнений на развитие воли: «Здешний курс нельзя назвать успешным [...] может быть, в своей терапии я сделал слишком сильный акцент на то, чтобы пробудить в пациенте силы и такую волю, до которой он при всем своем внутреннем настрое не дорос». Бывший теолог Иоганнес Мюллер, который пытался выстроить связь между религией и реформой жизни и достиг в этом немалого признания, приводил в доказательство собственный личный опыт преодоления тяжелых психосоматических расстройств. Он постепенно приобрел настоящую аллергию против культа воли и говорил о «проклятии воли, которая вызывает судорожные реакции и тем самым делает невозможным именно то, что хотелось бы человеку».

Во времена национал-социализма, когда официальная риторика воли захлестнула все и вся, один невротик из гессенского заведения Айхберг трагикомически выразил всю дилемму напряжения воли. На вопрос, почему он не попал в армию, тот смущенно ответил, что «из-за нервов» провалил медицинское освидетельствование. Он был всегда «тряпкой», никогда ничего не мог — ни в постели, ни в стрельбе: «Чем сильнее я напрягал волю, тем сильнее у меня в руке ходило оружие. Ужасно, что у воли такие пределы». Вспоминается польский журналист из Арвайлера, который жаловался на то, что в борделе даже «изо всех сил напрягая волю», не мог побороть «импотенцию из-за нервов». Чем сильнее было желание тотального контроля над собственным телом, тем больше неконтролируемый элемент в вегетативных реакциях — сне, сердцебиении, сексе, пищеварении — превращался в мучительную проблему, и судорожное желание ее только усугубляло. Это была та же дилемма, что и при «энергетических» амбициях. Ойген Лёвенштейн считал одержимость идеей воли классическим признаком невротика (см. примеч. 31). Не только всемогущество, но и бессилие воли заставляло терапию искать новые пути.

«Что есть воля?» — спрашивал хирург Шлейх в статье, написанной в начале Первой мировой войны. Давнюю проблему свободы и несвободы воли он разрешал формулой: «Воля человека должна быть частью общей воли», «общей воли природы», но также общества и государства. Это был элементарный опыт, недоступный для предвоенной санаторной терапии: что не достижимая в одиночку активизация воли под давлением тяжелого положения нации и в потоке коллективного движения все же может быть успешной, по крайней мере временно. Это открытие спровоцировало эйфорию, в начале войны охватившую множество людей, в первую очередь чувствительных. Она проникла даже за стены неврологических лечебниц: «нервный и непоседливый» музыкант во Франкфуртской нервной клинике с началом войны вдруг одерживает победу в своей бесплодной борьбе с онанизмом. Прежде он был «совершенно лишен энергии» и «беззащитен против любых влияний»: «Я онанировал вплоть до самой войны, до 31 июля 1914 года. Потом пришел восторг, и я счел ниже своего достоинства предаваться животным желаниям». «Естественное желание мужчины — экспансия», — осеняет его вдруг, и он подает заявление добровольцем на фронт (см. примеч. 32).

Укрепление нервов войной — еще какое-то время это многим казалось удивительным переживанием. Однако в последнее предвоенное десятилетие диспозиция для него уже подспудно существовала. Труд Вилли Гельпаха об истерии (1902) завершается главой об «историческом преодолении истерии» и мыслью, что преодолеть ее можно исключительно через изменение души народа. Гарден после дела «Daily Telegraph» воспевал коллективную волю немцев как оружие против нерешительности и непостоянства кайзера: «Эта воля вернет прежнюю силу империи. И с тех пор как выяснилось, что немец рискует иметь волю и против кайзера, былое уважение возвращается». «Новое сильное юношество заново откроет мир воли, — предрекал перед войной пангерманский публицист Лиман, главный свидетель Гардена против Эйленбурга, — и положит заслуженный конец немощной идее, что мир важнее, чем все другие блага нации». «Мы ненавидим безвольных!», — гремел в 1913 году на холме Высокий Мейсснер[10] священник Трауб. С началом войны при-

[10] Гора Высокий Мейсснер в Гессене — важный культурный топос модерна: 11–12 октября 1913 года на холме Высокий Мейсснер в Гессене прошел первый День свободной германской молодежи — слет юных реформаторов жизни, модернистский аналог Вудстока антимодернистской направленности. Помимо общего интенсивного единения с природой, в палаточном лагере произносились идеологические речи, в том числе манифест психолога и философа Людвига Клагеса «Человек и Земля». На встрече присутствовал и молодой Вальтер Беньямин, у которого мероприятия на Мейсснере не вызвали восторга.

зывы к воле зазвучали как настоящий барабанный бой — имелась в виду, конечно, не личная воля, а воля подчинения (см. примеч. 33). Вера во всемогущество национальной воли, которая росла и ширилась посредством гипноза сверху и коллективного самовнушения снизу, позже станет ядром национал-социалистической идеологии. Нельзя забывать, что в последние предвоенные годы подрастала и формировалась значительная часть национал-социалистических лидеров, начиная с Гитлера. Опыт познания нервов имеет собственную преемственность.

«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» И «БУДУЩЕЕ НА ВОДЕ»: УЧЕНИЕ О НЕРВАХ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА; «НЕРВОЗНОСТЬ» КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ БУМЕРАНГ

При всем своем презрении к самодовольному филистеру новый немец все же лелеял в сердце мечту о покое. Однако его покой совсем не походил на прежний бидермейеровский домашний уют и садовую беседку. Теперь это был покой в движении, в путешествии, в экзотическом мире. Мы уже видели, какая тесная связь существовала между нервозностью и тягой к странствиям. Мечта обрести свободу и собственное *Я* в далеком экзотическом мире объединяла всех — от Вильгельма II, впавшего в транс от ритмичного «лю-лю-лю» жителей Дамаска, до Карла Мая, которого фантазия уносила на Дикий Запад к душевному другу Виннету. Эта мечта, в конце XX века ставшая мощным двигателем туризма, в его начале была движущей силой империализма. Осуществление несбывшихся надежд еще более, чем сегодня, проецировалось на дальние страны, именно там мечтали восстановить утраченные силы, обрести безграничную сексуальную свободу. Немцы, сегодня чемпионы мира по туризму, тяжко страдали от ощущения, что опоздали к разделу мира.

Их помыслы устремлялись в основном в Северную Африку и на Ближний Восток. «Восток» был чем-то вроде кода для сексуальных фантазий. Вернувшегося оттуда путешественника в первую очередь спрашивали: «А что женщины?» Экзотические живописные полотна передают характер этих заветных желаний еще ярче, чем литература: наслаждение соединялось с покоем и негой. Такая регенерация была более привлекательна, чем та, которую предлагал Мёбиус в своих неврологических монастырях.

Многие экзотические места, сегодня уже не столь привлекательные с точки зрения гигиены, в то время еще считались особенно здоровыми. Прежде всего это можно сказать о Египте — стране, которую в 1882 году открыто оккупировала Англия, начав тем самым новую эру

колониального империализма. Английские путешественники давно уже облюбовали Нил для восстановления здоровья. На Рождество 1858 года в Каире встретились Изамбарт К. Брунель и Роберт Стефенсон, наиболее известные в то время английские инженеры. Оба находились в состоянии глубокого психосоматического истощения и пытались восстановиться. Макс Эйт, сельскохозяйственный инженер и писатель, долгое время живший в Англии, в одном полубиографическом рассказе советует своему нервному другу, строителю мостов, отправиться в Египет и непременно подняться вверх по Нилу до второго порога: «На всем пути ни одного моста, уже сотням людей это помогло восстановить нервы!» Крепелин с его редкой для крупного ученого страстью к путешествиям и экзотике не только ездил в Каир, но в 1899 году даже попробовал там гашиш. Когда из-за пристрастия к алкоголю из Бельвю выставили сына одного западногерманского промышленника, его дядя заметил, что лучше родители взяли бы его зимой с собой в Египет. Когда Вильгельм II в 1905 году совершил свою знаменитую высадку в Танжере, он, собственно, намеревался попасть в Египет — по мнению Бюлова, «исключительно из страсти к путешествиям». Танжер, с точки зрения кайзера, был эрзацем Египта (см. примеч. 34).

Особой магией обладал оазис Бискра во французском Алжире, этот «Париж пустыни», который даже сухой географический справочник называл тогда «неописуемым». После долгого путешествия по пустыне его зеленый оазис вырастал перед усталыми глазами путника как замки Фата-Морганы. Со своими кафе и варьете, темнокожими танцовщицами и экзотической природой он казался возвращенным раем, где под глухие барабанные ритмы размывалась грань между «нормальным» и «противоестественным» сексом. Один немецкий автор в статье о Бискре (1906) зачарованно пишет о «нервном солнце» над этим раем и утверждает, что стал бы королем, открой он там санаторий для нервнобольных. Когда Макс Вебер в 1903 году после нервного срыва пытался восстановить силы в Риме, ему показалось, что «вечный город» недостаточно далек от его домашнего быта: «Уехать бы в другой мир, куда-нибудь в Константинополь!» А еще лучше, добавила его мать, — «в Африку, оазис Бискра, там он обретет покой!» (См. примеч. 35.)

После того как Англия добилась господства над Египтом, а Франция — над Алжиром и Тунисом, в то время как Триполи, позже ставшее Ливией, отошло к Италии, немцам в Африке оставалось только Марокко. На фоне общего увлечения экзотикой маниакальная зацикленность немецких империалистов на Северной Африке в последнее предвоенное десятилетие вполне понятна. С рациональной дистанции она за-

служивает резкой критики, но возможно, стоило бы спросить, почему другие мировые державы — участницы Альхесирасской конференции не предоставили Германской империи в Марокко сколько-то приемлемые позиции, но лишь понапрасну ее дразнили. Если учесть реалии империализма, Марокко действительно имело символическое значение. Получит ли Германия свою часть в Северной Африке или нет, было принципиально важно — это символизировало, будет ли она принята равноправным партнером в общество колониальных держав или нет, получит ли свою долю в сказочном мире империализма. Впрочем, даже многие немцы, начиная с кайзера, не могли целиком сосредоточиться на Марокко, и конкретные цели германского правительства, к возмущению пангерманцев, вечно оставались в тумане. Генрих Клас в брошюре «Западное Марокко по-немецки» попытался представить этот регион — в частности, из-за его «воистину изумительного» целебного климата — будущим германским Эльдорадо. Но между строк его текста чувствуется, насколько искусственной была конструкция немецких интересов в Марокко. Тем удивительнее, что именно марокканский вопрос впервые высветил в ведущих кругах немецкого общества серьезную готовность к войне.

Фридрих Науман — это живое воплощение вильгельмовской эпохи с ее невнятными целями, тревожной страстью к путешествиям, верой в водолечение и новые технологии — в 1898 году, т.е. в один год с Вильгельмом II, совершил путешествие в Палестину. Но эта поездка обернулась для него сплошным разочарованием, в Иерусалиме ничто не вызвало у него «радости». Лишь служба в иерусалимской Церкви Христа-искупителя, на которой присутствовал кайзер и звучала немецкая «военно-морская» музыка и «Господь наш меч»[11], принесла ему душевную отраду. Он полагал, что Вильгельм II приехал в Иерусалим, чтобы, как и он, избавиться от «спешки и непокоя». Однако внутреннего спокойствия Науман в Палестине не обрел. Бывший священник, он понял, что его Иисус — не на Святой земле, а дома, в Германии. Это открытие оставило в его душе след — в Первую мировую войну он стремился сконцентрировать всю политическую энергию на «Средней Европе». Однако склонность к колониальным фантазиям он сохранил и после Палестины и даже стал горячим пропагандистом строительства флота. Осознав, что большой мир, каков он есть, остается для немцев чужим и неприветливым, Науман тем более стал стремиться к созданию

[11] «Господь наш меч» — евангельский гимн, написанный Мартином Лютером в 1529 году.

немецкого мира. В связи со своей поездкой на Ближний Восток он приходит к убеждению, что Германия должна вступить в борьбу с «гигантской Английской империей». Он даже защищал такого «конкистадора», как Карл Петерс[12], — этого человека отстранили в 1897 году от немецкой колониальной службы после того как он застал свою африканскую любовницу со своим слугой и убил обоих. На этом оборвалась дружба Наумана с Луйо Брентано[13] (см. примеч. 36).

До 1914 года доля Турции в немецком экспорте составляла лишь примерно 1%, зато около 20% отправлялось в Англию; с экономической точки зрения отношения с Англией были бесконечно более важными, чем отношения с Южной Азией. Но интерес Германии к Ближнему Востоку имел не только экономические, но и эмоциональные мотивы, и ближневосточный романтизм Вильгельма II получал в немецком обществе широкий резонанс.

Друга Наумана Пауля Рорбаха[14] объединяла с другими отцами немецкой мировой политики «вера в то, что Константинополь будет воротами в будущее Германии». Даже когда империализм объяснял свои цели социальной политикой, вряд ли эти аргументы — в соответствии с теорией «социального империализма» — имели сколько-нибудь значимый вес и обозначали подлинную движущую силу совершаемых действий. В эпоху, когда верхние слои общества все сильнее ощущали давление рабочего движения, социальные мотивы стали хорошим тоном, однако это еще не означает их серьезность и подлинность. Польза новоприобретенных колоний для немецких переселенцев была слишком туманной, это понимали и современники. В 1908 году «Die Zukunft» опубликовала разъяренное письмо одного любителя африканской романтики. Тот

[12] Петерс Карл (1856–1918) — немецкий колонизатор и жестокий расист в отношении «неполноценных народов», среди единомышленников считался национальным героем.

[13] Брентано Луйо (1844–1931) — немецкий экономист и реформатор, представитель «новой исторической школы» в экономике, отстаивавший идею, что технический прогресс — основа социального. Мечтал о классовом мире при капитализме, выступал за реформирование профсоюзов и фабричного законодательства, утверждая, что улучшение условий труда повышает производительность, так что в итоге совпадает выгода обоих конфликтующих классов. Племянник поэта-романтика Клеменса Брентано и младший брат психолога Франца Брентано.

[14] Рорбах Пауль (1869–1956) — немецкий публицист, историк и путешественник, объехавший весь мир, гуманитарий широкого профиля, что позволяло ему включаться в различные дискурсы и принимать активнейшее участие в общественной жизни страны.

был возмущен предложением Роберта Коха в интересах будущих белых поселенцев истребить крупных диких животных — промежуточных хозяев мухи цеце. Воодушевленный аристократической любовью к природе автор счел позором идею пожертвовать благородной дичью в угоду мелкокрестьянским поселенцам. Подобные идеи наполняли и африканский романтизм в духе Карла Петерса: его «невыразимая тоска» — это, прежде всего, восхищение дикой природой, в которой среди прочего найдется место для безудержной власти и похоти, но никак не радость от того, что массы немецких батраков с пилами и топорами устремятся в девственные леса. Создается впечатление, что текст воинственного холостяка Карла Петерса о «неженатых воинах массаи» — как они шествуют нагие, вооруженные «прекрасными широкими копьями», и к ним по собственному выбору присоединяются девушки, самые красивые девушки к самым воинственным воинам — гораздо ближе подводит к витальным движущим силам колониализма, чем штампованная фразеология социальной политики. Это была мечта о единстве битвы и любви, когда для отважного воина секс служит естественной наградой, ему не нужно ухаживать за девушкой — они сами приходят в его лагерь. Велер характеризует Петерса как «криминального психопата». Однако если даже такой либеральный и связанный религиозными нормами империалист, как Науман проявляет к Петерсу слабость, то это означает, что тоску колониалиста вполне понимали и благовоспитанные граждане (см. примеч. 37).

Еще один носитель «социал-империалистических» воззрений, вполне либеральный и культурный страсбургский правовед Генрих Геффкен служит очередным примером того, что социальные и экономические аргументы в пользу колониальной политики имели гигиеническую основу и что колониальные мечтания могли стать следствием собственной неврастении. В то самое время, когда Геффкен стал известен как специалист по колониализму, он отправился на лечение от неврастении в Бельвю. Это было в 1881 году, понятие «неврастения» еще было новым, и в Кройцлингене Геффкен принадлежал к его первым «представителям». С 16 лет его мучила бессонница, потом к ней добавились головные боли и проблемы с пищеварением; он страдал от состояний угнетенности и перевозбуждения. Он перепробовал уже несколько «водолечебниц», пытался также лечить свои недуги значительными дозами вина, одно время его с успехом лечила «травница на Штарнбергском озере». Состояние нервов его так тревожило, что он предпочел бы конкретное органическое заболевание, которое объяснило бы его расстройства: «Полцарства за воспаление легких». С точки зрения множества врачей,

его неврастения имела и агрессивную сторону: его не раз описывали как домашнего тирана, «терзавшего свою семью». В тот же период он произносил речи в защиту немецкой колониальной политики, сетуя, что «наше производство» страдает от «хронического полнокровия», т.е. от опасных приливов крови, и таким образом обостряется «борьба за существование». С его точки зрения, недовольство, которое гнало рабочих в руки социал-демократов, было вызвано свирепой «борьбой за существование» — той самой, которая в специальной литературе считалась одной из главных причин неврастении. Без новых колониальных рынков сбыта немцам грозила опасность «заболачивания» и растраты сил в бесплодной внутренней борьбе (см. примеч. 38). Колониальные цели позволяли проецировать на них собственные желания, а опыт неврастении создавал широкое поле для медикализации политики.

Традиция использовать в политике медицинские термины уходит в античность, неблагополучие как «кризис», государственный деятель как «врач». Нередко медикализация служила для оправдания жестокости, обозначалась ли политика хирургией или — более современно — борьбой с бактериями. На таком фоне термины неврологии и психотерапии выглядели более гуманными. Зато в «нервную эпоху» их использовали более серьезно, чем прежние медицинские метафоры.

«Социальный вопрос» понимался тогда в первую очередь как вопрос гигиены. Бюлов считал его «формой болезни», причем болезни, типичной для «определенных эпох прогрессивной цивилизации», и тех, кто не соглашался с ним, упрекал в том, что они не видят «леса за деревьями». Для него социальный вопрос, очевидно, был по сути своей психическим заболеванием. Не отрицая справедливость иных социальных реформ, он полагал, что при преодолении этих болезней самым главным было все же, чтобы «ведущие умы не теряли голову». Мысль о том, что главное — сохранять «хладнокровие», излучать спокойствие, стала его любимой, и постепенно он стал настоящим специалистом такого политического целительства (см. примеч. 39).

Медицинскую терминологию можно встретить и у яростного противника Бюлова, пангерманиста Класа. Его книга «Если бы я был кайзером» буквально кишит пассажами, в которых современное состояние немцев трактуется как болезнь, государственному деятелю отводится роль врача, а война подлежит оправданию как курс лечения. Истоки болезни он ищет в индустриализации, разрозненности немцев и, прежде всего, в евреях. Медикализация политики служит ему для того, чтобы, невзирая на закон и право, легитимировать любые средства для достижения целей пангерманистов. Немецкий народ, по его мнению, «смер-

тельно болен», и для преодоления этого состояния, как бы «фривольно и насильственно» это ни звучало, оправданы даже государственный переворот и война. «Всегерманского» доктора разыгрывал из себя и Гарден, когда боролся с «болезненными мужчинами всех сортов», которые кольцом сомкнулись вокруг кайзера, склоняя его к «мягкой» политике. Уже в 1892 году, приступая к изданию «Die Zukunft», он заявил, что ее страницы будут предоставлены всем тем, кто хотел бы «участвовать в оздоровлении нашей общественной жизни во всех ее сферах». Для такого заядлого курильщика, как Гарден, страдающего легочными болезнями и живущего в осознании непоправимо утраченного здоровья, высокие слова о регенерации не были пустыми. Когда в 1907 году разбиралось дело Эйленбурга, он был близок к полному физическому истощению, жаловался, что нервы у него «как у заплаканной девочки», и в его случае накал политических страстей отражал опыт перенесенных личных страданий (см. примеч. 40).

На вопрос, «какое отношение имеет неврастения к политике», Карл Хилти в 1896 году ответил: «Не совсем маловажное». В широко известной статье, опубликованной в «Политическом ежегоднике Швейцарской конфедерации», он писал, что существует не только «предостаточно неврастеничных политиков», но подобная опасность грозит целым классам общества и народам. «Вопрос здоровья» стал «кардинальным вопросом политики»: в настоящее время мы стоим перед альтернативой, решится ли он через реформу «всего стиля жизни и мировоззрения» или через «кровавую баню», как в конце XVIII века, «или на худой конец посредством частичного возврата к варварству». «Вероятно, известная картина кайзера говорит о том, что ее автор опасается последнего». Имеется в виду картина придворного художника Кнакфуса, эскиз к которой сделал Вильгельм II[15]. То есть он исходит из того, что и немецкий кайзер видит будущую задачу в преодолении политической неврастении (см. примеч. 41).

Домашний учитель будущего Вильгельма II Георг Эрнст Хинцпетер когда-то рассказывал своему ученику, что «жизнь большинства людей» протекает «в непрерывной борьбе за свет и воздух». «Свет и воздух» — главные ключевые слова натуропатии, а также городских и жилищных реформ того времени. Третьему великому целительному средству — воде предстояло сыграть еще бóльшую роль в терапевтическом концепте мировой политики Вильгельма. Популярнейшие лозунги вильгель-

[15] Речь идет об известной картине Генриха Кнакфуса по эскизу кайзера Вильгельма II «Народы Европы, берегите Ваши священные блага». Вильгельм подарил картину Николаю II с наказом не поддаваться влиянию Востока.

мовского империализма полностью отвечали культу воды и голоду по «свету и воздуху» — «место под солнцем» и «наше будущее лежит на воде». «Мы никого не хотим отодвинуть в тень, но и для себя требуем места под солнцем», — этой ключевой фразой завершил свою речь перед рейхстагом 6 декабря 1897 года Бюлов, только что призванный на пост статс-секретаря по иностранным делам. Эта речь сразу же создала ему репутацию блестящего оратора. Совершенно очевидно, что Бюлов, прибывший из Рима и вдоволь насладившийся южным солнцем, выразил заветные мечты большинства немцев. В то время перед ним стояла щекотливая задача дипломатически подстраховать предстоящую оккупацию немцами Цзяо-Чжоу[16], какое-то время существовала даже угроза войны. За благодушной формулировкой скрывались серьезные обстоятельства. Много позже Бюлов записал: «Мне пришлось противостоять Англии, чтобы обеспечить нам место под солнцем» (см. примеч. 42).

«Наше будущее лежит на воде», — произнес Вильгельм II 23 сентября 1898 года на торжествах открытия вольной гавани в Штеттине; флотомания в это время только начиналась. Изречение кайзера имело не только экономический смысл: «немецкое мужество», как провозгласил Вильгельм в 1906 году, особенно ярко проявляется на море: «самый лучший, самый зоркий взгляд у наших немцев, когда они плавают по соленым морям». Даже такой ненавистник вильгельмовской Германии как педагог Людвиг Гурлитт, сторонник «естественного воспитания», проникся этими словами кайзера и написал под их влиянием свое «Воспитание мужественности». Еще одним ответом на речь кайзера послужила редакционная статья в «Der Naturarzt» (1906): «Наше будущее зиждется на воде, воле и науке о воле». Мысль о том, что будущее Германии будет связано с морем, звучит уже в стихотворении Георга Гервега «Немецкий флот» (1844), однако море в нем служит символом свободы. Столь либеральный культ моря кайзер и его канцлер использовать не могли, зато могли обратиться к целебной силе воды, широко разрекламированной натуропатами. «Вода — радикальное средство для нервов», — писал Бильц в главе про неврастению, «важнейшее, могущественнейшее», хотя и не безопасное. «Вода действует на нервы как молот на наковальню, как дождь на сухую землю, как Библия на верующего». Бюлов, который с 1899 года избрал местом летнего отдыха и политической декорации остров Нордерней и проникся его воздухом, писал, что море «стало для нас живой нитью, которую мы не можем позволить оборвать, если не

[16] Цзяо-Чжоу (*Kiautschou*) — германская колония в Цинском Китае с 1898 по 1914 год.

хотим из цветущего и сильного народа превратиться в увядший и стареющий». «Все народы со здоровым инстинктом и жизнеспособным государственным строем стремятся к морскому побережью, если природа не одарила их таковым». Даже противник Тирпица Монтс, хрестоматийный невротик, превозносил «укрепляющий нервы морской воздух» (см. примеч. 43).

В своей речи в рейхстаге 28 ноября 1906 года Бюлов, дискутируя с критиками колониализма — к этому времени геноцид африканских племен разрушил романтические представления о немецких колониях, — вновь привел доводы энергии и здоровья: «Вопрос не в том, хотим мы колонизировать или нет, но мы должны колонизировать, хотим мы того или нет. Стремление к колонизации, к расширению самого себя, существует в каждом народе, обладающем здоровым приростом и мощной жизненной энергией». Немцы останутся «колонизирующим народом, пока в наших костях будет здоровый мозг». Обычно сдержанный Ганс Дельбрюк смягчался от одной только мысли о том, что колониальная политика необходима в целях оздоровления и гигиены: в то время как в Германии образованный пролетариат чахнет в неблагополучных условиях, «пышущее здоровье английского социального тела [...] покоится на том, что их юноши находят себе применение в колониях, они призваны управлять тремястами миллионами индусов и египтян» (см. примеч. 44). Правда, при более внимательном рассмотрении возникают сомнения, что колониальная служба в Калькутте или Бомбее шла на пользу здоровью англичан, а размещение в Алжире — французам.

Бюлову действительно удалось обеспечить немцам «место под солнцем» — на Самоа. Однако это место было таким малым и таким далеким, что доезжали до него лишь очень немногие. В Марокко, обещавшем менее иллюзорное «солнце», политика Бюлова потерпела крах. Однако Бюлов, в случае с Марокко никогда не заявлявший открыто свои конкретные цели, не хотел признать это поражение. Именно тогда в Германии и началась политическая карьера понятий нервозности и неврастении, и главную роль в этом играл сам Бюлов, старавшийся вселить неуверенность в своих противников, упрекая их в неврастении.

В этой ситуации само правительство оказалось подверженным упрекам в неврастении. Чтобы иметь успех в Марокко, требовались «мужество и спокойные нервы», — писал Гарден. По его словам, немцы ушли из Альхесираса с пустыми руками, «потому что мы утратили твердость». Рассуждал о слабых нервах кайзера и новый союзник Гардена Гольштейн: если Вильгельм II продолжит действовать в том же нервном стиле, писал он в 1907 году Бюлову, нам грозит внутриполитический

Альхесирас, а «это означает большую заваруху». С этого момента упреки в нервозности стали бумерангом в политических дебатах. Все более задиристая «национальная оппозиция» подозревала в нервной слабости правительство, а оно, в свою очередь, диагностировало нервную возбудимость у своих оппонентов. Генрих фон Чиршки, который во время Альхесирасской конференции стал штатс-секретарем по иностранным делам и немедленно пресек стратегию Гольштейна идти на риск войны ради Марокко, в 1906 году в письме к Монтсу сетовал, что в Германии царит «политическая неврастения». Он тоже попал под атаки Гардена против «камарильи Эйленбурга» и, как соболезновал Монтс, был «брошен в один котел с голубками Фили». Направленное против него подозрение в неврастении он оборачивает против своих противников. Однако и иностранные наблюдатели отмечали тогда, что по Германии, как круги по воде, расходится «новая нервозность» (Изабель В. Халл). Уже в 1907 Чиршки разочаровался в своей должности: Бюлов считал, что «у него были недостаточно крепкие нервы, чтобы эффективно противостоять парламенту». Во всяком случае, у него хватило куража, чтобы «хладнокровно удушить» напуганного Гольштейна, но Бюлов и здесь увидел проявление слабонервности: «нервы» Чиршки не вынесли мрачного и раздражительного Гольштейна. Чиршки, в свою очередь, жаловался, что у Гольштейна во время Марокканского кризиса сдали нервы и его «каждый день меняющиеся предложения» стали причиной краха Бюлова (см. примеч. 45).

«Вечносмеющийся» Бюлов, который слыл «человеком абсолютно уравновешенным» и еще молодым дипломатом произвел хорошее впечатление на Бисмарка своими «крепкими нервами» — когда, несмотря на угрозу нападения, спокойно продолжил свой завтрак, — вошел в правительство своего рода специалистом по нервам. «С тех пор как у меня появился Бюлов, я могу спокойно спать», — говорил Вильгельм II в 1901 году Эйленбургу. Тем труднее было Бюлову оберегать свою репутацию человека с крепкими нервами после Альхесираса, и уж совсем трудно ему пришлось после 5 апреля 1906 года, когда в рейхстаге во время обвинительной речи Бебеля он упал в обморок. Внешний повод сегодня побудил бы к психоаналитическим спекуляциям (Бебель как раз произносил свирепую речь о насилиях, чинимых русскими солдатами, — это должно было нарушить русофильский настрой немецкой политики), но в то время первой мыслью была апоплексия, а короткий обморок толковался по неврастенической модели как следствие переутомления. После этого Бюлов еще пуще прежнего обвинял своих противников в нервозности. Во время Альхесирасского кризиса и после него, когда ситуация

для правительства была далеко не веселой, его невозмутимое спокойствие и вечная улыбка на устах были направлены на то, чтобы подразнить своих критиков и упрекнуть их в нервозности (см. примеч. 46).

Кульминацией бюловских игр с «нервозностью» стала его речь в рейхстаге 14 ноября 1906 года. Поводом был депутатский запрос председателя национал-либералов Бассермана «об опасениях», «которые курсируют в кругах нашего народа в связи с международным положением». Бассерман намекнул на гарденовскую кампанию против «камарильи», признал себя бисмаркианцем и использовал стандартные невротические аргументы: «С момента отставки Бисмарка [...] мы [...] вступили в период путешествий и бесед [...] период непостоянства, который не только внутри страны, но и за ее пределами воспринимается с неприятной горечью». Немецкой политике не хватает «покоя и постоянства», она подвержена «перепадам настроения и внезапным импульсам»; в результате существовавший прежде за рубежом «страх перед Германией [...] исчез».

Бюлов, перед этим просивший своего врача измерить ему пульс, говорил серьезнее, чем обычно, тем не менее веселил публику и время от времени срывал аплодисменты то слева, то справа. Он ловко и точно разгромил культ Бисмарка воинствующих националистов и высказал надежду, что и у французов, и у немцев «победит точка зрения», что «никто из них не заинтересован брать на себя гигантский риск и чудовищные беды войны». Основная его мысль состояла в том, что Германии не стоит тревожиться ни по поводу изоляции, ставшей очевидной в Альхесирасе, ни по поводу ненадежности итальянцев, бросивших немцев в Альхесирасе на произвол судьбы. Этот момент был для Бюлова особенно болезненным. Он был женат на итальянке, состоял в наилучших отношениях с высшими кругами Рима и считался большим другом Италии. Если его шарм должен был где-то подействовать, то прежде всего в Риме, и его провал именно там был для него самым чувствительным поражением. Показательно, что как раз в этом моменте своей речи Бюлов особенно настойчиво предостерегает от «нервозности». «Мы в Германии стали слишком нервными, справа и слева, снизу и сверху». На этом месте речь его была прервана выкриком социал-демократов (конкретное содержание не было записано, возможно, это был намек на эскапады кайзера?), так что он повторил: «Да, именно так: и сверху, и снизу». Ответом было «оживленное веселье». Все поняли, что Бюлов намекал на нервы Вильгельма II, которого эта речь также рассердила. Бюлов явно увязывал с понятием нервозности возможность консенсуса: следовало бы прекратить взаимные обвинения, признавшись в этой общей слабо-

сти. Таким образом он объединил страх перед войной со страхом за имперские позиции Германии. Закончив речь, Бюлов своим возбуждением, которое он только что назвал «нервозностью», оставил за собой «зыбь», какая еще долго сохраняется на воде после шторма.

Слово «нервозность» сделало в политике карьеру. Социал-демократ Георг Фольмар наблюдал нервозность прежде всего в правительстве: в «имперское руководство», по Фольмару, «проникла та нервная тревожность, которая заставляет человека участвовать везде, всегда и во всем». И далее, с откровенным намеком на Вильгельма II: «Каждый день приносит новые сюрпризы в гонках и прыжках, бриллиантовые фейерверки трескучих речей, чтобы не сказать пустой болтовни». Это слово помогло критикам имперской политики прийти к консенсусу: националистическая оппозиция объединилась с социал-демократами, даже если одни подразумевали под «непостоянством» дефицит последовательности и жесткости, а другие — недостаточное внимание к народным чаяниям. К тому времени в Германии «нервы» уже стали постоянной частью политического вокабуляра; в 1906 году автор статьи в «Der Naturarzt» заметил, что «нервы, их устойчивость и их расстройства» играют «в общественной жизни значимую роль». Лейпцигский историк Густав Буххольц в январе 1906 года в приветственной речи на заседании певческих кружков произнес: «Не тревоги портят нам настроение, нет. То, что лишает нас свежей национальной радости прежних дней и повергает нас то в ипохондрию, то в состояние нервозности — это психический гнет, под которым мы находимся». Это гнет неисполненных героически-националистических мечтаний: «Мы ропщем на судьбу, которая не посылает нам с четкой пунктуальностью раз в четверть века нового Бисмарка» (см. примеч. 47).

В последующее время «нервозность» также постоянно используется как упрек в адрес подстрекателей к войне. Как пишет Бюлов, это понятие стал употреблять также Бетман Хольвег, прежде всего, когда он сам после неудачи во втором Марокканском кризисе стал считаться человеком со слабыми нервами. То, что делал Бюлов при помощи игры и шуток, его преемник пытался реализовать серьезно и методически, а именно — стать гарантом спокойствия в политике. В конце 1912 года он с оглядкой на Англию призывал: «Нам нельзя вести нервную марионеточную политику, иначе у других лопнет терпение». Конкретно «нервная марионеточная политика» означала — вновь запустить приостановленное оснащение флота и добавить нахальства и дерзости в соглашательские жесты по отношению к Англии. В более позднем обзоре он в том же ключе заявил свою цель — «освободить от нервозности обсуждение

вопроса флота в Германии». Здесь он признал, что «мы [...], говоря вульгарным языком, частенько действовали на нервы заграницe». И давал понять, что немецкая «тревожность» до 1914 года явно носила агрессивные черты и вовсе не была лишь «нервозностью» в смысле робкой нерешительности (см. примеч. 48).

Реформ-педагог Густав Винекен в 1913 году на холме Высокий Мейснер требовал от членов молодежных движений «железной крепости нервов», подразумевая иммунитет против подстрекательства к войне. В том же году центристская «Kölnische Volkszeitung» упрекнула пангерманцев в том, что их «патриотизм очень шумный и нервный». 15 мая 1914 года в рейхстаге Ягов, в то время статс-секретарь по иностранным делам, назвал «разжигание народных страстей в наше сверхнервное время игрой с огнем». Правда, Бюлов позже утверждал, что в июльском кризисе у Ягова, как и у Бетмана, «полностью сдали нервы». В начале 1916 года Бюлов в письме к Теодору Вольфу обнаружил неврастеника среди главных германских участников июльского кризиса — Вильгельма фон Штумма, руководителя политического отдела Министерства иностранных дел. «Неврастеничным» Бюлов считал, вероятно, его бахвальство: «Через три дня я заставлю Россию встать на колени». С точки зрения Бюлова, Штумм был наиболее влиятельным берлинским стратегом в развязывании войны (см. примеч. 49). Неврастения как причина мировой войны?

Написанные уже в 1920-х годах «Воспоминания» Бюлова наполнены саркастическими замечаниями о нервозности кайзера и многих других немецких политиков. Карл фон Осецкий в 1931 году в послесловии к третьему тому воспоминаний Бюлова подвел итог, что в германской внешней политике 1914 года тот «повсюду» видел «дилетантизм и неврастению»; очевидно, что и ему самому такое описание казалось вполне точным. Правда, есть основания относиться к опубликованным после 1918 года интерпретациям немецкой предвоенной политики как к результату нервного перенапряжения с осторожностью, поскольку порой в них заметны языковые правила апологетики. Теория нервозности могла вылиться в то, чтобы считать объявление войны со стороны немцев чем-то вроде реакции короткого замыкания без подлинного желания развязать войну. Если под «нервозностью» понимали преимущественно состояние беспомощной тревоги, а не агрессивной тревожности, то теория нервозности подкрепляла утверждение, что глубинный характер германской политики до 1914 года был оборонительным. Тем не менее воспоминание о предвоенной нервозности и после 1918 года сохраняет в себе что-то аутентичное — это не оправдание, сконструированное поз-

же. В «Воспоминаниях» Бюлова было на удивление мало апологетики для мемуаров бывшего немецкого канцлера, в глазах Осецкого они стали «мощным ударом по пропагандистам германской невинности». Неудивительно, что эти мемуары вызвали тогда в Германии яростные протесты и создали «фронт против Бюлова». Бюлов вполне ясно описывает агрессивные черты германской предвоенной нервозности, например, напоминая о том, что «мы», а «особенно Вильгельм II», своими «гипернервными фантазиями [...] сделали политических противников злее, чем они были на самом деле» (см. примеч. 50).

Интересно, что «национальная оппозиция» принимала обвинение в нервозности — пусть и не всегда, и лишь в определенном смысле. Положительная направленность нервного дискурса — возбудимость как одаренность и готовность к отпору — не была для нее чуждой, ведь антиподом для этих оппозиционеров был всем довольный и сытый «филистер». Глашатаи радикального национализма вовсе не стремились к хладнокровному спокойствию а ля Бюлов, но демонстрировали обеспокоенную тревожность и напряженное возбуждение и порой даже сами с важным видом указывали на собственную нервную раздражительность. «Мне он просто действует на нервы», — говорит Гарден устами своего Морица о рейхсканцлере Бюлове. Космополитизм немецкого национализма, будто немцы призваны забыть о себе и творить общечеловеческое счастье, «действует нам на нервы», — писал Клас. В 1913 году лютеранская «Allgemeine Evangelische Kirchenzeitung» признается в солидарности с пангерманцами: «Мир все еще находится в состоянии дележа, а мы считаем ворон. [...] Наш народ начинает нервничать! Целый народ, не только “пангерманцы”! [...] Кто [...] сегодня не пангерманец в том смысле, что он желает побольше аршинов для нашей нации?» (См. примеч. 51.) Нервозность породила тоску по брутальной силе.

ОЖЕСТОЧЕНИЕ МУЖСКОГО ИДЕАЛА И ПОЗОР «ШЛЮПИКОВ»: КРАХ НЕРВНОГО СМЫСЛОПРОИЗВОДСТВА

«Мягкую» сторону вильгельмовской Германии часто не замечали, так как миролюбивым, утонченным натурам в итоге пришлось уходить в тень — они больше не соответствовали новому идеалу германских мужей.

Было ли что-то новое в суровом мужском идеале или он лишь возвращался к прежним традициям? Таких примеров предостаточно уже и в XIX веке, а идея о том, что настоящему мужчине необходимы физическая сила и бойцовская смелость, стара как мир. «Тот Бог, что заставил расти железо, не желал слуг, и потому дал мужчине саблю, меч и копье»,

писал поэт Эрнст Мориц Арндт в 1812 году. Освободительные войны требовали героических идеалов. Однако против Наполеона сражалась лишь очень небольшая часть немцев, так что если на уровне национальной риторики освободительные войны стали эпохальным событием, то общий менталитет изменили очень мало. На протяжении всего XIX века характерными чертами образованного человека в Германии — будь то мужчина или женщина — оставались чувствительность и поэтичность. Даже бисмарковские войны не породили новых норм — они были слишком недолги и охватили слишком малую часть мужского населения. И хотя Адольф Лассон в 1868 году писал, что «железный век» требует «железного поколения», из этого вовсе не следовало, что таковое поколение могло бы внезапно появиться.

В войне 1870–1871 годов Бисмарк хотел, чтобы его войска жестоко расправлялись с «франтирерами», французскими вольными отрядами, сжигая даже те деревни, которые только подозревались в партизанских настроениях, однако многие солдаты были для этого слишком добродушны (см. примеч. 173). И даже сам Бисмарк, благодаря которому, по словам Фридъюнга, «картина мира» «стала грубее и мужественнее» и которого Людвиг Бамбергер упрекал в ожесточении немцев, в своих телесных реакциях еще принадлежал сентиментальной эпохе. Душевные порывы и нервное напряжение у него всегда находили выход в слезах. У Вильгельма II подобное уже трудно было себе представить, психомоторика его нервов носила совершенно иной характер. В эпоху Вильгельма новый, жесткий и несентиментальный идеал мужественности начал проникать повсюду, вплоть до языка тела и жестов. Подобная воинственность долгое время оставалась риторикой и лишь во время мировой войны она действительно «вошла в кровь и плоть» множества мужчин (см. примеч. 52).

Уже на рубеже XVIII–XIX веков среди немецких студентов, по крайней мере в университетах таких городов, как Гисен или Йена, непременным атрибутом мужественности считалась готовность драться на дуэли. В психологическом отношении это свойство не было неизменным, горячие страсти начала века постепенно сменились бóльшим хладнокровием. В своде студенческих правил Йенского университета 1809 года значится, что благодаря дуэли «дерущиеся тесно связаны друг с другом и становятся в сущности братьями». Хотя в последующем столетии этот братский характер и не совсем покинул студенческие разборки, но на рубеже XIX–XX веков дуэль все больше ценится как демонстрация крепости нервов, и для дуэлянтов важно сохранять «спокойствие и хладнокровие». Вместе с повышением требований к нервам «дерущихся

студентов» строже становятся и условия дуэлей: успехи хирургии, особенно появление антисептиков, приводят к тому, что присутствующий «дуэльный доктор» уже не прерывал дуэль при первой крови. Институт дуэли как доказательство крепости нервов пережил модернизацию.

Как раз благодаря этому и возникли проблемы с нервами. В начале «эпохи нервозности» в историях болезни неврастеников страхи перед дуэлью никакой роли не играли. Правда, Крафт-Эбинг в 1892 году упоминает, что он неоднократно «наблюдал, что индивиды, ставшие вследствие неврастении вялыми и робкими, теряли свои социальные и профессиональные позиции, потому что не могли решиться на традиционные средства защиты своей чести с оружием в руках». Однако это указание осталось в специальной литературе единичным. В романе из жизни студентов, изданном в 1910 году, рассказывается о последствиях ужесточения дуэльных правил: студент во время дуэли не смог сохранить самообладания, поскольку накануне состоялось его обручение и он мысленно еще пребывал со своей невестой. В ответ на это он был исключен из студенческой корпорации до «мензуры очищения»[17]. Он объясняет свою неудачу одному новичку: «В нашей корпорации в последние несколько лет требования к мензуре [...] немножко чрезмерны. Тут требуются такие вещи, которые... на которые не каждый способен. А кто-то сегодня может, а завтра — нет. Многое зависит от настроя [...] здоровья [...] состояния нервов». В это время студенческие мензурные поединки неоднократно появляются на страницах историй болезней как патологический элемент. Например, у одного медика, который в Вюрцбурге вступил в одно еврейское объединение:

> «Выпивку он не любил. Больших количеств не переносил, каждый раз его рвало. Фукс-майор[18] требовал отвечать на каждый пристальный взгляд, объяснял ситуации, в которых возможна дуэль. Пациенту это было очень неприятно. [...] Как-то он увидел студента с тяжелыми рваными ранами, это его неприятно поразило. В другой раз фукс из его объединения получил удар в глаз. Мысль о том, что и с ним может случиться нечто подобное, была для него чудовищна. Он болезненно старался ни на кого не смотреть, заходя в кафе или еще куда-то, садился так, чтобы ни с кем не встречаться взглядом».

[17] Если дуэлянт во время мензуры нарушал правила или проявлял слабость, он проходил дополнительную мензуру очищения. Если же и в этой дуэли он совершал те же ошибки, его могли исключить из общества.

[18] Новичка на студенческом языке называли «фукс» — лиса (*нем.*). «Фукс-майор» — студент-старшекурсник, обучающий фуксов студенческой культуре, традициям и истории братства.

В итоге получилось именно то, что и должно было произойти: он попал под подозрение, «что боится мензуры». Тотчас же ему пришлось участвовать в назначенной дуэли, при которой он получил «два небольших пореза»; через восемь дней после этого он покинул студенческое объединение. Он сменил университет и отправился в Берлин; но дуэльный невроз не покинул его и там: он избегал любых дружб и товариществ, «не мог никому смотреть в глаза и при этом постоянно следил, не смотрит ли кто на него» (см. примеч. 53).

Ужесточение идеала мужчины произошло на рубеже веков не только в Германии. Как и терапия воли в неврологии, оно пришло из англо-американского мира, имело международный характер и было не меньше связано с индустриализацией, чем с феодальными пережитками. Отчасти оно продолжало аристократические традиции. Значительную роль играло увлечение спортом, исходившее из высших слоев английского общества. Как именно мужчины справлялись с новыми требованиями, пока мало изучено. Вернер Зомбарт в 1902 году описывает «подрастающее поколение» как «более суровую» и менее чувствительную породу, презиравшую сентиментальность предыдущих поколений и уже усвоившую «неутомимость» модерна. Бернгард Келлерман в романе «Туннель» (1913), мгновенно ставшим всемирным бестселлером, описывает работы по прокладке туннеля под Атлантикой под руководством американского инженера МакАллана, в котором доведены до предела и суетность, и суровость. Этот типаж не имеет уже ничего общего с уютными немецкими писателями-инженерами прежнего поколения, такими как Макс Айт или Генрих Зайдель, автор рассказов о Леберехте Хюнхене[19]. Виктор Клемперер считал, что через «Туннель» в немецкую литературу вошел американизм (см. примеч. 54).

Эдуард Бертц, автор «Философии велосипеда» и любитель спортивной жесткости, в английской «спортомании» тем не менее видел угрозу. «То, что брутальная политика насилия встречает живой отклик в широких слоях британского народа, — писал он во время Англо-бурской войны, — не в последнюю очередь является следствием варварских инстинктов, подпитанных неумеренными занятиями спортом». Там, где он видит влияние спортивного менталитета на империализм, Джанет Оппенгейм усматривает обратный эффект империалистической экспансии на ужесточенный спортом идеал мужчины. В конце XIX века массовый спорт приобретает политический привкус и во Франции: как и новый

[19] Персонаж представляет собой тип человека, живущего самостоятельно, однако скромно и довольствующегося простым счастьем.

культ силы воли, он был ответной реакцией на горечь проигрыша и декадентские страхи, вызванные поражением в войне 1870 года. Германская империя во времени на шаг отставала от Франции и Англии как в массовом спорте, так и в связях между спортом и политикой. Особенно это заметно на истории футбола — виде спорта, который в XX веке внес самый активный вклад в воспитание выносливости среди широких слоев населения, включая детей. Хотя Немецкий футбольный союз, объединивший под своей крышей мелкие футбольные клубы, был организован уже в 1900 году, однако по-настоящему популярным футбол стал в Германии лишь после 1918 года. Во времена Вильгельма гимнастические союзы вели против него яростную битву. Этот «темный демон спорта», по их мнению, был «самым страшным врагом гимнастики», «раскалывал» немецкий народ и озлоблял его. Однако гимнасты давно уже были вынуждены перейти к обороне, и мечта о национальном восстановлении с ними уже не связывалась. Уже в 1863 году статья в «Deutsche Scohützen- und Wehrzeitung»[20] азартно обвиняла гимнастов в «филистерстве», «отвратительной смеси себялюбия, политической безынициативности, вялости и [...] невыразимой трусости». Трейчке говорил о Фридрихе Яне[21] и о гимнастике всегда язвительно, хотя идеологически они были вполне близки. В терапии нервов на рубеже веков традиционная гимнастика серьезной роли уже не играла (см. примеч. 55).

Тем невротикам, которые занимались спортом, новый опыт «знакомства» с собственным телом приносил ощущение силы и победы над слабыми нервами. Однако множество неврастеников, прежде всего немолодых, остались в стороне от массового спорта, и новые идеалы — сильные и спортивные — лишь усиливали в них ощущение неполноценности. Стефан Цвейг позже вспоминал, что во времена его молодости в бассейне «по-настоящему статный человек бросался в глаза на фоне толстых загривков, отвислых животов и впалых ребер», в то время как более молодые поколения благодаря спорту и походам уже стали «красивее, сильнее, здоровее»[22]. В 1914 году подавляющее большинство немцев еще не принадлежало к этим новым поколениям. Вследствие роста благосостояния даже в высших слоях общества был широко распространен типаж одутловатого толстяка с красным лицом и набрякшими мешками под водянистыми глазами. Хотя он и стремился походить на Бисмарка и

[20] Газета германского стрелкового союза (*нем.*).

[21] *Ян Ф.* (1778–1852) — педагог, философ, основатель множества спортивно-гимнастических обществ, считается «отцом» гимнастики.

[22] Цит. по: *Цвейг С.* Вчерашний мир / пер. с нем. Г. Кагана. М., 2004. С. 23, 117.

держаться прямо, однако с трудом подавлял легкое дрожание рук. Рассматривая старые фотографии, поневоле понимаешь, почему в то время людей охватила тоска по мускулистости, стройности и ясному взгляду. Для многих немцев, в том числе и высокопоставленных, смириться со своей внешностью было теперь намного труднее, чем в уютную бидермейеровскую эпоху. Фундамент психологической стабильности пошатнулся (см. примеч. 56).

Характерно, что Вильгельм II оказался между разными поколениями. Для мальчика с врожденным телесным дефектом физическая закалка была существенной частью воспитания, и ему действительно удалось сделать свой недостаток внешне незаметным. Интересный параллельный случай представляет собой будущий авиаконструктор Хуго Юнкерс. Он, как и Вильгельм II, родился в 1859 году, имел врожденную сухорукость и воспитал в себе, отчасти именно вследствие нее, менталитет гимнаста и бойца. Юный кайзер в своих северных путешествиях заставлял военную свиту вместе с ним делать утреннюю зарядку, причем не без злобного удовольствия и чувства спортивного превосходства по отношению к ожиревшим и менее подвижным старшим товарищам. «Потешное зрелище, — записал в 1894 году Цедлиц-Трюцшлер, — когда эти старые военные развалины приседают с искаженными лицами! Порой кайзер хохочет во весь голос и помогает, тыча им под ребра. Старики тогда делают вид, что такое внимание для них чистая радость, однако сжимают в карманах кулаки, а потом между собой ругают кайзера как сварливые бабы» (см. примеч. 57).

Однако когда вырос его сын, стройный и крепкий кронпринц Вильгельм Фридрих, кайзер на его фоне стал казаться бидермейеровским обывателем. Тот вовсе не скрывал, что воспринимал своего царственного отца физически неполноценным: «Мой отец никогда не поймет меня, — говорил он гофмаршалу Цедлиц-Трюцшлеру, — ведь у него совсем другая спортивная конституция, чем у меня. Это вполне естественно, ведь его недоразвитая рука с молодости мешала ему как следует заниматься спортом. А для меня все люди делятся на две категории — настоящие спортсмены и все остальные. С последними я вообще не нахожу общего языка». Столь резкое ментальное противопоставление привело новый спортивный идеал в самые высокопоставленные семьи: даже там, где уже старшее поколение было захвачено теми же устремлениями. У кронпринца спортивный настрой был связан с нескрываемыми симпатиями к пангерманцам, правда, их председатель Клас считал, что спортивный фанатизм кронцпринца мешает ему углубиться в серьезную деятельность (см. примеч. 58).

Когда на верховой прогулке Вильгельму как-то повстречался кронпринц на великолепном чистокровном коне, и сопровождавший его генерал высказал радость от этого зрелища, кайзер с горечью ответил: «Да уж, верховая езда — это настоящее искусство, если у человека две здоровые руки». На фоне столь великолепного спортсмена кайзер особо остро ощутил собственный изъян. Новые нормы крепости нервов усилили и внутреннее давление на политику Вильгельма, в глазах «национальной оппозиции» кайзер становился воплощением неудачника. Во время второго Марокканского кризиса (1911) «The Post» перепечатала из непроверенных французских источников карикатуру «*Guilleaume II le valeureux poltron*»[23] — смертельное оскорбление и самый резкий вызов для кайзера. Впоследствии тот называл миролюбие «евнухоидной» чертой, чтобы отвести от себя подозрение в трусости: «Вечные разговоры о миролюбии при всяком удобном случае, кстати и некстати, за сорок три мирных года сформировали среди ведущих государственных мужей и дипломатов воистину евнухоидное мировоззрение». Опозоренный Эйленбург в то время жаловался, что Вильгельм II «интенсивно перековывает мыслящих людей в "спортивные характеры"» и видел в этом связь с новой «политикой насилия», выраженной в снаряжении флота (см. примеч. 59).

В политике новые стандарты мужественности имели конкретные последствия. Поход Гардена против «камарильи» был направлен против немужественных мужчин в окружении кайзера. Гардер открыто декларировал цель: «уничтожить как политиков» мужчин, которые «в случае необходимости не будут готовы достать меч». Особо пышным цветом культ мужественности расцвел среди пангерманцев. Клас с удовольствием рассказывает, как тайный советник Кольман, учредитель Бисмаркхютте в Верхней Силезии, проклинал «проклятого еврейского мальчишку» Гардена, когда тот расхвастался, что именно он создал нимб вокруг Бисмарка, и даже разбил о его голову бутылку с вином. «Для этих парней на моей родине существует слово "огненный бес"[24]!» При этом у пангерманцев до 1914 года вообще не было политических оснований оскорблять такого человека, как Гарден (см. примеч. 60).

Гольштейн сумел десятилетиями оставаться серым кардиналом внешнеполитического ведомства, безнаказанно интриговать даже против Вильгельма II и отклонять его приглашения, потому что считался «человеком железной воли» (Рогге). Адольф Маршал фон Биберштейн,

[23] Вильгельм II — доблестный трус (*фр.*).

[24] *Feuerteufel* (нем.) — в переносном значении «поджигатель, подстрекатель».

имперский государственный секретарь по иностранным делам с 1890 по 1897 год, при Вильгельме II попал в немилость и даже считался «предателем», однако стал немецким послом в Константинополе и сохранил значительное влияние. Объяснялось это тем, что со своей маниакальной увлеченностью Багдадской железной дорогой он излучал целеустремленность и спокойствие и принадлежал к тем людям, кто был способен освободить внешнюю политику Вильгельма II от ярлыка нервозной бесцельности. Кидерлен в своих письмах сравнивал его с бегемотом или быком: «политиком» он никогда не был, однако «когда центр ставил перед ним какую-либо цель, то он шел к ней как бык на красную тряпку и не отступал никогда». Правда, у Маршала, как и у Кидерлена, невозмутимое самообладание было не спортивной, а скорее алкогольной природы. Как заметил Бюлов, и он, и Кидерлен рано ушли из жизни, став «жертвой труда и Бахуса» (см. примеч. 61).

Яркий успех Кидерлена — показательный пример человека, чья слава объяснялась не политическими достижениями, а почти исключительно энергичностью и крепкими нервами. Его «нервы как корабельные канаты», — удовлетворенно говорила баронесса Шпитцемберг про Кидерлена, когда он занимал пост госсекретаря по иностранным делам во время второго Марокканского кризиса. Она и впоследствии нередко это подчеркивала — ведь в то время кайзера и канцлера вновь стали подозревать в недостаточной твердости. Через год после этого Кидерлен умер, и брат баронессы, вюртембергский посланник в Берлине, сравнил его с «перегретым локомотивом, у которого лопнул котел». Если Вильгельм II, не любивший Кидерлена, жаловался, что он «холоден как собачий нос», то баронесса Шпитцемберг, напротив, считала эту холодность достоинством. Фридрих Науман называл Кидерлена, который на тот момент был всего лишь посланником в Копенгагене и Бухаресте, «швабским Бисмарком»: все эти лавровые венки свидетельствовали скорее о человеческих качествах Кидерлена, чем о его заслугах. Лишь в 1908–1909 годах, во время Боснийского кризиса, когда он замещал госсекретаря по иностранным делам, Кидерлен по общему мнению продемонстрировал изумительную энергию и крепость нервов, хотя и оскандалился перед рейхстагом. Историк Фейт Валентин еще тогда, когда он сам и его карьера пали жертвой милитаристского национализма, при имени Кидерлена начинал выстреливать маскулинными эпитетами: «этот парень весь состоит из сочной почвы», «чертеныш, добивающийся всего, что захочет», «все зависит от того, настоящий ли ты парень». Он называл Кидерлена «крупнейшей дипломатической силой вильгельмовской Германии» (см. примеч. 62).

Один из сотрудников Кидерлена с восхищением вспоминал, как тот в разгар Марокканского кризиса умудрился прикорнуть в присутствии французского посла: он увидел в этом признак «спокойных нервов», а вовсе не физического истощения. Демонстративная толстокожесть, которой Кидерлен после Агадира неделями изводил мировые державы и даже собственного канцлера, не открывая никому своих целей, и к тому же то, что он отправился с любовницей — страшно произнести — в отпуск во Францию, несло в себе уже нечто механическое: спокойствие любой ценой как средство, чтобы вывести из себя всех остальных. А вот Эйленбург, ценивший чуткость нервов, а не мнимую толстокожесть, уже задолго до этого считал Кидерлена алкоголиком «с заплетающимся языком», а Маршала — «олицетворением убожества» (см. примеч. 63).

Если верить Бюлову, то Кидерлен до самой своей ранней смерти утверждал, что фиаско немецкой политики в Марокко после Агадира объяснялось тем, что у Бетман-Гольвега, «как только начинало пахнуть порохом, полностью сдавали нервы». Военный историк Фридрих фон Бернгарди позже писал, что Бетман во время Марокканского кризиса показал себя «человеком нерешительным и слабонервным». «Война нервов» после Альхесираса повторилась и после Агадира в еще более резком тоне. Кидерлен в июле 1911 года угрожал уйти в отставку, когда кайзер и канцлер дали ему понять, что не желают войны ради Марокко: по Кидерлену, французам следовало «почувствовать», «что мы настроены на все, вплоть до самых крайних мер» и Германская империя за отказ от Марокко будет требовать «все французское Конго». Бетман в глазах Кидерлена уже и прежде был слишком «мягким» и «слабым». Даже предшественник Кидерлена, статс-секретарь по иностранным делам Барон Шён, признавал: «Бетман — мягкий человек, да и я сам как хлебный мякиш; с нами не сделать сильную политику, только с Кидерленом». Бетман знал о своей репутации, в некоторой степени признавал иерархию, построенную на нервах, и в Марокко предоставил Кидерлену свободу действий, пока ситуация не стала слишком острой. Еще в июле 1914 года, перед «прыжком в неизвестность» мысль о покойном Кидерлене укрепляла его: «Кидерлен всегда говорил, нам нужно драться» (см. примеч. 64).

Однако Фриц Фишер недаром подчеркивал, что расхожий гамлетовский образ вечно сомневающегося и нерешительного рейхсканцлера образца 1914 года обманчив. Бетман-Гольвег принадлежал к тем слабовольным натурам, которые — совершенно в духе новой терапии нервов — понимали свою слабость как недостаток, который нужно планомерно преодолевать. Он был нерешительным и в повседневной жизни, и в его семье по этому поводу шутили («сегодня папа уже трижды поме-

нял свои воззрения»). Но именно поэтому преодоление слабости было для него не только политическим, но и личным вызовом. Отто Хамман, многолетний пресс-секретарь по иностранным делам, по личному опыту описывает Бетмана как человека от природы нерешительного, но осознававшего эту слабость и способного преодолеть ее усилием воли (см. примеч. 65). В ситуации июля 1914 года это означало войну.

Идет ли речь о Бетмане, Вильгельме II, Фридрихе Наумане, Вальтере Ратенау, Максе Вебере: все они носили в себе осознание некоей слабости, которую — в личном ли плане или политическом — необходимо было преодолеть. И как правило, это преодоление осуществлялось через такое поведение, которое в условиях июльского кризиса 1914 года вылилось в войну. «У нового стиля должен быть железный костяк», — говорил в 1896 году Фридрих Науман на Берлинской промышленной выставке. Он имел в виду новую архитектуру, но и о внешней политике стал рассуждать в том же тоне. Вальтер Ратенау в 1904 году в «Die Zukunft» противопоставлял «человека мужества» «человеку страха», который в то же время был «человеком конкретной цели». В отличие от множества других он признавал, что в эпоху модерна «человек страха» являет собой в высшей степени успешный тип; видимо, этим эпитетом он описывал и какую-то часть самого себя. Однако при всем том он описал «человека страха» как создание печальное и жалкое, и зная содержание его писем, видишь, как он представляет самого себя словами Кеслера — как «избранника», «которому предназначено испытать на собственном опыте, что “человек страха” может превратиться в “человека мужества”, “человек конкретной цели” может стать “человеком воли”». Когда Ратенау начинал писать, он сначала — увлекшись примером Гардена? — использовал псевдоним «Гартенау»[25] (см. примеч. 66).

Однако мужественные герои и волевые идеалисты не находили своего воплощения в среднестатистическом немце. Когда смотришь на то время из дня сегодняшнего, складывается впечатление, что типичный житель ФРГ существовал как массовое явление уже в эпоху Вильгельма: уже существовали первое «экономическое чудо» и множество людей, мышление и действия которых определялись исключительно стремлением к профессиональной успешности и личному счастью и которые не давали смутить себя ни христианской моралью, ни национальным героизмом. Больше всего они любили комфортабельную жизнь, однако отличались от старого бидермейеровского типажа динамичностью, предпринимательским менталитетом, жаждой потребления, страстью к

[25] От нем. *Härte* — твердость, жесткость.

путешествиям и нередко сексуальным любопытством. Гельпах описывает менталитет немецкого экономического чуда на рубеже веков: «зарабатывание денег и удовольствия стали своего рода национальным девизом». Гарден писал в эпоху «мировой политики» Бюлова: «Большинство немцев хотели бы иметь на Родине хороший заработок и избежать любых излишних действий». Но если в ФРГ 1950–1960-х годов подобное самосознание артикулировалось открыто, то до 1914 года оно существовало лишь в зачатке и в основном латентно: новый тип немца уже реально существовал, но ему не было места в идеалах, созданных образованной буржуазией. Как пишет Фриц Фишер: «Хотя экономическая жизнь в Германии шла по капиталистическому пути и немцы радовались достигнутым успехам, однако совесть их при этом не была чиста», по крайней мере официально (см. примеч. 67).

Распространение гражданского гедонистического менталитета протекало как бы потихоньку, подспудно, и особенно отчетливо это видно по реакциям противника. Начальник Генерального штаба, Мольткемладший, уже во время второго Марокканского кризиса подозревал правительство Германской империи в том, что оно заражено миролюбивым гедонистическим мировоззрением; через шесть недель после Агадира он ворчал: «Если и из этого дела мы выйдем с поджатым хвостом, если вновь не сможем собраться и выдвинуть энергичных требований, которые будем готовы отстаивать с мечом в руках, я сомневаюсь в будущности Германской империи. Тогда я уйду. Однако перед этим я дам поручение распустить армию и поставить нас под протекторат Японии, тогда мы сможем без помех делать деньги и тупеть» (см. примеч. 68).

И лишь та часть молодого поколения, на который наложила свой отпечаток Первая мировая война, приблизилась к героическим идеалам народного немецкого национализма. Возникший конфликт между поколениями оставил свои следы даже в истории ФРГ: в 1956 году свободный демократ Томас Делер, 1897 года рождения, выступил против Аденауэра, который был его старше на 22 года. Делер не верил, что канцлера серьезно заботит объединение Германии, и упрекал его в том, что для него важны только «благосостояние» и «безопасность»: «Это понятно. Вы принадлежите к другому поколению, чем я» (см. примеч. 69). Делер в Первую мировую войну служил солдатом, Аденауэр — нет. В среде свободных демократов вновь дала знать о себе та старая антипатия, которую испытывало поколение солдат к более старшему поколению людей, в душе оставшихся далекими от войны индивидуалистами. Кажется символичным, что ведущей фигурой в молодой республике стал представитель как раз этого старшего мирного поколения.

Трагизм довоенной эпохи можно увидеть в том, что немцы не могли открыто признаться в стремлении к жизненным удовольствиям и вывести из него политику миролюбия. По всей видимости, за этой неспособностью скрывался дефицит искусства жить: умения принять новое благополучие и новые возможности. Недаром многие связывали благосостояние не с витальностью, а с ожирением и тупостью. В 1912 году советник медицины пишет в «The Post» статью, озаглавленную «Психиатрия и политика», где заявляет: «Немецкое страдание было унаследовано, однако этот дефект усилили немецкое простодушие, немецкое богатство, немецкий жир» (см. примеч. 70).

«Идеализм» против «материализма»: в сознании немецкой образованной буржуазии это противостояние играло очень значительную роль. Под «материализмом» понималось мировоззрение, направленное лишь на «презренную мамону» и «голую чувственность». Стойкая злоба «идеалистов» показывает, насколько повсеместно проник уже тогда «материализм» — даже в нижние регионы самих «идеалистов».

Индивидуалистическое гедонистическое мировоззрение читается между строк бесчисленных историй неврастеников. Во множестве случаев видно, что нервная слабость была типичным расстройством среди тех, для кого профессиональный успех и сексуальная потенция означали все и вся и которые впадали в панику, если обнаруживали в себе соответствующее бессилие. В подавляющем большинстве анамнезов совершенно отсутствуют религиозные либо национальные ценностные горизонты; смысл жизни состоит исключительно в индивидуальном успехе и удовольствии. Изучение нервозности в эпоху Вильгельма II показывает, сколь широко подобное мировоззрение было распространено уже тогда, но в то же время и то, как мало уверенности в себе и искусства жизни успело оно породить и как быстро перерастало в неуверенность и фрустрацию.

В восприятии многих современников миролюбию, даже если оно считалось вполне разумным, не хватало эроса и витального порыва. Этим объясняется вечное обвинение сторонников мира в «евнухоидности», которое получило достойный отпор лишь в 1960-е годы — с лозунгом *Make love, not war*[26]. Вильгельмовские «шлюпики» (*Schlappis*[27]) еще не обладали тем шармом и уверенностью в себе, какие были свойственны *Softies* 60-х и 70-х годов. Стать «шлюпиком» для офицера и резервиста в кайзеровской Германии было воистину приговором: достаточно вспом-

[26] Занимайтесь любовью, а не войной.

[27] От нем. *schlapp* — дряблый, вялый, слабый, лишенный энергии.

нить кузена Йоахима из «Волшебной горы» Томаса Манна. Как пишет Фриц Фишер, и для Вильгельма II, и для Бетмана подобные обвинения были более страшным грузом, чем давление слева. Кайзер старался защититься от него, упрекая в слабости своих противников, например, русского царя или даже свое собственное правительство, т.е. Бюлова (см. примеч. 71).

Движение «Анти-шум» Теодора Лессинга служит лучшим примером «нервного» смыслопроизводства. Поскольку Лессинг хотел противопоставить шуму нечто лучшее, чем просто покой, он вспомнил лозунг религиозных войн начала Нового времени: *non clamor sed amor*[28] (см. примеч. 72). Оно уже немного напоминает *make love, not war*, однако лессингская «любовь», как она предстает в его издании, имела в себе нечто малокровное, навязываемое образованной элитой, и обычно полностью абсорбировалась понятием «раздражительность». Идея нервозности как одаренности, связанная с импрессионизмом *fin-de-siecle*, уже вскоре после наступления нового века исчерпала свои возможности в литературе и живописи. И если даже там она долго не продержалась, то в политике и подавно.

Вечные разговоры о «нервах» в конечном счете пробудили невероятную тоску по «крепким нервам», даже если таковые вовсе не входили в намерения неврологов, да и, строго говоря, понятия «стальных нервов» для медиков вовсе не существовало. Эльза Хассе, одна из немногочисленных женщин, участвовавших в немецком дискурсе нервов, в 1911 году писала, что «нервозным бессилием» объясняется «поклонение всему мускулистому и насильственному, общая шумиха вокруг силы и напыщенные речи сегодняшнего поколения». В пример она приводила Ницше (см. примеч. 73).

Изданный в 1905 году популярный справочник «Крепкие нервы — бодрый дух — бурная жизнерадостность за счет тренировки воли» воспевал силу «героя» и ее целительное действие на окружающих. «Мужество героя» передается «толпе полупараличных современников как живительное дуновение», как один-единственный зевок вызывает в обществе «целую эпидемию зевоты». Означало ли это, что нервы надо укреплять через войну? Но если не получилось наделить смыслом нервную мягкосердечность, то и противоположное — т.е. убедительная версия оздоровления нервов за счет военной суровости — до 1914 года давалось нелегко. Поиски внятных высказываний о воздействии войны на нервы в довоенной медицинской литературе были бы тщетными. На что

[28] Не плачь, но люби (*лат.*).

же тогда можно было сослаться? Последние войны, которые вели немцы, остались в той эпохе, когда неврологии как самостоятельной дисциплины еще не существовало. И даже победоносная война 1870–1871 годов вовсе не доказывала тезис, что вооруженный поход — это надежное средство укрепления нервов, хотя психологическая нагрузка той войны после 1914 года показалась бы почти безобидной.

В 1886 году Военно-медицинский отдел прусского Военного министерства опубликовал обширный обзор о «Заболеваниях нервной системы» у немецких солдат в войну 1870–1871 годов. Глава «Военные психозы» начинается с ретроспективного анализа гипотез о психологическом воздействии войны и намечающихся здесь разногласий. Изначально, как правило, исходили из того, что война увеличивает число душевнобольных. Затем некоторые авторы пытались оспорить это утверждение, но убедительного успеха не добились. Статистические данные «с большой вероятностью» показывают, что война имеет своим следствием «значительный рост числа душевнобольных в армии» (см. примеч. 74).

В апреле 1912 года в Шарите на лечение поступает механик 38 лет. До этого он уже провел три четверти года в одной из венских психиатрических клиник, потому что в Вене сбросил в воду полицейского. Когда-то он хотел попасть журналистом на Англо-бурскую войну, однако же буры принудили его к военной службе, и он получил ранение в голову, ставшее причиной сильных болей. С тех пор во время еды ему иногда казалось, «будто еда сочится кровью», по ночам ему чудилось, «что убитые им англичане собираются вместе и пляшут вокруг него». Не особенно верится в целительную силу войны, тем более для того, кто попал на войну по принуждению, не имея солдатского мировоззрения. В Шарите в начале 1911 года одного пациента — портного, страдавшего «психозом страха», попросили написать сочинение на тему «Есть ли в войне хорошее?» Несмотря на тему, портной писал в основном о недостатках войны, а в качестве преимущества упоминает не укрепление мужского характера благодаря битвам и героизму, а улучшение карьеры военных и чиновников. «Тем не менее мы молим Господа Бога, чтобы он сохранил нам благословение мира» (см. примеч. 75).

Другой вопрос — как влияла на нервы военная служба в мирное время. Как следует из одной истории болезни, бывало, что выпускник гимназии «из-за нервозности» освобождался от военной службы, хотя физических симптомов, помимо учащенного сердцебиения и геморроя, не наблюдалось. В данном случае пациент в целом представлял собой избалованного маменькиного сынка. В то время, когда военные службы не стремились к последовательному исполнению всеобщей воинской

обязанности, подобное часто встречалось, во многих историях пациентов мужского пола нет данных о воинской службе. Фриц Хаарман, впоследствии ставший серийным убийцей, в 1902 году, проходя военную службу, из-за неврастении был признан «на длительный срок полным инвалидом», причем заместитель корпусного врача объяснил резкое ухудшение расстройства «своеобразием военной службы». Вильгельм Эрб, напротив, заверял, что для «очень многих молодых людей [...] военная служба [...] — подходящее средство отдыха для нервной системы» (см. примеч. 76).

Отто Бинсвангер сообщает об учителе 35 лет, по ночам страдавшем от «чудовищных» поллюций, эрекций «высотой в дом» (sic!), с состоянием общей нервозности. Все это полностью исчезло на военной службе, а затем возобновилось во время поездки в Англию. Крамер приписывал военной службе «необычайно благотворное воздействие», особенно на невротиков, имеющих высшее образование. В 1909 году он даже высказывал опасения, что будущее разоружение угрожает здоровью нации. Даже молодой Фрейд хотя и скучал на военной службе, однако писал Брейеру, что было бы «неблагодарностью не признать, что военная жизнь с ее безнадежным “надо” является отличным курсом лечения от неврастении». Правда, его военная служба не была особенно тяжелой (см. примеч. 77). Вероятно, благотворный эффект военной службы не в последнюю очередь заключался в таких обстоятельствах, которые не делали чести «школе нации»: большом количестве свободного времени и бесцеремонной мужской атмосфере, которая у буржуазных сынков проявлялась в жеманстве и привередливости. Но если не слишком долгие военные упражнения закаляли людей, больше привыкших сидеть за столом, то это еще не значило, что тот же вывод можно было отнести к долгой военной службе или даже войне.

Офицерский образ жизни традиционно не считался здоровым даже в мирное время. Мнения о том, насколько тяжелы были физические и психические нагрузки вследствие почетного труда и суровой службы, расходятся. Однако вполне доказуемо, что холостые офицеры, которым семью заменяло казино, намного легче становились добычей алкоголя и сифилиса, чем обычные бюргеры. Среди 200 неврастеников, которых Крафт-Эбинг разделил по профессиональным группам, наиболее многочисленную, из 18 человек, составили офицеры. Один 47-летний капитан в Бельвю пришел к заключению, что «в его нервозности серьезно виновата профессия». Однако еще тяжелее, чем воинская служба, для офицера часто становилось вынужденное бездействие, если его продвижение вверх останавливалось на ступеньке «майора». Ассистент врача из «фи-

зиотерапевтического и диетического санатория» Ламана под Дрезденом в 1895 году писал, что уволенные офицеры «страшно страдают от парализующего бездействия», особенно если они еще не стары и полны сил. «Нередко видишь, что человек рушится, как срубленное дерево, и с неврозом бездействия попадает в лечебницу для душевнобольных». Таким мужчинам начало войны принесло избавление (см. примеч. 78).

Больше всего неврастения была распространена на флоте, несмотря на то что там вследствие его стремительного развития трудности продвижения по службе были минимальны. Здесь преобладал иной вид стресса — связанный с форсированным темпом вооружения и совершенствованием техники. С 1898 года снаряжение флота продвигалось вперед «в бешеном темпе» (Залевски), при этом многое было новым и не могло опираться на уже существующий опыт. Строительство флота должно было постоянно ускоряться, и самим кораблям тоже полагалось быть все более быстроходными. Точка зрения предшественника Тирпица Хольмана, что строить более быстрые корабли не нужно, чтобы старые суда в битвах не отставали от новых, теперь казалась неудачной шуткой. Новые конструкции и увеличение скорости поначалу приводили к неприятным вибрациям, а требования постоянного ускорения не оставляли времени подумать о том, какая физическая нагрузка ляжет на плечи моряков. По словам Тирпица, «невероятные скачки», «которыми продвигается наше судостроение», привели к тому, что любое судно «устаревало» уже при спуске на воду. Технологам постоянно приходилось отходить от надежного фундамента былого опыта, на что они шли «с промедлениями и нерешительностью»: гонка морских вооружений создавала у немецкой стороны тяжелую атмосферу постоянного напряжения. В 1905 году все планы опять смешались: в Англии был построен первый в мире корабль «дредноутного типа», что подействовало «на технологию военного судостроения всего мира как удар молнии». Когда в конце 1905 года, во время первого Марокканского кризиса, Бюлов высказал пожелание ускорить темп вооружения флота, чтобы за несколько лет преодолеть отставание от Англии, Тирпиц дал ему понять, что темп судостроения уже достиг своих технических и человеческих пределов, поскольку «работоспособность и образование персонала не выдержат слишком высокую скорость», и «ускорение не соответствует нашей способности усваивать новшества» (см. примеч. 79).

В 1905 году один судовой штабс-врач опубликовал подробное исследование о психических заболеваниях на военном флоте, сравнив полученные результаты с данными по сухопутным войскам. Уже и прежде непропорциональный рост психических заболеваний в армии заставлял

задуматься, но теперь статистика сообщала, что с 1897 года неврастения и истерия на флоте отмечались «более чем вдвое, почти втрое» чаще, чем в наземных войсках, и неврастения при этом развивалась «намного сильнее и быстрее». Подозрения на дурную наследственность или исходную нервозность были здесь неуместны, поскольку флотские составы рекрутировались из отборных молодых людей с отменным здоровьем, так что причины приходилось искать в «своеобразных условиях службы». В качестве патогенных факторов выделялись непривычный климат, тропические болезни, угроза несчастных случаев, нездоровое питание, невозможность покинуть пространство корабля и — *last not least* — алкоголь и сифилис. В 1910 году в санитарном отчете военно-морского флота значилось:

> «Одно можно было предсказать заранее: что неврастения будет играть все большую роль в общих показателях заболеваемости на флоте, поскольку с увеличением количества новых судов, усложнения их технического оснащения, поступлением подводных лодок, введением радиотелеграфа и общего роста требований к персоналу на океанском флоте создается все больше таких моментов, которые при определенных условиях будут оказывать отрицательное воздействие на нервную систему» (см. примеч. 80).

Якоб Буркхардт[29] в мирное время как-то заметил, что долгий мир порождает «разрушение нервов» и «появление большого числа ноющих трусов, живущих лишь по необходимости». Войны же, напротив, «как грозовые ливни, очищают атмосферу, укрепляют нервы, сотрясают нравы» и «возвращают честь подлинным силам». Ему было на кого сослаться, в подобных высказываниях слово «нервы» еще имело иной смысл, чем в эпоху неврологии, т.е. нервы не вполне четко отделялись от мускулов. В начале Первой мировой войны подобный псевдомедицинский беллицизм[30] с его заимствованной из бальнеологии метафорой «стальных купаний» обрел популярность. Даже столь уважаемый невролог, как Альберт Эйленбург, воспевал в 1915 году войну как «стальную ванну, исполненную почти всеисцеляющей силы [...] для нервов, иссушенных пылью долгих мирных лет и однотонного будничного труда» (см. примеч. 81). Если человек видел в войне не элемент модернизации и тех-

[29] Буркхардт Якоб (1818–1897) — швейцарский историк культуры, стоявший у истоков культурологии как науки, рассматривал и анализировал все явления эстетически — например, в первой главе «Государство как произведение искусства. Война как произведение искусства» его самой известной книги «Культура Италии эпохи Возрождения» (1860).

[30] Беллицизм — противоположность пацифизму, утверждающая, что война прекрасна.

низации, а ее архаичную часть, то, воспевая войну, вполне можно было оперировать тезисом о модерном характере нервной слабости.

Тем не менее было бы совершенно неправильным трактовать дискурс нервов во время войны как непосредственное продолжение предвоенного и проецировать воспевание «стальных купаний» на прошлые годы. До 1914 года в учениях о нервах «стальные купания» не играли никакой роли даже в исходном, бальнеологическом смысле. Курс лечения железосодержащей водой принадлежал тогда скорее народной, чем научной медицине. До 1914 года милитаристская «стальная ванна» вообще не обсуждалась в терапии нервов. «Кто сегодня может мечтать о войне?» — спрашивал в 1912 году Жено Колларитс. Отто Бинсвангер, отмечая через несколько месяцев после начала войны ее целебный эффект, описывал это как «примечательный опыт» и в явном противоречии к своей прежней точке зрения:

> «За последний год и к моменту начала войны у меня на лечении находился целый ряд молодых людей со слабыми нервами: трусоватых, малодушных, нерешительных, слабовольных, чье самосознание и чувства определялись лишь собственным *Я* и полностью исчерпывались жалобами на физические и душевные недомогания. И тут началась война. Вся болезненность с них внезапно сошла, они подали заявления добровольцами на фронт и, что мне кажется еще более примечательным, все, за одним-единственным исключением, выдержали испытания».

Чувство новой силы, сопровождающее начало войны, было тем более убедительным, что ко многим пришло совершенно неожиданно, вопреки всем ожиданиям. Марианне Вебер показалось «чудом», что война оказала благотворное воздействие на нервы ее мужа Макса Вебера (см. примеч. 82). Но, может быть, диспозиция для такого коллективного ощущения подспудно сложилась уже давно?

В предвоенные годы обнаруживается теория, что война нуждается в крепких нервах, но не теория о том, что война их создает. В 1905 году Вильгельм II по поводу поражения России в Русско-японской войне заметил, что русской армии «не хватило нервов вследствие алкоголя и разврата», т.е. увязал борьбу с нервозностью с борьбой против алкоголизма. В том же году спикер «Немецкого общества против злоупотребления спиртными напитками» заявил, что «победителем в решающей битве» станет «трезвая армия». В 1910 году Вильгельм II в речи перед офицерами флота и кадетами снова использовал антиалкогольный лозунг: «Следующая война и следующая морская битва потребуют от вас здоровых нервов. Нервы решат ее исход». Знал ли он, какие статистические данные поступали с военно-морских судов? Адмирал фон Мюллер

сообщает, что в рукописи для речи кайзера он записал «железные нервы», а тот заменил это на «твердые как сталь». Вильгельм продолжил свою речь: «Победителем станет та нация, которая потребляет меньше всего алкоголя». Немецкие борцы с алкоголизмом позаботились о том, чтобы слова кайзера стали крылатыми. Сам кайзер повторил их в декабре 1914 года перед войсками Восточного фронта. Герман Гессе впоследствии вспоминал, какое «ужасающее впечатление» произвели на него слова кайзера. Ведь для «думающих, для тех, у кого есть чутье завтрашнего дня» Вильгельм, сам того не зная, предсказал поражение Германии. «Все знали, что нервы у Германии ни в коем случае не сильнее, а слабее, чем у ее врагов на Западе» (см. примеч. 83). Однако если Гессе думал, что сам Вильгельм II в 1910 году был уверен в крепости немецких и своих собственных нервов, то он ошибался. Учитывая предшествующие обстоятельства — политизацию нервного дискурса, — Альхесирас, скандалы с Эйленбургом и «Daily Telegraph», вряд ли можно сомневаться в том, что в словах кайзера был подспудный страх, тем более что кайзер связывал крепость нервов с трезвостью. Никто бы тогда не поверил в особую трезвость немецкого народа.

Одним из немногих довоенных примеров, когда авторитетный врач прямо говорил о целительном воздействии войны на нервы, служит доклад «Медицина и сверхкультура», прочитанный Вильгельмом Гисом-мл. в марте 1908 года на заседании Берлинского медицинского общества. Родившийся в 1863 году Гис мог сохранить о бисмарковских войнах лишь детские воспоминания, тем не менее из опыта былых военных кампаний он вынес квинтэссенцию: «Когда дело плохо, нервозность прекращается». «Необходимость борьбы, — утверждал он, — ощущается со всех сторон», однако эта борьба не обязательно должна быть военной. «Усыпляющее воздействие слишком безопасного существования» можно компенсировать через «войну в мирное время». «Военная служба — вот настоящая школа здоровья». Хотя в его логику вполне вписывается тоска по войне, он буквально шарахается от подобной перспективы: «Мы далеки от того, чтобы призывать войну с ее бедствиями и видеть в ней лекарство. Не говоря даже о том, что современная война совсем иначе действует на нервы, чем прежние войны, но желать войну означало бы менять плохое на худшее» (см. примеч. 84).

За рамками медицины, прежде всего в кругах пангерманцев и их единомышленников, надежда на «стальные ванны» широко распространилась еще в довоенные годы. Альбрехт Вирт, приват-доцент по истории Ближнего Востока и один из самых ярых приверженцев войны в Союзе пангерманцев, в 1910 году заверял, что «укрепляющие стальные купа-

ния» в виде войны «омолодят» немецкий народ и «на тысячелетия вперед» гарантируют «преемственность немецкого духа» (см. примеч. 85). Однако в профессиональной медицинской литературе того времени подобные высказывания еще были абсолютно невозможны, под влияние политики попала лишь внемедицинская часть нервного дискурса. Даже поворот к воспитанию воли в терапии нервов до 1914 года не имел открыто-милитаристского характера. Возможно, правда, что трудности индивидуального тренинга воли со временем поспособствовали росту популярности коллективного воспитания. Война не стала новым средством терапии нервов; но преклонение перед ней питалось теми разочарованиями, которые были связаны с индивидуальными попытками медиков лечить неврастению.

ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ ИЛИ ПОТЕРЯТЬ: МЫСЛИ О ВОЙНЕ В МИРНЫЕ ГОДЫ И СБИТОЕ С ТОЛКУ ВРЕМЯ

Особенно гротескный пассаж из «Воспоминаний» Бюлова посвящен письму Вильгельма II, которое тот написал своему канцлеру в канун Нового 1905 года, во время первого Марокканского кризиса. Кайзер находился под свежим впечатлением от конфиденциального сообщения из Лондона, что в случае войны Англия будет воевать на стороне Франции. Западным державам удалось сделать по отношению к Вильгельму II то, что не удалось ему самому: создать у своего противника впечатление решительной готовности к войне. В этой ситуации и «под зажженными свечами рождественской ели» кайзер разъяснял своему канцлеру, почему Германия в настоящий момент ни в коем случае не может вступать в войну. Кайзер не хотел начинать войну, пока не будет заключен «надежный союз с Турцией» и, более того, с главами всех исламских государств. «Но главная причина», по его словам, заключалась в том, что «из-за наших социалистов мы не можем взять с земли ни одного человека, если нет высочайшей опасности для жизни и имущества граждан». И потом буквально: «Сначала перестрелять, обезглавить и обезвредить социалистов, если понадобится — утопить их в крови, и только потом — внешняя война. Но не раньше и не *a tempo*[31]».

Бюлов представляет это письмо как убедительное доказательство миролюбия кайзера: Вильгельм был «чуть ли не слишком готов к миру»! «Каждая строчка этого письма пропитана страхом кайзера перед войной» (см. примеч. 86). Что это — чистое лицемерие? Ведь в письме в пер-

[31] В прежнем темпе (*лат.*).

вую очередь бросается в глаза кровожадность по отношению к социалистам. Да и в остальном текст письма выказывает скорее не миролюбие, а готовность к войне — но именно «не *a tempo*» без чрезмерной поспешности. Однако более вероятно, что Бюлов правильно понял своего кайзера, к слабостям которого был чрезвычайно чуток, — за вербальной кровожадностью Вильгельма крылось его желание отодвинуть военное решение на неопределенное время в попытке найти на то достаточно оснований. Чего стоило одно упоминание о союзе со всем исламским миром — это условие было практически невыполнимым. И тем более уничтожение социал-демократов: мысль о том, что Вильгельм II действительно задумал для них Варфоломеевскую ночь, совершенно нереалистична. Если в военной ситуации кровавый удар против социалистов еще можно было бы вообразить, то в период подготовки к войне — нет.

Его «не *a tempo*» тем более примечательно, что в обычном своем поведении Вильгельм II олицетворял новый рецепт успеха — «усиление эффекта благодаря скорости». Не обладало ли это сознание, одержимое жаждой скорости, внутренним сродством с войной? У датского писателя Йоханнеса Йенсена, который встретил июль 1914 года в Берлине, создалось впечатление, что «темп кайзера распространился на всю Империю». «Прежде, — рассказывал он, — когда автомобиль кайзера, высоко и резко сигналя, [...] молнией пролетал по Унтер-ден-Линден, [...] это было частью физиогномики Берлина». Теперь эта скорость и эти звуки наполнили всю Германию (см. примеч. 87). На этом фоне кайзеровский клаксон уже не особенно выделялся. Обаяние кайзеровского темпа было действенно в ситуации мира. С решимостью объявить войну у Вильгельма уже давно были проблемы с темпом, это проявилось не только в канун 1905 года. И он был в этом не одинок. Никогда прежде в германской истории вопрос темпа не был столь центральным и столь эмоциональным, как при Вильгельме. И причиной этого была мысль о войне.

Мысли Вильгельма II кружились вокруг войны с самого начала, и вместе с тем вокруг вопроса о том, стоит ли вести ее «чем скорее, тем лучше». Еще до вступления на престол, когда он находился под влиянием Вальдерзее, у него сложилось впечатление, что с чисто военной точки зрения начать войну лучше уже в ближайшее время, и что Бисмарк не хотел этого лишь по причине возраста. Казалось бы, когда Вильгельм взошел на престол, а Бисмарк ушел в отставку, настало время решительных действий — однако новый кайзер медлил еще добрых четверть века. Или для него эти годы были вовсе не ожиданием войны, а наслаждением выигранными годами мирной жизни? Как писал позже Бюлов, каждый

год мирной жизни был «для нас выигрышем». «Наше народонаселение и экономическая сила росли с каждым годом. Время работало на нас, особенно если сравнивать с нашим самым опасным соперником, французом». По его словам, это мнение он сохранял в течение всей своей службы. Действительно, уже будучи рейхсканцлером, он говорил то же самое, это был его стандартный аргумент. Позже он прибегал к нему не только в вопросах войны: отношения с Францией — это «как некоторые вина или сигары, от времени они лишь становятся лучше». Относительно союза с Англией он давал указания, что Германии ни в коем случае нельзя «проявить беспокойство, нетерпение или поспешность» (см. примеч. 88).

«Политику выигранного времени» Бюлов продолжал даже в первом Марокканском кризисе, хотя здесь время ни в коем случае не работало на Германию. Когда Вильгельм II в своей речи в Дёберице в июне 1908 года объявил о том, что Германия готова вести войну на нескольких фронтах, канцлер заклинал его: «Чем дольше мы будем оттягивать вооруженный конфликт с нашим западным соседом, тем менее тот будет в состоянии [...] вести борьбу против нас». Сюда же — упрек в нервозности: по его словам, в интересах Англии и Франции «выставить нас нервными и тревожными». Позиция Гольштейна долгое время была сходна, говоря словами Гардена: «Чем дольше мы сохраним хладнокровие, тем больше и Запад, и Восток будут стремиться к торговым сделкам с Германской империей». Чтобы добиться политических успехов, Германии требовалась не гениальность, а лишь «мужество и крепость нервов», «державное спокойствие». Гарден полагал, что таким образом выразил мудрость Гольштейна (см. примеч. 89). Однако в первом Марокканском кризисе Гольштейн занял сторону милитаристов, счел необходимым подать в отставку и объединился с Гарденом. С того времени в Германии стало распространяться настроение «чем скорее, тем лучше».

Первым, что нарушило восприятие времени в политике Вильгельма, было снаряжение военно-морского флота. Необходимость выждать смешивалась с чувством, что время не терпит. Тирпиц исходил из того, что даже при форсированном темпе вооружения Германии потребуется 20 лет, чтобы догнать Британию. Все это время, т.е. как минимум до 1918 года, Германия, если все шло по плану, не могла позволить себе войны с Англией. Поэтому для Тирпица «важнейшей политической задачей» было «выиграть время». Еще в 1911 году он конфиденциально предупреждал, что для ведения войны на море «момент является самым неблагоприятным». «Для нас выгоден каждый год» (см. примеч. 90). Бю-

лов знал, что кайзер призвал его в правительство, прежде всего, для политической поддержки снаряжения флота, и весь стиль его политики объясняется целью выиграть время. Но можно усмотреть и обратную связь: флот был идеальным проектом для того, кто хотел продемонстрировать национальную мощь, однако при этом отодвинуть как можно дальше военное решение.

До 1918 года или дольше — это было немалое время. Более того, наивно думать, что Англия в это время будет сидеть сложа руки и не усовершенствует технологии военно-морского флота. Действительно, вскоре между Англией и Германией началась гонка вооружений. Соответственно, снаряжение флота долгое время служило вполне приличным основанием для того, чтобы вопрос, хочет ли страна вести большую войну или нет, так и не стал бы конкретным. В 1908 году Бюлов абсолютно откровенно объявил кайзеру, что Германия никогда не сможет победить Англию в гонке военно-морских вооружений, и вместе с тем подчеркнул точку зрения Альберта Баллина о том, что «темп» оснащения немецкого флота более всего порождает опасность военного конфликта с Англией (см. примеч. 91).

На этом фоне упорное желание снаряжать флот и активно его пропагандировать заводило в тупик: чем больше внимания привлекало к себе снаряжение флота, тем сильнее был страх перед страшным превентивным ударом со стороны Англии, как это было в 1801 году, когда Англия в Копенгагенском сражении превосходящими силами уничтожила весь датский флот. С большой дистанции этот страх не кажется серьезно обоснованным, однако уже с 1904 года Берлин постоянно тревожили сообщения о том, что и в Англии царит соответствующая военная суматоха. В период первого Марокканского кризиса Бюлов и Вильгельм II полагали, что адмирал Фишер, тяжеловес британской военно-морской политики, «постоянно» просит Эдуарда VII «разрешить ему, пока не поздно, “раскопенгагить” немецкий флот». В то же время огромные финансовые затраты и преувеличенные ожидания, связанные с флотом, требовали от германской мировой политики непременного успеха. Но оба Марокканских кризиса продемонстрировали, что флот не принес политике Рейха никакой пользы, а лишь создал ему мощного соперника в лице Англии. Тем не менее Кидерлен не раз повторял призыв Бюлова тянуть время в германо-английских переговорах (см. примеч. 92). Периодически звучали призывы ускорить снаряжение флота, однако Тирпиц уже давно достиг всех возможных пределов ускорения. Тогда настроение переменилось, и интерес ведущих кругов сконцентрировался на сухопутных вооружениях.

Менталитет превентивной войны и принципа «чем скорее, тем лучше» долгое время исходил, прежде всего, из руководства армии. Это было связано с тем, что здесь, в отличие от Тирпица, при увеличении мощностей практиковали принцип не максимального темпа, но осмотрительности. Вплоть до последних предвоенных лет Военное министерство по причинам консерватизма общества сопротивлялось резкому увеличению армии — это нарушило бы доминирование дворянства в офицерском корпусе, а крестьянских сыновей — среди рекрутов. Однако следствием такой осторожности могло стать отставание немецкой армии от Франции и России. Мирные годы становились потерянным временем.

Другие факторы еще усилили это ощущение. Совершенствование оружейных технологий во всем мире концентрировало внимание на темпе. Пока железо и свинец были дорогими материалами, т.е. еще в начале XIX века, в прусском офицерском корпусе преобладали опасения, что солдаты на войне будут недостаточно экономно расходовать пули. Однако со второй половины XIX века путем к победе все больше стал считаться «быстрый огонь». В военных операциях скорость стала играть ведущую роль (см. примеч. 93). Если темп был настолько важен, преимущество получал тот, кто упреждал нападение противника. План Шлиффена с его большим обходным маневром, когда все зависело от скорости, поддерживал превентивную войну, даже требовал ее. В 1909 году Шлиффен публично признал, что, с его точки зрения, время работает на противников Германии: Антанта уже самим своим существованием разрушала «немецкую нервную систему, сотрясенную экономической борьбой и кризисами в деловой жизни». Нервы превращали стремительное развитие немецкой экономики в слабость.

Вместе с планом Шлиффена в немецком Генштабе распространился образ мышления, в значительной степени определяемый железнодорожными технологиями: внимание концентрировалось на том, как добиться дальнейшего ускорения, пусть ничтожного, за счет совершенствования технической системы нападения. Если допустить, что все идет без помех, то мелкие ускорения в сумме позволяли выиграть довольно много времени и территории. Это способствовало формированию в армейском руководстве соответствующего менталитета — предусмотренного темпа можно было добиться только в том случае, если все шло по плану. Мольтке-младший буквально впадал в истерику, если при императорских маневрах случались какие-то отклонения от программы. Он говорил о себе, что он по природе не игрок и «не имеет склонности и темперамента к излишнему риску» — войну он мог выдержать, только если она протекала по плану (см. примеч. 94).

Кажется парадоксальным, что именно этот тонкокожий руководитель Генштаба, после начала войны первым переживший нервный срыв, несколькими годами ранее настаивал на ней с особенным нетерпением. Но если быть уверенным, что рано или поздно война обязательно начнется, то для лабильного характера вечное ожидание становилось настоящей мукой, а ее начало — освобождением от мучительного напряжения. Во время второго Марокканского кризиса Мольтке жаловался жене, что у него такое чувство, будто он «все время сидит на углях». Это отчасти напоминало сексуальное желание — как и оно, желание войны не было постоянным и ровным, а связывалось с определенными ситуациями и преходящими настроениями (см. примеч. 95). У чувствительных людей оно часто рано или поздно переходило в невроз от постоянного ожидания развязки. Если нервный военнослужащий слишком долго не воевал, его начинал преследовать страх, что в нужный момент он не справится со своей задачей.

Долгие годы различное восприятие времени в сухопутных войсках и на флоте существовало параллельно и независимо одно от другого, Шлиффен и Тирпиц разрабатывали свои планы, не координируя их между собой. Но на политику влияли оба восприятия, сначала в основном латентно, а потом тем более открыто, чем конкретнее становился вопрос войны. Уже одно это противоречие способно объяснить нервозность вильгельмовской политики. На так называемом кайзеровском военном совете 8 декабря 1912 года, на котором присутствовали и Мольтке, и Тирпиц, дело дошло до открытого столкновения. Мольтке без всяких прикрас заявил: «Я считаю войну неизбежной, и чем скорее, тем лучше». «Тирпиц обратил внимание на то, что для флота было бы лучше отодвинуть решающее сражение на полтора года вперед. Мольтке говорит, что флот и тогда не будет готов» (см. примеч. 96). Он был безусловно прав и мог бы добавить, что отставание от Англии на море всегда будет служить поводом отложить начало войны, ведь момент, когда Германия будет превосходить Британскую империю, не наступит никогда.

Многие пангерманцы в то время также считали, что каждый мирный год — позор для Германии. Хрестоматийный пример резкого столкновения противоположных позиций произошел в сентябре 1911 года в конфиденциальном разговоре между Класом и Гуго Стиннесом. Промышленник и политик, «хозяин Рура», Стиннес жил в убеждении, что время работает на него и тем самым на Германию. Он был «совершенно спокоен», разъясняя руководителю пангерманцев, что все зависит не от «заметных стороннему наблюдателю средств власти», а от экономического могущества.

> «Вы увидите, что будет, когда я медленно, но верно скуплю большинство акций того или иного предприятия, когда ко мне постепенно перейдет снабжение Италии углем, когда я незаметно зайду в Швецию и Испанию, потому что там необходима руда, я обосную даже в Нормандии. Дайте мне еще три-четыре года спокойного развития, и Германия будет бесспорным экономическим хозяином Европы. [...] Да, три-четыре мирных года, и я гарантирую господство Германии в Европе».

Убеждение, что экономический подъем Германии неудержим, если только дать ему спокойно осуществляться, и сегодня кажется вполне обоснованным, даже более чем это могли подозревать тогда. Однако Клас подводит черту под словами Стиннеса, не допуская даже мысли о том, что тот может оказаться прав. «Воистину чудовищно, как этот человек заходится в подобных безумных идеях». Для пангерманца экономическое могущество вообще не было силой в национальных конфликтах, если за ним не стояла политическая или военная власть. Более того, он, как и многие другие немцы, лишь в ограниченных масштабах мог воспринимать экономический подъем Германии как рост ее могущества, ведь вместе с экономическим ростом набирали силу «борьба за существование», «неприкрытый материализм» и эгоистическая жажда наслаждений. В книге «Если бы я был кайзером» Клас объявил «принципиально неверной» «позицию некоторых так называемых государственных мужей, что каждый приобретенный день является нашим другом, потому что мы становимся сильнее». Почему принципиально неверной? Ни одного убедительного контраргумента Клас не приводит. Он считает воззрения своих противников деморализующими, потому что они приговаривают «живущее поколение к бездействию», неудовлетворенному спокойствию, «пока за нас все не решит прославленная “работа времени”». Даже Гитлер успел выразить гнев по поводу теории Стиннеса об «экономическом завоевании мира»: хотя честолюбие Стиннеса было очень близко амбициям национал-социалистов, в некоторых ситуациях он казался опасным конкурентом (см. примеч. 97).

Сходные мысли со Стиннесом высказывал банкир Варбург. 21 июня 1914 года, за неделю до рокового выстрела в Сараево, у него состоялся долгий разговор с глазу на глаз с Вильгельмом II, который показался ему тогда «более нервным, чем обычно». Банкир с удивлением узнал, что кайзер, размышляя о русских вооружениях, раздумывал над тем, «не лучше ли напасть первым, вместо того чтобы ждать». «Я возразил, что вижу положение вещей иначе. Германия с каждым мирным годом будет становиться сильнее. Ожидание принесет нам только преимущество». Противоположную — тревожную картину «время не ждет» — рисовал

в 1913 году не кто иной, как Вальтер Ратенау, после 1918 года либеральный противник Гуго Стиннеса. «Последние сто лет означали дележ мира. Горе нам, что мы практически ничего не взяли и ничего не получили!» В отличие от Стиннеса, он полагал, что обеспечить себя мировыми природными ресурсами Германия может только посредством политического контроля, но не за счет приобретения акций. Знаменательно, что ему — в отличие от Стиннеса — его экономическое могущество не принесло чувства самоуважения и удовлетворения. В 1912 году он писал, что «современные войны [...] в жизни народов играют ту же роль, что выпускные экзамены в гражданской жизни, т.е. доказательство их способностей». С такой точки зрения отсрочка войны была чем-то вроде отлынивания, а нервные мысли о войне преодолимы лишь через саму войну (см. примеч. 98).

Июльскому кризису 1914 года предшествовал прямой конфликт по вопросу времени между правительством и националистической оппозицией. В марте 1914 года Бетман выступил с защитой своей выжидательной военной политики при помощи анонимной статьи: «На чьей стороне время — на нашей или на чужой?» Рицлер — также анонимно — оправдывал такую стратегию как вполне своевременный стиль: «Мы живем в эпоху терпения и отсрочек. [...] Совершаемые движения отличаются медлительностью и мягкостью. [...] Все государства с большим или меньшим успехом освоили эту мето́ду медлительных и тихих движений». Однако национализм «по самой своей натуре не только ненасытен, но и нетерпелив». Бетман в апреле 1914 года вновь выдвинул аргумент, что мирное время — выигрыш для Германии, так как немецкая экономическая мощь настолько велика, что за 10–15 мирных лет империя оставит за собой все другие нации. Тем не менее в июльском кризисе 1914 года он поменял свое представление о времени и перешел на сторону своих бывших критиков. Решающую роль в этом сыграл его страх перед Царской империей: «Будущее принадлежит России, она постоянно растет и надвигается на нас как все более грозное чудовище». Позже в приватном разговоре он сознался: «Да, о Господи, эта была в каком-то смысле превентивная война. Но если война все равно нависала над нами, если через пару лет она была бы еще более опасной и неминуемой, и если военные говорили, что сейчас еще возможно не проиграть, но через два года — уже нет! Да, военные!» (См. примеч. 99.)

«Сейчас или никогда!» — писал тогда и Вильгельм II, правда, исключительно в отношении «расчета» с Сербией; и дезавуировал своего венского посла Чиршски, предостерегавшего его от «сверхпоспешных шагов». Лозунги «Сейчас или никогда» и «Чем раньше, тем лучше» тог-

да сразу же создали консенсус в политическом и военном руководстве рейха. Атмосфера созрела для общего перехода на кратковременные перспективы. Но теперь Берлин столкнулся с более медленным темпом австрийцев, которым для принятия ультиматума Сербии понадобилось более трех недель, хотя Чиршски их постоянно торопил. Нетерпение немцев можно понять: нападение Австро-Венгрии на Сербию, если бы оно последовало более скоропалительно, более походило бы на спонтанную реакцию в ответ на убийство и, возможно, не натолкнулось бы тогда на сомкнутый фронт союзников. В этой щекотливой ситуации немецкое правительство инсценировало по отношению к заграница своего рода театр антинервозности, как будто политический конфликт можно было разрешить методами нервной терапии: кайзер, Мольтке, Тирпиц, военный министр Фалькенхайн — все отправились в отпуск или оставались там, куда уже успели уехать. Министерство иностранных дел со ссылкой на это обстоятельство сообщило представителям иностранных государств, что «смотрит на ситуацию без излишней нервозности» (см. примеч. 100). Эта демонстрация хладнокровия была направлена на то, чтобы удержать иностранные государства от подготовки к войне и позволить империи выиграть время, — тем сильнее нападение Германии казалось впоследствии хорошо просчитанной акцией, а не только наказанием сербов.

Тревожное спокойствие, царившее до 23 июля, сменилось стремительными событиями после того, как Австрия наконец приняла ультиматум. Как оказалось, период спокойствия подействовал, прежде всего, на самого кайзера, который в северной поездке оставил настроение «сейчас или никогда» и внешне был вполне доволен ответом Сербии на ультиматум. Но за десятки лет накопился общий ужас перед нервозной «политикой зигзага», и теперь настал тот кульминационный момент, когда даже кайзер не мог бросить руль. Когда точно определилось то, о чем давно уже знали, но не хотели принимать всерьез — т.е. что придется воевать и с Англией, — в Берлине больше не нашлось времени как следует продумать ситуацию с учетом произошедших изменений. Темп превратился в самостоятельный политический фактор (см. примеч. 101). Как при быстрой поездке на автомобиле возникает упоение, снижающее чувство опасности, так и в берлинской суете 1914 года возникло состояние, когда одно за другим объявления войны принимались почти равнодушно, чтобы затем *одним* большим силовым ударом осуществить все мечты о мировом могуществе.

Нервозность возникает не только за счет быстрого темпа, но зачастую и через промедление; особенно неприятно, если меняется при-

вычный темп или наслаиваются друг на друга разные скорости. Нервозность вильгельмовской эпохи отчасти объясняется тем, что внешняя политика и политика вооружения задали противоположные скорости; такого противоречия и таких проблем со временем немецкая история еще не знала, тем более в такой период, когда у множества людей возникли личные проблемы с темпом. И потому в первое время после объявления войны в воздухе повисла обманчивая тишина. Теперь восприятие времени у немцев вновь стало единым. «Чем скорее, тем лучше» и «Время работает на нас»: и то и другое пришло к единому финалу. Как после войны вспоминал пацифист Гельмут фон Герлах, люди в то время «с почти суеверной настойчивостью» повторяли «два выражения, исходивших от военных авторитетов: "Время работает на нас" и "Победит тот, у кого нервы окажутся крепче!"» (См. примеч. 102.) Надежда на время и надежда на нервы: казалось, что теперь есть и то и другое. И если этот поворот реализовался именно в войне, то это объясняется как запоздалый рефлекс на «нервозную эпоху».

УЖАС И ОБАЯНИЕ ГОЛОВЫ ГОРГОНЫ: НЕРВОЗНОСТЬ И ВОЙНА

Почему такой, казалось бы, однозначный вопрос, как «хотели или не хотели немцы развязать войну», вызвал среди немецких историков бурю дискуссий? Чем объясняется такое безумное количество доказательств с обеих сторон — и утверждений, что имперское правительство активно стремилось к войне, и обратных мнений?

Вероятно, принципиальная ошибка состояла в предположении, что в верхах рейха существовала одна ясная линия касательно столь судьбоносного вопроса. Но большая война была такой темой, где чувствительным натурам было нелегко занять четкую позицию и тем более последовательно ее придерживаться. Бюлов очень точно сравнил войну с «головой Горгоны», перед смертоносным взглядом которой человек должен смотреть в сторону: в 1914 году даже кайзер и его Генеральный штаб, казалось, содрогнулись от этого взгляда. Действительно, даже Мольтке, желавший скорого начала войны, в душе своей носил не только привлекательный образ войны, но и внушающий ужас. В 1905 году он говорил о «грозном факеле общеевропейской убийственной войны, [...] о жестокости которого нельзя думать без ужаса» (см. примеч. 103). Для высших германских кругов была характерна не столько жесткая позиция по вопросу войны, сколько ролевая игра: если кто-то из них заявлял о своей озабоченности, то его оппонент, пользуясь возможностью,

разыгрывал из себя смельчака. Поскольку в головах большинства соседствовали *обе* точки зрения, вести подобную игру было совсем нетрудно. Этим объясняется и то, что после 1918 года многие немецкие довоенные политики с почти искренней убежденностью утверждали, что не хотели этой войны: до 1914 года у них на самом деле порой возникали тревожные настроения, и иногда они даже фиксировали их в документах.

Или же все эти многочисленные довоенные заверения в миролюбии — не более чем жесты приличия? В то время еще была жива память о быстрых и победоносных бисмарковских войнах, смотревшихся на полотнах Антона фон Вернера куда более возвышенно, чем в реальности. Михаэль Залевски считает «довольно примитивной» «ментальную структуру» военных живописных полотен в предвоенные десятилетия: сначала, пока «реальность войны была еще жива в памяти», преобладали страшные воспоминания, однако примерно с 1890 года они уступают место «славным иллюзиям». Эта смена не проходила гладко, в сознании многих людей обе картины войны существовали параллельно. Кроме того, после 1900 года образ войны определялся уже не только воспоминаниями, но и мыслями о будущем, а они часто внушали ужас. Мировой войне предшествовал «настоящий поток военной литературы», которую отчасти уже можно причислить к научной фантастике и которая рисовала картины будущих битв, «в тысячи раз более жестоких, чем все прошлые войны». Уже тогда было очевидно, что техническая революция усилит жестокость войны (см. примеч. 104).

Мешанина из позолоченных военных воспоминаний и чудовищных видений будущего привнесла в восприятие войны элемент постоянной вибрации. И в этом отношении Вильгельм II также олицетворял свою эпоху. Во времена бисмарковских войн он был еще ребенком, и в нем то и дело прорывался детский опыт рассматривания картинок о войне и игры в оловянных солдатиков, столь мало эволюционировавший в течение его жизни. Даже такой вояка, как Вальдерзее, в 1887 году реагировал на милитаристский пыл Вильгельма с легкой иронией: «Принц Вильгельм, он, конечно, очень воинственен и сожалеет, что производит сейчас скорее мирное впечатление».

Став кайзером, Вильгельм составил себе дурную славу гусарскими словесными штампами — от «сверкающих доспехов» и «держать порох сухим» до «панцирного кулака» и «извинений не будет». Никогда он не вызывал сомнений в том, что считает вооруженный поход делом почетным и славным. В своей фантазии он был склонен к жестокостям. Тем не менее очень многие его современники были убеждены в том, что в глубине души кайзер — человек мирный, причем это убеждение распро-

странялось от пангерманцев, которых это раздражало, до пацифистов и иностранных наблюдателей (см. примеч. 105).

Если исходить только из слов самого кайзера, особенно из его публичных речей, то уверенность в его миролюбии выглядит загадкой. Однако по всему своему поведению Вильгельм II попадал в категорию невротиков, и потому от него трудно было ожидать воли к войне.

Но не все в этом образе кайзера — проекция, и сегодня сохраняется впечатление, что в отношении войны Вильгельм II в своих поступках был гораздо медлительнее, чем в милитаристских речах и маргиналиях. Даже Фриц Фишер, вопреки общей тенденции своей теории, замечает, что Вильгельма ужасали «последствия немецкого военного нападения». Отлично информированная баронесса Шпитцемберг в 1910 году «ни на грош» не верила в мужество кайзера, «если дойдет до стрельбы»; во время второго Марокканского кризиса она записала, что, в принципе, «все» считали Вильгельма II «трусливым» (см. примеч. 106).

Однако нервозность в виде робкой нерешительности не всегда, как многим казалось в «нервозную эпоху», представляет собой хроническое состояние и конституцию, обусловленную нервной системой. В действительности Вильгельм II был не настолько миролюбив, как думали его критики и друзья, и вполне был в состоянии резко отреагировать на подозрение в трусости. Задним числом можно задать вопрос, не была ли уверенность в том, что в серьезной ситуации он всегда отступит, фатальным недопониманием его «нервов», и не вели бы себя иначе во время Марокканского кризиса некоторые политики из Антанты, знай они об этом? Может, тогда они позволили бы немецкому правительству достичь хоть каких-то минимальных успехов, по крайней мере дали бы ему возможность сохранить лицо (см. примеч. 107).

Или решимость начать войну восходит к более ранним временам — к расцвету политики Вильгельма, к эре «мировой политики» Бюлова? Может быть, веселость Бюлова — это элемент военной агрессии? В войне 1870 года он лишь один раз участвовал в ближнем бое и убил одного француза. В мемуарах он со вкусом описывает, как перед боем провел утро на сене с красавицей-француженкой: «Наши нервы были взбудоражены». Для рейхсканцлера кайзеровской Германии такая откровенность удивительна, но здесь воплощается вечная мечта воина: нераздельное единство любви и битвы, триумф в постели и на поле брани. Он описывает, как перед этим его полковые товарищи, которые ко времени Седана еще не участвовали в боях, требовали «свежего и веселого треска черепов» и выдает этот цветок красноречия за цитату из «Фауста», хотя он принадлежит ему самому (см. примеч. 108).

Но трансформировалась ли когда-нибудь воинственность Бюлова в потребность настоящей войны? Баварский генерал граф Монжела в критическом анализе мемуаров Бюлова настаивает на том, что в июле 1914 года Бюлов вел себя не более осторожно, чем Бетман, и цитирует письмо Бюлова от 1913 года, в котором тот требует «мужской и мужественной» политики. Однако в той же фразе Бюлов утверждал, что «шансы против большой войны», которые в настоящее время выглядят как «9 к 1» (sic!), превратились бы тогда в «99 к 1». Открытым текстом это означает: Германии нужно только более убедительно блефовать, притворяясь, что она готова к войне, чтобы добиться своих целей мирным путем. Как писал Гольштейн в 1906 году Бюлову: «Мы более чем когда-либо живем в эпоху блефа, но последнего шага никто делать не будет». Один из издателей писем Бюлова даже утверждает, будто Бюлов «с абсолютной уверенностью препятствовал мировой войне». Как бы то ни было, «призрак войны» бродит по множеству трудов Бюлова, и постоянно видишь «азартную игру с войной, как бывает, когда играют со страшной опасностью, хотя (или именно потому что) боятся ее и отшатываются от нее». Именно когда Бюлов говорит о нервах или нервозности, на горизонте часто возникает война (см. примеч. 109).

Во время Марокканского кризиса 1905 года во многих кругах думали, что «Бюлов хочет войны». Баронесса Шпитцемберг, правда, была убеждена в обратном: «Бюлов безусловно не хочет войны, не может ее хотеть, по самой своей природе». В 1910 году, после своей отставки, Бюлов конфиденциально заявил, что в Боснийском кризисе зимой 1908–1910 годов он «довел бы дело до войны». Но вряд ли он тогда серьезно рассчитывал на возможность войны. Если в 1916 году он сознавался, что еще двумя годами ранее даже не мечтал, что еще раз «увидит немецкий народ во всем блеске его прежнего военного и победного величия», нет никакой причины сомневаться в его словах. Карл фон Эйнем, прусский военный министр при Бюлове, в 1929 году письменно сообщал архиву рейха, что Бюлов, будучи канцлером, перед рейхстагом «никогда» не признавал «угрозы Германии». Винцен утверждает, что «приматом» Бюлова была «политика вооружения», однако этому противоречит тот факт, что большую часть своего правления Бюлов очень мало заботился об интересах армии (см. примеч. 110).

Насколько серьезно ведущие политики в 1914 году верили в свою быструю победу — такую же, как в войне 1870 года? Бетман-Гольвег и Рицлер подобных иллюзий, очевидно, не питали. Но даже такой фанатик войны, как Генрих Клас, не обманывал себя: «Нам предстоит не краткий бой с быстрой победой, но тяжелая битва против явно превосхо-

дящих сил врага, для которой потребуется вся сила немецкого народа». Он полагал вполне возможным, что в первых боях Германия потерпит поражение. Пангерманский образ войны был смесью сурового реализма и эйфорических ожиданий, война была апокалипсисом и в смысле катастрофы, и в смысле последнего избавления. Современная война так «убийственна», а «средства разрушения» столь «чудовищны», что надеяться на победу можно только в том случае, если вся армия до последнего солдата готова «на любых условиях победить или умереть», — заявил генерал Кейм, председатель Немецкого военного общества. Бернгарди, который не верил в эффективность плана Шлиффена, также описывает будущую войну как отчаянную битву, которую сможет выдержать только полководец с железными нервами (см. примеч. 111).

У многих политиков и публицистов того времени появляется манера говорить о войне не прямым текстом, а завуалированно, даже если речь шла о войне как о национальной необходимости, а не как о преднамеренном акте. Может ли быть, что даже те, кто видел в войне животворный источник для нации, чувствовали на себе взгляды инвалидов и вдов, если брали на себя ответственность за объявление войны? Отношение общества к войне в то время, подобно сексу, несло в себе элемент структурной нервозности. Анализ литературы, проведенный Залевски, показал, что довоенные десятилетия пронизывал «чудовищный, уродливый интерес к войне», однако это любопытство исчезало, как только сталкивалось с реальной жизнью, по крайней мере так было долгое время. «Мы вооружаемся так, будто собираемся в ближайший четверг завоевать мир, и при этом по утрам, днем и вечером твердим, что мы наимирнейшие защитники мира», — язвил в 1908 году Гарден. Надо заметить, что в то время он был решительным сторонником вооружения. Имел ли он в виду, что немцам нужно было спокойно признаться, что они хотят завоевать мир да поскорее? Гарден и не думал высказывать подобные мысли публично, лишь после начала войны он зашелся в дикой боевой ярости. Во главе тех, кто уже и до 1914 года с жестокой откровенностью признавался в желании войны, стоял Фридрих фон Бернгарди. Но даже он уверяет, что «всем нам хотелось бы утвердить свои сегодняшние позиции в мире без борьбы» (см. примеч. 112).

В проправительственной публицистике обнаруживается еще больше колебаний в том, чтобы открыто признать собственную готовность к войне, даже если она почти неизбежно следовала из поставленных целей. В 1912 году Ганс Дельбрюк в полемической статье против «немецкой робости» заявил: надо отдавать себе отчет в том, что германский флот существует не только для охраны торговли, а должен «обеспечить

причитающуюся нам часть того мирового господства, которую отводит культурным народам сама суть человечества и его высокое предназначение». Однако затем его речи стали настолько мирными, что Бюлов характеризовал его как «ярко выраженного пацифиста». Бюлов, считавший Дельбрюка мечтателем и недотепой, не воспринял его выпады всерьез. Рицлер за неделю до начала войны называл ее «несказанной», как будто говорить о ней прямым текстом было непристойностью. Пангерманский публицист Либих, внук великого химика, сочинил карикатуру на «систему Б» (систему Бетмана): «Потрясая кулаками, человек Б-системы нападает на противника (Агадир). Получив отпор, он со всех ног бежит прочь, пока противник не перестает его преследовать. Тут он разворачивается и снова смело потрясает кулаками» (см. примеч. 113).

Эта вербальная эквилибристика становилась особенно судорожной, когда речь заходила о военных целях оснащения флота. Политика в области флота имела смысл только при стремлении к войне, ведь поддерживать мир с Англией было бы легче всего, не имея военного флота. Но даже в конфиденциальных разговорах было трудно открыто признать вероятность войны на море с Британской империей. Даже Бернгарди не скрывал, что это было бы «самоубийством» немецкого флота. Морское сражение было вообще «самым страшным испытанием для нервов»: нигде перспектива собственной смерти не была такой конкретной, как на воде, где речь шла не о завоевании территории, а об уничтожении противника. Бывший священник Науман, без устали взывавший к оснащению флота, пророчествовал, что он «слышит глас Иисуса»: «Идите, стройте корабли и молите Бога, чтобы они вам не понадобились» (см. примеч. 114).

Сложности в понимании стремления к войне или миру усугубляются и тем, что вместе с заверениями о миролюбии, ставшими хорошим тоном, в моду вошло блефовать решимостью к войне. В конфиденциальной записи от апреля 1912 года Эйленбург негодовал по поводу того, что Германия хотя и держит курс к войне, однако не идет по этому пути открыто и честно (см. примеч. 115). Такие игры делали невозможным принятие ясных политических решений по военным вопросам и в то же время объясняют, почему Германия развязала мировую войну, не подготовив ее экономически.

Фриц Фишер отстаивает точку зрения, что мировая война разразилась просто-напросто потому, что Германия ее захотела. Однако «воля», как мы уже видели, понятие не однозначное. О каком именно желании шла речь в 1914 году? С тех пор и по сей день повторяется аргумент, что германские ответственные лица уже потому не могли желать войны,

что были слишком невротичны. Артур Розенберг пишет вполне в стиле Бюлова, что Вильгельм II был «слишком нервозен», чтобы захотеть взвалить на себя «чудовищный груз» мировой войны; что-то подобное относится и к руководителю Генштаба Мольтке. Даже воинственный пацифист Гельмут фон Герлах был уверен, что немецкое правительство не желало войны: Бетман, по мнению фон Герлаха, «не был воплощением энергии» (см. примеч. 116). Может быть, после 1918 года забыли, что к нервозности относится и возбудимость, и желание удостовериться в собственной энергичности? Вероятно, после поражения в памяти осталась только тревожная, но не страстная сторона предвоенной политической нервозности. Время до 1914 года казалось теперь потерянным раем — все жалобы, недовольство и критика были почти забыты.

Не сам по себе страх, но смесь из страха и желания вызывает самую сильную нервозность, колебания между противоречивыми импульсами. Поэтому столько всего нервного было тогда связано с сексуальностью, и по той же причине раздражала нервы мысль о грядущей войне. Жажда испытать чувство страха — как во внутренней, так и во внешней политике — особенно экстремальной была у некоторых пангерманцев. «Везде неуверенность, везде слабость, везде страх, страх, страх!» — говорилось в одной пангерманской брошюре 1913 года. Страх перед чем? «Наш народ отступает гигантскими шагами, духовные достижения уже не ценятся так, как они того заслуживают, мужское начало больше не имеет ценности, баба рвет у нас из рук власть, дети теряют к нам уважение, зеленые социал-демократы празднуют триумф в наших парламентах». Автор пробуждает не только страх, но и желание: «Мы требуем свободу действий для тевтонской расы [...] пространства для господства, нас тянет на радостный бой. [...] Отнять у англичан мировое господство представляется нам целью, достойной пота благородных» (см. примеч. 117).

Один из исходов неврастении не обсуждался в терапевтических учебниках: это было бегство в паранойю, манию преследования или манию величия, в маниакально завышенную самооценку. Альфред Гротьян откровенно описывает это на примере собственного детского опыта: «Что меня, нервного ребенка, сохранило и спасло в нервозном домашнем окружении, так это, без сомнения, параноидальный уклон, который в детстве проявлялся в непреодолимом упрямстве, а позже в том, что я упорно шел к однажды намеченной цели» (см. примеч. 118). Аналогично спасались от политической неврастении пангерманцы. Предвкушение «радостной битвы» грядущей мировой войны в 1913 году носило явно параноидальный характер, ведь в то время любой пангерманец знал, что война великих держав будет чрезвычайно серьезным делом.

Невротичная нерешительность по отношению к войне очень редко перерастала в неврастению, нуждающуюся в лечении: до 1914 года куда более частым и легким было бегство в политическую паранойю желания войны. В историях неврастеников на удивление мало тревог по поводу будущей войны. Страх перед последствиями онанизма у довоенных пациентов бесконечно сильнее, чем страх перед войной, истории болезней показывают это совершенно ясно. Как и в политике, фантомная опасность вытесняла реальную.

Обратных примеров мало, но они есть. Так, один кавалерийский офицер, 1879 года рождения, из «нервозной» знатной фамилии, страдал «нервными расстройствами» с 1910 года. «Незадолго до начала войны пациент был назначен ординарцем в новую кавалерийскую дивизию. С этого момента [он] впал во все возрастающее возбуждение. Он чувствовал себя не доросшим до своего нового звания, совершенно утратил уверенность в себе». Когда полки 3 августа 1914 года должны были собраться на дивизионный сбор, он «потерял голову» и прострелил себе из револьвера большой палец на левой ноге. «Больше всего его беспокоило будущее Германии. Навязчивых представлений, видений не было». Его жена, твердо верившая в победу Германии, объясняла его пессимизм только «нервами» и «чувствительной природой и нравом». Вероятно, она даже была права: действительно, похоже на то, что политический пессимизм кавалериста был следствием его личных неудач (см. примеч. 119).

Множество других людей перед началом войны находились в отличном приподнятом настроении. Эта эйфория не может объясняться объективной перспективой предстоящей войны на несколько фронтов, но исключительно тем страшным психическим напряжением, которое ей предшествовало. Видимо, это было особенностью довоенного периода до 1914 года, ведь в 1939 году, несмотря на гораздо более массовую и умелую пропаганду, эта эйфория не повторилась. Можно сказать, что настроение августа 1914 года, ставшее национальным мифом, задним числом доказывает высокий градус предшествовавшей «политической неврастении». Примечательно, что военный психоз достиг своей кульминации вовсе не в сельской Германии — центре традиционного консервативного монархизма, а в крупных городах, прежде всего в Берлине — оплоте неврастении. Как доказал Михаэль Йейсман, о «подлинном воодушевлении войной» не было и речи: скорее, речь шла о восторге нации от самой себя, воодушевлении от вновь обретенного чувства единства и силы, цели и смысла жизни (см. примеч. 120). Понимать настроение как продукт пропаганды возможно лишь в ограниченной степени, оно свидетельствует скорее о том, каким распространенным и мучительным было ощущение бесцельности и раскола и как сильно оно

связывалось с личным и повседневным опытом: без такого фундамента действие национальных импульсов не было бы столь глубоким.

Поначалу объявление войны породило своего рода спокойствие. Политики уступили место военным, а у тех имелись конкретные враги и ясные по времени планы. Многие рекруты восприняли объявленную войну как каникулы, прекращение привычного распорядка и путешествие в неведомую даль. Множество военных фотографий удивительно схожи с фотографиями из каникулярных поездок. «Все первые военные месяцы стали для множества, бесконечного множества молодых людей чем-то вроде великой передышки, — вспоминал в 1918 году Гельпах, — как пребывание на курорте, когда все молодеют и набираются сил». Однако уже в сентябре 1914 года для многих «постепенно и незаметно» начался процесс «невротизации» (см. примеч. 121). Эйфория августовских дней еще была проникнута беззаботностью того времени, когда не лилась кровь, однако с потерей чувства физической безопасности ко многим вернулись признаки неврастении.

Райнхард Рюруп заметил, что «дух 1914 года» в некотором отношении дает понять, «до какой степени общество в последнюю эпоху кайзеровской Германии уже было подготовлено к фашистскому решению кризиса». Действительно, возвышенное до уровня мифа военное настроение августа 1914 года позже стало конкретной утопией нацистского движения, которое мечтало вновь пережить великую эйфорию единства нации. Однако национал-социалисты искали это единство на путях большего насилия и большей изоляции, чем Вильгельм II, когда одной своей фразой он подал сигнал социал-демократам: «Для меня больше не существует никаких партий, для меня существуют только немцы». Для Гитлера этот жест кайзера был настоящим грехопадением (см. примеч. 122). Именно в связи с этим Гитлер принял свое фатальное решение «стать политиком», именно здесь он в первую очередь хотел действовать иначе. Если миф 1914 года и стал одним из центров нацистской идеологии, то не следует переоценивать реальную связь причин и следствий.

Ретроспективно можно выстроить цепочку: нацистская ментальность возникла из августовского опыта; тот, в свою очередь, был порожден «эпохой нервозности»; таким образом, нервный дискурс был источником немецкой катастрофы. Но есть ли здесь причинно-следственная связь?

Конечно, воспринимать поток жалоб на нервозность только как доказательство гуманной чувствительности того времени было бы преувеличением. В исторической перспективе жалобы на нервы далеко не всегда безобидны. Тревожные сигналы о «нервной слабости» почти автоматически порождают тоску по «сильным нервам», которая может

служить поводом для брутальности. Если считать нервозность самой страшной опасностью своего времени и выводить ее из себялюбия и пустой растраты энергии, то можно было одобрить и войну, ведь она вела к самоотверженности и концентрации сил. Чувствительность — вовсе не гарантия гуманности: это ясно дает понять немецкая история XX века. Даже Мёбиус, часто столь нежный и чувствительный, сумел с жестокой и провокативной прямотой одобрить убийство всех неизлечимых душевнобольных — так же, как и неисправимых преступников (см. примеч. 123). Так, преувеличенное сочувствие к неврастеникам иногда прекрасно сочеталось с жестокостью по отношению к другим группам.

Тем не менее учение о неврастении было отчетливо проникнуто пониманием и заботой, стремлением к исцелению, а никак не к выбраковке. Этот тон поддерживался немецкой системой государственного больничного страхования, открывшей широкое поле для медикализации. В эпоху Вильгельма эта социальная сторона деятельности немецкого государства стала составной частью немецкой самопрезентации, что и сегодня еще просматривается в величественной архитектуре санаториев и лечебниц. Типичным здесь было, как замечает Герхард А. Риттер, заявление рейхскомиссара по Всемирной выставке 1914 года, который решительно отверг распространенную в то время, прежде всего в США, идеологию выбраковки — укрепления нации за счет «исключения из нее всех неполноценных» (см. примеч. 124). Если уже до 1914 года обнаруживается множество цитат, которые указывают на «негативную евгенику» национал-социализма, то было бы ошибочным видеть в них господствующую тенденцию психиатрии и неврологии того времени. Обращение с душевнобольными в том виде, в каком оно сложилось в кайзеровской Германии, ни в коем случае не было прямым путем к национал-социалистическому «окончательному решению»; скорее можно удивляться тому, насколько сильны были в то время прямо противоположные тенденции.

Ганс-Ульрих Велер, один из ведущих немецких историков второй половины XX века, полагал, что социал-дарвинизм начал свое повсеместное победоносное шествие с конца XIX века под влиянием «темпа процессов модернизации» и «воспринимался с квази-религиозным усердием [...] как абсолютная вершина научно обоснованного мировоззрения». Однако литература о нервах рисует совершенно иную картину: здесь «борьба за существование», дарвиновский фактор эволюции видов, понимается как самая скверная причина болезни, причем совершенно естественно. Герман Детерман[32] в своей речи в защиту народных лечебниц открыто

[32] Невролог Герман Детерман (1865–1937) ученик Вильгельма Эрба, а также близкий друг Александра Живаго, женился на его сестре.

критиковал социал-дарвинистов: «больные и слабые», «не пригодные к полноценной жизненной борьбе» принадлежат в глазах этих людей к человеческим «отбросам», искусственное поддержание которых они презирают как «гуманистический дурман» и помеху «естественной селекции». Эти «сверхчеловеки» смеются над «человеческими и семейными чувствами», они не видят, что существует не только дегенерация, но и регенерация, и кроме того, они забыли, что нервнобольные и вне клиник вовсе не умирают, а производят «еще более больное потомство». А вот гинеколог Вильгельм Александр Фройнд, пионер операций на матке, не воспринимавший всерьез «нервозность нашей эпохи», напротив, признавался в симпатиях к дарвинистскому отбору у человека и ценил тех людей, кто, как «добрые семена будущих поколений [...] не только спасли свои нервы в штормах эпохи, но еще и укрепили их в мировых битвах» (см. примеч. 125).

При изучении литературы по нервозности возникают попытки составить контрмодель причинно-следственной теории и интерпретировать «политику национал-социалистов» по «истреблению неполноценных» как контрудар против аномального приступа медикализации в кайзеровской Германии и Веймарской республике. Или эти отношения следует трактовать диалектически? Бушевавшая на сломе веков ипохондрия неизбежно должна была породить впоследствии противоположные реакции, ведь если линейно экстраполировать тогдашние тенденции, то вскоре все население Германии стало бы заниматься исключительно прохождением различных лечебных курсов. Подобная перспектива способна была склонить к евгенике даже самого Бодельшвинга. Бум строительства клиник для нервно- и душевнобольных лег тяжким грузом на медицинский бюджет последующего времени за счет высоких постоянных издержек. Кроме того, он придал наглядность росту числа душевнобольных — подлинному или мнимому, — что произвело устрашающее и провоцирующее впечатление, так что после 1918 года, в период общего обеднения, неудержимо распространилось убеждение о неизбежности энергичной смены курса (см. примеч. 126).

Если видеть в истории не только системно-функциональные, но и «хаотические» линии развития, возникающие вследствие соединения прежде разрозненных процессов — в нашем случае мировой политики и терапии нервов, — то можно объяснить поразительную внезапность некоторых событий и, кроме того, понять, что малые причины порой способны к сильным эффектам. Вероятно, все крупные исторические перевороты в своем происхождении содержат элемент контингенции, т.е. случайного соединения различных линий развития, ведь без эффекта

ошеломления они просто не были бы возможны. Ожидаемые катастрофы наступают не всегда — ведь до того, как они случились, возможно что-то предпринять, предотвратить их. Что касается Первой мировой войны, то хотя ее и ожидали задолго до 1914 года, никто все же не хотел смело и решительно посмотреть в лицо опасности и проиграть в планах ее возможные последствия. Ощущение силы и спокойствия после объявления войны пришло к немцам неожиданно и способствовало тому, что кайзеровская Германия сумасбродным и беспримерным в истории образом вступала в войну на все новых фронтах.

Начало войны 1914 года не стало переломом в господствующей идеологии, зато стало переломом в менталитете — современники почувствовали это совершенно верно. Между простодушным «ура-патриотизмом» предвоенного времени и солдатской готовностью к самопожертвованию существовала глубокая экзистенциальная пропасть, даже если музыкальное сопровождение — национальная фразеология — и было таким же. Ругательства, которыми Гитлер осыпал тип предвоенного националиста, отказавшегося пойти во фронтовое чистилище (см. примеч. 127), звучат тем подлиннее, что они были тактически неумны и оскорбляли потенциальных союзников. В ментальной истории начало войны было рождением нового мира. Однако августовская эйфория единства была только прологом к ментальному расколу немцев, когда их смертельная ненависть друг к другу далеко превзошла контрасты предвоенного времени.

РАСКОЛ НЕМЕЦКОГО ОБЩЕСТВА И ЗАКАТ УЧЕНИЯ О НЕВРАСТЕНИИ; ОТ НЕВРАСТЕНИИ К СТРЕССУ

«Тот августовский день, когда война стала реальностью, лег на наши нервы свинцовой тяжестью», — признался контрастом к общей эйфории невролог Алоис Альцгеймер в 1915 году на «Военном докладе Бреслаусских преподавателей высшей школы». «Одним махом [...] все и вся утратило уверенность». У иных людей случился нервный срыв: он напомнил о неистовой и слепой «охоте за шпионами». Однако уже вскоре подобные явления остались в прошлом. «Наши нервы показали способность к приспособлению. Уже сегодня мы много спокойнее встречаем грядущие события». Он делает из этого общий вывод: если повышенные нагрузки на нервы сначала вызывают «нервозность», то совсем не обязательно связывать это с дегенерацией, речь идет о преходящем феномене привыкания. И это привыкание есть достижение. «Да, мы можем даже уверенно ожидать, что война не только разрушает нервы, но и приносит

им некоторую пользу» — так полагал даже этот осмотрительный невролог, мало затронутый первой волной военного воодушевления (см. примеч. 128).

Статистика первых военных месяцев выглядит подтверждением его слов. Вплоть до августа 1914 года ИСС регистрировала непрерывный рост нервных заболеваний. Число задокументированных неврастеников, несколько снизившееся в 1913 году, вновь отчетливо возросло. В отличие от этого, первые военные месяцы продемонстрировали «на удивление низкие показатели заболеваемости» (см. примеч. 129). Правда, у участников боевых действий ИСС фиксировала случаи заболевания только в течение первых трех недель после призыва на службу, так что возможны и более высокие показатели, не вошедшие в статистику. Тем не менее в самое первое время война не вызвала такой размах неврастении, о каком заставляли думать научные учения той эпохи, описывавшие нервную систему как дрожащий осиновый лист. В условиях войны отступили существенные элементы гражданской неврастении, прежде всего давление профессиональных и супружеских проблем. Перед лицом смерти люди учились ценить жизнь как таковую и забывали о мелких неприятностях. Где рвутся гранаты, там уже не видят «муху на стене», перестают тревожиться об онанизме и не воспринимают как проблему «суету и гонку». Где нужно подчиняться, не успевают стыдиться своей нерешительности. Человек, отброшенный к элементарным жизненным потребностям, перестает разрываться между множеством диффузных желаний. Организованная агрессивность войны освободила ее участников от значительной части раздражительности, порождаемой подавляемой агрессивностью.

Все это объясняет, почему привычный спектр неврастении сильно сократился. Пока в «возбудимой слабости» видели страшнейшее несчастье эпохи, можно было воображать, что война приносит оздоровление. Однако жизнь в окопах и чудовищные бои на истощение на оцепеневших западных фронтах принесли с собой такую физическую нагрузку, какой прежде не знали ни простые люди, ни медицинские учебники. По словам одного наблюдателя (1915), «активное мужество мускулов» сменилось «пассивным мужеством нервов». В отличие от стрессов гражданской жизни, речь шла о таком давлении на тело и психику, какого большинство врачей по личному опыту не знали: об этом нельзя забывать при рассмотрении медицинских дискуссий о «военных неврозах».

Самое большое внимание привлекли к себе жертвы контузий, носители так называемой военной дрожи — солдаты с сильнейшими нарушениями моторики. Это была настоящая психическая эпидемия, кото-

рая разразилась уже в декабре 1914 года и в ходе войны затронула по приблизительным данным 200 тысяч немецких солдат. Врачи указывали на то, что речь шла не только о тех, кто сам оказался под артиллерийским обстрелом. В английских войсках вскоре появилось понятие *shell shock*[33], но и там медики пытались поставить под сомнение это понятие с его артиллерийской этиологией. С фронтовой точки зрения разговоры о войне как курсе исцеления нервов вскоре стали пустой болтовней. Пресловутые ссылки на то, что «сильные нервы» решают исход войны, свидетельствуют о том, насколько сложно на самом деле сохранить на войне здоровые нервы. Франц Кафка в 1916 году призывал открывать «неврологические лечебницы для военных» и говорил о том, что эта война, более чем любая предыдущая, стала «войной нервов». Как в мирное время рост механизации более прежнего «угрожал нервам», так и механизация войны означала тяжелейшие последствия для ее участников (см. примеч. 130).

Насколько серьезно верили медики в целительную силу «стальных ванн»? Альберт Эйленбург в конце 1914 — начале 1915 года заверял, что на здоровую, способную к сопротивлению натуру война действует «как оснащенная всеми лечебными средствами стальная ванна». Однако если прочесть всю статью целиком, обнаруживается, что за подобной риторикой скрывается совершенно иное. Автор старается предохранить неврологические санатории от повального превращения в лазареты для раненых солдат. Дело в том, что множество людей как раз не обладали той здоровой и выносливой природой, какую требовали «стальные ванны», так что война сопровождается «разнообразными нервными и психическими расстройствами». Тех, кто страдает «неврозами страха» ни в коем случае нельзя возвращать на фронт. Также и для многих из тех, «кто остался дома и приговорен к терпеливому выжиданию», война обладала «враждебным, разрушающим нервы» эффектом — почти полная противоположность воинственной увертюре.

Уже вскоре августовская эйфория национального единства стала далеким воспоминанием. На втором году войны в населении страны наметился такой раскол, какого не бывало до 1914 года. Это был радикальный перелом настроений. Между теми, кто формировал фанатичный менталитет «выстоять-любой-ценой», и теми, кто все более открыто тосковал по мирным годам, стала нарастать смертельная ненависть. Эта ненависть переносилась и на другие конфликты. Стефан Цвейг говорил о «той ужасающей агрессивности, которая проникла в кровообращение

[33] Снарядный шок (военный невроз, шок от контузии) (*англ.*).

времени»[34]. Томас Манн также отмечал «окончательное изменение моральной атмосферы за четыре кровавых года Первой мировой войны»[35]. Антисемитизм, который до 1914 года в своих практических целях был не слишком внятным и в порыве единения первых военных месяцев почти полностью исчез из общественного мнения, с течением войны стал свирепым как никогда и приобрел ту готовность к убийству, которая послужила почвой для преступлений национал-социализма. Отдельные элементы нацистской идеологии имеют более древнее происхождение, но та готовность к насилию, которая стала наиболее жестокой и страшной характеристикой фашистского стиля, возникла вследствие войны. Идеи вроде «истребления неполноценных», которые до 1914 года встречались лишь как маргинальные, теперь стали преобладать в духовных устремлениях эпохи. Раскол немцев прошел отчасти по прежним классовым границам, но в своей ментальной сути этот конфликт не был классовым, он возник вследствие разного восприятия войны. В долгосрочной перспективе оказалось, что позитивное восприятие высвобождает более мощные энергии, и в этом была причина будущей немецкой катастрофы (см. примеч. 131).

Сомнение вызывает, что война по-разному переживалась сторонниками того и другого лагеря. Те, кто склонялся к правому радикализму, также были глубоко потрясены жестокостями позиционной войны. Вместе с тем немалое число их противников также поддались обаянию военного товарищества и героизма.

Военный опыт сам по себе противоречив, многое из него вообще нельзя выразить словами. Даже Адольф Гитлер в книге «Моя борьба» признается (видимо, чтобы приобрести доверие фронтовиков), что на войне его целый год раздирали противоположные чувства. «Неистовое ликование» августа, как писал Гитлер, «захлебнулось в страхе смерти». Муссолини также говорил об «аномальном моральном и нервном шоке от войны», который, если не предпринять ответных мер, «породит поколения неврастеников», — даже с фашистской точки зрения война была не только «стальной ванной» (см. примеч. 132). Это заметно и по страхам перед дегенерацией, заметно выросшим вследствие войны. Ненависть к тем, кто открыто признавался в миролюбии, объяснялась, в частности, собственным усилием подавить те же чувства. Особенно страшную форму эта ненависть зачастую приобретала у тех, кто прошел

[34] Цит. по: *Цвейг С.* Вчерашний мир / пер. с нем. Г. Кагана. М., 2004. С. 34.

[35] Цит. по: *Манн Т.* Мое время / пер. с нем. А. Полевщиковой; под ред. И. Эбаноидзе // Манн Т. Аристократия духа. Сборник очерков, статей и эссе. М., 2009. С. 343.

опыт солдатской жизни и утратил способность наслаждаться радостями мира и семьи.

Психиатры и неврологи оказались в сложной ситуации: противоречие между требованиями военного командования и врачебным долгом во многих случаях было неразрешимым. При сохранении медицинских критериев довоенного времени врачам уже спустя первые военные месяцы пришлось бы значительную часть немецкой армии отправить на лечение, а компенсации и ренты за травматический невроз взлетели бы до бесконечных величин. Неврологов заподозрили бы в саботаже. Но в реальной жизни большинство из них оказались чрезвычайно далеки от этого. Многие проявили замечательное честолюбие в том, чтобы продемонстрировать пользу своей науки для нации. Они резко усилили борьбу против травматического невроза. Альфред Хохе утверждает, что после войны «некоторые неврологи, подвергавшиеся угрозам со стороны не признанных ими претендентов на военную пенсию», вели прием, положив на стол револьвер. Контуженных стали записывать как истериков, так как, по определению Мёбиуса, истерия основывалась на представлениях, а не на внешних воздействиях, и не приводила к получению пенсии. Еще в 1915 году применить такой диагноз к солдату считалось неприличным, но уже в 1916-м врачи преодолели подобные комплексы (см. примеч. 133).

При этом диагноз «истерия» не был чисто тактическим: «дрожащие солдаты» действительно очень походили на истеричных пациенток Шарко с их судорогами и нарушениями моторики. У многих других солдат психосоматический кризис выражался менее явно, и для них попрежнему широко применялся диагноз «неврастения». Он оставлял открытым вопрос о внешних факторах. В учении о неврастении получила значительный импульс психологическая интерпретация, согласно которой причины расстройств были скрыты в душе самого пациента.

Вследствие этого в терапии стала преобладать тенденция к внушению: Макс Нонне[36], восходящая звезда неврологии, добился признания как специалист по гипнозу, хотя в последние предвоенные годы гипноз утратил свои позиции. Неврологические лазареты Седьмой армии, дис-

[36] Нонне Макс (1861–1959) — немецкий невролог, с 1918 по 1924 год руководил Немецким обществом неврологов, а с 1926 года издавал «Немецкий невропатологический журнал». Крупнейший специалист в области нейросифилиса, автор справочника «Сифилис и нервная система» (1902), в связи с чем вместе с другими коллегами в марте 1924 года был приглашен в Москву для диагностирования болезни Ленина. Нонне категорически опроверг предположение, что у Ленина запущенная форма сифилиса.

лоцированной в южной части Западного фронта, в 1917 году во время самых страшных позиционных боев ввели метод внушения, потому что он оказался «более мягким и не менее надежным, чем прочие методы». Показатели выздоровления, как сообщалось, приближались к 100% — невероятно! Как сообщал санитарный советник Омен, внушением — и не только при истерии, но, вопреки учебникам, даже при неврастении — достигался «необычайный, часто совершенно неожиданный» эффект. «При неврастении внушение часто приносит значительно больше, чем все оборудование неврологических лечебниц». Видно, как ярко опыт войны сказался на терапевтическом учении в целом. Однако успехи гипноза были по-прежнему сильно обусловлены личностью и ситуацией, и под гнетом войны никто не думал о том, свидетельствует ли исчезновение внешних симптомов о подлинном выздоровлении. Дурной славой пользовалась электротерапия, эволюционировавшая почти до настоящей пытки и, возможно, делавшая ставку на то, что пациент от ужаса признает себя выздоровевшим. Следует заметить, что и во время войны подобные практики вызывали ожесточенные протесты. Отто Бинсвангер — тот самый, который до войны уговаривал платежеспособных неврастеников проходить дорогостоящее лечение, по отношению к военным невротикам проявлял устрашающую твердость; его «курс психической абстиненции», который открытым текстом означал запирание пациента в темной комнате с лишением пищи, осуждал даже далекий от сантиментов Макс Нонне (см. примеч. 134).

Игра в кошки-мышки между врачом и пациентом, как прежде в случае травматического невроза, продолжилась теперь с военными невротиками. Однако это вовсе не значит, что в конце такой игры «мышь» обязательно оказывалась съеденной. Как грубо ни обращались бы иные военные врачи с «нервозными» солдатами, в общем и целом нервные расстройства, видимо, служили недурным средством покинуть фронт и спасти собственную шкуру. Похоже, что за воинственным пылом медиков скрывалось желание утаить от общества этот факт. Отправлять обратно на фронт военных в высшей стадии нервозности считалось рискованным уже потому, что нервозность воспринимали как заразную болезнь. Немецкое учение о нервах даже на войне сохранило остатки присущих ему мягких и гуманных тенденций. Среди англичан преобладала иная мораль, и пустившийся в бегство фронтовик имел куда больше шансов получить пулю как дезертир, чем попасть в санаторий из-за нервного истощения (см. примеч. 135).

Гельпах в 1918 году упомянул как общеизвестный факт, что «военные истерики [...] потеряны для применения на войне». К концу войны —

что не удивительно — общая картина воздействия солдатского быта на психику резко ухудшается. Тем не менее Гельпах проводил резкую черту между истериками и неврастениками: «при военной неврастении» прогноз, по его мнению, «замечательно благоприятный». Добрую половину пациентов можно было выписывать с заключением «годен к строевой службе». Он делает комплимент неврастеникам: «Внутренняя прямолинейность неврастении сохраняется и здесь; неврастеник страдает от своего расстройства так честно и осознанно, что счастлив как можно скорее избавиться от него». Тем не менее он не рекомендует посылать обратно на фронт невротика в случае резкого протеста с его стороны. Эрнст Байер, начальник Родербиркена, во время войны специализировавшийся на лечении контуженных методом мгновенного внушения, пришел к убеждению, что для успеха лечения «очень важно», чтобы пациенты «прямой дорогой возвращались из лазарета на родину» (см. примеч. 136).

Макс Нонне после войны заметил, что хотя сообщений о том, что военные невротики после успешной терапии вновь смело шли в бой, было немало, все эти случаи были все же «исключениями». «У большинства таких пациентов при угрозе или реальном наступлении военных действий случался рецидив. В результате военное министерство вынесло предписание, основанное на медицинских экспертных заключениях: не писать таких пациентов, как "пригодных к строевой службе", а использовать их иначе в интересах армии». В конечном счете обращение с военными невротиками было по военным масштабам гуманным, однако во время войны об этом предпочитали не говорить громко. Позже сторонник жесткой линии раздраженно говорил о том, «как быстро мы за несколько месяцев пребывания на больничной койке делали из наших превосходных солдат ни к чему не годное отребье». Во Вторую мировую войну психиатры использовали этот опыт и посылали невротиков в строй. Как сообщал Бумке, с 1916 года, со времени «военного заседания» неврологов, «целое поколение врачей воспитывалось в этом духе». Уже во время войны военное командование предпочитало молодых врачей, более «смелых» в обращении с невротиками, чем опытные и рассудительные старшего поколения (см. примеч. 137).

Наибольшие шансы избежать фронта благодаря «нервозности» имели представители «лучших сословий»: для них все еще действовали терапевтические критерии мирного времени, когда главным было хорошее самочувствие пациента. Через неделю после начала войны в Арвайлер поступил коммерсант 31 года. Ему полагалось служить унтер-офицером, но он, по его собственным словам, симулировал тяжелую депрессию и таким образом миновал мобилизацию. «Я сказал себе — чем дальше от

врагов, тем лучше для тебя». Когда он заверил капитана в своей неспособности к службе, тот прошипел ему: «Вы, шлюпьé (sic!), хотя бы попытайтесь!» Он этого делать не стал, и клиника Эренвалля подыграла ему, продержав у себя больше года — из-за «обильных симптомов неврастении». Может, доктор считал симуляцию, о которой рассказал пациент, таким же обманом, и видел перед собой несчастную нервную развалину? Сам пациент считал себя «дегенератом, на которого не стоит тратить порох». Он с детства испорчен, его «слепили между делом» (sic!): отец зачал его в состоянии опьянения, а мать и сама истеричка. И постоянно: «он из семьи дегенератов и настолько далек от нормы, что ему вообще в мире не место»; «такие дефективные», как он «должны исчезнуть с лица земли». Столь перманентное и необычное самобичевание очевидно не оставило равнодушным лечащего врача.

В высших слоях общества и в разгар войны, и в послевоенное время можно было позволить себе неврастению в стиле *Belle Époque*. В 1916 году один рейнский фабрикант прибыл в Арвайлер из-за «тяжелой неврастении» с целью избежать военной службы. В истории болезни он честно признался в тяжелом алкоголизме, хотя в аттестацию это не вошло. Но когда он уже не в первый раз в пьяном виде шумно вломился в клинику, врач не выдержал: до этого он ему всегда помогал, но теперь «отказывается от него и больше его не покрывает». «Будет настоящим позором, если, пока его ровесники сидят в окопах... и т.д. и т.д., в нем не проснется даже искра чести». Но такая угроза — единичное явление в документах, хотя оснований для подобной критики нашлось бы немало, и именно среди платных пациентов.

После 1918 года ведущие медики уверенной рукой подвели подробные итоги. Если Германия и проиграла войну, то медицина одержала победу: над «врагами медицины и фанатиками натуропатии» (Гис). В научном смысле медицина после 1918 года явно стала «суровее», чем до 1914 года: более специализированной и менее открытой для дилетантов. В остальном неоднократно утверждалось, что мировая война наконец-то принесла ясное доказательство психического первоисточника нервных расстройств. Правда, при более внимательном чтении текстов заметно, как трудно было исключить из дискуссии войну как патогенный фактор (см. примеч. 139).

Разговоры о том, что неврастения обусловлена модерном, во время войны стихли: это была точка зрения Карла Бонхёффера, с 1912 года руководившего неврологической клиникой Шарите, и многих других. Гаупп в статье о «неврозах испуга и неврастении», опубликованной в медицинском справочнике о мировой войне, подчеркнул, «что до войны

мы очень сильно переоценивали значение физического и психического утомления как болезнетворного фактора». На фронтах сотни тысяч солдат годами выдерживали «такое напряжение и совершали такие достижения [...], каких никогда не знала армия, и каких никто не ожидал от современного нервного человека». Однако у этого славного итога имеются некоторые вычеты. Надежная статистика «военной неврастении» отсутствует. В лазаретах преобладали в основном истерики, однако в действительности «участники военных действий, без сомнения, много чаще страдали неврастенией, чем истерией». При этом большинство из них терпеливо переносили строевую службу, не заявляя о своей болезни. В целом война принесла с собой «чудовищный поток вредоносных воздействий на нервы мужчин — участников военных действий» (см. примеч. 140).

«Мировая война научила нас тому, — заверял Бумке, как и многие другие послевоенные авторитеты, — что большинство здоровых людей выносят очень напряженные физические и психические усилия, не становясь неврастениками». Но тема «неврастения на войне» на этом не исчерпывалась. «Многие, кто никогда не видел фронта, — продолжал он, — в военное время приобрели симптомы неврастении». Война принесла с собой «лавинообразный рост неврозов». Постоянно указывая на психогенное происхождение неврозов, он тем не менее не может избавиться от войны как внешнего фактора. Иногда даже возникают сомнения в его научной добросовестности. Так, Бумке, ссылаясь на опыт войны, совершенно исключает «умственную перегрузку» как причину неврастении, а через две фразы после этого объясняет частоту неврастении среди офицеров «хроническим напряжением воли и чувством гиперответственности (в комплексе с физическими трудностями)». При этом для военнослужащих более низкого ранга он считает типичной чисто психогенную истерию. В попытке выстроить иерархию неврологических заболеваний в духе более ранней иерархии Гельпаха («нервозные буржуа — истеричные рабочие») он был не одинок. После войны в учебники как хрестоматийный вошел факт, что «великий эксперимент» мировой войны доказал соотношение между неврастениками и истериками у рядового состава 2:1, а у офицерского — 8:1. Но так или иначе неврастеники и на войне составляли большинство (см. примеч. 141).

В исследовании, посвященном неврастении во время войны, которое было закончено в сентябре 1918 года и получило признание ведущих психиатров и неврологов, Гельпах убедительнее всего доказал, что различные формы неврастении в ходе войны получили широкое распространение и перешагнули классовые границы. При первом столкнове-

нии с войной «рождалась истерия — королева неврозов и ее сфинкс; с постепенным привыканием к войне подступает неврастения — незаметная обывательница, что не загадывает загадок и предлагает вопрошающему правдивые ответы» (см. примеч. 142). Новая и оригинальная характеристика неврастении, выдает, что это расстройство по-прежнему было распространенным, но наскучило медикам. Интересно наблюдение Гельпаха, что в то время как более легкие случаи «мирной неврастении» часто принимали «гневную» форму, «полевая неврастения» в типичных случаях приобретала «депрессивную окраску с тенденцией к мирной разрядке». Не удивительно, ведь агрессивная форма во время войны находила выход в социально допускаемых действиях. Депрессивная же неврастения оставалась и была мало заметна в окопах, ведь в позиционной войне была востребована покорность судьбе. Гельпах хотя и признавал, что «вопреки ожиданиям наш неврастеничный век» в целом выдержал «чудовищное испытание для нервов», но возражал против трактовки войны как контрдоказательства против всего учения о неврастении. В конце он говорит о неврастении во множественном числе: хотя предвоенная неврастения связана с культурными условиями своего времени, однако с изменением этих условий явления неврастении не вымерли, но возникли новые неврастении. Другие неврологи также отмечали у солдат распространение симптомов неврастении, но только эти симптомы менее, чем в мирное время, складывались в яркую общую картину (см. примеч. 143). В военных кругах основную тревогу и заботу вызвало явление контузии, «военной дрожи», носители которой трактовались как истерики, а малозаметные неврастеники внимания не привлекали.

Война усилила веру в могущество воли, потому что уже и до 1914 года многие хотели в нее верить. Но в реальности опыт войны был многозначен, он мог считаться также наукой о том, насколько люди способны подавить собственную волю к жизни. Да, стабильные натуры, которым повезло и которых миновали серьезные ранения, могли выйти из мировой войны с ощущением психологической устойчивости и, вопреки поражению Германии, выглядеть в собственных глазах победителями. Но что было с огромным множеством других?

Бумке указывал на то, что после 9 ноября 1918 года[37] «многие психогенные реакции спонтанно излечились». Гаупп усматривал в революционных событиях выплеск нервозности, обусловленной войной: страдание и отчаяние, но также и «гнев за многолетний обман лишили нервно содрогавшуюся душу полумертвого от голода народа всякого

[37] Ноябрьская революция в Германии.

внутреннего протеста против наступающей красной волны» — конгломерат теорий нервозности и «удара ножом в спину»[38]. «Политический радикализм» того времени, писал он далее, есть «не что иное, как симптом неврастении», причем эта неврастения характеризуется беспорядочным поиском раздражителей: «или крайне правое, или крайне левое, все остальное — скучно», — сказал один невротик, как сообщает Гаупп (см. примеч. 144).

Критические умы в конце войны заметили, что на самом верху, в ведущих кругах рейха и армии начинают сдавать нервы. У Макса Вебера в октябре 1918 года создалось «впечатление полной потери контроля над нервами [...] во всем, что мы слышим из Берлина». «Это может чудовищно дорого стоить нации». Поводом послужило требование высшего армейского командования в адрес Вильсона[39] немедленно озвучить условия перемирия. Филипп Шейдеман позже считал доказанным, что «отчаянные требования высшего командования были выплеском тяжелейшей нервозности». Это была месть за легенду об «ударе ножом в спину»: Людендорф как виновник квазибезусловной капитуляции Германии! Действительно, осенью 1918 года у генерал-квартирмейстера проявлялись все симптомы тяжелого невроза и он даже находился на лечении у неврологов (см. примеч. 145). По крайней мере нервная сторона его натуры позволила ему осознать реальную безнадежность положения Германии, и именно в тот момент, когда немецкие войска еще располагались глубоко во Франции и могли какое-то время продолжать войну. В этом отношении можно сказать, что нервозность Людендорфа была не причиной поражения, а позволила немцам сберечь сотни тысяч жизней. Но и этот неврастеник не мог увидеть в своей слабости достоинство, не мог в ней даже признаться: именно он, лучше других знавший, что осенью 1918 года с немецкой армией было покончено, принадлежит к авторам легенды об «ударе ножом в спину» — сказки о том, что немецкие вооруженные силы проиграли не на поле брани, а были поражены ударом «красных».

В принципе, опыт войны, как показывает пример Гельпаха, вполне мог привести к дальнейшему развитию учения о неврастении. Но в ре-

[38] Легенда об «ударе ножом в спину» — теория заговора, с помощью которой ответственность за поражение кайзеровской Германии в Первой мировой войне перекладывалась главным образом на социал-демократов. Духу немецкой культуры соответствует и тот факт, что мотив удара ножом в спину был взят из сцены смерти Зигфрида в «Песне о Нибелунгах». Легенда породила множество карикатур.

[39] Вильсон Вудро (1856–1924) — 28-й президент США (1913–1921), лауреат Нобелевской премии за миротворческие усилия.

альной истории он лишь ускорил его закат. Этот процесс начался уже в последние довоенные годы, и здесь война скорее усилила уже имевшуюся тенденцию, чем породила новые мысли. Хотя диагноз «неврастения» сохранялся во врачебной практике еще несколько десятилетий, но научную привлекательность эта тема утратила. Учение о слабости нервов теперь стало считаться уродливым порождением того мягкосердечного и прекраснодушного времени, которое не привело в психиатрии и неврологии, равно как и в политике, к твердым и внятным позициям. И такая трактовка не была ошибочной. Однако после поражения и обнищания она стала казаться непозволительной. «Физический слом и падение, — писал позже Гельпах, — погребли под собой [...] самостоятельную оценку опыта военной неврастении». За рубежом его монография привлекла к себе больше внимания, чем в собственной стране (см. примеч. 146).

Отто Дорнблют, автор последнего большого руководства о неврастении и истерии, изданного в 1911 году, начал его с утверждения, что оба эти заболевания «ни по научному, ни по практическому своему значению не смогла превзойти никакая иная болезнь». Дорнблют был одним из основателей «клинического словаря», и его кругозору можно доверять. Макс Лэр, однако, еще прежде, в 1909 году, заметил, что значение истерии и неврастении «в последнее время сильно снизилось». Карл Бонхёфер в 1911 году отметил даже «процесс исчезновения диагноза неврастения», по крайней мере в тех клиниках, во главе которых стояли ученые. В США Чарльз Дана, в свое время специалист по неврастении, уже в 1904 году на собрании Бостонской ассоциации психиатров и неврологов объявил о «частичной кончине неврастении». Один из его коллег подхватил пас и опубликовал в 1905 году статью «О появлении психастении»: таково было терминологическое следствие психизации нервов, во Франции уже осуществленное Пьером Жане (см. примеч. 147).

Закат концепта неврастении до и после Первой мировой войны был интернациональным явлением. Причины его скрыты отчасти внутри самой науки: время, когда она продвигалась ощупью и не скрывала этого, все больше уходило в прошлое, и такие термины, как «нервозность» и «неврастения» уже плохо вписывались в специализированный профессиональный жаргон. В этом смысле исчезновение этих терминов можно трактовать как феномен «модернизации» и профессионализации науки. Это не означает прогресса в познании реальности: такие широкие понятия, как «нервозность», «меланхолия» и «помешательство» до сих пор не потеряли своего практического значения. Если американский историк Эндрю Скалл видит пользу исторического изучения психиатрии в том, что оно настраивает нас скептически относиться к мнимым «интеллек-

туальным прорывам» новейшего времени (см. примеч. 148), то «прорывы» в учении о нервах в Первую мировую войну могут послужить ему хорошим примером. Более поздняя манера смеяться над неврастенией нередко объяснялась недостаточным знанием литературы.

Набирающий популярность психоанализ из всего спектра неврастенических явлений использовал неврозы, сексуально мотивированные и драматизированные вытеснением. Это тоже не добавило неврастении привлекательности. Людвиг Бинсвангер, уже находившийся под впечатлением от Фрейда, руководивший с 1910 года Бельвю, забросил учение о неврастении, введя вместо этого понятие *Ideenflucht*[40]. Психогенные неврозы все сильнее отвлекали внимание от нарушений нервной системы, обусловленных внешними воздействиями. В практике терапевтов часть прежней «неврастении» продолжала существовать под названием «вегетативная дистония»: еще в 1960 году это явление считалось «специфическим и наиболее распространенным недугом нашего времени», но вместе с тем и наиболее принятым в Германии «удобным» диагнозом (см. примеч. 149).

С 1930-х годов понятие «неврастения» переживает ренессанс — прежде всего во Франции и Восточной Европе. В Югославии в 1990 году перед началом гражданской войны неврастения была очень частым диагнозом, и психиатр из Белградского университета объясняет ее распространение «аккумулированной социальной фрустрацией». В Мексике и других латиноамериканских странах «нервы» стали популярны в разговорном языке как причина психосоматических жалоб, связанных с социальным окружением. При этом слово «нервы» обладало многочисленными оттенками, так что даже в Коста-Рике оно имело несколько иное значение, чем в Гватемале. Но в целом словообразования с элементом «нервы» способны были лучше всего выразить страдания и расстройства от индустриальных новшеств, причем независимо от господствующих медицинских учений.

Особенно заметно распространение концепта неврастении в Восточной Азии, в Японии оно началась уже в 1930-е годы. Одним только подражанием Западу его объяснить нельзя, ведь к тому времени и в Европе, и в США учение о неврастении давно уже клонилось к закату. На рубеже веков в Германии казалось, что страны Дальнего Востока неуязвимы к нервным расстройствам. Сегодня же понятие неврастении пользуется в Восточной Азии таким авторитетом в науке, как нигде в

[40] «Ска́чка идей» (*нем.*) — заключается в скачкообразном мышлении, говорении, желании и действии, в результате чего больной «перепрыгивает» важные смысловые элементы и взаимосвязи, нивелируя таким образом свое мировоззрение. Характеризует лабильное мышление.

мире. На международной встрече в 1989 году один психиатр из Шанхая отстаивал «необходимость сохранить диагностический концепт неврастении». Другой психиатр китайского происхождения считал «фактом», что «для населения Китая неврастения стала средством, чтобы выразить экстремальные политические, социальные и психические нагрузки конца 1950-х годов», т.е. эпохи «большого скачка» и экономической катастрофы (см. примеч. 150).

В Западной Германии и в США после 1945 года понятие неврастении окончательно устарело. Вопрос о том, стоит ли сохранить это понятие или его нужно полностью изъять из медицинского лексикона, был озвучен в 1963 году в Генуе на конференции по Классификации душевных болезней. Немецкий терминологический словарь от такого понятия отказался, в то время как Советский Союз, Франция, Чехословакия и Польша ратовали за его сохранение. Американская психиатрическая ассоциация официально вычеркнула этот термин из своего вокабуляра в 1979 году. С 1980-х годов в англо-американском пространстве были попытки толковать синдром «хронической усталости» как реинкарнацию старой неврастении. Но ведь, по сути, речь при этом шла всего лишь о повторении того старого расстройства, которое было одновременно и желанием страха, и состоянием культуры (см. примеч. 151). Подлинным преемником неврастении стал стресс.

В послевоенной Германии учение о неврастении оказалось конкурентом не только психоанализа с его волнительными толкованиями снов, но и трезвейшей «психотехники» — метода, родоначальником которого был Гуго Мюнстерберг — немецко-американский индустриальный психолог, любивший повторять, что за всю свою жизнь ни разу не видел снов. Психотехника изменила всю дефиницию проблемы, сконцентрировав ее вокруг интересов индустрии: главным было уже не то, какие нервные расстройства вызываются определенными трудовыми нагрузками, а то, как отобрать из претендентов на рабочее место человека, способного справиться с такими нагрузками. Тейлоризм вырос на отборочных тестах экспериментальной психологии. Однако такой прямой подход к проблеме означал шаг назад от уже достигнутых знаний психологии труда. То хроническое воздействие труда на рабочего, которое очень сильно зависело от его идентификации с работой, «психотехника» не учитывала, более того — его вообще не было как проблемы. После 1918 года саксонский министр труда Хельд использовал учение о неврастении как аргумент против тейлоризма (см. примеч. 152). Тейлор исходил из того, что в трудовых процессах остается еще слишком много временных лакун и простора для халатности: в этом он занимал позицию, противоположную теории «нервного века».

По сравнению с довоенным периодом литература по нервозности 1920-х годов в общем и целом была эхом прошлого, хотя изменения в мире труда предлагали очень много нового материала. Несколько большее внимание привлекали к себе психологические проблемы, возникавшие вследствие рационализации труда, в леворадикальных кругах. В 1930 году коммунистическая газета «Linkskurve»[41] организовала конкурс произведений молодых пролетарско-революционных авторов. Первую премию получил декоратор витрин, 21 года, за стихотворение «Конвейер», посвященное изматывающему монотонному труду: «Крутится лента, мимо плывет / и рвет и грызет твои нервы» (см. примеч. 153). Но конвейеры на автоматическом ходу были тогда в Германии большой редкостью, и стихотворение, в котором рвущий нервы конвейер приводит к стрессу, а стресс выливается в революцию, описывало скорее картины будущего, чем эмпирическую реальность.

Закат научной концепции неврастении вовсе не означал, что сам феномен исчез из реальной жизни. Возможно, он был результатом того, что «классическая» картина неврастении, какой ее знали до 1914 года, в военное и послевоенное время не была столь частой. Уже в последние годы перед войной «нервозность» стала казаться чем-то вроде переходного состояния, которое будет отступать по мере успешного приспособления к изменившимся условиям. Жизнь в больших городах становилась все более привычной, кроме того, после бурного роста последовали десятилетия стагнации, так что тема «мегаполис и нервы» перестала волновать умы. Картина сексуальной неврастении тоже изменилась, страхи и нервные расстройства на сексуальной почве существенно ослабли. Отношение людей к телу стало менее судорожным, страх перед сифилисом отступил, презервативы подешевели и устранили необходимость прерывать половой акт.

Нельзя сказать, что все изменения общей картины нервных расстройств после 1918 года были столь отрадны. Если до 1914 года «гонка и травля» оставались скорее метафорой, то в 1920-е годы темпы труда выросли очень резко. С 1924 года Немецкое общество по вопросам организации труда, производства и развития предприятий (REFA) стало проводить анализ затрат рабочего времени. С начала войны отмечался постоянный рост показателей сердечных расстройств на нервной почве: в это суровое время, когда неврастения уже не служила сигналом о необходимости сделать передышку, она стала более опасна для сердца. Способность отдыхать снизилась, один издатель после 1918 года заметил: «Мировая война стоила нам всем стольких нервов [...], что теперь прež-

[41] Левый поворот, поворот влево (*нем.*).

них "спокойных романов" нам уже не достаточно». Весь языковой стиль за время войны стал более суровым, лаконичным, утратил сентиментальность. В очень многих текстах чувствуется сумрак, тучи на горизонте. Если неврастения эпохи Вильгельма была отмечена ярко выраженным подъемом и маниакальным общим энтузиазмом, то в военное и послевоенное время преобладала депрессивная картина (см. примеч. 154).

Свою практическую пригодность понятие неврастении сохранило и в 1920-е годы, и падение его научного престижа далеко не сразу положило конец его распространению в клиниках и лечебницах. В Родербиркене, где сначала довольствовались в основном диагнозом «нервозность», после окончания войны понятие «неврастения» стало встречаться даже чаще прежнего. Если рекламный проспект Дрезденской международной гигиенической выставки 1911 года лишь иронически упоминал «модную болезнь» — неврастению, то такой же проспект 1930 года посвятил «проблеме нервозности» целый стенд в разделе «гигиена души». В тексте каталога значилось, что мы по-прежнему живем в «эпоху нервозности». Один специалист по медицине труда в 1930 году отмечал, что «подлинная», т.е. экзогенная, неврастения как следствие трудовой нагрузки сейчас встречается гораздо чаще, чем до войны. В одной диссертации по медицине 1927 года представлена точка зрения, что весомый вклад в распространение неврастении внесла инфляция. Это звучит убедительно: инфляция была глубоким потрясением для тех широких кругов населения, чья уверенность в завтрашнем дне в значительной степени покоилась на наличных сбережениях. Как вспоминал позже один очевидец-англичанин: «Тогда в Германии каждый мог видеть, что нервное возбуждение охватило все классы населения».

Во время экономического кризиса страна буквально кишела нервными расстройствами, имевшими, прежде всего, самые тривиальные экономические причины. Мёрхен в 1933 году вздыхал, что невролог «сегодня, принимая больных, невольно полагает», что чек на несколько тысяч марок помог бы пациенту лучше любого лекарства (см. примеч. 155). Но что было делать врачу с подобными мыслями? Экзогенная нервозность такого рода не представляла интереса для науки.

Психическая интерпретация неврастении, появившаяся задолго до 1914 года и получившая значительный импульс благодаря войне, в 1920-х годах отвлекла внимание от психологических последствий технических нововведений. В Постановление о профессиональных болезнях 1925 года нервные болезни не вошли. Только в одном экстремальном случае, при нервном расстройстве у рабочего, обслуживающего пневматическое устройство, Имперская страховая служба проявила снисхо-

дительность, разрешив отнести нервы к мускулам и подать жалобу на их повреждение. В остальных случаях использовался стандартный аргумент, сформулированный когда-то в борьбе против травматических неврозов, — что функциональные нервные расстройства «не влекут за собой возмещения», поскольку «обусловлены психогенно» (см. примеч. 156). Венгерский психиатр Леопольд Сонди, опираясь на эндокринологию и конституциональную теорию, пытался реанимировать исследования неврастении на основе соматического подхода, однако остался аутсайдером. Зато другой венгерский медик, Ганс Селье, впоследствии эмигрировавший и работавший в Канаде, достиг всемирной славы благодаря еще одному основанному на соматическом подходе понятию — «стресс».

Изначально, в том виде, в каком ее в 1936 году ввел Селье, концепция стресса во многих отношениях радикально отличалась от старого учения о неврастении, и эту разницу сам Селье считал гениальным озарением. Неврастения выражалась телесно в диффузных и неспецифических симптомах, что не могло удовлетворить современного медика. Обнаружить физический первоисточник не могли никогда. Стресс, как его понимал Селье, напротив, был точно локализован в организме — в «гормонах стресса», производимых, прежде всего, надпочечниками. Тем самым он одним махом избавился от вечных споров о том, какая причина является преобладающей, и объявил сутью явления стресса неспецифичность причины. «Удар кнута и страстный поцелуй могут вызвать равный стресс». Это решило и давний вопрос о связи неврастении с модерном: стресс в понимании Селье существовал во все времена, и не только у человека, но и у крыс. Стрессовые реакции — это не проявление патологии, но интегральная часть жизни, в этом пункте теория Селье напоминает теорию возбуждения романтической медицины[42] (см. примеч. 157). Правда, различаются полезный и вредный стрессы (*eustress* и *distress*), и в этом различии решающую роль играет субъективное восприятие «стрессоров», как, например, профессионального труда. По крайней мере для того, кто больше любит поцелуи, чем удары кнута, это все же не совсем одно и то же.

В то время как Первая мировая война ускорила закат неврастении, Вторая мировая война придала концепции стресса решающий импульс. Прототипом жертвы стресса и любимцем исследователей стал пилот бомбардировщика, хотя, вероятно, для его жертвы стресс был много

[42] Романтическая медицина рубежа XVIII–XIX веков опиралась на единство Природы и Духа философии Шеллинга. Среди главных представителей — великие немецкие врачи Иоганн Кристиан Рейл (1759–1813) и Карл Густав Карус (1789–1869).

страшнее. Милитаристские интересы, которых в истории неврастении практически не было, сыграли ключевую роль в стремительной карьере концепции стресса. Соответственно, цель была поставлена очень конкретно: она состояла не в способности к счастью, а в способности к исполнению функции. Скорость реакции стала не сомнительным признаком, а добродетелью (см. примеч. 158).

Первое и наиболее резкое различие между типичным неврастеником эпохи Вильгельма II и современной «жертвой стресса» состоит в следующем. Первый страдал от слабости воли и нехватки трудовой энергии, проводил в лечебницах невероятно много — с сегодняшней точки зрения — времени, зато спасался тем самым от тяжелых сердечных болезней. О типичной жертве стресса можно сказать ровно обратное. Правда, неврастеники конца XIX — начала XX века также имели в своем анамнезе долгие фазы стресса, и типаж жертвы стресса нередко встречался уже тогда. Вместе с тем и сегодня тот, кто громче всех жалуется на стресс, совсем не всегда измучен тяжелым трудом. Деловитость и дефицит времени давно уже стали средством повысить собственную значимость в чужих глазах. Как неодобрительно замечал уже Селье, в повседневном употреблении понятие «стресс» приближалось к прежней «нервозности». Понятие вновь подтвердило свою востребованность (см. примеч. 159).

Со временем понятие «стресс», как и «неврастения», также подверглось психологизации и социологизации. Тем самым оно разделило судьбу всех прежних терминов, обозначавших психосоматические заболевания, — меланхолии, ипохондрии, истерии, спинальной ирритации. Определенные общественные стрессоры изучались подробнее, также распространилось мнение, что стресс как массовый феномен — это типичное порождение модернизации (см. примеч. 160). Обнаружилось, что у жертв стресса, как прежде у неврастеников, и возникновение болезни, и ее лечение существенно зависят от внутреннего настроя. После Второй мировой войны атмосфера исследований стресса постепенно смягчилась, и в конце концов они обрели такую же сентиментальность, с какой когда-то разбирались жалобы невротиков. Пережил стресс и процесс «демократизации» — если в 1950-е годы в ФРГ он воспринимался как «болезнь менеджеров», то в 70-е в поле зрения попали и рабочие, и даже школьники.

Примечательно, что в то время как в 1880-е годы американское понятие «неврастения» было мгновенно воспринято немцами, американское понятие стресса приживалось в немецком быту несколько десятилетий. Первый толчок произошел приблизительно в 1957 году, когда вследствие угольного кризиса, шока от запуска первого спутника, учреждения Ев-

ропейского экономического сообщества и завершения эпохи послевоенной реконструкции стало заметно общее обострение конкуренции. Нервные расстройства вновь стали казаться новой темой, не имевшей долгой литературной традиции. Расхожей монетой «стресс» стал только в 1970-е годы, зато произошло это настолько основательно, что внешние наблюдатели начали веселиться по поводу немецкого *Schtreß* (см. примеч. 161). Между тем состояние души среднего жителя ФРГ стало очень напоминать таковое у немца эпохи Вильгельма II, более того, во многих отношениях культура ФРГ обогнала вильгельмовскую — благодаря небывалому в истории росту потребления и туристических возможностей и замене великих и серьезных опасностей на диффузные и невнятные риски. Сегодняшний опыт стресса — напоминание о том, что неврастения эпохи до 1914 года не была чистым фантомом. И если общая картина старой неврастении и была обусловлена эпохой, то все же отдельные ее черты выходят за пределы конкретной исторической ситуации и указывают на антропологические глубины этого феномена. Поскольку развитие индустриальной цивилизации продолжается, то и проблема приспособления к ней не имеет единого решения.

БОРЬБА И СМЕХ: ИЛЛЮЗИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ НАД НЕРВОЗНОСТЬЮ

До 1914 года специальная литература по нервозности не признавала таких понятий, как «крепкие» и тем более «стальные нервы». Довоенные авторы, как правило, исходили из того, что радикального курса лечения против неврастении не существует и надеяться на решительные успехи нельзя. Если считать нервозность продуктом наследственных задатков и всей индустриальной цивилизации, то перспектив на тотальную победу над ней ждать трудно. Большинство авторов избегало предлагать неврастеникам в качестве идеала образ человека с сильными нервами — такой идеал, по логике тогдашней теории неврастении, был для невротика недостижим и только усилил бы у него комплекс неполноценности. Отто Бинсвангер в 1896 году признался, что «склонный к насилию брутальный силач в понимании Ницше» вызывает у него отвращение. Он когда-то сам лечил безумного философа и видел в учении о «сверхчеловеке» патологическую подоплеку (см. примеч. 162).

В неврологической клинике Бельвю проходил лечение один инженер, страдавший манией величия: он говорил, что «гнет сталь как нечего делать» и что «в области бедер стал Голиафом». Маниакальные фазы, когда неврастеники напрягали все свои силы, свидетельствуют не о преодолении расстройства, а скорее о приближении его следующего этапа. Идеал «сталь-

ных нервов» пришел не из медицины, а из идеала героя, жажды спортивных рекордов и рекламных потребностей лечебниц и производителей лекарств. Тот, кто полагал, что при проблемах с нервами главное — внушение и воля, верил в эффективность наиболее сильных и навязчивых образов. Эрнст Нейман в конце своего Евангелия от неврологии, составленного из пронумерованных заповедей и изречений, обещал: «И в одно чудесное утро [...] ты проснешься, исполненный сил, и потянешься с наслажденьем, [...] и воскликнешь: Я обрел счастье!» (См. примеч. 163.)

Марциновский, главный врач, а затем и владелец санатория-замка Тегель под Берлином, неоднократно издавал брошюру «В борьбе за здоровые нервы», которая не в последнюю очередь служила рекламой его заведения и в качестве награды за борьбу обещала победу. Даже если путь к выздоровлению, как горная тропа, пролегал по краю головокружительных пропастей, то «у цели ждут здоровье и покой». В предисловии от издания к изданию усиливается боевой дух: «В сотнях битв у меня выковались навыки борьбы за здоровые нервы». Автор пытается убедить, «что для уничтожения нервозности нашей эпохи пригодно одно: сильное поколение». Его конкретные советы действуют на нервы уже своей противоречивостью: автор ратует то за отсутствие желаний и расслабление, то за «железное самовоспитание» и «вперед через все преграды!» (См. примеч. 164.) К «борьбе» «за здоровые нервы и бóльшую работоспособность» также призывал в 1913 году цюрихский автор Отто Шер. Заголовки его более поздних брошюр демонстрируют рост терапевтического оптимизма: «Прочь от нервозности» (1914), «Почему до сих пор нервный?» (1916) и, наконец, «Закаливание нервов краткосрочным методом» (1932). Уже в 1913 году он требовал: «Долой паразитов нашей жизненной энергии!» Однако сами методы его не были ни воинственными, ни болезненными: к примеру, он рекомендовал танцы как «идеальное средство омоложения» и радость «как оружие в жизненной борьбе». Особенно он ратовал за целительную силу смеха (см. примеч. 165). До 1914 года с «борьбой» и «оружием» еще ассоциировались приятные вещи.

Вера в окончательную победу над нервозностью курсировала в кругах народной медицины с ее идеями регенерации. Разделяли эту уверенность также участники и сторонники реформы жизни и социалисты. Американец Эдвард Беллами в своем утопическом романе «Взгляд назад» (1888) переносит невротика 1880-х годов в социалистическое государство 2000 года, и там, в этом новом для себя мире он обретает неведомый ему прежде душевный покой. Бебель также ожидал, что социализм победит нервозность. Бертольт Брехт в 1927 году с воодушевлением прочел стихотворение из газеты для велосипедистов, в котором

воспевались американские гонщики: «Словно в нервы их, как в провода, без меры / мощным током льются вольты и амперы». А заодно высказал свое отвращение «рафинированному мечтателю» из образованной буржуазии (см. примеч. 166). Многие социалисты видели в типичных неврастениках порождение буржуазного декадентства.

Отчасти уверенность в том, что все нервные слабости можно преодолеть за счет силы и активности, была чертой определенного поколения — тех людей, чей характер и мировоззрение формировались главным образом незадолго до войны. Врач Кэте Франкенталь, родившаяся в 1889 году и вынужденная эмигрировать как еврейка и социалистка, пишет в воспоминаниях, что когда она была ребенком, ее «считали нервной и полагали, что ей нужен покой». «Я часто этим злоупотребляла, чтобы тиранить окружающих и избавиться от скучных обязанностей». Как только она обосновалась в Берлине и стала жить так, как ей нравилось, она стала смеяться над советами больше спать и вести более здоровую жизнь. Вместо этого она училась «боксу, фехтованию и джиу-джитсу». «Я сияла неизбывным здоровьем и свежестью. [...] С того времени мне никогда больше не понадобился ни один врач и я не потеряла ни минуты на мысли о здоровье. Вместо взбудораженных нервов я теперь демонстрировала неисчерпаемую силу, и этот образ очень помог мне в жизни». Такое ощущение собственной силы даже трудно вообразить у женщины того поколения. С иронией она рассказывает об одном друге юности, который «запутался в сотнях теорий» и в итоге превратился «в абсолютного неврастеника». Немецкая медсестра в бывшей колонии Цзяо-Чжоу в 1933 году считала, что справиться со своей мучительной нервозностью сможет только активностью: «От этой внутренней нервозности я просто не смогу избавиться, сидя дома». Она хотела учредить поликлинику под собственным руководством. Ей это не удалось, и тогда она ушла к национал-социалистам (см. примеч. 167).

Об уверенности в окончательной победе над нервозностью заявляли даже немецко-еврейские неврологи, причем в то время, когда у евреев в Германии были все основания для самой серьезной тревоги. Особо экстремальный случай представляет собой справочник для «нервных натур», составленный доктором Паулем Коном и посвященный доктору Йозефу Лёвенштайну. Он был опубликован в 1931 году в издательстве Дрезденского музея гигиены. Масштабы и цели задает человек, «заряженный силой»: «его походка непринужденна и уверенна, на душе легко, и он насвистывает песенку. Он доволен собой, обладает здоровой бодрой уверенностью здорового свежего тела. [...] Все ему легко; для него нет трудностей, нет помех». «Здоровый, душевно сильный человек в душе

всегда молод. Его вечно молодым силам жизнь предстает бесконечной, необозримой, как далекий морской простор, каждое новое утро для него как новое обещание». Образ юного Зигфрида, какой в специальной литературе вильгельмовской эпохи не найти, — трудно поверить, что это мечта еврейского невролога в Германии 1931 года. «Пробудить в невротике героя, о котором он сам еще не подозревает», — вот главная задача лечения. На свете живут «короли нервов и попрошайки нервов»; «господа нервов» на первый взгляд воспринимают себя «точно так же как рабы нервов». «Человеку с крепкими нервами достаточно только прийти в этот мир, и все уже готово, но тому, кто рожден со слабыми нервами, зачастую не поможет весь мучительный труд всей его жизни». Терапевтический сверхоптимизм и презрение к невротикам часто идут рука об руку (см. примеч. 168).

Национал-социализм довел до предела гротескную смесь страха и страсти. С одной стороны, страх перед кошмаром расового вырождения и победой недочеловеков, с другой — воодушевление и брутальная алчность на фоне предвкушения близкого счастья.

При всем том идеология и стиль действий национал-социализма были отмечены ярко выраженным психологическим расчетом, в своих существенных пунктах он действительно опирался на новейшие достижения психологии. Центральным для его менталитета было убеждение во всесилии воли. Создается впечатление, что для многих молодых и активных сторонников национал-социализма эта вера была еще более фундаментальна, чем идеологические догмы. Основной аксиомой было: большинство людей сами по себе слишком слабы, и для полного развертывания сил им требуется коллективная воля народа, а она мобилизуется через силу внушения со стороны вождей с сильной волей. Отсутствие единства, раскол сил, размытость целей, нерешительность дискуссий — вот самые скверные несчастья, сила возникает из «одновременного подключения всех и вся к общей идеологии» и фанатической фиксации на единой цели. Волшебным словом становится «движение». В политике все зависит от того, чтобы за счет собственной динамики задавать собственный темп, а не быть пассивным объектом чужого темпа. В современных условиях это возможно не за счет спокойствия, но исключительно за счет собственной активности, будь то мир или война. Национал-социализм в целом ни в коей мере не был Евангелием для неврастеников. Напротив, с точки зрения национал-социалистов, неврастения могла послужить признаком неполноценности и безнадежной дегенерации. Однако национал-социализм посылал сигнал спасения тем невротикам, которые определенным образом понимали свою слабость и

страдали от нее. Тот, для кого свобода личности с ее ответственностью и необходимостью принимать решения была мучительна, в тоталитарном государстве мог надеяться на помощь. Тому, кто страдал от подавляемой агрессивности, национал-социалистический режим открывал пути для ее реализации. Тот, кого терзал страх разрушить собственные нервы онанизмом, прерванным половым актом или сифилисом, мог освободиться от него в государстве, сделавшем ставку на неограниченную рождаемость и обещавшем искоренить сифилис, уничтожив евреев. Литература до 1914 года редко проводила строгую черту между наследственно обусловленной неврастенией и неврастенией, вызванной жизненными обстоятельствами, во многих конкретных случаях это вообще было невозможно. Политика национал-социалистов, напротив, постулировала наличие такой границы и тем самым одну часть невротиков повергала в пропасть безнадежности, а другой — сулила освобождение.

Примечательно, что библия нацистов, гитлеровская «Моя борьба», вместо теоретического здания содержит, прежде всего, его биографию. Описание служит хрестоматийным примером того, как человек, пройдя джунгли большого города и войну, превращается из космополита в фанатичного националиста, а из маменькиного сынка в человека железной воли. Что-то из этого было стилизацией, однако то, что война в какой-то степени его укрепила, было правдой. Еще в феврале 1914 года он был из-за слабости признан «неспособным применять оружие» и непригодным даже для вспомогательных служб. Вплоть до войны он оставался аутсайдером и чудаком, лишь на фронте он впервые обрел товарищей, и после этого в нем проявились способности народного оратора. Поклонники Гитлера восторгались магнетической «силой воли», исходившей от «фюрера». В кругах его противников очень рано появились разговоры о его психопатии: Гитлера считали истериком, мегаломаном или же болтливым, не способным на серьезные действия неврастеником типа Вильгельма II. В молодые годы, после смерти матери, когда, как писал Гитлер, «его новой матерью стала фрау тревога», он, видимо, отчасти ощущал себя неврастеником: его переполняли диффузные идеи, но не было сил к действиям и не было успеха ни в профессии, ни у женщин. Однако будучи «фюрером», он мог жить в представлении о том, что полностью победил свою неврастению. Когда весной 1933 года Макс Планк заступался перед Гитлером за ученых еврейского происхождения, Гитлер произнес ему долгую отповедь и закончил ее, по сообщению Планка, следующим: «Говорят, я иногда страдаю слабостью нервов. Это клевета. У меня нервы как сталь». Достоверность этого эпизода, который Планк опубликовал в 1947 году, в возрасте 89 лет, сегодня во многих деталях оспаривается,

однако эти заключительные слова вряд ли выдуманы. Они показывают, как важно было для Гитлера отвести от себя любые подозрения в неврастении, и как именно антисемитские мероприятия, сделавшие его мишенью критики мировой либеральной общественности, служили ему средством продемонстрировать крепость собственных нервов — похожим образом антисемитизм был когда-то признаком мужества для Гардена. Когда Геринг весной 1933 года заявил, что «наши нервы выдержат», это означало, что террор против евреев и социалистов будет продолжен. Для Гиммлера главной проблемой при осуществлении Холокоста была проблема нервов: в своей пресловутой речи в городе Познань 4 октября 1943 года он дал понять, что в его глазах даже для члена СС «нервы» служат приемлемой причиной не участвовать в убийствах евреев (см. примеч. 169).

Слово «нервы» не было типичной частью нацистского жаргона, гораздо чаще в нем звучало слово «кровь». Но хотя нервозность в их образе человека не играла существенной роли, опасности, исходящие от нервов, были им знакомы. Большую популярность, сходную с кайзеровским воззванием 1910 года о «крепких нервах», приобрело поручение Гитлера Роберту Лею, руководителю Германского трудового фронта, учредить организацию по проведению досуга «Сила через радость»: «Позаботьтесь о том, чтобы у немецкого народа были здоровые нервы. Я желаю этого, так как хочу видеть немецкий народ сильным и с крепкими нервами — потому что только с таким народом, у которого не сдают нервы, можно вершить по-настоящему великую политику!» Это была та же старая популярная теория, которая ассоциировала здоровье нервов с отпускными путешествиями. Говорилось это недаром: гитлеровский внешнеполитический расчет мог осуществиться только в том случае, если Германия казалась бы настроенной на войну и устрашала этим другие страны. Геббельс в своем дневнике гордо назвал Мюнхенское соглашение сентября 1938 года «победой нервов», что напоминает и о том, что нацистское руководство также находилось на грани нервного срыва. Лей в 1936 году в доме отдыха под Леверкузеном в одном выступлении признался: «Двенадцать лет борьбы, нервы наши должны были бы полностью сдать, а их состояние улучшалось с каждым днем. Раньше я был таким нервным. Боже мой [...], я был вконец задерганным невротиком, это было ужасно, а сегодня я совершенно спокоен, меня больше вообще ничего не волнует. Если мне скажут, что небо рушится, ну и пусть себе рушится, за ним наверняка откроется еще немало небес, не менее прекрасных». Он ссылается на теорию, что вера способна создавать энергию из ничего. Идея национал-социализма «поставляет все новую энергию,

и чем больше энергии мы потребляем, тем больше энергии дает нам эта идея» (см. примеч. 170).

Но многие другие, не обладавшие руководящими привилегиями, не могли за счет силы воли бесконечно увеличивать трудоспособность. Фаренкампф, кардиолог с еще довоенным профессиональным опытом, по прошествии семи лет нацизма и признавая себя его сторонником, бурно жаловался на то, что с 1933 года практически никто не отваживается заявить о своем «кардионеврозе». Стало неблагоразумно упоминать в документах расстройство, которое может считаться признаком неполноценности и «симулянтства».

«Молодые напористые врачи» уже одной своей манерой пугают пациентов. При этом Фаренкампф подчеркивал, что кардионевrозы, т.е. функциональные нарушения сердечной деятельности без видимых органических нарушений сердца, очень часто являются вовсе не игрой воображения, а первым признаком серьезного сердечного заболевания. Но, к сожалению, люди, которым грозила сердечная болезнь, должны были выслушивать «от одного врача за другим», «что если они не могут усилием воли побороть свои невротические жалобы, то они всего лишь бесполезные члены общества». Теория воспитания воли оставила явный след в головах врачей поколения Первой мировой войны. Фаренкампфа возмущало, с каким легкомыслием и как «бесконечно часто» от больного отмахивались привычным «всего лишь невроз», в то время как эти люди были нацелены на полноценный труд, но страдали от невротических расстройств — просматривается современный типаж жертвы стресса. В результате этого с 1933 года наблюдался драматический рост тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний вследствие перегрузок (см. примеч. 171).

Если Первая мировая война переросла в войну нервов неумышленно, то Вторую мировую Гитлер развязал именно как «войну нервов». Французский историк Марк Блох исходя из собственного опыта говорил, что немецкие воздушные атаки совершались «с глубоким знанием нервной системы и средств ее поражения». Он описывает немцев 1940 года как народ, виртуозно усвоивший темп новой индустриальной эпохи, в отличие от застывших в прежней медлительности французов. Господство благодаря скорости и нервам: какое-то время Гитлер воплощал эту вильгельмовскую мечту. «Войной нервов» для Гитлера была, прежде всего, война с воздуха. Прошло не так много времени, и то же самое стал использовать и противник: «бомбардировщик Харрис», начальник британских военно-воздушных сил, оправдывал ковровые бомбардировки немецких городов необходимостью «ослабления психики и истощения нервов» немцев (см. примеч. 172).

После 1945 года мысль, что именно немцы назначены судьбой для окончательной победы над нервозностью, стала далека как никогда. Аденауэр считал немцев, как пишет один из биографов, «больным народом» с тревожной «склонностью принимать желаемое за действительное, склонностью к дурману». Седовласый канцлер казался человеком «вообще без нервов». Но в 1951 году он писал своему терапевту: «Вы знаете, что из всего моего организма неприятности мне доставляют прежде всего нервы». Совершенно в стиле вильгельмовской эпохи Аденауэр считал, что индустриальную эпоху характеризует нарастающий «износ нервов» и что каждый 12-й американец вследствие высокого темпа труда страдает психическим расстройством (см. примеч. 173). Аденауэр, конечно, не был неврастеником; но вся его внешняя политика была воплощением ужаса перед «политической неврастенией» Вильгельма: непостоянной и ненадежной политикой зигзагов и колебаний. Был у него, вероятно, и другой способ преодоления прошлого — признание собственных страхов. Сегодня мы знаем, что Аденауэр боялся атомной войны не меньше, чем члены антиядерных движений, и что в ядерной стратегии США он участвовал вопреки внутреннему сопротивлению. Нельзя исключать, что его проблемы с нервами, чего он не стыдился, вносили лепту в гарантию мира.

Недаром в англо-американский язык вошел германизм *Angst* — диффузный, не имеющий конкретного объекта страх в новейшее время считается характерной чертой немцев. Эта черта была усилена мировыми войнами, однако по сути своей была продолжением старой ментальной традиции «нервного века». Хотя Вторая мировая война, в отличие от Первой, не породила такой массы жертв «военной дрожи», но и не оставила за собой эйфорию воли: злоупотребления нацистов в отношении силы воли были слишком велики, а последовавший затем крах — слишком страшным (см. примеч. 174). Но если после 1945 года немцы уже не имели иллюзий по поводу собственных слабостей, то это не помешало им проявить гораздо большую экономическую энергию, чем до 1918 года.

С исчезновением военного и послевоенного менталитета состояние души западных немцев стало возвращаться к тому, каким оно было до 1914 года. Целый ряд процессов, которые впервые наметились на рубеже веков, в том числе под воздействием дискурса нервов, за послевоенные десятилетия стали достоянием немецкой культуры. Отпуск как противовес к относительно строгой трудовой дисциплине стал более продолжительным, чем в большинстве других индустриальных стран. Страховки стали распространяться на курортное лечение, и вследствие этого в немецкоязычном пространстве курортное дело расцвело более пышным

цветом, чем где бы то ни было в мире. Хотя национал-социалисты преследовали психоанализ, но через полвека после окончания войны в ФРГ число коек для стационарной психотерапии стало больше, чем во всем остальном мире вместе взятом (см. примеч. 175). Невиданный размах приобрело в Германии движение в защиту окружающей среды. Оно сопровождается настоящим бумом натуропатии и во многих отношениях, включая склонность к ипохондрии, выглядит наследником движения гигиенистов «нервного века». «Экологическое сознание» по своей сути очень близко к сознанию здорового образа жизни, природу ценят прежде всего ради сохранения здоровья.

Страсть к путешествиям, неуемная уже при Вильгельме, в современной Германии приняла уникальный в истории размах. Многим немцам путешествия кажутся главным смыслом жизни. С 1970-х годов возрастает популярность восточных практик медитации и вообще тоска по экзотическому спокойствию. Культ покоя, который отличает немецкие купальные курорты от иностранных, распространился и на многие места отдыха в горах. Жизнь в окружении живой природы стала массовым трендом, хотя и оплаченным массовой моторизацией; сохраняется отвращение против ракового роста городов в масштабах американских мегаполисов. Немецкая школьная система в послевоенные десятилетия развивалась в постоянном страхе перед перегрузками. *Last not least:* ФРГ, все еще не забывшая травму страшного опыта инфляции, обладает ярко выраженной преференцией к стабильности валюты, что элиминирует один из главных стрессовых факторов XX века.

Нет сомнений, по следам «нервозной эпохи» можно проникнуть в суть немецкой идентичности сегодняшнего дня, даже если не каждый немец захочет ее признать, а над немецкими страхами предпочитают больше смеяться, чем рассуждать серьезно. Под впечатлением от берлинской речи президента Романа Херцога[43] снова стало модным понимать немецкий *Angst* как политическую болезнь. Но может быть, прав историк Кристиан Майер, напоминая о том, что известная тревожность немецкой истории имеет «основания»? (См. примеч. 176.) Не «нервозность» приводила немцев к катастрофам, но ее патологизация и насильственное преодоление.

[43] Херцог Роман (род. 1934) — президент ФРГ с 1994 по 1999 год. В 1997 году заложил традицию ежегодного публичного выступления действующего президента. Упоминаемая здесь речь называлась «Прорыв в XXI век» — в ней Херцог, призывая страну стремиться к новизне и «совершить рывок», упрекал немцев в том, что они скованы собственными страхами и неврозами и не верят в свои силы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Я очень рад, что эта книга, которая стоила мне многих душевных сил и подарила множество удивительных встреч, будет доступна русскому читателю, и сердечно благодарю Наталию Штильмарк за перевод обеих моих книг[1].

Работа над «Эпохой нервозности» была захватывающим интеллектуальным приключением. Я и сам с юности считался человеком нервным, и если «неврастения», т.е. «нервная слабость», в Германии, как и в США, примерно с 1880 года считалась болезнью эпохи, то у меня всегда было ощущение, что речь идет не только о моде, что за модным словом сокрыт опыт подлинного страдания — и не только страдания, но и желания, и страсти.

В отличие от тех авторов, что опирались только на медицинскую литературу, я задался честолюбивой целью открыть для себя аутентичный опыт и обратиться к историям болезней того времени. Порой мне приходилось использовать детективное чутье, ведь в государственных архивах таких документов не найти. Первый успех пришел ко мне в начале 1990 года, когда после падения Берлинской стены мне удалось добраться до документов знаменитой клиники Шарите в Восточном Берлине, пылившихся в отапливаемом подвале. После этого, окрыленный успехом, я разыскивал все новые и новые документы. Старые истории болезней представляют собой куда более аутентичные документы, чем сегодняшние, — опрашивая пациентов, неврологи тогда не прибегали к определенным схемам, а просто давали человеку высказаться (надо сказать, что неврастеники — народ разговорчивый!) и старательно записывали все сказанное.

Из результатов моих работ я хотел бы выделить в первую очередь три пункта: 1) без сомнения, зачастую за жалобами на «нервную слабость», «неврастению» стоял подлинный опыт страдания. Далеко не все жалобы — всего лишь причитания и нытье, за счет которых люди привлекают к себе внимание и оправдывают пребывание на курортах. Понимаемая сначала как болезнь высших классов общества, впоследствии неврастения была массово обнаружена среди рабочих; 2) в неврастении отразился нарастающий стресс индустриального мира под гнетом уси-

[1] См.: *Радкау Й.* Природа и власть. Всемирная история окружающей среды / пер. с нем. Н. Штильмарк. М.: Изд. дом ВШЭ, 2014.

ливающейся конкуренции, к которому во множестве случаев примешивались сексуальные разочарования: Зигмунд Фрейд был не одинок в своих открытиях. К страданию от стресса примешивалась жажда страсти; 3) «Нервозность» эпохи обладала также творческим потенциалом. Работая над книгой, я совершенно по-новому открыл для себя Макса Вебера, переписка которого буквально кишит жалобами на нервы. Впоследствии я написал биографию Макса Вебера: творческое наследие великого ученого предстает в новом свете, если знать, какой тяжелый и болезненный опыт за ним стоит.

И еще одно очень важно: я обнаружил, насколько фатальна была нервозность, царившая в обществе до 1914 года, какие последствия она имела в политической жизни. Именно в последнее предвоенное десятилетие среди политиков широко распространились упреки в «слабых нервах». Не обошли они и кайзера Вильгельма II — множество людей видели в нем самого высокопоставленного неврастеника империи. Его решение развязать большую войну не в последнюю очередь объясняется желанием продемонстрировать крепость нервов, в бесконечных дискуссиях о начале Первой мировой войны это осталось почти незамеченным. В 2014 году, во время украинского кризиса, Немецкое информационное агентство попросило меня прокомментировать современную ситуацию в контексте истории нервозности. Я завершил мою статью замечанием, что Ангелу Меркель, в отличие от Вильгельма II, никто не подозревает в слабых нервах, так что ей, к счастью, нет никаких причин демонстрировать силу и крепкие нервы. Статья была напечатана во многих газетах, и я надеюсь, что это так и есть.

В январе 2000 года в Амстердаме, отчасти под воздействием моей книги (вышедшей в 1998 году), состоялась международная конференция[2]. Она также подтвердила тезис, что на рубеже XIX и XX веков лидерами по распространению неврастении были США и Германия. Однако время идет, и нервные расстройства давно уже не являются специализацией западного мира. Китайцы, считавшиеся когда-то людьми «вовсе без нервов», образцом незыблемого покоя, теперь в зеркале журнала «Шпигель» выглядят как «мировая держава на кушетке психотерапевта»: «Преследуемые перфекционизмом, раздираемые стремлением к успеху, китайцы отправляются к терапевтам. Они страдают от депрес-

[2] Рефераты можно увидеть в: *Gijswijt-Hofstra M., Porter R.* (Hrsg.). Cultures of Neurasthenia — From Beard to the First World War. Rodopi. Amsterdam; New York, 2001.

сий и тревожности»[3]. Сходные сообщения поступают из Японии и Южной Кореи. Как обстоят дела в сегодняшней России, судить не берусь.

На конференции в Амстердаме доклад о США делал Рой Портер, автор опубликованной в 1991 году книги об «американской нервозности»[4]. На ее обложке изображен президент Рузвельт с Джоном Мьюром — знаменитым борцом за сохранение дикой природы, во время совместного путешествия по парку Йосемити. Рузвельт также начал свою карьеру как неврастеник, а позже, став президентом, демонстрировал крепость нервов за счет империалистической политики и путешествий верхом по Дикому Западу. В то время в США, как и в Европе, сложился своеобразный треугольник, одной стороной которого стали всеобщие проблемы с нервами, второй — охрана природы, а третьей — массовая электрификация. Нью-Йоркский невролог Джордж М. Бирд, автор понятия «неврастения», был сотрудником Эдисона, пионера электротехники. Мне кажется, что история в каком-то смысле повторяется, и сегодня существует отчасти скрытая, отчасти открытая взаимосвязь между электронной революцией, новой волной жалоб на стресс (в Германии неврологи сегодня перегружены) и движением за охрану окружающей среды. Взгляд назад на наше нервозное прошлое может помочь нам лучше понять настоящее и, может быть, нашу собственную внутреннюю жизнь. В 1934 году Адольф Гитлер объявил, что в Германии нервозная эпоха закончилась; однако на самом деле это далеко не так. И сегодня для нас важно понимать, как нервозность проникает в политику, пронизывая ее насквозь и придавая ей особенный нервный стиль.

Йоахим Радкау
Билефельд, октябрь 2015

[3] Der Spiegel. 2010. Nr. 36. S. 116 ff.

[4] *Porter R.* American Nervousness. Ithaca; London: Cornell University Press, 1991.

СОКРАЩЕНИЯ

AfS — Archiv für Sozialgeschichte
AW — Ahrweiler, Archiv der Dr. v. Ehrenwallschen Klinik
BA — Bundesarchiv Koblenz
Charité — Psychiatrisch-Neurologische Klinik der Charité (Berlin)
CMP — Culture, Medicine and Psychiatry
DVOG — Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege
GG — Geschichte und Gesellschaft
GLA — Badisches Generallandesarchiv Karlsruhe
GWU — Geschichte in Wissenschaft und Unterricht
HStAD — Hauptstaatsarchiv Düsseldorf
HStAM — Hauptstaatsarchiv München
HStAW — Hauptstaatsarchiv Wiesbaden
JCH — Journal of Contemporary History
KBoN — Archiv der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik (Berlin)
LHK — Landeshauptarchiv Koblenz .
MedGG — Medizin, Gesellschaft und Geschichte
MPN — Monatsschrift fiir Psychiatrie und Neurologie
PJ — Preußische Jahrbücher
PNW — Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift
StAFfm — Stadtarchiv Frankfurt/Main, Nervenklinik
TG — Technikgeschichte
VSWG — Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
ZKD — Universitätsarchiv Tübingen, Zentrales Krankenblatt-Depot
ZNP — Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie
ZU — Die Zukunft

ПРИМЕЧАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ ГНЕТА СТРАДАНИЙ, ПОИСКА СМЫСЛА И ВОЙНЫ

1. *Nietzsche F.* Fröhliche Wissenschaft. Buch I, Stück 7 (Etwas für Arbeitsame); *Horkheimer H., Adorno Th.W.* Dialektik der Aufklärung, Exkurs II: Aufzeichnungen und Entwürfe: Interesse am Körper.
2. *Dierks M.* Heinrich Mann und die Psychologie // Heinrich Mann Jb. 1994. 12. S. 151, 142. *Basil O.* Georg Trakl. Reinbek, 1965. S. 104, 128.
3. Universitätsarchiv Leipzig. Nachlaß Möbius. Ms. 713. Bd. I. «Не менее 10 процентов пациентов-неврастеников Бирда составляли врачи» (см.: *Showalter E.*, Hystorien, S. 99).
4. *Hellpach W.* Wirken, Bd. I., S. 291 f., 295, 297 f., 413, 426; *Hellpach*-Beitrage, S. 4; GLA, 69 N, 281 (Freud, 20.11.1904).

I. МАГИСТРАЛИ И ПЕРЕКРЕСТКИ В ИСТОРИИ НЕРВОВ

1. *Tse L.* Tao Te King / J. Ulenbrook (Hrsg.). Frankfurt/M., 1980. S. 67; *Imhof A.E.* Die verlorenen Welten. München, 1984. S. 96; *Hilty*, Neurasthenie, S. 86 (сноска).
2. *Lombroso C.* Verbrechen und Wahnsinn im XXI. Jahrhundert // Bremer A. (Hrsg.). Die Welt in 100 Jahren. Berlin, 1910, ND Hildesheim, 1988, S. 53.
3. *Keller*, S. 30.
4. *Windscheid* (1909), S. 458; *Bürger-Prinz*, S. 190; *Hellpach*-Aufsätze, S. 348.
5. *Braudel F.* Sozialgeschichte des 15. — 18. Jh.s: Der Handel. München, 1986. S. 649.
6. LHK 441/13357. О Максе Вебере см.: Verein für Sozialpolitik, S. 191 f.
7. *Berliner J.,* 1966; цит. по: *Jones E.L.* Das Wunder Europa. Tübingen, 1991. S. XIX.
8. *Simmel*, S. 215 ff.
9. *Ruthing H.* Mittelalterliches Klosterleben im Paderborner und Corveyer Land. Paderborn, 1988. S. 19.
10. ZKD 441/1775; *Möbius P.* Neurologische Beitrage V, 1898. S. 97.
11. *His W.*, Medizin, S. 628; ZKD 441/2394.
12. *Landes*, S. 287 ff.; *Merle*, S. 171; *Musil*, Bd. I, S. 39.
13. *Hellpach*-Aufsätze, S. 347; *Blunck R.* Justus v. Liebig. Berlin, 1938. S. 68.
14. *Habrich C.* // Deutsches Medizinhistorisches Museum Ingolstadt. München, 1986. S. 36; AW, H. Oe. (1911); *Ziehen*, Neurasthenie, S. 557; *Bing,* S. 530 ff.; *Binswanger*, Pathologie, S. 236; *Oppenheim H.,* Lehrbuch II. S. 1787; *Fischer-Homberger E.* Zur Geschichte des Zusammenhangs zwischen Seele und Verdauung // Schweizer. med. Wochenschrift. 1973. Nr. 103. S. 1433–1441; *Ziegelroth*, S. 24 ff.; *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 109. Создается впечатление, что здесь, как и в сексе, возникал психосоматический порочный круг, игравший немалую роль во

множестве нервных кризисов: метеоризм и запоры приводят к судорожной нервозности, а она, в свою очередь, блокирует нормальное пищеварение!

15. *Mosse*, Tugendreich, S. 403; WHO, S. 368 ff.; *Roth, Kroll*, S. 43.
16. *Jaspers*, Psychopathologie, S. 613.
17. *Gockenjan*, S. 72; *Gravenkamp*, S. 70; *Dougherty*, S. 75; *Skultans*, S. 34; *Romberg*, S. 12.
18. *Murauer*, S. 55 ff.; *Rothschuh*, Spiritus, S. 2969 ff.; *Fraunberger F.* Illustrierte Geschichte der Elektrizität. Köln, 1985. S. 260 ff.; *Rousseau*, S. 221; *Dessoir*, S. 517; *Porter*, History, p. 71; Alltag im Kreis Solingen 1823: Dr. J. W. Spiritus und seine medizinische Topographie. Solingen, 1991. S. 228.
19. *Moll,* Weib, S. 59 f.; *Fontane*-Briefe. III. S. 556; *Ladendorf*, S. 123 f.
20. *Weber M.,* S. 246 f., 249.
21. *Börne*, S. 13; *Clarke, Jacyna*, S. 315; *Schleich*, Schaltwerk, S. 33.
22. *Tissot*, S. 17 f., 20 f., 22; *Carus*, S. 40, 51, 47; *Verity*, S. 27; *Honegger*, S. 126; D.A.F. Marquis de Sade, Justine (1797). Frankfurt/M, 1990. S. 385.
23. *Gutenberg*, S. 4.
24. *Kabisch C.* Hysterische Frauen und Mädchen // Der Naturarzt. 1905. Bd. 33. S. 35; *Zappert*, S. 51; *Weber M.*, S. 489.
25. *Busch W.* Sämtliche Werke I / von R. Hochhuth (Hrsg.). Gütersloh, o. J. S. 1012; *Bucher*, S. 21; *Nietzsche F.* Der Wille zur Macht. 229. Stück; *Haeckel*, S. 234.
26. *Berend*, Spreemann, S. 270; *Freud*, Vorlesungen, S. 375.
27. *Fontane*-Briefe III, S. 59; *Weber M.*, S. 252.
28. *Porter,* Manacles, S. 13; *Hesse*, Kindheit I, S. 264, 262, 313; AW, M. T. (24.3.1903); *Dubois*, S. 20; *Beyer*, S. 232.
29. *Weber M.,* S. 418; *Weber*-Briefe, S. 397; *Kraus*, S. 70.
30. *Shorter*, Paralysis, S. 213, 382; о предостережениях Кампе по поводу «страсти к чтению» см.: *Schön,* S. 49; Кампе увязывал возбудимую слабость нервов с «длительным сидением», «исключительно духовными занятиями» и — как следствие этого — сгущением всех соков тела (Ibid., S. 90 f.).
31. *Bernd,* S. 177, 17, 161 ff.; *Wagner-Egelhaaf M.,* Melancholischer Diskurs und literaler Selbstmord. Der Fall Adam Bernd // Signori G. (Hrsg.). Trauer, Verzweiflung und Anfechtung. Tübingen, 1994. S. 295.
32. Gnothi sauton V, S. 81, 87; *Foucault*, S. 288; *Schiller F.* Sämtliche Werke / von G. Fricke, H.G. Gopfert (Hrsg.), V S. 268 f.
33. Gnothi sauton I, S. 115 f.; *Dreßen W.* Die pädagogische Maschine. Frankfurt/M., 1982. S. 154 f. Об «уютности» как серьезной угрозе см.: *Kant I.* Der Streit der Facultäten (= Werke 6). Köln, 1995. S. 122: «Кровать — гнездо множества болезней».
34. *Brunschwig*, S. 9 f.
35. *Rousseau J.-J.* Diskurs über die Ungleichheit / von H. Meier (Hrsg.). 4. Aufl. Paderborn, 1997. S. 266 f.

36. *Hufeland*, S. 142 f., 130 f.; *Brunschwig,* S. 103; *Reuß F.A.* Versuch einer Einleitung in die allg. Pathologie der Nerven. Prag, 1788. S. 17; *Hufeland C.W.* Nöthige Erinnerung an die Bäder und ihre Wiedereinführung in Teutschland // Journal des Luxus und der Moden (Weimar). 1790. S. 378. О Франклине см.: *Engelsing*, S. 49 (сам Франклин, тем не менее, поддерживал шестичасовой рабочий день!).
37. *Bitz M.* Badewesen in Südwestdeutschland 1550 bis 1840. Idstein, 1989. S. 386; *Martius*, Entartung, S. 47; *Pisa K.* Schopenhauer. München, 1978. S. 340.
38. *Hufeland*, S. 399, 378; *Brauchle,* S. 38; *Gravenkamp,* S. 127.
39. *Zuckert,* S. 241 f.; о купальнях Пирмонта см.: *Kuhnert R. P.* Urbanität auf dem Lande. Badereisen nach Pyrmont im 18. Jh. Göttingen, 1984.
40. *Michler*, S. 203, 208; *Martin A.* Deutsches Badewesen in vergangenen Tagen. Jena, 1906. ND München, 1989. S. 279; *Marcard* II, S. 154, 165, 23, 144, 125 f., 20, 15 f., 19, 24, 124, 109 f., 115; *Sturz*, S. 7 ff., 195.
41. *Bothe R.* (Hrsg.). Kurstädte in Deutschland. Berlin, 1984. S. 302 ff.; *Kaspar F.* Brunnenkur und Sommerlust, Gesundbrunnen und Kleinbäder in Westfalen. Bielefeld, 1993. S. 42; *Brandis J.D.* Anleitung zum Gebrauche des Driburger Bades und Brunnens. Münster, 1792. S. 85; *Martin*, S. 378 ff.; *Michler*, S. 200, 194. Рихард Вагнер в автобиографии описывает, как около 1850 года он пытался бороться с волнением, вызванным его бегством, с помощью железистой воды, пока не понял, что ему грозила вовсе не «вялость нервов» (см.: *Wagner*, Leben, S. 430, 486, 510 f.); о Пауссе см.: *Brauchle*, S. 121.
42. Gnothi sauton V, S. 114 f. (сноска).
43. *Tsouyopoulos,* Krankheitsbegriff, S. 268; *Tsouyopoulos*, Röschlaub, S. 106 f.; *Schwanitz,* S. 66 u.a.; *Brunschwig*, S. 305; *Dessoir*, S. 510 ff.; *Leibbrand*, Romant. Medizin, S. 50 ff., 58 ff.; *Dessoir*, S. 122; *Leibbrand*, Spekul. Medizin, S. 81; *Neuburger M.* Die Wiener Schule im Vormärz. Wien, 1921. S. 21; *Allbutt*, S. 222. Новалис: «Браун — врач нашего времени. Господствующая конституция — хрупкая, астеничная». *Meyer R.M.* Das Alter einiger Schlagworte (darunter "nervös") // Neue Jahrbücher für das klass. Altertum, Geschichte und deutsche Litteratur, 1900. Bd. 3. S. 559.
44. *Srbik H.R. von.* Metternich I. München, 1957. S. 302 f., 337.
45. *Balet L., Gerhard E.* Die Verbürgerlichung der deutschen Kunst, Literatur und Musik im 18. Jh. Frankfurt/M., 1973. S. 307 f.; сходно об Англии см.: *Oppenheim J.*, S. 145; *Ladendorf*, S. 121; *Stilling*, S. 554.
46. *Honegger,* S. 149, 32; *Barth K.* Die protestantische Theologie im 19. Jh. Berlin, 1961. S. 464.
47. *Balet, Gerhard* (см. примеч. 45), S. 352; *Sachs C.* Handbuch der Musikinstrumentenkunde. Wiesbaden, 1976. S. 76 f.; *Kleßmann E.* E.T.A. Hoffmann. Stuttgart, 1988. S. 546; *Safranski R.* E.T.A. Hoffmann. Reinbek, 1992. S. 173, 176.
48. *Eissler* II, S. 1185 ff., 1146 ff.; I, S. 636.

49. *Treitschke*, Geschichte V, S. 209, 7, 14, 17; *Gerhardt M.* Friedr. V. Bodelschwingh. Bd. I. Bethel, 1950. S. 450; *Blasius,* Friedrich Wilhelm IV, S. 91, 128, 14; *Valentin V.* Geschichte der deutschen Revolution von 1848–1849. Bd. I. Köln, 1977. S. 34 f.
50. *Ladendorf*, S. 120; *Hufeland*, S. 110 f.; *Rohlje,* S. 118 f.; *Honegger*, S. 32; *Muchow H.H.* Jugend und Zeitgeist. Reinbek, 1962. S. 58; *Borne L.* Ges. Schriften, Bd. VI, Hamburg, 1862. S. 254.
51. Многие «классические» жалобы на скуку родом из эпохи Бидермейера (см.: *de Staël G.* Über Deutschland, Teil I. Kap. 2). Ср.: *Doehlemann*, bes. S. 99. *Glaser H., Werner T.* Die Post in ihrer Zeit. Fine Kulturgeschichte menschlicher Kommunikation. Heidelberg, 1990. S. 97; *Hufeland,* S. 143 f.
52. *Schmoller*, Einfluß, S. 415; *Glaser, Werner* (см. примеч. 51), S. 199; Das neue Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien. Bd. II. Leipzig, [6]1872. S. 352; *Börne*, S. 101; *Steitz W.* Die Entstehung der Köln-Mindener Eisenbahn. Köln, 1974. S. 59; *Treitschke*, Geschichte, Bd. IV, S. 379.
53. *Ramazzini,* Kapitel "Von den Krankheiten der Strumpfwirker"; *Karbe K.-H.* J. Chr. G. Ackermann — ein Wegbereiter der Arbeitsmedizin in Deutschland // Wiss. Zs. der Humboldt-Univ. Berlin, Math.-Naturwiss. Reihe. Bd. 17 (1968). Nr. 5. S. 761 ff.; *Radkau*, Technik in Deutschland, S. 85. Окружной врач из Золингена Спиритус, смеявшийся над модной «слабонервностью», регистрировал в своем округе «болезненное повышение раздражительности», считая это следствием голода 1816–1817 годов. В связи с этим он заметил, что люди в этом регионе нуждаются скорее в снимающих возбуждение, нежели возбуждающих средствах, и «строгий последователь Брауна вряд ли будет иметь в нашем округе успех». Золингенские точильщики, которые жили в «постоянной стальной атмосфере» и «целыми днями вдыхали мелкую железосодержащую пыль», на самом деле не нуждались в стимулирующих и «укрепляющих» стальных ваннах! (См.: Alltag im Kreis Solingen (см. примеч. 18), S. 207.)
54. *Smith A.* Der Wohlstand der Nationen. München, 1978. S. 71 (I Buch, 8. Kap.); *Schnabel F.* Deutsche Geschichte im 19. Jh., VI. Freiburg, 1965. S. 84 ff.; *Radkau*, Technik in Deutschland, S. 74 ff.
55. *Berend*, Zeit, S. 17.
56. *Treitschke*, Geschichte, Bd. V, S. 356, 508; *Treitschke*, Briefe, Bd. II, S. 84.
57. *Ostwald*, Geschichte, S. 182; *Blunck*, Liebig (см. примеч. 13), S. 74, 122, 221, 306; *Liebig J. von.* Chemische Briefe. Leipzig, 1865. S. 57; *Kloppe W.* Medizinhistorische Miniaturen. Mannheim, 1966. S. 27 ff.; *Roser W., Wunderlich C.A.* Über die Mängel der heutigen deutschen Medizin... (1842) // Rothschuh, Krankheit, S. 54, 64.
58. *Fischer-Homberger*, Hypochondrie, S. 81 ff.; *Dornblüth*, Psychoneurosen, S. 382; *Martius*, Entartung, S. 26 ff.; *Stilling*, *Romberg*, S. 559; *Langstein*, S. 4 ff.; *Mayer*, S. 135, 144 f.; *Reinbold*, S. 417, 423.

59. *Cramer*, Nervosität, S. 148; повторный интерес к Бирду начинается с работы: *Rosenberg Ch.E.,* 1962; в списке литературы см. также работы: *Sicherman*, *Drinka*, *Gosling*, *Gay* (Leidenschaft), *Wessely*, *Wilson*, *Stea*, *Macmillan*, *Fullinwider*, *Dejong*, *Davis*, *Chastel*, *Haller*, *Carlson*, *Bunker*. О «Барнуме» см.: *Rosenberg*, Place, S. 258. Об «индустриальной эпохе» см.: *Haller J.S.*, S. 2489, 2496. О Мамфорде см.: *Morison S.E., Commager H.St.* Das Werden der amerikanischen Republik. Bd. 2. Stuttgart, 1950. S. 138.
60. *Gay,* Leidenschaft, S. 343; *Beard*, Neurasthenia, S. 64.
61. *Sicherman*, Paradox, S. 902 f.; *Sicherman*, Uses S. 53 f.; *Abbott A.* The System of Professions. Chicago, 1988. P. 286; *Beard*, Stimulants, S. 40 f.
62. *Drinka*, S. 186, 191; *DeJong*, S. 49 f.; *Josephson M.* Thomas Alva Edison. München, 1969. S. 143, 147; *Beard*, American Nervousness, S. 98 f.
63. *DeJong*, S. 50; *Gay*, Leidenschaft, S. 342 f., 350, 336.
64. *Beard*, Sexuelle Neurasthenie, S. 29 ff.; *Beard*, Amer. Nervousness, S. 100 f. (сноска).
65. *Beard*, Neurasthenie, S. 98; *Shorter*, Paralysis, S. 221.
66. Ibid. S. XVIII; *Rosenberg*, Place, S. 251; *Beard*, Amer. Nervousness, S. 342, 120 ff., 125 f.; *Beard*, Neurasthenia, S. 6.
67. *Beard*, Amer. Nervousness, S. 57.
68. *Rosenberg*, Place, S. 252; *Davis*, S. 106; *Löwenfeld*, Sexualleben, S. 353; *Beard,* Neurasthenie, S. 7 f.
69. *Möbius*, Neurologische Beitrage, Bd. II, S. 62, 64; *Martius*, Entartung, S. 32 f.; *Playfair*, S. 58; *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 34; *Kraepelin*, Diagnose, S. 1641; *Dornblüth*, Psychoneurosen, S. 10; *Arndt*, Neurasthenie, S. 1; *Szondi*, S. 1. Слова Эриха Гартлебена см.: *Büchmann G.* Geflügelte Worte. München, 1959. S. 209. В более поздних изданиях Бюхмана это «крылатое слово» не встречается. Неврастеники предлагали и другие варианты: «Раньше говорили: не спеши, дружище, теперь — никогда не отдыхай. Верь старому присловью, не то к тебе пожалует неврастения» (“Der Alten Wort war: Freund, haste nie / Neu ist ein Wort: Nie raste, nie. / Glaub altem Wort, sonst hast du früh/den bosen Gast Neurasthenie!”) (см.: ZKD 441/1743). О Фрейде см.: *Rez. von Averbeck.* Die akute Neurasthenie // Wiener Medizinische Wochenschrift. 1887. Bd. 37. Nr. 5. S. 138.
70. *Chatel, Peele*, Concept, S. 38; *Schmiedebach H.-P.* Emanzipation und Wissenschaft, Leben und Werk des ersten jüdischen Dozenten an der Berliner medizin. Fak. Robert Remak (1815–1865), med. Habil. Schrift. Berlin, 1990. S. 90; *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 146 f.
71. *Rosenberg*, Place, S. 246; похвалы в адрес Мёбиуса см.: *Beard*, Study, S. 5 f.; *Leibbrand*, Spekulative Medizin, S. 297.
72. *Binswanger*, Pathologie, S. 4 f., 47; *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 34; *Arndt*, Neurasthenie, Bd. II, S. 285 f. (до того: «То, что не поддается дефиниции, мы воспринимаем как невроз»); *Arndt*, Neurasthenie, S. 15 ff.; *Bouchut,* S. 324, 336; *Müller F.C.*, Handbuch, S. 31.

73. *Arndt*, Neurasthenie, S. 5 f.; *Redslob E.* Die Welt vor hundert Jahren. Leipzig, [3]1940. S. 33; *Levillain*, S. 332; *Flaubert G.* Briefe / von H. Scheffel (Hrsg.). Zürich, 1977. S. 94, 105 f, 114 u.a. О Шарко см.: Предисловие к Левиллену. *Beard*, Study, S. 36 ff. (Бирд в 1881 году публично защищал Шарко).
74. *Hasse K.E.*, S. 2, 11 f., 14 f.
75. *Stein S.Th.*, S. 46 f.
76. *Schmoller G.* Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jh. (1870). ND Hildesheim, 1975. S. 692; *Boese F.* Geschichte des Vereins für Sozialpol., 1872–1932. Berlin, 1939. S. 9; *Schmoller*, Einfluß, S. 424.
77. *Saul S.B.* The Myth of the Great Depression, 1873–1896. London, 1969; *Rosenberg H.*, S. 56, 218; *Hirschfeld A.*, S. 7; *Hellpach*, Nervenleben, S. 45; *Hellpach*, Nervosität und Kultur, S. 133 f.; *Bismarck*-Gespräche, Bd. II, S. 314.
78. *Bismarck*, Gedanken und Erinnerungen, Bd. II, Kap. 15 und 16; *Stern F.* Gold und Eisen: Bismarck und sein Bankier Bleichröder. Frankfurt/M., 1978. S. 240 ff., 613 ff.; *Holstein*-Papiere, Bd. II, S. 21; *Holstein*-Briefe, S. 136. Пфланце в связи с «нервными кризисами» Бисмарка: «Больше всего его задевало усиление оппозиции в рядах его же сословия» (см.: *Holstein*-Briefe, S. 570). «Великий поворот» Бисмарка к консерваторам имел отношение к «нервам»! По прошествии времени иногда кажется, что он приписывал вину за разрушение своих нервов переживаниям и напряжению войны. Так, в 1872 году он говорил о своей постоянной бессоннице: «Я знаю, в этом виноваты мои нервы, я оставил их в Версале» (*Holstein*-Briefe, S. 565).
79. *Bamberger,* S. 142; *Friedjung H.* Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland 1859 bis 1866. Bd. II. Stuttgart, 1917. S. 347, 527; *Orloff*, S. 33; *Harden*, Köpfe, Bd. II, S. 34, 72; *Müller A.*, S. 3; *Bismarck*-Gespräche, Bd. II., S. 324 f.; *Ebstein E.* (Hrsg.). Ärzte-Memoiren aus 4 Jhh. Berlin, 1923. S. 377 ff.; *Espach A.* Beiträge zur Biographie Ernst Schweningers. München, 1979. S. 24; о Швенингере см.: *Martynkewicz*, S. 85–104, 117 ff.; *Pflanze O.* Bismarck and the Development of Germany. Vol. III. Princeton, 1990. P. 186 f.
80. *Lange-Eichbaum W., Kurth W.* Genie, Irrsinn und Ruhm. München, 1967. S. 332 ff.; *Müller A.*, S. 9, V, 101; *Ludwig E.* Genie und Charakter. Berlin, 1926. S. 49; *Fick A.* Haben Tiere eine Seele? // Ethik Jg. Bd. 8. 1931–1932. S. 84; *Friedell*, S. 77; *Kretschmer*, S. 150, 153.
81. *Oczeret*, S. 30 f.; *Friedjung*, Kampf, Bd. I, S. 7; *Whitman*, Erinnerungen, S. 149; *Liman*, S. 26.
82. *Dubois*, S. 155, 157; *Binswanger*, Pathologie, S. 19, 232; *Freud*, Kokain, S. 34 (Hirschmüller A.).
83. *Dornblüth*, Psychoneurosen, S. 449 ff., 453; *Dornblüth*, Nervosität, S. 227 f.; *Oppenheim H.*, Lehrbuch, Bd. II, S. 1765 f.
84. ZKD 441/2170; *Beradt*, *Wollenberg* // *Hoche*, Handbuch, S. 695 ff.; *Cramer*, Nervosität, S. 404 ff.; Крафт-Эбинг выказывает сочувствие одному неврастеничному доктору, который в 1883 году застрелил свою супругу и ее

подругу, поскольку те несправедливо обвинили его в том, что он соблазнил свою пациентку (см.: *Krafft-Ebing*, Lehrbuch, S. 262, 266 f.). А. Эйленбург в 1910 году описывает в качестве «новейшего подтипа» невротички «нервную гувернантку», пытающуюся отравить доверенных ей детей и своих господ (см.: *Eulenburg A.*, Berlinerin, S. 272).

85. *Adler*, S. 230 f.; *Loewenstein*, S. 10; *Steiner R.*, S. 10, 17, 20; *Szondi*, S. 14. *Baudis*, S. 5, 7.
86. *Bergmann*, S. 15 f.; *Hellpach*, Neurasthenie, S. 569. Колларитс также довольствуется обиходным понятием нервозности и считает слишком вычурным различие между нервозностью и неврастенией (*Kollarits*, S. 13).
87. *Möbius*, Behandlung, S. 16; *Binswanger*, Pathologie, S. 91; *Baumgarten*, S. 8.
88. *Heilig*, S. 371; *Strümpell*, Lehrbuch, S. 666; *Gaupp*, Nervosität, S. 634; *Bumke*, Lehrbuch, S. 399; *Cramer*, Nervosität, S. 59, 148, IV.
89. *Möbius*, Nervosität S. 96; *Binswanger*, S. 314, 371; *Krafft-Ebing*, Lehrbuch, S. 263; *Grotjahn*, Forderung, S. 92.
90. *Schwarz*, S. 84; *Steding*, S. 4.
91. *Foerster Fr.-Wilh.* Sexualethik und Sexualpädagogik (1907). Kempten, 1920, S. 61 f.; AW, L. Mü. (1915/16).
92. *Möbius*, Nervosität, S. 5, 8; *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 4 f., 37; *Binswanger,* S. 94; *Hirschkron*, S. 22; *Bresler*, Geisteskrankheiten, S. 53; *Dubois*, S. 154 f.
93. *Baumgarten*, S. 32 f., VI f.; *Martius*, Entartung, S. 22.
94. *Oppenheim H.*, Lehrbuch (1902), S. 968; *Müller F.C.*, Handbuch, S. 24; Charité 1554 (26.3.1902).
95. *Rheinstaedter*, S. 1; о Шарко см.: *Levillain*, S. 11; *Löwenfeld*, Pathologie, S. 94; *Löwenfeld*, Zeichen, *Winau R.* Der verbesserte Mensch // Nitschke A. u.a. (Hrsg.). Jahrhundertwende. Bd. I. Reinbek, 1990. S. 287 f.; *Naunyn*, Anschauungen, S. 1253, 1255; *Strümpell A.* Über die traumatischen Neurosen. Berlin, 1888. S. 14; *Strümpell*, Nervosität, S. 11.
96. *Ziegelroth*, S. 27. Бушу учил, что моча неврастеников не имеет запаха, Бирд, напротив, утверждал, что она издает неприятное, напоминающее козлиное, зловоние (см.: *Arndt*, Neurasthenie, Bd. II, S. 295); *Kothe*, S. 6.
97. ZKD 441/1909 (1902).
98. AW, A. N. (1899/1901).
99. *Rosenbach S.V.* Особенно оригинальную теорию о смысле нервозности предложил руководитель «курорта для нервных» во Фридрихсроде (Тюрингия). В эпоху модернизации периферическая нервная система страдает от недостатка возбудителей. «Нервозность за счет усиления эффективности кожных нервов открывает источник нервной силы. В большинстве случаев этой силы хватает как минимум на то, чтобы предотвратить нервную систему от полного разрушения». Нервозность на самом деле является «нашим другом» (см.: *Lots*, S. 40, 42).

100. *Beard*, Neurasthenia, S. 61; возражения см.: *Löwenfeld*, Pathologie, S. 269; *Baumgarten*, S. 33; *Müller F.C.*, Handbuch, S. 35 f.; *Drinka*, S. 221; Фонтане в 1880 году жалуется, что его жена вследствие «нервного истощения» внезапно постарела на 10 лет (см.: *Fontane*, Briefe, Bd. III, S. 113).
101. *Ziehen*, Neurasthenie, S. 576 f.; *Musil*, Bd. I, S. 227.

II. ВЗГЛЯД ВРАЧА И ОПЫТ ПАЦИЕНТА

1. *Risse, Warner*, S. 196, 204; общие сведения см.: *Radkau*, Zum historischen Quellenwert von Patientenakten.
2. Бельвю: за статистические данные я очень признателен Герхарду Фихтнеру (Тюбинген). Об Арвайлере см.: Heilanstalten, S. 520.
3. LHK 441/13355 u. 25566; *Wieczorek, Braunsdorf*, S. 146, 154.
4. *Forel*, Stellung, S. 284; *Binswanger*, Pathologie, S. 369; *Oppenheim H.*, Lehrbuch, Bd. I, S. 3; см., кроме того: *Cramer*, Nervosität, S. 397.
5. *Löwenfeld*, Pathologie, S. 99; *Bing*, S. 516; *Breuer, Freud*, S. 155.
6. AW, St. Sz. (1907).
7. *Binswanger*, Pathologie, S. 266; Charité 1407 (14.6.1902).
8. *Virchow R.* Morgagni und der anatomische Gedanke // Berliner Klinische Wochenschrift. 1894. Bd. 31. S. 349 f.; *Möbius*, Neurologische Beiträge, Bd. V; *Hocquel W.* Leipzig — Baumeister und Bauten. Leipzig, 1989. S. 31; *Löwenfeld*, Pathologie, S. 94 ff.; также: *Chatel, Peele*, Review, S. 1404 (Форель: неврастения как «горшок»).
9. *Schmitz H.H.* Reisen und andere Katastrophen / von B. Kehrein u.a. (Hrsg.). Zürich, 1988. S. 188–198 (“Im Sanatorium”); *Veraguth*, Neurasthenie, S. 10.
10. *Krabbe*, S. 83; *Lots*, S. 50; *Binswanger*, Pathologie, S. 415; *His*, Medizin, S. 627; *Baumgarten*, S. 183 f.
11. *Spree R.* Kurpfuscherei-Bekämpfung und ihre sozialen Funktionen // *Labisch, Spree*, S. 116; *Vogler P.* Zur Geschichte der Universitätsklinik für natürliche Heilweisen Charité Berlin // Charité-Jubiläumsheft, S. 476; *Müller J.*, S. 25; *Stulz*, S. 59 f.; *Oppenheim H.*, Lehrbuch (1902) S. 931; издание 1923, Bd. II, S. 1814.
12. *Jensen W.* Zum Antritt des neuen Jahrhunderts // Die Gegenwart. 1900. Bd. 1. S. 10; в 1904 году Гельпах уже задним числом говорит о недолговечной «эпохе физиологии и диеты», об этом см.: *Hellpach*, Grundlinien, S. 71; *Stollberg*, S. 289, 295; *Huerkamp*, Lebensreform, S. 160, 165; *Huerkamp*, Aufstieg, S. 273, 277, 253; *Regin*, Selbsthilfe, S. 270 ff., 474; *Regin*, Naturheilkundige, S. 188.
13. *Gorsboth T., Wagner B.* Die Unmöglichkeit der Therapie. Am Beispiel der Tuberkulose // Kursbuch. 1988. Bd. 94. S. 123–146; *Labisch*, Homo, S. 132 ff.; *Moll*, Elektrotherapie, S. 21; о «буре и натиске первых недель использования туберкулина в Берлине», своего рода фатальной душевной лихорадке см.: *Martius*, Kurz-Autobiographie, S. 19; *Rothschuh*, Naturheilbewegung, S. 101; *Hellpach*, Heilkraft, S. 85.

14. Предупреждение см.: Der Naturarzt, 1907, Bd. 35. S. 264; *Korb-Döbeln*, S. 176, 135 f.; о кампании медиков против «тайных снадобий» см.: *Wimmer W.* Die pharmazeutische Industrie als "ernsthafte" Industrie: Die Auseinandersetzung um die Laienwerbung im Kaiserreich // MedGG. 1992. Bd. 11. S. 77 ff.; *Ziegelroth*, S. 22.
15. *Binswanger*, Pathologie, S. 69; *Klencke H.* Der Nervenarzt und die Elektrizität im Dienste der Heilkunde. Dresden, 1888. S. 19; *Gaupp*, Nervosität (1907), S. 638.
16. *Forel*, Stellung, S. 281. Яростные атаки на теорию неврастении исходили в основном «от психиатров, причем большинство из них были очень темпераментны» (см.: *Veraguth*, Über Neurasthenie, S. 375).
17. *Beard*, Study, S. 11 f.; *Brumberg*, S. 87; *Gosling*, S. 17 ff.; *Blustein*, *Bynum*, S. 115; *Geller, Harris*, S. 155 f.
18. *Dörner*, S. 290; *Leonhard K.* Über die Geschichte der Nervenklinik der Charité // Charité-Jubiläumsheft, S. 493 f.; *Kraepelin*, Lebenserinnerungen, S. 32, 49, 132 f.; *Pantel*, S. 78 ff.
19. Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater. Berlin, 1936. S. 12; *Hellpach*, Wirken, Bd. I. S. 363 f.; *Hellpach*, Heilkraft, S. 24; *McKeown*, S. 17; об Эрбе см.: Dt. Zs. f. Nervenheilk., 1891, Bd. 1. S. 1.
20. *Blasius*, Wahnsinn, S. 129, 148; *Leibbrand*, Spekulative Medizin, S. 275, 286; *Porter*, Manacles, S. 187; *Ackerknecht*, S. 81; *Kraepelin*, Aufgaben, S. 47; *Pantel,* S. 81; *Fischer-Homberger*, Hypochondrie, S. 106.
21. *Shorter*, Paralysis, S. 201 ff. В отличие от Шортера, Фуллинвидер видит в учении о неврастении неврологическую догму, согласно которой «в нервной системе имеются высшие и низшие центры или функции, а неврастения — это истощение высших центров». Настолько разные парадигмы наблюдаются в неврологии того времени (об этом см.: *Fullinwider*, S. 2).
22. *Hoffmann-Richter U.* Freuds Seelenapparat. Bonn, 1994. S. 90; *Hearnshaw*, S. 117; *Goldscheider*, S. 4, 21; *Breidbach*, S. 217.
23. *Binswanger*, Pathologie, S. 23, 6; см. также: *Hilty*, Neurasthenie, S. 155; *Veraguth*, Kultur, S. 5; *Cramer*, Nervosität, Vorwort; *Cleaves*, S. 98; *Beard*, Neurasthenia, S. 84 (сноска).
24. *Pitzing R.* Das Leben und Werk von P.J. Möbius. Diplomarbeit. Leipzig, 1986. *Hellpach*, Grundlinien, S. 84; *Möbius*, Schwachsinn, S. 138; Freud im Gespräch, S. 142; однако сам Фрейд говорил, что резкая позиция Штекеля против Мёбиуса ему неприятна (см.: Freud im Gespräch, S. 146).
25. Возражения включены в переиздание 8-го издания 1905 года (Мюнхен, 1977). Антифеминизм а ля Мёбиус был и в кайзеровской Германии делом рискованным и вместе с тем намекал и на личные слабости автора. Это доказывают презрительные выпады Хирта, называвшего подобные труды проявлением «физиологического слабоумия мужчины» и «унылой злобы импотента»! (См.: *Hirth*, Wege zur Liebe, S. 194, 201, 221.)

26. *Rieger*, S. XV; Elektrotherapeut. Streitfragen; о последствиях и эффектах см.: *Smith K.E.* // Wohlmuth A.-G. (Hrsg.). Elektrogalvanische Heilkunde. Furtwangen, 1930. S. 420; *Möbius*, Schwachsinn, S. 17; *Möbius*, Neurolog. Beiträge, Bd. V, S. 130 ff., 127 ff.; *Kraepelin* // Irrenärzte, S. 279, 276; *Strümpell*, Leben, S. 141; *Hellpach*, Neurasthenie, S. 569.
27. Рецензию Эрба см.: Universitätsarchiv Leipzig, Akte Möbius; *Kraepelin* // Irrenärzte, S. 274–279; столь же высокую оценку см.: *Cramer*, Nervenheilstätten, S. 470; *Strümpell*, Leben S., 129; *Freud*, Selbstdarstellung, S. 48; *Fischer-Homberger*, Neurose, S. 115. Двойственное отношение Крепелина к Мёбиусу обнаруживается в переписке с Гельпахом (GLA, 69 N, 285). Гельпах хотел посвятить Крепелину свою «Истерию», однако тот энергично возразил и рекомендовал посвятить книгу Мёбиусу: «Ваша душа принадлежит ему; я, к сожалению, здесь ни при чем». Но и Мёбиусу не понравилось такое посвящение!
28. *Möbius*, Behandlung, S. 8, 25, 15.
29. *Erb*, Nervosität; *Strümpell*, Leben, S. 124; *Erb*, 40 Jahre, S. 327, 331.
30. *Drobner*, S. 80; *Thom A.*, S. 432 f., 345, *Strümpell*, Nervosität, S. 7; *Strümpell*, Lehrbuch, S. 660 ff.; *Strümpell*, Entstehung, S. 5.
31. *Deutsch*, S. 6 f.; *Dubois*, S. 96, 98.
32. *Gide, Valéry*, S. 469, 455; *His*, Medizin, S. 626, 630.
33. *Bergmann*, S. 16; *Baumgarten*, S. VIII f.; *His*, S. 628; *Dubois*, S. 96. Лахмунд и Штольберг, проанализировав множество автобиографий, приводят признаки «дилетантизации» пациентов, но с некоторыми ограничениями, особенно в сфере «нервов» (см.: *Lachmund, Stollberg*, S. 224).
34. *Hirschkorn*, S. 135; *Vomáčka*, S. 1 f.
35. *Pautner M.* Neurasthenie // Reformblätter. 1907. Bd. 10. S. 226; *Baumgarten*, S. 63 ff.; ZKD 441/1774; *Cohn P.*, S. 103.
36. AW, Ch. T. (1910).
37. ZKD 441/1775.
38. *Binswanger*, Pathologie, S. 150 ff.
39. *Rigler*, S. 18; Charité 404 (26.4.1909); StAFfm, NK, Büschel 385, J.A. St.
40. *Ewald*, Unnütze Geräusche // Antirüpel. 1910. Bd. 2. Nr. 1. S. 1.
41. *Cleaves*, S. 95, 208; HStAW 430/1, 4762.
42. StAFfm, NK Buschel 5, M. A. (1905/06).
43. StAFfm, Büschel 137, W. H.; Büschel 3, A. A.; (Schreber).
44. О купальнях: *Klencke*, S. 123; ZKD 441/721; *Baumgarten*, S. 226 f.
45. *Kraepelin*, Lebenserinnerungen, S. 46, 48; *Gerhardt M., Adam A.* Friedrich v. Bodelschwingh, Bd. II, Bielefeld, 1958. S. 318; *Freud*, Selbstdarstellung, S. 48, 156.
46. *Möbius*, Neurologische Beiträge, Bd. V, S. 94; *Bing*, S. 509 ff.; *Munthe*, S. 297; *Binswanger*, Pathologie, S. 92.

47. *Stulz*, S. 5, 7; ZKD 441/1717.
48. *Polykarpus Gastfenger* (= *Hoffmann H.*). Der Badeort Salzloch. Frankfurt/M., 1860. S. 105; *Binswanger*, Pathologie, S. 373, 371; *Eulenburg A.*, Nervosität und Reisen, S. 406, 426.
49. *Pelman*, Errichtung, S. 442 ff. В 1893–1894 годах Пельмана яростно критиковали за то, что он объявил опасным для общества американца немецкого происхождения Германа Фельдмана. Другие врачи считали Фельмана всего лишь «перегруженным» человеком, страдавшим от нервного истощения. Пельман поверил жене Фельдмана, которая по научению любовника пыталась получить доступ к состоянию мужа (об этом см.: Archivberatungsstelle Rheinland, Brauweiler, Psychiatrie, 7935). Видимо, это фиаско сыграло серьезную роль в отношении Пельмана к невротикам.
50. *Götze*, S. 47; в Бетеле знали, что даже при легких случаях эпилепсии не стоит собирать всех пациентов в одном доме. Это поняли после того, как отец семейства уже через несколько лет пережил тяжелый нервный срыв (об этом см.: *Siebold M.* Kurze Geschichte und Beschreibung der Anstalten Bethel.., Bielefeld, 1889. S. 8); *Hilty*, Neurasthenie, S. 93; AW, L.K. (1904).
51. *Hoche*, Jahresringe, S. 120; резкие возражения против учения об изоляции в специальных заведениях см.: *Levy*, S. 240 ff.
52. *Grotjahn*, Krankenhauswesen, S. 2; Перетти также заметил, что неврологов вряд ли воодушевит перспектива размещения в запущенных легочных заведениях (см.: *Peretti*, S. 277).
53. *Bebel*, S. 424 f.; Stenograph. Verh. des Reichstages, 12.12.1899 (= 120). Sitzung, S. 3325.
54. *Bülow*, Bd. I, S. 459; *Schär*, Kampf, S. 27; Illustr. Führer, S. 288; *Moll*, Weib, S. 213 ff.
55. *Lehr*, S. 1; *Müller F.C.*, Hydrotherapie, S. 351 f.
56. *Shorter*, Clinics, S. 159; *Just*, S. 37; *Langstein*, S. 41; *Jütte*, Geschichte, S. 30 ff., 126 f.
57. HStAW 405, 505.
58. *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 141, 68; подобно: *Schacht*, Randbem, S. 93 и *Marcinowski*, Kampf, S. 21; *Cramer*, Nervosität S. 165 f.*; Wechsberg J.* Eine fast vergessene Welt. München, 1980. S. 117 ff.; *Holstein*-Briefe, S. 83; *Lersch B.M.* Geschichte der Balneologie (1863). Leipzig, 1987. S. 206 ff.
59. *Schwarz*, S. 2 f.; *Benda*, Nervenheilanstalten, S. 7 f., l0 f., 12 f., 20; *Determann*, Volksheilstätten, S. 41; *Schwarz*, S. 3 f., *Möbius*, Behandlung, S. 16, 25, 30, 4; *Möbius*, Neurologische Beiträge, Bd. V, S. 93 f., 70 f.; *Möbius* // ZU. 1902, Bd. 39, S. 448; Universitätsarchiv Leipzig, Ms. 713 II; *Kraepelin* // Irrenärzte, S. 274; *Schwarz*, S. 93 (Grohmann).
60 *Möbius*, Neurologische Beiträge, Bd. V, S. 96; *Möbius*, Behandlung, S. 15 ff.; *Müller F.C.*, Hydrotherapie, S. 358; AW, F. Sch. (1908/09).
61. BA R 89/6904; LHK 403, 7439; *Bresler*, Volksnervenheilstätten, S. 4; *Schwarz*, S. 7; *Langer*, S. 43 f.

62. *Huerkamp*, Aufstieg, S. 275; *Eulenburg*, Nervenheilst., S. 27 ff.; *Eulenburg*, Nervosität und Reisen, S. 427.
63. *Bresler*, Volksnervenheilst., S. 4; *Determann*, Volksheilst., S. 20; *Laehr*, Nervosität; LHK 403, 7439.
64. *Bresler*, S. 10 f.; *Pelman*, Errichtung, S. 440; *Cramer*, Nervenheilst., S. 471 f.; *Cramer*, Nervosität, S. IV; *Cramer*, Prophylaxe, S. 39; *Mönkemöller* // Irrenärzte, S. 297.
65. *Gülick*, S. 294 f.; *Labisch, Tennstedt*, Bd. I, S. 28 ff.; LHK 403, 7439 und 7440; HStAD, Reg. Düss. 54106; *Bresler*, S. 11 f.; *Peretti*, S. 279; *Hallervorden*, S. 237; *Neumann M.*, S. 513; *Götze*, S. 28 f.; *Rumpe*, S. 23. Фотокопии из клиники — преемницы прежнего заведения (реабилитационная клиника для больных с сердечными заболеваниями); HStAD, Reg. Düss. 54106; *Determann,* S. 34; *Neumann M.*, S. 516; LHK 403, 7440.
66. *Beyer E.* Zum allg. Bauprogramm der Nervenheilstätten // PNW. Jg. 1904, S. 236 f.; *Beyer E.* Roderbirken bei Leichlingen, die erste rheinische Volksheilstätte für Nervenkranke // Centralblatt für allg. Gesundheitspflege, 1907. Nr. 26. S. 19; LHK 403, 8438; *Cramer*, Ursachen, S. 82; Archiv des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (Münster), D 7, Nr. 136; *Götze*, Vorwort; *Beelitz*, S. 3; Vorstandsbericht der LVA Rheinprovinz, 1913, S. 24, und 1914, S. 72 (Archivberatungsstelle Rheinland, Brauweiler).
67. BA R 89/13524; *Ehrenwall*, S. 25, 20; Volksmund Jg. 7, Nr. 89, 06.11.1912 (LHK 441/25568); LHK 441/13355. О лишении дееспособности ср.: *Heimpel.*
68. *Hubenstorf*, Krebsgang, S. 170 f.; *Hasebroek*, S. 10 f.; *Huret*, S. 217; *Vogler P.* // Charité-Jubiläumsheft, S. 475 ff.; *Fröhlich A.* (Hrsg.). Die Therapie an den Wiener Kliniken. Leipzig, 1930. S. 181; *Löwenfeld*, Sexualleben, S. 350 f.
69. Brause- oder Schwimmbad? // Veröffentlichungen der Dt. Gesellschaft für Volksbäder, 1904. Bd. 2. S. 592.
70. LHK 441/13357 (Bericht vom 25.10.1898) und 25566. В 1902 году лютеранская лечебница Таненхоф сообщила, что к ним хотела попасть «молодая девушка с тяжелой неврастенией», но уже на следующий день ее против воли забрала оттуда мать, мотивируя это тем, что «уж лучше знать, что она на кладбище, чем в лечебнице» (см.: Archivberatungsstelle Rheinland, Brauweiler, Psychiatrie, 4110).
71. *Auerbach*, S. 553; IV. Internat. Kongreß zur Fürsorge für Geisteskranke, Halle, 1911. S. 162; *Hallervorden*, S. 238; Heilanstalten, S. 522; однако из сноски понятно, что для автора неврологическая лечебница сохраняла тесную связь с заведением для душевнобольных: он рекомендовал ее в первую очередь как место пребывания и наблюдения для бывших пациентов, которые могут быть по-прежнему опасными для общества! — Неврологическая лечебница «Констанцер Хоф» под Констанцем делала себе имя на том, что «резко и решительно... строго и без уступок» проводила грань

между нервно- и душевнобольными (об этом см.: *Fischer G.* Heilanstalt für Nervenkranke im Konstanzer Hof. Konstanz, [3]1896. S. 8 f.; *Beyer*, S. 231 f.; *Grotjahn*, Krankenhauswesen, S. 204).

72. *Blasius*, Wahnsinn, S. 95, 143, 81; *Blasius*, Seelenstörung, S. 40; *Bennholdt-Thomsen, Guzzoni*, S. 165 ff.; *Möbius*, Nervenheilstätten // ZU. 1898. Bd. 24. S. 171. Отец Германа Гессе считал нервозность сына достаточным основанием для того, чтобы не оставлять его при себе, а направить в лечебницу; ср.: *Hesse*, Kindheit, Bd. I, S. 13, 90, 256, 395. «Не только то, что мы сейчас именуем неврастенией, но и то, что мы называем паранойей, безумием, сумасшествием, гораздо ближе любому из нас, чем принято думать, и каждый должен постоянно оберегать себя от этого» (об этом см.: *Hilty*, Neurasthenie, S. 7).
73. *Mantegazza,* S. 14–27, 13, 104 f. (имена взяты из итальянского оригинала); *Mantegazza*, Physiologie, S. V.
74. *Beard*, Nervousness, S. 185; *Moll*, Weib, S. 13, 31, 108.
75. *Mantegezza*, Jahrhundert, S. 89; *Horch*, S. 31; *Löwenfeld*, Pathologie, S. 49. Бильц, автор брошюры о «нервозности наших женщин и девушек», считал одной из причин женской неврастении то, что девушкам не позволено «как следует разгуляться» (см.: *Bilz*, Bd. III, S. 600).
76. *Eulenburg A.*, Nervosität unserer Zeit, S. 317; *Eulenburg A.*, Berlinerin, S. 272 ff.; *Moll*, Weib, S. 193; подобно: *Hirschkron*, S. 21.
77. *Micale*, Hysteria, 1989, S. 223 f.; однако, по его мнению, существующие истории истерии — скорее истории идей об истерии, а не самого расстройства.
78. *Romberg*, S. 551; *Fischer-Homberger*, Hypochondrie, S. 97–101.
79. *Nordau*, Bd. I, S. 59; *Shorter*, Rise, bes. S. 575; *Israel*, *Porter R.* The Body and the Mind, the Doctor and the Patient // Gilman S.L. u.a. Hysteria Beyond Freud. Berkeley, 1993. P. 286 ff.
80. *Beard*, Neurasthenia, S. 59; *Beard*, Nervousness, S. 73.
81. *Durkheim*, S. 59; *Munthe*, S. 202; *Möbius*, Nervosität, S. 76; *Binswanger*, Pathologie, S. 45.
82. *Dornblüth*, Psychoneurosen, S. 452; см. также: *Mosse, Tugendreich*, S. 161. Трёшер даже отмечает: «Основной контингент неврастеников — это женщины, по крайней мере в крупных городах» (см.: *Tröscher H.O.* Die Begutachtung der Arbeitsfähigkeit in der Krankenversicherung. München, 1930. S. 28). *Bleuler E.* Lehrbuch der Psychiatrie. Berlin, [4]1923. S. 436; *Renatus*, Zur Physiologie der Moral // ZU. 1903. Bd. 44. S. 390.
83. *Leubuscher*, S. 63; *Rheinstaedter*, S. 2; *Baumgarten*, S. 17; *Berend*, Zeit, S. 187. Фонтане в 1892 году пишет, что «добрые женщины» чувствуют «более нормально, хочется сказать, более здорово», чем мужчины. «На этом покоится большое влияние женщины, так что мужчины, в осознании своих несовершенств, покоряются им добровольно» (см.: *Fontane*, Briefe, Bd. IV,

S. 231). *May*, S. 4 ff.; *Birkefeld, Jung*, S. 56; о Бисмарке и его постоянных волнениях из-за императрицы Виктории: «Состояние вечной угрозы затрудняло его жизнь, действовало ему на нервы, здоровье его не выдержало, и он был вынужден уйти в отставку» (об этом см.: *Bamberger*, S. 390). *Liek*, Arzt, S. 53; *Möbius*, Weib, S. 77; *Weber W.* Arbeitssicherheit. Reinbek, 1988. S. 129 f.

84. *Binswanger*, Pathologie, S. 346; *Müller F.C.*, Handbuch, S. 66; *Schär*, Kampf, S. 20; *Kabisch C.* Hyster. Frauen und Mädchen // Der Naturarzt. 1905. Nr. 33. S. 35 f.; *Shorter*, Änderungen, S. 9 f.; *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 55; ср.: *Löwenfeld*, Pathologie, S. 68.
85. *Lutz*, S. 31 f.; подобно: *Showalter*, S. 100 f.; *Kollarits*, S. 133; *Cramer*, Nervosität, S. 157 f.
86. *Baumgarten*, S. 129 f., 36 f.; *Bülow*, Bd. I, S. 459.
87. *Cleaves*, S. 5; *Porter*, Social History, S. 118 f., 213 f.; *Morris*, S. 157 ff., 425.
88. AW, L. v. R. (1907/08); о массаже по методу Type Брандта см.: *Brauchle*, S. 200.
89. *Ackerknecht*, S. 82; *Löwenfeld*, Pathologie, S. 344 f.; *Rieger*, S. 63 f.; *Rheinstädter*, S. 3 (“furor uterinus”).
90. *Binswanger*, Pathologie, S. 69, 71, 73; подобно: *Löwenfeld*, Pathologie, S. 602 f., *Ziegelroth*, S. 3 f.; *Moll*, Weib, S. 225; *Dubois*, S. 97; *Schacht*, Randbem., S. 93; *Gebhardt*, S. 218 f.; *Aschaffenburg G.* Die psychasthenischen Zustände // Curschmann, S. 792 f.
91. *Beard*, Neurasthenia, S. 88 f.; *Ellenberger*, S. 154–160; *Möbius*, Neurologische Beitrage, Bd. II, S. 70. Фрейд требовал различать неврастению и истерию, однако скорее по теоретическим основаниям: при неврастении источник возбуждения соматический, при истерии — психический (см.: *Freud*, Hysterie, S. 48 f.).
92. *Pelman*, Nervosität, S. 132; *Möbius*, Neurologische Beitrage, Bd. I, S. 2, 4 f.; Bd. II, S. 70; *Hellpach*, Hysterie, S. 15; *Löwenfeld*, Pathologie, S. V.
93. *Binswanger*, Pathologie, S. 45, 346, 96 f.
94. *Ziegelroth,* S. 1 f.; *Oppenheim J.*, S. 144; *Binswanger*, S. 169; *Bumke*, Lehrbuch, S. 141; Теодор фон Фрерикс, руководитель клиники в Шарите, действительно диагностировал у Бисмарка истерию, сходную с женской! (См.: *Holstein*-Papiere, Bd. II, S. 24, 23.12.1882.)
95. *Link-Heer*, S. 377, 385 f., 388 f.; *Micale*, Hysteria (1991), S. 204, 226; *Löwenfeld*, S. 34 f.
96. ZKD 441/904 и 768; AW, J. Me. (1901).
97. *Beard*, Neurasthenia, S. 71; *Dubois*, S. 440; *Möbius*, Weib, S. 77; *Bumke*, Lehrbuch, S. 260; *Schleich*, Schaltwerk, S. 255.
98. *Schissler H.* Männerstudien in den USA // GG. 1992. Bd. 18. S. 210 f.; о традиционном бюджете времени у женщин см.: *Honegger*, S. 29 (образован-

ная буржуазия); *Miller H.* Die kleinbürgerliche Familie im 18. Jh. Berlin, 1969. S. 15 («Дорогая моя, ты же ничего не делаешь!»); *Sabean D.W.* Property, Production and Family in Neckarshausen, 1700–1870. Cambridge, 1990. P. 148 f., bes. P. 155, 178.

99. *Allbutt*, S. 217; об Оллбатте см.: *Oppenheim J.*, S. 40 f., 106, 109 u.a.
100. *Weber M.*, S. 249, 246 f., 624 f.; *Baumgarten E.* Max Weber — Werk und Person. Tübingen, 1964. S. 636 f.
101. *Wagner N.*, Typologie, S. 104; *Binswanger*, Pathologie, S. 92.
102. AW, C. Ni. (1902).
103. StAFfm, NK Büschel 4, F. A. (1911–1912).
104. ZKD 441/1466.
105. *Masson*, S. 51 ff., 64 f.; о «серьезном споре» по поводу *moral insanity* см.: *Birnbaum K.* Die psychopathischen Verbrecher. Berlin, 1914. S. 42.
106. AW, Ph. K. (1921/19–22).
107. *Brumberg*, S. 147; *Schar*, Kampf, S. 11; мнение Ашаффенбурга см.: *Curschmann*, S. 793; ZKD 441/2078.
108. *Châtelain*, Vorwort und S. 79 f.
109. ZKD 441/2394.
110. *Grotjahn*, Erlebtes, S. 13; ZKD 441/728.
111. ZKD 441/1569; *Glaser*, S. 147; *Hirth*, Wege, S. 439, 460, 566, 569, 574, 424 f.; *Bloch*, S. 93 (сноска); *Ostwald*, Lebenslinien, Bd. III, S. 209 f.
112. *Beard*, Sexuelle Neurasthenie, S. 25; *Ziehen*, Psychiatrie, 1. Aufl. 1894, S. 324; 4. Aufl. 1911, S. 585; ZKD 441/872; Elektrotherapeutische Streitfragen, S. 63; о Бенедикте см. в: *Ebstein E.* Ärzte-Memoiren aus 4 Jhh. Berlin, 1923. S. 357.
113. *Binswanger*, S. 58; *Oppenheim*, Lehrbuch (1902), S. 962 ff.; издание 1923, Bd. II, S. 1782 ff.
114. AW, E. He. (1896/98).
115. *Freud-Fliess*, S. 27; *Müller F.C.*, Handbuch, S. 180; см. также: *Schär*, Kampf, S. 18 f.
116. *Cramer*, Nervosität, S. 385; *Oppenheim*, Lehrbuch, Bd. II, S. 1784.
117. AW, B. Kr. (1915); *Freud-Fliess*, S. 28 f.; *Lütkehaus*, S. 245.
118. *Bölsche*, Bd. II, S. 181.
119. AW, Fr. J. (1902), K.J. (1896), W.M.M. (1903); ZKD 441/733; *Cramer*, Nervosität, S. 585; Charité 1853 (19.7.1907), 4802 (13.1.1909).
120. *Lütkehaus*, S. 242; *Schur*, S. 81.
121. *Binswanger*, S. 58 f.; *Fürbringer*, Onanie // Eulenburg A. (Hrsg.). Real-Encycl. der ges. Heilkunde. Bd. 14. Wien, ^{2}1888. S. 594, 597; *Oppenheim*, Lehrbuch, Bd. II, S. 1801 f.
122. *Krafft-Ebing*, Psychopathia, S. 227 f. Мантегацца, этот знаменитый эротоман, выказывает безграничный ужас перед онанией, этим «отвратительным чудовищем», особенно его пугает онания у детей: «похоть оставила

на ангельском лике первую морщину» (см.: *Mantegazza*, Hygiene der Liebe, S. 50 f.).

123. *Bloch,* S. 465; *Scholta A.* Die Herznervenschwäche // Der Naturarzt. 1905. Bd. 33. S. 93; *Pautner M.* Pollutionen // Reformblätter. 1907. Bd. 10. Nr. 10, S. 255, 254; «Нередко случается, что в школах, пансионах, католических интернатах, общественных заведениях все воспитанники поддаются дурному влиянию одного-единственного нарушителя. [...] Такая повсеместная подверженность дурному примеру, без сомнения, много способствует болезни нашего времени, онании» (см. в: *Bilz, Bd.* IV, S. 264). О хаосе сигналов см.: *Jarausch*, Students, S. 286, 294. В последней четверти XIX века стали раздаваться голоса «еретиков», сомневавшихся во вреде онании, среди них было и такое немаловажное лицо, как лейб-медик королевы Виктории, сэр Джеймс Педжет (см.: *Stengers, Van Neck*, S. 135 ff.). По мнению Харе, нагнетание страха перед последствиями онании в Германии было не столь единогласным, как в Англии и Франции (см.: *Hare*, S. 5 ff.).
124. *Zweig*, S. 110; *Bloch*, S. 431 ff.; иное мнение см.: *Bäumler*, S. 100 ("Götze Merkur").
125. Charité 4103 (6.11.1911).
126. *Bäumler*, S. 229; *Kraepelin*, Hundert Jahre S. 250; *Walther E.* u.a. Moulagen. Dresden (Hygiene-Museum), 1993. S. 14 f.; *Herzlich, Pierret*, S. 191.
127. *Binswanger*, S. 65, 353; Heilanstalten, S. 563; *Fleck*, S. 95, XXVII; *Bäumler*, S. 195–205; *Bäumler E.* Paul Ehrlich. Frankfurt/M., 1979. S. 221–253; *Hitler*, Mein Kampf, S. 61 ff.; *Geuter*, S. 66 f.
128. *Binswanger*, S. 67; *Oppenheim*, Lehrbuch (1902), S. 968; об обаянии «чахотки» и о том, что страх перед туберкулезом вовсе не соответствовал смертности из-за этой болезни см.: *Herzlich, Pierret*, S. 43, 47, 50 f.; *Huebschmann*, S. 84; вместе с тем Гид и Рист описывают панический эффект открытия туберкулезной палочки: «Люди с ужасом узнали, что чахоточный больной, известный как положительный герой многих сентиментальных романов, ежедневно выделяет миллиарды болезнетворных частиц, число которых достаточно, чтобы опустошить целый город...» (см.: *Gide, Rist*, S. 669). Charité 561 (5.5.1909). Однако страх перед туберкулезом зачастую считался тогда проявлением реализма, а не неврастении. «Вряд ли можно назвать трусом того, кто, имея в семье склонность к туберкулезу, живет в страхе перед туберкулезной палочкой» (см.: *Kaan H.* Der neurasthenische Angstaffekt der Zwangsvorstellungen. Wien, 1892. S. 69).
129. *Paneth*, Seelen, S. 37.
130. ZKD 441/870, 2121 und 1717; *Proust, Ballet*, S. 32. О гимназистах: Крамер в качестве предостережения упомянул мужчину 22 лет, который, признавшись отцу в своей онании, получил от него адрес проститутки «с указанием немедленно вступить с ней в связь». После этого он впал в полное

отчаяние и вместо проститутки отправился к Крамеру» (см.: *Cramer*, Nervosität, S. 32).

131. *Macmillan*, S. 381; *Peyer*, S. 59; *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 56, 191; *Müller F.C.*, Handbuch, S. 85; см. также: *Marcinowski*, Kampf, S. 44; *Freud-Fliess*, S. 29; *Freud*, Abhandlungen, S. 131; *Freud*, Abriß, S. 84 f.; *Roazen*, S. 97; *Gay*, *Freud*, S. 73.
132. *Rieger*, S. 105; *Musil*, Bd. I, S. 426; *Heuss*, S. 316; *Spree*, Bourgeoisie, S. 20; *Ritter, Tenfelde*, S. 634 f., 641; *Theilhaber*, S. 86, 158. Тейлхабер незадолго до этого привлек к себе внимание книгой о снижении рождаемости у евреев (см.: *Theilhaber F.* Der Untergang der deutschen Juden. München, 1912).
133. *Gay*, Leidenschaft, S. 400; *Bergmann A.*, S. 184; *Radkau*, Technik in Deutschland, S. 236; *McLaren*, S. 184 f.; *Hirth*, Wege, S. 573; *Braudel F.* Frankreich. Bd. II. Stuttgart, 1990. S. 179 ff. Около 1879 года прерванный акт распространился как заразная болезнь! (см.: *Braudel F.* Frankreich. Bd. II. Stuttgart, 1990. S. 183); *Levillain*, S. 45; *Gide, Rist*, S. 149; *Ziebura G.* (Hrsg.). Wirtschaft und Gesellschaft in Frankreich seit 1789. Köln, 1975. S. 309. Уже около 1880 года Каутский мимоходом говорил, что опытные парижские врачи единогласно соглашались с тем, что существуют безвредные методы «превентивного секса» (см.: Jb. f. Sozialwiss. 1881, Bd. 2, S. 117). Виктор Клемперер в 1913 году в Париже слышал от одной защитницы прав женщин, что многие мужчины, напротив, сопротивляются методам предохранения: «Мне это действует на нервы!» (См.: *Clemperer V.* Curriculum vitae. Bd. I. Berlin, 1989. S. 68.)
134. ZKD 441/1763. Магнус Хиршфельд отмечал, что большинство гомосексуалистов, будь то мужчины или женщины (по его терминологии «ураны» и «урнинды»), в высшей степени неврастеничны, причем не только вследствие социального давления, но и внутренней предрасположенности (см.: *Hirschfeld M.* Die Homosexualität des Mannes und des Weibes. 1913. 2. Aufl. Berlin, 1920. S. 177, 383 ff.).
135. *Bloch*, S. 764 f.; подобно: *Löwenfeld*, Pathologie, S. 69; *Löwenfeld*, Sexualleben, S. 347; *Kollarits*, S. 188; *Peyer*, S. 14; *McLaren*, S. 189.
136. Античность: с одной стороны — Курт Поллак (см.: *Pollak K.* Die Heilkunde der Antike. Wiesbaden, 1978, S. 209), с другой — Петер Браун (см.: *Brown P.* Die Keuschheit der Engel. München, 1991, S. 32 f.). *Hegar A.* Der Geschlechtstrieb. Eine social-medicin. Studie. Stuttgart, 1894. Марианна Вебер в один голос с Максом Вебером возражала против «модной в определенных медицинских кругах точки зрения, что здоровье человека страдает, если половое влечение не удовлетворяется». Эта дискуссия, очевидно, была для нее очень значима (см.: *Green*, S. 190). Мнение, что сексуальное воздержание вредно для здоровья, неоднократно критикуется как отжившее учение (см.: *Rheinstaedter*, S. 18); *Eulenburg*, Geschlechtsleben, S. 108 f.; *Linse U.*

Geschlechtsnot der Jugend. Über Jugendbewegung und Sexualität // T. Koebner u.a. (Hrsg.). "Mit uns zieht die neue Zeit". Der Mythos Jugend. Frankfurt/M, 1989. S. 245 ff.; *Freud*, Selbstdarstellung, S. 150 f.; *Dornblüth*, Psychoneurosen, S. 402; *Oppenheim*, Nervenleiden und Erziehung, S. 51 f.; *Bergmann W.*, S. 257; *Löwenfeld*, Sexualleben, Vorwort zur 3. Auflage; *Bloch*, S. 736, 740 f.; о медицинских дискуссиях см. также: *Bilz*, Bd. III, S. 255 f.

137. *Bloch*, S. 315; GLA, 69 N, Vortrag von 1926: "Die Tugendkrise der bürgerlichen Frau"; *Fout*, S. 389 f., 393; *Thompson F.M.L.* Social Control in Victorian Britain // EHR. 1981. Nr. 24. S. 196; *Green*, S. 171; *Gilcher-Holtey I.* Max Weber und die Frauen // Gneuss C., Kocka J. (Hrsg.). Max Weber: Ein Symposion. München, 1988. S. 150; *Dornblüth*, Psychoneurosen, S. 397; Густав Ашаффенбург писал: «Я придерживаюсь мнения, что в последние годы сексуальной жизни стали уделять больше внимания, нежели следовало бы в интересах общественного здоровья. У невротиков с их сверхчувствительностью быстро укореняются в мозгу любые страшные картины» (см.: *Curschmann*, S. 781). О забастовке родов см.: *Bergmann A.*, S. 286 ff.
138. *Radkau*, Männer, S. 249 ff.
139. *Korb-Döbeln*, S. 124; в заведениях для больных алкоголизмом среди лиц с высшим образованием первое место занимали тогда юристы, однако сразу за ними следовали медики (см.: *Wagner L.* // *Manacéine*, S. 195). *Schipperges H.* Rudolf Virchow. Reinbek, 1994. S. 71f.; ZKD 441/904; *Cramer*, Nervosität, S. 164; *Binswanger*, S. 431, 73 f.; Бувре полагает, что большинство неврастеников — алкоголики (см.: *Bouveret*, S. 270); Швенингер, напротив, спрашивает: «А обвиняемая во всех смертных грехах троица: люэс, алкоголь, психологическая травма? Когда же мы, наконец, решимся отказаться от этих удобнейших козлов отпущения?» (См.: *Schweninger E.* Aus ärztlicher Praxis // ZU. 1904. Bd. 46. S. 445.) *Roberts*, S. 51; *Spode*, S. 133; *Beard*, Neurasthenia, S. 40 f.; *Steding*, S. 22, 4, 60; *Neumann E.*, Teil VI, 119. Maxime.
140. *Leonhard K.* Über die Geschichte der Nervenklinik der Charité // Charité-Jubiläumsheft, S. 494.
141. *Rosenberg*, Epidemics, S. 134 f.; *Konrich*, Volksgesundheit // Deutschland als Weltmacht, vom Kaiser-Wilhelm-Dank. (Hrsg.). Berlin, 1911. S. 638.
142. *Thoma L.* Erinnerungen. München, 1931. S. 56; *Spode*, S. 101.

III. НЕВРАСТЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН МОДЕРНА

1. *Bucher*, S. 16 f.; *Fischer-Homberger*, Büchse der Pandora.
2. *Castel R.* Die psychiatrische Ordnung. Frankfurt/M., 1983. S. 172 f.; *Hoffmann*, Anstalt, S. 338 f.
3. *Engels F.* Die Lage der arbeitenden Klasse in England (1845). München, 1973. S. 173 ff.; *Marx*, Kapital, Bd. I, 13. Kap. IV (Die Fabrik).

4. *Beard*, Nervousness, S. 101 ff., 122 ff.
5. *Wehler*, Gesellschaftsgeschichte, Bd. III, S. 1232 ff., 429 ff.; *Nordau*, Bd. I, S. 61–64.
6. *Erb W*. Über die nächsten Aufgaben der Nervenpathologie // Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1891. Nr. 1. S. 3 ff.; Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler (Hrsg.). Festschrift zum 150. Geburtstag von W. Erb (1990), S. 16; *Erb*, Nervosität; *Miethe*, Bd. IV, S. 360.
7. *Kornig*, S. 5, 12, 21 f.; *Korb-Döbeln*, S. 661.
8. *Eulenburg*, Nervosität unserer Zeit, S. 302 ff.
9. Artikel "Neurasthenie" // Villaret A. (Hrsg.). Handwörterbuch der gesamten Medizin. 2. Bd. Stuttgart, 1900. S. 422–426.
10. *Rogge*, S. 335.
11. *Arndt*, Neurasthenie, S. 7–27, 109, 118; подобно: *Naunyn*, Anschauungen, *Bing*, S. 512 f., 536 f.
12. *Laquer*, Nervosität und moderne Kultur; *Martius*, Entartung; о Мартиусе см.: *Fischer-Homberger*, Neurose, S. 96 ff.; подобно: *Moll*, Weib, S. 59 f., 195, *Moll*, Einfluß, S. 122.
13. *Bumke*, Entartung, S. 316; *Bumke*, Revision, S. 1816.
14. IV. Internationaler Kongreß zur Fürsorge für Geisteskranke. Halle, 1911. S. 113, 118 f., 123 ff. Тем не менее из этого нельзя сделать общий вывод о противостоянии еврейской и нееврейской медицины. В то же время Ашаффенбург и Фридлэндер совместно выступили как критики Фрейда (см.: *Ellenberger*, S. 1074 ff.).
15. *Bumke*, Entartung, S. 308.
16. *Ackerknecht*, S. 54 ff.; *Nye*, S. 28; *Jahn I.* u.a. Geschichte der Biologie. Jena, 1985. S. 292 ff.
17. *Jahn*, S. 410; *Weingart P.* u.a. Rasse, Blut und Gene, Frankfurt/M., 1988, S. 84.
18. *Binswanger*, Pathologie, S. 30, 33, 38, 313; *Martius*, Entartung, S. 22; *Bumke*, Entartung, S. 307 f., 313; *Schleich*, Neurasthenie, S. 35.
19. *Schacht*, Randbem., S. 90 f.; подобно: *Hirschlaff*, S. 3; *Veraguth*, Neurasthenie (1910), S. 64, *Bergmann W.*, S. 35; *Engelhardt*, S. 87, 11.
20. *Ackerknecht*, S. 57 f.; *Eulenburg*, Nervosität unserer Zeit, S. 313; подобно: *Oppenheim*, Nervenleiden, S. 3; о «сифилизации» см.: Internat. Kongreß (см. примеч. 14), S. 126, *Kollarits*, S. 182; *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 62, 13; подобно: Nervenkrank, S. 11; *Hellpach*, Ursachen, S. 128; *Leubuscher, Bibrowicz*, S. 824; точно так же: *Ensler*, Nervosität und moderne Kultur // Monatsschrift für christl. Sozialreform (Basel), Jg. 1908. S. 654.
21. *Hermann*, S. 4, 11; *Weingart* (см. примеч. 17), S. 84 ff.
22. О бромистом калии см.: *Manacéine*, S. 15. О качестве французской литературы можно судить по приложению к книге Сэвилла. *Rabinbach*, Motor, S. 155 ff.; *Nye*; *Bumke*, Revision, S. 1816; *Dubois*, S. 191 ff.; *Pichot*, S. 546; *Bouchut*,

S. 335 f.; *Levillain*, S. 1 f. и литература к ней; *Bouveret*, S. 2 f., 8; о «заблокированном обществе» см.: *Haupt H.-G.* Sozialgeschichte Frankreichs seit 1789. Frankfurt/M., 1989. S. 8, с ограничениями (S. 11 u.a.). Французская «Belle Epoque» также была эрой гигиены и ипохондрии (Ibid., S. 287); *Rabinbach*, Motor, S. 156 f.; *Proust, Ballet*, S. VI f., 7, 30 ff.; *Deschamps, Vinchon*, S. 6, 43 (zu D.: *Rabinbach*, S. 163 ff.); *Levy*, S. 171 f., 156.

23. *Belbèze*, S. 24 ff., 14, 33, 42, 52 ff., 90 f.
24. *Oppenheim J.*, S. 109, 84 f.
25. *Eyth M.* Hinter Pflug und Schraubstock. Stuttgart o. J., S. 28 f.; *Bloch*, S. 321; *Nolda*, S. 5 f. «Англичане не так суетны и беспорядочны, как американцы...» (см.: *Nichols T.L.* // *Holbrook*, S. 166). Еще в 1945 году немецкие физики-атомщики, интернированные в Фарм-Холл, дружно отмечали, что англичанам можно позавидовать — так свободно они обращаются со временем (см.: *Hoffmann D.* Operation Epsilon. Berlin, 1993. S. 104).
26. *Clark A.*, *Allbutt*, S. 210, 215, 220 ff.; о нем см.: *Kugelmann*, S. 86 f.
27. *Savill*, S. VIII, 66, 83.
28. AW, Werbebroschüre von 1907, S. 77; Heilanstalten, S. 510; *Hellpach*, Wirken, Bd. I, S. 418; *Schacht*, Neurasthenie, S. 267.
29. *Gaupp*, Wachsende Nervosität, S. 28.
30. О Горсботе: устное сообщение, из одного исследования по истории силикоза; Verein für Sozialpolitik, S. 190.
31. *Hirschkron*, S. 69, 80; *Völgyesi*, S. 144; *Heilig*, S. 369; *Ritter, Tenfelde*, S. 379.
32. ZKD 441/1775.
33. ZKD 441/811.
34. *Steiner A.*, S. 115; *Gay*, Leidenschaft, S. 350; *Wendorff*, S. 422; *Ritter, Tenfelde*, S. 371; *Kern*, S. 109 ff.; *Radkau*, Technik in Deutschland, S. 112, 138, 87; *Radkau*, Technik im Temporausch, S. 63 ff.; *Adams*, S. 414 f.; *Huret*, S. 225 f.
35. *Dienel H.-L.* Herrschaft über die Natur? Naturvorstellungen deutscher Ingenieure 1871–1914. Stuttgart, 1992. S. 117; *Riedler*, Rathenau, S. 34, 99; *Riedler*, Schnellbetrieb, S. X; *Schmoller*, Einfluß, S. 423; *Schmoller*, Maschinenzeitalter, S. 18 f., 23.
36. *Shadwell*, S. 12 f.; *König W., Weber W.* Netzwerke, Stahl und Strom. Berlin, 1990 (= Propylüen Technikgeschichte IV). S. 288, 98; *Aitken H.G.J.* Scientific Management in Action, Taylorism at Watertown Arsenal 1908–1915. Princeton, 1985. P. 30 f.; *Miethe*, Bd. IV, S. 397 ff., 400 f.; *Dominik*, S. 79.
37. *Berdrow*, S. 8 ff.
38. *Miethe*, Bd. IV, S. 442; *Brunsiek S.* // Lipp. Möbelindustrie 1900–1960. Detmold, 1993. S. 7; *Brüggemeier F.-J.* Leben vor Ort, Ruhrbergleute und Ruhrbergbau 1889–1919. München, 1983. S. 91 ff.; *Trischler H.* Steiger im deutschen Bergbau. München, 1988, S. 120 ff.
39. *Clairemont*, S. 46; *Miethe*, Bd. IV, S. 343; *Reinke H.* Die Einführung und Nutzung des Telefons in der Industrie des Deutschen Reiches 1880–1939. Köln (MPIFG),

1988. S. 31 f.; *Ostwald*, Forderung, S. 62; *Schroter H.G.* Innovationsverhalten, Mentalität und technolog. Entwicklung (Reichspost und Fernmeldetechnik) // TG. 1994. Bd. 61. S. 12 f.; *Diesel*, Jahrhundertwende, S. 127.

40. Prometheus, 14/1903, S. 10, 7; об экономии времени см.: Niedersachs. Staatsarchiv Oldenburg, Best. 136, Nr. 12334 (сообщение Хайде Герстенбергер); *Wall R.* Die goldene Zeit der Ozeanriesen. Gütersloh o. J., S. 190 f.; *Miethe*, Bd. IV, S. 166.
41. *Deutschmann*, S. 175 ff.; *Stearns*, Arbeiterleben, S. 181 ff.; *Heuss T.* Robert Bosch. Stuttgart, 1946. S. 228 f.; *Radkau*, Technik in Deutschland, S. 280. Велер также допускает, что в промышленности реальные темпы выросли (см.: *Wehler*, Gesellschaftsgeschichte, Bd. III, S. 781). Даже Доротея Шмидт, выстроившая свою диссертацию о мире труда на фирме Сименса до 1914 года на демонтаже расхожих клише, дает понять, что «спешка и гонка» на рубеже веков не были мифом (Ibid., S. 32, 54, 122).
42. *Bernhard L.*, Akkordarbeit, S. 122 f., 115, 112.
43. *Bernhard L.*, Akkordarbeit; о Херкнере см.: Verein für Sozialpolitik, S. 133; *Schmidt D.*, S. 270 ff.
44. *Leubuscher, Bibrowicz*, S. 820 ff., почти слово в слово см.: *Koelsch*, Gewerbepathologie, S. 255; *Schönhals*, S.14 f.; *Schmidt D.*, S. 123 f.
45. *Heilig*, S. 384 f.; Verein für Sozialpolitik, S. 128.
46. *Bücher*, S. 438 f.; *Koelsch*, Gewerbepathologie, S. 251; *Durig*, S. 96; Bericht über den XIV. Internat. Kongreß für Hygiene und Demographie. Bd. II. Berlin, 1908. S. 606 f.
47. *Siemens*, Bd. I, S. 76 ff.; *Radkau*, Technik in Deutschland, S. 179; *Kocka J.* Technik und Arbeitsplatz im 19. Jh. // Buddensieg, Rogge (см. под рубрикой: *Rabinbach*, Motor Mensch), S. 120; Дорн считал, что фон Мольтке «утратил представление о реальности». Однако зачем нужно было Мольтке делать подобные заявления, противоречившие его горячим речам в защиту национального времени? (см.: *Dohrn-van Rossum,* S. 320).
48. *Dubois*, S. 373; прежде воспитание и пунктуальность считались методом лечения нервнобольных (см.: *Hirschfeld A.*, S. 29; AW, H.Th. (1908)).
49. Bethel-Archiv, Bethesda 68.
50. *Matschoß* // Miethe, Bd. I, S. 19; *v. Weiher S.* Die englischen Siemens-Werke und das Siemens-Überseegeschäft. Berlin, 1990. S. 127; *Radkau*, Wachstum, S. 86; *Radkau*, Technik in Deutschland, S. 197 f.; *Wagner A.* Agrar- und Industriestaat. Jena, 1901. S. 63 f.
51. *Radkau J.* Angst und Angstabwehr als Regulative der Technikgeschichte: Gedanken zu einer Heuristik der Furcht // Kerner M. (Hrsg.). Technik und Angst. Aachen, 1994. S. 65; *Cleaves*, S. 209 f.
52. *Bohme H.* Vom "Geist der Unruhe" — "Elektrizität" und "Neuer Kurs" // Benad-Wagenhoff V. (Hrsg.). Industrialisierung — Begriffe und Prozesse. Stuttgart,

1994. S. 143; *Erb*, Nervosität, S. 5 f.; *Bebel*, S. 431; *Ostwald*, Forderung, S. 414. Уже в 1890 году автор статьи «путешествия» в Энциклопедическом словаре Мейера утверждал, что «путешествия вокруг всего земного шара» стали «повседневным событием»! (См.: *Bausinger H.* // Bausinger H. u.a. (Hgrs.). Reisekultur. München, 1991. S. 343.)

53. «Спешка, гонка и работа на износ нашей эпохи» усиливаются не по чьему-либо желанию или вине, но по внутренней необходимости, вследствие роста населения, — подчеркнул инженер-моторостроитель, сотрудник Юнкерса Вильгельм фон Охельзаузер в торжественной речи по поводу 50-летия Союза немецких инженеров (см.: *v. Oechelhauser W.* Technische Arbeit einst und jetzt. Berlin, 1906. S. 19). *Riedler*, Rathenau, S. 150; сходно, но в пессимистическом ключе противник Ридлера Георг Сименс (*Siemens G.* Erziehendes Leben. Freiburg, 1957. S. 65 ff.).
54. *Spitzemberg*, S. 270 (19.12.1913). Расхожее мнение, что немецкая буржуазия XIX века враждебно настроена к технике, имеет черты легенды (см.: *Plumpe G.* Technik als Problem des literarischen Realismus // Salewski M., Stölken-Fitschen I. (Hrsg.). Moderne Zeiten. Stuttgart, 1994. S. 44 ff.).
55. *Eichberg H.* "Schneller, hoher, starker" // Mann, Winau, S. 263 ff., 279 ff.; *Frölich*. Der elektrische Betrieb auf Vollbahnen // Prometheus. 9/1898. S. 725; *Kollmann J.* Der Triumphzug der technischen Wissenschaften // Deutschland als Weitmacht (см. примеч. 141 к главе II), S. 470.
56. Miethe, Bd. IV, S. 404; *Kollmann* (см. примеч. 55); *Witt O.N.* // Prometheus. 23/1912, S. 495.
57. *Radkau*, Technik in Deutschland, S. 144; *Ziegler D.* Eisenbahnen und Staat im Zeitalter der Industrialisierung. Habil. schrift Bielefeld, 1994; Teil II über die deutschen Neben- und Kleinbahnprojekte des späten 19. Jh.s; *Sombart*, Volkswirtschaft, S. 262.
58. В общем к дальнейшему: *Radkau*, Fahrrad; *Holstein*-Briefe, S. 178; *Bertz*, S. 238; *Cantlie*, S. 54 ff. О фальсификациях: в сообщениях автору Ханса-Эрхарда Лессинга.
59. *His*, Front, S. 47; *Mendelsohn M.* Ist das Radfahren als eine gesundheitsgemäße Übung anzusehen und aus ärztlichen Gesichtspunkten zu empfehlen? Berlin, 1896. S. 30 f. "Voici des ailes": *Kern*, S. 111.
60. *Moll*, Weib, S. 193; *Oppenheim*, Briefe, S. 43; *Albu A.* Sozial-hygienische Betrachtungen über den modernen Sport mit bes. Berücksicht. des Radfahrens. Berlin, 1896. S. 25; Фрессель также пишет о велосипеде как укрепляющем средстве «в наш вымотанный и нервный век» (см.: *Fressel C.* Der Radfahr-Sport vom techn.-prakt. und ärztl.-gesundheitl. Standpunkte. Neuwied, ^{4}1898. S. 108). *Salvisberg P. v.* (Hrsg.). Der Radfahrsport in Wort und Bild (1897). ND Hildesheim, 1980. S. 163.
61. *Kann*, S. 20 f., 36 f., 26.

62. *Bertz*, S. 180 f.
63. *Radkau*, Fahrrad, S. 23; Charité 3628 (1909); AW, H. S. (1903); ZKD 441/1851.
64. *Schumacher P.* Das Recht des Radfahrers // Lessing H.-E. (Hrsg.). Fahrradkultur: Der Höhepunkt um 1900. Reinbek, 1982. S. 511 f. Богатый ассортимент ругани в адрес велосипедиста см.: Ibid., S. 508. *Jung*, S. 26 f., 22; *Holstein*-Briefe, S. 172 f.; об агрессивном отношении к велосипедистам в Вене см.: *Sandgruber R.* Cyclisation und Zivilisation // Ehalt H.Ch. u.a. (Hrsg.). Glücklich ist, wer vergißt..? Wien, 1986. S. 294 f.; Elefanten Press (Hrsg.). FahrradLiebe. Berlin, 1987. S. 100; *Liman*, S. 192 f.; *Bertz*, S. 18 f.; *Ostwald*, Forderung, S. 413 f.
65. *Radkau J.* "Ausschreitungen gegen Automobilisten haben überhand genommen". Aus der Zeit des wilden Automobilismus in Ostwestfalen-Lippe // Lipp. Mitt. 56/1987, S. 9–26; *Radkau*, Auto-Lust; *Scharfe*, S. 223 (сноска), 229 (сноска), 238 f.; *Autler*, S. 13 f. Когда Шарфе отмечал, что «ущерб для нервов» в связи с автомобилем практически не обсуждается, то он явно переоценивал наивность автомобильного энтузиазма в то время (см.: *Scharfe*, Nervosität des Automobilisten, S. 202 f.).
66. *Hyde*, S. 324.
67. *Voswinckel P.* Arzt und Auto. Münster, 1981; *Hellpach*, Technischer Fortschritt, S. 30; *Artelt*, S. 16; *Scharfe*, S. 221; о ситуации в 1930 году см.: Kommunalarchiv Herford, Kreis Herford, Bestand C, Nr. 974. Езда на автомобиле в большом городе требовала «буквально непрестанного напряжения нервов». Поэтому «хорошим водителем» может быть только человек со «здоровыми нервами» (см.: *Oechelhäuser M.* Staatliche Chauffeurschulen // Sozial-Technik. 1907–1908. Bd. 7. Hf. 2, S. 29). Энтузиасту автомобилизма Бодри де Сонье, напротив, автомобиль кажется «одним из лучших и наиболее эффективных средств успокоения нервной системы» и, более того, укрепляет «силу воли». Такой же гимн автомобилю, как былой гимн велосипеду! (См.: *Link J., Reinecke S.* "Autofahren ist wie das Leben". Metamorphosen des Autosymbols in der dt. Literatur // Segeberg H. (Hrsg.). Technik in der Literatur. Frankfurt/M., 1987. S. 452 f., 459.)
68. Бирбаум в самых возвышенных тонах говорит о «повышении здорового чувства» при езде на автомобиле (см.: *Bierbaum O.J.* Eine empfindsame Reise im Automobil (1903), ND 1992, S. 10 ff. S. 18); правда, он умер через семь лет после этого, в возрасте всего 45 лет. *Riedler A*. Abseits vom Gänsemarsch! Berlin, 1914. S. 24 ff., 378 ff. Бодри: *Kuhm*, S. 41. *Bülow*, Bd. II, S. 19.
69. *Geissler S.* (Bielefeld). Umweltwahrnehmung im 19. Jh. — zwischen Wirtschaftsliberalismus und Gesundheitsschutz (Ms.); *Saul*, S. 32 f.
70. *Hasse* H. Die internationale Lärmschutzbewegung. Gautzsch bei Leipzig, 1914. S. 5; LHK 403/6948; другие случаи см.: Ibid., 6945.
71. *Saul*, S. 168 ff.; *Lessing*, Lärm, S. 77 ff.; *Krömer*, S. 63; *Reclam*, S. 67.
72. *Birkefeld, Jung*, S. 56; о пианинной чуме см.: *Gutenberg*, S. 34, *Baumgarten*, S. 7, *Whitman*, Deutschland, S. 33; *Lessing*, Lärm, S. 45, 54 ff., 69.

73. *Lentz* M. "Ruhe ist die erste Bürgerpflicht". Lärm, Großstadt und Nervosität im Spiegel von Theodor Lessings "Antilärmverein" // MedGG. 13/1994. S. 81–105; *Marwedel*, S. 104 ff.; *Lessing*, Einmal, S. 405; *Baron*; *Smilor R.W.* Toward an Environmental Perspective: The Anti-Noise Campaign, 1893–1932 // Melosi M.V. (Hrsg.). Pollution and Reform in American Cities. 1870–1930. Austin, 1980. S. 135–151. Более серьезный организационный успех движения против шума в Америке объясняется, вероятно, тем, что в США защита от шума с помощью полиции функционировала хуже, чем в Германии, и люди привыкли восстанавливать общественный порядок с помощью личных инициатив.
74. *Lessing*, Lärm, S. 24; Anti-Rüpel Jg. 1909. S. 3, Jg. 1910, S. 53 f.; *Smilor* (см. примеч. 73), S. 136 ff.
75. *Schönhals*, S. 16; *Heilig*, S. 369 ff.
76. *Lentz* (см. примеч. 73), S. 96; Charité 3124 (1911), 3381 (1905).
77. HStAW430/1; 4762;*Cramer*, Nervosität, S. 51; Anti-Rüpel Jg. 1909 H. 1, S. 57; *Krömer*, S. 19, 66.
78. *Hellpach*, Nervosität und Kultur, S. 31 f.; в то же время Шлейх пишет: «Да, не так уж бессмысленно, если нервозность нашего поколения объясняют появлением электричества в качестве источника света и энергии» (см.: *Schleich*, Neurasthenie S. 33).
79. *Bergmann W.*, S. 257 f.; HStAW 403/1, 4567, 10562.
80. ZKD 441/1317.
81. *Nietzsche*, Unzeitgemäße Betrachtungen, Stuttgart 1964, S. 50; *Diesel*, Jahrhundertwende, S. 266, 286.
82. *Messerli*, S. 221; *Müller*, Handbuch, S. 67; *Binswanger*, Pathologie, S. 55 f.; *Kann*, S. 13; *Löwenfeld*, Pathologie, S. 41 f.
83. *Roller*, S. 1; *Ziehen*, Neurasthenie, S. 524; *Kollarits*, S. 176 ff.; *Röper*, S. 137; *Pelman*, Nervosität, S. 211; *Brauns*, S. 17; *Wernicke*, S. 9; *Beelitz*, S. 8; *Schacht*, Neurasthenie, S. 269; подобно: *Bouveret*, S. 24; *Wichmann*, Leistungsfähigkeit; *Erb*, Nervosität, S. 16; *Kraepelin*, Geistige Arbeit, S. 23.
84. *Dornblüth*, Psychoneurosen, S. 386.
85. HStAM, MInn 65349; *Laquer B.*, S. 26 f.; *Hellpach*, Ursachen, S. 51; *Dubois*, S. 149. Цимсен уже в 1887 году замечал, что многие конторские служащие успешно практикуют «золотое правило»: «восемь часов труда, восемь часов отдыха, восемь часов сна» (см.: *Ziemssen*, S. 5 f.).
86. *Möbius*, Nervosität, 1. Aufl. S. 91 ff.; *Love I.N.* Neurasthenia // Journal of the Amer. Medical Assoc. (JAMA). 1894. Bd. 22. P. 539 ff., перепечатано в: JAMA. 1994. Bd. 271. P. 1242 (JAMA 100 Years Ago); *Gosling*, Before Freud, p. X f., XIV, 83; *Petren*, S. 399 f., 411; *Oppenheim J.*, S. 104 ff.; *Leubuscher, Bibrowicz*, S. 821; Kölnische Zeitung, 23.3.1903; *Determann*, Volksheilstätten, S. 4.
87. *Hoche*, Werkstatt, S. 22; подобно: *Simmel*, S. 429.

88. *Hellpach*-Beiträge, S. 11; *Hellpach*, Ursachen, S. 53, 130 f. ; *Hellpach*, Grundlinien, S. 471; *Hellpach*, Nervenleben, S. 15, 18, 49; *Hellpach*, Kriegsneurasthenie, S. 180.
89. *Laehr*, Nervosität der Arbeiterschaft, S. 5 ff., 16 f.; *Hirschlaff*, S. 6; *Brauns*, S. 10 f. Видимо, среди рабочих отсутствовал еще один существенный стрессовый фактор модерна: стремление вверх. Как заметил Велер, работа с постоянным заработком «ментально совершенно не была настроена на карьеру». Велер видит в этом лишь покорность, смирение, но никак не элемент душевного покоя, который в типичных случаях отличал рабочих от представителей среднего сословия (см.: *Wehler*, Gesellschaftsgeschichte, Bd. III, S. 150).
90. «Золотое правило» взято, вероятно, из замечания Гуфеланда к длинному письму, написанному в его адрес Кантом. Это письмо нередко печатают как приложение к «Макробиотикам» Гуфеланда (см.: *Hufeland*, S. 241 (сноска)). Цитаты, в которых использовано «золотое правило», см.: *Ziemssen*, S. 5 f.; *Bouveret*, S. 11; *Kraepelin*, Hygiene, S. 20; *Schwarz*, S. 23; *Kroner*, S. 354; *Windscheid*, Berufsnervosität, S. 457; *Quensel*, S. 131.
91. *Schneider M.*, S. 66; *Scharf*, S. 324 f.; *Otto, Gorsboth*, S. 133 ff.; *Ritter, Tenfelde*, S. 419; *Rabinbach*, Körperliche Grenzen, S. 48; Verein für Sozialpolitik, S. 127, 149; *Woldt R.* Die Arbeitswelt der Technik. Berlin, 1926. S. 187; *Schwartz*, Berufstätigkeit, S. 236.
92. *Bebel*, S. 425; издание 1891, S. 275, 1892, S. 277; *Mehring*, S. 513; Stenograph. Berichte über die Verhandl. des Dt. Reichstages. 12.12.1899 (120. Sitzung, S. 3325). *Kautsky K.* Vermehrung und Entwicklung in Natur und Gesellschaft (1910) // Altner G. (Hrsg.). Der Darwinismus. Darmstadt, 1981. S. 245.
93. AW, Fr. Sp. (1890), C. Ph. (1901).
94. *Leubuscher, Bibrowicz*, S. 821; StAFfm, V 55, Bericht der Fürsorgestelle für Gemüts- und Nervenkranke; *Schönhals*, S. 26; о «радости труда» как немецкой традиции см.: Campbell.
95. *Sieferle R.P.* Fortschrittsfeinde? München, 1984. S. 87 ff.; *Beard*, Neurasthenia, S. 30; *Bouveret*, S. 56; *Fischer-Homberger*, Neurose, S. 42 f.; *Rigler*, S. 28, 43, 6 f.; *Hellpach*, Ursachen, S. 50.
96. *Placzek*, Gefahren; *Köttgen*, S. 883 ff.; *Ritzau H.J.* Schatten der Eisenbahngeschichte. Pürgen, 1987. S. 208 ff.; "Über Neurasthenie im allgemeinen und insbesondere bei den Eisenbahnbediensteten" // Allg. Zeitung (München), 13.9.1905.
97. *Zimmermann*, S. 14 f.
98. HStAM, MInn 65 349; *Zimmermann*, S. 237; *Amedick*, S. 203 ff. Указаниям на архивные материалы я обязан Зигрид Амедик.
99. HStAW, 430/1, 4764; Charité 2217 (1910); *Bode*, S. 33; *Geuter*, S. 148 f.; *Weyl*, S. 608; *Mann Th.* Politische Schriften und Reden. Bd. I. Frankfurt/M., 1968. S. 83.
100. *Schmitt*, S. 47 ff.; *de Mendelssohn*, S. 200 ff.; *Stearns*, Arbeiterleben, S. 217; *Leubuscher, Bibrowicz*, S. 821; *Hahn*, S. 24; *Weyl*, S. 268 f.; *Krause*, S. 122 ff.

101. *Otto M.* Die Setzmaschine in Deutschland, Beispiel für eine verzögerte und konfliktarme Technikeinführung // TG, 60/1993, S. 347, 355, 361; Das neue Buch der Erfindungen. Bd. I. Leipzig, ^{6}1872. S. 442; *Geitel*, Bd. III, S. 591 ff., 600; *Stearns*, S. 192 f., 122; *König W.* // Propyläen Technikgeschichte 1840 bis 1914, S. 526 f.; *Schneider M.*, S. 81 f., 84; *Wolf*, S. 325 ff.
102. *Hoppe J.* Das Ohr als Tür zur Seele. Einiges zur Telephonie-Kultur // Absolut modern, S. 149; AW, C. N. (1899); *Nienhaus U.D.* Das "Fraulein vom Amt" im internationalen Vergleich // Gold, Koch, S. 48 f.
103. *Wernicke*, S. 9; о нем см.: *Lanczik M.* Der Breslauer Psychiater Carl Wernicke. Sigmaringen, 1988; *Münsterberg*, S. 64; *Weyl*, S. 290; *Wagner O.*, S. 83, 24, 81; *Clairemont*, S. 93; *Milles D.* Nervenbelastung oder nervöse Veranlagung — das medizinische Urteil über Telefonunfälle und Telefonistinnenkrankheiten // Gold, Koch, S. 104; *Durig*, S. 111; *Zerbe G.* Über Berufserkrankungen und Berufsunfälle der Telefonistinnen // Zentralblatt für Gewerbehygiene Jg. 1925, S. 18.
104. Siemens-Archiv München, Erinnerungen Georg Grabe, Bd. II, S. 24 f. (благодарю за копию Доротею Шмидт); *Siemens*, Bd. I, S. 194 f.
105. Ibid., S. 166 f., 194.
106. *Durig*, S. 111; *Miethe*, Bd. IV, S. 354 f.; *Schmidt D.*, S. 67.
107. *Nienhaus* (см. примеч. 102), S. 45, 54 ff.; *Durig*, S. 111; *Clairemont*, S. 93; *Wagner O.*, S. 58 ff.; Verein für Sozialpolitik, S. 131.
108. *Miethe*, Bd. II, S. 222; *Weber*, Aufsätze, S. 208; *Ellerkamp*, S. 98 f.; *Brentano*, S. 238 f.; *Schaarschmidt E.* Geschichte der Crimmitschauer Arbeiterbewegung. Leipzig, 1934; о борьбе рабочих на Криммичау см. также: *Ullmann H.-P.* // Tenfelde K., Volkmann H. (Hrsg.). Streik. München, 1981. S. 194 ff. *Koelsch*, Beurteilung, S. 185 f. О значении Кёльша: *Szczesny K-D.* // Müller, Milles, S. 438 ff. Какие-либо общие суждения о стрессе в текстильной индустрии невозможны. Одна женщина, которая десятки лет проработала в прядильне и теперь рассказывает о работе прядильной машины в музее, рассказала мне, что ее фабричные будни казались ей очень уютными, часто ей целый день было буквально нечего делать. По ее словам, то, как показывают работу прядильных машин сегодня, оставляет совершенно неверное впечатление, потому что они постоянно рвут нитки, а прежде, в более влажной атмосфере, нитки почти никогда не рвались.
109. *Brauns*, S. 10 f.
110. *Diesel*, Jahrhundertwende, S. 65; *Schar*, Kampf, S. 33.
111. За помощь и замечания по теме «энергия» я благодарю Марию Осецки. Многое в этом труде опирается на ее рукопись «Владычица мира и ее тень. Энергия и энтропия в труде Рудольфа Клаузиуса» (см.: *Osietzki M.* Die Weltherrin und ihr Schatten. Energie und Entropie im Lebenswerk von Clausius). *Göckenjan*, S. 259; *Di Mascio*, S. 628; *Asendorf*, Gespenst, S. 623

(Hawthorne). Уже Вильгельм Вундт хотел распространить закон сохранения энергии на психическую сферу (см.: *Meischner W., Eschler E.* Wilhelm Wundt. Jena, 1979. S. 45 f.).

112. *Rabinbach*, Motor Mensch, S. 129 ff., 133 f.; Кливс пишет, что ее жизненный опыт научил ее одному, «и этот урок — одно из наиболее прекрасных явлений природы, сохранение энергии» (см.: *Cleaves*, S. 9; 20). Тем не менее возникает впечатление, что она часто страдала от ощущения утраты энергии.
113. *Kemp W.* John Ruskin. München, 1983. S. 381 f.; *Oppenheim J.*, S. 82 f., 276.
114. *Gosling*, Before Freud, S. 84, 94; *Hirth*, Entropie, S. 94. Во всяком случае, знаменитый и авторитетный Геккель со своей неисправимой уверенностью в торжестве прогресса ничего не желал знать о законе энтропии (см.: *Haeckel*, Welträtsel, S. 312).
115. *Brandstetter A.* Die Mühle. München, 1984. S. 168 f.
116. *Ostwald*, Forderung, S. 30; *Sullivan*, S. 1, 18, 25; *Dominik*, S. 104 f., 107.
117. *Toellner*, Bd. II, S. 1135; *Hubenstorf*, Elektrizität, S. 247; Elektrotherapeut. Streitfragen, S. 6 ff., 12 ff., 17, 59.
118. *Bilz*, Bd. I, S. 249; *Korb-Döbeln*, S. 93; *Oppenheim*, Briefe, S. 15; *Cohn T.*, Leitfaden, S. 131. А. фон Шренк-Нотцинг называл электротерапию «скрытой психотерапией» и считал, что именно этим объясняется «тайна шарлатанства» (см.: *v. Schrenck-Notzing A.* Ein Beitrag zur psych. und suggestiven Behandlung der Neurasthenie. Berlin, 1894. S. 5).
119. *Hellpach*, Ursachen, S. 50; *Simmel*, S. 130 ff.; *Lears*, S. 53; *Lutz*, S. 74 f.; *James*, S. 414; *Wilson*, S. 32 ff.
120. *Rosenbach*, S. 4; *Schultz*, S. 45 ff. О Розенбахе см.: *Steinacher G.M.Ph.* Das Leben und Wirken O. Rosenbachs unter bes. Berücksicht. der Energetik. Diss. Stuttgart, 1959, bes. S. 55 f.
121. *Clairemont*, S. 2; *Dienel H.-L.* Herrschaft über die Natur? Stuttgart, 1992. S. 96. Никола Тесла, пионер изучения переменного тока, прославился, прежде всего, как пророк освоения атмосферной энергии. И этот в высшей степени нервный инженер хотел тем самым разрешить и проблему человеческой энергии, к примеру, в сенсационной статье от 1900 года под названием «Проблема повышения человеческой энергии» (см.: *Ferzak F.* N. Tesla. München, 1989. S. 79 ff.).
122. *Kern*, S. 126; об Ауэрбахе см.: *Osietzki* (см. примеч. 111); о его влиянии: *Schar*, Energielehre, S. 30 ff.
123. *Cleaves*, S. 208; *Hirth*, S. 222 f.
124. *Schleich*, Schaltwerk, S. 129, 254; *Kornig*, S. 14 ff., 21; сравнение нервной системы с телеграфной или телефонной сетью было тогда популярным. О Фонтане см.: *Horch*, S. 33 (*Mantegazza*, Jahrhundert, S. 117).
125. *Kraepelin*, Hundert Jahre, S. 189 (Reil); *Gosling*, Before Freud, S. 98.
126. *Bloch*, S. 76 = *Hirth*, Entropie, S. 89 f.

127. AW, A. R. (1889).
128. HStAW 430/1, 4264; Charité 404 (1909), 4856 и 4874 (1910); AW, L. I. (1908); ZKD 441/1717.
129. *Diesel*, Diesel, S. 141 ff., 150, 257, 362 f.; *Diesel*, Jahrhundertwende, S. 60 f., 76, 90, 94, 111, 137, 162 f. Технология высокого давления обладала в то время своего рода гипнотизмом; это выражение зачастую в метафорическом смысле применялось к людям, в том числе в англо-американском пространстве (см.: *Oppenheim J.*, S. 101; *Cleaves*, S. 17). Гольштейн пишет в 1880 году о Бисмарке: «Но ему грозит та же опасность, что всем механизмам под высоким давлением — что он однажды взлетит на воздух» (см.: *Holstein*-Briefe, S. 127). Однако когда в 1906 году он пишет о Ширски, что тот не «машина под высоким давлением, которая может лопнуть» (см.: *Rogge*, S. 94), то это отдает пренебрежением. — Было бы интересным параллельно с Дизелем провести исследования на другом его современнике, Фрице Габере, о том, как техническое мышление, вращающееся вокруг «эксплуатации времени» и «скорости реакции», также пронизывает весь опыт самопознания и вызывает хроническое состояние нервного напряжения; об этом см.: *Günther P.* Fritz Haber — ein Mann der Jahrhundertwende. München (Dt. Museum), 1969. Биографию несчастной первой жены Габера см.: *v. Leitner G.* Der Fall Clara Immerwahr. München, 1993. Упорно отстаиваемая автором точка зрения о том, что Клара Габер покончила с собой из протеста против участия ее мужа в разработках химического оружия, не вполне обоснована и маловероятна. Ее судьба скорее представляет собой экстремальный пример страданий пассивного невротика под гнетом невротика активного!
130. *Hakfoort*, S. 525 ff., 528 f.; *Ostwald*, Forderung, S. 342, 212, 433, 249, 437 ff.; *Stein L.*, S. 326 f.; *Ostwald*, Lebenslinien, Bd. I, S. 211; Bd. II, S. 215, 441 ff., 104, 177, 185 f., 152 ff.; Bd. III, S. 98 ff., 103, 344; *Ostwald*, Geschichte, S. 55, 60; *Niedersen U.* Zur philosoph.-naturwiss. Wertung der Energetik-Auffassung W. Ostwalds. Diss. Berlin (Ost), 1983. S. 166 ff.; *Daser*, S. 17, 28 f.; *Schär*, Kampf, S. 119; *Schär*, Energielehre, S. 11 f. Оствальд утверждал, что его — конечно же, энергетическая — «теория счастья» объясняет, «почему, к примеру, паралитик чувствует себя счастливым, а неврастеник — несчастным». Один из них направляет всю энергию на навязчивую идею, а второй — растрачивает свою энергию попусту (см.: *Ostwald W.F.* Theorie des Glücks // Die Umschau Jg. 1905. Bd. 9. Nr. 3).
131. *Hilty*, Fin, S. 3 f.; *Salewski*, Neujahr, S. 353; *Mommsen W.J.* Imperialismustheorien. Göttingen, 1977. S. 114; *Rathenau*, Kritik, S. 88; *Renatus*, Zur Physiologie der Moral // ZU. 1903. Bd. 44. S. 394 ff.
132. *Haller*, Eulenburg, S. 316 f., 23, 21, 252, 255. Рефлексии на тему энергии в политике иного рода обнаруживаются у Бамбергера в отношении к Бисмар-

ку: «суть его личности» — «сконцентрированная энергия»; но она ведет к опасному уходу в себя и ужесточению происходящего (см.: *Bamberger*, S. 302, 8.5.1873).

133. *Ostwald*, Forderung, S. 233; *Oppenheim*, Lehrbuch, Bd. II, S. 1796; см. также: *Ziehen*, Neurasthenie, S. 529; *Strümpell*, Nervosität, S. 14; также: *Traugott*, S. 61; *Springer*, Bd. I, S. 191.
134. *Jackson*, S. 270 ff.; *Schmidt-Degenhard*, S. 90 ff.; *Shorter E.* Mania, Hysteria and Gender in Lower Austria. 1891–1905. Ms. Toronto, 1989. P. 14 ff.; *Oppenheim*, Lehrbuch, Bd. II, S. 1798; *Binswanger*, Pathologie, S. 187; *Tellenbach H.* Transkulturelle Aspekte der Melancholie // Schulte W., Mende W. (Hrsg.). Melancholie. Stuttgart, 1969, S. 101; *Binswanger*, S. 114; *Hoffmann A.*, S. 8; *Kollarits*, S. 101, 104; подобно: *Eulenburg A.*, Nervosität und Reisen, S. 406.
135. *Müller J.*, S. 23; *Neumann E.*, Vorwort; *Baumgarten*, S. 55, 217, 27, 142 f.
136. AW, H.v.R. (1911).
137. ZKD 441/536.
138. *Chalon J.* Alexandria David-Néel. Frankfurt/M., 1991. S. 172, 514; *Goldstein*, Wandering Jew, S. 539.
139. *Holstein*-Briefe, S. 308; *Ziemssen*, S. 17.
140. Bethel-Archiv I/E-2A.
141. ZKD 441/895.
142. AW, C. Kl. (1891).
143. *Cleaves*, S. 95, 98, 107 f., 122 f.
144. *Müller*, Hydrotherapie, S. 360; *Hirschkron*, S. 136 f.; *Eulenburg*, Nervosität und Reisen, S. 403; ZKD 441/901.
145. *Fontane*, Modernes Reisen // Diederichs U. (Hrsg.). Vom Glück des Reisens. München, 1994. S. 335; *Fontane T.* Cécile. Frankfurt/M., 1983. S. 66 f.; ZKD 441/847.
146. ZKD 441/601.
147. *Determann*, Nervosität, S. 12 f.
148. *Deutschmann*, S. 296; *Göhre P.* Drei Monate Fabrikarbeiter und Handwerksbursche (1891). ND Gütersloh, 1978. S. 32; *Otto, Gorsboth*, S. 159 f.; *Keßler*, S. 100.
149. *Blomeyer G.R., Tietze B.* Reiseersatz // Thiekötter, Siepmann, S. 142 f.; *Oettermann S.* Alles-Schau: Wachsfigurenkabinette und Panoptikum // Kosok L., Jamin M. (Hrsg.). Viel Vergnügen. Öffentliche Lustbarkeiten im Ruhrgebiet der Jahrhundertwende. Essen, 1992. S. 39; *Wirth*, S. 539; о Гауппе см.: *Schweinitz J.* (Hrsg.). Prolog vor dem Film. Leipzig, 1992. S. 66; *Gaupp*, Schreckneurosen, S. 82.
150. *Simmel*, S. 190 f.; *Hirschkron*, S. 80 f.; ZKD 441/2392 und 794; *Adler*, S. 106.
151. Lassalle, Arbeiterlesebuch u.a. Studientexte / W. Schäfer. (Hrsg.). Reinbek, 1972. S. 84; *Whitman*, Erinnerungen, S. 31 ff.
152. *Huret*, S. 62; *Sombart W.* Wirtschaft und Mode; *Radkau J.* "Die Nervosität des Zeitalters". Die Erfindung von Technikbedürfnissen um die Jahrhundertwende // Kultur & Technik. 1994. Nr. 3. S. 51–57.

153. *Müller J.B.* Artikel "Bedürfnis" in den Geschichtl. Grundbegriffen. Bd. I, S. 442 ff.
154. *Sombart*, Der moderne Kapitalismus, Bd. III/2, S. 611.
155. *Gide, Rist*, S. 599.
156. *Kraemer H.* Die Ingenieurkunst auf der Pariser Weltausstellung 1900. Düsseldorf, 1984. S. 91; *Clairemont*, S. 377.
157. *Schranz*, S. 2 f.; *Kann*, S. 7 f.; *Wimmer* (2. Кар., см. примеч. 14); *Lill U.* Die pharmazeut.-industrielle Werbung in der 1. Hälfte des 20. Jh. Stuttgart, 1990. S. 353 ff.; *Hopkins C.C.* Propaganda, meine Lebensarbeit. Stuttgart, ^{3}1929. S. 111 f.; *Kraemer* (см. примеч. 156), S. 138; Reformblätter, 1907, Nr. 10, S. 53. О протестах против шарлатанства с лекарствами см.: Amtl. Sammlung der Bekanntmachungen des Ortsgesundheitsrats Karlsruhe über Geheimmittel. Karlsruhe, 1891. S. 42 f.; *Wimmer*, S. 77; *Diesel*, Jahrhundertwende, S. 109 ff. (мода на антипирин).
158. AW, C.J.L. (1903).
159. О Бинсвангере см.: *Gütt A.* (Hrsg.). Handbuch der Erbkrankheiten IV: Zirkuläres Irresein. Leipzig, 1942. S. 11; *Zedlitz-Trützschler*, S. 9; *Whitman*, Erinnerungen S. 143; даже Фонтане, в старости часто поддававшийся унынию, в 1890 году радовался, что «с нашим молодым кайзером жизнь стала намного ярче, содержательнее, интереснее» (см.: *Fontane*, Briefe, Bd. IV, S. 79). *Weber M.*, S. 231; *Hellpach*, Mensch, S. 146. Глазер считает «увековечивание предвкушения» основной чертой нервозности в искусстве того времени (см.: *Glaser*, Freud, S. 90). Это предвкушение опиралось на традицию германского национализма; стоит вспомнить призыв Фихте: «От вас зависит.., хотите ли вы стать началом и отправным пунктом нового развития, превосходящего все ваши представления» (см.: *Jeismann*, S. 49).
160. *Waldersee*, Bd. II, S. 365; *Haller*, Eulenburg, S. 252; *Eulenburg*-Korr., Bd. III, S. 2090.
161. *Claß*, Kaiser, S. 137.

IV. НЕРВОЗНОСТЬ: ОТ БОЛЕЗНИ К СОСТОЯНИЮ КУЛЬТУРЫ

1. *Erb*, Nervosität, S. 4 ff.; *Ziemssen*, S. 3; *Pelman*, Nervosität, S. 130; *Hellpach*, Ursache, S. 47; *Cramer*, Ursachen, S. 85; *His*, Medizin, S. 625; *Grotjahn*, Forderung, S. 91 f.
2. *Kornig*, S. 5; *Baudis*; *Steding*, S. 19; *Zimmerli*, S. 223; «чудовищное распространение той хронической эпидемии.., которая разошлась среди представительниц женского пола под именем неврастении» (см.: *Mutschlechner B.* Fröhliche Frauen // Der Naturarzt. 1895. Bd. 23. S. 372); *Pautner*, Neurasthenie // Reformblätter. 1907. Nr. 10. S. 225.
3. *Cohn P.*, S. 75; *Laehr*, Nervosität der Arbeiterschaft, S. 16; *Wichmann*, Neurasthenie, S. 36; *Cramer*, Ursachen, S. 73; *Nordau*, Bd. I, S. 319.

4. *Monakow*, S. 237; *Beard*, Amer. Nervousness, S. 138; *Manacéine*, S. 34; *Cleaves*, S. 17; *Löwenfeld*, Pathologie, S. 13; *Lange-Eichbaum W., Kurth W.* Genie, Irrsinn und Ruhm. München, [6]1967. S. 222 ff.; *Kornig*, S. 30 ff.; *Gaupp*, Wachsende Nervosität, S. 28; Ашаффенбург см.: *Curschmann*, S. 781 f. Банальность здоровья временами приводила к тому, что нездоровье вызывало симпатии. Так, Гаупп в 1907 году иронизировал: «Когда Ломброзо выдал свою знаменитую дефиницию нормального человека (нормален человек с отличным аппетитом, прилежный работник, эгоистичный, предприимчивый, терпеливый, уважающий любую сферу власти, домашнее животное), и когда Нордау в Париже резко и язвительно разгромил все, что в наше время вызывает восхищение, стало казаться ясным, что "быть неврастеничным" для человека наших дней есть необходимая составляющая высокого культурного уровня» (см.: *Gaupp*, Nervosität, S. 634).
5. Даже Макс Вебер соглашался с Гельпахом и «был решительно уверен, что все эти вещи, которые Вы называете "жизнью нервов", необходимо интегрировать в культурно-исторический контекст» (см.: *Weber*, Briefe, S. 26). Позже об этом писал Гельпах (см.: *Hellpach*, Kriegsneurasthenie, S. 204); *Hellpach*, Wirken, Bd. I, S. 339; *Kollarits*, S. 174 f.; *Eulenburg*, Berlinerin, S. 274 f.; *Schleich*, Schaltwerk, S. 254 f.; подобно: *Schleich*, Asklepios, S. 35 f.; «нервные дети по большей части одаренные» (см.: *Oppenheim*, Nervenleiden, S. 45).
6. *Wittermann*, S. 25, 45; *Engelhardt*, S. 9; *Völgyesi*, S. 16, 29 f. 17 f., 420. Невротики — это «эксперимент великого творца и новатора — природы», и даже «указатели тоски по сверхчеловеку»! (См.: *Paneth*, Nervöse, S. 172.) Вилькен, ссылаясь на Адлера (1927), подчеркивает «демоническую устремленность невротиков к сходству с богом»: нервозность как феномен бесконечного честолюбия! (См.: *Wilken*, S. 47.)
7. *Simmel G.* Die Großstädte und das Geistesleben // Simmel G. Brücke und Tür. Stuttgart, 1957. S. 227 f.
8. *Lamprecht*, Vergangenheit, Bd. II, S. 250 ff., 262; *Lamprecht*, Kaiser, S. 15 f. Очень сходно описывает нервозность Фридель — как элемент более высокого человеческого развития и культурной утонченности, вообще как состояние творчества: «Весной вся природа несет в себе нечто неврастеническое» (см.: *Friedell*, S. 66).
9. *Chickering*, Lamprecht, S. 108 ff.; *Hellpach*, Grundlinien, S. 80 ff.; *Hellpach*, Wirken, Bd. I, 495 f.; *Hellpach*-Aufsätze, S. 71 ff.; *Laehr*, Nervosität der Arbeiterschaft, S. 1 ff., 17 f.
10. *Durkheim*, S. 65 f.; *Bourget P.* Essais de psychologie contemporaine, Bd. II, 1885, S. 161 f.; *Dehmel*, S. 169, 179; *Hesse*, Kindheit, Bd. II, S. 428; *Musil*, Bd. I, S. 409.
11. *LeRider*, S. 51 f.; *Bahr*, S. 28; *Bahr H.* Die neue literar. Psychologie (1890) // Bahr H. Zur Überwindung des Naturalismus / von G. Wunberg (Hrsg.). Stuttgart, 1968. S. 60, 63; *Wagner N.* Geist, S. 35 ff.; *Worbs*, S. 80 ff.; *Glaser*, S. 93;

Hofmannsthal-Schnitzler, S. 219; *March*, S. 241 ff.; *Hellpach*, Nervosität und Kunstgenuß, S. 102 ff.; *Hesse*, Kindheit, Bd. II, S. 43; о Ниссене см.: *Rathenau — Harden*, S. 425; *Fontane*-Briefe, Bd. I, S. 589 f., Bd. IV, S. 369. Флобер писал в 1847 году, что его «нервы» «нужно учитывать, они звенящие и вибрирующие. Может быть, я всего лишь скрипка!» (См.: *Flauber G.* Briefe. Zürich, 1977. S. 94.) Как видно по Рихарду Вагнеру, в тот же период времени еще ненаэлектризованные нервы лучше подходили для того, чтобы воспринимать их как поэтический орган. Однако в 1853 году тот же Флобер писал (Ibid., S. 234): «Не будем доверять тому жару, что именуется вдохновением и часто содержит в себе больше нервного возбуждения, чем мышечной силы». Нервы против мускулов! О противоречивом и неровном отношении Томаса Манна к «нервозному веку» см.: *Radkau*, Neugier.

12. R. Wagner an August Röckel, 25/26.1.1854; *Wagner R.* Die Kunst und die Revolution / von T. Kneif (Hrsg.). München, 1975. S. 68; *Tappert W.* (Hrsg.). Wörterbuch der Unhöflichkeit: R. Wagner im Spiegel der Kritik. München, 1967. S. 63 ff., 79 f.; *Nietzsche F.* Der Fall Wagner / von D. Borchmeyer (Hrsg.). Frankfurt/M., 1983. S. 104; «все больше нервов на месте плоти» (см.: Ibid. S. 124). *Oehler R.* Nietzsche-Register. Stuttgart, 1943. S. 338. *Haller*, Eulenburg, S. 21; *Cleaves*, S. 199 f.; *Nordau*, Bd. I, S. 267; *Eulenburg A.* Über Neurasthenie der Tonkünstler // Nord und Süd, 33/1909. S. 131–139; *Jentsch*, *Binswanger*, Pathologie, S. 56; *Brauns*, S. 73; *Gerhardt, Adam*, F. v. Bodelschwingh, Bd. II, S. 72, 105 f.
13. Nervenkrank! S. 9; Spiegel Jg., 1995, Nr. 25, S. 180.
14. *Isaacs*, Bd. I, S. 46 f., 54, 195 ff.; о любви к пустоте см.: *Friedell*, S. 1465 f.; *Laquer B.*, S. 19; *Mommsen*, S. 282; *Harden*, Prozeß Eulenburg // ZU 64/1908, S. 128.
15. *Lepenies*, S. 200 ff.
16. AW, Max T. (1903).
17. *Krafft-Ebing*, Nerven, S. 3 f.; *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 50.
18. Wagner an Liszt, 30.I.1852; *Mann Th.*, Tagebücher, 17.11.1919.
19. *Bethmann Hollweg*, S. 95; *Wehler*, Gesellschaftsgesch., Bd. III, S. 902, 952, 960; *Fontane*-Briefe, Bd. IV, S. 795; подобно: 371; *Eley*, S. 47, *Röhl, Sombart*, S. 7; *Kehr*, S. 153; *Rosenberg H.*, Große Depression, S. 56, 218; о Халльгартере см.: *Radkau J.* Der Historiker, die Erinnerung und das Exil // Exilforschung. Ein Internationales Jahrbuch. 1984. Bd. 2. S. 90 ff.
20. *Claß*, Strom, S. 93.
21. Ллойд Демос иронизирует над историками, которые целиком концентрируются на «экономических объяснениях» войны: эти историки, видимо, «не замечают, что ни одна война не была экономически эффективной» (см.: *deMause L.* Grundlagen der Psychohistorie. Frankfurt/M., 1989. S. 31). Этого нельзя сказать о британской опиумной войне, но о Первой мировой — вполне.

22. *Kantorowicz*, S. 389 ff.; *Bülow*, Bd. I, S. 42, 44; *Whitman*, Erinnerungen, S. 144; *Quidde*, S. 31, 19, 66, 51.
23. *Gutsche*, S. 136; *Hellpach*, Wirken, Bd. I, S. 399; *Bülow*, Bd. II, S. 422, Bd. III, S. 46, Bd. IV, S. 676 f., 648; согласно Хиллеру фон Гэртрингену в оригинальной рукописи вместо «нервозным натурам» стояло «неврастеникам» (см: *v. Gärtringen H.*, S. 329). Бетман Хольвег в 1913 году писал: «Кайзер вновь в высшей степени нервозен» (см.: *Mommsen*, S. 343 (сноска)); *Haller*, Eulenburg, S. 50, 258, 288 f., 303 f.; *Eulenburg*-Korr., Bd. III, S. 2098, 2221.
24. *Bülow*, Bd. I, S. 456, 503 f.; *Lessing*, Lärm, S. 31.
25. *Hull*, S. 15 f.; 301; *Bülow*, Bd. I, S. 456 ff.; *Eulenburg*-Korr., Bd. III, S. 2097.
26. *Hohenlohe*, S. 338, 359; *Zedlitz-Trützschler*, S. 195, 197, 206 f., 226.
27. *Eulenburg*-Korr., Bd. II, S. 1206 f.; *Haller*, Eulenburg, S. 125; *Bülow*, Bd. I, S. 430; *Reventlow*, S.34.
28. *Holstein*-Papiere, Bd. II, S. 50; *Holstein*-Briefe, S. 152; *Eulenburg*-Korr., Bd. II, S. 1848 f.; *Haller*, Eulenburg, S. 281; *Röhl*, Wilhelm, Bd. II, S. 684; *Hull*, S. 15 ff.; *Röhl*, Kaiser, S. 112 f.; подобно: *Wehler*, Bd. III, S. 1001.
29. *Röhl*, Wilhelm II, S. 190, 199; *Bülow*, Bd. II, S. 305, 146; Bd. III, S. 146; Bd. I, S. 504; *Zedlitz-Trützschler*, S. 9; *Haller*, Eulenburg, S. 253 f.; *Eulenburg*-Korr., Bd. III, S. 1858. В 1896 году Эйленбург, предостерегая кайзера от конфликта в рейхстаге, указывал ему на все более «нервную» обстановку и на то, что противники Вильгельма рассчитывают на то, что при большом «скандале» у него откажут нервы (см.: *Haller*, S. 204).
30. *Hallgarten*, Imperialismus, Bd. I, S. 448 f.; *Zedlitz-Trützschler*, S. 10; *Waldersee*, Bd. II, S. 76.
31. *Hohenlohe*, S. 346; *Rathenau*, Schriften, S. 247, 259; *Naumann*, Demokratie, S. 172.
32. *Lamprecht*, Kaiser, S. 27; *Röhl J.C.G.* Kaiser Wilhelm II // Kornbichler Th. (Hrsg.). Klio und Psyche. Pfaffenweiler, 1990. S. 1; *Loiperdinger M.* Kino der Kaiserzeit // Kosok, Jamin (3. Kap., см. примеч. 149), S. 116; *Zedlitz-Trützschler*, S. 8.
33. *Lee*, Bd. I, S. 440; *Balfour*, S. 245; об Иване Илличе см.: Die Zeit, 28.12.1973, S. 5; *Weber M.*, S. 130; *Röhl, Sombart*, S. 13; *Lamprecht*, Kaiser, S. 82, 33 f.
34. *Waldersee*, Bd. II, S. 449; *Röhl*, Wilhelm II, S. 599 ff.; *Thimme A.*, S. 102 f.; *Winzen*, S. 70 f., 80; *Jarausch*, Chancellor, S. 143; *Bülow*, Bd. II, S. 111; *Thimme F.*, S. 16 (сноска); *Claß H.* West-Marokko deutsch! München, 1911. S. 23; *Bourdon*, S. 97, 152; *Riezler*, S. 178; *Fischer*, S. 137. «В прошлом году Марокко нам было — что ему Гекуба! Сейчас его берегут как запуганную безумным сердцеедом невесту» (см.: *Harden*, Fantasia // ZU. 1905. Bd. 51. S. 52).
35. *Spitzemberg*, S. 252; *Dix*, S. 5, 25; а также: *Fischer*, S. 331 f.; «У нас нет ясно поставленной политической и национальной цели, которая вдохновила бы фантазию, тронула сердце нации и подвигла бы ее к единому порыву...» (См.: *Bernhardi*, Deutschland, S. 5.) Цитата кажется достоверной, ведь она идет вразрез с собственной интенцией Бернхарди. *Röhl*, Schwelle, S. 120.

36. *Claß*, Kaiser, S. 18, 137; *Weller*, Harden, S. 118, 122, 140, 206, 216; *Rogge*, S. 334 f.; *Eckardstein*, Bd. I, S. 10, 213, 218; *Zedlitz-Trützschler*, S. 7; Kiderlen-Wächter, Bd. II, S. 18 f. (Monts); *Playne*, S. 70 (H.v.Gerlach); *Hammann*, S. 166; *Monts*, S. 441 (Tschirschky); *Röhl*, Kaiser, S. 76 (Waldersee).
37. Ibid., S. 14; *Eckardstein*, Bd. II, S. 161; *Harden*, Dies irae / ZU. 1906. Bd. 57. S. 293 f.
38. *Worbs*, S. 61; *Loqui*, S. 3 ff.
39. *Eyck*, Wilhelm II, S. 111; *Winzen*, S. 130.
40. *Scholl L.U.* // Schwarz T., v. Halle E. Die Schiffbauindustrie. Bd. I (1902). ND Düsseldorf, 1987. S. V ff.; *Tirpitz*, Erinnerungen, S. 98; *Naumann*, Demokratie, S. 218; *Bülow*, Bd. I, S. 688; *Monts*, S. 195; *Haller*, Eulenburg, S. 192; *Fischer*, S. 656; *Holstein*-Papiere, Bd. III, S. 528.
41. *Vagts*, Bd. II, S. 2017 f.; *Hallgarten*, Bd. I, S. 463, 595 ff.; *Geiss I.* Studien über Geschichte und Geschichtswiss. Frankfurt/M., 1972. S. 134 f.
42. *Winzen*, S. 61 ff. u.a.; *Fesser*, S. 59.
43. В общем: *Jeismann*; *Hitler*, S. 138; *Claß*, Strom, S. 163, 161; *Monts*, S. 407.
44. *Bismarck*, Ged. und Erinn., Bd. III, 10. Kap.
45. *Winzen*, S. 302, 313 ff., 337; *Gerlach*, S. 15; *Treitschke*, Briefe, Bd. III, S. 616; *Fischer F.* Das Bild Frankreichs in Deutschland in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg // Fischer F. Der Erste Weltkrieg und das deutsche Geschichtsbild. Düsseldorf, 1977. S. 335 f.; *Holstein*-Papiere, Bd. II, S. XV (11.1.1887); *Nipperdey*, Bd. II, S. 461 ff., 621 f.
46. J. Annegarn's Handbuch der Geographie für die Jugend. Münster, [5]1851, S. 450 f.; *Kantorowicz*, S. 399, 404 ff.; *Röhl*, Wilhelm II, S. 269, 282, 385, 408; *Eulenburg*-Korr., Bd. III, S. 2094; *Röhl*, Schwelle, S. 85, 102 ff.; *Geiss*, Juli 1914, S. 296 f.
47. *Kehr*, S. 152 f., 162, 170; Паулина Андерсон, из всех последователей Кера наиболее упорно придерживающаяся социоэкономических мотивов, в конце говорит, что «психологическую подоплеку» нельзя переоценить: «Нервное напряжение рубежа столетий много способствовало про-бурским, антианглийским настроениям» (см.: *Anderson*, S. 351).
48. *Bülow*, Bd. IV, S. 289, 292; Nervosität und Neurasthenie // Wie sollen wir leben? 1902. Bd. 3. S. 91; GLA, 69 N, 229.
49. Facsimile-Querschnitt durch den Simplicissimus / von C. Schütze (Hrsg.). Bern, 1963. S. 219; *Balfour*, S. 101 f.
50. *Zedlitz-Trützschler*, S. 6 f., 140 f.; *Röhl*, Wilhelm II, S. 461–516; *Harden*, Köpfe, Bd. II, S. 158; *Eyck*, Wilhelm II, S. 434; *Geiss*, Juli 1914, S. 297. Яростная ненависть Вильгельма II к Эдуарду VII также делала его представителем широко распространенного в Германии настроения (см.: *Lee*, Bd. II, S. 702).
51. *Röhl*, Wilhelm II, S. 407 f., 812; *Fischer*, S. 77 ff., 542 ff.
52. *Chamberlain H.St.* Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts. Volksausgabe I, S. 48; *Bülow*, Bd. I, S. 251, 242, 257 f.; *Spitzemberg*, S. 263; *Eyck*, S. 631; *Fischer*, Griff, S. 41 f.; *Lee*, Bd. II, S. 623.

53. *Bülow*, Bd. II, S. 64, 131; *Holstein*-Papiere, Bd. I, S. 177; *Gollwitzer*, S. 32 ff.; *Mehnert*, S. 110 ff.; *Paret P.* Die Berliner Secession. Frankfurt/M., 1983. S. 134 f.; *Hesse*, Karamasow, S. 326; *Bahr*, S. 33; *Determann*, Nervosität, S. 22; Восточная Азия как образец см.: *Hohmann O.* Verschwendung und Haushalt im erkrankten Nervensystem. Eine naturarztl. Studie über die Nervenpflege der Chinesen und Japaner // ZU. 1908. Bd. 64. S. 301–304; у (китайца) нет нервов (см.: *Kraus*, S. 287), поэтому он способен к невероятному сексуальному наслаждению без страха и напряжения.
54. *Zedlitz-Trützschler*, S. 193; *Chickering*, We Men, S. 122 ff.; *Harden*, Köpfe, Bd. II, S. 454, 456; *Röhl*, Wilhelm II.: "Das Beste ware Gas!" // Die Zeit, 25.11.1994, S. 13–15.
55. Уже Фридель предполагает, что «каждая эпоха создает собственные болезни, которые так же принадлежат к ее физиономии, как и все остальное, что она производит» (см.: *Friedell*, S. 96). *Shorter*, Paralysis, S. IX; *Baur*, S. 181; *Blasius*, Seelenstörung, S. 117. Ульрих цитирует Норберта Элиаса о коллективном менталитете кайзеровской Германии: «Кто выказывает слабость, считается ничтожеством» (см.: *Ullrich*, Nervöse Großmacht, S. 577).
56. *Schmitz*, S. 46; *Heuss*, S. 125.
57. Maison de Sante, S. 47; *Hirschberg G.* 17 Tage Irrenhaus // ZU. 1906. Bd. 57. S. 280 ff.; *Grotjahn*, Krankenhauswesen, S. 397; *Grotjahn*, Forderung, S. 98.
58. Anti-Rüpel, Jg. 1910, Nr. 2, S. 13.
59. *Doerry*, Bd. I, S. 155 ff.; *Alter R.* Heinrich Manns "Untertan" — Prüfstein für die Kaiserreich-Debatte? // GG. 1991. Bd. 17. S. 375 f.
60. *Frevert*, Ehrenmanner; *Elias*, S. 61 ff., 67 («общество, способное к сатисфакции»); *Bernhard*, Folgen, S. 59; *Laquer*, Nervosität, S. 122; *Kommerell*, S. 293; *Haller*, Eulenburg, S. 307; *Treitschke*, Briefe, Bd. I, S. 171; *Fesser*, S. 13. Эффект дуэли как психологической разгрузки заметен в воспоминаниях Макса Вебера о студенческой молодости: «Проблем для нас не было — мы были убеждены, что все, что бы ни происходило, поддается решению с помощью мензуры» (см.: *Frevert*, S. 221).
61. *Graf Armin-Schlagenthin*. Der Kampf ums Dasein und züchterische Erfahrung. Berlin, 1909.
62. Х.-У. Велер (разговор от 30.05.1997) также не мог вспомнить в кайзеровской Германии скандала, подобного делу Дрейфуса, и полагал, что его не могло быть. Нипперди считает, что социальное неравенство в кайзеровской Германии примерно до 1890 года росло, однако затем стало сокращаться (*Nipperday*, Dt. Geschichte, Bd. I, S. 414 f.).
63. *Röhl*, Wilhelm II, S. 616; *Bülow*, Bd. I, S. 39, Bd. IV, S. 681; *Mommsen*, S. 299; *Röhl*, Kaiser, S. 44 ff.; о Гардене см.: ZU. 1908. Bd. S. 434; *Haller*, S. 285.
64. *Röhl*, Wilhelm II, S. 712; *Kaminski H.-E.* Büllows Erinnerungen // Weltbuhne, 1930/II, S. 540; *Haller*, Eulenburg, S. 3, 16, 107 f., 129, 162, 218; *v. Uexküll J.*

Niegeschaute Welten. Die Umwelten meiner Freunde. Berlin, 1936. S. 165; *Bülow*, Bd. I, S. 372.

65. *Röhl*, Kaiser, S. 39 ff., 53 ff., 77, 123; *Uexküll*, S. 163; о Гардене см.: Präludium // ZU. 1906. Bd. 57. S. 265 f.; *Rogge* // *Holstein*-Briefe, S. XVIII.
66. *Bülow*, Bd. I, S. 139, 573 f.
67. *Fesser*, S. 76 f.; *Winzen*, S. 52 f., 58; *Tirpitz*, Erinnerungen, S. 50; *Harden*, Dies irae // ZU. 1906. Bd. 57. S. 294.
68. *Wehler*, Bismarck, S. 210 ff., 216, 398 ff.; *Vagts*, Bd. I, S. 694 ff., 659, 665, 688 f.; *Eyck*, Wilhelm II, S. 232 ff.; *Bülow*, Bd. I, S. 283; о Цзяо-Джоу см.: *Winzen*, S. 133. Гольштейн утверждал, что в 1889 году заявил Герберту фон Бисмарку, что лучше бы его отец не знал Швенингера и умер бы от последствий «каролинского позора» 1885 года и самоанского конфликта 1889 года (см.: *Holstein*-Briefe, S. 223 (22.5.1903)).
69. *Eyck*, S. 233; *Fesser*, S. 57; *Winzen*, S. 198; *Vagts*, Bd. I, S. 641 f., 923.
70. *Rogge*, S. 121; *Harden*, Moritz und Rina // ZU. 1905. Bd. 51. S. 460.
71. *Haller*, Eulenburg, S. 166 f., 170, 156; *Eulenburg*-Korr., Bd. II, S. 1258; Bd. III, S. 1947; *Kiderlen*, Bd. I, S. 88; *Langbehn*, S. 238, 144.
72. *Rogge*, S. 9; *Weller*, S. 164, 124, 156; *Harden*, Prozeß Eulenburg // ZU. 1908. Bd. 64. S. 125 f.; *Lessing*, Selbsthaß, S. 176.
73. *Weller*, S. 154; *Harden*, "1888" // ZU. 1908. Bd. 63. S. 435; *Uexküll* (см. примеч. 64), S. 161; *Kraus*, S. 54, 83.
74. *Massie*, S. 550 f.; *Eyck*, S. 466 f.; *Zedlitz-Trützschler*, S. 170 f.; *Spitzemberg*, S. 229; *Holstein*-Briefe, S. 293.
75. *Sombart*, Männer, S. 41; *Baumont*, S. 178; действие этих процессов см.: *Bumke*, Lehrbuch, S. 303; *Hirschfeld M.*, S. 6, 26, 29 (сноска); *Herzer*, S. 19 ff., 58, 71 ff.; *Schmitz*, S. 32; слова Дельбрюка см.: Preuß. Jbb. 132/1908, S. 551; *Laqueur W.Z.* Die dt. Jugendbewegung. Köln, 1962. S. 65; *Harden*, Prozeß (см. примеч. 72), S. 174; *Mosse*, Nationalismus, S. 109; *Oppenheim J.*, S. 175, 276; *Eyck*, S. 499; *Balfour*, S. 311; *Bülow*, Bd. II, S. 441; *Holstein*-Papiere, S. 451 f. (26.10.1907).
76. *Brunn G., Reulecke J.* Metropolis Berlin. Bonn, 1992, S. 34 (G. Brunn), 145 (Katrin Dördelmann); *Eulenburg*, Nervenhygiene; *Dornblüth*, см. также: *Moll*, Einfluß.
77. Nervenkrank!, S. 11; *Bleker*, Stadt, S. 130 f.; *Miethe*, Bd. V, S. 78, 50; *Redlich*, S. 204.
78. *Bergmann A.*, S. 243 ff.; *Theilhaber*, *Hellpach*, Mensch, S. 66; *Hellpach*, Ursachen, S. 127; *Hellpach*, Wirken, Bd. I, S. 361, 367; *Binswanger*, Pathologie, S. 285; *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 11 ff.
79. *Bloch*, S. 316.
80. *Weber M.*, S. 294 f., 214, 185.
81. *Kollarits*, S. 175; подобно: *Wichmann,* Neurasthenie, S. 11; *Miethe*, Bd. V, S. 45; о берлинских ассоциациях с Чикаго см.: *Huret*, S. 33; *Schwenger H.* Ernst Reuters Berlin // Mythos Berlin. Berlin, 1987. S. 197.

82. *Rodriguez-Lores J., Fehl G.* (Hrsg.). Städtebaureform 1865–1900. Bd. II. Hamburg, 1985. S. 315 f., 354, 382 (W. Schulz-Kleeßen, A. Weiland); о влияниях на планирование пространства в 20-е годы см.: *Hoffacker*, S. 5 ff.; *Niethammer*, S. 53 (Borbeck); *Bollerey F.* u.a. (Hrsg.). Im Grünen wohnen — im Blauen planen. Ein Lesebuch zur Gartenstadt. Hamburg, 1990. S. 106 f., 128 f. (Th. Hafner); *Bebel*, S. 478; *Dornblüth*, Nervenhygiene, S. 354. Еще градостроитель Ганс Бернгард Рейхов, создатель «города для автомобилистов, способствовавший формированию скучного облика немецких пригородов после войны, исходил из того, что горожане подвержены "переизбытку раздражителей"» (см.: *Reichow H.B.* Organische Stadtbaukunst. Braunschweig, 1948. S. 6).
83. *Albisetti*, S. 120; *Müller F.C.*, Handbuch, S. 71 f. (v. Hößlin); *Oppenheim J.*, S. 54 ff., 239 ff.; *Proust, Ballet*, S. 24 f.; *Mantegazza*, Jahrhundert, S. 84 f.; *Benda*, Nervenhygiene, S. 13 (сноска); *Fontane*-Briefe, Bd. IV, S. 97; Велер отмечает у немецкой образованной буржуазии перед 1914 годом состояние «глубокой раздробленности»: «религия образования натолкнулась на мощных идеологических конкурентов, которые способствовали "разрушению духовной интеграции образованной буржуазии"» (см.: *Wehler*, Gesellschaftsgesch., Bd. II, S. 1271).
84. *Albisetti*, S. 122 f.; *Schiller*, S. 3 f.; *Hasse Fr.P.*, S. 8; *Hasse Fr.P.* // Zs. f. Psychiatrie 37/1881, S. 532 ff.; *Schipperges*, Virchow, S. 28 f.; *Pelman*, Nervosität, S. 147 f.; о гипермоторике см.: *Zappert*; жалобы на перегрузки в Швейцарии см.: *Messerli*, S. 222 ff.; то же самое в Австрии: «Мы видим, как постепенно подрастает анемичное и неврастеничное поколение» (см.: Wiener Medizin. Bll. 1887. Bd. 10. Nr. 31, S. 989 f.; Nr. 32, S. 1007 ff. (Theodor Meynert), 1021 ff.; Nr. 34, S. 1085 ff).
85. *Möbius*, Nervosität, S. 58 ff.; Univ.-Archiv Leipzig, Ms. 713 VI; *Pelman*, S. 150; *Hellpach*, Ursachen, S. 50; *Dornblüth*, Psychoneurosen, S. 391; Am Webstuhl der Zeit, 1907. Nr. 1. S. 195; *Lahmann*, Schule und Neurasthenie // Reformblätter, 1907. Nr. 10. S. 235 f.
86. *Müller F.C.* Handbuch, S. 74; *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 62; см. также: *Hoche*, Werkstatt, S. 22 f.; *Gelpke*, S. 25; *Moll*, Einfluß, S. 18; директор одной висбаденской гимназии в 1891 году сообщал, что в последние годы у его выпускников обычным девизом стало «да здравствуют перегрузки!» (См.: Zs. f. Schulgesundheitspflege, 1891, Nr., 4, S. 768.)
87. *Müller A.*, Bismarck, S. l00 f.; ZKD 441/559 (1882); AW, O. V. (1914), P. Re. (1911).
88. Überburdungs-Denkschrift: Centralblatt für die gesunde Unterrichts-Verwaltung in Preußen, Jg. 1884, S. 205 f., 215 f.; *Kraul M.* Das dt. Gymnasium 1780–1980. Frankfurt/M., 1984, S. 89, 91 ff., 102, 117; *Rohrbach*, S. 24; *Wagner L.* // Manacéine, S. 169 ff.; *Kraepelin*, Geistige Arbeit, S. 14 ff.
89. *Ostwald*, Lebenslinien, Bd. III, S. 135; *Ostwald*, Forderung, S. 531 f.; *Bülow*, Bd. II, S. 347; *Benda*, Nervenhygiene, S. 14; *Whitman*, Erinnerungen, S. 143; *Kraul* (см. примеч. 88), S. 100 ff.; Am Webstuhl der Zeit, 1907, Nr. 1, S. 190.

90. *Müller F.C.*, Handbuch, S. 47; *Hesse*, Kindheit, Bd. I, S. 80 ff.
91. *Treitschke*, Geschichte, V, S. 536 f.; *Treitschke*, Briefe, Bd. II, S. 192, Bd. III, S. 597; *Treitschke*, Kämpfe, S. 223, 226, 232, 243 ff., 262 f., 387; *Holstein*-Briefe, S. 311; *Gurlitt*, Der Retter // ZU. 1909. Bd. 66. S. 116 ff.; см. также: ZU. 1908. Bd. 64. S. 1–5; 1908. Bd. 65, S. 216–223; о влиянии Гурлитта на движение натуропатов см.: *Regin*, Selbsthilfe, S. 173, 234. *Marcinowski*, S. 61.
92. *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 131 ff., 138 ff.; Nervenkrank!, S. 3.
93. *Runte A.* National Parks. Lincoln, ³1997, S. 82; *Dupke T.* Hermann Löns, Mythos und Wirklichkeit. Hildesheim, 1994. S. 13, 93. Хрестоматийный пример связи между культом природы и лечением нервов в период около 1900 года — природный целитель Адольф Юст и его многократно переизданный труд «Назад к природе» (об этом см.: *Radkau*, Natur als Fata Morgana, S. 288 f.).
94. Мэтью справедливо указывает на то, что буржуазные элиты не могли полностью управлять гигиеническим движением, каким бы буржуазным оно ни было (см.: *Mathieu*, S. 137).
95. Переиздание: *Paasche H.* Die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins innerste Deutschland / von F. Hahnel (Hrsg.). Bremen, 1993; Пааше был одним из тех, кто в 1913 году произносил речь на холме Высокий Мейснер, и его книга была очень популярна среди участников молодежного движения.
96. *Gurlitt*, Erziehungslehre, S. 100, 219; «Около 1900 года началась патологизация малейшего лишнего веса» (см.: *Habermas*, S. 78). *Stulz*, S. 63 f.; *Döring A., Gansohr-Meinel H.*, Wäschewaschen im Rheinland // Rheinisches Museumsamt (Hrsg.). Die große Wasche. Köln, 1988. S. 26; *Verbeek B.* Die Anthropologie der Umweltzerstörung. Darmstadt 1990, S. 114 ff. (Hygiene und Krankheit).
97. *Keller G.* Martin Salander, Kap. 13; *Nordau*, Bd. I, S. 325.
98. *Steiner A.*, S. 116; *Mosse*, Nationalismus, S. 173.
99. *Kraepelin* // Irrenärzte, S. 279; сам Крепелин видел в «учении Будды величайшее религиозно-философское достижение человеческого духа» (см.: *Kraepelin*, Lebenserinnerungen, S. 156). Баварец Людвиг Тома пишет о «шустрых» берлинцах — «согнувшись под непомерным трудовым грузом, они отлично себя чувствовали» (см.: *Thoma L.* Erinnerungen. München, 1931. S. 205). *Jung*, S. 46.
100. *Irsigler F., Lassotta A.* Bettler und Gaukler. Dirnen und Henker. München, 1989. S. 102 f.; *Montaigne*, Essais, Bd. 2, Kap. XI (о жестокости); *Heine*, Reisebilder, цит. по: *Kohl N.* (Hrsg.). London, Frankfurt/M., 1979. S. 151; *Rabbel J.* Rostocker Windjammer. Rostock, 1988. S. 20 f.; *Shadwell*, S. 11 f.; *Manacéine*, S. 89; *Zweig*, S. 41; Гурлитт: Am Webstuhl der Zeit, 1907. Nr. 1. S. 189.
101. *Hoffmann H.*, Lebenserinnerungen, S. 212; *Elias N.* Über den Prozeß der Zivilisation. Bd. I. Frankfurt/M., 1977. S. 42; *Beard*, Nervousness, S. 339.
102. *Diesel E.* Autoreise 1905. Stuttgart, 1949. S. 96 f.; *Wirth*, S. 542; *Nietzsche*, Fröhliche Wissenschaft, 329. Aphorismus.

103. F. Reuleaux und die deutsche Industrie auf der Weltausstellung in Philadelphia. Leipzig, 1876. S. 8; *Hirschkron*, S. 21; *Valentin V.* Geschichte der dt. Revolution von 1848–1849. Bd. I. Frankfurt/M., 1977. S. 266; *v. Rochau L.A.* Grundsätze der Realpolitik / von H.-U. Wehler (Hrsg.). Frankfurt/M., 1972. S. 253; Трейчке в 1862 году говорит о «толстокожем филистерстве» (см.: *Treitschke*, Briefe, Bd. II, S. 208); *Elias*, S. 121; *Whitman*, Deutschland, S. 196 ff. ("Der Philister"); *Keim*, S. 271; *Claß*, Kaiser, S. 187; *Tirpitz*, Erinnerungen, S. 53.
104. *Bülow*, Bd. I, S. 406; *Chickering*, We Men, S. 166; *Bülow*, Bd. I, S. 476; *Spitzemberg*, S. 249; *Claß*, Strom, S. 60 f.
105. *Playne*, S. 450 f.; *Naumann*, Demokratie, S. 26, 37; «Старонемецкое было ближе к природе, медленнее, веселее и мягче» (см.: *Playne*, Mitteleuropa. Berlin, 1915. S. 109).
106. *Playne* S. 69; *Krumrey H.-V.* Entwicklungsstrukturen von Verhaltensstandarden. Frankfurt/M., 1984. S. 38; *Riehl W.H.* Naturgeschichte des dt. Volkes (Kurzausgabe). Stuttgart, 1935. S. 80; *Schmitz*, S. 215 ff.; *Krumrey*, S. 123, 262; вероятно, ненависть Вебера была направлена в первую очередь на гедонистические воззрения его отца (см.: *Weber M.*, Gesamtausgabe, Bd. II, Nr. 5, S. 33). *Harnack A.* Das Wesen des Christentums. Leipzig, ^{2}1900, S. 177; *Oppenheim J.*, S. 147.
107. *Schnitzler*, S. 92; *Erb*, Nervosität, S. 15; *Pelman*, Nervosität, S. 132; *Weber*, Aufsätze, S. 247 (сноска); *Hilty*, Neurasthenie, S. 21, 111 f.; подобно: Бинсвангер — также урожденный швейцарец (см.: *Binswanger*, Pathologie, S. 357).
108. *Marie*, S. 440 ff.; *Arndt*, Neurasthenie, S. 116 ff.; *Löwenfeld*, Pathologie, S. 45, 303 f.; *Löwenfeld*, National-Charakter, S. 2, 8; *Eulenburg*, Nervosität unserer Zeit, S. 318, 307, 303 (сноска); *Dornblüth*, Psychoneurosen, S. 381 f.
109. *Bismarck*, Ged. u. Erinn., Bd. II, 11. Kap.; *Moltke*, S. 201; *Winzen*, S. 47; в той же речи от 14.11.1906 года, в которой Бюлов говорил о том, что «мы» в Германии стали «слишком нервозны», он воспевал «живость французского патриотизма», в чужих глазах «преувеличенную любовь к себе», видя в ней «национальную гордость, достойную подражания». Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des Reichstags, Bd. XI, Nr. 5, S. 3623. Цедлиц-Трютцшлер в 1906 году соглашался с Щирски в том, что французские внутренние войны были выражением не слабости, а силы, т.е. интерпретация, противоположная интерпретации Хилти (см.: *Zedlitz-Trützschler*, S. 146). Nouvel esprit см.: *Nippold*, *Bernhardi*, Weltreise, S. 64.
110. О Трейчке см.: *Boehlich W.* (Hrsg.). Der Berliner Antisemitismusstreit. Frankfurt/M., 1965. S. 11; *Claß*, Kaiser, S. 32; *Müller-Freienfels*, S. 231 f.
111. *Goldstein*, Wandering Jew, S. 536; *Mosso*, S. 325; *Erb*, Nervosität, S. 19; *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 54; *Engländer*, S. 23 f.; *Müller F.C.*, Handbuch, S. 65; *Binswanger*, Pathologie, S. 46; *Mosse, Tugendreich*, S. 404 f.; *Tschoetschel*, S. 300; *Frigyes*, S. 9 f.

112. *Shorter*, Mind, S. 100.
113. *Shorter*, Women, S. 179 ff.; *Myerson*; *Cohn T.*, Nervenkrankheiten; *Frigyes*; *Löwenfeld*, Pathologie, S. 45; *Oppenheim*, Nervenleiden, S. 43; *Cramer*, Nervosität, S. 35 f.; подобно: *Stulz*, S. 22 f. Врач и антрополог русского происхождения Морис Фишберг, преподававший в Университете Нью-Йорка, в 1911 году писал, что каждый врач знает — «евреи известны своим страстным интересом к функциональным расстройствам нервной системы». «Их нервные структуры находятся под постоянным напряжением, и малейшее нарушение повреждает их бесперебойную конституцию». В Еврейской энциклопедии он даже писал, что «многие врачи, имеющие большой опыт работы с евреями, утверждают даже, что большинство из них неврастеничны или истеричны». *Gilman*, Rasse, S. 196; *Lewis*, S. 16; *Tschoetschel*, S. 307 f. Часто предполагается, что восточные евреи более склонны к истерии, в то время как немецкие евреи еще и в сегодняшнем Израиле считаются наиболее чувствительными к шуму.
114. ZKD 441/1775; AW, L. S. (1911), E. Sch. (1909), G.M.-B. (1903/04).
115. *Mosse*, Nordau, S. 567, 574; *Lessing*, Einmal, S. 397; *Marwedel*, S. 141; *Becker*, Jüd. Nervosität, S. 16 f., 27; *Becker*, Nervosität bei den Juden. У истоков сионизма стоял русско-еврейский врач Лев Пинскер, исходивший из того, что евреи — очень больной народ. В глазах главного раввина Вены Адольфа Йеллинека идеи Пинскера были в свою очередь выражением нервного расстройства (см.: *Laqueur W.* Der Weg zum Staat Israel. Wien, 1972, S. 90 f.).
116. *Fontane*-Briefe, Bd. IV, S. 49; *Hamann*, Hitlers Wien, S. 331 f.
117. *Nipperdey*, Nachdenken, S. 262; *Schmoller G.* Zwanzig Jahre dt. Politik. München, 1920. S. 34.
118. Gnothi sauton, Bd. I, S. 252; о Зальцмане см.: *Lütkehaus*, S. 26 f., 117 ff.; *Shorter*, History, S. 57; *Rochau* (см. примеч. 103), S. 250. Были и такие, кто уже и до 1870 года полагал, что на пути к объединению Германию ждут кровопролитные бои на нескольких фронтах (см.: *Treitschke*, Briefe, Bd. II, S. 40 (1859)).
119. Один из немногих контрпримеров представляет собой Теодор Лессинг (см.: *Lessing T.* Einmal und nie wieder, S. 392 ff.). Но именно в его случае национализм служил лишь очень временным душевным пристанищем!
120. *Boehlich* (см. примеч. 110), S. 13; *Treitschke*, Briefe, Bd. II, 227, 287; *Treitschke*, Ausgewählte Schriften, Bd. II. Leipzig, 1907. S. 329 f. (Essay über Hebbel, 1860). «Национальную гордость немцев» в своей «незрелой форме» он описывает как «то перевозбужденную, то тупую» (см.: *Treitschke*, Geschichte, Bd. V, S. 381). *Kupisch K.* Die Hieroglyphe Gottes. München, 1967. S. 98.
121. *Anderson B.* Die Erfindung der Nation. Frankfurt/M., 1993. S. 142; *Observator*, S. 36, 13; *Wilken*, S. 90.
122. R. Wagner an Ludwig, Bd. II (31.3.1880); *Bahr*, S. 33 f.; *Harden*, Köpfe, Bd. I, S. 67; подобно писал уважаемый Гарденом Гурлитт: «Все завихрения и штормы

немецкого образования становятся ясны, если видеть в нем продукт народа физически слабого, со слабым телом... Нам не хватает силы мускулов и нервов». Он рисует образ «застольного филистера» с «картофельным и пивным животом» и учителя старшей школы с «лицом прыщавым и угреватым» (см.: *Gurlitt*, Erziehungslehre, S. 321). *Eulenburg*-Korr., Bd. III, S. 2090 f.; *Bülow*, Bd. II, S. 324; *Moltke*, S. 288 f., 247; *Klenke D.* Bürgerlicher Männergesang und Politik in Deutschland // GWU, 40/1989, S. 473; *Gaupp*, Wachsende Nervosität, S. 28.

123. *Hess M*. Rom und Jerusalem (1862). ND Wien, 1935. S. 204 f.; "Freßvereine" // Der Naturarzt, 33/1905, S. 252.
124. «Нас любят меньше, чем прежде...» (см.: *Harden*, Apostata, S. 62); «Во всех странах немцев сегодня не любят так, как никакой другой народ» (*Schmitz*, S. 35).
125. *Hentschel V.* Geschichte der dt. Sozialpolitik 1880–1980. Frankfurt/M., 1983. S. 28; *Kleeis F.* Die Geschichte der sozialen Versicherung in Deutschland (1928). Berlin, 1981. S. 137 f.
126. *Oppenheim*, Lehrbuch, Bd. II, S. 1855 f.; *Eghigian G.* Die Bürokratie und das Entstehen von Krankheit: Die Politik und die "Rentenneurosen" 1890–1926 // Reulecke, Castell, Rüdenhausen, S. 208.
127. *Fischer-Homberger*, Neurose, S. 10, 130; об английских истоках см.: *Harrington*, S. 18; *Savill*, S. 61; *Riese*, S. 26. Впервые понятие появляется в Германии у Штрюмпеля, см.: *v. Strümpell A.* Über die traumat. Neurosen. Berlin, 1888. Э.М. Каплан описывает, как американские железнодорожные врачи ратовали за психическую этиологию «железнодорожного позвоночника», чтобы остановить рост требований о возмещении ущерба к железнодорожным компаниям (см.: *Caplan E.M.* Trains, Brains, and Sprains: Railway Spine and the Origins of Psychoneuroses // Bull. of the History of Medicine. 1995. Vol. 69. P. 387–419).
128. О карьере Оппенгейма см.: *Pantel*, S. 80, 86; *Hellpach*, Wirken, Bd. I, S. 355 f., 368 f. Оппенгейм также считает, что травматический невроз возникает в мозге, а не непосредственно в затронутом органе, и в этом смысле он также не так далек от психической трактовки (см.: *Oppenheim H.* Wie sind diejenigen Fälle von Neurasthenie aufzufassen, welche sich nach Erschütterungen des Rückenmarks insbes. nach Eisenbahnunfällen entwickeln? // Dt. Medizin. Wochenschrift. 1888. Hf. 16. S. 195 f.). *Fischer-Homberger*, S. 89. А вот Гельпах — против, по его словам (уже в 1904 году), травматический невроз «лежит под паром». Даже Оппенгейма он больше не интересует» (см.: *Hellpach*, Grundlinien, S. 400). Так что научным авторитетом никак нельзя объяснить существование травматического невроза!
129. *Weber W.* Technik und Sicherheit in der dt. Industriegesellschaft 1850–1930. Wuppertal, 1986; BA R 39/342.

130. *Westphal K.* Einige Fälle von Erkrankung des Nervensystems nach Verletzung auf Eisenbahnen // Charite-Annalen. 1880. Bd. 5. S. 379, 394; *Horn*, Erkrankungen, S. 12, 32 ff., 165 f.; статистические данные психиатрической клиники Дерптского университета за 1896–1913 годы показали, что среди пациентов с травматическими неврозами 73% были железнодорожными служащими (см.: *Tschoetschel*, S. 297).
131. *Eulenburg*, Nerven- und Geisteskrankheiten, S. 31; Курелла, также занимавшийся психологией преступников, при разборе другого случая (Браунштейн), приводит непривычные аргументы: на нем лежит «обоснованное подозрение, что во время свадебного путешествия он отравил свою жену, чтобы присвоить ее состояние». Подобные человеческие типы обыкновенно выделяются «воистину демонической лживостью» (*Kurella*, S. 44, 38 f.).
132. *Fischer-Homberger*, Begriff "Krankheit", S. 231; *Fischer-Homberger*, Neurose, S. 124; *Riese*, S. 28; *Möbius*, Neurolog. Beitrage, Bd. I, S. 54, Bd. V, S. 94; *Möbius*, Bemerkungen über Simulation.
133. *Hoche*, Werkstatt, S. 16. Гельпах совершенно справедливо указывал, что сам Бисмарк спекулировал на «рентомании» у рабочих (*Hellpach*, Unfallneurosen, S. 607). Профсоюзы, которые в то время еще мало занимались социальным страхованием, в вопросах профессиональных заболеваний вели себя на удивление нейтрально (см.: *Hohmann J.S.* Berufskrankheiten in der Unfallversicherung. Köln, 1984. S. 61, 65). Рудольф Виссель резко отвергал непродуманные и слишком общие возражения против травматического невроза, однако в остальном удовлетворился едким замечанием о широком поле медицинского невежества (*Wissell R.* // Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands. 1911. Bd. 21. Nr. 43. S. 133 f.).
134. *Bernhard*, Folgen, S. 48, 73; *Brentano*, S. 299 ff.; *Nipperdey*, Bd. II, S. 574.
135. *Placzek*, Unfälle; *Stursberg*, *Weber*. Müssen Unfälle nervöse Folgen haben? // Ärztl. Sachverständ.-Zeitung. 1914. Nr. 20. S. 81 ff.
136. *Bumke*, Lehrbuch, S. 240; *Horstmann*. Zur traumat. Neurose // Ärztl. Sachverstand.-Zeitung. 1914. Nr. 20. S. 417 ff.; *Forster*, S. 76; о том, какой психотеррор использовал Форстер в своем электролечении, см.: *Fischer-Homberger*, Neurose, S. 150 f.; S. 89 ff.; *Komo*, S. 76 ff.; *Oppenheim*, Krieg; *Oppenheim*, Lehrbuch, Bd. II, S. 1850 (Nonne); *Schultz*, S. 173.
137. *Hildebrandt*, S. 720; позже Хильдебрандт считал резкое недоверие по отношению к претендентам на получение ренты пробным камнем «мужественного, сильного настроя»! *Damm S., Emmerich N.* // Totgeschwiegen 1933–1945. Zur Gesch. der Wittenauer Heilstätten. Berlin, ^{2}1989. S. 43 f. *Bumke*, Lehrbuch, S. 318; *Levy-Suhl*, Ausrottungskampf; *Fischer-Homberger*, Neurose, S. 199 f.

138. *Billström*, S. 18; подобно: *Stursberg*, S. 8, 12; *Eghigian* (см. примеч. 126), S. 208.
139. *Horn*, Erkrankungen, S. 15; *Laquer L.*, S. 68; *Bresler*, Rentenkampfneurose, S. 12 f.; BA, R. 89/15112 (2.9.1912).
140. *Scheunert*, S. 270; *Hoche*, Werkstatt, S. 16; *Fischer-Homberger*, Neurose, S. 187, 192; *Oppenheim*, Krieg, S. 258; об Ашаффенбурге см.: *Curschmann*, S. 802, 806; *Weizsäcker*, Begegnungen, S. 82 f.
141. *Gaupp*, Einfluß, S. 2235; *Kommerell*, S. 313.
142. *Huerkamp*, Aufstieg, S. 286 ff., 298 ff.; BA, R 89/342 (*Wilmann*, Traumat. Neurose und gesunder Menschenverstand // Ärztl. Vereinsblatt, Dez. 1896); о «задней дверце» сравн. с: *Horn*, Nutzbarmachung; *Laquer L.*, S. 4, 13.
143. BA, R 89/21400 (Fall A. Lindemann); *Eghigian* (см. примеч. 126), S. 206, 212.
144. *Fischer-Homberger*, Begriff "Krankheit", S. 233; подобно: *Stursberg*, S. 30.
145. KBoN, B 488.
146. BA, R 89/15112 (Fall B. Müller); *Siegfried*; о «неврастенической спешке» как признаке исцеления от травматического невроза см.: *Laquer L.*, S. 77; о «неврастении» и «истерии» как аргументе против признания профессиональных заболеваний в химической промышленности около 1930 года см.: *Andersen A.* Histor. Technikfolgenabschätzung am Beispiel des Metallhüttenwesens und der Chemieind. 1850–1933. Stuttgart, 1996. S. 415 f., 417 ff.
147. *Seelert*, S. 335; *Liek*, Arzt und seine Sendung, S. 61; о Лике см.: *Kater M.H.* Die Medizin im nationalsoz. Deutschland und Erwin Liek // GG, 1990. Bd. 16. bes. S. 443; *Binswanger*, Pathologie, S. 54; *Meltzer*; *Laquer L.*, S. 25; *Huret*, S. 242 f.; *Hübschmann*, S. 83. О курортном лечении для государственных служащих см.: *Mann L.* Über das "Beamtenfürsorgegesetz" ... // Ärztl. Sachverständ.-Zeitung, 1907, Nr. 2–4. Правда, есть признаки того, что в 1920-е годы — т.е. в то время, когда в науке время неврастении уже ушло в прошлое — нагрузки на кассы из-за неврастеников значительно возросли (см.: *Stier*, Soziologie der Nervosität, S. 630; *Boenheim F.* Über Neurasthenie // Soziale Medizin. 1929. Nr. 9. S. 434 f.). Это могло бы объяснить раздражение Лика.
148. *Neumann M.*, S. 514; LHK 403, 8438; Vorstandsbericht der LVA 1908.
149. BA, R 89/13524; *Laubenberg K.E.* Frauenkrankheiten als Erwerbskrankheiten // Archiv für Frauenkunde u. Eugenetik, 3/1817, S. 62 f.

V. ПОВОРОТ К ВОЛЕ И НАЧАЛО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕРВОЗНОСТИ

1. О терапии покоя в лечебницах для легочных больных см.: *Dubos R.J.* The White Plague. New Brunswick, 1992. P. 149, 152, 176, 181; *Châtelain*, S. 81.
2. *Marx E.* 50 Jahre v. Ehrenwall'sche Kuranstalt 1877–1927. Ahrweiler, 1927; AW, H. Schl. (1887).

3. *Möbius P.J.* Über den Kopfschmerz. Halle, 1902. S. 39 f.; *Binswanger*, Pathologie, S. 377 ff.
4. *Pelman*, Errichtung, S. 443 f.; HStAD, Reg. Düss. 54106; *Kraepelin*, Hygiene, S. 26.
5. *Freyre G.* Das Land in der Stadt. München, 1990. S. 305.
6. *Göhre P.* Drei Monate Fabrikarbeiter... Gütersloh, 1978. S. 7.
7. *Möbius,* Behandlung, S. 26; Крамер видел в подобной однотонности «одно из главных средств восстановления неврастеника» (см.: *Cramer*, Nervosität, S. 165 f.).
8. *Röper*, S. 148; *Binswanger*, Pathologie, S. 293.
9. AW, H.R. (1901); ZKD 441/1725 и 1775.
10. *Morris*, S. 224; *Bernd*, S. 154, 158; *Hufeland*, S. 230, 239 f.; *Pisa K.* Schopenhauer. München, 1978. S. 281; *Schopenhauer*, Sämtl. Werke, Bd. II, Wiesbaden, 1965. S. 390.
11. *Lévy*, S. 155; *Gide-Valéry*, S. 442; *Morris*, S. 157 ff.; *Lutz*, S. 224 ff.; *Porter*, History of Madness, p. 119, 213 f.; *Wessely*, S. 45 f.; *Hippokrates.* Ausgewählte Schriften. Stuttgart, 1994. S. 111 (= IX 204).
12. *Ellenberger*, S. 140 ff., 165, 241 f.; *Gauld*, S. 421 ff.; *Hirschmüller*, S. 214; *Schrenck-Notzing*; *Thorwald J.* Report der Toten. München, 1964. S. 36; *Strumpell*, Entstehung, S. 14 ff.; *Schultz*, S. 59; *Dubois*, S. 148, 404; подобные суждения см.: *Cramer*, Nervosität, S. 351; Elektrotherapeut. Streitfragen, S. 62 f.
13. *Moll*, Leben, S. 30 f.; *Wachtelborn K.* Der hypnotisierte deutsche Naturheilbund // Reformbll. 1899. Nr. 2. S. 89 ff.; *Wachtelborn K.* Keine Hypnose // Ibid., S. 191 ff.; *Kreiselmayer*, Einige Gedanken über Hypnose // Reformbll. 1900. Nr. 3. S. 94 ff.
14. *Moll*, Leben, S. 42; *Forel*, Rückblick, S. 247; *Gauld*, S. 351; *Steiner A.*, S. 69; *Möbius*, Neurolog. Beiträge, Bd. II, S. 82; Лотс также пишет, что в случае нервозности гипноз не действует (см.: *Lots*, 1908. S. 15).
15. *Strümpell*, Entstehung, S. 17; *Forel*, S. 139; а также: *Schultz*, S. 42; *Binswanger*, Pathologie, S. 389; такой же скептицизм проявляет Бинсвангер, см.: *Binswanger R.* Über die Erfolge der Suggestivtherapie. Wiesbaden, 1892. *Krafft-Ebing*, S. 130; *Bilz*, Bd. I, S. 565; *Löwenfeld*, Pathologie, S. 692; *Gauld*, S. 422, 474 ff.; *Schrenck-Notzing*, S. 7, 46; *Schrenck-Notzing* // *Müller F.C.*, Handbuch, S. 573 ff.
16. *Ellenberger*, S. 251 ff.; Hypnose, Suggestion (см. примеч. 13); *Regin*, Selbsthilfe, S. 72; *Regin*, Naturheilkundige, S. 190 f.; *Schrenck-Notzing*, S. 22; *Dubois*, S. 400; *Moll*, Leben, S. 43; *Komo*, S. 77.
17. *Bertz*, S. 180; *Bachmann V.* Der Traum vom Schwimmpalast. Bielefeld, 1993. S. 34 f.; *Simmel*, S. 93.
18. *Keller*, S. 3 ff.; ZKD 441/1968; *Deutsch*, S. 207 ff.; *Pelman*, Errichtung, S. 446; подобные взгляды см.: *Steding*, S. 37; о Гейнроте см.: Univ.-Archiv Leipzig, Ms. 713, Bd. I; *Geissler*, S. 995; подобно писал Эренвалль уже в 1898 году; о скеп-

тицизме по поводу трудовой терапии см.: *Grotjahn*, Krankenhauswesen, S. 197 ff. Книга Удо Зирка создает ложное впечатление о том, что трудовая терапия — это концепт, появившийся лишь в 1920-е годы и что в своем содержании она определялась, прежде всего, экономическим давлением (см. в: *Sierck U.* Arbeit ist die beste Medizin. Hamburg, 1992). О «Дом Шёнов» см.: BA, R 89/6904 (15. Bericht).

19. *Lukes S.* Émile Durkheim. London, 1992. P. 551; *Durkheim E.* Über Deutschland. Konstanz, 1995. S. 287 ff.; *Gebhardt*, S. 4; *Ellenberger*, S. 137 ff.; *Lévy*, S. 8, 10, 151 ff.; *Nye*, S. 35, 39, 41.
20. *Röhl*, Wilhelm II, S. 79; *Oppenheim J.*, S. 296, 387, 317 f.; McCandless // Journal of the History of Behavioral Sciences. 1992. No. 28. P. 236; *Wilde O.* Dorian Gray. 19. Kap.
21. *Marcuse L.* Amerikan. Philosophieren. Hamburg, 1959. S. 58 ff., 68; *Feinstein H.M.* The Use and Abuse of Illness in the James Family Circle // Brugger R.J. (eds). Our Selves — Our Past. Baltimore, 1981. P. 230 ff.; *Lutz*, S. 75 f., 66 f., 32, 12; *Kugelman*, S. 80 ff.; *Hearnshaw*, S. 143 ff.; *Lears*, S. 53.
22. *Bleuler E.* Lehrbuch der Psychiatrie. Berlin, [4]1923. S. 435 f. (Kraepelin); *Schultz*, S. 47 (Rosenbach); *Schröder C.* Der Streit der Ärzte um das Seelenheil (Ms., Universität Leipzig), S. 14 (Lévy); *Birnbaum*, Willensschwäche, S. 3; AW, S. Sz. (1907). В связи с Эрбах-Эрбахом в Арвайлере существует обширное дело с многочисленными вырезками из газет 1907–1909 годов. Его суть передают выдержки из стиха: «Намаявшись вначале от юбок да гуляний / угодил в нервную лечебницу / Но сбежал оттуда / в Баварию, в Вюрцбург / там психиатры не так просты / Ему сказали ясно и честно / Несмотря на девиц / совершенно безопасен / этот господин почтенного рода / боюсь, потом / в Баварии скажут / Кто здесь еще нормален / для Пруссии безумен!»
23. *Marcinowski*, Nervosität, S. 117 f.; это была его самая любимая мысль, ср.: *Marcinowski*, Kampf, S. 43, 93, 103, 114.
24. *Ostwald*, Lebenslinien, Bd. III, S. 47 f.; *Gerhardt, Adam*, Bodelschwingh, Bd. II, S. 72; *Hesse*, Kindheit, Bd. I, S. 254; *Steiner R.*, S. 26.
25. *Hoche*, Handbuch, S. 477; *Forel A.* Wie Ansichten entstehen // ZU. 1902. Bd. 41. S. 17; *Dubois*, S. 49; *Wentscher*, S. 3.
26. *Hirschkron*, S. 26, 75, 133, 136.
27. *Vomáčka*, S. 132 ff.; *Scharrelmann H.* Schule und Haus im Kampfe gegen den Alkoholismus // Reformbll. 1907. 10. S. 237; о будущем на воде см.: *Diehl Chr.* // Der Naturarzt. 1906. Bd. 34. S. 26; о гимнастике воли см.: Ibid. S. 122 ff.; о Траубе см.: *Traub* // Der Naturarzt. 1907. Bd. 35. S. 299 f.
28. IV. Internat. Kongreß zur Fürsorge für Geisteskranke. Halle, 1911. S. 126, 113; *v. Weizsacker V.* Soziolog. Bed. der nervösen Krankheiten // Zentralblatt für Psychotherapie. 1935. Bd. 8. S. 301; *v. Weizsacker V.*, Natur, S. 179.
29. *Schröder* (см. примеч. 22), S. 37; *Gebhardt*, S. 28, 66 f., 184.

30. *Dubois*, S. 68 f.; о ранней истории конфликта см.: *Kaufmann*, S. 305 ff. Такой отъявленный соматик, как Наунин, со своим учением о нервозности вошел в особенно острый конфликт с юристами и теологами (см.: *Naunyn*, Anschauungen, S. 1243 f., 1252). *Engstrom E.J.* Emil Kraepelin. Magisterarbeit. München, 1990. S. 124 ff.
31. *Cleaves*, S. 108, 65; *Forel*, Rückblick, S. 131; Anti-Rüpel, Jg. 1910, S. 4; AW, RM. (1918); *Müller J.* Vom Geheimnis des Lebens. Stuttgart, 1937. S. 55 f.; HStAW 430/1, 10562, Bl. 15, 18, 20; AW, S. Sz. (1907); *Loewenstein E.*, S. 9.
32. *Schleich*, Schaltwerk, S. 133, 135; Ibid., S. 163 f.: в августе 1914 года Шлейх радовался: теперь все «нивелировано и униформировано в угоду общенациональной воле». Он был уверен, что душе пойдет на пользу, «если элементарные напряжения через систему нашей нервной возбудимости будут разряжаться в неудержимые потоки» (см.: *Schleich*, Schaltwerk, S. 163 f.). О музыканте см.: StAFfm, NK, Büschel 148 (O.H.).
33. *Hellpach*, Grundlinien, S. 483, 494; *Rogge*, S. 259; *Zentner K.* Kaiserliche Zeiten. München, 1964. S. 137; *Liman*, S. 91; *Mogge/Reulecke*, S. 284; *Lerner P.* "Ein Sieg deutschen Willens": Wille und Gemeinschaft in der deutschen Kriegspsychiatrie // Eckart, Gradmann, S. 85 ff.
34. Exotische Welten — Europäische Phantasien. Stuttgart, 1987. S. 355 (Théophile Gautier); *Dubos*, White Plague, S. 26; *Rolt L.T.C.* Isambard K. Brunel. Harmondsworth, 1970. P. 372 f.; *Oppenheim J.*, S. 90, 129 f.; *Eyth*, Bd. I, S. 67; *Eyth*, Hinter Pflug und Schraubstock S. 497; *Kraepelin*, Lebenserinnerungen, S. 106; *Bülow*, Bd. II, S. 106.
35. Adrian Balbis Allg. Erdbeschreibung, Bd. I, Wien, [8]1893, S. 957 f.; *Finckh L.* Biskra. Stuttgart, 1906. S. 64 f., 67; *Köhler J.* Zarathustras Geheimnis. Nördlingen, 1989. S. 311, 365, 586 f.; *Weber M.*, S. 275; *Forel*, Rückblick, S. 235; *Bülow*, Bd. IV, S. 543 f.
36. *Wollschläger H.* Karl May. Dresden, 1989. S. 229 f.; *Heuss*, S. 66, 107, 126 f., 136 f., 160, 256, 513; *Naumann*, Asia, S. 64 ff., 70 f., 143 ff.; *Brentano*, S. 276.
37. Об иррациональности поездок Вильгельма II по Ближнему Востоку см.: *Lindow*, S. 44 ff.; *Rohrbach*, S. 162 f.; ассоциации с Вавилоном см.: Ibid., S. 87, 91, 158; *Fischer*, S. 436 ff.; ZU, 1908. Bd. 64. S. 81 f.; *Peters*, S. 184, 403; *Westphal*, S. 76; *Wehler*, Bismarck, S. 337 f.
38. ZKD 441/969; *Wehler*, S. 150 f., 166; о медицинском значении «полнокровие» см.: *Fischer-Homberger E.*, Krankheit Frau, S. 47; Трейчке в 1851 году предполагал, что он «слишком полнокровен» и «злые соки» затрудняют его слух (см.: *Treitschke*, Briefe, Bd. I, S. 80). Супруга Гефкена утверждала, что тот «не властен над своими чувствами» (см.: *Bamberger*, S. 427).
39. *Winzen*, S. 31 f., 34, 26; *Langbehn*, Rembrandt als Erzieher, S. 267; *Bülow*, Deutsche Politik, S. 297; *Gradmann*, Bazillen.
40. *Claß*, Kaiser, S. 22, 38 f., 53, 104 f., 182, 233 f.; *Sombart N.*, Männer, S. 40; *Weller*, S. 47, 21, 230, 187; *Holstein*-Papiere, Bd. IV, S. 443.

41. *Hilty*, Neurasthenie, S. 108 f.
42. *Fesser*, S. 42; *Bülow*, Bd. I, S. 193; *Winzen* // Winzen (Hrsg.). Bülow, Deutsche Politik. Bonn, 1992. S. 35 f.; *Fesser*, S. 47. О культе солнца в терапии: в то время, прежде всего в литературе по туберкулезу, часто говорили: «Куда не заходит солнце, приходит врач». «Природа предназначила человека для теплых областей», — учил Бильц. На рекламе его санатория в Радебойле была изображена нагая солнцепоклонница между египетскими колоннами (см.: *Bilz*, Bd. IV, S. 709). Совсем иная терапевтическая философия лежала в основе набирающего популярность культа Севера — оздоровление благодаря холоду, закалке. В основу романа-утопии 1913 года («Гольфстрим» Ханса Людвига Розеггера) был положен сюжет о том, как американцы хитроумно разворачивают Гольфстрим и погружают Европу в новый ледниковый период, однако таким образом невольно спасают германскую расу от «распада» (см.: *Nagl M.* Science Fiction in Deutschland. Tübingen, 1972. S. 90 f.).
43. О «будущем на воде» см.: примеч. 27; *Gurlitt*, Erziehung, S. 2; *Bilz*, Bd. IV, S. 571; *Monts*, S. 72; Гольштейн, напротив, не ценил ни Тирпитца, ни Нордернея и моря (см.: *Holstein*, Briefe, S. 242 f.).
44. *Winzen*, S. 423; *Delbrück*, S. 364.
45. *Harden*, Köpfe, Bd. I, S. 119; *Holstein*-Papiere, Bd. IV, S. 441, 371; *Holstein*-Briefe, S. 245, 255; *Rogge*, S. 103 f.; *Monts*, S. 430; *Hull*, S. 129; *Bülow*, Bd. II, S. 301, 215; *Monts*, S. 438 f., 442.
46. *Bülow*-Schriften, Bd. I, S. LXVI; *Whitman*, Erinnerungen, S. 274; *Bülow*, Bd. IV, S. 557; *Massie*, S. 177. Об обмороке см.: Stenograph. Berichte über die Verhandl. des Reichstags, XI. Leg. periode, Bd. 216, S. 2633; *Monts*, S. 442 ff.; *Hull I.V.* B. v. Bülow // Sternburg W. v. (Hrsg.). Die deutschen Kanzler. Königstein/Ts., 1985. S. 78 ff.; *Bülow*, Bd. II, S. 229 f., 234.
47. Stenograph. Ber., XI. Leg. periode, Bd. 218, S. 3620, 3622–3634; *Monts*, S. 446; об Италии см.: Ibid., S. 413, 330, 342; *Muschler* // F. Thimme, S. 376 f.; *Naumann*, Demokratie, S. 144; *Kaminski H.-E.* // Weltbühne, 1930/II. S. 541. *Bülow*, Bd. II, S. 263 ff. О Бассермане см.: *Förster*, S. 151 f., 177 f.; *Claß*, Kaiser, S. 204 ff. Der Naturarzt, 1906. Bd. 34. S. 36 (J. Müller); *Klenke*, Gesangsveredelung, S. 133.
48. *Röhl*, Schwelle, S. 125; *Bethmann Hollweg*, S. 49, 105.
49. *Mogge/Reulecke*, S. 299; *Peters M.*, S. 179; *Liebig*, Bd. I, S. 150; *Bülow*, Bd. III, S. 159; *Wolff*, S. 39.
50. Цитату из Осецкого см.: *Weltbühne*, 1931/I, S. 328 (псевдоним Celsus); о ценности «Воспоминаний» как источника см.: *Thimme F.* (Hrsg.). Front wider Bülow; более позитивный взгляд («блестящий учебник высокой политики») см.: *Kehr,* S. 282; *v. Gärtringen H.*, S. 6 f. (сноска); *Röhl*, Kaiser, S. 19 f. *Bülow*, Bd. II, S. 295, 69.
51. *Weller*, S. 143; *Claß*, Kaiser, S. 187; *Claß*, Strom, S. 21, 233, 281; *Bernhardi*, Weltreise, S. 7; *Fischer F.* Juli 1914: Wir sind nicht hineingeschliddert. Reinbek,

1983. S. 101; подобно: *Spitzemberg*, S. 258. Людвиг Гурлитт также резко критикует немецкую систему образования, подтверждая упреки в нервном перевозбуждении (см.: *Gurlitt*, Erziehung zur Mannhaftigkeit, S. 156 f.).

52. *Bamberger*, S. 153, 241; *Alff W.* Materialien zum Kontinuitätsproblem der dt. Geschichte. Frankfurt/M., 1976. S. 63 f.; *Friedjung*, Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland, Bd. II, S. 69. То, что война 1870–1871 годов практически не появляется в анамнезах, тем более удивительно, что в США после 1945 года еще десятки лет было множество пациентов, которых с момента окончания войны преследовало чувство пустоты и бессмысленности бытия (см.: *Sacks O.* Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Reinbek, 1987. S. 53 (сноска)).
53. *Frevert*, Ehrenmänner, S. 141, 151, 195; Кевин МакАлир критически замечает, что Уте Фреверт преувеличивает значение «чести», идеализирует дуэль и толкует ее излишне рационально. То, что он считает «честью» — не более чем хроническая нервная болезнь класса досужих бездельников...» (см.: *McAleer K.* What Price Glory // Werkstatt Geschichte. Juli 1995. Nr. 11. S. 57). *Krafft-Ebing*, Lehrbuch, S. 263; *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 85; *Elias*, S. 146 (*Bloem W.*, Der krasse Fuchs).
54. *Stearns*, Be A Man, p. 51 ff., 57; *Sombart*, Wirtschaft und Mode, S. 9 f.; о Келлермане см.: Quiguer, S. 295 ff. und *Wuckel D.* Science Fiction. Leipzig, 1986. S. 88 ff.; *Lutz*, S. 81.
55. *Bertz*, S. 104; *Oppenheim J.*, S. 150 f.; *Nye*, S. 52 ff.; *Eisenberg C.* Fußball in Deutschland 1890–1914 // GG. 1994. Bd. 20. S. 181, 183, 187, 189; *Klenke*, Gemeinschaftsideal, S. 221; *Götte C.*, "Frisch, fromm, fröhlich, frei" // Dt. Schützen- und Wehrzeitung, 1863, S. 57 f. (Mitt. von Svenja Goltermann); *Treitschke*, Geschichte, Bd. I, S. 307, Bd. II, S. 383 ff.
56. Nervenkrank, S. 5; *Zweig*, S. 226 f., 17; «Если бы мне нужно было воспитывать детей, я развивал бы их физические способности и с раннего возраста учил бы их общению — словом, полная противоположность мне самому» (см.: *Holstein*-Briefe, S. 182 (1897)).
57. *Zedlitz-Trützschler*, S. 124; *Blunck R.* Hugo Junkers. Düsseldorf, 1951. S. 12 f.
58. *Zedlitz-Trützschler*, S. 228 f.; *Massie*, S. 176; *Claß*, Kaiser, S. 226; *Bülow*, Bd. II, S. 411, 413.
59. *Görlitz*, S. 178; *Spitzemberg*, S. 254; *Liman*, S. 155; Große Politik, Bd. 33, S. 164 f.; *Eulenburg*-Korr., Bd. II, S. 2203.
60. *Sombart N.*, S. 40 f.; *Wolff*, S. 229; *Claß*, Strom, S. 158 f., 219, 228 f.
61. *Rogge* // *Holstein*-Briefe, S. XXXVIII; *Kiderlen*, Bd. II, S. 22; *Lindow*, S. 60; подобно: S. 67 f., 70 f.; *Bülow*, Bd. III, S. 122.
62. *Spitzemberg*, S. 254 f., 259, 264; *Kiderlen*, Bd. I, S. 34; цитату Валентина см.: *Valentin* // Weltbühne, 1924/II, S. 250, 252, 255; Ганс Фюрстенберг также пишет о Кидерлене: «Наконец-то в кресло Бисмарка вновь сел настоящий

парень». Подобные формулировки очевидно приклеивались к Кидерлену и ассоциировались с ним даже у тех, кто не одобрял его внешнеполитический рискованный курс (см.: *Fürstenberg H.* Carl Fürstenberg — Die Lebensgeschichte eines deutschen Bankiers. Wiesbaden, 1961. S. 551).

63. *Kiderlen*, Bd. II, S. 92 (сноска); *Haller*, Eulenburg, S. 232 ff.; *Claß*, Kaiser S. 11; *Claß*, Strom, S. 223 ff.
64. *Bülow*, Bd. III, S. 87; *Bernhardi*, Denkwürdigkeiten, S. 352; были и внутриполитические причины считать Бетмана «мягким» (см.: *Nipperdey*, Bd. II, S. 748 f.). *Kiderlen*, Bd. II, S. 32, 129; *Jückh E.* // Thimme, S. 61; *Bethmann Hollweg*, S. 101; *Riezler*, S. 185.
65. О том, что «папа поменял воззрения...», см.: *Bülow*, Bd. III, S. 20 f.; Арнольд Ваншаффе, унтер-статс-секретарь Имперской канцелярии при Бетмане, оспаривает достоверность этого отрывка (см.: *Thimme F.*, S. 299). *Hammann O.* Bilder aus der letzten Kaiserzeit. Berlin, 1922. S. 73; подобно: *Spitzemberg*, S. 249 f.
66. *Heuss*, S. 219; *Keßler*, S. 59 ff.; *Schulin E.* W. Rathenau. Göttingen, 1979. S. 43; *Rathenau-Harden*, S. 174; для Ратенау «шлюпость» также является негативным качеством, и ему симпатична жесткая позиция Гардена по Марокко (см.: *Rathenau-Harden*, S. 634 f.). О «человеке страха» см.: *Rathenau* (псевдоним Эрнст Рейнхарт). Von Schwachheit, Furcht und Zweck // ZU. 1904. Bd. 49. S. 223–239. Человек страха и цели похож на невротика: «свой день он начинает с тяжким вздохом, ведь солнце освещает новые опасности и тревоги». Хотя он успешен в профессии, он завидует «сильному из-за его власти». Главная мысль — «воля» могла бы освободить человека страха! (См.: Ibid., S. 239.) Псевдоним «Хартенау», используемый Ратенау, кажется исполненным скрытого смысла — это старое наименование зверобоя, классического народного успокоительного средства!
67. *Hellpach*, Wirken, Bd. I, S. 334; *Wehler*, Gesellschaftsgeschichte, Bd. III, S. 610; *Weller*, S. 123; *Fischer*, S. 64.
68. *Moltke*, S. 362; *Bernhardi*, Denkwürdigkeiten, S. 350; уже прежде см.: *Bernhardi*, Deutschland und der nächste Krieg, S. 1; пангерманский публицист Рейсман-Гроне записал в своем дневнике: «Наших народных мыслей не поняли, богатые знают лишь деньги и удовольствие...» (см.: *Förster*, S. 127 (сноска)).
69. *Zitelmann R.* Demokraten für Deutschland. Frankfurt/M., 1993. S. 121.
70. *Nippold*, S. 3; патриотически настроенный драматург Эрнст фон Вильденбрух, сам не особенно стройный, в 1905 году писал, что «трагизм немецкой природы в том», что «немец никогда не смеет наесться досыта, если хочет сохранить полный контроль над собой» (см.: *Whitman*, Erinnerungen, S. 161).
71. *Fischer*, Juli 1914 (см. примеч. 51), S. 35; *Bülow*, Bd. II, S. 63; *Gutsche*, Wilhelm II, S. 120.

72. *Lessing*, Lärm, S. 2.
73. *Hasse E.*, S. 585. Среди молодых историков того времени прототип подобной психомоторики и ее фатальной роли в политике являл собой Карл Александр фон Мюллер. Его трехтомные мемуары — пожалуй, самые обширные немецкие исторические мемуары — подлинный кладезь для описанных в нашей книге взаимосвязей. Он родился в 1882 году, а в 1905-м пережил тяжелый психосоматический кризис, который воспринимал впоследствии как типичный переходный кризис ученых своего поколения. В то время он страдал от своей «мягкости» и слабоволия. Спасался он тем, что подлинную мягкость скрывал за демонстративной жестокостью. Мировую войну он провел в санитарном управлении, причем избегал даже вида раненых, однако в то же время способствовал разжиганию войны своими статьями в «Южно-немецком ежемесячнике» («Suddeutschen Monatsheften»). После 1918 года был одним из тех, кто открыл Гитлера, и очень рано стал его почитателем. «Мы ревели, как олень в поисках воды, в поисках того, кто поведет нас за собой», — писал он в 1924 году (см.: *v. Müller K.A.*, S. 386–420); *v. Müller K.A.* Mars und Venus. Stuttgart, 1954. S. 43 ff.; *Schleier H.* Die bürgerl. Geschichtsschreibung der Weimarer Republik. Berlin, 1975. S. 63; из личного опыта см.: *Gollwitzer H.* Nachruf auf K.A. v. Muller. HZ 205/1967, bes. S. 298.
74. Militär-Medizinalabt., S. 412 ff.; *Nordau*, Bd. I, S. 323; *Mosse*, Nordau, S. 569 ff.; *Mosse, Tugendreich*, S. 409 f.
75. Charité 620 (29.4.1912), 4909 (28.12.1910).
76. AW, H. Ru. (1904); *Pozsár, Farin*, S. 78; ZKD 441/1717 (1899); *Erb*, Nervosität, S. 31.
77. *Binswanger*, Pathologie, S. 316, 278; *Cramer*, Nervosität, S. 179; *Cramer*, Ursachen der Nervosität, S. 77; *Averbeck*; о Фрейде см.: *Carlson*, S. 51.
78. *Meyer M.*; *Krafft-Ebing*, Nervosität, S. 57; подобно: *Freund*, S. 17; иное мнение см.: *Zoehen*, Neurasthenie, S. 524. ZKD 441/1864; *Ziegelroth*, S. 39; *Schmidt W.*, S. 25.
79. *Salewski*, Tirpitz, S. 33, 67; *Bülow*, Bd. II, S. 219 ff.; *Rogge*, S. 338; *Tirpitz*, Erinnerungen, S. 121; Am Webstuhl der Zeit, 1/1907, S. 215; *Geitel*, Bd. III, S. 404; *Winzen*, S. 424 f.; новые и новые обоснования Тирпица, что он не станет увеличивать темп строительства флота (см.: *Tirpitz*, Aufbau, S. 25, 11, 15).
80. *Podestà*, S. 651, 658, 677–687; *Koelsch*, Gewerbepathologie, S. 384.
81. *Burckhardt*, Weltgeschichtl. Betrachtungen, Berlin, 1965. S. 129 f.; *Ulrich*, Nerven, S. 164 f.
82. *Löwenfeld*, Pathologie, S. 654; *Kollarits*, S. 166; *Binswanger*, Wirkungen, S. 21 f.; еще в 1949 году, будучи в ярости от того, что Гельпах обнаружил у ее мужа признаки усиливающейся патологии, Марианна Вебер настаивала на том, что тот «излечился во время войны и благодаря войне» (см.: *Weber M.*,

S. 533, 535). GLA, 69 N, 284. Возможно, она настаивала на целебном действии войны из-за того, что не хотела признавать спасительную силу любви Вебера к Эльзе Яффе!

83. *Bülow*, Bd. II, S. 98; *Spode*, S. 206; *Ulrich*, S. 164; *Görlitz*, S. 153; Neue Westfälische. 1.8.1989; *Fischer-Homberger*, Begriff "Krankheit", S. 236; *Hesse*, Brüder Karamasow, S. 236.
84. *His*, Medizin, S. 628 f.; подобно о Гисе см.: *Eckart W.U.* "Die wachsende Nervosität unserer Zeit" — Medizin und Kultur um 1900 am Beispiel einer Modekrankheit // v. Bruch R., Hübinger G. Kultur und Kulturwissenschaften um 1900. Stuttgart, 1995. *Hoche*, Werkstatt, S. 10.
85. *Peters M.*, S. 112; *Mommsen*, S. 310, 383 f.
86. *Bülow*, Bd. II, S. 197 f.; Стиг Фёрстер трактует эту цитату кайзера в рамках своей теории «двойного милитаризма»: «То, что выразил здесь Вильгельм II, было ничем иным, как принципиальной позицией консервативного милитаризма, отдававшего абсолютный приоритет сохранению системы» (см.: *Förster S.*, S. 147).
87. *Kellermann*, S. 184.
88. *Röhl*, Wilhelm II, 746, 749, 752; *Bülow*, Bd. I, S. 26, Bd. III, S. 157; *Rogge* // *Holstein*-Briefe, S. XXXIV; *Thimme A.*, S. 103, 105, 109; *Hull I.V.* Bülow // Sternburg W. (Hrsg.). Die deutschen Kanzler. Berlin, 1998. S. 75; анонимному издателю (Гарри Шуман) в 1920-е годы бросается в глаза, до какой степени мышление Бюлова определялось еще не такой спешной эпохой — для него ушедшие столетия еще были настоящим: «Десятилетие означает сейчас для нас больше, чем для Бюлова столетие» (см.: *Bülow*-Schriften, Bd. II, S. 194, 196; Bd. I, S. LXXXVIII).
89. *Winzen* // Winzen (Hrsg.). Bülow, Deutsche Politik, S. 43; *Winzen*, Weltmachtkonzept, S. 163; *Gutsche*, Wilhelm II, S. 126; *Bülow*-Schriften, Bd. II, S. 190; *Harden*, Köpfe, Bd. I, S. 92, 119, 136.
90. *Tirpitz*, Erinnerungen, S. 145; *Salewski*, Tirpitz, S. 88; *Fischer F.* Bündnis der Eliten, Düsseldorf, 1979. S. 17.
91. *Bülow*-Schriften, Bd. II, S. 206; «Мысль о том, что мы сумеем когда-нибудь хотя бы приблизиться к английскому флоту... безусловно, есть чистое безумие. Этого никогда не будет» (см.: Bülow an Holstein, 3.9.1907 (*Holstein*-Briefe, S. 292).
92. *Winzen P.* Der Krieg in Bülows Kalkül // Dülffer/Holl, S. 175; *Bülow*, Bd. II, S. 83 f., 194; *Kiderlen*, Bd. II, S. 43, 56.
93. *Treitschke*, Geschichte, Bd. V, S. 592; *Reuleaux F.* (Hrsg.). Das Buch der Erfindungen. Bd. VIII. Leipzig, [8]1887, S. 124; S. 225 ff.; Deutsche Militärgeschichte, Bd. IX, S. 138.
94. Ibid., Bd. VI, S. 449; *Buchholz*, S. 158 ff., 167 ff., 171 ff., 243; *Bülow*, Bd. II, S. 183; Корелли Барнетт усматривает резкий контраст чувствительного Мольтке

с «грубой крестьянской приземленностью его противника Йоффре, в мозгу которого не умещалось ни единой мысли дальше ближайшего обеда» (см. в: *Barnett C.* Anatomie eines Krieges. München, 1963. S. 49).

95. *Moltke*, S. 362; Бернхарди о военных настроениях: «Разочаровать душу великого народа — это может стать опасной игрой (Как после Агадира. — *Й. Р.*)... Сила народа — не тот капитал, которым можно распоряжаться произвольно» (см.: *Bernhardi*, Weltreise, S. 8).
96. *Röhl*, Schwelle, S. 100.
97. *Claß*, Strom, S. 217; *Claß*, Kaiser, S. 137; *Hitler*, Mein Kampf, S. 257 f.; *Hallgarten G.W.F., Radkau J.* Deutsche Industrie und Politik von Bismarck bis heute. Frankfurt/M., 1974. S. 227 f.
98. *Warburg*, S. 29; *Opitz R.* (Hrsg.). Europastrategien des dt. Kapitals 1900–1945. Köln, 1977. S. 205; *Rathenau*, Kritik, S. 115.
99. *Bernhardi*, Denkwürdigkeiten, S. 287; *Mommsen*, S. 401; *Ruedorffer J.J.* Grundzüge der Weltpolitik in der Gegenwart. Stuttgart, 1914. S. 226, 229; *Jarausch*, Chancellor, S. 143 f. *Fischer*, S. 671; *Fischer*, Bethmann Hollweg // Sternburg W. (Hrsg.). Die deutschen Kanzler. Berlin, 1998. S. 94 ff.; *Riezler*, S. 183.
100. *Geiss*, Juli 1914, S. 39 f.; *Gutsche*, Wilhelm II, S. 158 f.; *Massie*, S. 738.
101. *Kern*, S. 259 ff.
102. *Gerlach*, S. 13.
103. *Bülow*, Bd. II, S. 147; *Moltke*, S. 329, 331.
104. *Salewski*, Zeitgeist, S. 171 f.; *Vondung*, S. 158; *Ulrich, Ziemann*, S. 48 f. Даже Трейчке в 1887 году, когда он считал «войну с Францией совершенно определенной», писал: «Ну что ж, мы должны нанести удар, если честь не оставляет нам иного выбора, но эта война есть и останется ужаснейшим несчастьем» (см.: *Treitschke*, Briefe, Bd. III, S. 587).
105. *Waldersee*, Bd. I, S. 316; *Röhl*, Wilhelm II, S. 752; *Röhl*, Kaiser, S. 22; *Reventlow*, S. 60 f.; подобно: *Zedlitz-Trützschler,* S. 146 f. und *Bernhardi*, Denkwürd., S. 353; *Quidde*, S. 70, 56 f.; *Hallgarten*, Schatten, S. 51. Даже Генрих Манн полагал, что Вильгельм II никогда «не отважился бы на войну» и призывал к ней исключительно из желания популярности (см.: только: *Mann H.* Ein Zeitalter wird besichtigt. Reinbek, 1976. S. 11).
106. *Fischer*, S. 100; подобно: *Hull*, S. 304 und *Winzen* // Dülffer, Holl, S. 180. Уже в 1904 году, когда угроза войны с Англией только появилась на горизонте, Вильгельм II сказал Бюлову после церемонии выпуска морских рекрутов: «Не ужасна ли мысль о том, что эти добрые ребята, только что присягнувшие мне на верность, будут мертвыми лежать на дне Северного моря?» (См.: *Bülow*, Bd. II, S. 83.) *Kantorowicz*, S. 395; *Bülow*, Bd. I, S. 66; *Spitzemberg*, S. 249, 254.
107. *Fischer* // Sternburg (Hrsg.). Die deutschen Kanzler. Berlin, 1998. S. 96.

108. *Bülow*, Bd. IV, S. 199 f.
109. *Hull* // Sternburg (Hrsg.). Die deutschen Kanzler. Berlin, 1998. S. 84. О Монтелласе см.: *Thimme F.*, S. 342. *Bülow*, Schriften, Bd. I, S. XXIV, LXXIII, 36, 313; *Holstein*-Papiere, Bd. IV, S. 400 (25.10.1906).
110. *Spitzemberg*, S. 221; *Winzen*, Der Krieg in Bülows Kalkül // Dülffer, Holl, S. 185, 162; о фон Эйнеме см.: *Thimme F.*, S. 170; *Forster*, S. 141, 169, 298.
111. Fischer, S. 372; *Claß*, Kaiser, S. 54; *Chickering R.* Die Alldeutschen erwarten den Krieg // Dülffer, Holl, S. 24, 26; *Keim*, S. 274; *Bernhardi*, S. 39 ff., 114 f.
112. *Salewski*, Zeitgeist, S. 167; *Weller*, S. 157; *Rathenau*-Harden, S. 697; *Bernhardi*, Deutschland und der nächste Krieg, S. 5. В ноябре 1914 года Хьюстон Стюарт Чемберлен утверждал, что Бернхарди «ни словом единым» не побуждал к войне — так следил Бернхарди за тем, чтобы на вербальном уровне закрепить свое алиби! (См.: *Kellermann*, S. 50.)
113. *Thimme A.*, S. 113; *Bülow*, Bd. I, S. 413, 112; *Kern*, S. 276; *Liebig*, Bd. I, S. 31 f.
114. *Bernhardi*, Weltreise, S. 12; *Weygandt*, S. 282; *Wehler*, Gesellschaftsgeschichte, Bd. III, S. 1134.
115. *Röhl*, Schwelle, S. 100; *Geiss*, Juli 1914, S. 48; *Eulenburg*-Korr., Bd. III, S. 2207.
116. *Rosenberg A.* Entstehung der Weimarer Republik. Frankfurt/M., 1961. S. 64; *Gerlach*, S. 9.
117. *Weber E.* Krieg oder Frieden mit England. Stuttgart, 1913. S. 8, 37, 50 f.
118. *Grotjahn*, Erlebtes, S. 15.
119. AW, J. v. M. (1914).
120. *Ziemann B.* Zum ländlichen Augusterlebnis (1914) // Loewenstein B. (Hrsg.). Geschichte und Psychologie — Annäherungsversuche. Centarius, Pfaffenweiler, 1992. S. 194, 199; *Ulrich, Ziemann*, S. 32 f.; *Jeismann*, S. 299, 301, 316, 318.
121. *Hellpach*, Kriegsneurasthenie, S. 194.
122. *Rürup R.* Der "Geist von 1914" in Deutschland // Hüppauf B. (Hrsg.). Ansichten vom Krieg. Königstein/Ts., 1984, S. 55–91; *Hitler*, Mein Kampf, S. 225.
123. *Möbius*, Vermischte Aufsätze, S. 139 f.
124. *Ritter G.A.* Sozialversicherung in England und Deutschland. München, 1983. S. 13.
125. *Wehler*, Gesellschaftsgeschichte, Bd. III, S. 1081, 1084; *Determann*, Volksheilstätten, S. 10 f.; даже врач и национал-социалист Эрвин Лик в 1927 году дистанцируется от социал-дарвинизма с его абсолютной концентрацией на «борьбе за существование» в природе (см.: *Liek E.* Gedanken eines Arztes. Dresden, 1937, S. 139 (доклад от 1894 года)).
126. *Klee E.* "Euthanasie" im NS-Staat. Frankfurt/M., 1983. S. 201. О постоянных издержках см.: *Hanrath S.* Von der Reformpsychiatrie zur Psychiatrie unterm Hakenkreuz (Anstalt Lindenhaus bei Lemgo 1923–1939), Mag. Arbeit. Bielefeld, 1995. S. 79.
127. *Hitler*, Mein Kampf, S. 395 ff., 735.

128. *Alzheimer*, S. 3–6, 11, 21.
129. BA, R 89/6904. В начале войны многие легочные санатории вынуждены были закрыться, причем не только из-за того, что врачи и медсестры работали теперь в лазаретах, но и «потому, и это самое интересное, что большинство больных не хотели больше быть больными, они тоже взялись за оружие, чтобы защищать отечество» (см.: *Kirchner M.* // Zur Tuberkulosebekämpfung, 1916. Verhandlungen des Dt. Zentral-Komitees zur Bekämpfung der Tb. Berlin, 1916. S. 23). Это было реальной подоплекой концовки «Волшебной горы», причем до войны Томас Манн долгое время совершенно не знал, как же ему завершить свой распухший до бесконечности роман.
130. *Lerner* (см. примеч. 33), S. 92 f.; *Ulrich B.* Kampfmotivationen und Mobilisierungsstrategien //v. Stietencron H., Ruepke J. Geschichtlichkeit des Krieges und der tötende Mensch (im Druck), S. 299; *Kugelmann*, S. 92 f.; *Kittler F.*, Grammophon, Film, Typewriter. Berlin, 1986. S. 326.
131. *Eulenburg*, "Kriegsnervosität"; *Zweig*, S. 40; *Mann T.* Meine Zeit (1950) // Mann T. Über mich selbst. Frankfurt/M., 1994. S. 7. О слабостях «левого» истолкования войны по сравнению с «правым» см.: *Klenke D.* u.a. Arbeitersänger und Volksbühnen in der Weimarer Republik. Bonn, 1992. S. 245.
132. *Hitler*, Mein Kampf, S. 181; о том, что война укрепляет нервы, Гитлер говорит лишь очень сдержанно: подобные переживания могли «несколько укрепить нервы у того, у кого они еще не отказали полностью» (см.: Ibid., S. 269). *Charnitzky J.* Die Schulpolitik des faschist. Regimes in Italien. Tübingen, 1994. S. 181.
133. *Hoche*, Jahresringe, S. 216 f.; *Fischer-Homberger*, Neurose S. 143; *Komo*, S. 68, 72; *Bumke*, Lehrbuch, S. 241.
134. BA, R 89/6904; *Komo*, S. 76 f., 79 ff., 92; *Fischer-Homberger E.* Der Erste Weltkrieg und die Krise der ärztl. Ethik // Bleker, Schmiedebach, S. 122 ff.
135. *Ulrich*, Nerven, S. 183. Члены военных судов, среди участников которых были и врачи, «вполне благосклонно» относились к «дезертирам» чудовищной битвы при Вердене (см.: *His*, Front, S. 118). В течение всей Первой мировой войны с немецкой стороны были казнены лишь четыре дезертира, с западной стороны — много более. В основанном на реальных событиях романе Пэт Баркер «Ничья земля» (издание на немецком — Мюнхен, 1997) даже психиатр В.Х.Р. Риверс (исторический персонаж, в остальном описанный вполне гуманно) видит свою главную цель в том, чтобы вновь отправлять на фронт выздоровевших военных невротиков! (Устное сообщение Ханса-Ульриха Велера автору, 30.5.1997.)
136. *Hellpach*, Kriegsneurasthenie, S. 210; BA, R 89/6904.
137. *Nonne,* S. 115; *Liek*, Schaden, S. 47; подобно: *Bumke*, Erinnerungen, S. 182; GLA, 69 N, Generalarzt Stalz an Hellpach (5.8.1817).

138. AW, W. Li. (1914), E. Lö. (1921), W. La. (1916).
139. *His*, Front, S. 245; *Nonne*, S. 102, 105.
140. *Bonhoeffer*, Inwieweit, S. 598; *Gaupp*, Schreckneurosen, S. 87 f., 90; *Weizsäcker*, Natur, S. 53 f. Впоследствии Вайцзеккер писал, что с 1918 года он «не погубил ни одного подопытного животного»: переход на сторону психиков под воздействием войны лишил его веры в то, что результаты, полученные на животных, можно переносить на человека (см.: *Weizsäcker*, Begegnungen, S. 50).
141. *Bumke*, Lehrbuch, S. 399, 241, 400; *Hellpach*, Kriegsneurasthenie, S. 180. *His*, Front, S. 45; *Stertz G.* // Bumke O. (Hrsg.). Hb. der Geisteskrankheiten. Bd. V/1. Berlin, 1928.
142. *Hellpach*, S. 177 ff.; об исследованиях Гельпаха см.: *Bumke*, S. 400, und *Gaupp*, Schreckneurosen, S. 90; Штрюмпель также полагал, что всеобщая нервозность росла по мере того, как война затягивалась, общий энтузиазм отходил на задний план и уже не мог скрыть нервные перегрузки. Рост «народной ненависти» он также считал «выплеском болезненного душевного перенапряжения» (см.: *Strümpell*, Schädigungen, особенно: S. 25 f., 27).
143. *Hellpach*, S. 186, 204, 226; см. также: *Oppenheim*, Krieg, S. 259, und *Strümpell*, Schädigungen, S. 18.
144. *Bumke*, Lehrbuch, S. 242; *Gaupp*, Zusammenbruch, S. 45; *Gaupp*, Schreckneurosen, S. 100; *Liek*, Arzt, S. 87 f., 173; *Liek*, Schäden, S. 55.
145. *Weber M.*, S. 635; *Scheidemann P.* Memoiren eines Sozialdemokraten. Bd. II. Dresden, 1930. S. 216; *von Kielmannsegg P.G.* Deutschland und der Erste Weltkrieg. Frankfurt/M., 1968. S. 657.
146. *Fischer-Homberger*, Begriff "Krankheit", S. 233, 238, *Bresler*, Rentenkampfneurosen, S. 3; о Гельпахе см.: GLA, 69 N, 289, 20.11.1936.
147. *Dornblüth*, Psychoneurosen, S. 1; *Laehr*, Nervosität der Arbeiterschaft, S. 3; *Veraguth*, Über Neurasthenie, S. 373; *Bonhoeffer*, Differentialdiagnose, S. 1; *Lutz*, *Blumer*, S. 356 ff.; *Gosling*, Before Freud, S. 165 f.; *Lanteri-Laura G.* La psychasthénie: histoire et evolution d'un concept de P. Janet // L'Encéphale, 20/1994, p. 551–557; термин распространился на удивление быстро. Если в 1904 году Хофмансталь еще говорил Шнитцеру о «слабонервности» своей матери, то уже через неделю после этого — о ее «психастеническом» расстройстве (*Hofmannsthal-Schnitzler*, S. 183, 184).
148. *Scull*, S. 28 f.
149. *Binswanger L.*, Werke, S. 1–231. В одном из скетчей, написанных, видимо, к 100-летнему юбилею Бельвю, Платон восхваляет Людвига Бинсвангера: «Доктор знает, как плохи дела, если нить потеряна, мысли безумно скачут, картинки следуют одна за другой, ты, добрый человек, все об этом написал» (ZKD). О тренде к психогенным неврозам см.: *Birnbaum*, Soziologie, S. 356 f. О вегетативной дистонии см.: *Payer*, S. 91 f.; *Regau T.* (псевдоним)

Medizin auf Abwegen. München, ²1961, S. 90 f.; о ГДР см.: *Müller-Hegemann*, S. 16.

150. О Советском Союзе см.: *Young D.* Neurasthenia and Related Problems // CMP, 13/1989, S. 136 f.; о Югославии см.: *Starcevic*, S. 545 ff.; о ГДР, в которой неврастения была еще «вполне обоснованным термином» см.: *Müller-Hegemann*, S. 19; о Латинской Америке см.: *Finkler*, S. 181 ff.; о Восточной Азии см.: *Suzuki*, Shixie.
151. *Chatel, Peele*, Review, S. 405; *Schneider K.*, S. 130 f.
152. *Vagts A.* Deutsch-Amerikan. Rückwanderung, Heidelberg, 1960. S. 147; *Rabinbach*, Science, S. 510 f.; подобно: *Oppenheim*, Lehrbuch, Bd. II, S. 1800; писатель-социалист Артур Холичер полагал, что достаточно зайти «в американскую психушку», чтобы «ознакомиться с подлинным эффектом системы Тейлора»: именно там от «помрачения сознания» и «разрушенных нервов» гибнут его жертвы (см.: *Winter*, S. 28; 26).
153. О радости труда см.: *Radkau*, Technik in Deutschland, S. 269 ff.; *Ford H.* Mein Leben. Leipzig, 1924. S. 133; *Hermann*, *Greiner B.* Die Literatur der Arbeitswelt in der DDR. Heidelberg, 1974. S. 30 f.
154. *Zweig*, S. 86 ff.; *Stölken*, *Wittermann*, S. 33 ff.; *His*, Front, S. 101; *Dominik*, S. 221; *Bumke*, Lehrbuch, S. 401 f. По мнению Бинерта, берлинский «темп», волнительное переживание на рубеже веков, в 1920-е годы стал уже пустой фразой (см.: *Bienert*, S. 70 f.).
155. *Freiherr v. Kruedener J.* Die Entstehung des Inflationstraumas // Feldman G.D. u.a. (Hrsg.). Konsequenzen der Inflation. Berlin, 1989, S. 278 f., 245, 254. О Родербиркене см.: Aufnahmebücher; там же: *Tröscher H.O.* Die Begutachtung der Arbeitsfähigkeit in der Krankenversicherung. München, 1930. S. 26 f.; *Wrede*, S. 5; *Mörchen*, S. 19, Katalog der Internat. Hygiene-Ausstellung Dresden, 1911, S. 373 f.; Amtlicher Führer durch die Internat. Hygiene-Ausstellung Dresden, 1930, S. 271 f.; *Wittermann*, S. 31.
156. *Thomann K.-D.* "Ich habe mir die Gesundheit ruiniert...". Preßlufterkrankungen der Gelenke und die Anfänge der Berufskrankheitenverordnung 1929 bis 1936 // Milles (unter: Rabinbach, Körperl. Grenzen), S. 336.
157. *Selye*, Stress — mein Leben, S. 126; *Tsouyopulos*, Röschlaub, S. 124.
158. *Kugelmann*, S. 52 ff., 60 ff.; *Hearnshaw*, S. 206 ff.; *Watson P.* Psycho-Krieg: Möglichkeiten, Macht und Mißbrauch der Militärpsychologie. Frankfurt/M., 1985. S. 166 ff. Бадура в труде «Фрейд против Селье» оценивает теорию стресса как возврат к прежнему обращению с невротиками — более понимающему и аналитическому. Военные неврозы во время Второй мировой войны были очень широко распространены с американской стороны. Руководство армии реагировало по-разному. Когда генерал Паттон услышал в лазарете от одного солдата ответ на вопрос о том, почему он там лежит, — тот сказал, что во всем, вероятно, виноваты «нервы», — он

пришел в ярость и накинулся на солдата с кулаками. В США этот случай вызвал бурю негодования. А вот Эйзенхауэр на жалобу одного солдата о том, что он «ужасно нервничает», ответил: «Тогда мы отлично подходим друг другу, я тоже ужасно нервный». После этого солдат уже не чувствовал себя таким нервным. *Dwight D.* Eisenhower, Kreuzzug in Europa. Amsterdam, 1948. S. 220 f.; *Showalter*, Hystorien, S. 113.

159. В монографии Шотта, врача из «курорта для сердечников» Наухайм, посвященной неврастении и сердечным болезням, сердечные расстройства не выглядят смертельной опасностью для неврастеника (см.: *Schott*, Neurasthenie und Herzkrankheiten). То же самое у Лера (см.: *Lehr*, 1891). Марциновский, напротив, описывает типаж судорожного неврастеника, склонного к сердечным спазмам: «Все эти больные транжирят свои силы. Их недуг это вовсе не вялость, в которой их часто несправедливо упрекают, напротив, они гибнут от чрезмерного напряжения» (*Marcinowski*, Kampf, S. 37 ff.). — *Selye*, Stress, München, 1988. S. 61.
160. *Kugelmann*, S. 54,143.
161. В номере «Шпигеля» за июль 1976 года «стресс» стал заглавной историей. На обложке значилось «Болезнь столетия: стресс». Статья начиналась с истории самоубийства школьника и заканчивалась предположением, что человечество погибнет от стресса. «Шпигель»-фильм из серии «Страхи немцев» 1982 года также был посвящен стрессу, однако в нем упоминалось и то, что Ральф Густав Дарендорф, работающий теперь в Англии, смеялся над немецкой инфляцией понятия "стресс" (см.: Krankheit des Jahrhunderts: Streß // Spiegel, 1976. Hf. 7. S. 46 ff. и Spiegel, 1982. Hf. 3. S. 67).
162. *Binswanger*, Pathologie, S. 49; подобно: *Hasse E.* Eulenburg, Nervosität unserer Zeit. S. 318. Венский невролог Хиршкрон завершает свою книгу о неврастении лозунгом «Вперед и вверх» и призывает совершенствовать нервы в соответствии с техническим прогрессом (см.: *Hirschkron*, die Nervenschwäche, 1893, S. 138).
163. ZKD 441/1317; E. Neumann (без нумерации страниц, перед послесловием).
164. *Marcinowski*, Kampf, Vorwort, S. 1, 8, 57, 130, 132.
165. *Schär*, Kampf, S. 42 f., 51 f., 105, 127, 131.
166. *Brecht B.* Über Lyrik. Frankfurt/M., 1964. S. 9 f.
167. *Frankenthal*, S. 14 f.; Ev. Landeskirchenarchiv Speyer, Ab. 180, DO AM 172 a.
168. *Cohn P.*, S. 10 ff., 60, 69, 98 f., 72 f.
169. *Maser W.* Die Frühgeschichte der NSDAP. Frankfurt/M., 1965. S. 122 f.; *Fabry F.W.* Mutmaßungen über Hitler. Düsseldorf, 1969. S. 21 ff.; *Scheldt G.* Autoren über Hitler. S. 220 ff.; *Gibbels*, *Albrecht*, *Hitler*, Mein Kampf, S. 20; *Harden*, Köpfe, Bd. I, S. 180 f.; о Геринге см.: Dokumente der Dt. Politik u. Geschichte von 1848 bis zur Ggw, Bd. IV, S. 25; о Гиммлере см.: Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Bd. 29, S. 151.

170. *Domarus*, Hitler-Reden, Bd. I, S. 334 f.; *Prahl H.-W., Steinecke A.* Der Millionen-Urlaub. Bielefeld, 1989. S. 160; *Reulecke J.* Die Fahne mit dem goldenen Zahnrad: der "Leistungskampf der deutschen Betriebe" 1937–1939 // Reulecke J., Peukert D. (Hrsg.). Die Reihen fast geschlossen. Wuppertal, 1981. S. 248; *Buchholz W.* Die Nationalsozialist. Gemeinschaft "Kraft durch Freude". Diss. München, 1976; S. 8 f.; *Goebbels*-Tagebücher, 20.9.1938; *Peetz H.* (Hrsg.). Nicht ohne uns! Frankfurt/M., 1981. S. 248 f.
171. *Fahrenkamp*, S. 98, 103 f., 73, 113, 14, 56, 120, 133, 155, 171 f.
172. *Bloch M.* Die seltsame Niederlage: Frankeich 1940. Frankfurt/M., 1995. S. 82, 90–100; о «войне нервов» см.: *Stotzel G., Wengeler M.* Kontroverse Begriffe. Berlin, 1994. S. 357; *Jochmann W.* (Hrsg.). Hitler-Monologe im Führerhauptquartier. München, 1982. S. 210; *Irving D.* Die Tragödie der dt. Luftwaffe. Frankfurt/M., 1990. S. 167; Spiegel, 6.2.1995, S. 44 f.
173. *Baring A.* // Zeit, 15.3.1974, S. 10; об Аугштейне см.: *Augstein* // Spiegel, 7.10.1991, S. 95; *Schwarz H.-P.* Adenauer: Der Staatsmann. Stuttgart, 1991. S. 964; *Koch P.* Die Erfindungen des K. Adenauer. Reinbek, 1986. S. 50. «Нервы» были важной темой для Аденауэра. Среди авторов, к помощи которых он обращался в трудных жизненных ситуациях, был Карл Хилти. Даже будучи обербургомистром Кёльна, Аденауэр писал для энциклопедии Герресовского общества статью по теме «Крупный город», целиком выдержанную в духе психо-неврологического неприятия метрополий (Ханс-Петер Шварц в разговоре с автором от 17.10.1997).
174. Контуженные Первой мировой превратились в страдающих желудком жертв Второй мировой (см.: *Mitscherlich-Nielsen M.* Müssen wir hassen? München, 1972. S. 239). *Weizsäcker*, Begegnungen, S. 47, 109.
175. *Brodde K.* Eher Mythos als Medizin, doch die Deutschen kuren wie die Weltmeister — Morgens Fango, abends Tango // Zeit. 31.3.1992, S. 78. Рифма «фанго — танго» не была новой на «водах»!
176. *Meier C.* // Bissinger M. (Hrsg.). Stimmen gegen den Stillstand. Hamburg, 1997. S. 168.

ЛИТЕРАТУРА

Abbey S.E., Garfinkel P.E. Neurasthenia and Chronic Fatigue Syndrome: The Role of Culture in the Making of a Diagnosis // Am. J. Psychiatry. 1991. Vol. 148 (12). P. 1638–1646.

Absolut modern sein. Culture technique in Frankreich 1889–1937 / Staatliche Kunsthalle Berlin (Hrsg.). 1986.

Ackerknecht E.H. Kurze Geschichte der Psychiatrie. Stuttgart, [3]1985.

Adams H. The Education of Henry Adams. An Autobiography. Boston, 1918.

Adler A. Über den nervösen Charakter. Frankfurt/M., 1972 [1912].

Albisetti J.C. Secondary School Reform in Imperial Germany. Princeton, 1983.

Albrecht H. "Max Planck: Mein Besuch bei Adolf Hitler" — Anmerkungen zum Wert einer historischen Quelle // Albrecht H. (Hrsg.). Naturwissenschaft und Technik in der Geschichte. Stuttgart, 1993. S. 41–63.

Alexander F.G., Selesnick S.T. Geschichte der Psychiatrie. Konstanz, 1969.

Allbutt T.C. Nervous Diseases and Modern Life // Contemporary Review. 1895. Vol. 67. P. 210–231.

Alzheimer A. Der Krieg und die Nerven. Breslau, 1915.

Amedick S. Sozialgeschichte der unteren bayerischen Eisenbahnbeamten von 1844 bis 1914. Diss. (Ms.). Bielefeld, 1994.

Anderson P.R. The Background of Anti-English Feeling in Germany. Washington, 1939. ND 1969.

Antonovsky A. Meine Odyssee als Streßforscher // Jahrbuch f. Kritische Medizin. Bd. 17. Hamburg, 1991 (= Argument-Sonderband 193). S. 112–130.

Armstrong D. Political Anatomy of the Body. Medical knowledge in Britain in the 20th century. Cambridge, 1993.

Arndt R. Die Neurasthenie (Nervenschwäche). Ihr Wesen, ihre Bedeutung und Behandlung vom anatomisch-physiologischen Standpunkte. Wien, 1885.

Arndt R. (zit.: Neurasthenie II) Neurasthenie // Real-Encyclopädie der gesammelten Heilkunde. A. Eulenburg (Hrsg.). Bd. 14. Berlin, [2]1888. S. 285–299.

Aronowitz R.A. From Myalgic Encephaliris to Yuppie Flu: A History of Chronic Fatigue Syndromes // Rosenberg C.E. u.a. (Hrsg.). Framing Disease. Studies in Cultural History. New Brunswick, N.J., 1992. P. 155–181.

Artelt W. Cito — tuto — iucunde? Arzt, Fahrrad und Automobil um 1900 // CIBA-Symposium. 5/1957. S. 6–17.

Asendorf C. Das Gespenst der Energie. Wahrnehmung um 1900 // Clair J. u.a. (Hrsg.). Wunderblock. Eine Geschichte der modernen Seele. Wien, 1989. S. 623–628.

Asendorf C. Ströme und Strahlen. Das langsame Verschwinden der Materie um 1900. Gießen, 1989.

Autler Zucht- und Ruchlosigkeiten. Ein Protest gegen die Schreckensherrschaft der Straße (anon.). Berlin, 1909.

Averbeck H. Die akute Neurasthenie, die plötzliche Erschöpfung der nervösen Energie. Ein ärztliches Kulturbild // Deutsche Medizinal-Zeitung. 1886. Nr. 7. S. 293–296.

Badura B. Freud versus Selye. Zur Bedeutung der Gefühlsregulierung für die Streßbewältigung // Zs. f. Gesundheitswiss. 1993. Nr. 1. S. 47–60.

Bäumler E. Amors vergifteter Pfeil. Kulturgeschichte einer verschwiegenen Krankheit (Syphilis). München, 1989.

Bahr H. Prophet der Moderne. Tagebücher 1888–1904 / R. Farkas (Hrsg.). Wien, 1987.

Balfour M. Kaiser Wilhelm II. und seine Zeit. Frankfurt/M., 1979 [1964].

Bamberger F.E. (Hrsg.). Bismarcks großes Spiel. Die geheimen Tagebücher Ludwig Bambergers. Frankfurt/M., 1932.

Bargholz C. (Hrsg.). Arbeit, Mensch, Gesundheit. Hamburg, 1990.

Barker-Benfield B. The Culture of Sensibility. Sex and Society in 18th-Century Britain. Chicago, 1992.

Barker-Benfield B. The Spermatic Economy: A 19th Century View of Sexuality // Feminist Studies. 1972. Vol. 1. P. 45–74.

Baron L. Noise and Degeneration: Theodor Lessing's Crusade for Quiet. JCH. 1982. Vol. 17. P. 165–178.

Baudis G.F. Nicht mehr nervös. Ein neues Mittel zur Heilung der Nervosität. Leipzig, 1911 (= Osiris-Bücher. Bd. 1).

Bauer J. Medizinische Kulturgeschichte des 20. Jh.s im Rahmen einer Autobiographie. Wien, 1966.

Baumgarten A. Neurasthenie. Wesen, Heilung, Vorbeugung. Wörishofen, ^{4}1905.

Baumont M. L'Affaire Eulenburg et les origines de la guerre mondiale. Paris, 1933.

Baur S. Die Welt der Hypochonder. Über die älteste Krankheit der Menschen. München, 1994.

Beard G.M. American Nervousness. Its Causes and Consequences. N.Y., 1881. ND 1972.

Beard G.M. Die Nervenschwäche (Neurasthenia), ihre Symptome, Natur, Folgezustände und Behandlung. Leipzig, ^{2}1883 [1880].

Beard G.M. Die sexuelle Neurasthenie, ihre Hygiene, Ätiologie, Symptome und Behandlung. Wien, 1885.

Beard G.M. Stimulants and Narcotics. N.Y., 1871. ND 1981.

Beard G.M. The Study of Trance, Muscle-Reading and Allied Nervous Phenomena in Europe and America. N.Y., 1882.

Bebel A. Die Frau und der Sozialismus. Berlin, 1974 [50. Aufl., 1909].

Beck K. Die traumatische Neurose — ein schwarzes Blatt in der Geschichte der Sozialreform // Monatsschrift f. christl. Sozialreform (Basel). 1914. Nr. 36. S. 294–301.

Becker R. Die jüdische Nervosität, ihre Art, Entstehung und Bekämpfung. Zürich, 1918.

Becker R. Die Nervosität bei den Juden. Ein Beitrag zur Rassenpsychiatrie. Zürich, 1919.

Beelitz. Notstände in der Versorgung der Nervenkranken. Hamburg, 1908.

Belbèze R. La Neurasthénie Rurale. Paris, 1911.

Benda T. Nervenhygiene und Schule. Berlin, 1900.

Benda T. Öffentliche Nervenheilanstalten? Berlin, 1891.

Bennholdt-Thomsen A., Guzzoni A. Der "Asoziale" in der Literatur um 1800. Königstein/Ts., 1979.

Beradt M. Der Neurastheniker (впервые [1913], позже под названием "Zuflucht"). // Benda T. Die Verfolgten. Novellen. Königstein/Ts., 1979 [1919]. S. 97–116.

Berdrow W. Die Technik an der Jahrhundertwende // Die Gegenwart. 1900. Nr. 1. S. 8–10.

Berend A. Die gute alte Zeit. Bürger und Spießbürger im 19. Jh. Hamburg, 1962 (посмертно, по рукописи 1930-х годов).

Berend A. Spreemann & Co. Roman. Frankfurt/M., 1976 [1916].

Bergmann A. Die verhütete Sexualität. Die Anfänge der modernen Geburtenkontrolle. Hamburg, 1992.

Bergmann W. Selbstbefreiung aus nervösen Leiden. Freiburg, 1911.

Bernd A. Eigene Lebens-Beschreibung samt einer aufrichtigen Entdeckung, und deutlichen Beschreibung einer der größten, obwol großen Theils noch unbekannten Leibes- und Gemüths-Plage ... Leipzig, 1738. ND München, 1973.

Bernhard E. Höhere Arbeitsintensität bei kürzerer Arbeitszeit, ihre personalen und technisch-sachlichen Voraussetzungen. Leipzig, 1909.

Bernhard L. Die Akkordarbeit in Deutschland. Leipzig, 1903.

Bernhard L. Unerwünschte Folgen der deutschen Sozialpolitik. Berlin, ^{3}1913.

Bernhardi F. von. Denkwürdigkeiten aus meinem Leben nach gleichzeitigen Aufzeichnungen und im Lichte der Erinnerung. Berlin, 1927.

Bernhardi F. von. Deutschland und der nächste Krieg. Stuttgart, ^{6}1913.

Bernhardi F. von. Eine Weltreise 1911/12 und der Zusammenbruch Deutschlands. Leipzig, 1920.

Bernhardt M. Die Betriebsunfälle der Telefonistinnen. Berlin, 1906.

Berrios G.E. Feelings of Fatigue and Psychopathology: A Conceptual History // Comprehensive Psychiatry. 1990. Vol. 31. P. 140–151.

Bertz E. Philosophie des Fahrrads. Dresden, 1900.

Bethmann Hollweg T. von. Betrachtungen zum Weltkriege. Teil 1. Berlin, 1919.

Beyer E. Nervenheilstätte, Sanatorium und Irrenanstalt // PNW. 1909/10. Nr. 26. S. 229–232.

Bibó I. Die deutsche Hysterie. Ursachen und Geschichte. Frankfurt/M., 1991.

Bienert M. Die eingebildete Metropole. Berlin im Feuilleton der Weimarer Republik. Stuttgart, 1992.

Billstrom J. Die Prognose der traumatischen Neurosen // Berliner Klinik. Juli 1914. H. 313. S. 1–22.

Bilz F.E. Das neue Naturheilverfahren. 4 Bde. Leipzig, o. J. (1. Aufl.: "Das neue Heilverfahren" 1888, здесь используется издание ок. 1900–1910 годов).

Bing R. Lehrbuch der Nervenkrankheiten für Studierende und praktische Ärzte. Berlin, 1913.

Binswanger L. Ausgewählte Werke. Bd. I: Formen mißglückten Daseins / M. Herzog (Hrsg.). Heidelberg, 1992.

Binswanger L. Bellevue. Kreuzlingen, 1957.

Binswanger O. Die Pathologie und Therapie der Neurasthenie. Jena, 1896.

Binswanger O. Die seelischen Wirkungen des Krieges. Stuttgart, 1914.

Birkenfeld R., Jung M. Die Stadt, der Lärm und das Licht. Die Veränderung des öffentlichen Raumes durch Motorisierung und Elektrifizierung. Seelze, 1994.

Birnbaum K. Die krankhafte Willensschwäche und ihre Erscheinungsformen. Wiesbaden, 1911.

Birnbaum K. Soziologie der Neurosen // APN. 99/1933. S. 339–425.

(Bismarck-Gespräche) Andreas W. (Hrsg.). Bismarck-Gespräche. 3 Bde. Bremen, 1963–1965.

Blasius D. Friedrich Wilhelm IV. Göttingen, 1992.

Blasius D. "Einfache Seelenstörung". Geschichte der deutschen Psychiatrie 1800–1945. Frankfurt/M., 1994.

Blasius D. Der verwaltete Wahnsinn. Eine Sozialgeschichte des Irrenhauses. Frankfurt/M., 1980.

Bleker J. Hysterie — Dysmenorrhoe — Chlorose. Diagnosen bei Frauen der Unterschicht im frühen 19. Jh. // Medizinhistorisches J., 28/1993. S. 345–374.

Bleker J. Die Stadt als Krankheitsfaktor. Fine Analyse ärztlicher Auffassungen im 19. Jh. // Medizinhistorisches J., 18/1983, S. 118–136.

Bleker J., Schmiedebach H.-P. (Hrsg.). Medizin und Krieg. Vom Dilemma der Heilberufe 1865–1985. Frankfurt/M., 1987.

Bloch I. Das Sexualleben unserer Zeit in seinen Beziehungen zur modernen Kultur. Berlin, ^{7}1909.

Blumer G.A. The Coming of Psychasthenia // J. of Nervous and Mental Disorder. 1906. Vol. 33. P. 336–353.

Blustein B.E. "A Hollow Square of Psychological Science": American Neurologists and Psychiatrists in Conflict // Scull A. (ed.). Madhouses, Mad-Doctors, and Madmen. Social History of Psychiatry in the Victorian Era. Philadelphia, 1981. P. 241–270.

Bode L. Die Neurasthenie der Weichensteller // Zeitschrift f. Bahn- u. Bahnkassenärzte (Melsungen). I (2). 1906. S. 31–34.

Bölsche W. Das Liebesleben in der Natur. Eine Entwicklungsgeschichte der Liebe. 3 Bde. Jena, 1907 [1898].

Börne L. Menzel, der Franzosenfresser / R. Wolff (Hrsg.). Berlin, 1987.

Bonhoeffer K. Inwieweit sind politische, soziale und kulturelle Zustände einer psychopathologischen Betrachtung zugänglich // Klinische Wochenschrift (Berlin). 1923. Bd. 2. Nr. 13. S. 598–601.

Bonhoeffer K. Differentialdiagnose der Neurasthenie und der endogenen Depressionen // Berliner Klinische Wochenschrift. 1912. Bd. 49. S. 1–4.

Bouchut E. Du nervosisme aigu et chronique et des maladies nerveuses, Paris, [2]1877 [1860].

Bourdon G. L'Enigme allemande. Une enquête chez les Allemandes. Paris, [2]1913.

Bouveret L. Neurasthenie (Nervenschwäche), deutsch bearbeitet von Otto Dornblüth. Leipzig, 1893.

Brauchle A. Die Geschichte der Naturheilkunde in Lebensbildern. Stuttgart, 1951 [1937 под заголовком "Große Naturärzte"].

Braun C. von. Die schamlose Schönheit des Vergangenen. Zum Verhältnis von Geschlecht und Geschichte. Frankfurt/M., 1989.

Brauns P. Die Neurasthenie. Wiesbaden, 1891.

Breidbach O. Die Materialisierung des Ichs. Zur Geschichte der Hirnforschung im 19. und 20. J. Frankfurt/M., 1997.

Brentano L. Mein Leben im Kampf um die soziale Entwicklung Deutschlands. Jena, 1931.

Bresler J. Wie beginnen Geisteskrankheiten? Halle, 1905.

Bresler J. Religionshygiene. Halle, 1907.

Bresler J. Rentenkampfneurose ("Unfallgesetzneurose"). Halle, 1918.

Bresler J. Die deutschen Volksnervenheilstätten. Halle, 1913.

Breuer J., Freud S. Studien über Hysterie. Frankfurt/M., 1991 [1895].

Brumberg J.J. Todeshunger. Die Geschichte der Anorexia nervosa vom Mittelalter bis heute. Frankfurt/M., 1994.

Brunschwig H. Gesellschaft und Romantik in Preußen im 18. Jh. Frankfurt/M., 1975 [1947].

Bucher R. Depression und Melancholie. Eine historische und triebpsychologische Untersuchung zur Struktur und Klassifizierung der Depressionsformen. Bern, 1977.

Bucholz A. Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning. N.Y., 1991.

Bücher K. Arbeit und Rhythmus. Leipzig, [4]1909.

Bülow B. Fürst von. Denkwürdigkeiten. 4 Bde. Berlin, 1930/1931.

Bülow B. Fürst von. Deutsche Politik. Berlin, 1916.

Bülow-Schriften (anon. = Harry Schumann) Deutschland und die Mächte vor dem Krieg in amtlichen Schriften des Fürsten B. v. Bülow. 2 Bde. Dresden, 1929.

Bürger-Prinz H. Ein Psychiater berichtet. Hamburg, 1970.

Bumke O. Lehrbuch der Geisteskrankheiten. München, [3]1929.

Bumke O. Erinnerungen und Betrachtungen. München, 1952.

Bumke O. Über nervöse Entartung // Vierteljahrsschrift f. gerichtl. Medizin u. öffentl. Sanitätswesen. 43/1912. S. 303–341.

Bumke O. Die Revision der Neurosenfrage // Münchener Medizin. Wochenschrift. 72/1925. Nr. 43. S. 1815–1819.

Bunker H.A. From Beard to Freud. A Brief History of the Concept of Neurasthenia // Medical Review of Reviews. 1930. Vol. 36. P. 108–114.

Bynum W.F. The nervous patient in 18th-and 19th-century Britain: the psychiatric origins of British neurology // Murray R.M., Turner T.H. (eds). Lecture on the History of Psychiatry. London, 1990. P. 115–127.

Campell J. Joy in work, German work: The national debate, 1800–1945. Princeton, 1989.

Cantlie J. Degeneration Amongst Londoners. London, 1885.

Carlson E.T. The Nerve Weakness of the 19th Century // Internat. Journal of Psychiatry. 1970. Vol. 9. P. 50–54.

Carus C.G. Psyche [1846]. Darmstadt, 1975.

Cayleff S.E. Prisoners of their own feebleness: Women, nerves and Western medicine — a historical overview // Social Science and Medicine. 1988. Vol. 26. P. 1199–1208.

(Charité-Jubiläumsheft) 250 Jahre Charité Berlin. Jena, 1960.

Chatel J.C., Peele R. A Centennial Review of Neurasthenia // Am. J. Psychiatry. 1970. Vol. 126. P. 1404–1413.

Chatel J.C., Peele R. The Concept of Neurasthenia // Internat. Journal of Psychiatry. 1970. Vol. 9. P. 36–49.

Châtelain A. Hygiene des Nervensystems. Leipzig, 1912.

Chickering R. Karl Lamprecht. A German Academic Life (1856–1915). Atlantic Highlands, 1983.

Chickering R. We Men Who Feel Most German. A Cultural Study of the Pan-German League, 1886–1914. Boston, 1984.

Clairemont J. (Hrsg.). Das Buch der neuesten Erfindungen. Berlin, 1906.

Clark A. Some Observations Concerning What is Called Neurasthenia // Lancet. 1886. 2. Jan. P. 1–2.

Clark M.J. The Rejection of Psychological Approaches to Mental Disorder in Late 19th-century British Psychiatry // Scull A. (см.: Blustein). P. 271–312.

Clarke E., Jacyna L. S. 19th-century Origins of Neuroscientific Concepts. Berkeley, 1987.

Claß H. (псевдоним Daniel Frymann). Wenn ich der Kaiser wär' — Politische Wahrheiten und Notwendigkeiten. Leipzig, [2]1912.

Claß H. (псевдоним Daniel Frymann). Wider den Strom. Vom Werden und Wachsen der nationalen Opposition im alten Reich. Leipzig, 1932.

Cleaves M.A. The Autobiography of a Neurasthene, as told by one of them. Boston, 1910.

Cohn P. Die nervöse Seele. Fine Einführung in ihr Verständnis. Dresden, 1931 (= Leben und Gesundheit. Bd. 25).

Cohn T. Leitfaden der Elektrodiagnostik und Elektrotherapie für Praktiker und Studierende. Berlin, [4]1912.

Cohn T. Nervenkrankheiten bei Juden // Zeitschrift f. Demographie und Statistik der Juden. N.F. 3. 1926/II. S. 71–86.

Cramer A. Nervenheilstätten // Real-Encyclopädie (см.: Arndt, Neurasth. II). Bd. 10. Berlin, [4]1911. S. 469–490.

Cramer A. Die Nervosität, ihre Ursachen, Erscheinung und Behandlung. Jena, 1906.

Cramer A. Die Prophylaxe in der Psychiatrie // PNW. 1903. Nr. 3. S. 37–41.

Cramer A. Die Ursachen der Nervosität und ihre Bekämpfung // DVÖG. 1909. Bd. 41. S. 66–88.

Curschmann H. (Hrsg.). Lehrbuch der Nervenkrankheiten. Berlin, 1909.

Daser E. Ostwalds energetischer Monismus. Phil. Diss. Konstanz, 1980.

Davis D.L. George Beard and Lydia Pinkham: Gender, Class, and Nerves in late 19th Century America // Davis D.L., Low S.M. (eds). Gender, Health, and Illness. The Case of Nerves. N.Y., 1989. P. 93–114.

Dehmel R. Ausgewählte Briefe aus den Jahren 1883–1902 / I. Dehmel (Hrsg.). Berlin, 1922.

DeJong R.N. A History of American Neurology. N.Y., 1982.

Delbrück H. Deutsche Ängstlichkeit. PJ. 149/1912. S. 362–370.

DeMause L. Grundlagen der Psychohistorie. Frankfurt/M., 1989.

Deppe H.-U., Regus M. (Hrsg.). Seminar: Medizin, Gesellschaft, Geschichte. Frankfurt/M., 1975.

Deschamps A., Vinchon J. Les maladies de l'énergie. Les asthénies et la neurasthenie. Paris, [3]1927 [1908].

Dessoir M. Geschichte der neueren deutschen Psychologie. Berlin, 1902; ND Amsterdam, 1964.

Deswarte A. Nervosisme moderne. Bruxelles, 1902.

Determann H. Über die Nervosität der Jetztzeit und ihre Bekämpfung. Freiburg, 1906.

Determann H. Volksheilstätten für Nervenkranke. Wiesbaden, 1903.

Deutsch M. Die Neurasthenie beim Manne. Berlin, 1907.

Deutsche Militärgeschichte 1648–1939 / Militargeschichtl. Forschungsamt (Hrsg.). 6 (9) Bde. München, 1983.

Deutschmann C. Der Weg zum Normalarbeitstag. Frankfurt/M., 1985.

Dienemann. Die Wirkung der modernen Arbeitsmethoden auf die Gesundheit der Arbeiten // Soziale Praxis und Archiv für Volkswohlfahrt. 1921. Bd. 30. Nr. 46. S. 1186–1190; Nr. 48. S. 1238–1242.

Dierks M. Krankheit und Tod im frühen Werk Thomas Manns // Sprecher T. (Hrsg.). Auf dem Weg zum "Zauberberg". Frankfurt/M., 1997. S. 11–32.

Diesel E. Diesel. Der Mensch, das Schicksal, das Werk. München, 1983 [1937].

Diesel E. Jahrhundertwende. Gesehen im Schicksal meines Vaters. Stuttgart, 1949.

Diesel E. Philosophie am Steuer. Stuttgart, 1952.

Digeon C. La crise allemande de la pensée française (1870 à 1914). Paris, 1959.

Di Mascio P. Comment naissent les théories? Le cas de la neurasthénie // L'Evolution Psychiatrique. 1986. Vol. 51. No. 3. P. 625–638.

Dix A. Deutscher Imperialismus. Leipzig, 1912.

Doehlemann M. Langeweile? Deutung eines verbreiteten Phänomens. Frankfurt/M., 1991.

Dörner K. Bürger und Irre. Frankfurt/M., [2]1984.

Doerry M. Übergangsmenschen. Die Mentalität der Wilhelminer und die Krise des Kaiserreichs. 2 Bde. Weinheim, 1986.

Dohrn-van Rossum G. Die Geschichte der Stunde. Uhren und moderne Zeitordnungen. München, 1992.

Dominik H. Vom Schraubstock zum Schreibtisch. Lebenserinnerungen. Berlin, 1942.

Dornblüth O. Nervenhygiene in der Großstadt // Blätter f. Volksgesundheitspflege. 1903. Bd. 3. Nr. 23. S. 353–356.

Dornblüth O. Die Nervosität und ihre Verhütung // Westermanns Monatshefte. Okt. 1912, S. 226–230.

Dornblüth O. Die Psychoneurosen. Neurasthenie, Hysterie und Psychasthenie. Leipzig, 1911.

Dougherty F.W.P. Nervenmorphologie und -physiologie in den 80er Jahren des 18. Jh.s // Mann G. u.a. (Hrsg.). Sömmering-Forschungen. Bd. 3. Stuttgart, 1988. S. 55– 91.

Drinka G.F. The Birth of Neurosis. Myth, Malady, and the Victorians. N.Y., 1984.

Drobner J. Aspekte der Entwicklungsgeschichte der Neurologie — der Beitrag Willhelm Erbs. Diss. (Ms.) Leipzig, 1990.

Dubois P. Die Psychoneurosen und ihre psychische Behandlung. Bern, 1905.

Dubos R., Dubos J. The White Plague. Tuberculosis, Man and Society. Boston, [2]1992.

Dülffer J., Holl K. (Hrsg.). Bereit zum Krieg. Kriegsmentalität im wilhelminischen Deutschland 1890–1914. Göttingen, 1986.

Durig A. Die Ermüdung. Wien, 1916 (= Schriften des III. Internat. Kongresses für Gewerbekrankheiten, H. 1).

Durkheim E. Der Selbstmord. Frankfurt/M., 1987 [1897].

Eckardstein H. Freiherr von. Lebenserinnerungen und politische Denkwürdigkeiten. 2 Bde. Leipzig, 1920.

Eckart W.U., Gradmann C. (Hrsg.). Die Medizin und der Erste Weltkrieg. Pfaffenweiler, 1996.

Ehalt H.Ch. Über den Wandel des Termins der Geschlechtsreife in Europa und dessen Ursachen // Saeculum. 1985. Bd. 36. S. 201–235.

Ehrenwall Carl von. Dr. v. Ehrenvallsche Kuranstalt für Gemüts- und Nervenkranke zu Ahrweiler. Bericht über Entwicklung und Leistung der Anstalt. Köln, 1898.

Eissler K.R. Goethe. Fine psychoanalytische Studie 1775–1786. 2 Bde. München, 1987 [1963].

Elektrotherapeutische Streitfragen. Verhandlungen der Eiektrotherapeuten-Versammlung zu Frankfurt/M. am 27.9.1891. / L. Edinger u.a. (Hrsg.). Wiesbaden, 1892.

Eley G. Wilhelminismus, Nationalismus, Faschismus. Münster, 1991.

Elias N. Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jh. Frankfurt/M., 1992.

Eliasberg W. Grundriß einer allgemeinen Arbeitspathologie. Leipzig, 1924.

Ellenberger H.E. Die Entdeckung des Unbewußten. Geschichte und Entwicklung der dynamischen Psychiatrie. Zürich, 1985.

Ellerkamp M. Industriearbeit, Krankheit und Geschlecht: Bremer Textilarbeiterinnen 1870–1914. Göttingen, 1991.

Engelhardt G. Das Geheimnis der Nervosität. Dresden, 1925.

Engelsing R. Arbeit, Zeit und Werk im literarischen Beruf. Göttingen, 1976.

Engländer M. Die auffallend häufigen Krankheitserscheinungen der jüdischen Rasse. Wien, 1902.

Erb W. Aus den letzten 40 Jahren. Klinische Plauderei // Dt. Archiv f Klin. Medizin. 73/1903. S. 324–334.

Erb W. Über die wachsende Nervosität unserer Zeit. Heidelberg, 1893.

Eulenburg A. Geschlechtsleben und Nervensystem // Mitt. der dt. Gesellsch. z. Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. 1907. Nr. 5. S. 35–43, 105–110.

Eulenburg A. "Kriegsnervosität" // Die Umschau. 1915. Bd. 19. Nr. 1. S. 1–3.

Eulenburg A. Nervenheilstätten // ZU. 1898. Bd. 24. S. 27–31.

Eulenburg A. Nervenhygiene in der Großstadt // Die Woche (Berlin). 1902. S. 371–374, 441–444.

Eulenburg A. Die nervöse Berlinerin // Nord und Süd. 1910. Bd. 34. S. 265–275.

Eulenburg A. Über Nerven- und Geisteskrankheiten nach elektrischen Unfällen // Berliner Klin. Wochenschrift. 1905. Nr. 42. S. 30–33, 68–70.

Eulenburg A. Nervosität und Reisen // Die Gartenlaube. 1905. Nr. 23. S. 403–406; Nr. 24. S. 426–427.

Eulenburg A. Die Nervosität unserer Zeit // ZU. 1896. Bd. 16. S. 302–318.

Eulenburg A. Sexuale Neurasthenie // Deutsche Klinik (Berlin). 6/1902. S. 163–206.

*(Eulenburg-*Korr). J.C.G. Röhl (Hrsg.). Philipp Eulenburgs Politische Korrespondenz. 3 Bde. Boppard, 1976–1983.

Evans R.J. (Hrsg.). Kneipengespräche im Kaiserreich. Stimmungsberichte der Hamburger Politischen Polizei 1892–1914. Reinbek, 1989.

Evans R.J. (Hrsg.). Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830–1910. Reinbek, 1990.

Eyck E. Bismarck. 3 Bde. Zürich, 1941–1944.

Eyck E. Das persönliche Regiment Wilhelms II. Zürich, 1948.

Eyth M. Im Strom unserer Zeit. 2 Bde. Stuttgart.

Fahrenkamp K. Der Herzkranke. Stuttgart, 1941.

Fesser G. Reichskanzler Bernhard Fürst v. Bülow. Berlin, 1991.

Fesser G. Der Traum vom Platz an der Sonne. Deutsche "Weltpolitik" 1897–1914. Bremen, 1996.

Feudtner C. "Minds the Dead Have Ravished": Shell Shock, History, and the Ecology of Disease-Systems // History of Science. 31/1993. P. 377–420.

Finkler K. The Universality of Nerves // Davis D.L., Low S.M. (eds). Gender, Health, and Illness. The Case of Nerves. N.Y., 1989. P. 171–179.

Fischer F. Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911–1914. Düsseldorf, 1969.

Fischer-Homberger E. Der Begriff "Krankheit" als Funktion außermedizinischer Gegebenheiten // Sudhoffs Archiv. 1970. Bd. 54. S. 225–241.

Fischer-Homberger E. Die Büchse der Pandora: Der mythische Hintergrund der Eisenbahnkrankheiten des 19. Jh.s // Sudhoffs Archiv. 56/1972. S. 297–317.

Fischer-Homberger E. Hypochondrie. Melancholie bis Neurose: Krankheiten und Zustandsbilder. Bern, 1970.

Fischer-Homberger E. Die traumatische Neurose. Vom somatischen zum sozialen Leiden. Bern, 1975.

Fleck L. Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache (= des Syphilis-Konzepts; J.R.). Frankfurt/M., 1980 [1935].

Förster S. Der doppelte Militarismus. Die deutsche Heeresrüstungspolitik zwischen Status-quo-Sicherung und Aggression 1890–1913. Stuttgart, 1985.

Fontane T. Briefe. 4 Bde. München, 1976.

Forel A. Hygiene der Nerven und des Geistes. Stuttgart, ^{4}1914.

Forel A. Rückblick auf mein Leben. Zürich, 1935.

Forel A. Die Stellung der Neurologie, der Psychiatrie und der Psychotherapie an der Hochschule // J. f. Psychol. u. Neurol. 1910. S. 280–287.

Forster E. Der Krieg und die traumatischen Neurosen // Monatsschrift f. Psychiatrie und Neurol. (Basel). 1915. Bd. 38. S. 72–76.

Foucault M. Wahnsinn und Gesellschaft. Frankfurt/M., 1989 [1961].

Pout J.C. Sexual Politics in Wilhelmine Germany: The Male Gender Crisis, Moral Purity and Homophobia // J. of the History of Sexuality. 1992. No. 2. P. 388–421.

Frankenthal K. Jüdin, Intellektuelle, Sozialistin. Lebenserinnerungen einer Ärztin in Deutschland und im Exil. Frankfurt/M., 1985.

Freud S. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Frankfurt/M., 1961 (среди прочего Die "kulturelle" Sexualmoral und die moderne Nervosität, 1908).

Freud S. Abriß der Psychoanalyse/Das Unbehagen in der Kultur. Frankfurt/M., 1953.

Freud S. Hysterie und Angst. Frankfurt/M., 1971 (= Studienausgabe. Bd. 6).

Freud S. Das Nervensystem // E. Buchheim (Hrsg.). Ärztliche Versicherungs-Diagnostik. Wien, 1887. S. 188–207.

Freud S. Schriften über Kokain / Hirschmüller A. (Hrsg.). Frankfurt/M., 1996.

Freud S. "Selbstdarstellung". Schriften zur Geschichte der Psychoanalyse. Frankfurt/M., 1971.

Freud S. Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Frankfurt/M., 1991.

Freud im Gespräch mit seinen Mitarbeitern. Aus den Protokollen der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung / E. Federn (Hrsg.). Frankfurt/M., 1984.

(Freud — Fliess) Masson J.M. (Hrsg.). Sigmund Freud, Briefe an Wilhelm Fliess 1887–1904. Frankfurt/M., 1986.

Freund W.A. Wie steht es mit der Nervosität unseres Zeitalters? Leipzig, 1894.

Freund W.A. Leben und Arbeit. Berlin, 1913.

Frevert U. Ehrenmänner. Das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft. München, 1991.

Frevert U. Krankheit als politisches Problem 1770–1880. Göttingen, 1984.

Frevert U. "Mann und Weib, und Weib und Mann". Geschlechter-Differenzen in der Moderne. München, 1995.

Friedell E. Kulturgeschichte der Neuzeit. München, o. J. [1927–1931].

Friedjung H. Das Zeitalter des Imperialismus. 3 Bde. Leipzig, 1919–1922.

Frigyes L. Über Geistes- und Nervenkrankheiten und Gebrechlichkeiten unter den Juden. Diss. Frankfurt/M., 1927.

Fuchs W. Staatliche Prophylaxe in der Psychiatrie: Die Nervenheilstättenbewegung. München, 1902.

Fullinwider S. P. Neurasthenia: The Genteel Cast's Journey Inward // Rocky Mountain Social Science Journal. 1974. No. 11. P. 1–9 .

Gauld A. A History ot Hypnotism. Cambridge, 1992.

Gaupp R. Der Einfluß der deutschen Unfallgesetzgebung auf den Verlauf der Nerven- und Geisteskrankheiten // Münchener Medizin. Wochenschrift. 1906. Bd. 53. Nr. 46. S. 2233–2237.

Gaupp R. Die Nervosität unserer Zeit im Lichte der Wissenschaft // Medicin. Correspondenzblatt (Württ.). 77/1907. Nr. 31. S. 633–639.

Gaupp R. Über die wachsende Nervosität unserer Zeit // Medicin. Correspondenzblatt (Württ.). 79/1909. S. 27–28.

Gaupp R. Der nervöse Zusammenbruch und die Revolution // Bll. f. Volksgesundheitspflege. 1919. Bd. 19. Nr. 5/6. S. 43–46.

Gaupp R. Schreckneurosen und Neurasthenie // Schjerning O.v. (Hrsg.). Handbuch der ärztl. Erfahrungen im Weltkriege. 1914–1918. Bd. 4. Leipzig, 1922–1934. S. 68–101.

Gay P. Erziehung der Sinne. Sexualität im bürgerlichen Zeitalter. München, 1986.

Gay P. Freud. Frankfurt/M., 1989.

Gay P. Die zarte Leidenschaft. Liebe im bürgerlichen Zeitalter. München, 1987.

Gebhardt W.W. Wie werde ich energisch? Leipzig, [7]1904.

Geiss I. (Hrsg.). Juli 1914. München, 1965 (dtv dokumente).

Geiss I. (Hrsg.). Der lange Weg in die Katastrophe. Die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs 1815–1914. München, 1990.

Geissler G. Über die Bedeutung und den Wert der Arbeitsbehandlung Nervenkranker // Münchener Medizin. Wochenschrift. 1905. Bd. 52. Nr. 21. S. 994–998.

Geitel M. (Hrsg.). Der Siegeslauf der Technik. 3 Bde. Stuttgart, [2] o. J. (ок. 1913).

Geller J.L., Harris M. Women of the Asylum. Voices from behind the Walls, 1840–1945. N.Y., 1994.

Gelpke L. Culturschäden oder die Zunahme der Nerven- und Geisteskrankheiten. Basel, 1905.

Gerhardt M., Adam A. Friedrich v. Bodelschwingh. 2 Bde. Bielefeld-Bethel, 1950.

Gerlach H. von. Die deutsche Mentalität (1871–1921). Wiesbaden, [2]1922.

Gerling R. Gymnastik des Willens. Oranienburg, [5]1920 [1905].

Geuter U. Homosexualität in der deutschen Jugendbewegung. Frankfurt/M., 1994.

Geuter U. Die Professionalisierung der deutschen Psychologie im Nationalsozialismus. Frankfurt/M., 1988.

Gibbels E. Hitlers Nervenkrankheit. Eine neurologisch-psychiatrische Studie // VfZ. 42/1994. S. 155–220.

Gide A., Valery P. Briefwechsel 1890–1942. Frankfurt/M., 1987.

Gide C., Rist C. Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen. Jena, 1913.

Gilman S.L. The Jewish Body: A "Footnote" // Bull. of the History of Medicine (Baltimore). 64/1990. P. 588–602.

Gilman S.L. Rasse, Sexualität und Seuche. Stereotype aus der Innenwelt der westlichen Kultur. Reinbek, 1992.

Glaser H. Sigmund Freuds 20. Jahrhundert. Seelenbilder einer Epoche. München, 1976.

Göckenjan G. Kurieren und Staat machen. Gesundheit und Medizin in der bürgerlichen Welt. Frankfurt/M., 1985.

Görlitz W. (Hrsg.). Der Kaiser. Aufzeichnungen des Chefs des Marinekabinetts Admiral G.A.V. Müller über die Ära Wilhelms II. Göttingen, 1965.

Götze R. Über Nervenkranke und Nervenheilstätten. Halle, 1907.

Gold H., Koch A. (Hrsg.). Fräulein vom Amt. München, 1993.

Goldscheider A. Die Bedeutung der Reize für die Pathologie und Therapie im Licht der Neuronenlehre. Leipzig, 1898.

Goldstein J. Console and Classify. The French Psychiatric Profession in the 19th Century. Cambridge, 1987.

Goldstein J. The Hysteria Diagnosis and the Politics of Anticlericalism in Late 19th-century France // JMH. 54/1982. P. 209–239.

Goldstein J. The Uses of Male Hysteria. Medical and Literary Discoourse in 19th-century France // Clio medica. 25/1994. P. 210–247.

Goldstein J. The Wandering Jew and the Problem of Psychiatric And-semitism in Fin-de-siècle France // JCH. 20/1985. P. 521–552.

Goliner J. Der Nervenarzt. Ein gemeinverständlicher Ratgeber für alle Nervenkranken. Zittau, 1891.

Gollwitzer H. Die Gelbe Gefahr. Geschichte eines Schlagworts. Göttingen, 1962.

Gosling F.G. Before Freud. Neurasthenia and the American Medical Community 1870–1910. Urbana, III. 1988.

Gosling F.G. Neurasthenia in Pennsylvania: A Perspective on the Origins of American Psychotherapy, 1870–1910 // J. of the History of Medicine and Allied Sciences. 1985. Vol. 40. P. 188–206.

Gosling F.G., Ray J.M. The Right to Be Sick: American Physicians and Nervous Patients // J. of Social History. 20/1986–1987. P. 251–267.

Gradmann C. Bazillen, Krankheit und Krieg. Bakteriologie und politische Sprache im deutschen Kaiserreich // Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 19/1996. S. 81–94.

Gravenkamp H. Geschichte eines elenden Körpers. Lichtenberg als Patient. Göttingen, 1989.

Green M. Else und Frieda, die Richthofen-Schwestern. Kempten, 1976.

Greenberg D.B. Neurasthenia in the 1980s // Psychosomatics. (31) 1990. S. 129–137.

Groh D. "Je eher, desto besser". Innenpolitische Faktoren fiir die Präventivkriegsbereitschaft des Deutschen Reiches. 1913/1914 // PVS. 13/1972. S. 501–521.

Grotjahn A. Erlebtes und Erstrebtes. Erinnerungen eines sozialistischen Arztes. Berlin, 1932.

Grotjahn A. Die hygienische Forderung. Königstein/Ts., 1917.

Grotjahn A. Krankenhauswesen und Heilstättenbewegung im Lichte der sozialen Hygiene. Leipzig, 1908.

Grotjahn A. Die Krisis in der Lungenheilstättenbewegung // Medizin. Reform. 15/1907. S. 219–223, Diskussion 281–286.

Grotjahn A. Soziale Pathologie. Berlin, [3]1923.

Gründer H. Christliche Mission und deutscher Imperialismus 1884–1914. Paderborn, 1982.

Gülick B. von. Die Geschichte des "Psychiatrischen Vereins der Rheinprovinz" 1867–1930. Diss. Berlin, 1983.

Gurlitt L. Erziehung zur Mannhaftigkeit. Berlin, [4]1906.

Gurlitt L. Erziehungslehre. Berlin, 1909.

Gutenberg B. Nervosität und Ehe. Darmstadt, [2]1892.

Gutsche W. Aufstieg und Fall eines kaiserlichen Reichskanzlers. Th. v. Bethmann Hollweg. 1856–1921. Berlin, 1973.

Gutsche W. Wilhelm II. Berlin, 1991.

Habermas T. Heißhunger. Historische Bedingungen der Bulimia nervosa. Frankfurt/M., 1990.

Haeckel E. Die Welträtsel [1899]. Stuttgart, 1984.

Hahn M. Die Gesundheitsverhältnisse im polygraphischen Gewerbe Deutschlands. Berlin, 1908.

Hakfoort C. Science Deified: W. Ostwald's Energeticist World-View and the History of Scientism // Annals of Science. 49/1992. P. 525–544.

Hall L.A. Forbidden by God, Despised by Men: Masturbation, Medical Warnings, Moral Panic, and Manhood in Great Britain, 1850–1950 // J. of the History of Sexuality. 2/1992. P. 365–387.

Haller J. Aus dem Leben des Fürsten Philipp zu Eulenburg-Hertefeld. Berlin, 1924.

Haller J.S. Neurasthenia // New York State Journal of Medicine. 71/1970. P. 2489–2497; 72/1971. P. 473–482.

Hallgarten G.W.E. Imperialismus vor 1914. 2 Bde. München, 1963.

Hallgarten G.W.E. Als die Schatten fielen. Memoiren 1900–1968. Frankfurt/M., 1969.

Hallervorden J. Über Heilerfolge bei nervösen Invalidenversicherten // Ärztl. Sachverst.-Zeitung. 15/1909. Nr. 12. S. 237–242.

Hamann B. Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators. München, 1996.

Hamann O. Der neue Kurs. Berlin, 1918.

Harden M. Apostata. Berlin, 1892.

Harden M. Köpfe. 2 Bde. Berlin, 1910/1911.

Harden M. Wilhelm der Friedliche // ZU. 1907. Bd. 59. S. 1–12.

Hare E.H. Masturbatory Insanity. The History of an Idea. // Journal of Mental Science. 108/1962. P. 1–25.

Harrington R. The Neuroses of the Railway // History Today. 44/1994 (7). P. 15–21.

Hasebroek K. Über die Nervosität und den Mangel an körperlicher Bewegung in der Großstadt. Ein Beitrag zur hygienischen Bedeutung der Medico-mechanischen Institute. Hamburg, 1891.

Hasse E. Nervosität und Geistesleben // Der Türmer. 13 / 1911. S. 577–587.

Hasse F.P. Schule und Nervosität. Zur Beleuchtung der Überbürdungsfrage vom irrenärztlichen Standpunkte // Gartenlaube. 1881. Nr. 1. S. 7–9.

Hasse K.E. Krankheiten des Nervensystems. Erlangen, 1869 (= Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. Bd. 4/I).

Hearnshaw L.S. The Shaping of Modern Psychology. London, 1987.

Hegar A. Der Geschlechtstrieb. Stuttgart, 1894.

(Heilanstalten) Deutsche Heil- und Pflegeanstalten fiir psychisch Kranke in Wort und Bild. Halle, 1910.

Heilig G. Fabrikarbeit und Nervenleiden // Medizinische Reform. 16/1908. Nr. 31. S. 369–397.

Heimpel A. Was ich erlebte! (Erfahrungsbericht eines Anstaltspatienten; J.R.). Frankfurt/M., 1918.

Hellpach W. Grundlinien einer Psychologie der Hysterie. Leipzig, 1904.

Hellpach W. Heilkraft und Schöpfung. Dresden, 1934.

Hellpach W. Hysterie und Nervosität // Psychische Studien. 30/1903. S. 14–21, 89–95, 152–159.

Hellpach W. Die Kriegsneurasthenie // Zs. f. d. ges. Neurol. und Psychiatrie. 45/1919. S. 177–229.

Hellpach W. Mensch und Volk der Großstadt. Stuttgart, 1952.

Hellpach W. Nervenleben und Weltanschauung. Wiesbaden, 1906.

Hellpach W. Nervosität und Kultur. Berlin, 1902.

Hellpach W. Nervosität und Kunstgenuß // ZU. 39/1902. S. 102–112, 144–153.

Hellpach W. Nervosität und Mode // Neue Freie Presse (Wien). 6.4.1905.

Hellpach W. Neurasthenie // Allg. Dt. Lehrerzeitung. 64/1912. Nr. 48. S. 569–572.

Hellpach W. Soziale Ursachen und Wirkungen der Nervosität // Politisch-anthropolog. Revue. 1902. S. 43–53, 126–134.

Hellpach W. Technischer Fortschritt und seelische Gesundheit. Halle, 1907.

Hellpach W. Unfallneurosen und Arbeitsfreude // Neurolog. Zentralblatt. 25/1906. S. 605–609.

Hellpach W. Wirken in Wirren. Lebenserinnerungen. 2 Bde. Hamburg, 1948/1949.

(*Hellpach*-Aufsätze) Hellpach W. Universitas Litterarum. Gesammelte Aufsätze. Stuttgart, 1948.

(*Hellpach*-Beiträge) Stallmeister W., Lück H.E. (Hrsg.). Willy Hellpach. Beiträge zu Werk und Biographie. Frankfurt/M., 1991.

He-Qin Y. The Necessity of Retaining the Diagnostic Concept of Neurasthenia. CMP. 13/1989. S. 139–145.

Hermann K. Nervenschwäche (Neurasthenie, Nervosität), die Krankheit unserer Zeit. Dresden, 1928 (= Schriften f. Volksgesundheit 12).

Herzer M. Magnus Hirschfeld. Frankfurt/M., 1992.

Herzlich C., Pierret J. Kranke gestern — Kranke heute. Die Gesellschaft und das Leiden. München, 1991.

Hesse H. Die Brüder Karamasow oder Der Untergang Europas (1919) // Hesse H. Schriften zur Literatur. 2. Bd. Frankfurt/M., 1972. S. 320–337.

Hesse H. Kindheit und Jugend vor 1900 / Ninon Hesse (Hrsg.). 2 Bde. Frankfurt/M., 1966/1984.

Heuss T. Friedrich Naumann. Stuttgart, ^{2}1949.

Hildebrand K. Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler, 1871–1945. Stuttgart, 1995.

Hildebrandt K. Zum Streit über die traumatische Neurose // Neurolog. Zentralblatt. 34/1914. S. 715–720.

Hiller von. Gaetringen, Freiherr F. Fürst Bülows Denkwürdigkeiten. Tübingen, 1956.

Hilty C. Fin de Siècle // Polit. Jb. der Schweizer Eidgenoss. 13/1899. S. 3–10.

Hilty C. Über Neurasthenie. Bern, 1897.

Hirschfeld A. Diätetik für Nervenkranke. Wien, ^{2}1880.

Hirschfeld M. Sexualpsychologie und Volkspsychologie. Eine epikritische Studie zum Harden-Prozeß. Leipzig, 1908.

Hirschkron H. Die Nervenschwäche (Neurasthenie). Ihre Behandlung durch Willenseinfluß, angemessene Erziehung und anderweitige moderne Curbehelfe. Wien, 1893.

Hirschlaff L. Zur Gesundheitspflege des Nervensystems. Berlin, [2]1906.

Hirschmüller A. Freuds Begegnung mit der Psychiatrie. Von der Hirnmythologie zur Neurosenlehre. Tübingen, 1991.

Hirth G. Entropie der Keimsysteme und erbliche Endastung. München, 1900.

Hirth G. Wege zur Liebe. München, 1906.

His W. Die Front der Ärzte. Bielefeld, 1931.

His W. Medizin und Überkultur // Dt. medizin. Wochenschrift. 34/1908. S. 625–630.

Hoche A.E. Aus der Werkstatt. München, [7]1950 [1935].

Hoche A.E. Jahresringe. München, 1934.

Hoche A.E. (Hrsg.). Handbuch der gerichtlichen Psychiatrie. Berlin, 1901.

Hoffmann A. Berufswahl und Nervenleben. Wiesbaden, 1904.

Hoffmann H. Anstalt für Irre und Epileptische // Frankfurt am Main in seinen hygien. Verhältnissen und Einrichtungen. Frankfurt/M., 1881, S. 333–340.

Hoffmann H. Lebenserinnerungen. Frankfurt/M., 1985.

Hohenlohe A. von. Aus meinem Leben. Frankfurt/M., 1925.

Holbrook M.L. Hygiene of the Brain. London, 1878.

(*Holstein*-Briefe) Rogge H. (Hrsg.). Friedrich v. Holstein. Lebensbekenntnis in Briefen an eine Frau. Berlin, 1932.

(*Holstein*-Papiere) Rich N., Fisher M.H. (Hrsg.). Die geheimen Papiere Friedrich V. Holsteins. 4 Bde. Göttingen, 1956–1963.

Holtgrewe U. Die Arbeit der Vermittlung — Frauen am Klappenschrank // Hess. Bll. f. Volks- u. Kulturforschung N.F. 24/1989. S. 113–124.

Honegger C. Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaften vom Menschen und das Weib. Frankfurt/M., 1991.

Honigmann F. Unfallneurose und Unfallversicherungsgesetz // Ärztl. Sachverständ.-Zeitung. 20/1914. S. 159–164.

Horch H.O. Fontane und das kranke Jahrhundert // Bayerdörfer H.-P. u.a. (Hrsg.). Literatur und Theater im Wilhelminischen Zeitalter. Tübingen, 1978. S. 1–34.

Horn P. Über nervöse Erkrankungen nach Eisenbahnunfallen. Bonn, [2]1918.

Horn P. Zur Nutzbarmachung erhaltener und wiedergewonnener Arbeitskraft bei Unfallneurosen // Ärztl. Sachverständ.-Zeitung. 21/1915. S. 253–257, 266–272.

Hubenstorf M. Elektrizität und Medizin // Winau R. Technik und Medizin. Düsseldorf, 1993 (= Technik und Kultur. Bd. 4). S. 241–256.

Hubenstorf M. Vom Krebsgang des Fortschritts // Lichtjahre, 100 Jahre Strom in Osterreich / Künstlerhaus Wien (Hrsg.). Wien, 1986. S. 149–175.

Huebschmann H. Psyche und Tuberkulose. Stuttgart, 1952.

Huerkamp C. Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jh. Gottingen, 1985.

Huerkamp C. Medizinische Lebensreform im späten 19. Jh. // VSWG. 73/1986. S. 158–182.

Hufeland C.W. Makrobiotik oder Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern [1796]. Frankfurt/M., 1984.

Hull I.V. The Entourage of Kaiser Wilhelm II 1888–1918. Cambridge, 1982.

Huret J. Berlin um 1900. Berlin, 1979 [1909].

(Hygiene-Kongreß 1907) Bericht über den XIV. Internationalen Kongreß fur Hygiene und Demographie. Berlin, 23–29.9. 1907. Berlin, 1908.

Hyde M. Oscar Wilde. München, 1982.

Illustrierter Führer durch Bäder, Heilanstalten und Sommerfrischen / Med.-Rat Hennig (Hrsg.). Leipzig, o. J. (ок. 1903).

(Irrenärzte) Kirchhoff T. (Hrsg.). Deutsche Irrenärzte. 2. Bd. Berlin, 1924.

Isaacs R.R. Walter Gropius. 2 Bde. Berlin, 1983/84.

Israel L. Die unerhörte Botschaft der Hysterie. München, 1987.

Jackson S.W. Melancholia and Depression. From Hippocratic Times to Modern Times. New Haven, 1986.

James W. The Varieties of Religious Experience. N.Y., 1902.

Jarausch K. The Enigmatic Chancellor. Bethmann Hollweg and the Hybris of Imperial Germany. New Haven, 1983.

Jarausch K. Students, Sex and Politics in Imperial Germany // JCH. 17/1982. S. 285–303.

Jaspers K. Allgemeine Psychopathologie. Berlin, [8]1965.

Jeismann M. Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich 1792–1918. Stuttgart, 1992.

Jellinek S. Elektropathologie. Stuttgart, 1903.

Jentsch E. Musik und Nerven. Wiesbaden, 1911.

Jütte R. Ärzte, Heiler und Padenten. Medizinischer Alltag in der frühen Neuzeit. München, 1991.

Jütte R. Geschichte der alternativen Medizin. München, 1996.

Jung E. Radfahrseuche und Automobilenunfug. Ein Beitrag zum Recht auf Ruhe. München, 1902.

Just A. Kehrt zur Natur zurück! Stapelburg, [5]1903.

Kann A. Nervosität und Radfahren. Berlin, 1898.

Kantorowicz H. Gutachten zur Kriegsschuldfrage 1914 / I. Geiss (Hrsg.). Frankfurt/M., 1967.

Kapp W. Das innerpolitische Deutschland und der Krieg. Zur Psychologie der gegenwärtigen innerpolitischen Stimmungen und Bewegungen. Stuttgart, 1917 (= Der Deutsche Krieg. H. 90).

Kaufmann D. Aufklärung, bürgerliche Selbsterfahrung und die "Erfindung" der Psychiatrie in Deutschland, 1770–1850. Göttingen, 1995.

Kehr E. Der Primat der Innenpolitik / H.-U. Wehler (Hrsg.). Berlin, 1965.

Keim A. Erlebtes und Erstrebtes. Hannover, 1925.

Keller F. Beurlaubung von Industriearbeitern zur Beschäftigung in landwirtschaftlichen Betrieben (...). Leipzig, 1905.

Kellermann H. Der Krieg der Geister 1914. Dresden, 1915.

Kern S. The Culture of Time and Space 1880–1918. Cambridge, Mass., 1983.

Keßler H.G. Walther Rathenau. Frankfurt/M., 1988 [1928].

(Kiderlen-Wächter) Jäckh E. (Hrsg.). Kiderlen-Wächter, der Staatsmann und Mensch. Briefwechsel und Nachlaß. 2 Bde. Stuttgart, 1924.

Kleinman A. The Illness Narratives. Suffering, Healing, and the Human Condition. N.Y., 1988.

Klencke H. Hauslexikon der Gesundheitslehre für Leib und Seele. Ein Familienbuch. 2 Bde. Leipzig, ^{8}1893.

Klenke D. Gesangsveredelung und Schlägermensur im Zeichen der Nation // Neues Musikwiss. Jb. 3/1994. S. 133–162.

Klenke D. Zwischen nationalkriegerischem Gemeinschaftsideal und bürgerlich-ziviler Modernität. Zum Vereinsnationalismus der Sänger, Schützen und Turner im Deutschen Kaiserreich // GWU. 45/1994. S. 207–223.

Klose B. Starke Nerven — Frischer Geist — Überströmende Lebensfreude durch Willensübungen. Magdeburg, 1905.

Koch R. Schweninger's Seminar // JCH 20/1985. S. 757–779.

Koelbing H.M. Das Nervensystem und die "sogenannte Seelentätigkeit" in der Lehre Pawlows // Gesnerus. 33/1976. S. 21–29.

Koelsch F.X. Allgemeine Gewerbepathologie und Gewerbehygiene. Leipzig, 1914 (= Weyl's Handbuch der Hygiene. 7. Bd.).

Koelsch F.X. Die gewerbeärztliche Beurteilung der Arbeit an automatischen Webstühlen // Archiv f. Hygiene. 93/1923. S. 177–186.

Köttgen (Kreisarzt): Nervenhygiene und Betriebssicherheit im Automobil- und Eisenbahnverkehr // Zs. für Medizinalbeamte. 25/1912. S. 875–888.

Kollarits J. Charakter und Nervosität. Berlin, 1912.

Kommerell E. Über die Begutachtung von traumatischen Neurosen // Klin. Vorträge N.F. Juni 1914. Nr. 703. S. 289–313.

Komo G. "Für Volk und Vaterland". Die Militärpsychiatrie in den Weltkriegen. Münster, 1992.

Korb-Döbeln. Liederbuch für deutsche Ärzte und Naturforscher. Hamburg, 1890.

Kornig. Umgangs-Handbuch für den Verkehr mit Nervösen. Berlin, 1893.

Koßmann. Die angebliche Zunahme der Nervosität // Frankfurter Zeitung. 13.1.1903.

Kothe G. Das Wesen und die Behandlung der Neurasthenie. Weimar, 1894.

Krabbe W. Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform. Göttingen, 1974.

Kraepelin E. Die Diagnose der Neurasthenie // Münchener Medizin.Wochenschrift. 49/1902. Nr. 40. S. 1641–1644.

Kraepelin E. Über geistige Arbeit. Jena, 1894.

Kraepelin E. Hundert Jahre Psychiatrie // Zs. f. d. ges. Neurologie und Psychiatrie. 38/1918. S. 161–275.

Kraepelin E. Zur Hygiene der Arbeit. Jena, 1896.

Kraepelin E.: Lebenserinnerungen (посмертно). Berlin, 1983.

Kraepelin E. Die psychiatrischen Aufgaben des Staates. Jena, 1900.

Krafft-Ebing R. von. Über gesunde und kranke Nerven.Tübingen, 1885.

Krafft-Ebing R. von. Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie. Stuttgart, 1892.

Krafft-Ebing R. von. Nervosität und neurasthenische Zustände. Wien, ^{2}1900.

Krafft-Ebing R. von. Psychopathia sexualis. ^{14}1912. ND München, 1984.

Kraus K. Die chinesische Mauer. Frankfurt/M., 1987 [1930].

Krause K. Arbeitsbedingte Erkrankungen im polygraphischen Gewerbe. Eine arbeitsmedizin. Studie in histor. Sicht. Frankfurt/M., 1988.

Kretschmer E. Geniale Menschen. Berlin, 1929.

Krömer S. Lärm als medizin. Problem im 19. Jh. Diss. Mainz, 1981.

Kroner E. Die Ursachen und die Verhütung der Nervosität // Aus Höhen und Tiefen (Berlin). 11/1908. S. 325–359.

Kugelmann R. Stress. The Nature and History of Engineered Grief. London, 1992.

Kuhm K. Das eilige Jahrhundert. Einblicke in die automobile Gesellschaft. Hamburg, 1995.

Kurella H. Elektrische Gesundheits-Schädigungen am Telefon. Leipzig, 1905.

Labisch A. Homo Hygienicus. Gesundheit und Medizin in der Neuzeit. Frankfurt/M., 1992.

Labisch A., Spree R. (Hrsg.). Medizin. Deutungsmacht im sozialen Wandel. Bonn, 1989.

Labisch A., Tennstedt F. Der Weg zum "Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens". 2 Teile. Düsseldorf, 1985 (= Schriftenreihe der Akademie für öffentl. Gesundheitswesen. Bd. 13/1–2).

Lachmund J., Stollberg G. Patientenwelten. Krankheit und Medizin vom späten 18. bis zum frühen 20. Jh. im Spiegel von Autobiographien. Opladen, 1995.

Ladendorf O. Nervös. Ein wortgeschichtl. Versuch // Zs. für dt. Wortforschung. 6/1904–1905, S. 119–128.

Laehr M. Alkoholismus und Nervosität // Der Alkoholismus, N.F. 2/1905. Nr. 4. S. 233–249.

Laehr M. Beschäftigungstherapie für Nervenkranke // Wiener klin. Wochenschrift. 19/1906. Nr. 52. S. 1575–1581.

Laehr M. Die Nervosität der heutigen Arbeiterschaft // Zs. für Psychiatrie. 66/1909. S. 1–18.

Lahmann H. Die Zeitkrankheit "Neurasthenie" // Lahmann H. Die wichtigsten Kapitel der natürlichen (physikalisch-diätetischen) Heilweise. Stuttgart, 1901. S. 236–252.

Lamprecht K. Zur jüngsten deutschen Vergangenheit. 2 Bde. Freiburg, 1902–1903.

Lamprecht K. Der Kaiser. Versuch einer Charakteristik. Berlin, 1913.

Landau R. Nervöse Schulkinder. Hamburg, 1902.

Landes D.S. Revolution in Time. Clocks and the Making of the Modern World. Cambridge, Mass., 1983.

Landsteiner G., Neurath W. Krankheit als Auszeichnung eines geheimen Lebens. Krankheitskonstruktion und Sexualität anhand der Lungentuberkulose um 1900 // Österreich. Zs. f. Geschichtswiss. 5/1994. H. 3. S. 358–387.

Langbehn J. Rembrandt als Erzieher (1890). Weimar, 1922.

Langen G. Stadtplan und Anlage von Ortschaften in ihrer hygien. Bedeutung // Rubner M. u.a. (Hrsg.). Handbuch der Hygiene. Bd. II/1. Leipzig, 1927. S. 153–204.

Langer K. Heinrich Laehr und das Asyl Schweizerhof in Zehlendorf bei Berlin. Diss. Berlin, 1966.

Langstein H. Die Neurasthenie (Nervenschwäche) und ihre Behandlung in Teplitz-Schönau. Wien, 1886.

Laquer B. Die Großstadt-Arbeit und ihre Hygiene. Halle, 1912.

Laquer L. Die Heilbarkeit nervöser Unfallfolgen. Halle, 1912.

Laquer L. Nervosität und moderne Kultur // Umschau. 12/1908. Nr. 7. S. 121–123.

Lears T.J. No Place of Grace. Antimodernism and the Transformation of American Culture 1880–1920. N.Y., 1981.

Lehr G. Die nervöse Herzschwäche. Wiesbaden, 1891.

Lee S. Edward VII. 2 Bde. Dresden, 1928.

Leibbrand W. Romantische Medizin. Hamburg, 1937.

Leibbrand W. Die spekulative Medizin der Romantik. Hamburg, 1956.

Leitner G.v. Der Fall Clara Immerwahr. München, 1993.

Lenz H. Vergleichende Psychiatrie. Eine Studice über die Beziehung von Kultur, Soziologie und Psychopathologie. Wien, 1964.

Lepenies W. Melancholie und Gesellschaft. Frankfurt/M., 1969.

LeRider J. Das Ende der Illusion. Die Weimarer Moderne und die Krisen der Identität. Wien, 1990.

Lessing T. Einmal und nie wieder. Gütersloh, 1969 [1925].

Lessing T. Der Lärm. Eine Kampfschrift gegen die Geräusche unseres Lebens. Wiesbaden, 1908.

Lessing T. Der jüdische Selbsthaß. München, 1984 [1930].

Leubuscher R. Die Krankheiten des Nervensystems. Leipzig, 1860.

Leubuscher P., Bibrowicz W. Die Neurasthenie in Arbeiterkreisen // Dt. medizin. Wochenschrift. 31/1905. S. 820–824.

Levillain F. La Neurasthénie, maladie de Beard (mit Vorwort von Charcot). Paris, 1891.

Lévy P.-E. Neurasthénie et Névroses. Leur guérison définitive en cure libre. Paris, 1909.

Levy-Suhl M. Der Ausrottungskampf gegen die Rentenneurosen und seine Konsequenzen // Dt. medizin. Wochenschrift. 52/1926. S. 1727–1729.

Lewis A. Psychiatry and the Jewish Tradition // Psychological Medicine 1978/8. S. 9–19.

Liebig H. Freiherr von. Die Politik Bethmann Hollwegs. 2 Bde. München, 1919.

Lick E. Der Arzt und seine Sendung. Gedanken eines Ketzers. München,[5]1927.

Lick E. Gedanken eines Arztes. Dresden, 1937.

Lick E. Die Schäden der sozialen Versicherungen und Wege zur Besserung. München, [2]1928.

Liman P. Der Kronprinz. Gedanken über Deutschlands Zukunft. Minden, 1914.

Lin T.-Y. Neurasthenia Revisited: Its Place in Modern Psychiatry // CMP. 13/1989. S. 105–129.

Linden M. van der, Mergner G. (Hrsg.). Kriegsbegeisterung und mentale Kriegsvorbereitung. Interdisziplinäre Studien. Berlin, 1991.

Lindow E. Freiherr Marschall v. Bieberstein als Botschafter in Konstantinopel 1897–1912. Danzig, 1934.

Link-Heer U. "Männliche Hysterie". Eine Diskursanalyse // Becher U.A. J., Rüsen J. (Hrsg.). Weiblichkeit in geschichd. Perspektive. Frankfurt/M., 1988. S. 364–396.

Lock M. Words of Fear, Words of Power: Nerves and the Awakening of Political Consciousness // Medical Anthropology. 11/1989. S. 79–90.

Löwenfeld L. Über den National-Charakter der Franzosen und dessen krankhafte Auswüchse (Die Psychopathia gallica) in ihren Beziehungen zum Weltkrieg. Wiesbaden, 1914.

Löwenfeld L. Die objectiven Zeichen der Neurasthenie // Münchener medicin. Wochenschrift. 38/1891. S. 856–859.

Löwenfeld L. Pathologie und Therapie der Neurasthenie und Hysterie. Wiesbaden, 1894.

Löwenfeld L. Sexualleben und Nervenleiden. Wiesbaden, [4]1906.

Loewenstein E. Nervöse Leute. Gedanken eines Laien. Leipzig, 1914.

Loh A. Die Neurasthenie und ihre Behandlung. Wiesbaden, 1890.

Loquai F. Hamlet und Deutschland. Stuttgart, 1993.

Lots Fr. Nervöse Zustände. Neue Wege zu ihrer Erkenntnis und Behandlung. Berlin, 1908.

Low S.M. Culturally Interpreted Symptoms or Culture-Bound Syndromes: A Cross-Cultural Review of Nerves // Social Science and Medicine. 21/1085. S. 187–196.

Low S.M. Health, Culture and the Nature of Nerves: A Critique. // Medical Anthropology. 11/1989. P. 91–95.

Ludwig E. Genie und Charakter. 20 männliche Bildnisse. Berlin, 1924.

Lüdtke A. Eigen-Sinn. Fabrikalltag, Arbeitserfahrung und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus. Hamburg, 1993.

Lütkehaus L. "O Wollust, o Hölle". Die Onanie — Stationen einer Inquisition. Frankfurt/M., 1992.

Lutz T. American Nervousness, 1903. An Anecdotal History. Ithaca, 1991.

Machule D. u.a. (Hrsg.). Macht Stadt krank.? Vom Umgang mit Gesundheit und Krankheit. Hamburg, 1996.

Macmillan M.B. Beard's Concept of Neurasthenia and Freud's Concept of the Actual Neuroses // J. of the History of the Behavioral Sciences 12/1976. P. 376–390.

Macmillan M.B. Freud Evaluated. Amsterdam: N.Y., 1991.

Maison de Santé. Ehemalige Kur- und Irrenanstalt / Bezirksamt Schöneberg. (Hrsg.). Berlin, 1989.

Manaceine M. von. Die geistige Überbürdung in der modernen Kultur. Leipzig, 1905.

Mann G., Winau R. (Hrsg.). Medizin, Naturwissenschaft, Technik und das Zweite Kaiserreich. Göttingen, 1977.

Mantegazza P. Hygiene der Liebe. Berlin, o. J. [1877].

Mantegazza P. Das nervöse Jahrhundert. Leipzig, o. J. [Florenz, 1887].

Mantegazza P. Physiologie der Liebe. Berlin, o. J. [1877].

Marcard H.M. Beschreibung von Pyrmont. 2 Bde. Leipzig, 1784/1785.

March O.S. von der. Die Neurotischen (1894) // Wunberg G. (Hrsg.). Die Wiener Moderne. Stuttgart, 1984. S. 239–248.

Marcinowski J. Im Kampf um gesunde Nerven. Berlin, ^{3}1907.

Marcinowski J. Nervosität und Weltanschauung. Berlin, 1905.

Marie P. L'hysterie en Allemagne // Le Progrès Mécical. 15/1887. Nr. 47. P. 440–442.

Martius F. Neurasthenische Entartung einst und jetzt. Tröstliche Betrachtungen eines Kulturoptimisten. Leipzig, 1909.

Martius F. Kurz-Autobiographie // Grote L.R. (Hrsg.). Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Leipzig, 1923. S. 105–140.

Martynkewicz W. Georg Groddeck. Frankfurt/M., 1997.

Marwedel R. Theodor Lessing, 1872–1933. Darmstadt, 1987.

Massie R.K. Die Schalen des Zorns. Großbritannien, Deutschland und das Heraufziehen des Ersten Weltkrieges. Frankfurt/M., 1993.

Masson J.M. Die Abschaffung der Psychotherapie. München, 1991.

Mathieu J. Sanierung der Volkskultur. Massenmedien, Medizin und Hygiene 1850–1900 // MedGG. 12/1993. S. 101–146.

Mayer A. Die Lehre der sog. Spinal-Irritation in den letzten 10 Jahren // Archiv der Heilkunde. 1860. S. 121–156.

McKeown T. Die Bedeutung der Medizin. Traum, Trugbild und Nemesis? Frankfurt/M., 1982.

McLaren A. A History of Contraception. Oxford, 1990.

Mehnert U. Deutschland, Amerika und die "Gelbe Gefahr". Stuttgart, 1995.

Mehring F. Zur deutschen Geschichte von der Revolution 1848/49 bis zum Ende des 19. Jh.s. Berlin, 1972.

Meltzer O. Die Schätzung der Erwerbsunfähigkeit bei der Neurasthenie // Ärztl. Sachverständ.-Zeitung. 20/1914. S. 225–227.

de Mendelssohn P. Zeitungsstadt Berlin. Frankfurt/M., 1982.

Merle U. Tempo! Tempo! — Die Industrialisierung der Zeit im 19. Jh. // Jenzen I.A. (Hrsg.). Uhrzeiten. Frankfurt, 1989. S. 161–217.

Messerli J. Gleichmäßig, pünktlich, schnell. Zeiteinteilung und Zeitgebrauch in der Schweiz im 19. Jh. Zurich, 1995.

Meyer M. Die Nervosität in der Armee // Der Militärarzt. 40/1906. H. 3/4. S. 19–22.

Micale M.S. Hysteria and its Historiography: A Review of Past and Present Writings // History of Science. 27/1989. P. 223–261, 319–351.

Micale M.S. Hysteria Male/Hysteria Female: Reflections on Comparative Gender Construction in 19th-century France and Britain // Benjamin M. (Hrsg.). Science and Sensibility. Gender and Scientific Enquiry, 1780–1945. Oxford, 1991. P. 200–239.

Michler M. Hufelands Beitrag zur Bäderheilkunde // Gesnerus. 27/1970. S. 191–217.

Miethe A. (Hrsg.). Die Technik im 20. Jh. 6 Bde. Braunschweig, 1911–1921.

Militär-Medizinalabteilung des Kgl. Preuß. Kriegsministeriums (Hrsg.). Erkrankungen des Nervensystems bei den Deutschen Heeren im Kriege gegen Frankreich. 1870–1871. Berlin, 1886.

Mitchell S.W. Fat and Blood. An essay on the treatment of certain forms of neurasthenia and hysteria. Philadelphia, [4]1885.

Möbius P.J. Das Nervensystem des Menschen und seine Erkrankungen. Leipzig, 1880.

Möbius P.J. Die Nervosität. Leipzig, [1]1882, [2]1885.

Möbius P.J. Über die Behandlung von Nervenkrankheiten und die Errichtung von Nervenheilstätten. Berlin, [2]1896.

Möbius P.J. Zur Lehre von der Neurasthenie // Centralblatt für Nervenheilkunde, Psychiatrie. 6/1883. Nr. 5. S. 97–99.

Möbius P.J. Neurologische Beiträge. 1. Heft: Leipzig, 1894; 2. Heft: Leipzig, 1894; 5. Heft: 1898.

Möbius P.J. Über das Pathologische bei Nietzsche. Wiesbaden, 1902.

Möbius P.J. Die Hoffnungslosigkeit aller Psychologie. Halle, 1907.

Möbius P.J. Bemerkungen über Simulation bei Unfall-Nervenkranken // Münchener Medicin. Wochenschrift. 50/1890. S. 887–888.

Möbius P.J. Über die Veredelung des menschlichen Geschlechts // Neurologische Beiträge. H. 5, Leipzig, 1898. S. 30–152.

Möbius P.J. Vermischte Aufsätze. Leipzig, 1898.

Möbius P.J. Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes. Halle, [8]1905 [1900]. ND München, 1977.

Möbius P.J. Über die Wirkungen der Castration. Halle, 1906.

Möller H.-J. Die Begriffe "Reizbarkeit" und "Reiz". Konstanz und Wandel ihres Bedeutungsinhaltes sowie die Problematik ihrer exakten Definition. Stuttgart, 1975. (= Medizin in Geschichte u. Kultur. Bd. II).

Mörchen F. Der nervöse Mensch unserer Zeit. Wie hilft man ihm, und wie hilft er sich? München, 1933.

Mogge W., Reulecke J. Hoher Meißner 1913. Köln, 1988.

Moll A. Der Einfluß des großstädtischen Lebens und des Verkehrs auf das Nervensystem. Berlin, 1902.

Moll A. Ist die Elektrotherapie eine wissenschaftl. Heilmethode? // Berliner Klinik. 41/1891. S. 1–30.

Moll A. Das nervöse Weib. Berlin, [2]1898.

Moll A. Ein Leben als Arzt der Seele. Erinnerungen. Dresden, 1936.

Moltke H. von. Erinnerungen, Briefe, Dokumente 1877–1916 / Eliza von. Moltke (Hrsg.). Stuttgart, 1922.

Mommsen W.J. Der autoritäre Nationalstaat. Verfassung, Gesellschaft und Kultur im dt. Kaiserreich. Frankfurt/M., 1990.

Monakow C. von. Vita mea — Mein Leben. Bern, 1970.

(Monts) Nowak K.F., Thimme F. (Hrsg.). Erinnerungen und Gedanken des Botschafters Anton Graf Monts. Berlin, 1932.

Morris D.B. Geschichte des Schmerzes. Frankturt/M., 1994.

Moser G. Der Arzt im Kampf gegen "Begehrlichkeit und Rentensucht" im dt. Kaiserreich und in der Weimarer Republik // Jb. für Krit. Medizin. 16. Hamburg, 1991. S. 161–183.

Mosse G.L. Nationalismus und Sexualitat. München, 1985.

Mosse G.L. Max Nordau, Liberalism and the New Jew // JCH. 27/1992. S. 565–581.

Mosse M., Tugendreich G. (Hrsg.). Krankheit und soziale Lage. München, 1913. ND Göttingen, 1977.

Mosso A. Die Ermüdung. Leipzig, 1892 [1884].

Müller A. Bismarck, Nietzsche, Scheffel, Mörike. Der Einfluß nervöser Zustände auf ihr Leben und Schaffen. Bonn, 1921.

Müller F.C. Hydrotherapie. Leipzig, 1890.

Müller F.C. Handbuch der Neurasthenie. Leipzig, 1893.

Müller J. Die Neurasthenie oder Nervenschwäche // Reformbll. 3/1900. S. 22–25.

Müller K.A. von. Aus Gärten der Vergangenheit. Erinnerungen 1882–1914. Stuttgart, 1951.

Müller L. Modernität, Nervosität und Sachlichkeit // Mythos Berlin (Ausstellungskatalog). Berlin, 1987. S. 79–92.

Müller R. u.a. (Hrsg.). Industrielle Pathologie in historischer Sicht. Bremen, 1985.

Müller R., Milles D. (Hrsg.). Beiträge zur Geschichte der Arbeiterkrankheiten und der Arbeitsmedizin in Deutschland. Dortmund, 1984.

Müller-Freienfels R. Psychologie des deutschen Menschen und seiner Kultur. München, 1930.

Müller-Hegemann D. Moderne Nervosität. Berlin, [2]1961.

Münsterberg H. Psychologie und Wirtschaftsleben. Leipzig, 1912.

Munthe A. Das Buch von San Michele. München, 1978 [1929].

Murauer L. Das elektrisierte Universum // Lichtjahre (см. ниже: *Hubenstorf*, Krebsgang). S. 55–70.

Musil R. Der Mann ohne Eigenschaften. 2 Bde. Reinbek, 1978 [1930–1932].

Myerson A. The "Nervousness" of the Jew. // Mental Hygiene (Albany, N.Y.). 1920 (Jan.). P. 65–72.

Naumann F. "Asia". Berlin, [6]1907.

Naumann F. Demokratie und Kaisertum. Berlin, [4]1905.

Naunyn B. Anschauungen der modernen Wissenschaft über die sogenannte Nervosität // *Naunyn B.* Gesammelte Abhandlungen. 2. Bd. Würzburg, 1909. S. 1243–1258.

Naunyn B. Erinnerungen, Gedanken und Meinungen. München, 1925.

Nervenkrank! Eine Schrift für Jedermann. (ohne Verf.) München, 1901.

Neumann E. Die Heilung der Nervosität durch intelligente Leibeszucht und rationelle Lebenshaltung. Leipzig, 1901.

Niethammer L. Umständliche Erläuterung der seelischen Störung eines Communalbaumeisters in Preußens größtem Industriedorf oder: Die Unfähigkeit zur Stadtentwicklung. Frankfurt/M., 1979.

Nipperdey T. Deutsche Geschichte 1866–1918. 2 Bde. München, 1990/1992.

Nipperdey T. Nachdenken über die deutsche Geschichte. Essays. München, 1986.

Nippold O. Der deutsche Chauvinismus. Stuttgart, 1913.

Nitzschke A. Körper in Bewegung. Stuttgart, 1989.

Nolda A. Über die Indikationen der Hochgebirgskuren fiir Nervenkranke. Halle, 1906.

Nonne M. Therapeutische Erfahrungen an den Kriegsneurosen in den Jahren 1914–1918 // Schjerning (см.: Gaupp, Schrecknerosen). S. 102–121.

Nordau M. Entartung. 2 Bde. Berlin, 1892–1893.

Nye R.A. Degeneration, Neurasthenia and the Culture of Sport in Belle Epoque France // JCH. 17/1982. S. 51–68.

Observator (псевдоним). Über die Nervosität im deutschen Charakter. Entwurf zu einer Analyse der deutschen Volksseele von der Reichsgründung bis zum Zusammenbruch. Leipzig, 1922 (= Der Neue Geist, H. 35).

Oczeret H. Die Nervosität als Problem des modernen Menschen. Zürich, 1918.

Oechelhäuser M. Staatliche Chauffeurschulen // Sozial-Technik. 7/1907–1908. H. 2. S. 29–31.

Oechelhäuser W. von. Technische Arbeit einst und jetzt. Berlin, 1906.

Oordt M. van. Die Freiluft-Liegebehandlung bei Nervösen. Leipzig, 1903 (= Sammlung Klin. Vorträge N.F. Nr. 364).

Oppenheim H. Der Krieg und die traumatischen Neurosen // Berliner Klin. Wochenschrift. 52/1915. Nr. 11. S. 257–261.

Oppenheim H. Lehrbuch der Nervenkrankheiten. 2 Bde. Berlin, [3]1902, [5]1908, [7]1923 (без примечаний: 1923).

Oppenheim H. Nervenleiden und Erziehung. Berlin, 1899.

Oppenheim H. Psychotherapeutische Briefe. Berlin, [2]1906.

Oppenheim J. "Shattered Nerves". Doctors, Patients, and Depression in Victorian England. Oxford, 1991.

Orloff Fürst N. Bismarck und Katharina Orloff. München, 1936.

Ostwald W. Die Forderung des Tages. Leipzig, 1911.

Ostwald W. Zur Geschichte der Wissenschaft / Regine Zott (Hrsg.). Leipzig, 1985 (= Ostwalds Klassiker. Bd. 267).

Ostwald W. Lebenslinien. Eine Selbstbiographie. 3 Bde. Berlin, 1933.

Otto K.A., Gorsboth T. Die Arbeitszeit! Von der vorindustriellen Gesellschaft bis zur "Krise der Arbeitsgesellschaft". Pfaffenweiler, 1988.

Paneth L. Seelen ohne Kompaß. Nervenkrankheiten und psychische Störungen als Lebensprobleme des modernen Menschen. Berlin, 1935.

Paneth L. Der Nervöse und seine Welt. Zürich, 1944.

Pantel J. Neurologie, Psychiatrie und Innere Medizin. Verlauf und Dynamik eines historischen Streites // Würzburger medizinhistor. Mitt. 11/1993, S. 77–99.

Pauchard D. Neurasthénic, psychasthénic. Evolution des concepts // Revue Medicale de la Suisse Romande. 102/1982. P. 621–627.

Payer L. Medicine & Culture. Varieties of Treatment in the U.S., England, W. Germany, and France. N.Y., 1988.

Pelman C. Erinnerungen eines alten Irrenarztes. Bonn, 1912.

Pelman C. Über die Errichtung von Sanatorien für Nervenkranke // Centralblatt f. allg. Gesundheitspflege. 19/1900. S. 441–448.

Pelman C. Psychische Grenzzustände. Bonn, 1920.

Pelman C. Nervösität (sic!) und Erziehung // Centralblatt f. allg. Gesundheitspflege. 7/1888. S. 129–152, 207–223.

Peretti (Sanitätsrat). Über den jetzigen Stand der Nervenheilstätten-Bestrebungen // Psychiatr.-Neurolog. Wochenschrift. 1903. Nr. 27. S. 277–283.

Peters C. Die deutsche Emin Pascha-Expedition. Hamburg, 1907.

Peters M. Der Alldeutsche Verband am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Frankfurt/M., 1992.

Petrat G. Curriculum und Gesundheitsgefährdung. Zur "Schulstreß"-Diskussion im 18. und 19. Jh. // Zs. f. Pädagogik. 27/1981. S. 575–594.

Petrén K. Über die Verbreitung der Neurasthenie unter verschiedenen Bevölkerungsclassen // Dt. Zs. f. Nervenheilkunde. 17/1900. S. 397–412.

Peyer A. Der unvollständige Beischlaf und seine Folgen beim männlichen Geschlechte. Eine Studie aus der Praxis. Stuttgart, 1890.

Pflanze O. Bismarck. Der Reichsgründer. München, 1997.

Pichot P. La neurasthénie, hier et aujourd'hui // L'Encéphale. 20/1994. P. 545–549.

Pikulik L. Langeweile oder die Krankheit zum Kriege // Zs. f. Dt. Philologie. 105/1986. S. 593–618.

Placzek S. Über die Gefahren nervenkranker Eisenbahnbediensteter für den Eisenbahnbetrieb // Bericht über den XIV. Internat. Kongreß für Hygiene und Demographie (1907). Bd. 3. Berlin, 1908. S. 430–453.

Placzek S. Müssen Unfälle nervöse Folgen haben? Auch ein Beitrag. Berlin, 1913.

Playfair W.S. Die systematische Behandlung der Nervosität und Hysterie. Berlin, 1883.

Playne C.E. The Neuroses of the Nations. London, 1925.

Podestâ (Marine-Stabsarzt). Häufigkeit und Ursachen seelischer Erkrankungen in der deutschen Marine unter Vergleich mit der Statistik der Armee // Archiv f. Psychiatrie u. Nervenkrankheiten. 40/1905. S. 561–703.

Popitz H. u.a. Technik und Industriearbeit. Tübingen, 1957.

Porter R. History of the Body // Burke P. (ed.). New Perspectives on Historical Writing. Oxford, 1991. P. 206–232.

Porter R. Mind-Forg'd Manacles. A History of Madness in England from the Restoration to the Regency. London, 1987.

Porter R. A Social History of Madness, Stories of the Insane. London, 1987.

Porter R., Porter D. In Sickness and in Health. The British Experience 1650–1850. London, 1988.

Pozsár C., Farin M. (Hrsg.). Die Haarmann-Protokolle. Reinbek, 1995.

Proust A., Ballet G. L'hygiène du neurasthénique. Paris, 1897.

Quensel. Die Verhütung von Nervenleiden als Gewerbekrankheiten // Zs. f. Gewerbehygiene, Unfallverhütung und Arbeiterwohlfahrts-Einrichtungen (Wien). 17/1910. S. 130–132.

Quidde L. Caligula / H.-U. Wehler (Hrsg.). Frankfurt/M, 1977 [1894].

Quiguer C. Femmes et machines de 1900. Paris, 1979.

Rabenstein R. Radsport und Gesellschaft. Hildesheim, 1991.

Rabinbach A. The European Science of Work: The Economy of the Body an the End of the 19th Century // Kaplan S.L. u.a. (ed.). Work in France. Ithaca, 1986. P. 475–513.

Rabinbach A. Körperliche Grenzen der Leistungsanforderung und der Leistungsansprüche: Die Rolle der Ermüdungsforschung in der Sozialpolidk um die Jahrhundertwende // Milles D. (Hrsg.). Gesundheitsrisiken, Industriegesellschaft und soziale Sicherungen in der Geschichte. Bremerhaven, 1993. S. 37–52.

Rabinbach A. The Human Motor. Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity. Berkeley, 1990.

Rabinbach A. Der Motor Mensch. Ermüdung, Energie und Technologie des menschlichen Körpers im ausgehenden 19. Jh. // Buddensieg T., Rogge H. (Hrsg.). Die Nützlichen Künste. Berlin, 1981. S. 129–135.

Radkau J. Amerikanisierung als deutsches Nervenproblem. Von der nervösen zur coolen Modernität // Stiftung Bauhaus Dessau (Hrsg.). Zukunft aus Amerika. Dessau, 1995. S. 106–123.

Radkau J. Angst und Angstabwehr als Regulative der Technikgeschichte: Gedanken zu einer Heuristik der Furcht // Kerner M. (Hrsg.). Technik und Angst. Aachen, 1994. S. 53–72.

Radkau J. Auto-Lust: Zur Geschichte der Geschwindigkeit // Koenigs T., Schaeffer R. (Hrsg.). Fortschritt vom Auto? München, 1991. S. 113–130.

Radkau J. Das Fahrrad in den Technikvisionen der Jahrhundertwende oder: Das Erlebnis in der Technikgeschichte // Briese V. u.a. (Hrsg.). Wege zur Fahrradgeschichte. Bielefeld, 1995. S. 9–32.

Radkau J. Industrialisierung des Bewußtseins und moderne Nervosität: Zur Mythologie und Wirklichkeit der Neurasthenie im Deutschen Kaiserreich // Milles D. (Hrsg.). Gesundheitsrisiken, Industriegesellschaft und soziale Sicherungen in der Geschichte. Bremerhaven, 1993. S. 363–385.

Radkau J. Die Männer als schwaches Geschlecht. Die wilhelminische Nervosität, die Politisierung der Therapie und der mißglückte Geschlechterrollentausch // Kornbichler T., Maaz W. (Hrsg.). Variationen der Liebe. Historische Psychologie der Geschlechterbeziehung. Tübingen, 1995. S. 249–293.

Radkau J. Nationalismus und Nervosität // Hardtwig W., Wehler H.-U. (Hrsg.). Kulturgeschichte heute. Göttingen, 1996. S. 284–315.

Radkau J. Natur als Fata Morgana? Naturideale in der Technikgeschichte // Kulturamt Stuttgart (Hrsg.). Zum Naturbegriff der Gegenwart. Stuttgart, 1994. Bd. 2. S. 281–310.

Radkau J. Die wilhelminische Ära als nervöses Zeitalter, oder: Die Nerven als Netz zwischen Tempo- und Körpergeschichte // GG. 20/1994. S. 211–241.

Radkau J. "Die Nervosität des Zeitalters": Die Erfindung von Technikbedürfnissen um die Jahrhundertwende // Kultur und Technik. 3/1994. S. 51–57.

Radkau J. Neugier der Nerven. Thomas Mann als Interpret des "nervösen Zeitalters" // Thomas Mann Jahrbuch. 9/1996. S. 29–53.

Radkau J. Technik im Temporausch der Jahrhundertwende // Salewski M., Stölken-Fitschen I. (Hrsg.). Moderne Zeiten. Technik und Zeitgeist im 19. und 20. Jh. Stuttgart, 1994. S. 61–76.

Radkau J. Technik in Deutschland. Vom 18. Jh. bis zur Gegenwart. Frankfurt/M., 1989.

Radkau J. Technik, Tempo und nationale Nervosität. Die Jahrhundertwende als Zäsur im Zeiterleben // Held M., Geißler K. (Hrsg.). Ökologie der Zeit. Stuttgart, 1993. S. 152–168.

Radkau J. Zum ewigen Wachstum verdammt? Jugend und Alter großer technischer Systeme. // Braun I., Joerges B. (Hrsg.). Technik ohne Grenzen. Frankfurt/M., 1994. S. 50–106.

Radkau J. Zum historischen Quellenwert von Patientenakten. Erfahrungen aus Recherchen zur Geschichte der Nervosität // Hey B., Meyer D. (Hrsg.). Akten betreuter Personen als archivische Aufgabe. Beratungs- und Patientenakten im Spannungsfeld

von Persönlichkeitsschutz und historischer Forschung. Neustadt an der Aisch, 1997. S. 1–30.

Radkau J., Schumacher G., Wollschläger R. Von der Neurasthenie in der wilhelminischen Ära bis zum Streß der Informationsgesellschaft // Niedersächs. Kultusministerium (Hrsg.). Neue Technologien und Allgemeinbildung. Hannover, 1993 (= Gemeinschaftskunde. 21). S. 144–214.

Ramazzini B. Abhandlung von den Krankheiten der Künstler und Handwerker, neu bearbeitet und vermehret von Johann Christian Gottlieb Ackermann. Stendal, 1780.

Rathenau W. Zur Kritik der Zeit. Mahnung und Warnung. Berlin, 1925 [1912].

Rathenau W. Zur Mechanik des Geistes oder Vom Reich der Seele. Berlin, 1929 [1913].

Rathenau W. Schriften und Reden / H.W. Richter (Hrsg.). Frankfurt/M., 1964.

Rathenau W. (псевдоним Ernst Reinhart). Von Schwachheit, Furcht und Zweck // ZU. 49/1904. S. 223–239.

(Rathenau — Harden) Hellige H.-D. (Hrsg.). Walther Rathenau und Maximilian Harden, Briefwechsel 1897–1920. München, 1983.

Reclam C. Der Einfluß eines "Dampf-Hammers" auf die Nachbarschaft // Gesundheit. 5/1880. Nr. 5. S. 65–68.

Redlich (Kgl. Bauinspektor). Die Hygiene und den Bauordnungen und Bebauungsplänen // Centralblatt f. allg. Gesundheitspflege. 28/1909. S. 195 ff.

Regin C. Naturheilkundige und Naturheilbewegung im Deutschen Kaiserreich // MedGG. 11/1992. S. 177–202.

Regin C. Selbsthilfe und Gesundheitspolitik: die Naturheilbewegung im Kaiserreich (1889 bis 1914). Stuttgart, 1995.

Reichardt M. Der jetzige Stand der Lehre von der Neurasthenie // Dt. Medizin. Wochenschrift. 47/1921. S. 19–21.

Reinbold T. Über die sogenannte Nervenschwäche // Hannoversche Annalen f. d. ges. Heilkunde. 5/1845. S. 416–429.

(Reuleaux-Streitschriften) F. Reuleaux und die deutsche Industrie auf der Weltausstellung in Philadelphia. Leipzig, 1876.

Reulecke J. Gräfin A. zu Castell Rüdenhausen (Hrsg.). Stadt und Gesundheit. Zum Wandel von "Volksgesundheit" und kommunaler Gesundheitspolitik im 19. und frühen 20. Jh. Stuttgart, 1991.

Reuß F.A. Versuch einer Einleitung in die allgemeine Pathologie der Nerven. Prag, 1788.

Reventlow E. Graf zu Kaiser Wilhelm II. und die Byzantiner. München, 1906.

Rheins (Bahnarzt). Über die Nervosität unserer Zeit // Medizin. Klinik 8/1912. S. 1255–1256.

Rheinstaedter A. Über weibliche Nervosität // Sammlung Klin. Vorträge. Nr. 188. 1880. S. 1493–1510.

Ridder P. Die Patientenkarriere: Von der Krankheitsgeschichte zur Krankengeschichte. Stuttgart, 1974.

Riedler A. Emil Rathenau und das Werden der Großwirtschaft. Berlin, 1916.

Riedler A. Schnellbetrieb. Erhöhung der Geschwindigkeit und Wirtschafteichkeit der Maschinenbetriebe. Berlin, 1899.

Riedler A. Abseits vom Gänsemarsch! Berlin, 1914.

Rieger C. Die Castration in rechtlicher, socialer und vitaler Hinsicht. Jena, 1900.

Riese W. (Hrsg.). Die Unfallneurose als Problem der Gegenwartsmedizin. Stuttgart, 1929.

Riezler K. Tagebücher, Aufsätze, Dokumente / Karl Dietrich Erdmann (Hrsg.). Göttingen, 1972.

Rigler J. Die im Eisenbahndienst vorkommende Berufskrankheit und Mittel zu ihrer Abhilfe. Berlin, 1880.

Risse G.B., Warner J.H. Reconstructing Clinical Activities Patient Records in Medical History // Social History of Medicine. 5/1992. S. 183–205.

Ritter G., Tenfelde K. Arbeiter im Deutschen Kaiserreich. Bonn, 1992.

Roazen P. Sigmund Freud und sein Kreis. Bergisch Gladbach, 1976.

Robert J.-M. Nervenkitzel. Den grauen Zellen auf der Spur (frz.: L'Aventure des Neurones). Heidelberg, 1995.

Roberts J.S. Drink, Temperance and the Working Class in 19 th-Century Germany. Boston, 1984.

Röhl J.C.G. Kaiser, Hof und Staat. Wilhelm II. und die deutsche Politik. München, 1987.

Röhl J.C.G. An der Schwelle zum Weltkrieg: Eine Dokumentation über den "Kriegsrat" vom 8.12.1912 // Militärgeschichtl. Mitt. 1/1977. S. 77–134.

Röhl J.C.G. Wilhelm II. Die Jugend des Kaisers, 1859–1888. München, 1993.

Röhl J.C.G., Sombart N. (Hrsg.). Kaiser Wilhelm II. New Interpretations. Cambridge, 1982.

Roelcke V. "Wir rücken Schritt vor Schritt dem Tollhause näher...". Das moderne Leben und die Nervenkrankheiten bei Johann Christian Reil (1759–1813) // Sudhoffs Archiv. 80/1996. S. 56–67.

Röper E. Heilerfolge bei Neurasthenie. Diss. Jena 1911 // Monatsschrift f. Psychiatrie u. Neurologie. 30, S. 134–149.

Rogge H. Holstein und Harden. München, 1959.

Rohlje U. Autoerotik und Gesundheit. Untersuchung zur gesellschaftl. Entstehung und Funktion der Masturbationsbekämpfung im 18. Jh. Münster, 1991.

Rohrbach P. Weltpolitisches Wanderbuch 1897–1915. Leipzig, 1916.

Roller K. Die Überbürdung der Oberlehrer // Gesunde Jugend (Leipzig) 5/1905. S. 1–48.

Romberg M.H. Lehrbuch der Nerven-Krankheiten des Menschen. I. Bd. Berlin, ^{3}1853.

Roosevelt T. Aus meinem Leben. Leipzig, 1914.

Rosen G. Social Stress and Mental Disease from the 18th Century to the Present: Some Origins of Social Psychiatry // The Milbank Memorial Fund Quarterly. 37/1959. S. 5–32.

Rosenbach O. Nervöse Zustände und ihre psychische Behandlung. Berlin, 1897.

Rosenberg C.E. The Place of George M. Beard in 19th-century Psychiatry // Bull. of the History of Medicine. 36/1962. S. 245–259.

Rosenberg C.E. Explaining Epidemics and Other Studies in the History of Medicine. Cambridge, 1992.

Rosenberg C.E. Sexuality, Class and Role in 19th-century America // American Quarterly. 25/1973. S. 131–153.

Rosenberg H. Große Depression und Bismarckzeit. Berlin, 1967.

Rosin H. Die Juden in der Medizin. Berlin, 1926.

Roth M., Kroll J. The Reality of Mental Illness. N.Y., 1986.

Rothschuh K.E. Naturheilbewegung, Reformbewegung, Alternativbewegung. Darmstadt, 1983.

Rothschuh K.E. Vom Spiritus animalis zum Nervenaktionsstrom // CIBA-Zs. Nr. 89/1958. Bd. 8. S. 2950–2980.

Rothschuh R.E. (Hrsg.). Was ist Krankheit? Darmstadt, 1975.

Rousseau G.S. Towards a Semiotics of the Nerve // Burke P., Porter R. (eds). Language, Self, and Society. A Social History of Language. Oxford, 1991. P. 215–275.

Rüdin E. Über den Zusammenhang zwischen Geisteskrankheiten und Kultur (Vortrag mit Diskussion) // IV. Internat. Kongreß zur Fürsorge f. Geisteskranke (1910). Halle, 1911. S. 79–130.

Rumpe R. Die Gesundheitspflege in der Rheinprovinz. Eine medizin-geschichtl. Studie. Jena, 1931.

Salewski M. "Neujahr 1900". Die Säkularwende in zeitgenöss. Sicht // Archiv f. Kulturgesch. 53/1971. S. 335–381.

Salewski M. Zeitgeist und Zeitmaschine. Science Fiction und Geschichte. München, 1986.

Saul K. Wider die "Lärmpest". Lärmkritik und Lärmbekämpfung im Deutschen Kaiserreich // Machule D. u.a. (Hrsg.). S. 151–192.

Savill T.D. Clinical Lectures on Neurasthenia. London, [4]1908 [1899].

Schacht E. Neurasthenie und Heredität // Reisebericht des Komitees zur Veranstaltung ärztl. Studienreisen. 6/1906. S. 267–274.

Schacht E. Statist. und soziale Randbemerkungen zur Neurasthenie // Verhandl. der XI. Jahres-Vers. des Allg. Dt. Bäderverbandes (1902). Berlin, 1903. S. 90–94.

Schär O. Im Kampfe um bessere Nerven und größere Leistungsfähigkeit. Dresden, 1913.

Schär O. Menschliche Energielehre gegen Nerven- und Leistungsschwäche. Dresden, 1922.

Scharf G. Geschichte der Arbeitszeitverkürzung. Köln, 1987.

Scharfe M. "Ungebundene Circulation der Individuen". Aspekte des Automobilfahrens in der Frühzeit // Zs. f. Volkskunde. 86/1990. S. 216–243.

Scharfe M. Die Nervosität des Automobilisten // Dulmen R. van (Hrsg.): Körper-Geschichten. Frankfurt/M., 1996. S. 200–222.

Scheunert G. Kultur und Neurose am Ausgang des 19. Jh.s. // Kyklos (Leipzig). 1930. S. 258–272.

Schiller J. Schülerselbstmorde in Preußen. Spiegelungen des Schulsystems? Frankfurt/M., 1992.

Schilling K. Die nervösen Störungen nach Telefonunfällen // ZNP. 29/1915. S. 216–251.

Schivelbusch W. Geschichte der Eisenbahnreise. Franklurt/M., 1979.

Schleich C.L. Was ist Neurasthenie? // Schleich C.L. Aus Asklepios' Werkstatt. Plaudereien über Gesundheit und Krankheit. Stuttgart, 1916.

Schleich C.L. Vom Schaltwerk der Gedanken. Berlin, 1916.

Schleich C.L. Besonnte Vergangenheit. Lebenserinnerungen 1859–1919. Berlin, 1930.

Schlieffen A.G. v. Der Krieg in der Gegenwart (1909) // Schlieffen A.G. von. Gesammelte Schriften. I. Bd. Berlin, 1913. S. 11–22.

Schmidt D. Massenhafte Produktion? Produkte, Produktion und Beschäftigte im Stammwerk von Siemens vor 1914. Münster, 1993.

Schmidt W. Ätiolog. Betrachtungen bei nervösen Erkrankungen von Militäranwärtern im späteren Zivilberuf. Diss. Berlin, 1908.

Schmidt-Degenhard M. Melancholie und Depression. Zur Problemgeschichte der depressiven Erkrankungen seit Beginn des 19. Jh.s. Stuttgart, 1983.

Schmitt G. Schriftsetzer — Typograph. Ein Beruf im Wandel der Zeit. Aarau, 1990.

Schmiedebach H.-P. Die "traumatische Neurose" — Soziale Versicherung und der Griff der Psychiatrie nach dem Unfallpatienten // Hahn S., Thorn A. (Hrsg.). Koll. zum 100. Geburtstag von H. E. Sigerist. Leipzig, 1991. S. 151–163.

Schmitz O.A.H. Was uns Frankreich war. München, [6]1914 [1. Aufl. 1907 Französische Gesellschaftsprobleme — Das Land der Wirklichkeit].

Schmoller G. Über den Einfluß der heutigen Verkehrsmittel // PJ. 31/1873. S. 413–430.

Schneider K. Die Neurasthenie- und Hysteriefrage // Dt. Medizin. Wochenschrift. 59/1933. S. 1275–1278.

Schneider K. Die psychopathischen Persönlichkeiten. Wien,[9]1950.

Schneider M. Streit um Arbeitszeit. Geschichte des Kampfes um Arbeitszeitverkürzung in Deutschland. Köln, 1984.

Schnitzler A. Medizinische Schriften / H. Thomé (Hrsg.) Frankfurt/M., 1991.

Schön E. Der Verlust der Sinnlichkeit oder Die Verwandlungen des Lesers. Mentalitätswandel um 1800. Stuttgart, 1987.

Schönhals P. Über die Ursachen der Neurasthenie und Hysterie bei Arbeitern. Diss. Berlin, 1906.

Schott T. Neurasthenie und Herzkrankheiten // Dt. Medizinal-Zeitung 28.4.1890. S. 85–389.

Schranz J. Unsere Zeit und unsere Nerven. Ein Beitrag zur Pathologie der Menschheit. Innsbruck, 1884.

(Schreber) Heiligenthal P., Volk R. (Hrsg.). Bürgerliche Wahnwelt um 1900. Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken von Daniel Paul Schreber. Wiesbaden,1973.

Schrenck-Notzing A. Freiherr von. Ein Beitrag zur psychischen und suggestiven Behandlung der Neurasthenie. Berlin, 1894.

Schröder C. Das Phänomen Nervosität im ausgehenden 19. Jh. — Rationale Psychotherapie als medizin. Gesamtstrategie // Hahn S., Thorn A. (Hrsg.). Koll. zum 100. Geburtstag von H.E. Sigerist. Leipzig, 1991. S. 142–150.

Schultz J.H. Psychotherapie. Leben und Werk großer Ärzte. Stuttgart, 1952.

Schur M. Sigmund Freud. Leben und Sterben. Frankfurt/M., 1973.

Schuschny H. Über die Nervosität der Schuljugend. Jena, 1895.

Schwanitz H.J. Homöopathie und Brownianismus 1795–1844. Stuttgart, 1983.

Schwartz L. Berufstätigkeit und Nervosität // Schweizer. Zs. f. Hygiene. 9/1929. S. 223–240.

Schwartz L. Neurasthenie. Entstehung, Erklärung und Behandlung der nervösen Zustände. Mit e. Einl. von P. Janet. Basel, 1939.

Schwarz G.C. Über Nervenheilstätten und die Gestaltung der Arbeit als Hauptheilmittel. Leipzig, 1903.

Scull A. Social Order/Mental Disorder. Anglo-American Psychiatry in Historical Perspective. London, 1989.

Seelert H. Über Neurosen nach Unfällen mit bes. Berücksicht. von Erfahrungen im Kriege // MPN. 38/1915. S. 328–340.

Seidel M. Theodor Ziehen (1862–1950). Leben und Werk // Psychiat. Neurol. med. Psychol. (Leipzig). 39/1987. S. 693–699.

Selye H. Stress beherrscht unser Leben. Düsseldorf, 1957.

Selye H. Stress — mein Leben. Erinnerungen eines Forschers. München, 1981.

Shadwell A. England, Deutschland und Amerika. Eine vergleichende Studie ihrer industriellen Leistungsfähigkeit (engl.: Industrial Efficiency). Berlin, 1908.

Shixie L. Neurasthenia in China: Modern and Traditional Criteria for its Diagnosis // CMP. 13/1989. P. 163–186.

Shorter E. Änderungen medizin. Auffassungen von Frauen, ihren Körpern und Nervenkrankheiten seit Ausgang des 18. Jh.s. Vortrag an der Universität Bielefeld (Ms.), 1985.

Shorter E. From the Mind into the Body. The Cultural Origins of Psychosomatic Symptoms. N.Y., 1994.

Shorter E. A History of Psychiatry. N.Y., 1997.

Shorter E. Paralysis: The Rise and Fall of a "Hysterical" Symptom // J. of Social History. 1985–1986. Vol. 19. P. 549–582.

Shorter E. From Paralysis to Fatigue. A History of Psychosomatic Illness in the Modern Era. N.Y., 1992.

Shorter E. Private Clinics in Central Europe 1850–1933 // Social History of Medicine. 3/1990. P. 159–195.

Shorter E. Women and Jews in a Private Nervous Clinic in Late 19th-century Vienna // Medical History. 33/1989. P. 149–183.

Showalter E. Hystorien. Hysterische Epidemien im Zeitalter der Medien. Berlin, 1997.

Shryock R. H. Die Entwicklung der modernen Medizin. Stuttgart, [2]1947.

Sicherman B. The Uses of a Diagnosis: Doctors, Patients, and Neurasthenia // J. of the History of Medicine and Allied Sciences. 32/1977. P. 33–54.

Sicherman B. The Paradox of Prudence: Mental Health in the Gilded Age // J. of American History. 62/1976. P. 890–912.

Siegfried K. Neurasthenie, Neurose, Hysterie in ihrer Bedeutung für den prakt. Arzt // Die medizin. Welt. 1929. Nr. 28. S. 999–1002.

Siemens G. Der Weg der Elektrotechnik. Geschichte des Hauses Siemens. 2 Bde. Freiburg, [2]1961.

Simmel G. Aufsätze und Abhandlungen 1894–1900. Frankfurt/M., 1992.

Skultans V. English Madness: Ideas on Insanity, 1580–1890. London, 1978.

Smith-Rosenberg C. Disorderly Conduct. Visions of Gender in Victorian America. N.Y., 1985.

Smith-Rosenberg C. Weibliche Hysterie. Geschlechtsrollen und Rollenkonflikt in der amerikan. Familie des 19. Jh.s. // Honegger C., Heintz B. (Hrsg.). Listen der Ohnmacht. Frankfurt/M., 1981. S. 276–300.

Snoy F. Die Nervenschwäche der Feuerwehrleute nach Rauchvergiftung. Diss. Berlin, 1907.

Sombart N. Die deutschen Männer und ihre Feinde. Carl Schmitt — ein deutsches Schicksal zwischen Männerbund und Matriarchatsmythos. München, 1991.

Sombart N. Wilhelm II. Sündenbock und Herr der Mitte. Berlin, 1996.

Sombart W. Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jh. und im Anfang des 20. Jh.s. Darmstadt? 1954 (= [7]1927; [1903]).

Sombart W. Wirtschaft und Mode. Ein Beitrag zur Theorie der modernen Bedarfsgestaltung. Wiesbaden, 1902.

Spillane J.D. The Doctrine of the Nerves. Chapters in the History of Neurology. Oxford, 1981.

(Spitzemberg) Vierhaus R. (Hrsg.). Am Hof der Hohenzollern. Aus dem Tagebuch der Baronin Spitzemberg. München, 1965.

Spode H. Die Macht der Trunkenheit. Kultur- und Sozialgeschichte des Alkohols in Deutschland. Opladen, 1993.

Spree R. The German Petite Bourgeoisie and the Decline of Fertility: Some Statistical Evidence from the Late 19th and Early 20th Centuries // Historical Social Research. 22/1982. P. 15–49.

Spree R. Soziale Ungleichheit vor Krankheit und Tod. Göttingen, 1981.

Springer J. Die Ärztin im Hause. 2 Bde. Dresden, 1910.

Starčevič V. Neurasthenia: A Paradigm of Social Psychopathology in a Transitional Society // American J. of Psychotherapy. 45/1991. P. 544–553.

Starobinski J. Kleine Geschichte des Körpergefühls. Frankfurt/M., 1991.

Stea J., Fried W. Remedies for a society's debilities. Medicines for neurasthenia in Victorian America // New York State J. of Medicine. 93/1993. P. 120–127.

Stearns P.N. Arbeiterleben. Industriearbeit und Alltag in Europa 1890–1914. Frankfurt/M., 1980.

Stearns P.N. Be A Man! Males in Modern Society. N.Y., 1979.

Steding F. Nervosität — Arbeit — und Religion. Hannover, 1903.

Stein L. Die Weltanschauung der Energetiker // ZU. 64/1908. S. 322–329.

Stein S.T. Die allg. Elektrisation des menschl. Körpers. Elektrotechn. Beiträge zur ärztl. Behandlung der Nervenschwäche (Nervosität und Neurasthenie) sowie verwandter allg. Neurosen. Halle, [2]1883.

Steiner A. "Das nervöse Zeitalter". Der Begriff der Nervosität bei Laien und Ärzten in Deutschland und Österreich um 1900. Zürich, 1964.

Steiner R. Nervosität und Ichheit. Dornach, 1987 [1912].

Stengers J., Van Neck A. Histoire d'une grande peur: La masturbation. Brüssel, 1984.

Stier E. Soziologie der Nervosität // Gottstein A. u.a. (Hrsg.). Handbuch der sozialen Hygiene. 5. Bd.: Soziale Physiologie und Pathologie. Berlin, 1927. S. 615–633.

Stilling B. Über Spinal-Irritation. Leipzig, 1840.

Stölken I. "Komm, laß uns den Geburtenrückgang pflegen!" Die neue Sexualmoral der Weimarer Republik // Bagel-Bohlau A., Salewski M. (Hrsg.). Sexualmoral und Zeitgeist im 19. und 20. Jh. Opladen, 1990. S. 83–105.

Störring G.E. Der nervöse Mensch von heute // Psychotherapie. 1958. S. 112–122.

Stollberg G. Die Naturheilvereine im Dt. Kaiserreich // AfS. 28/1988. S. 287–305.

Strümpell A. Aus dem Leben eines deutschen Klinikers. Erinnerungen und Beobachtungen. Leipzig, 1925.

Strümpell A. Über die Entstehung und die Heilung von Krankheiten durch Vorstellungen. Erlangen, 1892.

Strümpell A. Lehrbuch der Speciellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten. Bd. 3. Leipzig, [15]1904.

Strümpell A. Nervosität und Erziehung. Leipzig, 1908.

Strümpell A. Die Schädigungen der Nerven und des geistigen Lebens durch den Krieg. Leipzig, 1917.

Stulz O. "Nervös". Moderne Gesichtspunkte für die Behandlung der sogenannten Nervosität. Berlin, 1909.

Stursberg H. Unerwünschte Folgen deutscher Sozialpolitik? Eine Entgegnung an Prof. Ludwig Bernhard. Bonn, 1913.

Sturz P.H. Fragment aus den Papieren eines verstorbenen Hypochondristen // Sturz P.H. Schriften. ND der Ausgabe Leipzig, 1779–1782. München, 1971. S. 190–198.

Sullivan J.P. Electrical Nervousness. The Electric Wire Panic in New York City. Ms., SHOT-Konferenz. Washington, 1993.

Suzuki T. The Concept of Neurasthenia and its Treatment in Japan // CMP. 13/1989. P. 187–202.

Szondi L. Die Revision der Neurastheniefrage. Budapest, 1930.

Tesdorpf P. Die Krankheit Wilhelms II. München, 1919.

Theilhaber F.A. Das sterile Berlin. Berlin, 1913.

Thiekötter A., Siepmann E. (Hrsg.). Packeis und Preglas. Von der Kunstgewerbebewegung zum Deutschen Werkbund. Gießen, 1987.

Thiemme A. Hans Delbrück als Kritiker der wilhelmin. Epoche. Düsseldorf, 1955.

Thimme F. (Hrsg.). Front wider Billow. Staatsmänner, Diplomaten und Forscher zu seinen Denkwürdigkeiten. München, 1931.

Thom A. Zur disziplinären Genese der Neurologie im ausgehenden 19. Jh. — aus den Briefen Wilhelm Erbs an Adolf Strümpell // Zs. f. d. ges. Inn. Medizin (DDR). 37/1982. S. 339–346.

Thom W. Carl Flügge (1847–1923). Leben und Werk eines großen Hygienikers. Diss. Erfurt, 1983.

Thornton E.M. Hypnotism, Hysteria and Epilepsy, an historical synthesis. London, 1976.

Tirpitz A.von. Der Aufbau der dt. Weltmacht. Stuttgart, 1924.

Tirpitz A.von. Erinnerungen. Leipzig, 1919.

Tissot S.-A.-D. Von der Gesundheit der Gelehrten. Zürich, 1768.

Toellner R. (Hrsg.). Illustrierte Geschichte der Medizin. 6 Bde. Salzburg, 1986 [Paris, 1978].

Traugott R. Nervosität — früher und jetzt // Die Gesundheit in Wort und Bild. 1908. S. 60–62, 89–120.

Treitschke H. von. Briefe. 3 Bde. / Max Cornicelius (Hrsg.). Leipzig, 1912–1919.

Treitschke H. von. Deutsche Geschichte im 19. Jh. 5 Bde. Leipzig[5], 1894–[3]1895.

Treitschke H. von. Deutsche Kämpfe. Schriften zur Tagespolitik. N.F. Leipzig, 1896.

Treue W. Mit den Augen ihrer Leibärzte. Düsseldorf[2], 1955.

Tschoetschel M. Die Diskussion über die Häufigkeit von Krankheiten bei den Juden bis 1920. Diss. Mainz, 1990.

Tsouyopoulos N. Andreas Röschlaub und die Romantische Medizin. Stuttgart, 1982.

Tsouyopoulos N. Schellings Krankheitsbegriff und die Begriffsbildung der Modernen Medizin // Hedemann R. u.a. (Hrsg.). Natur und Subjektivität. Stuttgart, 1985. S. 265–290.

Ulrich B. Nerven und Krieg — Skizzierung einer Beziehung // Löwenstein B. (Hrsg.). Geschichte und Psychologie — Annäherungsversuche. Pfaffenweiler, 1992. S. 163–192.

Ulrich B., Ziemann B. (Hrsg.). Frontalltag im Ersten Weltkrieg. Wahn und Wirklichkeit. Frankfurt/M., 1994.

Ullrich V. Die nervöse Großmacht, 1871–1918. Aufstieg und Untergang des deutschen Kaiserreichs. Frankfurt/M., 1997.

Vagts A. Deutschland und die Verein. St. in der Weltpolitik. 2 Bde. N.Y., 1935.

Veraguth O. Kultur und Nervensystem. Zürich, 1904.

Veraguth O. Neurasthenie. Berlin, 1910.

Veraguth O. Über Neurasthenie // Ergebnisse der Inneren Medizin und Kinderheilkunde / F. Kraus u.a. (Hrsg.). Bd. 3. Berlin, 1909. S. 370–428.

(Verein für Sozialpolitik) Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik in Nürnberg 1911. Berlin, 1912 (= Schriften des Vereins f. Sozialpol. 138. Bd.).

Verity R. Changes Produced in the Nervous System by Civilization. Considered according to the evidence of physiology and the philosophy of history. London, 1837.

Virilio P. Geschwindigkeit und Politik. Berlin, 1980.

Virilio P. Die Eroberung des Körpers. Vom Übermenschen zum überreizten Menschen. München, 1994 (frz. L'art du moteur, 1993).

Völgyesi F. Botschaft an die nervöse Welt! Nervosität, Hypnose, Selbstbeherrschung. Zürich, 1936.

Vomáčka A. Was der Nervöse, der Neurastheniker von seiner Krankheit wissen und wie er leben muß, um gesund zu werden. Leipzig, 1907.

Vondung K. Träume von Tod und Untergang. Präludien zur Apokalypse in der dt. Literatur und Kunst vor dem I. Weltkrieg // Knoll J.H., Schoeps J.H. (Hrsg.). Von kommenden Zeiten. Stuttgart, 1984. S. 143–168.

Wagner N. Geist und Geschlecht. Karl Kraus und die Erotik der Wiener Moderne. Frankfurt/M., ^{2}1982.

Wagner N. Zur Typologie des "neurasthenischen" Mannes // Freimann M. (Hrsg.). Über den physiologischen Stumpfsinn des Mannes. München, 1978. S. 991–180.

Wagner O. Die Frau im Dienste der Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung. Halle, 1913.

Wagner R. Mein Leben. München, 1963 [1911].

Waldersee A. Graf von. Denkwürdigkeiten. 2 Bde. 1922. ND Osnabrück, 1967.

Walker D. Modern Nerves, Nervous Moderns: Notes on Male Neurasthenia // Australian Cultural History (Canberra). 6/1987. P. 49–63.

Warburg M. M. Aus meinen Aufzeichnungen. Glückstadt, 1952.

Weber M. Max Weber. Ein Lebensbild. München, 1989 [1926].

(Weber-Dokumente) Max Weber, Werk und Person. Dokumente / Eduard Baumgarten (Hrsg.). Tübingen, 1964.

(Weber-Briefe) Max Weber: Briefe 1906–1908. Tübingen, 1990 (= Max Weber Gesamtausgabe. Bd. II/5).

Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik / M. Weber (Hrsg.). Tübingen, 1988 [1924].

Wehler H.-U. Bismarck und der Imperialismus. Köln, 1969.

Wehler H.-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. 3. Bd.: 1849–1914. München, 1995.

Wehmeyer C. Prestißißimo. Die Wiederentdeckung der Langsamkeit in der Musik. Hamburg, 1989.

Weindling P. Health, Race and German Politics between National Unification and Nazism, 1870–1845. Cambridge, 1989.

Weindling P. Hygienepolitik als sozialintegrative Strategie im späten Deutschen Kaiserreich // Labisch/Spree. S. 37–55.

Weizsäcker V. von. Begegnungen und Entscheidungen. Stuttgart, 1949.

Weizsäcker V. von. Natur und Geist. Erinnerungen eines Arztes. Göttingen, 1954.

Weller B.U. Maximilian Harden und die "Zukunft". Bremen, 1970.

Wendorff R. Zeit und Kultur. Geschichte des Zeitbewußtseins in Europa. Opladen, 1980.

Wentscher E. Der Wille. Versuch einer psycholog. Analyse. Leipzig, 1910.

Wernicke C. Obergutachten über die Verletzung einer Telephonistin durch Starkstrom // MPN. 17/1905. Erg. heft. S. 1–16.

Wernz C. Sexualität als Krankheit. Der medizin. Diskurs zur Sexualität um 1800. Stuttgart, 1993.

Wessely S. Old wine in new bottles: neurasthenia and "ME" // Psychological Medicine. 20/1990. P. 5–53.

Westpal W. Geschichte der dt. Kolonien. München, 1984.

Weygandt W. Der Krieg und die Nerven // Die Umschau. 19/1915 (10.4.1915). S. 281–284.

Weyl T. (Hrsg.). Handbuch der Arbeiterkrankheiten. Jena, 1908.

Whitman S. Deutsche Erinnerungen. Stuttgart, 1912.

Whitman S. Das kaiserliche Deutschland. Hamburg, [4]1898 [1888].

Wieczorek V., Braunsdorf A. Leben und Werk des Psychiaters Otto Binswanger // Wagner G., Wessel G. (Hrsg.). Medizinprofessoren und ärztliche Ausbildung. Frankfurt/M., 1992. S. 146–169.

WHO (World Health Organization) (Hrsg.). Schizophrenia. An International Follow-up Study. Cambridge, 1979.

Wichmann R. Geistige Leistungsfähigkeit und Nervosität bei Lehrern und Lehrerinnen. Eine statist. Untersuchung. Halle, 1905.

Wilken F. Die nervöse Erkrankung als sinnvolle Erscheinung unseres gegenwärtigen Kulturzeitraums. München, 1927.

Williams E.E. "Made in Germany". Der Konkurrenzkampf der deutschen Industrie gegen die englische. Dresden, 1896.

Wilson D.J. Neurasthenia and Vocational Crisis in Post-Civil War America // Psychohistory Review. 12/1984. No. 4. P. 31–38.

Windscheid F. Aufgaben und Grundsätze des Arztes bei der Begutachtung von Unfallnervenkranken. Leipzig, 1903.

Windscheid F. Über Berufsnervosität, ihre Entstehung und Verhütung // Soziale Medizin und Hygiene. 4/1909. S. 451–461.

Winter G. Der Taylorismus. Leipzig, 1920.

Winzen P. Bülows Weltmachtkonzept. Untersuchungen zur Frühphase seiner Außenpolitik 1897–1901. Boppard, 1977.

Wirth A. Weltgeschichte der Gegenwart. Hamburg, [3]1913.

Wittermann E. Der nervöse Mensch in den geistigen Nöten der Gegenwart. Stuttgart, 1922.

Wolf H.-J. Geschichte der graph. Verfahren. Dornstadt, 1990.

Wolff T. Die Wilhelmin. Epoche. Fürst Bülow am Fenster und andere Begegnungen / B. Sosemann (Hrsg.). Frankfurt/M., 1989.

Wollenberg R. Über das psychische Moment bei der Neurasthenie // Deutsche Medizin. Wochenschrift 32/1906, S. 659– 663.

Worbs M. Nervenkunst. Literatur und Psychoanalyse im Wien der Jahrhundertwende. Frankfurt/M., 1988.

Wrede C. Zur Ätiologie und Symptomatologie der Neurasthenie. Diss. Kiel, 1927.

Wurm E. (Hrsg.). Gesundheitsschutz in Staat, Gemeinde und Familie. Stuttgart, 1901.

Zappert J. Nervöse Alltagserscheinungen bei Schulkindern // Das österr. Sanitätswesen. 16/1914. Nr. 7. S. 51–64.

Zedlitz-Trützschler R. Graf. Zwölf Jahre am deutschen Kaiserhof. Stuttgart, 1924.

Ziegelroth P. S. Die Nervosität unserer Zeit, ihre Ursachen und Abhilfe. Stuttgart, 1895.

Ziehen T. Psychiatrie für Ärzte und Studierende bearbeitet. Berlin, 1894; 4. Aufl. Leipzig, 1911.

Ziehen T. Neurasthenie // Real-Encyclopadie (s. Arndt, Neurasthenie II). 10. Bd. Berlin, [4]1911. S. 521, 598.

Ziemann B. Zum ländlichen Augusterlebnis 1914 in Deutschland // Löwenstein (s. Ulrich). S. 193–203.

Ziemssen H. von. Die Neurasthenie und ihre Behandlung // Ziemssen H. von. Klin. Vorträge. IV/2. Leipzig, 1887.

Zimmermann W. Zur sozialen Lage der Eisenbahner in Preußen // Verein f. Sozialpol. (Hrsg.). Untersuchungen über die Lage der Angestellten und Arbeiter in den Verkehrsgewerben. Leipzig, 1902. S. 1–278.

Zuckert J. F. Systemat. Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bäder Deutschlands. Berlin, 1768.

Zweig S. Die Welt von gestern. Erinnerungen eines Europäers. Frankfurt/M., 1970 [1944].

Научное издание
Серия «Исследования культуры»

ЙОАХИМ РАДКАУ

ЭПОХА НЕРВОЗНОСТИ
ГЕРМАНИЯ ОТ БИСМАРКА ДО ГИТЛЕРА

Главный редактор
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ
Заведующая книжной редакцией
ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА
Редактор
НАТАЛИЯ ДМУХОВСКАЯ
Художник
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ
Верстка
НАТАЛЬЯ ПУЗАНОВА
Корректор
ВАЛЕРИЯ КАМЕНЕВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Тел.: (495) 772-95-90 доб. 15285

Подписано в печать 08.08.2017. Формат 70×100/16
Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 44,85. Уч.-изд. л. 35,1
Печать офсетная. Тираж 1000 экз.
Изд. № 1890. Заказ №

Отпечатано в ГУП ЧР «ИПК «Чувашия»
Мининформполитики Чувашии
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13
Тел.: (8352) 56-00-23

ВЫСШАЯ
ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

id.hse.ru

Уважаемые читатели!

Приглашаем посетить сайт

Издательского дома
Высшей школы экономики по адресу:

id.hse.ru

На нашем сайте вы найдете каталог книг
и журналов, информацию о новинках
и планах на будущее, отрывки из книг,
рецензии и многое другое.

Также на сайте размещена полная информация
о том, где можно купить наши книги и как
подписаться на журналы.

Ждем вас круглосуточно,
каждый день!